

Электронная библиотека Пушкинского Дома

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖУРНАЛИСТИКИ ТРИДЦАТЫХ Г О Д О В

**РЕДАКЦИЯ,
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И КОММЕНТАРИЙ
ВЛ. ОРЛОВА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ

Электронная библиотека Пушкинского Дома

ОТ РЕДАКТОРА

С именем Николая Полевого связан процесс становления русской буржуазной литературы, понимаемой не только как творчество «третьесловных» писателей (составлявших мощную литературную группу уже в XVIII веке), но более широко и определенно — в плане утверждения буржуазного литературного сознания. В этом — смысл и значение деятельности Николая Полевого, и в этом же его право на внимание современного читателя. Реституция забытых литературных имен — неперенное явление в истории литературы. Каждая литературная эпоха «воскрешает» свои забытые имена, часто в противовес «воскрешениям» предшествовавшей эпохи. Имя Полевого принципиально значительно для нашего литературоведения, одной из первоочередных задач которого является пересмотр и переоценка русского историко-литературного процесса. На материале литературно-журнальной деятельности Полевого с большой четкостью может быть поставлена проблема классовой борьбы на фронте литературы тридцатых годов прошлого столетия. Двадцатые и тридцатые годы, так называемая пушкинская эпоха, — именем Пушкина отнюдь не покрываются. Имя Полевого имеет для этой эпохи объективно столь же крупное значение, как и имя Пушкина, поскольку Полевой отчетливее других выражал тенденции разрушения русской дворянской литературы, вершиной которой был Пушкин. И в этом смысле эпоха Пушкина с равным основанием может быть названа эпохой Полевого. На эпохиальное значение Полевого указал в свое время еще Белинский, в понимании которого Полевой был «лицом историческим» и стоял в одном ряду с Ломоносовым и Карамзиным, поскольку «каждый из них оказал свое влияние на литературу своим особен-

ным образом, сообразно с обстоятельствами и требованиями своего времени».

Сам Полевой также ясно сознавал свое значение в истории русской литературы и общественной мысли: «Осмеливаюсь думать, что в том, что было мною писано, и не одни современники найдут повод к размышлению», — заявил он в 1839 г., подводя итоги своей многообразной литературно-журнальной деятельности. И хотя имя Полевого известно (по наслышке) достаточно широко, для изучения этой деятельности сделано еще очень мало, вернее ничего не сделано, несмотря на то, что все писавшие о Полевом, начиная с еороковых годов (Белинский, Чернышевский, Аполлон Григорьев, К. Бестужев-Рюмин, Шашков, Пыпин, Сухомлинов) указывали на отсутствие хотя бы мало-мальски сносной биографии Полевого.

Полевой заслуживает монографического исследования, отвечающего требованиям современной литературной науки. Настоящая книга, по самому своему характеру, не может, разумеется, восполнить этот пробел. Задача ее — заново поставить на обсуждение вопрос о Николае Полевом, восстановив в отношении его историческую перспективу и наметив пути дальнейшего углубленного изучения его деятельности.

Историческая перспектива в отношении Полевого была утрачена в шуме полемики, окружавшей его имя не только при его жизни, но и в последующие эпохи. Решающую роль сыграло при этом пресловутое «падение» Полевого после гибели его журнала «Московский Телеграф» (1834 г.). Еще Чернышевский, отметивший «неотъемлемо важные заслуги Полевого в истории нашей литературы и развития», писал, что последние годы его жизни нуждаются в оправдании. Мы позволим себе несколько изменить формулировку Чернышевского: не в оправдании, а в истолковании нуждается петербургский период жизни Полевого. Полевой был голосом своего класса; его личная, поистине трагическая, судьба должна быть поставлена в связь с судьбами русской промышленной буржуазии тридцатых годов, роковым образом продававшей свое классовое первородство за чечевичную похлебку верноподданного патриотизма и политической благонамеренности. Нужно не «оправдывать», а объяснить литературный путь Полевого, доказать известную его закономерность. Полевого надлежит оценить и осмыслить диалектически, рассматривая его в движении, с учетом

тех исторических процессов, тех конкретных условий классовой борьбы, в которых протекала его деятельность и которые формировали его классовую идеологию.

В состав настоящего издания включены «Записки» Ксенофонта Полевого, посвященные в основном рассказу о жизни, деятельности и литературных отношениях Николая Полевого. В нашем издании «Записки» Кс. Полевого печатаются по тексту отдельного издания 1888 г. (рукопись Кс. Полевого не сохранилась), но в силу издательских условий не целиком, а кончая III главой третьей части. Опущены последние главы (стр. 385—531 по изданию 1888 г.), занятые почти исключительно извлечениями из писем Н. Полевого к брату за 1837—1846 гг. (письма с 1840 г. приложены были сыном мемуариста Н. К. Полевым). Таким образом наше издание дает полный собственномемуарный текст издания 1888 г. и охватывает полностью московский период жизни и деятельности Н. Полевого. Текст издания 1888 г. перепечатывается нами без изменений; опущены только краткие перечни содержания глав, принадлежащие редакции «Исторического Вестника», где впервые были опубликованы «Записки» в полном виде. Все подстрочные примечания, принадлежащие Кс. Полевому, помечены его инициалами (К. П.).

В первых главах «Записок» Кс. Полевой опровергает данные автобиографического предисловия своего брата к собранию его литературно-критических статей («Очерки русской литературы», 1839 г.); дабы не загружать комментарий обширными цитатами, мы печатаем это предисловие в качестве введения к «Запискам», за исключением тех его страниц, которые лишены автобиографического содержания.

Задачей нашего комментария является возможно более широкий охват материалов как печатных, так и рукописных, по истории литературно-журнальной деятельности Николая Полевого, существенным образом уточняющих и дополняющих «Записки». Общеизвестные данные, сообщаемые Кс. Полевым о литературно-общественном движении 1820—1830 гг., как правило не комментировались, за исключением тех случаев, когда нужно было поправить явную ошибку мемуариста. Персональные справки об упоминаемых в тексте лицах вынесены в указатель имен, причем более подроб-

ные сведения даны о лицах малоизвестных, но занимающих видное место в литературной биографии Николая Полевого.

Принятые нами (в статье и комментарии) сокращения:

В. Е. — «Вестник Европы».

ГПБ — Гос. Публичная библиотека в Ленинграде.

ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР.

И. Р. Н. — История русского народа Н. Полевого.

М. Т. — «Московский Телеграф».

О. Э. — «Отечественные Записки».

П. с. с. — Полное собрание сочинений.

Р. А. — «Русский Архив».

Р. С. — «Русская Старина».

С. О. — «Сын Отечества».

За помощь советами и указаниями приношу благодарность
Ю. Г. Оксману.

«Поприще, на которое судьбе уютно было поставить меня — Лит е р а т у р а. Смею думать, что если бы я умер сегодня, то благородный потомок не откажет уже мне в воспоминании и в словах: «Он же л а л д о б р а». — Семь лет журнала — семь подвигов не легких. Я передавал соотчикам то, что замечал в Европе достойное внимания, что почитал полезным моей отчизне, и в то же время смело срывал я маску с бездарности, с притворства, порока, сражался с предрассудками закоренелыми, родными и наносными, уличал чванство вельможи и хвастливость педанта, пустоту нынешнего, детского нашего образования и тяжелую грубость нашего невежества.

Ошибался я — что делать! я человек! Но никто не видал моей головы, преклоняющейся перед кем-либо и чем-либо, когда душа моя не была исполнена уважения к предмету, мною превозносимому... Кто имел терпение читать все писанное мною, тот скажет, что я один и тот же — под личиною Ж и в о п и с ц а, во взляде И с т о р и к а, и в К р и т и к е на пошлых чад бездарности, невежества и литературного хвастовства.

Николай Полевой

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ — ЛИТЕРАТОР ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

I

Разгром декабристов — рубеж в социально-политической и культурной истории России. В условиях нового царствования, начавшегося под знаком жесточайшей реакции, по существу в условиях открытого полицейского террора, процесс культурного (и, в частности, литературного) развития принял новые формы и отчасти даже новое направление. После 1825 г. культурная жизнь переходит из Петербурга в Москву, из гвардейских тайных обществ в кружки дворянской университетской молодежи и примыкавших к ней ранних представителей демократической интеллигенции. Роль идейного центра играл при этом московский университет, переживавший, несмотря на победу реакции, эпоху своего расцвета: из его стен выходили, в огромном большинстве, молодые люди, объединившиеся в философские и литературные кружки второй половины двадцатых и тридцатых годов (общество Раича, общество Любомудрия, позже кружок «Московского Наблюдателя»).

Крушение декабризма и торжество реакции — все это способствовало переключению реальных политических противоречий в отвлеченно-умозрительную сферу немецкой идеалистической философии. Не в меру подозрительное правительство Николая I без достаточных оснований считало московских шеллингианцев и «гегелистов» прямыми наследниками петербургских мятежников 14 декабря и расценивало их почти академические споры по самым отвлеченным вопросам философии и эстетики, как политическую оппозицию (хотя сами «оппозиционеры» и рассматривали свою замкнутую кружковую деятельность исключительно в плане чистого просветительства, в политическом отношении совершенно пассивного). С другой стороны, в Москве был еще жив дух стародворянской фронды. Правительство заодно и ее представителей записало в «ли-

бералы»; недаром в Зимнем дворце столь внимательно прислушивались к суждениям и осуждениям, раздававшимся с трибун московских великосветских салонов и Английского клуба. В официальных кругах того времени (особенно же в III Отделении) обычным было противопоставление Петербурга и Москвы, как двух символов, выражающих полярные политические настроения. В Петербурге любили указывать на Москву, как на рассадник отечественного «якобинства», как на гнездо «либеральной шайки», распространяющей особо-неблагоденный «московский дух, совершенно противный петербургскому».

Шеф жандармов гр. А. Х. Бенкендорф в своих «всеподданнейших» отчетах о «состоянии умов» неоднократно обращал внимание Николая I на московскую партию «так называемых русских патриотов, столпом коих является Мордвинов»: «Партия русских патриотов очень сильна числом своих приверженцев, — докладывал Бенкендорф в 1827 г. — Центр их находится в Москве. Все старые сановники, праздная знать и полуобразованная молодежь следуют направлению, которое указывается им их клубом через Петербург. Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздается ропот на немцев, там с пафосом повторяются предложения Мордвинова, его речи и слова их кумира — Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и возможно более тщательное наблюдение».

Именно здесь, в этой «самой гангренозной части империи», Бенкендорф усматривал «зародыши якобинства и реформаторский дух, прикрывающиеся маской русского патриотизма». В то же время Бенкендорф указывал, что высшее московское общество «лишено всякого морального авторитета, и общественное мнение исходит из кругов средних классов», что среди купечества «тоже встречаются русские патриоты, придерживающиеся идей Мордвинова и его сторонников», что «молодежь этого класса, для которой только что закрылся путь честолюбивых достижений, составляет недозвольных».¹

¹ «Гр. А. Х. Бенкендорф с России в 1827—1830 гг.» — «Краткий обзор общественного мнения за 1827 г.», см. «Красный Архив», т. XXXVII, 1929, стр. 143—145, 148, 149—150. Любопытно, что Н. С. Мордвинов (и другие «русские патриоты») фигурирует в качестве протектора Николая Полевого в анонимном доносе, поданном в III Отделение в том же 1827 г. (см. ниже в комментарии, стр. 470; автором доноса был, повидимому, Ф. Булгарин). — Адмирал Н. С. Мордвинов (1754—1845) — один из видных деятелей дворянско-либеральной фронды 1810—1820-х гг., намечавшийся декабристами в состав членов Временного правительства. Будучи сторонником политических преобразований в духе британского конституционализма, Мордвинов боролся за усиление аристократии путем раздачи ей казенных имений и предоставления широких политических прав, оставаясь в то же время на «исконных» позициях крепостничества, допуская освобождение крестьян только без земель и за огромный денежный выкуп.

Вместе с тем, к концу 1820-х гг. Москва превратилась уже во всероссийский центр фабричной промышленности, в метрополию русской промышленной буржуазии. Современный журналист подчеркивал, что в Москве, которая «была доселе в мнении многих городом бояр русских, — могущественно и сильно среднее сословие, имеющее 5 000 фабрик». ¹ Пушкин, в свою очередь, также писал (в 1833 г.), что «Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развивалась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал Университет по предначертанию Ломоносова. Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смелые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и талантам неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской...» и т. д. («Мысли на дороге»).

Нет нужды подкреплять замечания Пушкина дополнительными данными о промышленном и культурном подъеме Москвы в эпоху 1820—1830-х гг. Укажем только, что по непосредственно интересующему нас вопросу о русской журналистике Москва занимала бесспорно первенствующее положение. Петербургской журналистике, представленной в сущности одной официозной «Северной Пчелой» и преждевременно одряхлевшим «Сыном Отечества», Москва могла противопоставить длинный ряд журналов, сыгравших весьма крупную роль в истории русской общественной мысли: «Мнемозина», «Московский Телеграф», «Московский Вестник», «Атеней», «Телескоп», «Европеец», «Московский Наблюдатель». Только с основанием «Библиотеки для Чтения» (1834) и особенно «Отечественных Записок» (1839) начинается эпоха реконструкции петербургского «журнализма».

Итак, Москва на рубеже тридцатых годов, с ее университетом, кружками, журналами и 5 000 фабрик — была центром русского просвещения и русской промышленности. В этом городе жил и «действовал» (по терминологии того времени) Николай Алексеевич Полевой — редактор «Московского Телеграфа» — журнала, служившего органом буржуазной оппозиции в России тридцатых годов.

¹ М. Т., 1930, № 16, стр. 567. Ср. Ibid., 1832, ч. 44, стр. 254: «В нынешнем состоянии своем Москва более всего есть город промышленный и торговый, город среднего сословия (рецензия Н. Полевого на «Статистическую записку о Москве» В. Андрессова).

Для того, чтобы установить известную закономерность «исторического поведения» Полевого, следует учесть качественное своеобразие той социальной среды, в которой формировалось его классовое самосознание в годы, предшествовавшие широкой литературной и журнальной деятельности (до 1825 г.).

Полевой вошел в историю русской литературы, как «купец-литератор»; купечество Полевого всячески подчеркивалось как его современниками, так и потомками, писавшими об издателе «Московского Телеграфа». Подчеркивал это и сам Полевой: «Я сам купец — писал он, — и горжусь, что принадлежу к сему почетному званию, которое, уступая, может быть, другим в образовании, конечно, не уступит никому в желании добра отечеству и помнит, что из среды его вышел бессмертный мясник нижегородский». ¹ Упоминание в этой тираде имени Кузьмы Минина — не случайно: Полевой никогда не упускал случая напомнить про заслуги купечества в деле «устроения» русского государства.

Между тем, сословное происхождение Полевого, само по себе, ничего не может объяснить в его деятельности и, в свою очередь, нуждается в истолковании. Среда Полевого до 1825 г. — преимущественно русское купечество, причем купечество провинциальное (Иркутск, Курск), то есть, как будто, наиболее косное, консервативное, отсталое и в политическом и в культурном отношении. Однако русское купечество начала XIX столетия вовсе не представляло собою некоей монолитной массы, единой по своему составу, идеологии и культурному быту. При ближайшем рассмотрении выясняется, что бытовым окружением молодого Полевого была определенная, очень узкая группа, выделившаяся, в процессе дифференциации, из общей купеческой массы уже во второй половине XVIII века, — группа относительно передовая, «американизированная» не столько в переносном, сколько в прямом смысле этого слова.

Всей практикой своей литературно-журнальной и общественной деятельности Николай Полевой отталкивался от торгово-буржуазии и перерастал ее. Если мы обратимся к истории купеческого рода Полевого, то увидим, что все его представители на протяжении XVIII столетия перерастали свой класс. Род Полевых — старинный посадский род, именитый и богатый, своего рода купеческая аристократия, гордая своими предками, знающая свою историю. Николай Полевой уже мог нарисовать свое генеалогическое древо и пересказать предания своего рода. ² Все предки Полевого — и отец,

¹ М. Т., 1829, № 19, стр. 362.

² См. его автобиографию в составе настоящего издания. Ср. «Две грамоты рода Полевых» в «Известиях русского генеалогического общества», 1903, вып. II, стр. 46—49.

и дед, и прадед — проектеры и предприниматели, люди большого дела и широкого размаха. Дух предприимчивости и даже своего рода торгового конкистадорства отличает деятельность почти каждого из них; все они — поистине героические разведчики крупного капитала, Колумбы дальневосточных рынков, гибнущие на передовых позициях наступающего в союзе с самодержавием капитализма — в Персии, на Камчатке и даже в Америке. Род Полевого был не только именитым, но и богатым. Прадед Николая Полевого владел в Курске каменной палаткой для хранения товаров, которые он вывозил из Персии. А таких палаток в Курске было всего только две.

Правда, уже к концу XVIII столетия именитый и богатый род Полевых начинает постепенно утрачивать свое могущество. Отца Николая Алексеевича уже посылали торговать мелочью на курском базаре; от былого богатства не осталось и следа, а от знаменитой в летописях Курска каменной палатки осталась одна память — «невещественный капитал», говоря словами самого Полевого. Но разорение не привело Полевых в среду рядового провинциального купечества. Отец Николая Алексеевича — последний «купец», в их семье (так как торговая деятельность самого Полевого была слишком незначительна); он многократно меняет свои пути, от азиатской торговли переходит к чисто-промышленным (хотя по большей части и фантастическим) предприятиям — фарфоровому производству, «выделке рома из арбузов» и, наконец, к водочному заводу.¹ Но, будучи более неугмонным изобретателем и пылким фантазером, нежели трезвым торговцем и предпринимателем, он только в конце расстроил свое состояние и не оставил семье уже никакого «вещественного капитала». Николай Алексеевич в момент выступления своего на литературном поприще был почти нищим молодым человеком; организация журнального предприятия («Московский Телеграф») была отчасти средством укрепления его материального положения.

¹ Винокурение в начале XIX века, при большой насыщенности тогдашнего хлебного рынка, было одним из наиболее выгодных предприятий. В то же время винные монополии пользовались особенною поддержкою правительства. Н. Полевой унаследовал от отца своего водочный завод, в течение нескольких лет уделяя ему много внимания и даже расширил производство (в сотрудничестве с В. С. Филимоновым), но вскоре передал его в управление своего второго брата — Евсевия Алексеевича (см. ниже, в Записках Кс. Полевого, стр. 203). Вопросами винокурения и откупной политики Полевой, однако, интересовался и впоследствии: в делах б. V Отделения собственной е. и. в. канцелярии за 1837 г. хранится докладная записка Полевого «О продаже хлебного вина в Российской империи: историческое обозрение продажи хлебного вина, откупная система и ее невыгоды, новая система и ее выгоды: обеспечение взимания налога, уничтожение распивочных заведений и приучение народа к домашнему потреблению вина» (см. «Архив министерства государственных имуществ, I. Систематическая опись делам б. V Отд. собствен. е. и. в. канцелярии 1824—1856»; 1887, стр. 46).

Полевой рос не только в атмосфере семейных преданий о «героических» похождениях своего деда и дяди в Америке и на Камчатке, но и в очень своеобразной культурно-бытовой обстановке. Род Полевых был не только именитым и богатым, но и просвещенным. Уже прадед Николая Алексеевича славился в Курске как начетчик духовных книг и расписывался «четкими, кудрявыми буквами на купчей курского магистрата», а отец его постоянно читал все выходившие в ту пору русские газеты и журналы и с увлечением предавался спорам на политические и отвлеченные религиозно-философские темы, причем собеседниками его были крупные губернские чиновники, вплоть до самого губернатора. Его круг — и родственный и дружеский — это просвещенная верхушка именитого курского купечества — Голиковы, Баушевы и им подобные; а по службе своей в Российско-Американской компании отец Полевого также примыкал к наиболее передовому купечеству своего времени (Голиков, Шелихов, Хлебников и др.), тесно связанному с иностранным капиталом и с отечественным капитализирующимся дворянством. В Иркутске отец Полевого, по единодушным свидетельствам современников, выделялся из среды купечества, мещанства и мелкого чиновничества своей начитанностью и острым умом. При этом следует добавить, что иркутское купечество вообще отличилось своим несравненно более культурным и независимым, нежели у великорусских тит-титычей, бытом.¹

Естественно, что в этих условиях Полевой уже мальчиком мог проникнуться большим уважением к своему сословию, нежели любой «купеческий сын» в какой-нибудь Чухоме, где догоголевский городничий жал в кулак бесправных и безгласных «самоварников» и «аршинников».

Книга, журнал, газета были обязательными предметами домашнего обихода в семье Полевых. Мать Николая Алексеевича — «сама безотчетная героиня романа своей жизни» (Кс. Полевой) — зачитывалась романами Ричардсона, Жанлис и Дюкре-Дюмениля,

¹ См., например, у И. Т. Калашникова в «Записках иркутского жителя»: «Самостоятельность особенно проявлялась в сословии купцов, составлявших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было ни одного раскольника; все они брили бороды и носили фраки. Гордость их нередко доходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки и пред главными начальниками. . . В городе, где не было дворянства, кроме бедных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый оплот самоуправству и беззаконию» (Р. С., 1905, № 7, стр. 200; речь идет о первом десятилетии XIX века, то есть именно о том времени, когда Полевые жили в Иркутске). Тот же Калашников, характеризуя отца Полевого как человека «весьма умного и честного», пишет, что о братьях Николае и Ксенофонте «и тогда говорили с большой похвалой», а о старшей их сестре (Е. А. Авдеевой) вспоминает: «Я был удивлен ее познаниями, она прекрасно говорила и вела политический разговор о тогдашнем положении Европы, — о чем иркутские дамы, за немногими исключениями, и помышлять боялись» (ibid., стр. 201).

жила в «романическом мире». Круг чтения молодого Полевого достаточно широк, хотя и хаотичен: восьмилетним мальчиком, в Иркутске, он читал библию и французские романы, путешествия Ансона и Кука, «Всемирный путешественник» аббата де ла-Порта и голиковские «Деяния Петра Великого», Боссюэта и Фонтенеля, творения Сумарокова, Ломоносова, Хераскова и легкую прозу Карамзина, «Энеиду» Осипова и сентиментальные драмы Коцебу, «Московские Ведомости» и «Вестник Европы», «Политический Журнал» и «Московский Меркурий». Столь разностороннее чтение безусловно определило энциклопедический характер ранних литературных опытов Полевого: в Иркутске он пишет и стихи, и художественную и историческую прозу, составляет географические описания, издает домашний журнал и домашнюю газету. «С детства он уже был писатель и жил душою и умом в литературном мире» (Кс. Полевой).

Важно учесть не только круг чтения и вообще интеллектуальных интересов молодого Полевого, но также и тот круг живых идеологических воздействий, в котором формировались социальные, политические и литературные мнения будущего издателя «Московского Телеграфа». Уже самые ранние впечатления Полевого слагались в своеобразных условиях восточно-сибирского общественного быта. Сибирь — эта русская Америка — не знала крепостного права, в Сибири русское население (колонизаторы) пользовалось относительно бóльшей, нежели в средней России, гражданской свободой.

Несомненно, что уже в родительском доме Полевой жил в атмосфере расплывчатого «вольнолюбия», что может быть и дало повод некоторым современникам замечать в отце Полевого «наклонность к тому, что ныне называют либерализмом».¹ Сама эпоха — «дней Александровых прекрасное начало» — с ее либеральной фразеологией, которая проникала очень глубоко в различные слои русского общества, в известной мере способствовала усвоению юношей Полевым идей западно-европейского «свободомыслия» (идей Руссо, в первую очередь). Конечно, «свободомыслие» это было своеобразно трансформировано на русской почве и поэтому легко уживалось в Полевом наряду с патриотическими переживаниями современных событий. Он усердно читал патриотическую литературу времен наполеоновских войн («Русский Вестник» Сергея Глинки, ростопчинские «Мысли вслух на Красном крыльце» и пр.), проникнутую пафосом борьбы «угнетенных народов» с «тираном завоевателем».

Значительно более определенный характер носило в этом плане общение молодого Полевого с целым рядом весьма примечательных современников. В культурной жизни Иркутска десятых годов

¹ Ф. Вигель. Записки, т. I, 1928, стр. 253.

ХІХ века большіую роль играли политическіе ссыльные. Среди иркутских учителей Полевого был поляк Горский, сосланный за неизвестное нам политическое преступление (повидимому, он был участником одной из польских конфедераций, действовавших в екатерининское время). Несомненно, что уже самый факт гражданского положения политического ссыльного (жертвы суровой «тирании») должен был привлечь внимание Полевого. Легко предположить, что из рассказов своего учителя, сохранившего в ссылке «и манеры светского человека, и хорошую образованность» (Кс. Полевой), — Полевой мог рано познакомиться с историей героической борьбы Польши за свою независимость и вообще с республиканскими идеями, воодушевлявшими польскую шляхту во времена Пулавского и Костюшки. Еще до встречи с Горским Полевой познакомился в Иркутске с весьма любопытным человеком — бывшим князем Василием Николаевичем Горчаковым. Правда, Горчаков был сослан в Сибирь не за политическое, а за уголовное преступление, но и он принимал самое деятельное участие в культурной жизни Иркутска, устроив, между прочим, первый в Иркутске театр.¹

В Курске Полевой не только «мечтал, почитая себя поэтом, потому что читал Жуковского, сам кропал плохие стихи и плакал за романами Монтолье и Августа Лафонтена» (см. его «Рассказы русского солдата»), но вращался в кругу политически и литературно просвещенных людей. У него были здесь «отменные» (в губернских масштабах) друзья и покровители. Полевой служил конторщиком в богатом доме Баушевых. Это был очень своеобразный купеческий дом. Сам Андрей Петрович Баушев — «купец званием, но по образу жизни и обращению похожий на германского барона и вообще человек чрезвычайно оригинальный» (Кс. Полевой) — типичный представитель нового поколения купечества: он вел обширные торговые дела с Лейпцигом и Бреславлем, в доме у него говорили не по-русски, а по-немецки и читали иностранные книги (здесь Полевой учился французскому, немецкому и латинскому языкам).

Первое выступление Полевого в печати (в 1817 г., на страницах «Русского Вестника») открыло ему доступ в губернаторский дом. Курский губернатор А. С. Кожухов взял на себя исполнение лестной роли губернского мецената, что было (как увидим ниже) весьма модным делом в эпоху десятых годов. В губернаторском кабинете Полевой завязал целый ряд новых знакомств с «сильными мира сего» (между прочим, с известным автором «Словаря русских писателей» архиепископом Евгением Болховитиновым).

Среди «просвещенных покровителей» Полевого в Курске мы знаем трех, общение с которыми должно было оказать на него

¹ Сводку данных о кн. В. Н. Горчакове см. ниже, в указателе имен.

решительное влияние. Двух из них называет в своих «Записках» Кс. Полевой; это были — «богатейший из курских помещиков» Петр Аврамович Анненков, отставной полковник кавалергардского полка. «столько же любезный светский человек, сколько роскошный русский барин», и князь Василий Прокофьевич Мещерский, «одаренный пронизательным, ловким умом, обогащенный множеством сведений, свободно говоривший на нескольких языках». Князь Мещерский познакомил Полевого с французской теорией искусства (по Буало и Баттё), учил его латинскому языку и вообще руководил его филологическими занятиями.

Третьим «просвещенным покровителем» Полевого был Андрей Федосеевич Раевский — поэт и прозаик, брат известного «первого декабриста» Владимира Раевского.¹

Появление Полевого в литературе совпало со временем массового увлечения «русскими самородками», как следствия официально-патриотического воодушевления, усиленно внедрявшегося в русское общество после 1812—1814 гг. «Ободрение» юных талантов, барственное меценатство — стало очередной литературной модой, причем предпочтительно «ободрялись» народные таланты, обнаруженные в низших социальных слоях (крестьяне, дворовые, мещане, купцы). Журнал П. П. Свиньина «Отечественные Записки» был присяжным глашатаем этой моды, здесь из номера в номер печатались сенсационные сообщения о новооткрытых «самородках» — поэтах, живописцах, механиках, химиках, даже астрономах. Стремление к высокому патронажу «простонародных» литераторов и ученых было общим явлением; Академия наук, Российская академия и различные ученые и литературные общества охотно награждали «самородков» дипломами, медалями и кафтанами и выбирали их в число своих членов-соперников. Естественно, что и Полевой, выступивший в печати с нескладной прозой и еще более нескладными виршами, был немедленно и торжественно объявлен «самородком», купцом-самоучкою и с таким паспортом вошел в литературу, благополучно миновав таможенные заставы кружковой и академической критики. В числе первых литературных протекторов Полевого был не кто иной, как пресловутый Свиньин, действительно оказавший ему самую существенную поддержку в первые годы его литературно-журнальной деятельности.

Однако Полевой не пожелал довольствоваться скромной ролью ободренного «самородка», провинциального корреспондента «Отечественных Записок» и «Вестника Европы». Он очень быстро ассимилировался в литературной среде и с первых же шагов повел себя чрезвычайно самостоятельно. На этот раз меценаты и протекторы просчитались: строптивый купчик не только не стал почтительно прислушиваться к голосу «господ литераторов», но объявил

¹ Сводку данных об А. Ф. Раевском см. ниже, в комментарии на стр. 370.

им открытую и беспощадную войну и, что было обиднее всего, выходил в этой войне несомненным победителем. Через какие-нибудь пять лет после появления Полевого в литературном салоне Свиньина, об этом самородке распевали водевильные куплеты: «Купцы полезли на Парнас», и он действительно не, «всходил», а «лез» на Парнас, силой расчищая себе дорогу, под свист и улюлюканье «господ литераторов».

III

Смысл и значение первых выступлений Полевого на литературно-журнальном поприще был в том, что новая (и крупная) литературная сила слишком явно обнаруживала себя как новая социальная сила. Именно в этом и заключалась необычайность его положения, именно это учитывали прежде всего его современники, именно этим объясняется тот прием, который встретил Полевой у огромного большинства русских литераторов и журналистов 1820-х гг. и который нельзя назвать иначе, как злобной травлей. Полемика, разгоревшаяся вокруг имени Полевого, с самого начала приняла формы литературного скандала, небывалого по своим размерам и запальчивости. Смысл этой полемики был значительно глубже, нежели это принято думать. Журнальные фельетонисты, стоявшие на страже литературной законности и порядка, справедливо полагали, что выступление Полевого не есть только литературный бунт, какие уже знала история, но нечто большее и новое — бунт социальный, буржуазная антидворянская оппозиция на фронте литературы.

Современники склонны были считать Полевого проводником идей крайнего политического радикализма. С. С. Уваров, министр народного просвещения, один из вдохновителей николаевской реакции, полагал, что Полевой на страницах «Московского Телеграфа» выражал «дух декабризма». Агенты III Отделения именовали его «атаманом» московской «либеральной шайки». Пушкин определял деятельность Полевого, как «наглуую проповедь якобинизма перед носом правительства». . . Между тем, Полевой, конечно, не был «якобинцем» и ни в какой мере не является родоначальником русской революционной демократии последующей эпохи.¹ Так же, как и мелкобуржуазное «якобинство», ему были органически чужды и враждебны идеи раннего «русского» социализма, с провозвестни-

¹ Характерно, что, высоко оценив Великую французскую революцию как романтическое, «безмерное, и вековое» событие мировой истории, Полевой не принимал ее как выражение мелкобуржуазного «якобинства», самым резким образом выступая против «тех парижан», которые «с трехцветной кокардой на шляпе брали Бастилию в 1789 году» (М. Т., 1831, № 1, стр. 22).

ками которых (Герценом, Белинским и др.) столкнулся он в конце 1830-х гг.¹

Полевой не воспринял и не развил традиции мелкобуржуазного политического радикализма с его тираноборческими устремлениями (Радищев, левое крыло декабристов); он не усвоил ни идей материалистической философии, ни идей утопического социализма с его критикой капиталистического строя; ему вполне чужда осталась гегелевская диалектика; он не до конца осознал понятие классовой борьбы в истории, — но тем не менее он сыграл крупную прогрессивную роль в истории русской общественной мысли, поскольку политические убеждения его были, несомненно, радикального порядка, хотя это и был радикализм особого толка, радикализм буржуазный, в достаточной степени умеренный. В отличие от идеологов дворянского радикализма, Полевой, в сущности, никогда, даже в годы издания «Московского Телеграфа», не думал о политических преобразованиях в России, полагая, что для этого «еще не настало время».

Социально-политические мнения Полевого возросли на почве не вполне критического усвоения идей «трезвого» радикализма французской буржуазии эпохи реставрации и июльской монархии и увлечения национально-освободительным движением в странах Латинской Америки (в Северо-американских штатах также). Он равно увлекался и героическими эпопеями Лафайета и Боливара, и публицистическим пафосом доктринеров, и парламентским красноречием Бенжамена Констана, и теорией борьбы классов в исторических трудах Тьерри, Гизо и Минье, поскольку все это знаменовало победу буржуазии над силами международной реакции эпохи Венского конгресса и Священного союза, — победу, которая, кстати, уже в этот период была подозрительно похожа на сделку.

Полевой был законченным идеологом русской буржуазии; вся его публицистическая практика сводилась прежде всего к пропаганде идеи свободного капиталистического развития России, расширения прав, влияния и повышения классового самосознания буржуазии.

Смысл и значение деятельности Полевого заключаются именно в том, что он представлял в своем лице окрашенную в революционные тона русскую буржуазную оппозицию, выступавшую в 1830-е гг. под знаком борьбы с господствующим классом дворян-землевладельцев. Между тем революционность выступлений буржуазных идеологов была по существу мнимой, так как свержение самодержавия вовсе не входило в программу действий русского «третьего сословия». Программа эта носила особый характер.

¹ См., например, рассказ Герцена в I томе «Былого и дум» о его столкновении с Полевым на почве обсуждения идей сен-симонизма; ср. ниже отзывы Полевого о русских «гегелистах» 1830—1840-х гг.

Время Полевого было эпохой, когда процесс разложения системы натурального хозяйства и крепостного права стал впервые заметным. Обострение и рост противоречий в области классовых и социально-политических отношений явился неизбежным спутником этого процесса. К тридцатым годам Россия вступила в начальный период становления промышленного капитализма, и на историческую сцену вышел новый герой — промышленная буржуазия, судьбам которой, в лице одного из наиболее замечательных ее представителей, посвящена настоящая книга.

Глубоко ошибочным, однако, было бы понимание экономических и социальных сдвигов в России в первую четверть XIX столетия, как результатов полной и безоговорочной победы промышленного капитала. Говорить о «перерождении» царской, крепостнической России в буржуазную монархию — пока еще нет решительно никаких оснований. Несмотря на неоднократные попытки русского самодержавия освоить принципы буржуазной экономической политики, оно оставалось, в основном, крепостническим режимом, опиравшимся на принципы абсолютизма, бюрократии и сословно-классовых привилегий, и класс-гегемон, класс дворян-землевладельцев сохранял в своих руках всю полноту политической власти.

В эпоху тридцатых годов промышленная буржуазия, достигшая к этому времени значительных успехов в области экономических отношений, учитывавшая опыт западных революций, уже начинала переходить в наступление и на дворянскую культуру, выделив из своей среды первых идеологов — буржуазных «просветителей», во главе которых, первым из первых, стоит Николай Полевой. Но преобладающим влиянием в культурной жизни страны попрежнему оставалось влияние дворянско-помещичьей интеллигенции. Николай Полевой жил и «действовал» во враждебном окружении.

Становление и активизация промышленного капитала в России протекали в условиях относительного своеобразия русского исторического процесса. В России буржуазия никогда не вступала в вооруженный бой с монархией, но «мирным путем» втягивалась в поры ее экономического и идеологического организма. Такова была тактика молодого и еще малоомощного промышленного капитала, перед которым стояла первоочередная задача — легализовать свои достижения, преодолеть внутри страны сопротивление старого экономического быта и обеспечить себя от невыгодной конкуренции с несравненно более могущественным и культурным промышленным капиталом Запада. Речь шла о правовых гарантиях, сословных привилегиях и, главным образом, о протекционистских тарифах и если не отмене, то, по крайней мере, об ограничении крепостного права. Вместе с тем молодую русскую буржуазию чрезвычайно привлекал твердый («петровский») характер государственной власти, способной защитить ее интересы на международной арене, а также завоевательная политика самодержавия (непрекращавшиеся войны на

Кавказе и в Персии открывали новые огромные рынки) и, наконец, купечеству крайне льстило, что на всю жизнь зараженный после 14 декабря 1825 г. недоверием к дворянской интеллигенции, Николай I внимательно учитывал интересы и пожелания верной «отечеству, престолу и алтарю» буржуазии, «отдав российское дворянство под надзор полиции, ласкал купечество» (М. Н. Покровский). Эта двойная система — протекционизм, покровительственное «воспитание» национальной промышленности русским самодержавием, с одной стороны, и стремление буржуазии к мирному с ним сотрудничеству, с другой, — определила, в основном, характер идеологической программы Николая Полевого.

Оппозиционные настроения русской буржуазии, «недовольство» купечества в эпоху десятых годов — факт общеизвестный. Над этим задумывались, между прочим, декабристы, — они неоднократно указывали на тяжелое экономическое и социально-правовое положение русского купечества. ¹ Пестель в «Русской Правде» писал, что «в постановлениях о купечестве обретаются большие несправедливости, противоречия и злоупотребления, гибель торговле наносящие». А. Бестужев подробно останавливался на причинах «недовольства» купечества; оно — по его словам — «стесненное гильдиями и затрудненное в путях доставки, потерпело важный урон с 1812 года. Многие колоссальные фортуны погибли, другие расстроились. Дела с казною разорили множество купцов и подрядчиков, а с ними их клиентов и верителей, затяжкою в уплате, учетами и неправыми прижимками в приемé. Шаткость тарифа привела в нищету многих фабрикантов, испугала других и вывела правительство наше из веры равно у своих, как и у чужеземных негоциантов. Следствием сего был еще больший упадок нашего курса [внешнего кредита — В. О.], от государственных долгов происшедший, и всеобщая жалоба, что нет наличных». Декабрист Батеньков, посещая в 1825 г. петербургские купеческие дома, вынес впечатление, что «этот класс

¹ Интересы декабристов, в массе либеральных аграриев, однако, не совпадали с интересами русских промышленников. Любопытна в этом отношении заочная полемика с Полевым декабриста В. Кюхельбекера. Читая в крепостном заключении «Письма из Сибири» известного П. А. Словоцова (напечатанные в М. Т. 1830 г.), Кюхельбекер сочувственно цитирует в своем «Дневнике узника» рассказ Словоцова о нищете и лишениях «служителей мануфактур» (то есть фабричных рабочих): «Нет, пусть у нас за Уралом не будет богачей etc., за то наши зауральцы не сделаются вице-машинами, и не будут терпеть от машин, как в Англии!». И тут же Кюхельбекер с явным осуждением приводит «замечание премудрого господина Полевого», полагавшего нужным заявить о своем несогласии с «либеральной» филиппикой Словоцова: «Почтенный автор, кажется, не с надлежащей точки зрения и весьма односторонне смотрит на мануфактурную промышленность. Вопрос оной весьма сложен и выводы противны его выводам» (см. «Дневник В. К. Кюхельбекера», 1929, стр. 176). Каким были «выводы» Полевого по вопросу о «мануфактурной промышленности» — увидим ниже.

вообще недоволен стеснительными для торговли постановлениями». Известно, что между купцами петербургского Гостиного двора были широко распространены либеральные мнения, здесь открыто говорили о конституции.¹ Наконец, в сводной записке, составленной из писем и показаний декабристов секретарем Верховной следственной комиссии Боровковым, сообщалось (к сведению Николая I), что «купечество находится в угнетенном положении, оно страдает и от торговопромышленного кризиса после 1812 года, расшатавшего многие состояния, и от стеснительных узаконений: права, облагораживающие граждан, присвоены законом не лицу, а капиталу, и потому добродетельный, но бедный купец остается в низшем звании, тогда как бесчестный, но богатый, объявля капитал, получает права, равняющие его с знатнейшим дворянством».²

Полевой и был выходцем из того «добродетельного, но бедного» купечества, за урезанные права которого вступались декабристы. Он — тоже «родов униженных обломок» — сам писал (в автобиографии), что ему недоставало того, «что составляет купцу честь и славу в его кругу — богатства». Начиная еще со времени екатерининской комиссии 1767 года, русское купечество, «полагая свою надежду на высочайшие щедроты, уповало, что и оно не останется без милостивого призрения и получит способы к поправлению бедного своего состояния, а через то избавится от стыда перед счастливыми европейскими купцами».³ На рубеже двадцатых — тридцатых годов возрастающая экономическая сила промышленной буржуазии требовала уже известных политических выводов и Николай I — первый помещик своего государства — принял не только к сведению, но и к исполнению «благонамеренные советы» своих «друзей 14 декабря». С первых же дней его царствования предпринимается ряд решительных мер, обеспечивших успехи промышленного развития России, в частности разрабатываются новые «законы о состояниях», цель которых — укрепление правового положения купечества.⁴

¹ Сводку данных по этому вопросу см. у В. Семевского, Политические и общественные идеи декабристов, 1909, стр. 98—99.

² См. Р. С., 1898, т. 96, стр. 353—362. По жалованной грамоте 1721 г. (и городовому положению 1785 г.) купечество разделялось по принципу имущественного ценза на три гильдии (сверх того крупные капиталисты были выделены в особую группу — первостатейных купцов, или «именитых граждан»). Права, присвоенные купцам разных гильдий, были неодинаковы: по манифесту 1807 г. все купцы были освобождены от подушной подати и личной рекрутской повинности, но купцы третьей гильдии не были освобождены от телесных наказаний (за уголовные преступления); купцам первой и второй гильдий было разрешено содержать фабрики и заводы, купцы третьей гильдии были лишены этого права и т. д.

³ «Исторические сведения о екатерининской комиссии», собранные Полевым, т. II, стр. 38.

⁴ См. книжку П. Иванова, Обзорение прав и обязанностей российского купечества и вообще всего среднего сословия, 1826 г., представляющую итоги

С предельной четкостью и полнотой требования русской буржуазии изложены в чрезвычайно интересном документе 1823 г.: «Начертание представления московского купеческого общества о причинах упадка торговли и купеческих капиталов в России и о средствах к поправлению оных». ¹ Основной смысл указаний, сделанных в этом «Представлении», заключается в пропаганде идей экономического протекционизма. Здесь утверждалось, что свобода внешней торговли, наносящая непоправимый вред отечественной промышленности, несвойственна России; подробно обосновывалась мысль, что «ослабление» внутренней промышленности вызывается в первую очередь «свободным выпуском иностранных изделий»; доказывалась очевидная польза «устроения» фабрик в России, причем приводилась в качестве примера покровительственная система, принятая в петровское время, — а также настоятельная необходимость расширения материальной базы машинного производства («усовершенствование фабрик»). В «Представлении» подробно исчислены «тяжелые последствия» фритредерского тарифа 1819 года, остановившего рост купеческой фабрики и уничтожившего многие купеческие капиталы. Покровительственный тариф 1822 года хотя и открывает — по мнению авторов записки — новые широкие горизонты для отечественной промышленности, но «неизвестность в прочности торговых постановлений» внушает купечеству самые серьезные опасения и «отвращает» его от фабрично-заводского строительства. Короче говоря, московские купцы недвусмысленно предлагали правительству закрепить свою протекционистскую политику более надежными законоположениями.

реформы гражданского законодательства в отношении буржуазии; ср. рецензию на эту книжку в М. Т., 1827, № 4, стр. 319.

¹ См. «История московского купеческого общества», под ред. В. Н. Стожеева, т. II, вып. I, 1916, стр. 290—329. Имеются серьезные основания утверждать, что Н. Полевой принимал участие в составлении этого документа. В одном из многочисленных доносов на Полевого неизвестный автор (повидимому Булгарин) ссылается, (между прочим, на какое-то «мнение» московской купеческой общины, поданное министру финансов в конце царствования Александра I и якобы «сочиненное Николаем Полевым» (см. М. Сухоминов, Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II, 1889, стр. 387; ср. ниже в комментарии, стр. 468). Опубликованное В. Н. Сторожевым «Начертание» было составлено «в собрании членов, избранных московским купеческим обществом» в октябре 1823 г.; 2 ноября этого же года доложено в купеческом обществе, а вслед затем представлено московскому генерал-губернатору кн. Д. В. Голицыну с просьбой передать по инстанции выше — сперва министру финансов, затем царю («Начертание» было получено министром финансов гр. Канкриним в первой половине 1824 г.). Среди подписавших этот документ Полевого нет, все же возможность привлечения молодого образованного купца к составлению ответственного, программного текста, разумеется, не исключена. Но и оставляя в данном случае вопрос об авторстве Полевого открытым, обратиться к этому документу тем более полезно, что он целиком и полностью выражает экономические и социальные мнения самого Полевого, поскольку они ясны из его позднейших публицистических сочинений. Недостаток места, к сожалению, не позволяет нам разобрать «Начертание» 1823 г. подробно.

Политические события эпохи наполеоновских войн, особенно же континентальная блокада с разрывом англо-русских торговых отношений, вызвавшие небывалый до того расцвет отечественной промышленности, — пошли в то же время в ущерб интересам крупного землевладения (способствовали падению вывоза хлеба и прочих продуктов сельского хозяйства). На почве этих противоречий разгорелась ожесточенная борьба между идеологами промышленной буржуазии и аграрного капитализма (политико-экономические школы протекционистов и фритредеров). Борьба эта определила крайне неустойчивый характер экономической политики русского самодержавия в течение первых двух десятилетий XIX века.

В любопытном введении к «Описанию первой публичной выставки российских мануфактурных изделий» (1829) неизвестный автор уже подводил первые итоги энергичной борьбы аграрного и промышленного капитала. Требования и пожелания, выдвинутые в «Представлении» московского купечества 1823 г., — к началу тридцатых годов были уже в значительной мере выполнены русским самодержавием. «Здравая политика» правительства, обеспечившая успехи «домашней промышленности», оградившая ее от «иностранный соперничества» и сохранившая для нее «внутренние рынки» (формулировки подлинника — В. О.) — в этом ключ к пониманию позиции идеологов русской промышленной буржуазии тридцатых годов, Николая Полевого в частности, — позиции, обусловленной идеей политического альянса с самодержавием и тактически заостренной против сословия, являвшегося оплотом самодержавия. Идея альянса, в свою очередь, выражалась в публицистической практике буржуазных идеологов в неизменном демонстрировании наивысшей «благонамеренности» и была продиктована стремлением поставить на службу интересам промышленного развития России весь налаженный аппарат государственной организации.

IV

В ряду защитников прав и привилегий русской буржуазии начала XIX столетия Полевому по праву принадлежит первое место. С исключительной энергией и последовательностью повторял он, что «деятельная промышленность и возвышение производителей средних званий есть шаг к прочному благоденствию государства» и что «купеческое звание стоит в ряду других званий российского гражданства как почетное и заслуживающее уважения в глазах истинно-просвещенного человека». ¹ В основу всех публицистических высказываний Полевого (эпохи «Московского Телеграфа») положена идея органической связи и взаимодей-

¹ М. Т., 1826, № 2, стр. 326—327.

ствия свободного капиталистического развития и культурного подъема, «промышленности» и «просвещения». «Благосостояние государства является только тогда, — писал Полевой, — когда все физические способности государства живы и деятельны; для сей жизни, для сей деятельности должны быть возбуждены душевные или умственные средства. Не остается более сомнений, что только при соединении вещественного и невещественного капиталов государство является в полноте народного бытия. Признаком достижения к сей полноте со стороны вещественной бывает промышленность, со стороны умственной — литература».¹

Эту мысль Полевой подробно обосновал в одной из своих программных речей, произнесенных в Московской практической академии коммерческих наук, а именно в «Речи о невещественном капитале — capital immatériel, — как одном из главнейших оснований государственного благосостояния и народного богатства» (1828).² «Просвещение, — по словам Полевого, — есть главнейшее основание благосостояния каждого государства, ибо оно составляет часть народного богатства, более важную, нежели богатство вещественное; оно есть невещественный капитал, без коего капитал вещественный не только маловажен, но совершенно ничтожен».

В другой своей речи — «О купеческом звании» (1832)³ Полевой особо касается вопроса о буржуазном просвещении; он видит залог успехов «великого дела образования и воспитания купече-

¹ М. Т., 1828, ч. 23, стр. 241. Полевой неоднократно подчеркивал, что в его «гражданской» деятельности сочетались оба эти признака: «Слава богу! на малом поприще, где судьба велела мне действовать, есть дело: я литератор и купец (соединение бесконечного с конечным) и могу работать doubly» — писал он в неизданном письме к кн. В. Ф. Одоевскому 16 февраля 1829 г. (ГПБ).

² Речь эта была издана дважды в том же 1828 г. Понятие о «невещественном капитале» было заимствовано Полевым, повидимому, из французской политико-экономической литературы; на русской почве оно появилось впервые в работах академика А. К. Шторха. Мысли Полевого о «невещественном капитале» были жестоко осмеяны его антагонистами в бесчисленных памфлетах; единственный восторженный отзыв о «Речи о невещественном капитале» появился в рижской немецкой газете «Estons» (1829, № 24, особое приложение); принадлежал он перу сотрудника «Московского Телеграфа» Н. Борхардта. Позднее мысли Полевого были подхвачены К. Гергардом в брошюре «Рассуждение о том, что словесность вообще, и в особенности отечественная, служит не только улучшением, но и достоянием купеческого сословия» (СПб. 1833), где читаем: «Торговля, сей обильный и вечно неиссякаемый источник общественного богатства, а следовательно и благосостояния, сия чудесная пружина, приводящая в движение и огромные капиталы, и промышленность народную, ссть вместе и источник умственного просвещения и образованности государств и народов» (стр. 10).

³ Речь эта была издана в том же 1832 г. со следующим посвящением: «Почтенным согражданам, купечеству, первопрестольной Москвы, с глубоким уважением посвящает сочинитель, купец московский».

ского сословия» в «усиленном деятельном движении вперед, которое с начала нынешнего столетия, и особенно в последние годы, ознаменовало бытие нашего отечества». Под «движением вперед» Полевой понимает, в первую очередь, промышленный и культурный подъем под спасительной эгидой «мудрого правительства». «Сильнее обращается, — пишет он, — ныне кровь в государственных жилах России; деятельнее движутся теперь члены сего огромного исполина Северного. Все сословия, по отчету ума и сознанию опыта, чувствуют необходимость соответствовать усердием и ревностью благим намерениям мудрого правительства — все теснее сближаются, дружнее дают одно другому руку, на дело чести государственной и пользы частной. Купечество — с благородною уверенностью в самих себя произносим сии слова — купечество русское не изменяет в общей жизни отечества призыву ко всему великому, прекращенному и благому, обещаемому будущей судьбою России. Возвышенное духом патриотического соревнования, уже вполне понимает оно любовь и благоволение к нему монарха и приятное участие других государственных сословий. Разделяя общее желание добра, оно быстрее прежнего устремилось ныне на поприще гражданской доблести». «С сердечным чувством радости» вспоминает Полевой промышленные выставки 1829. и 1831 г. — эти «два торжества отечественной промышленности», пробудившие в русском купечестве «сознание своего достоинства», и т. д.

Обе речи Полевого выдержаны в сугубо «благонамеренном» тоне; они не только кончаются откровенными панегириками по адресу Николая I («Се он, избранный богом человек, се он — монарх России, к коему стремятся взоры и сердца наши! Царь Русский!» и т. д.),¹ но и изобилуют комплиментами, расточаемыми по

¹ Аналогия: Петр I — Николай I, резко подчеркнутая Полевым в его «Речи о купеческом звании» (он пишет, что «десница Николая «простерта» к русскому купечеству так же «благоволительно, как десница великого предка его и примера Петра Великого»), характерна не для него одного; аналогия эта была «общим местом» в литературе тридцатых годов, пользовалась кредитом у самых различных людей эпохи. Но если у одних, как хотя бы у Пушкина, сопоставление Николая с Петром имеет значение, по преимуществу, моральной категории («семейным сходством будь же горд»), то у Полевого эта прописная аналогия целиком входит в состав его классовой идеологической программы. Для Полевого было важно не то, что «был от буйного стрельца Петром отличен Долгорукой», но то, что Петр был царь-купец, ставленник и покровитель русского капитала на определенной ступени его развития. Недаром Полевой так много и охотно писал о Петре — и в публицистических, и в художественных своих сочинениях. Достаточно будет вспомнить одного только «Дедушку русского флота», где незримый на сцене Петр рисуется идеальным опекуном мелких буржуа и «иностранных специалистов» (вельможество из пьесы вообще устранено, но зато расхвален Лефорт); также и в «Иголкине» купца-патриота встречают по приказу царя с хлебом-солью (заключительные слова пьесы содержат прямое обращение к Николаю I: «Да будут цари русские подобны царю Петру Алексеевичу»).

адресу «первенствующего сословия» — дворянства. Полевой отнюдь не касается вопроса об уничтожении дворянства, как класса-гегемона, он настаивает только на равноправии буржуазии в сфере «жизни общественной», деятелями которой равно являются «чиновник и купец, дворянин и гражданин». Он развивает даже идею своего рода классового мира («все сословия... теснее сближаются»), персонифицируя ее в образах Минина и Пожарского: «Не в наше время препираться о первенстве сословий... Минин и Пожарский, поставленные рядом и равно движимые на спасение и славу отечества, да будут, ныне и навсегда, эмблемою нашею.¹ Мы должны ревновать друг другу не тщеславною горделивостью и не спорами о преимуществах одного сословия перед другим; не тленными хартиями, не пыльною летописью, где для неславного потомка записаны дела великих предков, должны мы доказывать наше достоинство... Да будут для нас священны права и отличия каждого сословия, да будет каждое из них почтено в исполнении своего долга и обязанностей, налагаемых на него законом божием и человеческим. Наши выводы ведут именно к тому, доказывая, что взаимное неуважение сословий и презирающая взаимная ненависть их суть плоды грубого невежества, необузданных страстей или буйного своевольтва. Все они необходимы, все основаны на верных законах ума и условиях природы и бытия человеческого. Кроме того, все сословия взаимно заменяют одно другое, и самые занятия их сливаются... Мы убеждаемся самым умозрением и уроками опыта, что среди всех сословий звание купца, гражданина столько же почетно, благородно и необходимо, как и другие звания».

Оставляя в стороне вопрос о монархических симпатиях Полевого (он всегда оставался верноподданным Николая I), следует отметить, что благонамеренные комплименты по адресу «первенствующего сословия», которые расточал он в своих о ф и ц и а л ь н ы х речах (по званию члена совета Коммерческой академии и московского Мануфактурного совета) в значительной мере вызваны были, разумеется, посторонними соображениями тактического порядка.

V

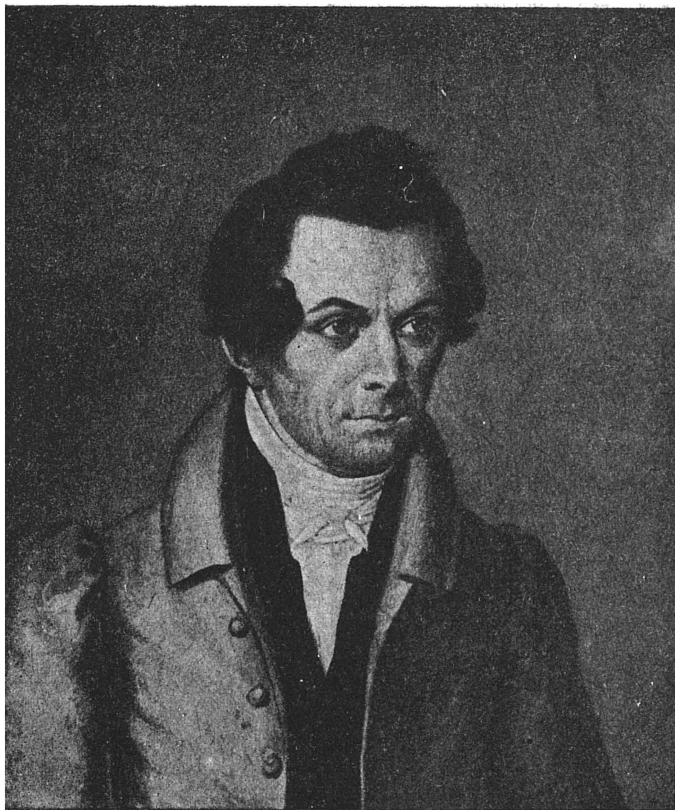
Под свои размышления об исторических судьбах русской буржуазии Полевой подводил широкую идеологическую базу. Его речи «О неведущественном капитале» и «О купеческом звании», а также

¹ В 1833 г. в Московской практической академии коммерческих наук Полевой произнес специальную речь «Козьма Минич Сухорукой, избранный от всея земли русский человек» (издана в том же 1833 г.), где доказывается, что именно русскому купечеству, в лице Минина, династия Романовых обязана своим самодержавием.

примыкающий к ним программный «Разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем» (предпосланный роману «Клятва при гробе господнем», 1832 г.) замечательны также тем, что в них Полевой развивал историко-философскую и общественно-политическую идею «руссизма», основной смыслом которой заключается в том, что России — «особой части света», «земле надежды», «только начинающей свое гражданское и умственное бытие», — суждена мессианская роль «обновительницы» мира — Европы, «находящейся в преклонном развитии духовных и телесных сил», будущее которой «являет печальную старость». Самая фразеология Полевого до некоторой степени совпадает с прописными формулами официального «руссизма», выдвинутыми самодержавием в качестве основных принципов политического и религиозно-морального сознания. Правда, Полевой не говорит прямо о том, что мессианская роль России суждена ей в силу ее православия, национальной культуры и исконного политического строя, и видит залог ее грядущих успехов почти исключительно в укреплении буржуазии, в эмансипации молодой русской промышленности от власти иностранного капитала и в завоевательной политике самодержавия. «Нам предстоит исхищение из рук иноземных источников богатства, украшение отчизны плодами промышленной деятельности, — пишет он. — Настанет время, когда сильные купеческие флоты наши возвеют паруса на Балтийском, Каспийском, Черном морях и от берега Северо-Западной Америки, из Индейских островов и стран принесут богатства к берегам Восточной Сибири, и изумленный Китай увидит флаги наши...» и т. д.¹ Но, тем не менее, свою проповедь буржуазного процветания Полевой облакает в покровы наивысшей «благонамеренности»; наряду с «сознанием собственного достоинства», «уважением к самим себе» и «верой в добродетель», он рекомендует русской буржуазной молодежи, в качестве основного жизненного правила, — преданность закону и престолу: «На сем краеугольном камени мы всегда зиждили и зиждем все наши помышления, все дела, все поступки, все надежды наши!»

«Руссизм» Полевого — явление сложное. Это одна из разновидностей национал-романтического либерализма, который, противопоставляя Россию и Европу как два культурно-исторических мира, принципиально различных по духу и формам их религиозного и политического быта, оговаривает, тем не менее, свое право на пропаганду идей западно-европейского буржуазного строя. В этом его отличие от реакционного казенного национализма Уваровых и Бенкендорфов. Идеи национализма являлись в эпоху Полевого реакцией на дворянский космополитизм екатерининского и александровского времен; между тем Полевой обвинялся своими

¹ «Речь о купеческом звании».



Николай Полевой

антагонистами не в чем ином, как именно в «космополитизме». И действительно, вряд ли кто другой в николаевской России, кроме издателя «Московского Телеграфа», с таким глубоким убеждением и редкой настойчивостью действовал в пользу «европеизации» русского быта и русской культуры. Это кажущееся «противоречие» нуждается в объяснении. Полевой — один из самых, казалось бы, несомненных западников своего времени — был типичным и законченным националистом, но осложнил свой «патриотизм» тем, что сам назвал «высшей точкой зрения».

Повидимому, Полевому принадлежит честь изобретения крылатого слова «квасной патриотизм»; во всяком случае оно вышло из редакции «Московского Телеграфа» и имело в виду именно тот официальный патриотизм Уваровых и Бенкендорфов, который нашел свое выражение в знаменитой триаде: «православие, самодержавие, народность». Полевой объявил себя решительным врагом квасного патриотизма¹ и следующим образом сформулировал свою точку зрения на «внутреннее образование» России: «Судьба русской земли необыкновенна тем, что Русь поставлена между Югом и Севером, между Европой и Азией, обширна, могущественна, но младшая сестра всем другим европейцам. До Петра Русь возростала отдельно от Запада: была в Европе, и вне Европы. Только Петр начал настоящее образование Руси. Форма сего образования должна была быть Европейская, а не Азиатская, по тому же, по чему дважды два четыре, белое не черное, а черное не белое. Прошло уже сто лет, как мы двинуты в Европу, но — только в естественности. Мы сильные, могучи, чудобогатыри. Мы ломали рога турецкой луны, вязали лапы персидского льва, переходили через Альпы, сожгли величие Наполеона в Москве и заморозили его славу, загнали шведов за Ботнический залив и подписали один мир в Париже, другой под стенами Царяграда. При всем том (чего стыдиться нам истины?) по умственному образованию — мы всех Европейцев моложе, мы еще дети!.. Мы еще не дозрели... Русь, могущественная, силь-

¹ «Кто читал, что писано мною донныне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю.. В этом, как и во всех своих правилах и мнениях, я готов всегда сознаться, готов всегда подтвердить их перед кем угодно, — писал Полевой («Разговор между сочинителем русских бейей и небылиц и читателем»). Изобретение слова «квасной патриотизм» приписывалось также П. А. Вяземскому; ср. в статье, принадлежащей, повидимому, его перу: «Пора нам оставить несправедливую мысль, будто восклицания доказывают чтонибудь; будто патриотизм непременно требует на сто манеров твердить одно и то же о нашей славе, о наших добродетелях, без всяких доказательств. Нет! истинная любовь к отечеству состоит не в том, чтобы, восклицая о славе предков, ставить фразы без связи и почитать космополитом того, кто в этих фразах не находит большого толку!» [М. Т., 1826, ч. VII, стр. 185; подпись А. (Асмодей? — В. О.)]. См. также М. Т., 1829, ч. 25, стр. 129 и примечание М. П. Погодина к статье И. Кулжинского «Полевой и Бединский» в газете «Русский», 1868, № 114, стр. 4.

ная, крепкая, есть недозрелый плод. Вещественно — она все кончила; умственно — только все начала и ничего еще не кончила!.. Довольно хвастовства, довольно внешности. Уверимся, что внутреннее образование наше должно начаться сознанием достоинства других народов. Затем — с одной стороны, философически рассмотрим европейскую образованность и требования века, отделим доброе от худого, бросим злую половину, как говорит Шекспир, и извлечем для себя формы европейского образования. С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя. В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние недостатки и выгоды наши... Мы извлечем таким образом стихию народности. Зная формы европеизма и стихию руссизма, скажите, — чего не сделаем мы из Руси нашей, из нашего народа, закаляемого Азиатским солнцем в снегах Севера? Мы победили Европу мечем, мы победим ее и умом: создадим свою философию, свою литературу, свою гражданственность, под сению славного престола великих монархов наших!»¹

Как видим, Полевой очень далек от того, что мы привыкли понимать под «западничеством». Откуда же у него эти почти славянофильские мысли о России как «третьем Риме»?

Здесь не место подробно выяснять вопрос о националистских и праславянофильских течениях в русской философии и публицистике начала XIX века, но имеет смысл указать на широкое распространение в кружках русской интеллигенции 1820-х гг. идей романтического национализма, генетически связанных с учением Гердера о национальных особенностях характера, нравов и общественного быта древних славян; Гердер первый заявил, что история России и история Запада — различны. Учение Гердера было развито славянскими историками (Добровским, Мацеевским, Шафариком, Лелевелем), в работах которых уже явственно можно различить корни позднейшего славянофильства. Полевой чрезвычайно высоко ценил Гердера, называя его «одним из влиятельнейших гениев, какие озаряют историю человеческого просвещения», «мыслителем первостепенным»;² был он знаком также и со славянскими, преимущественно польскими, историками, многими положениями и выводами которых воспользовался в своих собственных исторических работах.³ Особо следует отметить в плане усвоения Полевым идей романтического национализма также и влияние, оказанное на него немецкой идеалистической философией, Шеллингом в первую очередь.

¹ «Разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем».

² М. Т., 1828, ч. 20, стр. 137. Примечание Н. Полевого к переводной статье: «Гердер».

³ О «польских отношениях» Н. Полевого см. на стр. 418 настоящего издания.

Заклячая «стихию руссизма» в «формы европеизма», Полевой и в данном случае следовал основному закону своего мировоззрения — принципиальному эклектизму, печать которого лежит на всей его публицистической и литературной практике. «Западничество» Полевого следует понимать весьма условно и ограниченно. Просветительские тенденции промышленной буржуазии определили характер и направление его боевых выступлений против отечественного «горделивого полуневежества» в пользу идеи постижения социальной и культурной истории Запада. Но нигде ни одним словом Полевой не обмолвился, что овладеть высотами европейского просвещения Россия может, только усвоив весь опыт западно-европейского исторического процесса. Активное западничество Чаадаева или Герцена было органически чуждо и враждебно Полевому. И не так уж неправ был Аполлон Григорьев, когда писал: «Полевой был вовсе не западник, а вполне и в высшей степени русский человек и менее всего отрицатель идеи народности» («Мои литературные и нравственные скитальчества»). Идеей «народности» проникнуты все сочинения Полевого эпохи тридцатых годов. В петербургский период его жизни идея эта уже весьма гармонично перекликалась с официальной теорией Уварова, доказывавшего, что русский исторический процесс характеризуется в отличие от западно-европейского, отсутствием классовой борьбы, что, в свою очередь, предохраняет Россию от революционных потрясений.

Касаясь вопроса об идее «народности» в понимании Полевого (России суждено «внести в Европу особую стихию духа», являющуюся «типом восточно-европейского образования» и «завещанием умиравшей Византии»),¹ — Г. В. Плеханов писал (в статье «Погодин и борьба классов»): «Ясно, что по этой канве легко было бы вышить узор во вкусе самой «официальной» народности. Как знать! Может быть, наличие этой византийской канвы и помогла впоследствии Полевому совершить поворот в сторону Булгарина». Дело, конечно, не в повороте Полевого «в сторону Булгарина», которого (поворота), строго говоря, вообще не было, но указание на известную закономерность пути Полевого, приведшего его в конце концов в лагерь рептильных петербургских литераторов, — совершенно справедливо.

Тем не менее не следует умалять значение и роль Полевого.

¹ «История русского народа», т. V, стр. 13. Ср. в статье «Памятник Петра Великого»: «Бесспорно то, что России определена в будущем великая роль в истории Европы; что Россия, конечно, должна внести новую стихию в мир западный и, следовательно, что доньше вся ее история была только приготовлением к истории будущей» («Живописное Обозрение», 1835, т. I, стр. 108); статья эта была одобрена Николаем I и сыграла большую роль в деле «примирения» Полевого с правительством. Внесение в Европу «русской стихии» в понимании Николая I и Уварова заключалось в том, что Россия должна была сыграть роль всевропейского жандарма.

В эпоху своего подъема, в эпоху «Московского Телеграфа», Полевой, «будучи частным человеком и действуя как честный писатель», со всей силою своего незаурядного публицистического пафоса обрушивался на «горделивое полунежежество», «смешное самохвальство», «квасной патриотизм». Полагая, что «умственное сбраование состоит в полном развитии внутренних сил, внутреннего духа» и что «такого полного развития у нас еще нет», Полевой доказывал, что для достижения этого развития необходимы четыре условия: «искреннее сознание у нас существующих недостатков, справедливое сознание чужеземных преимуществ, верное познание сущности самих себя и умение пользоваться чужим хорошим, отвергая чужое дурное». ¹

Первое условие Полевой считал «начальным», основным, но в то же время его исходная политическая позиция и внешние условия, в которых ему приходилось жить и работать, естественно не давали ему возможности широко развернуть критику политического строя самодержавно-крепостнической России. Время было глухое, и в своих официальных выступлениях Полевой, ради вящшей осторожности (а отчасти и принципиально) считал нужным заявлять: «о внутреннем государственном устройстве ничего не будем говорить: это не наше дело». Однако он меньше всего был склонен замалчивать «явные недостатки нашего общественного устройства», и в этом плане критика его была и широка, и принципиальна. Приноравливаясь к цензурным условиям (и все же подвергаясь непрерывным гонениям), прибегая к авгурскому языку, к тщательной маскировке, Полевой в своих статьях, художественных произведениях и нравоописательных фельетонах «Нового Живописца» был, пожалуй, единственным «обличителем» в легальной литературе конца двадцатых и начала тридцатых годов.

Единственно, на чем открыто настаивал Полевой, это на праве «частных и честных» людей «споспешествовать» «благонамеренному и мудрому» правительству. Основной смысл рассуждений Полевого в пользу идеи органической связи и взаимодействия свободного капиталистического развития и культурного подъема, а также идеи политического альянса, своего рода *entente cordiale* буржуазии с самодержавием, — четко сформулирован в том же «Разговоре между сочинителем и читателем»: «Проявление вещественного и невещественного богатства зависит именно от нас, частных и честных людей. Мы производигели, мы должны помогать правительству, создавая русскую промышленность, русское воспитание, русскую литературу, — словом — русское образование».

Образование, просвещение — в понимании Полевого — есть

¹ «Разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем».

единственно-верная гарантия победоносного завершения борьбы русской буржуазии за гегемонию не только в хозяйственной, но и в социально-политической и в культурной жизни страны. Из ряда культурных дисциплин Полевой особо выделяет литературу, ибо прежде всего и больше всего он был литератором. Его боевым оружием было перо, — перо критика, беллетриста, историка, — и это оружие он профессионально обратил на службу своему классу.

VI

«В нашей литературе есть явление самобытно-русское, — человек, жизнь которого, преимущественно пред всеми, походит на роман. Судьба указывала ему дорогу налево — он пошел направо. Десять раз мог он своротить с тропинки своей на общую дорогу — двадцати лет быть богатым купцом, тридцати лет чиновником: он остался купцом и сделался литератором. . . Пойдите к нему и вы увидите русского семьянина, вокруг которого нет ничего ни школастического, ни журнального. Вокруг него бегают и шумят его дети. В стороне, на полках, стоят несколько книг, перед ним простенький письменный стол: хрустальная чернильница, несколько перьев, листов шесть розовой неклееной бумаги и отдельный листик с начатой статьею. . . Вот и все! — Он не высок ростом, худ и бледен. Ему, однако только сорок семь лет, хоть он и сидит за письменным столом своим уже двадцать семь лет и еще вчера просидел за ним двадцать часов. *Ora et labora* — девиз его. . . Если бы надобно было определять его, мы назвали бы его телеграфом и дей. В течение двадцати пяти лет сердце и ум его отзывались на все, что говорено и делано у нас и в Европе, и все, что он читал и думал, он говорил вслух. Что делать! Его, как и многих, опыт не научил молчать! Молчит он сегодня, — значит завтра заговорит громче».

Эту живописную характеристику Николая Алексеевича Полевого мы выписали из анонимного фельетона, появившегося за два года до его смерти.¹ В эту пору Полевой действительно «молчал», но уже никогда и не «заговорил громче»; слова: «судьба указывала ему дорогу налево — он пошел направо» — имеют для нас символический смысл, более глубокий, повидимому, чем тот, что придавал им безымянный фельетонист: в эту пору Полевой стоял под позорным знаменем Фаддея Булгарина и расхваливал бездарные романы Штевена только потому, что автор их был частным приставом. Но в фельетоне совершенно верно подмечены профессионализм и «протеизм» Полевого, — этого истинного «телеграфа современных идей».

¹ «Листок для светских людей» 1844, № 9.

В самом деле, литературно-журнальная деятельность Полевого была исключительно широка и многогранна; он с равным успехом и с одинаковой энергией выступал в роли публициста и критика, беллетриста и драматурга, переводчика и поэта (особенно поэта-пародиста), историка и писателя по вопросам политической экономики, — и в каждой области он сумел сказать новое слово.

«Полевой начал демократизировать русскую литературу, он заставил ее сойти с ее аристократических высот и сделал ее более народной или, по крайней мере, более буржуазной», — в этих словах Герцена дано верное (хотя и слишком общее) определение литературно-журнальной деятельности Полевого и его роли в истории русской общественности.

На рубеже тридцатых годов в России зарождалась буржуазная литература и уже намечался распад литературы дворянской. Выработывался новый взгляд на литературу, как «важную часть общественного быта» (Полевой). Журналы много внимания уделяли вопросам «сближения литературы с жизнью». В 1831 г. уже подводились в этом плане некоторые итоги: «Сим годом словесность наша, доканчивая третье десятилетие XIX века, сделала новое движение, состоявшее в заметном ее сближении с жизнью. Она уже перестала быть предметом и занятием, и наслаждений, отдельных от действительной нашей жизни. Сие знаменуется многими собственно и не-собственно литературными происшествиями. В сем году внятнее заговорили о литературе как о выражении общества». ¹ Под «не-собственно литературными» происшествиями следует понимать, в первую очередь, то обстоятельство, что на рубеже тридцатых годов в России было открыто новое эльдорадо — область неизвестных до того времени коммерческих, товарно-денежных отношений в литературе. Стихотворение и перевод, статья и водевильные куплеты, роман и поэма — стали товаром, который можно было покупать и продавать; проблема наживы, спекуляции, обогащения за счет литературы впервые встала во весь рост именно в эти годы. Один из виднейших литераторов-профессионалов того времени — Н. И. Греч — имел все основания заявить, что «занятия литературою начали давать у нас выгоды существенные, то-есть денежные». Еще недалеки те времена, когда напечатать книгу или предпринять издание журнала значило задолжать в типографию и бумажную лавку. Ныне постоянное занятие по какой-нибудь части словесности и наук несомненно принесет и верную прибыль. Это важно для успехов литературы». ² С этим соглашался и Пушкин, писатель из другого, враждебного Гречу, лагеря, но неуклонно шед-

¹ Ив. Киреевский, Обзорение русской словесности 1830 г. (в альманахе «Денница» на 1831 г.).

² Сочинения Н. И. Греча, т. III, 1855, стр. 343.

ший к профессиональному занятию литературой. «Литература ожи-вилась, — писал он в 1831 г., — и приняла обыкновенное свое на-правление, т. е. торговое. Ныне составляет она отрасль промыш-ленности, покровительствуемой законами. Изю всех родов литера-туры периодические издания более приносят выгоды и чем раз-нообразнее по содержанию, тем более расходятся».

Замечания Греча и Пушкина справедливо свидетельствуют о том, что в конце двадцатых — начале тридцатых годов журнал приобрел особое значение: русский литературный процесс развер-тывался в эту эпоху под знаком «журнализма». ¹ Первая четверть XIX столетия не знала журнала как такового; его замещал аль-манах. Самое название «журнал» имело в ту пору преимуще-ственно номенклатурное значение; недолговечные журналы десятых годов были лишены того специфика, который определяет собою самое журнальное, и как по своей конструкции, так и по своим хозяйственно-организационным формам приближались к типу сборников, альманахов. Процесс общей профессионализации лите-ратурного дела, наряду с быстрым ростом новых читательских кадров, определил социальный заказ на большой журнал энцикло-педического содержания, знакомый в России до того времени лишь по западно-европейским образцам. Журнал Полевого «Московский Телеграф» (1825—1834) явился на этом пути первым достиже-нием, а наиболее точным выполнением заказа стала (десятилетием позже) «Библиотека для чтения» О. Сенковского, опыт которой был усвоен «Отечественными Записками» А. Краевского, опреде-лившими собою классический тип русского «толстого» журнала XIX века. Вместе с тем, на рубеже тридцатых годов журнал повсе-местно и в очень короткий срок вытесняет альманах, низводит его на низшую ступень; альманах ощущается в эту пору как дурная традиция, как анахронизм; он вульгаризируется и становится до-стоянием третьеразрядных писателей — «альманашников», не при-влекая к себе внимания передового читателя. Попытки оживить альманах, вернуть его на утраченные им позиции, обратно в «высо-кую» литературу (см., напр., альманахи, издававшиеся кружком Раи-ча, «Денницу» Максимовича и некоторые другие) успеха не имели.

Вытеснение альманаха журналом в эпоху буржуазного на-ступления на русскую литературу имеет свой социальный смысл. Альманах вполне соответствовал тем камерным формам «дела ли-тературы», которые господствовали в первую четверть XIX сто-летия, — он отвечал той кружковой и салонной культуре друже-ских или полуофициальных литературных объединений, которая определяла занятия литературой как частное, интимное дело за-

¹ К замечаниям Греча и Пушкина можно присоединить и позднейшее сви-детельство Н. Полевого: «1825-й и 1826-й годы вдруг породили у нас десятки журналов, начали журнальную критику, сделали журналистку отражением всего, что зашевелило тогда нашу литературу» (С. О., 1840, т. I, стр. 436).

мкнутой среды дилетантов — «любителей изящного». Альманах — также дело частное, семейное; состав его участников, как правило, невелик, сотрудники тесно связаны друг с другом обычно не только в сфере своих литературных взаимоотношений, но и в другой, уже чисто бытовой сфере.

В тридцатые годы журнал принципиально противопоставляет себя формам кружковых, интимных объединений, домашней литературе «для немногих», и снизу доверху перестраивает весь мир литературных отношений. Журнал знаменует собою выход литературы «на улицу» из тупика кружков и салонов, он деформирует «дело литературы» под знаком его профессионализаций и определяет процесс окончательной дифференциации писателей на литераторов-профессионалов, с одной стороны, и «последних поэтов» (вроде Раича, Боратынского и Языкова), с другой; при этом размежевка идет не только по принципу литературных позиций, но и по осозанным принципам четких социальных категорий.

Путь от салонных чтений десятых годов, от дружеских сборищ Арзамаса, от полуофициальных собраний Беседы любителей русского слова до редакционных совещаний сороковых годов, — это путь всей русской литературы за указанный период. Журнал явился прямым и непосредственным ответом на требования литературной эпохи, он же и характеризовал лучше всего эту эпоху.

Еще журналист Карамзин был поставлен в прямую и жесткую зависимость от «субскрибентов» своего журнала. Но только к началу тридцатых годов читатель выступает как реальная сила. Журналисты тридцатых годов поистине охотились за читателем как за редким зверем. Особое значение приобретает слово «подписчик»; журналы вступают на путь отчаянной конкуренции, и споры о «журнальной монополии», «журнальных откупках» на долгое время заглушают все остальные. Секрет журнального успеха Булгарина заключался именно в том, что он шел навстречу читателю по пути безоговорочного потакания его вкусам (выполняя миссию официального журналиста, Булгарин, конечно, в свою очередь активно влиял на эти вкусы). Позиция Полевого отмечена чертами значительно большей независимости: приняв заказ читателя на массовый энциклопедический журнал, уважая и учитывая его интересы, он полагал все же своей главной задачей регулирование вкусов своего заказчика, — он пытался его литературно воспитывать. Наряду с этим «Московский Вестник» и «Московский Наблюдатель» (первой редакции) сознательно шли на разрыв с массовым читателем и пытались одержать победу, ориентируясь на узкий круг высококвалифицированных «любителей изящного». Победу одержал Полевой, в журнале которого учет вкусов массового читателя (Полевой не обинуясь писал, что «писатели созданы для читателей»)¹

¹ М. Т., 1827, ч. 13, стр. 238.

уживался с принципом сохранения высоких эстетических норм, с борьбой за «большую», высококачественную литературу.

Читательские вкусы диктовали русским журналистам необходимость обратиться к комбинированным формам журнала; чисто-литературный журнал вытеснялся журналом энциклопедическим, в котором равное внимание уделялось и литературе, и философии, и социологии, и сельскому хозяйству, и новостям мод; модные картинки стали обязательным компонентом журналов тридцатых годов, и даже аристократический «Московский Наблюдатель» не имел возможности обойтись без них.

Полевой, по словам Герцена, «родился быть журналистом, летописцем успеха и открытий, политической и ученой борьбы»; Белинский также отмечал, что Полевой «был литератором, журналистом и публицистом не по случаю, не из расчета, не от нечего делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию. Он никогда не negliжировал изданием своего журнала, каждую книжку его издавал с тщанием, обдуманно, не жалея ни труда, ни издержек. И при этом он владел тайною журнального дела, был одарен для него страшною способностью. Он постиг вполне значение журнала как зеркала современности... Без всякого преувеличения можно сказать положительно, что «Московский Телеграф» был решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики». ¹ Современники — равно и друзья и враги Полевого — единогласно сошлись в мнении, что «Московский Телеграф» представлял собою «явление замечательное». Можно сказать, что с выходом в свет первой книжки «Московского Телеграфа» началась эпоха русского «журнализма». И по широте своего диапазона (энциклопедичность содержания, расчет на возможно более широкую аудиторию), и по принципиальности своих установок «Московский Телеграф», по справедливому замечанию П. В. Анненкова, «был совершенной противоположностью духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заместил, образовал новое направление в словесности и критике. С его появлением журнал вообще приобрел свой голос в деле литературы вместо прежнего назначения: быть открытой ареной для всех писателей, поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве». ² Здесь Анненков верно подмечает основные качества «Московского Телеграфа» — его партийность и целеустремленность.

Полевой и сам прекрасно сознавал всю значительность своей роли в истории русской журналистики: «Когда начал я издавать журнал, — писал он, — была ли тогда эпоха журналов?»

¹ В. Белинский, Николай Алексеевич Полевой, 1846, стр. 49—50.

² П. А. Анненков, А. С. Пушкин, материалы для его биографии, 1873, стр. 176.

Не думаю... Мне казалось, что надобно было расшевелить нашу литературу. Не знаю, успел ли я, но, по крайней мере, толпой явились после того Атеней, Московские Вестники, Галатеи, Московские Наблюдатели, СПб Обозрения, Северные Минервы, и почти все брали форму и манер с моего журнала, которая перешла потом в самую Библиотеку для чтения и нынешние Отечественные Записки; важнейшие вопросы современные были преданы критике, объем журналистики раздвинулся, самая полемика острила, горячила умы и — по крайней мере — в истории русских журналов я не шел за другими».¹

Полевой неоднократно подчеркивал партийность своего журнала: «Тот не должен и думать об издании литературного журнала в наше время, кто полагает, что его делом будет сбор занимательных статей. Журнал должен составлять нечто целое, полное; он должен иметь в себе душу, которую можно назвать его целью».² Кроме того, Полевой, полагая, что журналист «должен быть в своем кругу колонновожатым», присвоил себе роль литературного судьи и указчика, призванного «в о з б у ж д а т ь д е я т е л ь н о с т ь в у м а х» и будить Россию «от пошлой, растительной бездейственности».³

Купец 2-й гильдии, водочный заводчик, человек в литературном мире без роду и племени, не имеющий ни ученого звания, ни даже школьного образования, «самоучка» и «невежа», — он имел дерзость выступить против признанных и увенчанных корифеев дворянской литературы; больше того: он посягнул в своей дерзости на «бессмертные» авторитеты, утвержденные «к вечной славе россосв»!.. Было от чего заволноваться «воеводам литературного мира»!..

Отношение к Полевому со стороны большинства его современников хорошо характеризует рассказ И. И. Панаева о своем пансионском учителе словесности проф. Я. В. Толмачеве: «О Полевом он не мог слышать равнодушно... Это мерзавец! — говорил он, дрожа всем телом, — безграмотное животное, двух строк со складом и правильно не может написать... лавочник, цаловальник, а осмеливается безнаказанно оскорблять людей пожилых, чиновников и ученых».⁴ Но в то же время велики были популярность и авторитет Полевого среди молодого поколения, особенно же среди буржуазной молодежи: «Литератор в полном смысле, публицист, критик и библиограф, он лучше всех умел понимать массу читающей публики, лю бил э тот сред ний

¹ С. О., 1839, т. VIII, отд. IV, стр. 106—107.

² М. Т., 1831, № 1, стр. 78.

³ Ibid., стр. 82; эти слова Полевого послужили предметом обвинения в известной записке Уварова, вызвавшей запрещение «Московского Телеграфа» (см. ниже, в комментарии, стр. 481).

⁴ Воспоминания И. И. Панаева, 1928, стр. 18.

класс и был любим им, возвысил его европейскими статьями своего журнала и возвысился сам на степень оракула и протектора». ¹

VII

Полевой не сразу заявил себя противником «литературных аристократов» и вообще всей дворянской литературы. В первые четыре года издания «Московского Телеграфа» (1825—1828) он был тесно связан с московской группой либеральных дворянских писателей и публицистов. Редакционный кружок «Московского Телеграфа» составляли, кроме самого Полевого и его брата Ксенофонта, следующие лица: П. А. Вяземский, С. Д. Полторацкий, С. А. Соболевский, Я. И. Сабуров, Е. А. Боратынский, В. Ф. Одоевский, И. М. Снегирев, М. А. Максимович, Д. П. Шелихов, И. В. Киреевский, Н. И. Розанов, М. П. Розберг, И. И. Бессомыкин, И. Н. Камашев-Средний, М. Н. Лихонин, А. И. Красовский, В. А. Ушаков (примкнул позже). Особо следует упомянуть о связях Полевого с польскими национал-либералами, проживавшими в Москве (А. Мицкевич, Ф. Малевский, Дашкевич, Ежовский, Ю. Познанский). Из упомянутых выше лиц некоторые, как например В. Ф. Одоевский, очень скоро отошли от участия в делах «Московского Телеграфа», другие, как например И. М. Снегирев, М. А. Максимович, И. В. Киреевский, не играли особо выдающейся роли. Таким образом в первые годы издания журнала кружок составляли преимущественно две группы: представители левого крыла дворянско-помещичьей интеллигенции (Вяземский, Полторацкий, Соболевский, Сабуров, Шелихов) и университетская молодежь, по своей социальной природе явно разночинной окраски (Розберг, Бессомыкин, Камашев, Лихонин, Красовский). Первые играли роль своего рода литературных покровителей и опекунов Н. Полевого, блюстителей порядка в редакции «Московского Телеграфа», — особенно относится это к Вяземскому и Полторацкому. Соболевский же был звеном, связывавшим Полевого с широкими литературными кругами (в частности с Пушкиным и редакцией «Московского Вестника»). За границей Полевой также имел своих полномочных представителей в лице того же Полторацкого и Я. Н. Толстого, теснейшим образом связанных с деятелями либеральной французской публицистики.

Н. Полевой делал неоднократные попытки освободиться из-под ферулы своих опекунов и наставников. Вяземский, усвоивший себе на первых порах диктаторский тон по отношению к издателю «Московского Телеграфа», через несколько лет уже встречал с его

¹ Записки сенатора К. Н. Лебедева, Р. А., 1910, т. III, стр. 185.

стороны упорное сопротивление. Пути Вяземского и Полевого — раскаявшегося дворянского либерала и скромного в своей радикальности буржуазного оппозиционера — подчас принимали совершенно разные направления; об этом с достаточной ясностью пишет сам Вяземский (см. комментарий, стр. 453). Окончательный и очень резкий разрыв произошел в конце 1829 г., когда Полевой выступил с разрушительной критикой «Истории государства Российского» Карамзина, бывшей своего рода «заветом», «скрижалю» литературных аристократов.

Вторая группа, состоявшая из молодых универсантов, увлекшихся идеями романтизма и новейшей идеалистической философии, была, строго говоря, не столько редакционным, сколько домашним, личным кружком братьев Полевых. В делах самой редакции кружок этот почти вовсе не принимал никакого участия, но именно на его собраниях слагались и оформлялись философские и эстетические мнения Николая Полевого.

Для уяснения «идеологической атмосферы», царившей в редакции «Московского Телеграфа», крупное значение имеют неизданные письма братьев Полевых к С. Д. Полторацкому,¹ в которых содержится богатый и выразительный материал, свидетельствующий об увлечении Н. Полевого и его сотрудников литературой и публицистикой французской буржуазной оппозиции эпохи реставрации, идеями британского конституционализма и современными событиями национал-освободительного движения в странах Южной Америки.

Вопрос о южно-американской национальной революции в ее отражении и преломлении в русской литературе и журналистике двадцатых-тридцатых годов может служить предметом специального, углубленного исследования. Переписка Полевых с Полторацким позволяет судить, сколь внимательно следили корреспонденты и их литературные друзья за всеми перипетиями заокеанской эпопеи. Их восторженное отношение к личности и делу Симона Боливара, этого южно-американского Бонапарта, имеет особый смысл: под маской шуточного острословия, дружеской болтовни в интимных записочках, в клятвах «во имя Боливара, и Вашингтона, и Лафаята» — скрывается нечто большее. Не подлежит сомнению, что «американская» и «гаитянская» фразеология, столь крепко вошедшая в самый быт корреспондентов,² выражала социально-политические настроения и интересы редакционного кружка

¹ Письма эти подготовлены нами к печати для сборников «Звенья».

² Они неделями друг друга звали именами южно-американских героев (так, например, Полевой присвоил себе имя гаитянского президента генерала Бойе) и издавали рукописную газету «*Diario inflammato*», выходящую с эпиграфом: «Боливар — великий человек» (один номер этой газеты сохранился); квартира Полевых называлась «Порт-о-Пренсом» (столица республики Гаити); Полторацкий же именовался «Гражданином» и жил в «Вашингтоне».

«Московского Телеграфа», и выражала их в большей мере, нежели цензурованные страницы самого журнала. Новые материалы позволяют расшифровать в «Телеграфе» многое, на что до настоящего времени не обращалось никакого внимания; особую полноту и злободневность приобретают известия об американских (в частности о гаитянских) делах, которым в журнале уделялось так много места и которые, будучи затеряны между мелочами «Смеси» и «Летописей мод», производили впечатление политически-нейтрального материала.

Нужно отметить, что экзотическая тема — «Южная Америка и Боливар» — не была для русского читателя двадцатых годов полной неожиданностью. В течение некоторого времени она привлекала к себе внимание русских журналистов, заимствовавших ее из западно-европейской, в первую очередь — из французской, прессы (так, например, в «Revue encyclopédique» известия о южно-американских делах печатались регулярно, почти из номера в номер). Очередной литературной моде отдали дань почти все русские журналы — и «Северная Пчела» и «Сын Отечества», и «Вестник Европы», и «Благонамеренный», и «Атеней». Но первое место среди них занимал в этом отношении, конечно, «Московский Телеграф», знакомивший русских читателей с южно-американскими делами широко и систематически, на все лады расхваливая Боливар и «старания его правительства о благоденствии жителей».¹

Можно сказать, что в русской журналистике второй половины двадцатых годов южно-американская тема играла, примерно, ту же роль, что и известия, посвященные героической борьбе Греции за независимость и свободу, — борьбе, вдохновившей вслед за Байроном и всю плеяду русских байронистов. Правда, о Греции в свое время (1810 — начало 1820-х гг.) писали с большей откровенностью, но и времена тогда были иные: 1825-й год крепко замкнул уста апологетам освободительных движений, и потому статьи об американских событиях в эпоху Полевого предлагались преимущественно в плане литературно-этнографическом, а не в социально-политическом. Именно под флагом этнографичности, экзотики Полевой имел возможность развернуть в «Московском Телеграфе» последовательную пропаганду идей национал-освободительного движения. Цензура была «ленива и нелюбопытна», Америка была далека и неизвестна; вот почему в то время как под строжайшим запретом оставались все европейские политические новости, — известия о Колумбии, Боливии и Гаити беспрепятственно появлялись на страницах журнала. Николаевская цензура в течение долгого времени не разгадала мимикрийной окраски этого

¹ Библиографические данные по этому вопросу сосредоточены в наших комментариях к неизданным «Письмам братьев Полевых к С. Д. Полторацкому».

полноценного политического материала, и только спустя несколько лет культ Вашингтона, Лафайета и Боливара — этих трех китов буржуазного национал-либерализма — был инкриминирован Полевою Уваровым в его обвинительной записке, вызвавшей запрещение «Московского Телеграфа». ¹

Почти столь же показательное значение имеют данные, свидетельствующие об увлечении Полевого идеями британского конституционализма и «гражданской свободой» в Северо-американских соединенных штатах. В тех же письмах к Полторацкому Н. Полевой восторженно отзывается о деятелях американской революции — Вашингтоне, «великом» Франклине и, особенно, о Лафайете, этом — по словам Гейне — «Наполеоне буржуазии». Вместе с ним и Кanning — герой буржуазной Англии — служит для Полевого примером государственного деятеля, образцом «гражданской доблести». Конституционалистская тема вообще занимала в «Московском Телеграфе» достаточно видное место. Полевой «осмеливался поставить себе в заслугу, что он первый из журналистов обратил особенное внимание на... гражданскую деятельность англичан, как народа, практическою жизнью, превзошедшего все другие народы»; при этом Полевой позволяет себе сделать довольно смелый намек: «Направление к практической деятельности издатель почитает одним из важнейших подражаний, какие можем мы сделать в настоящем положении великого нашего отечества». ² По смыслу всей фразы явствует, что Полевой призывал подражать «гражданской деятельности» англичан.

Но центральным вопросом при выяснении социально-политической ориентации Полевого остается вопрос о его «французских отношениях». «Московский Телеграф» был теснейшим образом связан с французской журналистикой и отчасти строился по образу и подобию крупнейшего французского журнала двадцатых-тридцатых годов «Revue encyclopédique» (с редакцией которого Полевой поддерживал и личные сношения через Э. Геро, Полторацкого и Я. Н. Толстого). Особенного внимания заслуживают в этом плане три журнала: «Globe», «Revue française» и «National», бывшие органами воинствующих романтиков и представлявшие в эпоху реставрации умеренно-либеральную буржуазную оппозицию

¹ Впрочем, автор анонимного доноса, поданного на Полевого в 1827 г. Бенкендорфу, указывал, что «все, что запрещается в Петербурге говорить о независимых областях Америки и ее героях, с восторгом помещается в Московском Телеграфе» (см. ниже, в комментарии, стр. 469; автором доноса был, повидимому, Булгарин).

² М. Т., 1828, ч. 24, стр. 510. В 1827—1828 гг. в «Телеграфе» много писали о Кanninge, в 1830 г. также часто появлялись статьи на конституционалистскую тему, например: «Послание президента соединенных штатов Северной Америки А. Джексона» (ч. 31), «Английский парламент» (ч. 32), «Речь, произнесенная в английском нижнем парламенте лордом-канцлером казначейства» (Ibid.), «Заседания английского парламента» (ч. 33).

в лице политической партии доктринеров, стремившихся к установлению конституционной монархии на британский лад и пришедших к власти после июльской революции 1830 г., окончательно закрепившей во Франции буржуазный режим. Compliments, расточаемые Полевым по адресу этих журналов, весьма характерны для его общественно-политических взглядов: умеренный либерализм доктринеров целиком отвечал его собственным настроениям. Подобно доктринерам, и он пытался примирить поклонение конституционным «свободам» с преданностью «сильной власти»; подобно им, и он проявлял тенденции к «эволюции» вправо; подобно им, наконец, и он вступил на путь «идейного перевооружения».¹

Июльская революция 1830 г., утвердившая во Франции диктатуру крупной промышленно-финансовой буржуазии, была для Полевого величайшим событием современной истории. В «Московском Телеграфе» в 1830 г. писали: «Не живем ли мы при возрождении Франции? Не была ли вся прошедшая история ее годиною испытаний, приготовившею счастливое настоящее? И не говоря даже о политическом состоянии сей страны, довольно взглянуть на одну умственную деятельность французов...».² Стесненный донельзя цензурными условиями, Полевой пытался если не растолковать читателям своего журнала смысл июльского переворота, то хотя бы познакомить их с самыми событиями 1830 г., этого «одного из самых достопамятных годов всего XIX столетия». Однако, несмотря на «благонамеренные» отговорки Полевого («Мирные граждане, удаленные от бурь политических, под благоденственным правлением мудрого монарха, мы чужды ослепления страстей Западной Европы»), несмотря на заявление о том, что события 1830 г. будут изложены «без всяких политических догадок и суждений» («Пусть говорят дела и события», — замечает Полевой), — составленная им документальная «Летопись современной истории» остановилась печатанием на первом же отрывке.³

Нужно добавить, впрочем, что июльский режим далеко не оправдал надежд Полевого. Понемногу он разочаровывался в своих любимых героях, «потерявших блеск от жарких лучей июльского

¹ Показателен самый круг западных знакомцев (заочных) Полевого; в этом отношении большую ценность имеет неизданная записочка его к Полторацкому (от января 1829 г.), где поименованы французские журналисты, литераторы и ученые, которым высылались экземпляры «Московского Телеграфа» (Жюльен Сей, Сисмонди, Дюпен и др.). В большинстве это сотрудники «Revue encyclopedique», защитники идеи «буржуазного процветания».

² М. Т., 1830, ч. 31, стр. 219. Статья Кс. Полевого.

³ Отрывок этот был снабжен пометкой: «Продолжение в следующей книге»; однако, продолжение не появлялось (см. 1831, ч. 37, стр. 114—144). Из других откликов М. Т. на июльскую революцию укажем: биографию Луи-Филиппа (1830, ч. 34, стр. 245; с его портретом) и биографию Поля-Луи Курье, виднейшего публициста и политического деятеля июльской монархии (1831, ч. 41, стр. 311).

солнца» (Гейне). Уже в 1832 г. он высмеивал «смешное аристократство» доктринеров, упившихся «хмелем» июльской победы, — высмеивал, в частности, «советника, Вице-президента» Вильмэна и даже «великого» Кузена («Кузен-философ был велик, Кузен-вельможа — забавен»).¹ Свои преимущественные симпатии Полевой отдавал теперь левым доктринерам, в частности убежденному республиканцу Арману Каррелю, чья деятельность была настойчивой оппозицией правительству Луи-Филиппа. В 1833 г. Полевой называл журнал Карреля «National» — «лучшим из оппозиционных журналов», подчеркивая, что он «отличается резкою правдою во всех возможных случаях и умеет высказывать ее умно и благородно».²

VIII

Философские и эстетические мнения Полевого, не в пример его мнениям социально-политическим, не отличались особенной устойчивостью и принципиальностью. Буржуазный практицизм Полевого позволял ему игнорировать вопрос о происхождении его художественного и критического методов. Ясно свидетельствуют об этом, между прочим, беллетристические произведения Полевого, в которых он свободно оперировал самым разнородным литературным материалом. В сущности это был принципиальный эклектизм, в известной мере характерный вообще для буржуазного литературного сознания. И Полевой настаивал на своем эклектизме, предлагая понимать его не как механическое сочетание различных традиций и тенденций, а как процесс их органического усвоения и переработки согласно условиям национального культурного развития и законам собственного мировоззрения. Быть эклектиком, в понимании Полевого, — значит «из противоположностей выводить истину и пересоздавать ее самобытно».³

Печать эклектизма лежит на всей литературной практике Полевого, но может быть наиболее отчетливо различима она в сфере его высказываний по отвлеченным вопросам философии и эстетики. Причастный увлечениям русских любомудров двадцатых годов, он был ослеплен на первых порах «ярким светом философии Шеллинга, объявшей все знания, все науки, и разрушавшей в осно-

¹ М. Т., 1832, ч. 46, стр. 430 и ч. 47, стр. 110. — Кс. Полевой также «вздыхал» о «прежних» доктринерах, о «Globe» и «Revue française»: «Куда все это делось теперь? И что за все это? Бакенбарты Луи-Филиппа? Или то, что он испакостил всех людей с дарованием, посадивши не на свои места Тьера, Гизо, Кузена, Баранта, Вильмена?» (из неизданного письма к С. Д. Полторацкому от 30 сентября 1833 г.).

² М. Т., 1833, ч. 49, стр. 602.

³ С. О., 1838, т. I, отд. IV, стр. 25.

ваний системы мнимых философов французских и германских»,¹ но вскоре же изменил Шеллингу ради эклектика и популяризатора Кузена, этого — по словам Маркса — «истинного истолкователя трезвого практического буржуазного общества». Кузен был для Полевого величайшим философом, «человеком необыкновенным»; никогда еще, по его мнению, «философия французов не достигала такой высокой степени философского воззрения, какой достигает она с Кузеном». Полевой не скрывал, что философия Кузена привлекла его внимание именно в силу своей эклектичности и общедоступности. Он всецело оправдывал и защищал эклектизм Кузена, «в простоте» передающего «глубокие истины немцев», бывшие до кузеновой популяризации «уделом весьма немногих»: «И этот обширный ум, — продолжает Полевой свой панегирик, — эта глубокость мышления, стройною гармониею составляющие высшее познание великих истин, из мнений, опытов и заблуждений человечества, соединены у Кузена с удивительным искусством излагать свои мысли, с духом критицизма, с умением быть понятным для самого неопытного человека».² Именно в этом и заключается, по мнению Полевого, «драгоценное преимущество Кузена».

Вопросы отвлеченного любомудрия никогда не стояли перед Полевым на первом плане. Он всегда возражал против «темных выражений германской диалектики». Особенной резкостью отличались эти выпады позже, в петербургский период жизни Полевого, когда для философии Гегеля он не нашел уже иного слова, как «схоластика», и с необычайным раздражением нападал на отечественных «гегелистов».³

¹ М. Т., 1828, ч. 20, стр. 393. — Еще в 1824 г. Полевой беседовал с друзьями о «Шеллинговой философии, проливающей новый свет на познание» (см. *Дневник И. М. Снегирева*, т. I, 1904, стр. 61). Н. И. Розанов, характеризуя кружок братьев Полевых, писал, что там «бредили немецкою философией, ко всему прилагая ее положения» (*Русский Вестник*, 1867, ноябрь, стр. 125).

² М. Т., 1828, ч. 23, стр. 97—98 (ср. 1831, ч. 31, стр. 217—218 и 1832, ч. 46, стр. 557). Кузен усердно пропагандировался на страницах М. Т. В 1829 г. (в чч. 26 и 27) Полевой поместил переводы первой и десятой лекций «Кузенева курса истории философии».

Для ориентации читателя можно привести отзыв о Кузене Н. Г. Чернышевского: «Философия Кузена была составлена из довольно произвольного смешения научных понятий, заимствованных отчасти у Канта, еще более у Шеллинга, отчасти у других немецких философов, с некоторыми обрывками из Декарта, из Локка, и других мыслителей — и весь этот разнородный набор был вдобавок переделан и приглажен так, чтобы не смущать никакою смелою мыслью предрассудков французской публики» (*Очерки гоголевского периода*, стр. 24).

³ С. О., 1840, т. I, стр. 437—438. — Полевой был, конечно, знаком с гегелевской философией, если не по первоисточнику, то через того же Кузена, излагавшего в популярной форме не только идеи Шеллинга, но и идеи Гегеля. Однако об отношении Полевого к Гегелю в пору издания «Телеграфа» данных

Непосредственно философии Полевой почти не уделял внимания; он был не «мыслитель», но прежде всего «литератор» и как истинный буржуазный просветитель искал практического воплощения усвоенных им философских идей. Нашел он его в своей критической практике, и здесь пригодилось ему эклектическое учение Кузена, сумевшего сочетать принципы философского идеализма с романтическими идеями, воодушевлявшими идеологов французской буржуазии на рубеже тридцатых годов.

Полевой жил во время величайших литературных революций. Он был свидетелем рождения и торжества романтической школы. И он был одним из виднейших деятелей русского романтизма. Нет нужды подробно обосновывать полную условность понятия «русский романтизм»; в эпоху 1820-х гг. понятие это прилагалось к самым разнородным явлениям литературной современности (романтизм Пушкина, например, не сводим на «философский романтизм» московских Любомудров, а романтизм Полевого имеет слишком мало общего и с тем и с другим, чтобы можно было говорить о «русском романтизме» вообще). Для нас в данном случае существенно важно только расчлнить «русский романтизм» на два основных течения, которые можно условно назвать германским и французским. В противоположность московским Любомудрам, взрастившим свои литературные мнения на почве усвоения немецкой идеалистической философии начала века, Полевой придерживался в основном французской ориентации. Ориентация эта была, разумеется, не случайна и имеет глубокий социально-исторический смысл. Французское влияние в русской литературе всегда характеризовалось, в отличие от влияния немецкого, господством интересов социальных, политических и экономических над отвлеченно-умозрительными — философскими, моральными и религиозными. Если немецкий романтизм уже в эпоху 1820-х гг. превращался мало-по-малу в верного союзника политической реакции, то романтизм французский вплоть до времени июльской монархии (а в лице некоторых своих представителей и много позже) оставался объективно-радикальным течением, сыгравшим весьма крупную роль в истории становления буржуазной идеологии. В эпоху реставрации французский романтизм был литературной формой политической оппозиции наступавшей буржуазии.¹ Об этом гово-

не сохранилось, если не считать того, что в 1832 г. в «Телеграфе» (ч. 43, стр. 276) появилась весьма почитательная по тону «Некрология Гегеля»; здесь Гегель был назван «глубоким мыслителем», хотя и поставлен «непосредственно после Шеллинга»; от прямого суждения о философской системе Гегеля автор некролога (возможно, что им был сам Полевой) уклонился.

¹ «Романтизм, который лишь в 1830 г. формулировал свой знаменитый девиз «искусство для искусства», представляет собою классовую литературу. Правда, романтики никогда не подозревали об этом, несмотря на то, что, главным образом благодаря этому они заслуживают внимания со стороны историка. Вопреки своему девизу, романтики никогда не отворачивались от полити-

рили и сами романтики: «Романтизм в поэзии то же, что либерализм в политике» (Гюго).

Проблема романтизма, как она ставилась Полевым, была отнюдь не только литературной проблемой, но также и проблемой социальной. Для Полевого романтизм был прежде всего выражением буржуазного литературного сознания. И не случайно альфой и омегой романтизма на страницах «Московского Телеграфа» были объявлены Виктор Кузен — «романтик в философии», и Виктор Гюго — «философ романтизма», которые «давали буржуазии тот род философии и литературы, какой ей был нужен» (Лафарг).

В сферу романтических влияний в России были втянуты различные литературные силы, защищавшие интересы различных общественных классов. И в этой области Полевой противостоял всей дворянской литературе своего времени; романтизм в его понимании не был той платформой, на которой он мог бы объединиться с русскими дворянскими романтиками; и здесь он находил предлог для принципиальных возражений.¹

«Метафизический туман», в облаках которого рождалось московское «любомудрие», был решительно чужд Полевому. В романтизме Полевой выделял как раз те черты, которые игнорировали и любомудры, и Пушкин; для тех романтизм был новым литературным кодексом, отчасти новым методом художественного восприятия мира, а для Полевого он был прежде всего руководством к боевым действиям за построение буржуазной литературы.

В свете вышеприведенных фактов, характеризующих увлечение Полевого идеями французского буржуазного либерализма, проясняется вопрос о его романтизме. Однако широко распространенное мнение о «Московском Телеграфе» как единственном, пожалуй, русском журнале эпохи двадцатых-тридцатых годов, «с беззаветным увлечением» пропагандировавшем «неистовую словесность» так называемой «Юной Франции», в частности Гюго,² — нужно понимать более или менее ограничено. О такой пропаганде можно говорить, имея в виду только последние годы издания «Телеграфа» (1831—1834), когда Полевой окончательно освободился из-под ферулы своих литературных протекторов. Литература

ческой и социальной борьбы, — они всегда становились на сторону буржуазии, присвоившей себе завоевания революции» (П. Лафарг. Происхождение романтизма. Соч., т. III, 1931, стр. 284).

¹ См. хотя бы его полемику с Д. В. Веневитиновым по поводу «Евгения Онегина», где Полевой резко подчеркивает свое несогласие с «учением новой философии немецкой» (М. Т., 1823, ч. VI, № 23).

² См., например, И. И. Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе, 2-е изд., 1911, глава III и Н. К. Ковмин. Из истории русского романтизма, 1903.

«Юной Франции» (Гюго, Сю, Дюма, Жанен, позже Бальзак) долго не находила себе признания в «Московском Телеграфе». Отношение Полевого к «ультра-романтикам» можно проследить по его отзывам о Гюго. В 1827 г., в пору «опеки» Вяземского, радикальный буржуазный романтизм Гюго, проникнутый социально-политическими интересами, встречал в «Телеграфе» еще достаточно прохладные отзывы, причем особо было подчеркнуто (с осуждением) то обстоятельство, что в лице крайних, «отчаянных» романтиков «поэзия французов завербовалась под знамена политики». ¹ И еще в 1830 г. Гюго был для Полевого писателем, хотя и с «большим дарованием», но тем не менее не признающим «никаких законов в искусстве», «не понимающим тайны искусства» и рисующим «картину страшную и неприятную». ² «Собор Парижской Богоматери» примирил Полевого с творчеством Гюго; он помещает в своем журнале отрывок из этого романа, ³ а в примечании к резко отрицательной статье о Гюго французского классика Шове (переведенной из «Revue encyclopédique»), обещает читателям свою собственную статью в опровержение «несправедливого» мнения Шове и в защиту «великого создания» Гюго, вводящего его «в первый ряд современных европейских литераторов». ⁴ Полевой сдержал свое обещание, и его большая замечательная статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» открывает собою на страницах «Московского Телеграфа» подлинную пропаганду творчества Гюго, которое названо «полным и совершенным изображением современного французского романтизма». ⁵

Позже, нежели всех остальных «ультра-романтиков», признал Полевой Бальзака. Отмечая «сильное и гибкое дарование» автора «Шагреновой кожи» и «Темных сказок», он осуждал его «новизну» и «странность», его «пошлые кривлянья ума», «грубую чувственность» и пристрастие к «ужасам, доведенным до отвратительного». «Мы уверены, что Бальзак шалит», — писал Полевой в рецензии на «Сцены из частной жизни»; он ждал от него «творения достойного», но приговор выносил решительный: «Если же еще продолжится то же самое, Бальзака можете вычеркнуть из

¹ М. Т., 1827, ч. 14, стр. 43. Статья П. А. Вяземского.

² М. Т., 1830, ч. 32, стр. 513 — рецензия на «Последний день приговоренного». Из других отзывов см. 1830, ч. 35, стр. 137 и 305 (перевод хвалебной рецензии на «Эриани» — из французского журнала); 1831, ч. 38, стр. 149 — «О новой школе в поэзии французской» (переводная статья).

³ М. Т., 1831, ч. 40.

⁴ М. Т., 1831, ч. 42, стр. 218.

⁵ М. Т., 1832, ч. 43, стр. 85, 211 и 370. Из позднейшего материала см. 1832, ч. 47, стр. 297 и 435 (перевод статьи Гюго «О поэзии древних и новых народов»); 1833, ч. 49, стр. 179 («Процесс Гюго»); Ibid., стр. 606 (перевод французской рецензии на «Луcretию Борджиа»); 1833, ч. 52, стр. 3 (статья Гюго «Зодчество и книгопечатание»); ч. 55, стр. 661 (рецензия на русский перевод «Лирических стихов» Гюго).

числа литературных надежд новой Франции». Только в 1833 г. переводы из Бальзака появляются в «Московском Телеграфе» и сам он назван «одним из остроумнейших современных писателей». ²

В конце своей большой статьи о Гюго Полевой заметил, что «есть вольные и невольные причины, по которым статья не могла явиться в виде более удовлетворительном». «Невольные» причины, надо думать, были цензурного происхождения. Действительно, литература «Юной Франции» воспринималась в официальных и официозных кругах николаевской России как пагубная зараза, как «исчадие июльской революции», разрушающее своей безнравственностью религию, семью, собственность и все прочие «священные» основы общества. Ее боялись, не пускали на страницы журналов. Критика, за исключением, пожалуй, одного Полевого, единодушно и энергично нападала на «неистовую» словесность, и потому пропаганда идей радикально-буржуазного романтизма, которую вел Полевой в «Московском Телеграфе», была в условиях русских тридцатых годов, после июльской революции, весьма смелым делом. И недаром пропаганда эта, вылившаяся часто в формы полемики с другими журналами, в первую очередь с «Телескопом» Надеждина, где о литературе «Юной Франции» писали в откровенно-полицейском тоне, — послужила одним из центральных пунктов обвинений Уварова, вызвавших запрещение «Московского Телеграфа». ³

IX

Двадцатые и тридцатые годы XIX столетия с полным основанием могут быть названы эпохой историзма. Увлечение историческими науками и самая историчность мышления приобретают в ту пору характер явления эпохиального и международного. Французская историография переживает период расцвета в замечательных работах исторических писателей времен реставрации (Тьерри, Гизо, Минье, Тьер, Барант и др.). Труды Нибура ложатся в основание всех новейших разысканий в области древней истории и пролагают пути так называемой скептической школе. Столпы германской идеалистической философии уделяют

¹ М. Т., 1832, ч. 48, стр. 98. Ср. ч. 47, стр. 395 (рец. на «Темные сказки»).

² М. Т., 1833, ч. 52, стр. 145 («Нынешнее состояние французской литературы») и ч. 53 («Деревенский лекарь»).

³ Позже Полевой отрекся от своего увлечения литературой «Юной Франции»; в 1842 г. он писал о «беспорядках и несправедливостях, причиненных литературными смятениями последних двадцати лет» («Русский Вестник», 1842, т. V, Критика, стр. 3; ср. статью Полевого о романе Э. Сю «Матильда» — Ibid, 1842, № 3, стр. 123 и № 4, стр. 1).

много внимания вопросам философии истории и специально проблеме «народности» (Фихте и Шеллинг вслед за Гердером). Историзм проникает и в художественную литературу: рождаются жанры исторического романа и исторической драмы (Вальтер-Скотт, А. де-Виньи, Гюго, Манцони).

Идеи историзма возникают на почве общеевропейского романтизма и романтического национализма (особенно в Германии); идеалистическая философия охотно избирает границы исторических сочинений плацдармом своих боевых выступлений против материализма и рационализма прошлого века; лучшие умы современности работают в области углубления и уточнения проблематики и методологии исторической науки. Философский романтизм выдвинул свою, романтическую, концепцию исторического процесса, идеалистическую по существу, иррациональную по самой своей природе. Основным смыслом этой концепции заключался в объяснении событий национальной истории фактами «мирового порядка», в попытках найти определение чрезвычайно неясного, расплывчатого понятия «народного духа» как фактора исторического развития, причем национальная история понималась именно как средство познания «народного духа» (Шеллинг). Соответственно с этим в эпоху двадцатых годов повышается интерес к «бессознательному», «стихийному» процессу народной жизни; истории законодательных систем или форм государственного управления противопоставляется история народа как некоего монолитного организма, позволяющая вскрыть внутреннюю связь и диалектику событий; унылому прагматизму противопоставляется «философия истории». В переводной (с французского) статье, напечатанной под заглавием «Философия истории» в «Московском Телеграфе» (1827, ч. XIV), новые задачи, стоящие перед исторической наукой, были сформулированы следующим образом: «Если повествуют события, составляющие внешнюю жизнь рода человеческого, без необходимой связи, то почему же не восстановить между ними произвольными происшествиями истинного порядка, который их сближает и поясняет, относя к миру высшему, коему они причастны. Вот что составило бы историческую науку по преимуществу, которая имела бы свое начало, постепенное и медленное свое усовершенствование, подобно всем прочим умозрительным наукам, входящим в состав философии».¹

Идеи западно-европейского историзма к середине двадцатых годов проникли и в Россию и встретили здесь горячий отклик в среде передовой дворянской интеллигенции, впервые подходившей вплотную к вопросам отвлеченного мышления. «История сде-

¹ Ср. положения этой статьи с формулировкой самого Н. Полевого: «По объяснениям новых мыслителей, История — Geschichte — в высшем значении есть проверка философских понятий о мире и человеке и анализ философского синтеза» (М. Т., 1829, ч. 12, стр. 476).

далась страстью Европы, и мы сунули нос в историю» (Марлинский). Один из наиболее выдающихся русских интеллигентов того времени, Иван Киреевский, подводя итоги минувшего пятилетия, писал в 1829 г.: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития: направление историческое обнимает в с.е. Политические мнения, для приобретения своей достоверности, должны обратиться к событиям, следовательно к истории. . . Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием тождества ума и бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика остановилась в открытиях общих законов и обратилась к частичным¹ приложениям, к сведению теории на существенность действительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом».¹

Приведенный отрывок отнюдь не есть выражение личной точки зрения Киреевского, он характеризует собою общий круг научных и публицистических интересов огромного большинства представителей «мыслящего» русского общества двадцатых годов. Можно без преувеличения сказать, что вопросы истории стояли в центре внимания писателей и публицистов того времени, горячо обсуждались в их кружках, в частной переписке и, наконец, служили предметом оживленной журнальной полемики.

В эпоху двадцатых-тридцатых годов на русском историческом фронте шла в достаточной степени ожесточенная классовая борьба, развернувшаяся преимущественно вокруг двух крупных исторических сочинений — «Истории государства Российского» Карамзина и «Истории русского народа» Полевого.

В 1818 году вышли в свет первые восемь томов «Истории государства Российского». Беспрецедентный успех карамзинского сочинения (в течение двадцати пяти дней было распродано три тысячи экземпляров, и автор приступил ко второму изданию, — небывалый по тем временам случай), — факт общеизвестный. «История» Карамзина пробудила массовый интерес не только к воскрешенным в живом рассказе событиям русской истории, но и к общим вопросам проблематики и методологии истории как научной дисциплины. Различные классовые группы решали эту задачу по-разному. «История государства Российского» сразу же стала предметом полемического обсуждения, но в силу особых причин полемика эта до некоторого времени оставалась негласной, чуть ли не конспиративной. Особые причины негласности этой полемики объяснялись исключительным общественным положением Карамзина. Его история

¹ «Обозрение русской словесности 1829 года» в альманахе «Денница» на 1830 г.

была официально объявлена единственно верной и единственно благонамеренной и предлагалась не столько «к сведению», сколько «к восторгам» и «к благоговению». Авторитет самого Карамзина и как ученого и как верноподданного был искусственно поднят на небывалую высоту. Малейшие попытки критически отнестись к великодержавной и насквозь реакционной концепции Карамзина объявлялись неблагонамеренными посягательствами на исконные принципы русской государственности. «Историей государства Российского» можно было только восхищаться, критиковать же ее было решительно запрещено. В таких исключительно благоприятных условиях «граф истории» пожинал лавры своего громкого успеха, «прикрытый щитами кружка, сильного дарованиями чинов, их общественным и государственным положением, прикрытый и отношениями к императору. По смерти Карамзина кружок сделал из него полубога, и горе дерзкому, который бы осмелился поставить свой алтарь подле божества». ¹

О том же, и почти в тех же выражениях, писал и А. В. Никитенко в 1830 г., когда Карамзину был нанесен первый сокрушительный удар «дерзкой» критикой Полевого: «Так называемые патриоты, почитатели доброго Карамзина, — пишет Никитенко, — не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина. Партия эта состоит из двух элементов. Одни из них царедворцы, вовсе не мыслящие или мыслящие по знаку властей; другие, у которых есть охота судить и рядить, да не достает толку и образования, в простоте сердца веруют, что Карамзин действительно написал историю русского народа, а не историю князей и царей...», и далее: его [Карамзина — В. О.] творение не удовлетворяет требованиям идеи истории столько, сколько удовлетворяет требованиям вкуса». ² Наблюдательный Никитенко верно подметил литературную функцию «Истории государства Российского» («требования вкуса») и дал правильную, хотя и неполную, характеристику «партии» Карамзина, — неполную потому, что в ее составе были люди и с «толком», и «с образованием» (как Блудов, Дашков, Северин, Вяземский, Уваров и другие арзамасцы), утвердившие свое отношение к «Истории государства Российского» на почве единой с ее автором классовой идеологии.

Уже в приведенной выдержке из дневника Никитенко заложены зерна, хотя и робкой, но тем не менее достаточно явной оппозиции Карамзину-историку; не следует забывать, что это писал хотя и «благонамеренный» профессор университета, но «плетей», вчерашний крепостной графа Шереметева. В голосе Никитенко уже звучит тот пафос отрицания, которым проникнуты выступления других, гораздо более решительных, антагонистов

¹ С. М. Соловьев, Записки, стр. 144.

² А. В. Никитенко, Записки и Дневник, изд. 1905 г., т. I, стр. 198.

Карамзина (декабристы, Полевой). Голос Никитенко не был одиноким. Тогда как для Блудова, Дашкова, Вяземского, какогонибудь Иванчина-Писарева и целого ряда других «исступленных сеидов» Карамзина (так называл его приверженцев Н. И. Греч), купно с придворной камарильей, — «История государства Российского» была своего рода «заветом», «скрижалю»; тогда как с их точки зрения Карамзин сказал о русской истории все, что можно и должно было сказать, — в среде передовой дворянской интеллигенции, а также (на совершенно иных основах) и в академических кругах росла и крепла оппозиция официальному историографу Российской империи. Правда, оформлялась эта оппозиция, как уже было сказано, почти исключительно негласно, изредка только прорываясь наружу со страниц журналов, а иной раз даже с профессорских кафедр.

О том, что научное значение «Истории» Карамзина невелико — догадывались уже его современники. Красноречивому повествованию Карамзина мог противопоставить всю свою глубокую ученость целый ряд крупных академических историков типа Шлецера, Круга и Эверса. По справедливому замечанию М. Н. Покровского, уже в двадцатые годы «в ученном мире с Карамзиным почти не считались; он был тем оселком, на котором пробовали свое научное остроумие молодые историки». В «Вестнике Европы» печатались из года в год статьи, направленные против Карамзина; после мало-состоятельной с научной точки зрения критики Каченовского и некоторых из его сотрудников (например, Саларева), в 1821 г. с тремя статьями выступил историк Н. С. Арцыбашев, через семь лет повторивший свою вылазку с большей резкостью и принципиальностью (в «Московском Вестнике» 1828 г.). Вслед за ним критически переоценить исторический труд Карамзина попытался уже не цеховой ученый, а журналист: в 1822 г. Фаддей Булгарин напечатал в своем журнале «Северный Архив» (ч. IV, № 28) статью Иоахима Лелевеля, указавшего не только на фактические ошибки Карамзина, но подчеркнувшего также свое несогласие с «понятием его об истории вообще» (впрочем, в следующей же книжке «Северного Архива» осторожный Булгарин поторопился перепечатать из «Геттингенских ученых ведомостей» благосклонную к Карамзину статью Геерена). Наконец, в 1825 г. в том же «Северном Архиве» (№№ 1—3, 6 и 8) Булгарин выступил с собственной статьей: «Критический взгляд на X и XI томы Истории государства Российского». По поводу этой статьи Карамзин писал И. И. Дмитриеву: «И тут ничего не предпринимаю: есть бог и царь».¹

Полемика с годами приобретала все более и более откровенный характер. Смерть Карамзина (в 1826 г.) развязала многим языки, и уже в 1836 г. один из «исступленных сеидов» — Вяземский

¹ Письма Карамзина к Дмитриеву, 1866, стр. 39.

(при участии, между прочим, Пушкина) должен был просить министра просвещения о защите «Истории» Карамзина от «ругательств», «устремленных» на нее с учебных кафедр и со страниц ученых журналов (имея в виду преимущественно профессора Устрялова, выступившего против Карамзина в своем «Рассуждении о системе прагматической русской истории», а также исторические работы Надеждина и Полевого). В письме к Уварову Вяземский следующим образом рекомендовал «Историю государства Российского»: «Одна и есть у нас книга, в которой начала православия, самодержавия и народности облечены в положительную действительность, освященную силою исторических преданий и силою высокого таланта. . . Творение Карамзина есть единственная у нас книга, истинно государственная, народная и монархическая». ¹ Нет нужды добавлять, что Вяземский дал безусловно верную характеристику этой «единственной» книги.

Гораздо более серьезный характер носила оппозиция Карамзину-историку, слагавшаяся в среде радикальной дворянской интеллигенции двадцатых годов. Декабристы начисто отрицали какое-либо научное значение за «златопернатым рассказом» Карамзина. А. А. Бестужев, ознакомившийся в 1831 г. с «Историей русского народа» Полевого, в которой он видел «первую попытку создать «истинно-русскую историю», ² писал: «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии, который писал свою историю страницу за страницей, не думая о будущей и не справляясь с предыдущей. Он был пустозвон, красноречивый, трудолюбивый, мелочной, скрывавший под шумихою сентенций чужих свою собственную ничтожность». Но таков Полевой. . .». ³ Никита Муравьев, один из главных руководителей Северного общества, написал даже особое «мнение» об «Истории» Карамзина; мнение это напечатано не было, но получило широкое распространение в рукописи, — начиналось оно словами: «История принадлежит народам»; это был прямой ответ на основное положение Карамзина: «История народа принадлежит царям». ⁴ Столь же резко-отрицательно относился к «Истории государства Российского» и такой серьезный исторический писатель (хотя и не цеховой ученый), как В. Кюхельбекер, оставивший недвусмысленные свидетельства своего заинтересованного внимания к историческим трудам Полевого». ⁵

¹ Собр. соч. П. А. Вяземского, т. II, стр. 215.

² «Русский Вестник», 1861, т. III, стр. 286.

³ Ibid., 1870, т. IV, стр. 506—507.

⁴ «Мнение» Никиты Муравьева см. в выдержках у М. П. Погодина, Н. М. Карамзин, т. II, 1866, стр. 198—203. Ср. также замечания М. А. Фон-Визина об исторической концепции Карамзина у А. Н. Пыпина, Общественное движение в России при Александре I, изд. 4-е, 1908, стр. 415.

⁵ «Дневник В. К. Кюхельбекера», под ред. В. Орлова и С. Хмельницкого, 1929 (см. по указателю).

К середине двадцатых годов историческая теория Карамзина, построенная во славу и оправдание крепостнической, самодержавной России, — явно и безнадежно устарела. На очередь дня стала необходимость коренного пересмотра концепции русского исторического процесса под иным углом зрения.¹ В то же время идеи романтического национализма окончательно оформили оппозицию теории Карамзина в плане построения «философии истории». Историческая наука круто меняла свои пути; перед историками стояли задачи овладения новыми, заимствованными с Запада, методами исследования, равно как и задачи расширения самого круга исторического ведения, за счет привлечения нового материала (изучение форм общественного и культурного быта). Подводя итоги историческим исканиям двадцатых годов, Николай Полевой писал: «История государства Российского» заключила собою ряд явлений прежней исторической, классической, если угодно, школы. Реформа романтическая коснулась и тут всего прежнего и открыла нам путь к труду новому и огромному. Надобно было приняться за критику идей и фактов, за соображение и сбор материалов. . . Время Карамзина прошло без возврата. С л о в становится недостаточно; надобны м ы с л и».

Х

Полевой подошел к занятиям русской историей очень рано: еще в Иркутске писал он детские исторические сочинения, задумал продолжить «Опыт повествования о России» И. П. Елагина и довольно внимательно, по мере своих сил и возможностей, следил за исторической литературой. Уже в 1815 г. «История государства Российского» «не удовлетворяла» Полевого, когда он сравнивал ее «с Тацитом по слогу, с летописями по изложению фактов». Критический разбор русской истории» составлял предмет постоянных занятий Полевого уже в эту раннюю пору его жизни. Первые попавшие в печать сочинения Полевого написаны на исторические темы: молодой купчик, урывками прочитавший несколько фундаментальных исторических сочинений, он в 1819 г. выступает с обстоятельной критикой ученой статьи «Нечто о Велесе», — выступает на страницах центрального журнала того времени «Вестника Европы», редактор которого, профессор Каченовский, руководит его историческими занятиями. В 1822 г. в распоряжение Полевого поступает обширная историческая библиотека профессора Р. Ф. Тимковского; в 1824 г. он печатает в «Северном Архиве» серьезную статью о Несторовой летописи по

¹ Недаром П. А. Вяземский назвал декабрьский бунт 1825 г. «критикой вооруженною рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным» (см. его Собр. соч., т. II, стр. 216).

древнейшему списку мниха Лаврентия; с каждым годом он расширяет и углубляет свои исторические познания. Не подлежит сомнению, что Полевой провел большую подспудную работу, прежде чем решился выступить с многотомным и крайне ответственным историческим сочинением, но тем не менее выступление его было неожиданным и уже по одному тому обидным для русских историков — его современников, в большинстве мелочных крохоборов, разменивших весь свой научный капитал на бесплодные исследования о «кунных мордках» или «банном строении» (темы профессора Каченовского).

В 1829 году вышел в свет первый том «Истории русского народа» Полевого. «Еще до появления этой книги, она уже была осуждаема и превозносима» (Никитенко). Вряд ли можно назвать еще какое-нибудь сочинение эпохи 20—30-х гг., которое вызвало бы столь ожесточенную и длительную полемику, какую вызвала «История русского народа»; действительно, полемика эта сразу же приняла небывало-резкие формы, журналы соперничали друг с другом в сочинении статей, «яростных до нарушения всякой благопристойности». Резкость нападений на «Историю русского народа» была неслучайной, она была вызвана самим характером сочинения Полевого, насквозь полемического, заостренного против всей тогдашней исторической науки и в первую очередь против Карамзина. Не касаясь здесь вовсе внешней стороны этой полемики (осложненной к тому же целым рядом «внелитературных моментов»),² обратимся к самому ее содержанию, что поможет нам с большей наглядностью и убедительностью раскрыть смысл исторической концепции Полевого.

Центральным вопросом в полемике 1829 и последующих годов был вопрос о нападениях Полевого на Карамзина. Хотя «История государства Российского» и не удовлетворяла Полевого еще с дет-

¹ Московское Общество истории и древностей российских апробировало исторические труды Полевого, избрав его в состав своих членов в январе 1825 г. Избрание это прошло не совсем гладко: члены общества А. А. Прокопович-Антонский и И. А. Двигубский «противились принятию Полевого», указывая на «неблагонамеренный» тон его критики сочинений Калайдовича; Полевой был избран по предложению П. М. Строева и 23 февраля 1825 г. читал в обществе свою вступительную речь, в которой следующим образом сформулировал свой взгляд на задачи историка: «На поприще истории отечественной есть еще лавры, которые возьмет смелая рука и испытателя древних бытописаний, и историка-философа. Опыты были у нас во всех родах, а подвигов совершенно не много. История, — по моему мнению, — есть одно из важнейших познаний человеческих. Пусть те, которые находят в ней простые записки о добродетелях и злодеяниях людей, унижают ее достоинство: мы видим в ней поверку всех догадок и предположений ума, философию опыта» (см. «Труды и летописи Общества истории и древностей российских», 1827, ч. III, кн. 2, стр. 56, 83, 84, 103, 107—109, 111—112, 128 и 188; см. также Дневник И. М. Снегирева, т. I, 1904, стр. 104—105, 108, 133, 139).

² См. ниже, в комментариях, стр. 450.

ских лет, — он в течение долгого времени не решался заявить об этом печатно. В «Московском Телеграфе», в пору сотрудничества Вяземского и его друзей, появлялись статьи, преисполненные уважения к Карамзину.¹ Даже после разрыва с Вяземским Полевой напечатал статью О. Сомова, направленную против Арцыбашева, Строева и Погодина в защиту «Истории государства Российского» (1829, ч. 25). Тем более неожиданным было появление в одной из последующих книжек «Телеграфа» (1829, ч. 27), большой принципиальной статьи, развенчивавшей Карамзина и как историка, и как писателя. То, незначительное на первый взгляд, обстоятельство, что статья эта появилась непосредственно перед публикацией объявления о подписке на «Историю русского народа», дало повод антагонистам Полевого обвинить его в желании подорвать исторический авторитет Карамзина ради собственных материальных выгод. Правда, Полевой пытался несколько замаскировать свою разрушительную критику штампованными комплиментами по адресу Карамзина как писателя прошлого времени, но характер этой маскировки настолько прозрачен, комплиментарные вставки настолько противоречат тону всей статьи, что можно предположить, что сделано это было со специальной целью избежать возможных цензурных осложнений с продвижением статьи в печать. Предлогом к критической оценке всей деятельности Карамзина в целом послужил выход в свет XII тома его «Истории».

«Новые люди» 1830-х гг. пером Полевого вынесли Карамзину суровый приговор. В статье утверждается, прежде всего, что Карамзин не принадлежит литературной современности, что он стал уже достоянием истории: «Для нас, нового поколения, Карамзин существует только в истории литературы и в творениях своих. Мы не можем увлекаться ни личным пристрастием к нему, ни своими страстями, заставлявшими некоторых современников Карамзина смотреть на него неверно... Он был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения... Карамзин уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского... Период его кончился... Историю его мы не можем назвать творением нашего времени, как философ-историк он не выдержит строгой критики. Он и не прагматик. Карамзин нигде не представляет вам духа народного... Не ищите в Карамзине высшего взгляда на события». Затем Полевой обвиняет Карамзина в тенденциозности, в «художнической» фальсификации исторического повествования и в методологической беспомощности; он не видит во всех двенадцати томах его Истории «одного общего начала, из которого истекали бы все события русской истории...

¹ См., например, 1825, № 15 — «О новейших критических замечаниях на Историю государства Российского», или некрологию Карамзина — 1826, ч. 9, № 1, стр. 80.

Жизнь России остается для читателя неизвестной, хотя его утомляют подробностями неважными, ничтожными», и снова: «Карамзин нигде не показывает вам духа народного».

Уже из приведенных цитат ясным становится — по какой линии шла критика Полевого и какие задачи ставил он перед историком своего времени. Историческая теория Полевого целиком укладывалась в плоскость построения той «философии истории», о которой мы упоминали выше. Задачи историка, как их понимал Полевой, — это, прежде всего, — не только изучение исторического факта как такового, но и стремление к широким обобщениям с точки зрения единого философского метода. Одна из основных исторических проблем — о причинности событий — утверждается Полевым как проблема познания: «История, в высшем значении, не есть складно написанная летопись времен минувших, не есть простое средство удовлетворять любопытство наше», — история — это своего рода метод познания мира, «практическая проверка философских понятий о мире и человеке»; во всеобщей истории Полевой видит «истинное откровение прошедшего, объяснение настоящего и пророчество будущего», история «соображает ход человечества, общественность, нравы, понятия каждого века и народа, выводит цепь причин, производивших и производящих события. Вот история высшая».

Все это было новым и неожиданным для русского читателя тридцатых годов. С полным основанием можно сказать, что Полевой предпринял целый переворот в русской историографии; по словам красноречивого современника, он «подарил нас начатками истории, достойной своего века», и «эта-то самая современность, с ее забиячливою походкою, с ее подозрительною ощупью, с ее отрывистою речью, кинулась в глаза нашей посредственности . . . , которая не только не успевала за временем, да и не думала равняться ему хоть в затылок. Все зашевелились. Университетский колокольчик приударил в набат. Зашипели кислые щи пузырные и все, которых задевал Полевой своей искренностью, расхотелись на французских дрожжах. Зело Русские и полу-нерусские подали друг другу руки и, припав за имя Карамзина, начали швыряться побранками. Полевой отвечал новыми услугами за новые насмешки».¹

Через десять лет после появления первого тома «Истории русского народа», когда уже улеглась поднятая им буря, Полевой взял себе последнее слово: «Здесь я решительно шел против общего вкуса и направления, — писал он о своей «Истории». — Знакомясь с германскими понятиями об истории, с современными о ней идеями европейцев, я не мог не приложить высшей критики к истории отечественной, и оттого явились и мои противоречия против Карамзина, и идея истории русского народа».² Итак, сам Полевой ука-

¹ А. Бестужев-Марлинский, Соч., ч. XI, 1838, стр. 322.

² С. О., 1839, т. VIII, отд. IV, стр. 108.

зал на то, что он приложил «современные идеи европейцев», в частности «германские понятия», к объяснению событий отечественной истории. И вменял это себе в заслугу.

Несомненно, что исторические мнения Полевого формировались под прямым и непосредственным влиянием идей новейшей западно-европейской историографии, однако, неправомерным будет предположение, будто бы Полевой, едва усвоив эти идеи, «прямо, ex abrupto, приложил их к нашей истории». Эта точка зрения, высказанная Аполлоном Григорьевым, была поддержана впоследствии Пыпиным и К. Бестужевым-Рюминым («Неудача Полевого кроется в механическом перенесении принципов западно-европейской исторической науки на русскую почву, без достаточного уяснения и знакомства с материалом русской истории»). Это неверно прежде всего потому, что Полевой был достаточно хорошо знаком с материалом русской истории, и те мелкие ошибки, на которых ловили его академические ученые, вызваны были скорее всего спешностью работы; а также это неверно и потому, что Полевой учитывал все же относительное своеобразие русского исторического процесса. И в данном случае он заключал «стихию руссизма» в «формы еврепеизма». Дело не в том, что Полевой приложил к объяснению событий русской истории выводы западно-европейской науки, а в том, — чьи и как и к каким выводам остановили на себе его внимание. Даже беглый просмотр библиографических ссылок в «Истории русского народа» дает возможность выяснить круг исторического чтения Полевого, хотя и не позволяет достаточно точно определить его границы. Здесь мы встречаем имена Нибура, Гизо, Тьерри, Минье, Кузена, Гердера, Вильмэна, Шлегеля, Гиббона, Лелевеля, Геерена, Баранта, Риттера, Юма, Шлецера, Клапрота, Капфига и десятки других, менее значительных. Список имен достаточно пестрый и в известной мере может быть объяснен желанием Полевого продемонстрировать свою незаурядную эрудицию в области новейшей исторической литературы вообще. Для нас (как и для Полевого) существенно важны далеко не все из названных здесь имен.

В своей «Истории русского народа» Полевой опирался прежде всего на труды французских историков времени реставрации — Тьерри, Гизо, Минье. Работы этих историков составили целую эпоху в исторической науке: теория борьбы классов впервые была поставлена ими как научная проблема, они подготовили появление исторических трудов Маркса, утвердившего теорию классовой борьбы на материалистической основе. Для Гизо и Минье политические учреждения уже являются следствием «состояния общества», «гражданского быта». В своих «Essais sur l'histoire de France», 1823 г. (книга, известная Полевому) Гизо уже исходит из того положения, что не политический строй определяет собою социальные отношения, а, наоборот, социальные отношения определяют политический строй; термин «гражданский быт» расшифровывается им как «отно-

шения различных классов лиц»; он считает даже, что имущественные отношения являются основой «гражданского быта» и политического строя эпохи — и тем самым впервые кладет прочное основание историческому социологизму. Гизо — законченный идеолог буржуазии, «сын третьего сословия, вышедшего из городских общин», как он сам себя рекомендовал; он явно обнаруживал свою классовую точку зрения и в исторических и политических сочинениях, и в общественной практике, полагая единственной целью своей деятельности упрочение господства «средних классов». Обличительный пафос Гизо (в годы его оппозиционности, до июльского переворота 1830 г.) целиком направлен против аристократии; в речах и памфлетах он громит «выродившихся потомков расы, владевшей огромной страной». Обращение Полевого к Гизо, этому типичному буржуазному идеологу, имеет достаточно очевидный смысл (следует помнить, что репутация Гизо в России была явно неблагонамеренная; граф Нулин приезжает из Парижа с «ужасной книжкой Гизота», которая поставлена Пушкиным в один ряд с «последней песней Беранжера»).

Столь же радикальны и «буржуазны» были сочинения Минье, в «Histoire de la révolution française» которого борьба классов составляет, по выражению Плеханова, «главную пружину политических событий». Еще более резко и отчетливо декларировал свою классовую позицию третий историк французской буржуазии двадцатых годов — Ог. Тьерри, с предельной для своего времени ясностью говоривший об «истории народа», «истории граждан», идущей на смену истории «сильной личности», «завоевателя», «властелина» (именно у Тьерри заимствовал Полевой определение истории, получившее выражение в заглавии его труда — «История русского народа», — явно противопоставленном карамзинскому: «История государства Российского»). В своих замечательных «Lettres sur l'histoire de France» (1820) Тьерри писал: «Движение народных масс по пути к свободе и благоденствию нам показалось бы более внушительным, чем шествие завоевателей, а их несчастья более трогательными, чем бедствия лишенных владения королей». Подобно Гизо, Тьерри также с гордостью напоминал читателям, что он «разночинец», «сын третьего сословия». Эта книга Тьерри была не только известна Полевому, но служила ему своего рода путеводителем по новейшей западно-европейской историографии.

* Посылая в 1832 г. А. Бестужеву-Марлинскому «Lettres sur l'histoire de France», Кс. Полевой писал ему: «Тьерри — гений и преобразитель французской истории. Брат мой обязан ему многим и обожает его. В этой небольшой книге найдете вы толпу новых идей» (неизданное письмо — ИРЛИ). Сам Н. Полевой называл Ог. Тьерри «одним из великих современных историков» и «французским Нибуром», что было в его устах наивысшей похвалой (С. О., 1838, т. III, отд. IV, стр. 40). Отзыв о книге Тьерри см. в М. Т. 1828, ч. 23, стр. 99.

Самый факт «учебы» Полевого у французских историков эпохи реставрации отмечали уже его современники; Герцен писал, что Полевой «заботился о раскрытии в русской истории той борьбы двух начал, которая так ясно представлена Огюст. Тьерри в письмах его о французской истории».¹

Вопрос о том, в какой мере идеи французской буржуазной исторической школы были усвоены Полевым, выводит нас далеко за границы настоящей статьи и должен служить предметом специального исследования на тему: «Полевой — историк». Для нас важно было установить здесь самый факт обращения Полевого к работам этой школы, подчеркнуть, что в «Истории русского народа» он опирался на их положения и выводы. Впрочем, следует оговориться, что сам Полевой не сделал всех нужных выводов из теории своих западных учителей. Проблема борьбы классов, поставленная в сочинениях Тьерри, Гизо и Минье, несомненно привлекла к себе заинтересованное внимание Полевого, но в силу своих собственных социально-политических убеждений он естественно не мог исходить целиком из этой проблемы в своем объяснении русского исторического процесса, поскольку уничтожение самодержавия как формы политической власти вовсе не предусматривалось его программой. И, наконец, еще одна существенная оговорка. Принципиальный эклектизм Полевого позволил ему объединить в своей концепции исторического процесса отдельные элементы учения французской школы с историческими идеями германской идеалистической философии, точнее сказать — Полевой воспринимал буржуазные теории Тьерри, Гизо и Минье в значительной степени сквозь немецкую философию (сквозь Шеллинга, пусть даже в популяризации Кузена), и это, разумеется, не могло не отразиться на его собственных окончательных выводах, в смысле освобождения их от того, пускай умеренного, но все же несомненного буржуазного политического радикализма, как характеризуются работы французской школы.²

¹ См. Полное собр. соч. Герцена под ред. М. Лемке, т. X, стр. 126. В В. Е., 1830, ч. 173, стр. 280 указывалось, что Полевой переадресовал Карамзину все «ругательства» Тьерри на аббата Велли, заключенные в III и V письмах об истории Франции. Нет смысла приводить все случаи, когда антагонисты Полевого ловили его на заимствованиях у Тьерри и Гизо.

² В 1838 г., в пору своего «идейного перевооружения», Полевой заявил даже, что «все новейшие французские историки» были обязаны германским мыслителям своими идеями; они только повторяли их, и больше неудачно, нежели с успехом» (С. О., 1838, т. I, отд. IV, стр. 40). Переоценивать значение этого позднего заявления, конечно, не следует; дата объясняет многое в приведенной цитате — и попытку некоторой дискредитации французских историков (имеются в виду те же Гизо и Тьерри, а также Тьер и Мишле), и неверное по существу утверждение, что французы всем обязаны «германским мыслителям»: в 1838 г. Полевой уже не помышлял не только о борьбе классов, но даже и о борьбе с литературным «аристократством».

Ожесточенные журнальные войны тридцатых годов, в которых живейшее участие принимал Николай Полевой, непохожи на полемические кампании предшествовавшей эпохи: принципиально-литературные споры шишковистов и карамзинистов, боровшихся друг с другом в пределах литературы одного класса, уступают место борьбе буржуазных и дворянских писателей, по ходовой терминологии того времени — «литературных промышленников» и «литературных аристократов» (понимаю эти термины условно, в их историческом значении).

Дворянская интеллигенция эпохи тридцатых годов была не односоставна и не одноцветна, она включала в себя и последышей феодальной аристократии, духовных наследников культурных традиций великого «осьмнадцатого века», и мощную, ведущую группу среднепоместной дворянской интеллигенции новой формации — представителей капитализирующегося дворянства. Ведущая группа «литературных аристократов» (также, в свою очередь, довольно аморфная по своему составу), сложившаяся в борьбе с литературной (а отчасти и политической) реакцией начала века, — к тридцатым годам вступила в новую (и последнюю) фазу своего развития. События социальной и политической истории предшествовавших десятилетий, исход революционной вспышки 1825 г., с последовавшей вслед за нею правительственной реакцией, — определили крушение всей системы дворянского либерализма александровской эпохи. К тридцатым годам оппозиционные настроения, характерные для ранних литературно-общественных выступлений левого крыла группы, — уступают место резко-выраженным тенденциям к объединению всех сил дворянской интеллигенции перед лицом неожиданно выросшей о б щ е й опасности буржуазного наступления на дворянскую культуру. Именно к этому времени один из авторитетнейших деятелей группы Вяземский прощается с иллюзиями «варшавского либерализма» и даже свое определение на государственную службу склонен объяснять своего рода категорическим императивом. Именно к этому времени кончается антиправительственный бунт Пушкина, все теснее и теснее смыкающегося с реакционным крылом группы, представляемым Жуковским и его придворными друзьями. Группа объединяет все свои силы под флагом борьбы уже не только за целостность и сохранность своей литературной системы (как это было во времена Беседы и Арзамаса), но и за нерушимость дворянской культуры вообще. В широко развернувшейся борьбе эпохи тридцатых годов группа терпит поражение за поражением, но — как всякая старая гвардия — умирает, но не сдается.

Николай Полевой сыграл в этой борьбе может быть наиболее видную роль. Вся его литературно-журнальная деятельность

в 1830 — 1834 гг. шла под знаком непрерывной атаки на «литературных аристократов», в частности на их журнальную цитадель — «Литературную Газету» (1830 — 1831). «Даю теперь последнюю битву глупому и ничтожному аристократизму литературному, — сообщал Полевой А. Бестужеву-Марлинскому. — С падением его останется по крайней мере чистое поле. Люди явятся. В начале разрушения лежат семена возрождений. Нам, нынешним литераторам, не быть долговечными». ¹ В ответ на знаменитое «Avis au lecteur» аристократов, Полевой писал: «Литературная Газета есть последнее усилие жалкого литературного аристократизма, и вот вся загадка. Грамот на литературное достоинство герольдия нынешней критики не только не утверждает современным литературным аристократам, но оспаривает оные и у тех литературных аристократов, которые давно похоронены с названием бояр. Теперь не дают пропуска на Парнас тем, которые лег за десяток называли себя помещиками Парнасскими. . . Литературный аристократизм довольно шалил у нас. На него нападали и всегда будет нападать Телеграф». ²

И действительно, Полевой нападал на «знаменитых», ³ нападал всюду, где только представлялся случай — и в серьезных критических статьях, и в фельетонах, и в пародиях «Нового Живописца», негодуя на «оскорбительные и слишком феодальные общие выражения, которые в мирной республике наук и словесности не годятся», разрушая все устойчивые литературные репутации, требуя, «не одной подписи знаменитого имени, но достоинства внутреннего и изящества внешнего», и «срывая маску» с «безграмотных писак, боярских деток», сильных не талантом, но одной принадлежностью к благородному сословию. ⁴

«Дубинка критики неумолима», — писал Полевой и, заверяя своих противников, что «в числе его недостатков нет литературной трусости», не щадил даже Пушкина, несмотря на все уважение, которое питал он к его таланту. ⁵ Принципиальность позиции

¹ Письмо от 20 декабря 1830 г. — «Известия по русскому языку и словесности Академии наук», 1929, т. II, кн. I, стр. 204.

² М. Т., 1830, ч. 34, стр. 240. Здесь Полевой отвечал на статью Пушкина «Новые выходы противу так называемой литературной аристократии» (в «Литературной Газете», 1830, № 45), которую он истолковал как попытку вовлечь в полемику правительство и цензуру (см. Д. Благой, Социология творчества Пушкина, 1929, стр. 21).

³ Термин эпохи, см. ниже, стр. 153—154.

⁴ См., например, М. Т., 1830, ч. 31, стр. 75, 203 и 355; ч. 32, стр. 237; ч. 33, стр. 97, и 1831, ч. 37, стр. 246 и 537; ч. 38, стр. 235; «Новый Живописец», т. II, стр. 76. Ср. также данные, приведенные в комментарии, ниже, стр. 458—459).

⁵ «Верьте, верьте, что глубокое почтение мое к вам, — писал Полевой Пушкину, — никогда не изменялось и не изменится. В самой литературной неприязни, ваше имя, вы, всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что вы у нас один и единственный» (письмо от 1 января 1831 г.).

Полевого в отношении аристократов не позволяла ему выделить Пушкина из его литературной среды, но в отличие от критики, направленной в адрес других «знаменитых», отзывы Полевого о Пушкине (в эпоху тридцатых годов) носят своего рода «педагогический» характер: он пытался литературно перевоспитать Пушкина, внушить ему сознание никчемности его аристократизма, недостойного «первого поэта» России и сковывающего свободное развитие его художественного дарования.

Литературные аристократы первые взяли под подозрение политическую благонамеренность Полевого. Их интерпретация антидворянских выходов «Московского Телеграфа» означала перенесение полемики в плоскость уже не только литературной борьбы. Призывы «Литературной Газеты» к бдительности были услышаны там, куда они в сущности и были обращены, — в официальных дворянско-бюрократических кругах. Они способствовали упрочению за Полевым репутации «литературного демагога», «санкюлота», «журнального Дантона»¹ и пробудили внимание правительственных органов к его деятельности.

XII

Мне тяжко жизнь мою осталось долачить...

Н. Полевой

В комментарии (см. стр. 462—479) подробно рассказано о тех цензурных и полицейских репрессиях, которым подвергался Полевой в годы издания «Московского Телеграфа». Над Полевым собиралась гроза, которая и разразилась с необычайной силой в 1834 г., когда был запрещен его журнал и самое имя его стало запретным. Полевой был вытеснен из литературы, его лишили права не только продолжать журнальную деятельность, но даже подписывать своим именем статьи, помещаемые в чужих журналах. И здесь-то сказалась неустойчивость радикальных мнений Полевого. Разоренный, выбитый из колеи, деморализованный и попросту растерявшийся, Полевой с необычайной поспешностью заявил о своем отказе от прежнего неблагонамеренного, образа мыслей и «в пять дней стал верноподанным» (Герцен). В конце 1837 г. он оставил Москву и переехал в Петербург, где по договору со Смирдиным взял на себя негласную редакцию «Сына Отечества» и «Северной Пчелы» (под верховным управлением и контролем Булгарина и Греча).

Ни одной из надежд, возлагавшихся Полевым на «новое бытие» в Петербурге, — не суждено было осуществиться. В редакциях смир-

¹ Так именует Полевого приятель Пушкина А. Н. Вульф, — см. его Дневник (1929, стр. 282).



Николай Полевой

динских журналов он стал жертвой закулисных интриг Булгарина, Греча и Сенковского — своих старинных врагов, оказавшихся вероломными союзниками. Правительство не верило его усердным заверениям в преданности, и главный виновник постигшей его катастрофы — министр народного просвещения Уваров, считавший запрещение «Московского Телеграфа» едва ли не своей государственной заслугой, — в течение ряда лет вел систематическую травлю разоружившегося идеолога буржуазной оппозиции.

Петербургский период жизни и деятельности Полевого являет собою печальную картину медленного умирания — физического и морального — этого замечательного человека и литератора, столь гордившегося независимостью и чистотой своих убеждений. Строго говоря, Полевой вовсе не был ни «изменником», ни «отступником», — повторим, что указание Плеханова на известную закономерность пути Полевого от «Московского Телеграфа» до «Северной Пчелы» совершенно справедливо. Говорить о «падении» Полевого можно только в плане узко-биографическом, но никак не в социально-политическом: в Петербурге он только акцентировал исконные свои мысли о «духе народности», которые и прежде лежали в основе всей системы его политических мнений. Этим, разумеется, ни в какой мере не снимается вопрос о перемене Полевым в Петербурге своего общественного и профессионального поведения. Именно это обстоятельство вызвало резкие обвинения по его адресу, раздававшиеся среди молодого поколения тридцатых годов, воспитанного под влиянием идей издателя «Московского Телеграфа»: «Если бы он после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и смиренно трудиться с единственной целью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, дельце, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивал свою руку людям отсталым, пошлым защитникам тех принципов, против которых он некогда ратовал, отъявленным негодьям, и, что всего хуже, — с завистливой ненавистью отвернулся от нового поколения».¹ Все это, к сожалению, неопровержимо, но нам кажется уместным напомнить здесь слова Белинского: «Заслуги Полевого так велики, что при мысли о них нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках».

Что же касается того, что Полевой отвернулся от «нового поколения», то это стоит вне всякой связи с изменением его политической ориентации. Как мы уже упоминали выше, идеи, воодушевлявшие молодых русских гегельянцев и сен-симонистов, были органически чужды Полевому; для философии Абсолютного Разума он

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания, 1928, стр. 430.

не нашел другого определения, как «схоластика», а учение Сен-Симона было для него «безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию». ¹ В 1840 г., подводя итоги минувшего пятилетия, Полевой писал: «Нынешнее состояние нашей литературы... есть последний кризис и пароксизм нашей чужеземной литературной лихорадки. В то время как мудрое правительство указывает нам три основы нашего народного быта: православию, самодержавие и народность, когда щедрые пособия его обращаются на усиление основательного учения, расширение положительных наук и знаний, изыскание источников отечественной истории, ученое исследование Руси, и наша производительность, наша общественная жизнь и образованность столь сильно движутся вперед; когда, наконец, просвещение проникает всюду, и самые превратные реформы служат только к сильнейшему соборению знаний, сведений, идей и понятий — он пробуждается, спавший «долго богатырь» — Русский дух — и в литературе нашей. Время реформы и своевольного разрушения исчезает, как последний отголосок битвы, и настает время спокойного создания и умного творения». ² Так отпел Полевой все то, за что боролся в течение десяти лет с неослабевающей энергией и примерным мужеством, — заживо отпел самого себя.

В Петербурге Полевой с головой ушел в повседневный, тяжелый и неблагоприятный труд «чернорабочего» журналиста. Обремененный долгами, осаждаемый со всех сторон кредиторами, нищий и больной, он рабстал чудовищно много: в 4 часа утра садился за свой письменный стол и «поставлял» до семидесяти печатных листов за месяц. В поисках заработка Полевой бросался от предприятия к предприятию: редактировал бездарные романы и исторические сочинения, сам писал (по заказу) роман, продолжал свои труды в области русской истории и, наконец, с исключительным усердием работал для театра (за восемь лет, с 1838 по 1845 г., написал более сорока пьес).

Театр Полевого — тема специального исследования; Полевой (наравне с Кукольниковым) был подлинным создателем русского официозного репертуара 1840-х гг. Если первые драматические опыты Полевого — как например, перевод «Гамлета» (1837) и «Уголино» (1838) — представляют собой результат серьезной творческой работы, то бесчисленные драмы, комедии и водевили, начиная с «Дедушки русского флота» и кончая «Ермаком Тимофеевичем», были не чем иным, как ремесленническими произведениями, замечательными разве только одним высоко-патриотическим содержанием, «с апотеозою кислых щей, горелки и русского кулака» (Аполлон Григорьев).

¹ А. И. Герцен, Былое и Думы, т. I, 1931, стр. 132.

² С. О., 1840, т. I, стр. 441—446.

Полевой сам отчетливо сознавал невысокий идейно-художественный уровень своих драматических сочинений: «Все, что отдано мною на сцену, — писал он, — я считаю ничем другим, как только добросовестными опытами, игрою *va banque* на мою литературную известность»,¹ а после громкого успеха «Уголино» на петербургской сцене писал брату Ксенофону: «Продолжать ли мне? Ты знаешь, что это не стоит мне никаких усилий, но должно ли еще писать, или остановиться, сознавая свое жалкое бессилие против великих образцов и не льстясь на успех, каким, право, божусь богом, не знаю за что меня теперь оглушили. . .». Непатриотические пьесы — такие, как «Дедушка русского флота», «Купец Иголкин», «Параша-Сибирячка» — доставили Полевому то, чего он тщетно добивался с первых же своих шагов в Петербурге: расположение Николая I и вообще всей придворно-бюрократической верхушки. Николай I восхищался драматическими сочинениями опального журналиста и полагал, что именно в этой области Полевой нашел свое подлинное призвание: «У автора необыкновенные дарования, — говорил он, — ему надобно писать, писать, писать. Вот что ему писать надо бы, а не издавать журналы». ²

В конце 1841 г. Полевой попытался еще раз выйти на широкую дорогу независимой литературно-журнальной деятельности: он взял на себя редакцию «Русского Вестника», того самого журнала, где за четверть века до того, в 1817 г., напечатал свое первое произведение. Полевой возлагал много надежд на это предприятие, но все надежды его были напрасны: «Русский Вестник» едва собрал 500 подписчиков и, кроме того, «возбудил и все ненависти литературные» и подозрения, что Полевой хочет «что-то шевелить опять в журналистике». ³ Между тем в 1841 г. Полевой дошел до крайней степени нужды, «по нескольку дней сидел без копейки», «почти умирал с семьею с голоду»; его детей исключили из училища за невзнос платы, лавочники прекратили отпуск товаров в долг, домохозяин гнал его с квартиры и даже единственная его «шубенка» чуть не была продана с аукциона; ему неоднократно угрожала долговая тюрьма. Деньги стали центральной темой его литературных произведений; он писал брату Ксенофону о представлении своей драмы «Ломоносов» (в феврале 1843 г.): «В третьем действии [зрители] плачут, когда у Ломоносова нет ни гроша на обед и Фриц приносит ему талер, — а не знают, что это за несколько дней с самим мною было и что сцена не выдуманна» (см. также анонимную книжку Полевого «Были и небылицы», I — «Деньги», 1843). Дневник, который вел Полевой в эти годы, замечательный в своем роде документ нищеты и отчаяния; изо дня в день Полевой записывает:

¹ Предисловие ко II тому «Драматических сочинений и переводов».

² См. «Записки» Кс. Полевого, изд. 1888 г., стр. 445.

³ *Ibid.*, стр. 546.

«Безденежье и досада...

«Бешкендорф прислал 5 р у б л е й... начались мучения... отовсюду тянут денег...

Денег у меня только 5 рублей... надобно 70 рублей...

«Писал до обеда. Мыслей ни капли. Господи, помилуй...

«Писал, сколько моих сил доставало. В доме 1 р. 40 коп., ни сахару, ни чаю...

«К Ольхину. Он спал — жду; просыпается — берет рукопись — прошу 350 рублей — отказ чистый. Мне стало жарко и холодно. С горя вечером начал писать оперу Львову...

«Как безумный писал роман и написал целый лист. После обеда отвез лист, взял денег, купил овса и вина, — без того есть нечего было бы...

«Уже не было дров и оставалось всего 4 гривенника...

«Все отдыхают, — а я... Но хоть бы без отдыха, но только бы не терзали...

«Еле жив от усталости...

«В доме ни гроша...

«Денег и денег...

«Болен — спазмы, голова...

«Если продолжится — я издохну. Кругом безнадежность — работы тьма, ничего не кончено и сил нет...»

Дневник 1843 г. кончается такой записью: «Год заключили грустно, сидя с детьми за ужином. Плакать хотелось».¹

В конце 1845 г. Полевой «сошелся с Краевским и так хорошо, что взял у него на три года «Литературную Газету» (из его письма к брату). Он ревностно принялся за издание, но едва успел выпустить несколько номеров, как заболел и умер 22 февраля 1846 г.

Посылая цензору А. В. Никитенко программу «Литературной Газеты», Полевой писал: «Пробегите и подпишите прилагаемое при сем объявление, написанное в духе самодержавия, православия и народности, то есть совершенно сообразно предписаниям и воле его высокопревосходительства [то есть Уварова], желающего — да будет statu quo [sic] вечным законом русской литературы. Повинуемся, хотя ничто не заставит нас забыть, что, переживши Аракчеевых и Магницких, неужели бедная Россия не переживет других врагов доброго царя русского? Если бы он знал, что делают люди, злоупотребляющие его доверенностью...»²

Какое позднее воспоминание об Аракчееве и Магницком, и какая жалкая вера в «доброе царя русского»! Вообще, в последние годы жизни Полевой, повидимому, осознал и осмыслил гибельность пути, выбранного им после запрещения «Московского Теле-

¹ «Исторический Вестник», 1888, март—апрель.

² Из неизданного письма (ИРЛИ). Подчеркнуто нами. — В. О.

графа»: «Замолчать во-время — дело великое. Мне надлежало замолчать в 1834 году — писал он брату. — Вместо писания для насущного хлеба и платежа долгов, лучше тогда заняться бы чем-нибудь, хоть торговать в мелочной лавочке. Но кто борется с своею судьбою похвалится, что не все выигранные им битвы были более подарки случая, а не расчета; а проигранные принадлежат ему лично?» (из письма 1844 г.).

28 февраля 1846 г. множество народа собралось проводить Николая Алексеевича Полевого на Водково кладбище. Он лежал в простом, некрашеном гробу, в халате и с небритою бородой. Такова была его последняя воля. Гроб везли на дрогах, запряженных парю исхудалых одров, ребра которых торчали сквозь дырявые покрывала. На похоронах присутствовал Уваров.

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ
АВТОБИОГРАФИЯ
(1839)

Наш род Полевых был одним из старинных и почетных посадских родов в Курске, на ряду с Климовыми, Голиковыми и другими почетными Курчанами. Замечательно, что кроме Курска Полевых нигде больше не было, но тем многочисленней были они в Курске, так что их различали даже одних от других уличными названиями; наш род по уличному прозванию назывался О с и п о в, по имени моего прадеда О с и п а, который был известен по своему благочестию и считался большим начетчиком духовных книг. Я видел подпись его, четкими, кудрявыми буквами, на купчей Курского Магистрата, в ряду с другими почетными гражданами. Он вел большие торговые дела, но в старости устранился он от всех дел, поручил их детям, ходил только к церкви божией и жил в комнатке подле бани, стоявшей на огороде его старинного дома. Дом этот находился против бывшего в Курске верхнего Троицкого монастыря, на высоком берегу живописной Тускори (его купил потом купец Горбунов). Впрочем, предки наши не умели наслаждаться живописными видами; дома их строились внутри дворов, обнесенных на улице заборами, ворота которых днем и ночью бывали заперты. Прадед был одним из богатых людей в Курске; у него была каменная палатка для складки товаров, которые вывозил он из Персии, куда ездил торговать, а таких палаток в целом Курске было только две. Дед мой Евсей был женат на Климовой, сестра которой была за И. Л. Голиковым, одним из богачей Курских, двоюродным братом Михайла Сергеевича Голикова, которого воспел Державин под именем С о с е д а,¹ и Ивана Ивановича Голикова, известного сочинителя Деяний Петра Великого. Но первый удар нашему дому нанесен был возмущением Тахмас-Кулыхана, где погибли Русские купцы, нахо-

дившиеся тогда в Персии, и между ними брат моего деда, причем все товары были разграблены. Дед мой принужден был ограничиться торговлею с Бухарцами в Оренбурге. Странно, что какой-то дух предприимчивости отличал моих предков среди тогдашнего купечества. Так, брат моего деда Иван погиб в Америке, куда отправился искать счастья, а старший дядя мой Василий решился ехать в Камчатку, где оставалось наследство после Ивана; и он также не воротился на свою родину. Дела деда поправились, но Пугачевщина в конце разорила его. Дед был в числе сидевших в Оренбургской полугодовой осаде 1773 года. Участь его была долго неизвестна бедному семейству его. Отец мой был тогда лет 13-ти (он родился в 1759 году), выучен уже грамоте у дьячка, и бабушка посылала его торговать мелочами на Курском базаре. Между тем Голиков сделался откупщиком в Сибири; бабушка просила его принять сироту, племянника Алексея, и дать ему местечко. Голиков велел отправить его в Сибирь, и отец мой отправился в Тобольск. Он видел мимоездом пожарище Казани, сожженной Пугачевым, и в юности увлеченный судьбою в Сибирь, провел там сорок лет деятельной, трудной, разнообразной жизни. Вскоре был он отличен хозяевами. Ему поручали дела в Москве, Петербурге, Казани, Тобольске, но вскоре настало для него занятие важнее. Голиков имел участие с знаменитым Шелиховым по торговле и промыслам в Америке. Его капиталами совершена была знаменитая экспедиция Шелихова в 1783 году, когда он открыл Кадьяк, за что обоим компаньонам даны были медали и шпаги в 1788 году.² Но ловкий Шелихов умел запутать дела, начал с Голиковым тяжбы, и отцу моему поручил Голиков быть поверенным с его стороны. С тех пор отец мой поселился в Иркутске. Там женился он на бедной сироте, умел окончить все ссоры, получил пай в торговле Американской, сделался другом Шелихова, и они решились утвердить на прочном, незыблемом основании дела в Америке. Отец мой составил план обширной Компании, поехал в Петербург, и уже возвращаясь в Иркутск с условиями, на какие согласился Голиков, бывший тогда откупщиком в Петербурге, когда дорогою услышал он о смерти Шелихова (1795 года). Начались споры за дележ богатого наследства. Отец мой подвергся жестокому гонению, но не унывал. Зная лучше всех дела и соперничествуя Голикову, которого бессовестно умели вооружить против

него, и Шелиховым, сделавшимися его врагами, он уговорил Иркутских купцов завести другую компанию. Напрасно мирил и ладил дело Н. П. Резанов, зять Шелихова, бывший впоследствии камергером, обер-прокурором, а потом послом в Японии. Уговорили отца моего от всего отступиться. Компании соединились, приняли название Соединенной Американской. Отец мой получил за весь свой пай 100.000 рублей, забыл об Америке и занялся делами другими, намереваясь оставить Сибирь. Прошло не много лет. Смелое торговое предприятие и излишняя доброта и доверчивость к людям вдруг лишили его состояния. Едва мог он расплатиться, остался почти ни с чем, и отправился в Петербург в 1802 году. Американская Компания, составленная из Шелиховской и Иркутской, получившая многочисленные привилегии, распространившая свои дела, имевшая уже главное Управление в Петербурге и отправлявшая корабли кругом света, видела в нем опытного, особенно нужного ей человека, и уговорила его принять место правителя в конторе Охотской и Иркутской. Отец мой опять принялся за Американские дела, но не долго пробыл он и принужден был отказаться от своей должности. Надобно было что нибудь делать. Еще кровь его кипела деятельностью; средства казались неистощимы. Он завел выделку морских котов, и на небольшие деньги, какие успел собрать, решился основать в Сибири фаянсовую фабрику. Имя Веджвуда произносил он с восторгом. Материялы нашлись близ Иркутска; двое каких-то ссыльных мастеров, токарь и лепщик, бывшие некогда на Петербургском фарфоровом заводе, были первыми его помощниками. Он продал свой дом в городе, занял обширное место за городом, на речке Ушаковке, построил там себе небольшой дом, завел свой фаянсовый завод и начал работать. Это было в 1805 году. Здесь начинаются уже мои живые воспоминания.³ Из всего что было прежде, помню кое-что, отрывками, случайно. Но в 1805 году мне было девять лет (я родился 22 Июня 1796 года).

Помню отца моего в ту пору, уже с сединою на голове, но еще бодрого, свежего, пылакого, горячего, деятельного, всегда в своем халате, или за делом, или с книгой в руках. Только теперь могу я оценить его необыкновенный ум, множество практических его сведений, его светлые мысли обо всем. Школа опыта и жизнь в свете ознакомили его с людьми, путешествие по пустыням

Сибири — с природою. Прибавьте к тому огромное чтение (он не знал ни одного языка, кроме Русского, но не знаю, чего не читал он по-Русски, в свое время), память чрезвычайную, привычку мыслить, любопытство безграничное, живость юноши даже в преклонных годах, вспыльчивый характер при младенческом сердце, умное, благородное лицо с голубыми глазами, стройность тела при некоторой тучности, веселость, дар слова, — и вы очертите себе портрет отца моего. Не знал я никого другого, более его добродетельного и благодетельного, не знал никогда сердца более чувствительного — сколько раз заставлял я его, в старости, плачущим за романами, сколько раз видал, что последний рубль делил он с бедным, слышал, как прощал он обиду, неблагодарность! Но в гневе он бывал ужасен. — Мы любили его без памяти и боялись чрезвычайно, хотя он сам иногда игрывал, бегивал с нами как дитя. Пылкость и воображение неукротимые, при доверчивости к другим, всегда губили его, и тут не помогали ему ни ум, ни опытность. Сколько раз говаривал он мне, что последние слова дедушки, при последнем прощании его с ним были: *А л е к с е й ! н е б у д и я р !* и при первом случае увлекался он пылким, добрым своим характером! Прежде любил он жить открыто, но когда начал я помнить себя, мы жили уже весьма скромно. Отец мой мало выезжал из дома, но гостей всегда бывало у нас много; весь город знал, любил и уважал его; с ним приходили советоваться, к нему шли мириться. Губернатор приезжал к нему запросто и требовал, чтобы он оставался в своем халате. Все, что только являлось в Иркутске замечательного, каждый путешественник посещал отца моего.

Нельзя однакож ничего вообразить страннее понятий отца моего об образовании, и вследствие того о методе воспитания, какое следовало дать детям. Собственно — методы у него не было никакой. Он чувствовал пользу учения и образования, желал их, но долго надобно бы говорить, объясняя, что значили в его понятиях слова: *д е л о в о й ч е л о в е к*, и что такое называл он *в з д о р о м*. Писатель в глазах его был что-то странное, хотя он глубоко уважал Голикова, и сто раз слышал я от него все подробности об этом любопытном Историке Петра Великого, с которым хорошо дружен был он, как родственник. Несколько раз хотел отец мой послать меня в Петербург, в Коммерческое училище, где очень знаком ему

был Директор, известный Подшивалов. Я почти не помню себя неграмотным, потому, что лет шести был я, когда старшая сестра выучила меня читать, и лет восьми я уже читал вслух — матери моей романы, отцу же Библию и Московские ведомости, а десяти перечитал уже все, что было в шкапе у отца моего: Всемирный Путешественник, Разговор о Всеобщей Истории, Боссюэта; О множестве миров Фонтенеля, путешествия Ансона и Кука, Деяния и Дополнения к Деяниям Петра Великого, несколько разрозненных томов сочинений Сумарокова, Ломоносова, Карамзина, Хераскова, театра Коцебу и проч. — Добрый товарищ моего детства А. А. Титов (он теперь Правитель Компанейской Конторы в Иркутске) выучил меня писать, и мне было лет десять, когда я вел уже домашнюю контору у отца моего, и писал — да, писал стихи и прозу, сам не зная, что такое стихи и проза, выдавал газету: Азиатские Ведомости, вроде Московских Ведомостей, журнал: Друг России, вроде Московского Меркурия (Макарова), от которого я был в восторге, написал драму: Брак царя Алексея Михайловича, трагедию: Бланка Бурбонская, интермедию: Петр Великий в храме бессмертия,⁴ сочинял Путешествие по всему свету, и решился свести воедино Деяния и Дополнения Голикова. Если успевали мы достать новых книг у когонибудь, я просто зачитывался, забывала дела; тут-то начиналась буря: отец бранил меня, жег мои драмы и журналы, отнимал у меня книги. Но через несколько времени я опять принимался за прежнее, и отец мой, страстный политик, читая Московские Ведомости, Вестник Европы, Политический Журнал, забывал свое запрещение, говорил, рассуждал со мной, как со взрослым; мы вместе бранили Наполеона, делили Европу, ждали с нетерпением почты, которая привозила новости о наших победах, о Тильзите, об Эрфурте, о Вене; я наизусть выучивал статьи из Русского Вестника, вместе с Россиядой Хераскова, стихами из Моих Безделок Карамзина, притчами Сумарокова, «Мыслями вслух на Красном крыльце». Сделался наконец ходячею справочною книгою отца моего по Географии и Истории, потому что память у меня была такая, какой я ни у кого другого не встречал. Выучить наизусть целую трагедию мне ничего не стоило. Словом, если надо выразить умственное образование мое до 1811 года, то оно было таково: я прочитал тысячу томов всякой всячины, помнил все, что

прочитал, от стихов Карамзина и статей Вестника Европы до хронологических чисел и Библии, из которой мог пересказывать наизусть целые главы, но это был какой-то хаос мыслей и слов, когда сам я едва начинал мыслить. Между тем я был деловым человеком, управлял заводами отцовскими (к своему фаянсовому заводу он присоединил еще водочный, войдя в связи с тогдашними откупщиками), вел контору, расчеты, ходил и ездил в город по делам, и слыл в городе диковинным мальчиком, с которым, как с ученым человеком, рассуждал сам Губернатор и спорил Директор Гимназии.

В 1811 году, отец мой, успевши поправить несколько свое состояние, решился оставить Сибирь. Воображение сулило ему золотые горы в России. Он исчислял десятки предприятий, и от каждого сотни тысяч, а я должен был отправиться предварительно с его препоручениями в Москву. Мне было лет 15-ть. В Мае 1811 года оставил я Иркутск, был мимоездом на Макарьевской ярмарке, а в Августе приехал в Москву, где поселился у старого отцовского приятеля. . .

Говорить ли о впечатлениях моих, когда, не оставляя прежде никогда Иркутска, я вдруг проехал через всю Сибирь, видел первую в свете ярмарку и увидел древнюю Москву? Ничто не поразило меня однакож так, как театр и книжные лавки (первая пьеса, которую видел я на Макарьевском театре, была: Гусситы под Наумбургом Коцебу, при чем я обливался слезами, а вторая пьеса, на Московском театре, опера: Павел и Виргиния, где играли Самойловы).⁵ Дела задержали отца моего в Сибири. Я прожил почти год в Москве без него, и театр, куда ходил я раза по три в неделю, книги, которых прочитал и накупил я без счета, университет, куда пробрался я на лекции и где слушал Мерзлякова, Страхова, Гейма, Каченовского, увлекали все мое время. Я не забывал притом писать: сочинил трагедию: Василько Ростиславич, решился продолжать Опыт повествования о России Елагина, который казался мне образцом красноречия, написал повесть: Ян Ушмовец, роман и проч. и проч. — Отец мой и все семейство наше выехали в Москву в Июне 1812 года. «Много ли у тебя осталось денег?» и «что ты делал в Москве?» — были первые вопросы отца. Я указал на груду книг, мною накупленных, и кипу бумаги, мною исписанную. «А дела?» —

Я безмолвствовал. Кипа была немедленно предана всесожжению; книги читать мне строго запрещено, и мы принялись за дела...

Но нам не удалось их много наделать. Августа 26-го мы уже тянулись с другими беглецами из Москвы по Владимирской дороге. Я видел потом пожар Москвы и в Декабре отец мой поехал со мною из Арзамаса, куда укрылись мы, в Петербург, где он кончил старые расчеты с Компаниею. Он стремился теперь на родину, забывши, что оставил ее юношею и возвращается стариком, через сорок лет. В Июне 1813 года отправились мы из Курска на Дон — делать сахар и ром из арбузов и торговать Донскою рыбою. Через год дела отца моего были в самом печальном положении. Я оставался без дела, определился в контору богатого купца, и решился заняться только делом. Книги составляли только временную отраду мою. Неумоимо работал я, писал счета, переписывал купеческие письма. В конце 1814 года отец мой снова отправился в Иркутск. В 1815 году я последовал за ним; но увы! уже около шестидесяти лет легло на плечи доброго отца моего. Остальная жизнь его и будущая участь многочисленного, беспомощного семейства терзали его. Ему не жилось в Сибири. В начале 1816 года он отправил меня опять в Курск, а в 1817 году выехал сам из Иркутска. У нас было очень немного денег; по крайней мере, был теперь собственный домик, были и дела, но я снова однакож занялся делами моего прежнего хозяина. Здесь наступил новый и решительный переход жизни моей.

Поездки, испытанія, обращение с людьми, рано начатое, сделали то, что мне еще не совершилось 20-ти лет, но я казался совершенно взрослым, и прослыл деловым человеком. Уезжая из Курска в 1816 году на Нижегородскую ярмарку, например, мой хозяин поручал мне в управление все торги свои, дом, расчеты и даже строение церкви Знаменского монастыря, куда определен он был членом от общества, как градский глава. Все было исполнено мною исправно, к большому удовольствию хозяина. Я сделался замечательным молодым купцом среди моих сверстников. Но, с одной стороны, дела купеческие уже давно не наполняли души моей: ей чего-то хотелось, чего-то она жаждала, требовала. Я чувствовал даже, что всему уму моему нечем тут заняться, что даже самого времени у меня много останется, как ни занимался бы я делами. Товарищи мои убивали излишек его на забавы и шало-

сти. Я не мог разделять с ними их времяпрепровождения. Чтение без плана и системы было жадной, которая ничем не утолялась и не вела за собой ничего существенного. С другой стороны, нигде так, как в купеческих отношениях, не чувствуете неравенства состояний. Там все уравнивается капиталом, а без него ум и знание дел оставляют в людских отношениях бездну неизмеримую. Но богатство приобретает тихо, медленно, и нередко годы, жизнь проходит, когда притом судьба купца не вернее судьбы лодки на море в бурю. И жизнь моя, которой так рано испытал я разные стороны, представляла мне в будущем грустную перспективу. Между тем, и отец мой начал давать мне больше свободы, видел во мне опору семейства, находя, что я могу быть деловым человеком, и понимая, что странностям моего образования был он отчасти сам причиною. К тому прибавилось у меня оскорбленное чувство самолюбия, когда мне резко дали уразуметь, что ни честное имя, ни уважение к старику отцу моему, ни мои старания и заботы, ни общее мнение, что я отличный молодой купец, не дополняют того, что доставляет купцу честь и славу в его кругу — богатства. «Я докажу им», думал я, «что они ошибаются!» Но как и чем доказать? И жизнь купеческая и дела опостытели мне. Грусть терзала меня, и тогда-то мне пришло в голову, что только ученью остается в России дорога к почести без денег. А между тем эта дорога ведет именно к тому, что до сих пор составляло лучшее услаждение моей жизни, что составляло до тех пор мою радость и утеху — книги и науки. Лекции университета, беседа с учеными мужами будут моею обязанностью, а потом поведут меня к чести и славе, к чинам и к богатству!.. Обольстительный мир раскрывался передо мною; воображение мое рисовало в будущем картины пленительные!.. И еще с 1814 года начал я потихоньку учиться и прежде всего Русской Грамматике, по грамматике Соколова, которая как-то попала мне в руки. Тогда же увидел я необходимость знать иностранные языки. Мне надобно было скрывать и таить свое ученье и перед отцом и перед хозяином: оно могло повредить моей деловой репутации, и, кроме того, что сказали бы мои товарищи, если бы узнали, что я учусь азбуке? А старики, а старухи?.. Пьяный цырюльник Наполеоновской армии, Итальянец, который остался допивать жизнь свою в одной из курских цырюлен, показал мне произношение

Французских букв; старик музыкальный учитель, Богѣмец, который учил на фортепиано дочерей моего хозяина, и любил после уроков посидеть у меня в конторской комнатке и покурить табуку, научил меня Немецкой азбуке. Я нашел в то время друга, с которым мог делиться моими надеждами, моими мечтами, друга, с которым потом пошли мы по дороге жизни, рука в руку, которому одолжен я уверенностью, что дружба не мечта поэзии, но точно святой дар неба, существующий на земле: этот друг был брат мой К с е н о ф о н т. Горе и опыт рано коснулись его ума, крепкого, основательного, его души, сильной, пламенной, но скрытой под холодную наружность. Противоположность характеров еще более сблизила нас. Раза по три в неделю я уходил после обеда из богатого дома моего хозяина, где жил тогда, в смиренную квартирку на нижней Сергиевской улице, где отец мой нанимал себе две, три комнатки. Ксенофонт нетерпеливо ждал меня, и пока отец отдыхал после обеда, мы уходили за крыльцо, и там в углу, на чистом дворе, расстилали рогожу, садились на нее; я вынимал грамматику Соколова, грамматику Французскую, Немецкую, и начинал учить Ксенофонта, чему сам выучился в прошедшие два, три дня. . . Д в а д ц а т ь п я т ы й г о д идет после того времени, а я помню, живо помню те драгоценные минуты! — Ласковый взор отца, непоколебимого среди горестей жизни, встречал нас потом; мы принимались за чай; я всегда запасался новостями и газетами: мы начинали читать их, и я помню восторг отца, когда я принес ему известие о взятии Парижа. Старик плакал от радости! — В Иркутске, в 1815 году, судьба свела меня еще с добрым товарищем, молодым, любезным человеком, который занимался тогда по делам откупа, В. М. Пурлевским (он теперь обер-секретарь в Сенате). Вместе с ним и Ксенофонтом отыскиали мы какого-то ссыльного Поляка, который учил нас по Французски, а оригинал, каких можно встретить не много на свете, старый пастор Лютеранской церкви в Иркутске, Беккер, давал нам уроки в Немецком языке. — Возвращение мое в Курск, в 1816 году, было решительно для моих занятий. Ум мой совершенно увлекся новою, дотоле неизвестною мне прелестью — прелестью ученья. Уже не средством для другого, но целью жизни моей сделалось оно. Мне стало казаться все равно: останусь ли я купцом и бедняком, буду ли чиновником и губернатором Курским — высшая цель моего честолюбия! — все равно, только бы

учиться! Между тем средства мои были чрезвычайно стеснены. Я не мог и подумать нанять себе учителей. Жалованья моего едва доставало мне на одежду, на небольшое уделение отцу, и едва мог я тратить безделку на книги. Дела хозяйские не давали мне досуга днем, и вечера ночи сделались лучшими часами моей жизни. Мои они были, и их никому не отдавал я. Иногда свечка моя погасала с утреннею зарею, и я едва уснувши три, четыре часа, шел в контору к моему хозяину, или, проработавши в конторе его до ночи, дома засаживался с радостью за свои уроки. Вскоре увидел я всю недостаточность, всю нелепость образования своего до того времени. Мне надобно было пересоздавать все мои идеи, весь запас читанного мною с самого детства. Изучение языков повело меня в новый мир чтения. Настойчивое размышление показало мне недостаток систем и образа обыкновенного учения. Я решился сам для себя написать Русскую Грамматику и Русскую Историю. Грамматика Академии и История Государства Российского не удовлетворяли меня, когда я сравнивал первую с ясною, точною грамматикою Латинскою, а вторую с Тацитом по слогу, с Летописями по изложению фактов. Изучение Латинского и Греческого языка, переводы с Немецкого, Французского, переработка Русской Грамматики, критический разбор Русской Истории — вот что составляло теперь мои занятия. Я отказался от легкого чтения, и не писал уже ни стихов, ни прозы. Нарочно налагал я на себя самые тяжкие работы: выучивал по триста вокабул в вечер; выписал все глаголы из Геймова Словаря, переспрягал каждый отдельно и составил новые таблицы Русских спряжений (в 1822 году почтенный П. П. Свиньин представил их в Российскую Академию, и мне выдана была за них в награду большая серебряная медаль). Силы мои казались мне неистощимы; все было так легко, так подручно, а впереди все так светилось и блестело!.. В 1817 году осмелился я, при самом учтивом письме, послать к Издателю Русского Вестника мое описание проезда и пребывания в Курске императора Александра, и — не умею вам пересказать, с каким упоением увидел я на серых листочках Вестника четким курсивом напечатанные под статьею слова: Н. Полевой! Весь Курск был изумлен красноречивым описанием того, что еще живо трепетало в сердце каждого, что составляло предмет всех разговоров. С изумлением узнал мой хозяин,

что в его конторе скрывается гениальный молодой человек, как говорил ему и Губернатор, и все, что было почетного в Курске. С радостью услышал о том и отец мой. Бывший тогда Губернатор Курский, А. С. Кожухов, сделался моим заступником и Меценатом; я был приглашен на его вечера, балы, получил свободный вход в кабинет его, перед которыми на вытяжке стояли все другие, и старые и чиновные люди. Но между тем торжество мое внутренне тревожило меня — увы! я увидел, что вся статья была переправлена, перечерчена Издателем Русского Вестника, и я должен был сознаться самому себе, что переправки его были справедливы. Следовательно, я еще плохой писатель, думал я. Что же делать? — «Учиться!» было мне беспристрастным ответом в душе моей, и когда в 1818 году, я отправил уже в Вестник Европы, одну за другою, две статьи: замечания на статью о Волосе и перевод Шатобрианова описания Маккензиева путешествия по Северной Америке, с радостью увидел я, что Редактор Вестника Европы не переправлял их нисколько. Весь 1819 год занимался я делами отцовскими, оставя моего хозяина, и уже не скрывал своих ученых занятий. К покровительству Губернатора присоединилось знакомство с просвещенным архипастырем, епископом Евгением, после того, как я прочитал свое стихотворение в собрании Библейского Общества, 6-го Января 1819 года, и оно было осыпано похвалами всего собрания. В Феврале 1820 года, я навсегда оставил Курск. Отец мой решил сделать последнее усилие для поправления своих обстоятельств и, собравши все, какие были у нас средства, завести водочный завод в Москве. Меня отправил он для приуготовлений и, пока в Декабре приехал сам, мне была полная свобода делить время между делом и бездельем. Впрочем, и отец мой уже не считал бездельем моих занятий, когда увидел, что они везде доставляют мне знакомство и уважение, и с тем вместе не отвлекают от дел. — Лето 1821 года прожил я по делам в Петербурге. Здесь в первый раз увидел я Грибоедова и Жуковского. П. П. Свиньин встретил меня, как друга, с распростертыми объятиями: он видел во мне кулика-самоучку, и был от меня в восторге. Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин оказали мне самое радужное внимание. Грех было бы мне забыть тех, кто ласковым приветом отогревал мою душу среди тогдашних моих обстоятельств — они были тяжелы, и наука, ученье были для меня и моего

доброто Ксенофонта единственним средством забвения среди печальной сущности. Отец мой видимо таял — болезнь смертельная снедала его. Он благословил нас и уехал в Курск в Марте 1822 года. В Мае я спешил к нему. Казалось, весна еще оживила его. С радостною надеждою простился я с ним, а 26-го Августа добродетельный старец уже не существовал в мире, оставя мне и братьям моим только честное имя, отцовское благословение на смертном одре и надежду на труд, который, рано или поздно, не останется без награды. . . Я сделался старшим, заступил место отца в нашем многочисленном семействе, а мне было только 26-ть лет — но тем было лучше. Юность не знает безнадежности; она не видит вокруг себя мрачных бездн бытия, и когда горе встречается с нею, она готова спросить у него: «не брат ли ты радости?»

КСЕНОФОНТ ПОЛЕВОЙ

ЗАПИСКИ

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

ПОЛЕВОГО

(1855--1865)

ОТ АВТОРА

Немногие из русских, посвятивших свою жизнь литературной деятельности, приобрели такую общую известность, как Николай Алексеевич Полевой. С удивлением встречаю людей далеких от всего книжного, повторяющих знакомое им имя Н. А. Полевого; встречаю то же имя и в чужеземных книгах, где, говоря о русской литературе или даже об умственной деятельности русских, непременно упоминают о Н. А. Полевом. Это неоспоримо доказывает, что он оставил после себя яркий след в русской литературе; но, по неизбежной судьбе всех слишком известных людей, он был и остается предметом самых различных суждений. Многие писали и пишут о нем; никто еще не объяснил, чем обратил на себя общее внимание Н. А. Полевой? Почему он — не гениальный поэт, не гениальный прозаик, не философ-преобразователь, — заставляет и после смерти своей говорить о себе, и остается предметом жарких похвал, а иногда и ожесточенных осуждений? В чем, наконец, состоит заслуга его, — потому что не может же быть, чтобы при таком сильном и общем впечатлении, какое произвела литературная жизнь его, он не оказал достопамятной, или, по крайней мере, значительной услуги своему отечеству? Ответа на эти вопросы нет в биографиях и бесчисленных суждениях, где старались изобразить и оденить Н. А. Полевого приятели и неприятели его. Вообще, немногие говорили благоразумно и с таким чувством, какого достоин человек необыкновенный. Я укажу далее на эти благородные исключения из грешной и пристрастной болтовни литературных судей моего брата. Высказываю такое мнение без страсти, не увлекаясь уважением и любовью, которые сохраняю к нему и после его смерти. Скажу, может быть, неожиданное читателем: я извиняю, с немногими исключениями, всех, даже врагов Н. А. Полевого! Они судили о нем, не знаяши его, и виноваты перед его памятью всего больше в том, что решились писать и судить о человеке, которого знали слишком односторонно... Он сам никогда не забо-

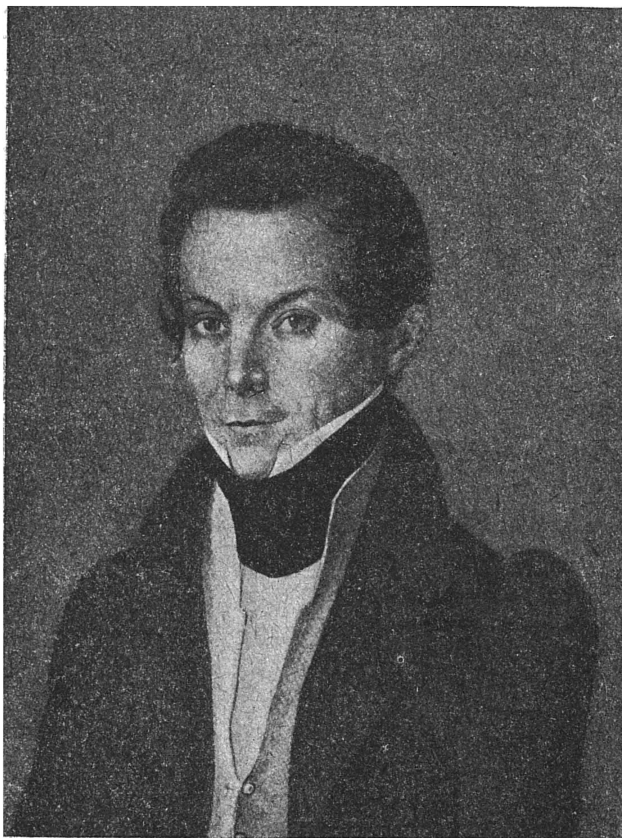
тился исправить ложные мнения, какие распространялись о нем еще за время его жизни... Теперь уже много лет покоится в могиле прах его... Период госки, которая, кажется, никогда не оставляет нас при воспоминании о милом, навсегда оставившем нас человеке, не миновал для меня; но я уже могу говорить о Николае Алексеевиче Полевом. Могу и буду говорить о нем, потому что почитаю это своею обязанностью. Он был мне брат и друг. Эти названия важны для меня перед публикою только в том отношении, что она может верить моему рассказу. Никто лучше меня не знал Н. А. Полевого. Во всю жизнь его были мы соединены не только ближним кровным родством, но и самою нежною дружбою, которая началась с детских лет, продолжалась во все годы юности и мужества и окончилась только его смертью. Дружба наша была скреплена и одинакими склонностями, и многими общими занятиями и трудами. До последних годов его жизни, покуда мы оставались в одном городе и, большею частью, под одною кровлею, почти не было мысли, — разумеется, выходящей из круга ежедневных, житейских пошлостей, — которой не передавали бы мы друг другу. Кто же больше меня имеет средств представить этого необыкновенного человека в истинном виде? По моему убеждению, возможность говорить о нем вернее других составляет мою обязанность, которую я должен исполнить. Я должен исполнить ее из уважения к памяти брата и друга, до сих пор почти всегда неверно изображаемого. Я обязан передать соотечественникам многие сведения о его жизни и его литературной деятельности, которые поясняют одна другую. Это сделалось даже необходимо после некоторых, напечатанных о нем в последнее время суждений. Если бог благословит мое доброе намерение, то соотечественники узнают вполне человека, истощившего всю свою жизнь в трудах, одушевленных глубоким желанием добра и просвещения нашему отечеству.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Довольно редкая случайность в обязанности биографа, что, прежде всего, я должен оспаривать того, о ком начинаю говорить.

Н. А. Полевой сам описал часть своей жизни в предисловии к книге, изданной под заглавием: «Очерки русской литературы» (2 тома, 1839 г., Спб.). Там говорит он о предках наших, Полевых, старожилах Курска, о нашем, незабвенном для нас, отце и, наконец, о самом себе до 26-го года своей жизни, когда после смерти отца, он сделался старшим в семействе и мог располагать судьбою своею по собственному усмотрению. В рассказе его события указаны истинные, но он несправедливо представляет многие из них,



Ксенофонт Полевый

так, что это дает совершенно превратное понятие обо всем следовавшем затем поприще его.

Он верно изображает отца нашего, представляя его человеком необыкновенным, редким по возвышенности души и силе ума. Этот достойный памяти человек провел всю жизнь свою в трудах, борясь с тем, что называют люди несчастьем, но всегда находил время читать, мыслить, рассуждать о всех важных для человека вопросах. Везде и во всех положениях жизни, он жил больше умственной и нравственной деятельностью и, может быть, потому часто не имел удачи в деятельности вещественной. Рано утром, после обеда, вечером, в постели ночью, он непременно был с книгой, и если что поражало его в чтении, он начинал рассуждать об этом и делать свои выводы. Мыслящая сила у него была удивительная: он был недоволен системами астрономическими и физическими и создавал свои системы; он, зная превосходно историю, смеялся над многими прославляемыми ею подвигами, удивлялся героям истории, благоговей перед действиями Петра Великого; он беспрестанно наблюдал природу, любил давать себе отчет в главных законах ее и в малейших явлениях.

Очень естественно, что с таким человеком любили беседовать все, кто умел понимать его, особенно если прибавим к этому, что он обладал в высокой степени даром слова, увлекал живостью своего характера и откровенностью выражения. С самых молодых лет вступив в управление большими делами в Сибири (первоначально у своего дяди, известного богача И. Ил. Голикова), он был в сношениях со множеством замечательных людей и всегда умел составить себе избранный кружок, чуждаясь обыкновенных посещений, обедов, балов и не понимая, какое находят в них наслаждение. Все свободные часы его были посвящены чтению, изучению природы и семейству. Разговоры и рассказы его были приятны и поучительны, особенно для нас, детей его. Зная очень хорошо людей, разглядев вблизи даже много знаменитостей своего времени, он был нашим ментором и в этом отношении. Неумолимый в оценке всего глупого, ложного, вредного, он питал неограниченное уважение ко всему высокому, доброму, умному. И в последние годы своей жизни вспоминал он с благодарностью и уважением о некоторых лицах, причисляя знакомство с ними к счастливым случаям своей жизни. В числе таких знакомых его были: митрополит Гавриил, знаменитый архипастырь Екатеринина века, всегда удостоивший отца нашего своими беседами; два брата Бланкенгагели, известные своими глубокими познаниями и наблюдательным умом. Григорий Иванович Шелихов, завоеватель русской Америки, долго был неприятелем, но к концу жизни сделался другом нашего отца. Эти люди и еще некоторые, не столько известные, были предметом особенного уважения и всегдашних воспоминаний его. Помню многие рассказы его о них и не удивляюсь, что беседы с такими людьми

Могли оставить в нём глубокие впечатления, потому что касались вопросов, какие занимают только высоких умом людей. Кроме того, все замечательные люди, с какими случалось отцу нашему встречаться в продолжение деятельной его жизни, делались искренними его приятелями и почитателями. В доказательство могу указать на печатные свидетельства. В книге, изданной адмиралом Шишковым, под заглавием: «Двукратное путешествие в Америку», и сочиненной лейтенантом Давыдовым, неизменным другом героя, пламенного Н. А. Хвостова, встречается несколько упоминаний об Алексее Евсеевиче Полевом, с которым были они в самых дружеских сношениях, служа на кораблях Американской компании. Он был, можно сказать, основателем нынешней Российско-Американской компании и писал все первоначальные уставы ее. Не распространяюсь об этом, боясь отклониться от главного моего предмета. Известный многим в Петербурге К. Т. Хлебников (под конец жизни директор Российско-Американской компании), в своих воспоминаниях, напечатанных в «Сыне Отечества» (прежнем), говорит с должным уважением об А. Е. Полевом, как о своем начальнике. Бывший генерал-губернатор сибирский, Борис Борисович Лещцано, любил отца нашего до такой степени, что, когда в 1812 году отец наш приехал в Петербург, Лещцано, уже давно живший там, не допустил его остановиться на квартире, а поселил у себя в доме. Так, все чем-либо замечательные люди, жившие в Иркутске или приезжавшие туда на некоторое время, непременно делались знакомыми и, большею частью, искренними приятелями нашего отца. Во время посольства в Китай, в 1805 году, когда посол граф Головкин долго оставался в Иркутске, почти все чиновники, ехавшие с ним, беспрестанно бывали у нас в доме, и в числе их находился знаменитый Клапрот, тогда известный больше, как сын славного химика. Отец наш заставил его производить разные опыты на своей фаянсовой фабрике!.. Посол в Японию, камергер Резанов, был издавна приятелем нашего отца, как зять друга его Шелихова.

Я мог бы сказать еще многое в подтверждение, что отец наш был не только человек необыкновенный умом и душою, но что он и жил в кругу избранных, образованных людей, занимаясь большую часть своей жизни обширными торговыми и фабричными делами. Он глядел на жизнь с своей точки зрения и не желал выйти из звания, в котором родился, хотя имел много случаев к тому в продолжение своей жизни. Вот один из таких случаев.

Граф Николай Петрович Румянцев, бывши министром коммерции, желал познакомиться с человеком, хорошо знающим Сибирь. Ему указали на отца нашего, который жил тогда в Петербурге (где бывал он часто и иногда оставался долго). Граф, после нескольких свиданий с ним, был до такой степени очарован его умом и сведениями, что предложил ему остаться при своей особе, как мини-

стре коммерции, обещая блестящую будущность. Отец отказался, откровенно сознавшись, что больше дорожит семейным счастьем, нежели блестящим положением в свете. Граф обнял его, поцеловал и сказал:

— После этого я уважаю вас еще больше!

Разговоры его с графом Румянцевым были так интересны, что их стоило бы внести в исторические записки.

Не должны ли дети столько уважаемого, необыкновенного, умного отца, благословляя память его, сознавать в душе своей, что его разговорам, внушениям, его обществу, словом, ему — обязаны они всею своею любовью к просвещению и образованности? Ему обязаны они развитием душевных сил и умственных способностей, и не его вина, что они не могут в этом отношении сравнивать себя с ним! Да! много раз повторяли мы с покойным братом, Николаем Алексеевичем, что если бы можно было соединить всех нас, детей его, в одно существо, то из всех нас не вышло бы одного, равного отцу. В этом человеке было неизмеримо много сил всякого рода.

Не понимаю, как мог после этого брат мой представить воспитание свое каким-то хаосом, а себя самоучкой, которому не способствовали, а мешали учиться? Я изъявил ему свое удивление об этом, когда прочитал «Несколько слов от сочинителя» в книге «Очерки русской литературы». Он не отвечал, а только улыбнулся. Я хотел, чтобы он непременно исправил это в продолжении своей биографии; он обещал, хотя с оговорками; и так прошло время до его смерти. Теперь я должен опровергать его! Опровержение будет состоять в том, что я представляю в истинном виде годы детства его и юности.

Николай Алексеевич Полевой родился в Иркутске 22-го июня 1796 года. В первое время своей жизни он был дитя слабое, и только нежные заботы матери поддерживали его здоровье. Признаком слабого сложения считали в нем и то, что после молочных зубов у него выросли и выпали вторые зубы, а потом выросли третьи. После этого необыкновенного явления в человеческом организме, он стал укрепляться здоровьем. Я начал помнить его, когда он был уже нежным, белокурый мальчиком.

Мы жили тогда на *з а и м к е*, как называют в Иркутске загородные дома. Отец наш, во всем необыкновенный, не хотел жить в городе, выбрал удобное и прекрасное место вблизи его и отмежевал себе там обширное пространство, на котором в несколько лет вывел множество разных строений. Тут были у него и фабрики, и все хозяйственные заведения, и прекрасный дом с несколькими отдельными жилыми помещениями. Посреди лугов и рощей, принадлежавших ему, протекала довольно большая река Ушаковка, впадающая в Ангару и образующая раздвоением своим в этом месте остров, который также принадлежал к нашим владениям. Глядя

на петербургские дачи и вспоминая о нашей иркутской даче, я оцениваю ее вполне. Не знаю ничего подобного из частных припетербургских владений! Прелесть местности нашей дачи равнялась обширности ее, и без всяких искусственных украшений она представляла множество всяких удобств для приятной, тихой жизни. Там были и прекрасные виды на живописные, дикие окрестности, и река, роскошная для купанья и рыбной ловли, и множество мест для прогулок, для охоты, для всех невинных наслаждений, которые разнообразят уединенную жизнь.

Там возрастали мы, далекие от света, от целого мира, но не от образованности, которая олицетворялась для нас в отце нашем. Он, человек с европейскими понятиями своего времени, с обширным умом, образованным жизнью, чтением, сношениями с необыкновенными людьми, был для нас лучшим руководителем во всем. Какой гувернер мог заменить такого наставника, тем больше, что он пользовался всяким случаем развивать и образовывать своих детей.

Мы почти никуда не выезжали из дому, хотя у нас почти всякий день бывали посетители. Это была совершенно особенная жизнь, какой не встречал я ни в одном семействе. Отделенные от города и от всех его развлечений, мы видели только то, что было в нашем доме и в обширных, принадлежавших ему, заведениях; но как в семействе нашем были необходимою принадлежностью — книги, журналы, газеты и к отцу нашему приезжали почти все образованные люди города, то мы лучше знали, что делалось в Европе, в Индии, в Америке, нежели в Иркутске. Мы знали все подробности о современном герое, Наполеоне, рассуждали о древней истории, мифологии, а не знали улиц Иркутска и никаких городских отношений. В пример того, как странно был ограничен наш семейный быт, скажу, что в виду от нас были: адмиралтейство, живописное своим видом кладбище (так называемое Иерусалимское), великолепная, поросшая лесом Петрушина гора; а мы ни разу не бывали в этих местах.

Удивительно ли, что при таком странном воспитании, пылкий ум, мечтатель с детства, брат мой жил в идеальном мире и не мог удерживать избытка своих дарований? Почти всякая новая книга возбуждала в нем новые впечатления, а что поражало его особенно, то непременно воспламеняло в нем и авторское дарование. Он говорит, что начал писать стихами и прозою десяти лет, не зная, что такое стихи и проза. Но какой же десятилетний мальчик в самом деле знает это? Ранняя страсть писать, сочинять во всех родах, — ибо действительно он уже писал во всех родах, еще не выезжавши из Иркутска, то есть до 15 лет, — показывала только необыкновенную силу авторского его дарования. Нет сомнения, что он писал тогда как дитя; но как же иначе мог писать мальчик, не достигший юношеского возраста?

Надобно удивляться, как мог ребенок излагать довольно складно такие предметы, как драма «Брак царя Алексея Михайловича», трагедия «Бланка Бурбонская», интермедия «Петр Великий в храме бессмертия», «Путешествие по всему свету» (в подражание «Всемирному путешественнику» аббата де Ла-Порта), «История Петра Великого»? Не показывают ли самые названия этих сочинений, что голова его была наполнена множеством сведений и своих идей, которые старался он выразить в собственных своих сочинениях? Как понять иначе эти детские попытки? Да и не так ли начинают свое поприще все необыкновенные дарования? Кроме названных здесь сочинений, он писал множество других, потому что это было ежедневное, беспрестанное его занятие. Помню, например, что, прочитав «Энеиду, переделанную наизушку» Осипова, он начал тотчас переделывать так же «Илиаду». Здесь кстати заметить, что способность писать стихи была у него необычайная: он почти так же писал стихами, как прозой, и это сохранилось в нем до самого последнего времени жизни. Вообще, способность излагать мысли, во всех возможных формах, была в нем точно импровизаторская. Как-то разговорились о духовных ораторах и кто-то из присутствовавших рассказывал о необыкновенном даре московского митрополита Платона говорить поучения вдруг, по вдохновению. На другой же день брат мой предлагает маменьке нашей выслушать проповедь его. «Неужели ты написал проповедь?» — спросила она. «Нет, не написал: я скажу ее наизусть». И, действительно, он развернул Библию и на какой-то текст ее говорил с полчаса довольно складно. Слушавшие заговорили, что он наперед сочинил и вытвердил то, что говорил. Он предложил выдать ему текст тут же и вызвался развить его немедленно. Сделали и этот опыт. Он подумал несколько минут и говорил еще складнее.

Не удовлетворяясь такими литературными упражнениями, он и издавал журналы и газеты, то есть представлял нам в назначенные сроки тетрадки и листы, наполненные статьями, вроде газетных и журнальных. Помню, что один такого рода журнал его назывался «Друг Муз». Шутя можно было бы сказать, что это предвещало в нем будущего громкого журналиста; но в самом деле это показывало только избыток умственных и писательских сил. С детства он уже был писатель и жил душою и умом в литературном мире.

Как мог он после этого, в своей автобиографии, придать первым годам своей жизни такой оттенок, что будто ему мешали развиваться, и он писал наперекор окружавшим его обстоятельствам? Напротив, нельзя придумать другого воспитания, которое столько способствовало бы развитию литературного дарования и именно в воспитании была причина раннего развития писательских способностей брата. Вот нравственная картина нашего

семейства: отец — вечно с книгою или с разговорами о том, что находит в книгах, вечно возбуждает жажду к литературе, потому что такова была собственная его природа: он делал это безотчетно, без всяких целей, потому что не умел или не мог противиться естественному своему направлению; мать — набожная и вместе увлекающаяся романами душа, сама безотчетная героиня романа своей жизни; она жила только в своем семействе и в романическом мире, так что даже многих знакомых называла именами героев и героинь Ричардсона, Жанлис, Дюкре-Дюмениля; старшая сестра — ныне Е. А. Авдеева — больше всех похожая на нашего отца и пылким умом, и любовью к чтению, также всегда с книгами, с мечтами и разговорами о книгах; наконец, ближайшие знакомые — тоже страстные любители литературы и, может быть, потому именно близкие знакомые, что наклонности их были одинаковы с наклонностями всего нашего семейства. Прибавьте к этому совершенное разведение с тем миром, в каком обыкновенно живут люди, то есть с миром деловым, общественным, занятым ежедневными событиями. Нам все представлялось в каком-то идеальном свете и все мы с детства знали мир только умственный и тот, который видели вокруг себя. Могла ли не разгореться в таких обстоятельствах искра сильных дарований, какими впоследствии отличился Н. А. Полевой? Он сам говорит, что не помнит себя неграмотным, что до десяти лет он прочитал все, что мог, но прибавляет: «Добрый товарищ моего детства А. А. Титов выучил меня писать и мне было лет десять, когда я вел уже домашнюю контору у моего отца». Это было не так и не могло быть так: А. А. Титов не мог быть товарищем его детства, потому что был уже молодой человек, занимавшийся письмоводством у нашего отца, когда брат мой был еще ребенок, и г. Титов, истинный краснописец, то есть имевший превосходный почерк, учил брата чистописанию, и то, разумеется, уже гораздо позднее; но в других отношениях он мог быть сам учеником его. Г. Титов еще здравствует, и я ссылаюсь на живого свидетеля нашего детства.¹ Не знаю также, как мог десятилетний ребенок вести контору, какую бы то ни было? Помню, отец заставлял иногда брата Николая Алексеевича переписывать или составлять разные расчеты по своим фабрикам; но это уже не в десятилетний возраст, и никогда не занимался он этим постоянно. Известно правило стариков упражнять молодых людей практическими занятиями; наш отец, конечно, знал его, но жаль, что слишком мало следовал ему и оставлял нас в каком-то идеальном или, лучше сказать, мечтательном мире. Это имело влияние на всех детей его: все мы, до смерти отца, не были людьми практическими и, хотя занимались его делами, но без всякой постоянной

¹ Он уже с давних лет находится правителем конторы Российско-Американской компании в Иркутске. — К. П.

цели, как бы необходимым злом, оставаясь попрежнему жителями мечтательного мира. И дорого после расплатились мы все за неумение жить на свете, за незнание практической жизни, словом, за этот идеальный мир, в который вдвинули брата Н. А. любимые его занятия! Я уверен, что отец наш чувствовал несообразность нашего воспитания с действительностью, и в порыве гнева раз даже бросил в огонь какие-то бумаги брата, вообще преследуя его в юношеские годы за то, что он не думал о существенности и часто забывал его приказания, увлекаясь своими мыслями. В таких случаях обыкновенная фраза его была: «Ты, братец, опять залезел за облака и про все земное забыл!» Но это относилось не к книгам и не к учению, а именно к мечтательскому миру, в котором жил сам отец наш, конечно, не давая себе в том отчета, и невольно увлекая туда же все свое семейство. Испытывая сам бесперывные несчастья оттого, что почитал деловые занятия только данью миру, а не главным назначением человека; проведши половину всей своей жизни в мечтах, в неисполнившихся ожиданиях, в проектах, редко удававшихся вообще, он, без сомнения, хотел предохранить своих детей от тяжелых испытаний жизни и желал иногда, чтобы они были просто деловыми людьми, фабрикантами, купцами; но природа и, кажется, даже глубокое убеждение тотчас опять увлекали его в мир, меньше существенный. Никогда без содрогания не мог он думать о многом, что почитается необходимым для купца; никогда не хотел сделать нас мелочными торгашами и, не имея в последние годы своей жизни способов к делам огромных размеров, не думал отдавать в конторы других купцов. Он все откладывал, ждал лучшего времени, и жизнь наша шла попрежнему.

А, собственно, это была счастливая, даже поэтическая жизнь, если только может быть поэзия в жизни. Во все время, покуда мы оставались в Иркутске, на милой нашей заимке, мы не имели и понятия о житейских неприятностях и нуждах. При фабриках отца всегда было множество людей и всяких удобств жизни; каждое лето проводили мы почти с утра до вечера посреди своих рощей и лугов и, на ряду с тщательным и даже строгим надзором отца, находили истинную радость в любви и ласках нашей матери, одаренной нежною, чистою душой и тем дивным чувством приличия, порядочности (*le comme il faut*), которыми особенно обладают избранные женщины. Впоследствии знал я женщин самой высокой образованности и, сравнивая с ними мать свою, изумляюсь, как она постигала простым чувством то, чего другие достигают только образованною светскою жизнью! Объяснение этому нахожу я не только в прекрасной природе ее, но и в обстоятельствах жизни. Она осталась круглою сиротой после родителей, принадлежавших к лучшим фамилиям в Иркутске, и воспитывалась под надзором тетки — монахини, казначеи Знаменского девичьего монастыря. Еще не вышла она из детских лет, как отец наш увидел ее в гостях у другой тетки.

и до того пленился ее прелестною наружностью и детским умом, что, наперекор всем препятствиям, решился жениться на ней. Главным препятствием был слишком юный возраст избранной им невесты: она была едва ли четырнадцать лет, когда он предложил ей руку, и к тому еще тетка-монахиня не соглашалась на этот брак с человеком молодым, заезжим в Иркутске, жившим всегда в кругу вольнодумцев, как выражалась она — сама глубоко набожная, воспитывающая свою племянницу в стенах монастыря. Но влюбленный отец наш восстановил других родных против тетки и наконец она отдала ему свое сокровище, покорившись мнению всех других, увлеченных любезностью и блестящим тогда положением молодого человека. Таким образом, женившись на сироте, воспитанной только для набожности и молитв, он хотел перевоспитать ее по-своему и успел придать ей всю наружность образованности; но она осталась навсегда искренне-набожной женщиной. Это одушевление набожностью, выражавшееся во всех поступках и в тихой речи ее какою-то спокойною нежностью, делало ее несравненно матерью семейства. Христианское одушевление также способствовало прекрасному развитию ее изящной природы, о котором упомянул я выше. Оно было доказательством, что только искренняя христианка может быть истинною женщиною, достойною высоких обязанностей матери семейства. Строгость отца, иногда слишком бурная, смягчалась для нас кротостью и нежностью матери. Мы были беззаботно счастливы.

Отец наш сам занимался всеми своими делами... Здесь опять нахожу я несообразность в словах брата Николая Алексеевича, который говорит о себе: «Между тем я был деловым человеком, управлял заводами отцовскими, вел контору, расчеты, ходил и ездил в город по делам, и слыл в городе диковинным мальчиком, с которым, как с ученым человеком, рассуждал сам губернатор и спорил директор гимназии».¹ Я уже сказал, чем ограничивалась его деловитость, да и то лишь в последние годы жизни в Иркутске. Даже по летам своим он не мог управлять заводами или фабриками, а занимался в них или при них кой чем, иногда и расчетами, но все это мимоходом, непостоянно, имея главным занятием литературу, хотя, может быть, сам не знал, что, читая, обогащая свой ум книжными сведениями, изошряя писательскую способность беспрепятственным упражнением в сочинениях, он занимался литературой (как Mr. Jourdain не знал, что век свой говорил прозою). Отец не только не мешал своему Николаю, но всегда любовался его дарованиями, рад был всякому случаю его учить, и упрекал его вообще в летаньи за облаками, а не в том, что он много занимался своими сочинениями. Иногда, выведенный из терпения ветренностью его, он восставал

¹ См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 32. — К. П.

и против сочинительства; но это были вспышки, естественные в пылком характере и нимало не мешавшие главному направлению жизни.

Брат справедливо говорит о себе, что он слыл диковинным мальчиком: он мог слыть диковинным, потому что действительно был им. Могли ли не удивляться самые образованные в городе люди, когда слышали складные, умные для мальчика суждения о разнообразных ученых и отвлеченных предметах? Надобно прибавить, что Иркутск был тогда не богат учеными людьми, так что брат Н. А. мог первенствовать даже между теми, которые когда-то и чему-то учились. Этому спосбствовал и необыкновенный его дар слова, изощренный в раговорах и обществе отца, бывшего в некоторые минуты истинным оратором. Ясно было для всякого, сколькибудь опытного человека, что брату моему, необыкновенному мальчику, недоставало только школьного, систематического учения и блеска светской образованности, но что он был исполнен ума и дарования, развитых чрезвычайно счастливо.

Здесь можно было бы войти в длинное суждение о том, какое воспитание более способствует развитию дарований: то ли, какое получают в школах, при систематическом учении, или домашнее, под надзором умного наставника, хотя и без системы, даже с опущениями во многих частях? Кажется, в применении к людям даровитым, рожденным с пылками способностями, можно больше ожидать от воспитания второго рода. Для людей обыкновенных необходимы точность, работа, постоянство в учении: им надобно передать все, до малейших подробностей, в строгой системе, потому что сами они не могут дополнить того, чего не передадут им учителя, и даже из переданного много останется непонятым, забытым, отрывчатим. Система, отчетливость в учении необходима в школах, где, по закону природы, самая большая часть учащихся — люди с обыкновенными способностями. Но как часто не ладится все это в применении к людям высшего полета, к дарованиям исключительным!

Выражая мнение, которое кажется мне справедливым, я применяю его только к брату моему. Едва ли развилась бы в нем всегда отличавшая его неутолимая жажда к учению и литературному труду, когда бы с малолетства заставили его изучать древние и новые языки, математику и статистику, юриспруденцию, естественную историю и еще двадцать предметов по системе больше или меньше правильной (потому что совершенной нет ни одной). Он не стал бы учиться, как другие и, может быть даже, наскучив неизбежными формами учения, обратил бы свою деятельность на что нибудь другое. Его душа, воображение, чувства не меньше ума требовали пищи. Деятельность всеобъемлющая была его жизнью, и маленькие препятствия, даже отсутствие многих средств к учению, только подстрекали его к новым трудам, тогда как скованный цепями

схоластики он мог получить отвращение к науке и литературе. Такова была его природа: ему легко наскучивало все, где был необходим постоянный, тщательный труд.

II

Нельзя сказать, однако ж, чтобы Николаю Алексеевичу не представлялось случаев учиться правильно. Правда, в Иркутске не было тогда учителей, которые могли бы принести ему много пользы; но рассказ мой покажет далее, что он, по своему, пользовался и теми случаями, какие представлялись в этом отношении. Главное затруднение было найти в Иркутске учителей для иностранных языков: их не было там, по крайней мере во время детства брата Николая Алексеевича. Он упоминает с пасторе Беккере; припоминая себе его теперь, я вижу, что это был человек очень ученый, то есть знавший основательно много, но он был лишен дара передавать свои разнообразные сведения, пресмешно говорил по-русски и был, что называется, оригинал. От этого попытки его учить у нас в доме были неудачны. Например, еще до замужества старшей сестры нашей, он учил ее музыке; но вскоре должны были предпочесть ему другого учителя, который потом учил и Николая Алексеевича, и меня. Впоследствии, пастор Беккер начинал давать нам уроки в языках и в математике, но все это шло неудачно. Брат имел еще несколько времени отличного учителя в одном из приятелей нашего отца: это был несчастный (как называют в Сибири ссыльных), князь Василий Николаевич Горчаков. Но едва начал он давать ему уроки в языках и рисовании, как был отправлен на житье в отдаленную область. Все это показывает, однако ж, что отец наш не чуждался случаев учить своих детей, и если бы мог, то окружил бы нас учителями; но откуда было взять их?

Здесь опять я принужден противоречить рассказу брата. Он говорит: «В 1811 году отец мой, успевший поправить несколько свое состояние, решился оставить Сибирь. Воображение сулило ему золотые горы в России. Он исчислял десятки предприятий, и от каждого сотни тысяч, а я должен был отправиться предварительно с его препоручениями в Москву. Мне было лет 15-ть».¹ Отец наш решился оставить Сибирь не для золотых гор. Он даже не имел в виду никакого предприятия, никакого определенного занятия для своей деятельности; но, собравши небольшой капитал и имея случай продать свои фабрики и заимку в Иркутске, он решился переселиться в Москву, с основательною надеждою умного человека, что и там найдет он себе выгодное занятие, особливо с деньгами, хоть небольшими. Кажется, он хотел именно устроить в Москве

¹ См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 32. — К. П.

водочный завод, потому что во всей России едва ли было два-три порядочные завода для этого предмета; но главною целью его переселения в Москву было — воспитание детей, для которого, как я показал, было слишком мало пособий в Иркутске. Почему брат мой перетолковал по своему переселение всего нашего семейства в Москву и вместо благоразумного, благородного намерения приписал отцу небывалые мечты, — не понимаю. При этом он вовсе неверно говорит, что отец наш предварительно отправил его в Москву в поручениями. Какие поручения мог исправить пятнадцатилетний мальчик? Необходимо объяснить здесь это. Отец вручил ему разные письма и назначил к получению в Москве значительную сумму денег, но с какою целью? . . . Одно письмо было к княгине Багратион, урожденной Голиковой, которой отец мой оставался должен какую-то сумму еще по расчетам с отцом ее (Иваном Илларионовичем Голиковым), и как из этого выходили затруднения даже для выезда нашего из Иркутска, то отец мой, — вечно веривший добрым человеческим чувствам! — надеялся, что умный, приятный юноша, сын его и вместе родственник княгини (она была двоюродная сестра нашего отца), лучше всяких форменных объяснений и переписки, неудобной из-за пяти тысяч верст, побудит к миролюбивому и скорейшему окончанию спорного дела, тянувшегося много лет. Не на деловитость сына своего надеялся он, а на невинную, простодушную просьбу его кончить миром запутанный расчет. Вместе с тем просил он княгиню принять в свое покровительство сына его. Кажется, это вообще не имело успеха. Другое письмо было к П. Ф. Белявскому, которому поручал он в заведывание сына своего и к которому переводил деньги как для платежа княгине Багратион, так и для выдачи на расходы сыну. Вот лучшее доказательство, что никаких дел не поручал он Николаю Алексеевичу, который должен был жить у Белявского в доме и находиться вообще под надзором этого старого холостяка, известного честностью и строгою нравственностью. Наконец, третье письмо. . . вот уже никак не угадает читатель, к кому было оно, хотя я скажу предварительно, что оно было к знаменитому современнику и могло иметь решительное влияние на все поприще жизни брата? Непростительно ему, милому брату моему, что он даже не упомянул об этом письме, может быть, именно потому что упоминание о нем уничтожило бы весь искусственный характер его автобиографии и показало бы очевидно, что отец наш не мешал его призванию, а заботился способствовать ему. Умный, поэтический наш старик написал прекрасное письмо — к Николаю Михайловичу Карамзину, где прежде всего объяснял ему, что знает возвышенную душу его из его сочинений, уверен в сочувствии его ко всему, означенному дарованием, и потому представляет ему своего сына, показывающего необыкновенные способности и страсть к словесности. Не могу помнить подлинных выражений письма, но помню, что отец просил Карамзина

рассмотреть молодого человека и решить, что должно сделать для образования и успехов его, обещая в точности последовать его решению. Письмо это живо в моей памяти, потому что его не раз перечитывали в семейном кругу, обсуживали каждое слово, и наконец А. А. Титов (тогда уже просто ближайший знакомый нашего семейства) переписал его превосходным своим почерком. Оно занимало большой лист голландской бумаги, — даже и это осталось в моей памяти! Вероятно, что отец разговорился в нем от души и если бы Карамзин прочитал его письмо, то на этот раз почтенный, возвышенный умом старик наш, конечно, не ошибся бы в своих ожиданиях. Но вышло совсем иначе!

С благословениями и со слезами провожало моего брата все семейство; только мать наша не имела сил ехать вместе с другими за город и осталась дома — вот еще черта нежного, женского ее сердца. Мы расстались с братом в Вознесенском монастыре, где молились за будущее его при мощах чудотворца Иннокентия... Это было в конце мая 1811 года. Отец наш надеялся окончить все дела свои в Иркутске к зиме, и тогда выехать вслед за сыном, который между тем в Москве мог воспользоваться несколькими месяцами времени, особенно драгоценного в тогдашнем его положении.

Брат отправился в сообществе нескольких приятелей отца нашего, ехавших на Макарьевскую ярмарку; оттуда он благополучно приехал в Москву и поселился у П. Ф. Белявского. Вскоре, читая письма его, отец наш начал покачивать головой, был недоволен бездействием его в Москве и его развлечениями, о которых распространялся он, даже иногда не упоминая о главных целях, для которых был отправлен. Потом брат Н. А. подвергся жестокой горячке, от которой чуть не умер и долго не мог оправиться. Разумеется, что при таком известии отец наш забыл свой гнев, сокрушался и писал к нему только сокрушительные письма. Так прошла вся зима 1811—1812 года, в которую располагал отец наш отправиться со всем семейством в Москву, и около января писал к моему брату, чтобы он в феврале ожидал нас и отправлял свои письма уже в те города, через которые надобно было нам проезжать. Отец означил именно, в каких городах располагает он основаться по несколько дней для отдыха, необходимого в таком продолжительном путешествии с семейством, состоявшем, между прочим, из маленьких детей. Вместо января, мы выехали из Иркутска в конце февраля 1812 года, и отец наш, уже больше месяца не получая писем от Николая Алексеевича, тосковал и жалел, что слишком рано велел ему прекратить отправку писем в Иркутск. Он надеялся, что письма уже давно ожидают его на пути. В Красноярске, тотчас по приезде, отправился он за желанным письмом — и возвратился в унынии: письма не было. То же самое повторилось в Томске и в Таре, где мы оставались по несколько дней. Отец и мать были в тоске невыразимой. Наконец, приехали мы в Тобольск, где

необходимо было весновать, то есть прожить до лета или до просухи, а между тем изготовить летние экипажи, потому что мы добрались до Тобольска в самую ростепель, в конце марта. Но писем от брата Н. А. и тут не было. Отец писал к нему тотчас по приезде в Тобольск, что останется в этом городе месяца два и будет с нетерпением ждать известий от него из Москвы. В то же время писал он к Белявскому, спрашивал: жив ли сын его? Но мы выехали из Тобольска 26-го мая, не получив никакого известия о брате Николае Алексеевиче: ни от него, ни от Белявского писем не было. Можно представить себе сокрушение отца и матери: они писали к нему, не зная, упрекать ли его за непростительное молчание, или только молиться за его душу. Опять назначены были ему города по пути, где будут надеяться получить его письма. Помню, что на одной станции близ Казани, поздно вечером, отец мой встретил какого-то знакомого, ехавшего из Москвы, и со страхом спросил его о своем Николеньке. «Слава богу, жив и здоров!» — отвечал знакомый и рассказал разные подробности, удостоверившие отца, что точно сын его жив и благополучен. Старик наш пришел в недоумение и не постигал после этого, почему же он не пишет к нему? Как обыкновенно бывает с людьми в таких случаях, он сам же нашел разные извинительные причины и только радовался, что милый сын его жив. Но еще в Казани и в Владимире он искал писем от него. . . Их не было. Наконец, мы приехали в Москву. Не знаю, почему отец не поехал сам к Белявскому, а послал второго сына своего (уже умершего): с ним тотчас явился Николай Алексеевич. После первых радостных минут свидания, отец спросил: почему не писал он к нему так долго? «Ждал вас, папенька!» — отвечал он с совершенным простодушием. «Но я уведомлял тебя, что не мог выехать в назначенный срок, и назначил города, куда писать ко мне?» Оправданий удовлетворительных не могло быть и оказалось, что юношеское легкомыслие было причиной его молчания. Вот что вызвало на него страшную бурю от нашего родителя, но и она ограничилась строгим, продолжительным выговором: не было никакого сожжения кипы исписанной бумаги, как упоминает Н. А. в своей автобиографии.¹ Долго не хотел даже простить его огорченный отец; но когда он уверился, что сын его так же чист душою, как был прежде, и что хотя он точно провел все время в пустых развлечениях, однако остался прежним милым, невинным юношею, — он стал опять обращаться с ним, как всегда: строго, но с нежностью любящей души, с рассудительностью опытного ума. Впрочем, было и еще за что побранить Николая Алексеевича: он слишком много истратил денег, не занимаясь ничем основательно и поддавался только детским увлечениям. Письма к Карамзину он не доставил, услышав от

¹ См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 33. — К. П.

кого-то, что он не принимает к себе никого и побоявшись быть худо принятым; в университет ходил он на лекции некоторых профессоров, но без всякой определенной цели. Главным развлечением его были театры и книги, но и то без отчетливости — так, для удовольствия мимоходного, ежедневного, а не с мыслию ясною, не с чувством сильной души. Отец наш понимал все это очень хорошо, хотя выражался иначе, и если бы точно, в порыве гнева, сжег он бумаги Н. А. и запретил ему читать книги, то в первые минуты он и должен был так поступить. Почти год прожил брат мой в Москве, и что сделал в этот год? Глядя с точки благоразумия, можно сказать: ничего! ветреничал!.. Не в делах требовал у него отчета наш отец, а в нем самом, и в этом отношении гнев его был совершенно справедлив. Брат искал из этого обстоятельство своей жизни, говоря, что первые вопросы отца к нему были: «Много ли у тебя осталось денег» и «что ты делал в Москве?», а он указал при этом на груды книг и на кипу бумаги, им исписанной. После моего объяснения, понятно, к чему могли относиться подобные вопросы. Дел отцовских у него не было и все сосредоточивалось в нем самом; в этом отношении был чрезвычайно недоволен им наш отец, для которого деньги были ничто в сравнении с нравственным поступком. «Ты забыл своих родителей! Ты не подумал, до какой степени мог огорчить, опечалить их своим молчанием!» Вот что выражал он в упреках сыну. «Ты не показал нежности чувства, которой я ожидаю от своих детей!» — повторял он, «Как мог ты спокойно спать в Москве, когда знал, что мы подъезжаем к ней? Я назначил тебе день приезда и ты, если бы чувствовал сыновнюю любовь к нам, выехал бы за сто верст к нам, или построил бы шалашик подле заставы и караулил бы нас, чтобы встретить с распростертыми объятиями!» Брат чувствовал справедливость таких упреков и молил только о прощении. Наконец, уже просьбы матери нашей смягчили гнев отца. Все это и даже многие выражения отца я помню живо, потому что сцена была тяжкая и поучительная. Чисто-нравственное, но тем больше тяжкое наказание того, кто почитался перлом в нашем семействе, производило какой-то страх, благодетельный для молодых сердец.

Я распространился об этом годе жизни Николая Алексеевича, во-первых, потому, что необходимо опровергнуть рассказ его и, во-вторых, потому, что он является тут хоть еще мальчиком, но в полноте своего характера. Вот он был и на свободе, и с деньгами, и с рекомендательными письмами, словом, со всеми средствами учиться правильно и основательно, а не сделал и шагу для этого. Он только предался своей страсти к чтению, к театру, искал впечатлений, и, — достойно особого замечания, — хотя был в обществе ничтожных молодых людей, однако чуждался их увеселений. Ничто порочное не могло прикоснуться к нему: это показывает силу души его и благие начала: добра, внушенные ему хорошим воспитанием.

Он сам говорит в своей автобиографии: «Я прожил почти год в Москве без отца моего, и театр, куда ходил я раза по три в неделю, книги, которых прочитал и закупил я без счета, университет, куда я пробрался на лекции и где слушал Мерзлякова, Страхова, Гейма, Каченовского, увлекали все мое время». Именно: но бестолково, без всякого определенного направления. Целая комната была завалена у него книгами, ландкартами, глобусами и разными игрушками наук: он искал только впечатлений, хотел вдруг узнать все, и только одно было в нем постоянно — страсть тотчас писать обо всем, что узнавал он или что сильно поражало его душу. В числе книг, купленных им, было множество, относившихся к истории, и особенно русской, например, исторические сочинения Татищева Щербатова, Болтина, летопись Нестора в разных изданиях; но он увлекся ложною славою, какою пользовался тогда у многих «Опыт повествования о России» Елагина, и стал продолжать его. Из событий древней истории России написал он отдельно трагедию «Василько Ростиславович», повесть «Ян Ушмовец»; начал писать роман; кроме того, множество стихотворений было написано им во всех родах. В занятиях прекрасных, удивительных для его возраста, но бесплодных для будущности, пролетело это время, в которое мог бы совершиться важный и благотельный переворот в его образовании, если б он отдал письмо отца Карамзину и если бы, — в чем почти нельзя сомневаться, — тот принял участие в молодом человеке, которого, конечно, полюбил бы, потому что Н. А. имел много очаровательных качеств, как юноша. Его нежное, белое как снег, лицо, оживленное остроумной улыбкой, его речь, тихая, вкрадчивая, умная, его благородный образ мыслей — привлекали к нему с первого свидания. То же самое, что начал он лет через десять потом, могло бы начаться под руководством и одушевлением Карамзина — и каких успехов нельзя было ожидать от сближения его с этим необыкновенным человеком! Но, видно, так было указано свыше, и с этого времени начинается тяжелый период в жизни Николая Алексеевича и всего нашего семейства.

Мы приехали в Москву в начале июля 1812 года, когда Наполеон перешагнул границу России и полчища его уже разливались, как лава, в западных губерниях. Но замечательно, что в Москве никто и не помышлял, чтобы когданибудь неприятель приблизился к нашей древней столице. Разделяя общую уверенность, отец наш деятельно занялся устройством своей жизни: нанял прекрасную квартиру, с садом, на берегу Москвы (почти напротив Ново-Спасского монастыря), обмелировал ее, завел все хозяйство и начал свои опыты в выделке водок, которые хотел представить откупщикам. Но едва только было устроено все это, как грозные известия с театра войны начали тревожить нас; почти каждый день приходили известия прискорбные: неприятель в Полоцке, в Витебске, в Смоленске... Тогда-то потянулись из Москвы вереницы всяких

экипажей, по всем дорогам, кроме Смоленской, по которой только приезжали в Москву. Но мы еще и не думали бежать. В одно утро, — помню, что это был воскресный день, — встаю: весь дом в движении; укладывают, уязывают; маменька плачет; отца нет дома. Ночью была принесена знаменитая афишка графа Ростопчина (от 18-го августа), где он почти уговаривал жителей выезжать из Москвы. Оттого-то накануне в нашем доме не было и признака близкого отъезда; но когда прочитана была афишка, то отец наш, по убедительному совету ближайших знакомых, которые уже решились бежать, тотчас отправился сам отыскивать лошадей, в которых вдруг сдался страшный недостаток; за счастье почитали, если какойнибудь ямщик брался ехать с платою по 50 рублей ассигнациями в сутки за каждую лошадь. Дня через два потом мы уже ехали из Москвы, по той же Владимирской дороге, по которой недавно приближались к ней. При выезде нашем из города был случай, который расскажу я, потому что он показывает прекрасное сердце нашего отца. Мы подъехали к Рогожской заставе, когда в нее вступал, с барабанным боем, отряд московского ополчения. Необыкновенный вид бодрых мужиков, в ратнической форме, кажется даже с ружьями, и подле них толпы их жен и матерей с узелками, так поразил нашего отца, что он залился слезами и упрекал себя за бегство от неприятеля, когда другие шли на смерть!

Мы прожили несколько времени в деревне дальнего родственника нашего Ивана Никитича Голикова, с которым вместе и выехали из Москвы. Деревня Голикова, Софряки, была недалеко от Вязников, близ станции Слободиче. Потом пробыли мы несколько времени в Вязниках; но когда распространился слух, что неприятель быстро двинулся к Владимиру, все московские беглецы, бывшие в этом городе, пустились в разные стороны и всполошили остановившихся в Вязниках. Разительные сцены этого жалкого бегства остались в моей памяти... Отец наш решился удалиться в Арзамас, как город, находившийся в стороне от театра войны. В Арзамасе дождалась мы известия о выступлении французов из Москвы. Между тем, все эти переезды, обзаведение в Москве и потеря всего заведенного истощили небольшой капитал, с которым отец наш выехал из Сибири. У него оставался еще расчет с Российско-Американской компаниею, по которому следовало ему получить несколько тысяч рублей: он решился ехать в Петербург и, оставив семейство в Арзамасе, отправился с Николаем Алексеевичем сначала в Москву, а оттуда в северную столицу. Москва представляла ужасное зрелище!.. На месте нашей квартиры не было и следа жилья: все превратилось в обширное поле, покрытое снегом.¹

¹ На всей этой местности с тех пор существует лесной ряд: улиц с жилыми домами нет. — К. П.

В Петербурге отец наш, с Николаем Алексеевичем, жил у Б. Б. Лещано, месяца три. Он написал к нашей матери, что так как в Москву возвращаться не за чем, то надобно покуда удалиться в Курск, на родину его; а там — подумать, что делать. В Арзамасе нельзя было оставаться уже и потому, что он наполнился войсками и лазаретами резервной армии князя Лобанова-Ростовского. Из Арзамаса, ближайшею дорогою, через Тамбовскую губернию, приехали мы в Курск в феврале 1813 года. Отец наш приехал туда же несколькими днями прежде, из Петербурга.

На родине, где не жил он с молодых лет, ожидало его страшное разочарование. Он очутился там, как между чужеземниками или как на необитаемом острове, особливо, когда увидели, что он вовсе не богат. Близких родных было у него очень немного; но сначала являлись толпы родственников, не хотевших верить, чтобы человек, проживший сорок лет в Сибири, воротился оттуда почти ни с чем. Когда же они удостоверились в этом, то все удалились от него, и ума их доставало только на то, чтобы подсмеиваться над ним. Даже нам, еще молоденьким детям, казались чужды и странны жители Курска, напоминавшие времена до-европейского быта в России. Отец наш не мог, да и не хотел, заводить новых знакомств, не хотел возобновлять и старых. Все казалось ему чуждо на его родине, и, кажется, что житье там почитал он каким-то переходным состоянием. Брат мой пишет в своей автобиографии: «В июне отправились мы (он с отцом) из Курска на Дон — делать сахар и ром из арбузов и торговать донскою рыбою».¹ Еще превратное изображение!.. Подумайте, что дело идет о каком-то отчаянном прожектере-спекулянте. Здесь я опять должен объяснить, что такое было это в самом деле.

В Москве отец наш успел побывать несколько раз у старого своего приятеля, Егора Ивановича Бланкеннагеля, основателя едва ли не первого в России свекло-сахарного завода. Бланкеннагель занимался этим делом ревностно, делал разные опыты и воспламенил отца нашего своими рассуждениями о теории сахарного производства. Отец наш приносил от него образцы разного сахара и с жаром говорил, какие важные виды представляет это новое тогда производство. Между прочим, поразила его мысль, переданная ему Бланкеннагелем, что сахар можно получать из множества растительных веществ; но должно найти такое, которое давало бы его легко и выгодно. Свекловица, при первых опытах, урождалась в России худо и Бланкеннагель делал опыты извлекать сахар из пшеницы, из моркови и тому подобного. Когда мы бедствовали от Наполеона, в Вязниках и в Арзамасе, отец наш вздумал выварить патоку из арбузов: она вышла чрезвычайно сладкая, но он не знал как превратить ее в кристаллы и, отправившись в Петербург, взял

¹ См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 33. — К. П.

с собою несколько бутылок арбузной патоки. В Петербурге, проводя вечера у Лещано, он разговорился об этом предмете и Лещано свел его с несколькими учеными, между прочим, с известным ныне академиком г. Гамелем. Начались попытки закристаллизовать арбузную патоку и, наконец, господа химики объявили, что это очень возможно и только малое количество доставленной им патоки мешает успеху. Можно представить себе восторг нашего старика! Он обещал доставить на другое же лето несколько пудов арбузной патоки для окончательных опытов и уже рассчитывал на множество выгод от этого нового производства. В Курске он собрал сведения о благоприятнейшем климате для арбузов и, узнав, что около Ростова-на-Дону они превосходны качеством и чрезвычайно дешевы, решился для своих опытов съездить туда. Человеку, привыкшему к сибирским расстояниям, ничего не значил переезд из Курска на Дон. Но приготовления, заказ паровиков и разных принадлежностей для опыта в значительном размере, наконец, самая поездка — поглотили много денег, и когда, во время житья в Ростове-на-Дону, началась выварка арбузной патоки, брат мой Николай Алексеевич (бывший вместе с отцом), сделался болен жестокою нервическою горячкою и несколько времени был на краю гроба. Бедный отец наш не отходил от него и, к несчастью, сам подвергся той же болезни. Так прошло все благоприятное время для задуманных им опытов, а люди, бывшие с ним, не могли, или не умели ничего сделать. Позднее осенью отец мой и брат возвратились в Курск, — оба изнуренные тяжкою болезнью. Особенно здоровье нашего родителя сильно пострадало, и почти всю зиму не мог он справиться. Однако, он вывез с собою достаточное количество арбузной патоки и отправил ее в Петербург. Нет надобности прибавлять, что из арбузов нельзя делать сахару, чего, повидимому, не знали те, кто ободрил его к этому несчастному предприятию. Другим опытом его на Дону было: солить новым способом осетров, которые продаются там нипочём при хорошем улове. Надобно знать, что засол превосходной донской рыбы производился тогда самым варварским образом. Ее распластывали и просто осыпали грязною солью, в грязных рогожах, и так развозили повсюду, отчего она доставлялась в отдаленные города заветрелая, теряла вкус и тотчас портилась. Отец наш вздумал солить ее в новых дубовых бочках, заливать тотчас хорошим рассолом и, герметически закупоренную, доставлять на место продажи. В таком виде рыба долго остается превосходною. Но это был только опыт, и хотя впоследствии он стоил много денег отцу нашему, однако, в 1813 году, ездил он на Дон не «делать сахар и ром из арбузов» и не «торговать донскою рыбою», как пишет брат. Поездка его была неудачна во всех отношениях, но и она показывает умного, необыкновенного человека.

Между тем положение его было действительно очень печально.

Полубольной, без денег, с многочисленным семейством, в родном городе, но между чужими людьми, он не знал, что делать и что начать? Тяжело мне даже припомнить себе страдания этой благородной души; но он не унывал духом, был больше нежели когда нибудь бодр и весел в разговорах с нами и держал себя, как всегда в отношении к своим знакомым. Я был тогда еще ребенок, но помню, что не раз случалось мне слышать тяжкие вздохи и молитвы его в ночное время, когда он полагал, что все в доме спят. Он не оставлял усилий выйти из своего тяжкого положения и поддерживал переписку с петербургскими приятелями и знакомыми, видя, что в Курске нет для него занятия. В это-то время один из немногих старинных знакомых его в Курске, Андрей Петрович Баушев, купец званием, но по образу жизни и обращению похожий на германского барона и вообще человек чрезвычайно оригинальный, предложил отцу моему отдать Николая Алексеевича не в конторщики, а для посильных занятий при его делах, которые были довольно обширны. Отец наш охотно согласился на это. Доказательством, что Н. А. был принят почти как друг в почтенное семейство Баушева, служит то, что его поселили в одних комнатах с сыновьями и племянником Андрея Петровича и почти ни в чем не отличали от них. Вскоре он сделался любимцем всего семейства. С его необыкновенными способностями нетрудно было ему знать весь ход дел в конторе Баушевых, и при общей любви, совершенной доверенности, при легких занятиях, жизнь его в этом богатом доме была бы очень приятна, если бы не сокрушала его мысль о положении собственного его семейства. Но спрашиваю: то ли было это переселение в дом Баушева, что можно заключить из слов автобиографии, где он говорит: «Я оставался без дела, определился в контору богатого купца и решил заняться только делом. Книги составляли только временную отраду мою. Неумоимо работал я, писал счета, переписывал купеческие письма».¹ Напротив, он имел много свободного времени, и как у Баушевых был в употреблении немецкий язык, потому что они имели дела с Лейпцигом, с Бреславлем и живали там, то брат мой имел тут первый случай начать учиться по-немецки. Он нашел у Баушевых и книги на иностранных языках, и готовность покупать новые книги, так что, бывши с ними на Коренной ярмарке, близ Курска, увеличил библиотеку их, чем хотел. Вообще, он действовал у них свободно, как любимый, самый близкий человек, даже устроил домашний театр, на котором и я, несмотря на детские мои годы, игрывал, когда недоставало актера. Смешно, что двенадцатилетнему случилось мне представлять на сцене дряхлого старика, отца Дмитрия Самозванца в трагедии Нарежного!.. Вообще пребывание брата у Баушевых было полезно ему во многих отношениях, между прочим, и в том, что он

¹ См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 34. — К. П.

увидел необходимость учиться основательнее и имел к тому возможность. Подстрекаемый тем, что сверстники его говорили по-немецки, писали немецкие письма, рассуждали иногда о правилах грамматики, о которых он еще и не думал, он с жаром принялся за все это и вскоре оказал удивительные успехи. Приходя к нам, он обыкновенно передавал мне все, что узнал сам и таким образом сделался моим учителем. Все это делалось свободно, без всякой скрытности от Баушевых и от моего отца, который, напротив, любил слушать уроки брата мне. Но, увлеченный мыслью представить себя несчастным самоучкой, Николай Алексеевич говорит об этом времени вот что: «Еще с 1814 года начал я потихоньку учиться и прежде всего русской грамматике по грамматике Соколова, которая как-то попалась мне в руки. Тогда же увидел я необходимость знать иностранные языки. Мне надобно было скрывать и таить свое учение и перед отцом, и перед хозяином; оно могло повредить моей деловой репутации, и, кроме того, что сказали бы мои товарищи, если бы узнали, что я учусь азбуке? А старики? а старухи? . . . Пьяный цирюльник наполеоновской армии, итальянец, который остался допивать жизнь свою в одной из курских цирюлен, показал мне произношение французских букв; старик, музыкальный учитель, богемец, который учил на фортепиано дочерей моего хозяина и любил после уроков посидеть у меня в конторской комнатке и покурить табуку, научил меня немецкой азбуке».¹

Признаюсь, когда в первый раз прочитал я эти строки, то расхохотался, как редко случалось мне хохотать во всю жизнь мою! . . . Эта карикатура пьяного итальянца, французского цирюльника и богемца, который учит азбуке Николая Алексеевича, хоть в ней и ребенку учить нечего, эта риторическая фигура мысли, изобретенная воображением моего брата — рассмешили меня как нельзя больше. При свидании с ним, я не мог без смеха спросить у него: «Скажи, ради бога, про какого пьяницу цирюльника рассказываешь ты в своей биографии?» — «Как же, братец, был!» — возразил он смеясь. «Может быть он был; но как и чему он учил тебя, когда мы начали, вместе с тобой, учиться по-французски в 1815 году, в Иркутске? И для чего ты пожаловал немца Гофмана в богемцы? На что тебе было учиться у богемца немецкой азбуке?» Он сам начал смеяться и тем кончились объяснения его об этой э ф ф е к т н о й выходке.

Я рассказываю совсем с другою целью: не для эффектов. Желая представить умственное и нравственное воспитание моего брата в истинном свете и называю лица, имевшие на него влияние. Некоторые из них еще здравствуют и могут подтвердить мои слова. Зачем фантастическими прибавками исказить истину?

С благодарностью подтверждаю все, что пишет он далее

¹ См. Очерки русской литературы, т. I, стр. 36. — К. П.

о наших с ним учебных занятиях. Да! с этого года, памятного мне первым жарким стремлением к познанию и науке, укрепились наша взаимная дружба. Я был гораздо моложе его, в том возрасте, когда пять лет составляют неизмеримую разницу в умственных силах, и был во всем учеником его. Но желание не отставать от него и труд — заменяли мне и годы, и дарования. Он ловил все на полете; я усвоивал все трудом и прилежанием. Это обратилось, наконец, в какое-то взаимное обучение, и мы пособляли друг другу учиться, по силам и средствам каждого.

Так прошло для нас лето 1814 года; средства отца нашего дошли до крайнего истощения: он принужден был отказывать себе во всем, закладывая последние вещи, стоившие чегонибудь, и ждал избавления только свыше... Оно и пришло, с божескою щедростью... В начале ноября, в ужасную погоду, в комнату к нам вбегает брат Николай Алексеевич и с веселым лицом обращается к отцу: «Папенька! к нам письма из Петербурга!» Отец наш давно ждал писем оттуда: одно было от Михаила Матвеевича Булдакова, главного директора Американской компании, другое — от Ефима Андреевича Кузнецова, впоследствии богатейшего из золотопромышленников. Кузнецов писал, что, узнав о желании Алексея Евсевьевича заняться выгодным делом, предлагает ему принять на себя управление винным откупом в Иркутске, оставшимся с торгов за Кузнецовым, с другим товарищем. Булдаков, в отдельном письме, просил отца нашего принять на себя это дело, уверяя, что он получит за то большое вознаграждение. Старик наш ожил, и как Кузнецов писал, что он выезжает из Петербурга и будет ожидать его в Москве, то он с вторым своим сыном, дня через два и отправился туда, собрав для этого последние средства. Мы, то есть мать моя, со всеми другими детьми, оставались в Курске, в ожидании, которое продолжалось с месяц, потому что Кузнецов был чем-то задержан в Петербурге. Наконец, в одно прекрасное утро, мать наша получает с почты повестку: из Москвы получено на имя ее 2,000 рублей и вместе с тем письмо нашего отца, которое начиналось следующими словами, до сих пор остающимися в моей памяти:

«Принесите хвалу, благодарение и поклонение всемогущему господу богу, за его в нашей слабости помощь, благодать и милосердие! Ефим Андреевич (Кузнецов) приехал, и мы с ним в трех словах все решили, потому что, приступая к предприятной, он и товарищи его положили непременно верить его мне. Денег предлагают мне взять теперь же, сколько угодно; но, не желая брать безрасчетно вперед, я взял на первый случай 10,000 рублей, из которых посылаю вам, мои милые, 2,000 рублей и пришлю еще... Затем выражал он самую нежную заботливость, чтобы мать наша немедленно улучшила свое житье-бытье и приготавливала бы к отправлению в Иркутск Николая Алексеевича и меня, «которым найдется дело там», — прибавлял он.

Быстрый переход от тяжелой, стеснительной нужды к довольству могут оценить только те, кто сам испытал это.

Новый оборот в делах нашего отца необходимо заставлял брата Николая Алексеевича оставить дом Баушевых, что не обошлось без ропота с их стороны. Но он жил у них без всяких обязательств, не из жалованья, а почти как друг семейства, и должен был повиноваться воле отца, когда тот почитал нужным возвратить его к себе. Это лучше всего показывает, как неверно представил он свои отношения к почтенному семейству Баушевых, изображая себя только работающим в их конторе.

Довольно жестокая и продолжительная болезнь его задерживала несколько времени наш отъезд. Наконец, мы, то есть брат мой и я, выехали из Курска, в конце января 1815 года, в Москву, и остановились там у П. Ф. Белявского. По поручению нашего отца, он снарядил нас в дальний путь, вручил брату назначенную сумму денег и дал нам в провожатые казачьего пятидесятника, возвращавшегося в Иркутск, в свой полк. Покуда мы оставались в Москве, брат успел закупить книг, свозить меня в театр и запастись разными учебниками: можно было подумать, что мы отправляемся учиться на границах Китая!

В Иркутске надежды отца нашего и обещания Кузнецова далеко не осуществились. Любопытное существо был Е. А. Кузнецов!.. Красавец собой, он принадлежал к тем немногим, которых в мире называют счастливцами. Он любил роскошь, негу — и судьба несколько раз наделяла его богатством, которое падало на него без всяких особенных усилий с его стороны. В числе счастливых предприятий его был и взятый им в Иркутске откуп. Он почти не занимался им, вмешивался только для того, чтобы портить самые выгодные начинания и, все-таки, богатство лилось к нему рекою. При его беспечности, отец наш оставался почти без занятий и прошло несколько месяцев, покуда устроилась взятая им на себя часть дела.

В это-то время сблизился с нами Василий Михайлович Пурлевский.¹ Приглашенный Кузнецовым, так же как и отец наш, приехать в Иркутск (из Тобольска, где он жил до тех пор), Пурлевский также был почти без занятия. Имея много досуга, он предложил нам (Николаю Алексеевичу и мне) учиться вместе с ним французскому языку, для которого нашелся хороший учитель. Это был поляк, Горский, за шалость юности сосланный в Сибирь, но сохранивший и манеры светского человека, и хорошую образованность. Его ли искусство в преподавании, или наша ревность к учению были при-

¹ В. М. Пурлевский был еще жив, когда я писал эту часть моих «Записок». Он скончался лет пять назад, в Петербурге, бывши в отставке, в чине статского советника, а вступил в службу уже по выезде из Иркутска, не в первой молодости. Я редко встречал человека столько умного, приятного, способного к самым обширным деловым занятиям. Образованностью своею он был обязан самому себе. (Писано в 1859 г.) — К. П.

чиной, только месяца через два мы уже понимали книжный язык и могли даже сказать несколько связных слов по-французски. Вот кто, а не пьяный цирюльщик французской армии первоначально ознакомил Николая Алексеевича с французским языком.

Все лето и большую часть зимы провели мы в самом прилежном учении и в занятиях литературой. Дела нашего отца ограничивались только управлением водочного завода, где приготавливались водки и наливки для всей неизмеримой Иркутской губернии, к величайшей выгоде откупа. Но, видя, что и это было сопряжено с разными затруднениями, отец наш решился, окончив принятое им на себя предприятие, хотя и очень выгодное, возвратиться через несколько месяцев в Курск. Предварительно он отправил туда Николая Алексеевича, который и оставил Иркутск в начале 1816 года. Едва явился он в Курск, как гг. Баушевы пригласили его заняться управлением их конторы, уже с жалованьем, довольно значительным по тому времени. Он охотно принял на себя дело, знакомое ему, и в таком доме, где обходился с ним дружески. Отец наш, получив о том известие, поразился, что юный сын его умел заслужить самое благоприятное мнение в этом почтенном семействе.

III

Осенью 1816 года возвратился я с отцом моим в Курск. Состояние наше было обеспечено, хотя не богато. У нас был свой дом, со всем хозяйственным устройством, и несколько десятков тысяч рублей. Отец наш, еще прежде своего приезда, распорядился о засоле рыбы на Дону (по способу, о котором я упоминал выше); но это предприятие обернулось так неудачно, что через два года весь маленький капитал наш погиб и опять становилось трудно существовать. К счастью, в это время дозволено было частным лицам устраивать водочные заводы, и отец наш спешил устроить такой завод. По некоторым новым отношениям с гг. Баушевыми, он не хотел, чтобы Николай Алексеевич оставался при их делах и в половине 1819 года он оставил их дом.

До сих пор жизнь и существование его были соединены с семейством и я не мог изображать его, как самобытного деятеля. Литературные занятия его, почти непрерывные и разнообразные, были отдельною и, казалось, побочною деятельностью, хотя последствия доказали, что они составляли цель его жизни. Он сам не давал себе отчета, куда и к чему приведут они. Отчасти повинуюсь воле отца, который не мог же готовить его в литераторы в сфере курской жизни, отчасти увлекаясь сам юношескими порывами, он иногда готов был оставаться в этой сфере, потому что почитал недостижимым счастьем иную, высшую деятельность. Литература и занятия ею были, однако ж, всегдашнею и неизменною его отра-

дою, отдыхом посреди стеснений и тягостей нашей жизни. Я был единственным наперсником, которому мог он передавать свои отдаленные надежды, и чего не перемечтал он в эти годы решительного переворота в своей нравственной жизни! С какою живостью пользовался он каждым случаем к деятельности умственной, к возвышению своего духа! Противоположность окружавшего нас общества с идеальным миром, в котором жили мы с малолетства, еще больше подстрекала его перейти в другую сферу. «Возвысимся духом, Бонстеттен!» — часто повторял он мне, читая наизусть перевод «Писем» Иоанна Миллера к Бонстеттену, когда-то напечатанный Жуковским в «Вестнике Европы». Нынешнее молодое поколение смеется над всем идеальным и стыдится высказывать свои искренние ощущения: оттого и занятия литературой кажутся для нее междудельем, развлечением, к которому оно старается высказывать искусственное презрение. Мы, напротив, не играли такой комедии, искренно предаваясь жизни умственной, идеальной и почитая деловые занятия только необходимою данью вещественной жизни.

Во время житья своего у гг. Баушевых Н. А. много занимался изучением языков: французского, немецкого, латинского, русского. Я постараюсь объяснить эти занятия его, но прежде расскажу несколько эпизодов из литературной его деятельности, потому что почти никогда не переставал он авторствовать.

В 1817 году император Александр I посетил Курск. Великолепная, небывалая в Курске картина съезда множества лиц в город, обыкновенно тихий, сбор войск и потом маневры их, вместе с радушною, искреннею встречей любимого царя, причем всякий городок преобразуется в истинную резиденцию, — все это воспламенило воображение Николая Алексеевича, и статья его о пребывании государя в Курске полетела в Москву, к издателю «Русского Вестника», с учтливою просьбою напечатать ее. Прошло довольно много времени, прежде нежели она явилась в печати, с желанною подписью: Н. Полевой. Сергей Николаевич Глинка, по праву издателя журнала, переправил ее и брат сознался (в предисловии к «Очеркам», стран. XL), что поправки были справедливы. Я не думаю этого, и вероятно, по крайней мере, что поправки относились не к слогу. Но, как бы ни было, а это — первое сочинение Н. А., явившееся в печати. Весь город был восхищен описанием его, особенно потому, как замечает он сам, что предмет описания был близок сердцу каждого жителя и впечатление, произведенное посещением государя, еще оставалось живо в памяти всех.

Статья брата была поводом еще к одному забавному случаю, который доставил ему знакомство и даже приятный просвещенного любителя литературы Алексея Степановича Кожухова, бывшего тогда губернатором в Курске. Не знаю почему, только Н. А. не сказал отцу о своей статье, напечатанной в журнале. Прошло уже несколько дней, как книжка «Русского Вестника» была получена

в городе, когда отец наш, бывший в это время членом комиссии о размещении войск в городе, явился по делам службы к губернатору. В разговоре с ним А. С. Кожухов спросил, между прочим: не знает ли он, какой Полевой напечатал описание недавнего пребывания государя в Курске? «Если какой-нибудь Полевой написал что-либо достойное печати, — отвечал отец, — то вероятно, что это мой сын». — «Представьте же себе, что сегодня был у меня молодой человек, также Полевой, и когда я сделал ему тот же вопрос, что вам, он назвал себя автором описания, хотя из разговора с ним показалось мне это очень сомнительно. Пошлите ко мне вашего сына, если он настоящий автор».

Брат мой, находившийся тогда еще у гг. Баушевых, возвратился домой не ранее вечера. Отец, между тем, уже узнал от меня, что точно Николай Алексеевич — автор статьи. Он тотчас прочитал ее, был очень доволен, и только поощрял Николаю Алексеевичу, что он не сказал ему прежде о своем литературном успехе. «Теперь же поезжай к Алексею Степановичу», — прибавил он. Разумеется, г. Кожухов с первых слов удостоверился, что видит действительного автора, и это было началом приятного и полезного моему брату знакомства. Для объяснения, каким образом мог сыскаться самозванец-автор с именем Полевого, надобно сказать, что в Курске есть несколько фамилий Полевых не только не родственных, но и незнакомых с нами. Один молодой человек, точно Полевой, и даже имя которого начиналось с буквы Н, был с какою-то просьбою у губернатора. Кажется, думая придать себе важности, он признал себя автором статьи, когда губернатор, только что прочитавший приятное ему описание пребывания государя в Курске, спросил, не он ли писал это? Несколько дней потом провинциальный город гремел рассказами о самозванце авторе и тем больше расхваливал настоящего автора.

Впрочем, это происшествие не имело никакого существенного влияния на положение моего брата. Все окружавшие его давно знали о любимых его занятиях и даже молодые приятели его из купцов всегда глядели на него, как на сочинителя, который однако же, не придавал себе тем никакой важности. Он импровизировал им целые стихотворения, где изображал различных оригиналов, встречающихся всегда и везде. В то же время он был самым любезным кавалером на семейных балах, самым остроумным из сверстников в играх (*petits-jeux*), и все знакомые любили и уважали его. Но знакомство его с г. Кожуховым было важно тем, что тут он вступил в круг людей с литературною и светскою образованностью и с европейскими мнениями и понятиями. Справедливо говорит он, что А. С. Кожухов сделался меценатом его, дал ему свободный доступ к себе и доставил несколько приятных знакомств, полезных в разных отношениях. У него познакомился он со всем образованным обществом тогдашнего Курска и я упомяну здесь

о тех знакомствах, которые имели некоторое значение в литературной жизни моего брата.

Много ли Курск был лишен присутствия своего архипастыря: престарелый архиепископ Феохист жил в Белгороде. После кончины его назначен был курским и белгородским епископом преосвященный Евгений (ныне архиепископ, живущий на покое в Москве, в Донском монастыре). Прибытие его в губернский город было истинным торжеством для жителей: тысячи народа встретили преосвященного за несколько верст от Московской заставы и сопровождали до Знаменского монастыря, где новый архипастырь умилил всех своим служением и словом. Восторг был единодушный. Брат мой разделял общее одушевление и это выразилось у него приветственным стихотворением к новому пастырю душ. Через несколько дней епископ Евгений уехал на житье в Белгород и брат мой не успел или не мог представить ему своего стихотворения. Вскоре Н. А. посетил губернатора и встретил в его кабинете Петра Аврамовича Анненкова, богатейшего из курских помещиков, незадолго вышедшего в отставку полковником из Кавалергардского полка. Это был столько же любезный светский человек, сколько роскошный русский барин. Другой гость у губернатора был князь Василий Прокопиевич Мещерский, лицо чрезвычайно оригинальное. Одаренный пронизательным, ловким умом, обогащенный множеством сведений, свободно говоривший на нескольких языках, он был типом светских людей и дипломатов Александровского времени. Во время войны с Наполеоном, в 1813 году, он состоял при наследном принце шведском (Бернадотте) и получил от него орден Полярной Звезды; потом находился при графе Беннигсене, при графе Витгенштейне, во 2-й армии, и приехал оттуда в Курск по случаю смерти своего отца, некогда любимого вельможи при императоре Павле, но умершего послушником Знаменского монастыря. Бывший вельможа не принимал монашеского чина, ходил в черной рясе со звездой на груди и часто говаривал проповеди в своей обители. Мне случилось не один раз слышать его громы против слабостей человеческих . . . Все это нужно знать только для того, чтобы иметь понятие, с кем находился в этот раз брат мой в кабинете А. С. Кожухова, который тотчас познакомил его с своими гостями и спросил, не написал ли он чегонибудь новенького. Брат упомянул о послании к епископу Евгению, изъявляя сожаление, что не мог поднести его тому, к кому оно относилось.

— С вами оно? — спросил князь Мещерский.

— Со мною.

— Позвольте же мне просить его у вас для доставления его преосвященству, потому что сегодня, в ночь, мы с Анненковым едем в Белгород, именно к епископу Евгению.

— Но, князь, отвечал брат: я еще не знаю, достойно ли такой чести мое стихотворение? Я желал бы услышать суждение знатоков.

— Пожалуйте, пожалуйста мне ваше послание: я прочту его перед вами, как буду читать его преосвященству... вы сами увидите...

Брат мой сознался, что не без сердечного трепета вручил ему свое сочинение, хотя был уверен, что оно не совсем дурно. «Но я не узнал своих стихов в превосходном чтении князя», — говорил он нам, пересказывая свое приключение. В самом деле, князь Мещерский был великий мастер читать вслух, и особенно стихи. Его приятное произношение и опытность в чтении могли и слабому стихотворению придать некоторый блеск. По крайней мере, собеседники остались довольны и с этого дня дом П. А. Анненкова стал также открыт для брата, а князь Мещерский встречал его всегда с отверстыми объятиями. Он привез из Белгорода привет и благословение архипастыря моему брату. Вот как началось знакомство его с епископом Евгением, и следовательно преосвященный знал его прежде 1819-года, когда брат читал свои стихи в собрании курского библейского Общества. Я опишу далее этот любопытный случай первоначальной его литературной жизни, который называет он началом своего знакомства с курским преосвященным; но, чтобы скольконибудь соблюсти порядок времени, я должен упомянуть о других литературных занятиях Николая Алексеевича.

Он скоро сблизился с князем Мещерским и почти каждый день бывал у него, покуда тот оставался в Курске. Человек с умом наблюдательным, опытный в жизни, блестящий в разговоре, князь любил литературу и мог сообщить много нового, неизвестного жадному любопытству моего брата. Он передал ему взгляд французской теории искусства, которой тогда все следовали. Я, по возрасту своему, не мог быть собеседником их, но брат передавал мне каждый разговор свой с князем, каждое замечание его, и тогда-то мы начали изучать Буало и Баттё, как надежнейших руководителей в теории словесности. Латинская литература и, следовательно, латинский язык оказались необходимы. Здесь, кстати, я объясню методу изучения иностранных языков, какую употреблял Николай Алексеевич.

Начиная изучать новый для него язык, он обыкновенно окружал себя всеми возможными пособиями: грамматиками, словарями, хрестоматиями, переводами, напечатанными с текстом и, ознакомившись несколько с языком, начинал сам составлять грамматику его, применяя ее к правилам уже известных ему языков. В то же время он переводил, старался разгадать построение фраз и порядок слов, а неизвестные слова выучивал наизусть. Для всех изучаемых языков составлял он разные таблицы, заметки, сравнения, и таким образом быстро овладевал языком. Но, достигнув такого знания, что мог, при пособии словаря, читать авторов, он не стремился к усовершенствованию себя в изучаемом языке и оттого, действи-

тельно зная основательно несколько иностранных языков, он не обладал ни одним в совершенстве, какого можно достигнуть усилненным, постоянным занятием и непрерывным упражнением. Даже зная французский язык со всеми его тонкостями, потому что беспрестанно читал на нем, он по-французски говорил дурно, хотя очень свободно. Впоследствии мы никогда не соглашались с ним о способе учения вообще и языков в особенности. Я утверждал, что недостаточно таких знаний, какими довольствовался он, в языках, что лучше знать два, три языка, но так, чтобы говорить и писать на них правильно; что поверхностное знание десяти языков бесполезно и, между тем, уносит много времени. Он отрицал все это, в убеждении, что невозможно достигнуть совершенства в чужом языке, следовательно, нечего и тратить время для того, чтобы писать и говорить на нем; что наша латынь тревожит прах Цицерона и Тацита; что французы едва награждают самое сильное знание их языка унизительною для иностранца фразою: «*vous m'êtes étranger M-r n'écrit pas mal*», а в разговоре узнают с первого слова иностранный акцент; что, напротив, даже слабое знание иностранного языка знакомит нас с духом его, и читая на нем, хоть с помощью лексиконов, переводов, комментариев, можно понимать авторов лучше, нежели в переводе; наконец, самое твердое и всегдашнее его убеждение — изучение главных языков нужно для узнания законов всеобщей грамматики. Читатели могут сами судить об основательности его доводов. Постоянным и неуклонным его стремлением было — обнимать умом и воображением целый мир, открывать новое, и потому недосуг было ему заниматься мелочными тонкостями, когда в то же время душа его была не художническая, а душа бойца, который хотел стремиться вперед, всегда вперед, не останавливаясь над частностями и подробностями. Он упоминает о своих филологических занятиях касательно русского языка. Вот как начались они.

В 1819 году явился в «Сыне Отечества» разбор изданной Российской академиею грамматики, написанный Н. И. Гречем. Этот образцовый разбор произвел на нас (на брата и на меня) необыкновенное впечатление. Мы увидели, как надобно заниматься языком и с жаром принялись перерабатывать свои грамматические познания. Н. А. немедленно занялся теми частями русского языка, на которые указывал г. Греч, как на обработанные у нас тогда очень слабо. Брат мой решился на исполинский подвиг — переспрягать все русские глаголы, чтобы из этого вывести систему русских спряжений. Это, вместе с другими исследованиями разных частей русского языка, занимало его несколько лет. Впоследствии он получил большую серебряную медаль от Российской академии именно за свою систему русских спряжений; но об этом после.

Учение самое прилежное, исследования, которые уже можно назвать учеными, и занятия деловые не мешали Николаю Але-

ксеевичу в то же время авторствовать. В 1818 и 1819 годах мы с ним много занимались переводами с французского и немецкого языков; но это были только упражнения. Он посылал некоторые свои опыты в «Вестник Европы» и с радостью заметил, как упоминает сам, что статьи его (о Славянском Волосе и перевод Шато-брианова описания путешествия Меккензия по Северной Америке) были напечатаны без всяких поправок. В самом Курске представился ему случай насладиться литературным успехом.

В первые дни 1819 года назначено было торжественное открытие Отделения российского библейского Общества в Курске. По этому случаю приехал туда из Белгорода епископ Евгений. Брат мой был у него несколько раз и, между прочим, вызвался прочитать стихи в предстоящем собрании Общества. Преосвященный, выслушав стихи, одобрил их, но не сказал положительно ничего и не назначил дня, когда будет собрание. Он был окружен множеством занятий и неудивительно, что чтение стихов не казалось ему так важным, как казалось оно самому поэту. Прошло дня два или три после этого. Отец наш был отчего-то не в духе и вечером журил за что-то бедного поэта, когда вдруг к крыльцу нашего дома с громом подъехал экипаж и в комнату влетел частный пристав Козюлькин, парадно одетый, и, торопливо обращаясь к Николаю Алексеевичу, сказал:

— Да что ж это такое? Вы еще и не одевались? А вас ждут!

Нисколько не понимая этих слов, отец и брат мой глядели на него вопросительно, и кто-то из них спросил:

— Где ждут?

— Да у губернатора! Уж началось чтение!

— Какое чтение?

— Боже мой! — воскликнул почти в отчаянии Козюлькин: — да вы, Н. А., хотели читать стихи, что ли, в библейском Обществе!?

Брат начал было объяснять, в чем дело, но Козюлькин умолял его поскорее собраться и ехать с ним в ту же минуту, потому что нельзя было медлить ни одной минуты. Отец наш подтвердил то же с каким-то упреком, хотя в половину понимая всю эту сцену... Через четверть часа брат уже ускакал с Козюлькиным и возвратился в неопisanном счастье: прочитанные им в собрании стихи имели полный успех. Дамы плакали от умиления, слушая их, заслуженные воины, старики обнимали и целовали молодого поэта; губернатор и преосвященный изъявили ему полное удовольствие. В пояснение должен я сказать, что преосвященный, после свидания с Николаем Алексеевичем, включил стихотворение его в росписание сочинений, назначенных для чтения в собрании библейского Общества; росписание было роздано почетным посетителям и когда заседание открылось, и уже началось чтение разных отчетов и речей, а брат не являлся, тогда послан был за ним Козюлькин с прика-

занием привезти поэта и стихотворение его так скоро, чтобы это не нарушило предназначенного порядка чтения. Кажется, что стихотворение его было потом напечатано в «Русском Вестнике».

Так шел брат мой постепенно от успеха к успеху; но при этом не было в нем не только самолюбивого довольства (обыкновенного признака бездарности), но и маленькое наслаждение — видеть и слышать одобрение своих литературных попыток — наводило на него грусть. Чувствуя в душе неизмеримые силы и неопределенное, но непобедимое ничем стремление к литературной деятельности, он видел также, как трудно будет ему предаться своему стремлению при тогдашних обстоятельствах нашего семейства. Между тем, чем более вступал он в мир образованности и литературы, тем сильнее чувствовал, как много надобно трудиться для того, чтобы стать наравне с современным просвещением. Сколько бывало у нас об этом рассуждений, планов, мечтаний!.. Помню, что учиться в Московском университете казалось нам высшим и недостижимым счастьем! Мы полагали, что могли бы там поглотить всю ученость и пророниться ею от головы до пяток. Название профессора, доктора, магистра внушало нам глубокое уважение к тем, кто имел счастье заслужить эти ученые степени. Самая жизнь студента казалась нам какою-то поэзией и все соединенные с нею трудности и лишения представлялись несравненным наслаждением. Как радостно променяли бы мы удобства домашней жизни на одиночество и скудную жизнь беднейшего студента! Без всякой близкой надежды достигнуть такой счастливой жизни, мы занимались всеми предметами, необходимыми для вступления в университет. Брат мой познакомился с учителем латинского языка в курской гимназии г. Славинским и обращался к нему с разными вопросами при изучении латинского языка, который не переставали мы учить по грамматике Брёдера, изданной Кошанским. Руководством для университетского курса вообще служила нам книга: «Новый и легкий способ приготовить себя к выдержанию испытания в науках в высочайшем указе 6-го августа 1809 года означенных, или полный курс словесности, часть I, грамматика: 1) общая; 2) российская; 3) латинская; 4) французская, и логика. Издал Иван Гаретовский. Москва в универсиг. типографии 1812. — 8».

Других книжных пособий было у нас довольно; только не доставало учителей и постоянного классного ученья, отчего мы и находили себя недостойными мечтать об ученой образованности. Н. А. был неистощим в средствах доставать книги; а чего не могли мы достать в Курске, то выписывали из Москвы. В таком направлении занимались мы особенно в 1819 году, когда брат уже оставил дела гг. Баушевых и жил в доме отца. Определенного делового занятия у него не было. Я жил на заводе, который устроил отец мой с товарищем; но и одному мне управление заводом было слыш-

ком под силу, так что по вечерам я бывал свободен и обыкновенно посвящал их учению и литературным занятиям. Брат прихаживал ко мне, иногда на целый день, иногда и ночевал у меня, и эти часы и дни могу причислить к счастливейшим в моей жизни. Все, кто знал впоследствии Николая Алексеича, сознаются, что всегда приятно было делить с ним время; пусть же представят себе живость его ума и любезность в двадцатилетний с небольшим возраст, когда все впечатления были у него так свежи, пылки, увлекательны для него и для других. Разговоры и суждения, касавшиеся глубоких и важных вопросов, мечты о будущем, литература, науки перемежались у него с веселостью и шутками, в которых был он неистощим. Блаженное время, когда все представлялось в розовом оттенке, хотя на горизонте жизни были и зловещие облака! . . .

Многие полагают, что для образования ума и воспитания души необходимы разнообразные и необыкновенные впечатления, а они невозможны без богатства, блестящего общества и путешествий по образованным государствам. Но это только средства, и надобно еще уметь пользоваться ими. С сожалением должно сознаться, что часто они оказываются бессильны, бесполезны и только усыпляют последнюю силу жизни в тех, кто ими обладает. Человек, у которого слабы душевные силы, равнодушен ко всему, и оттого самые разнообразные предметы не действуют на него. Он, глядя, не видит и, слыша, не понимает. Напротив, как могущественны впечатления у человека с душою сильною! Для него везде красноречива природа, везде занимателен и глубок человек, везде поучительно общество со своими страстями, слабостями, увлечениями к доброму и злему. Я видел пример этого в брате моем: он всюду находил людей, которых наблюдал и изучал, всюду открывал новые стороны в предметах и в самой литературе провидел потребности ее, хотя не был в сношениях с литераторами и находился далеко от главных мест литературной деятельности. Мы читали современные журналы и газеты русские и из них знали события; но суждения наши были не всегда согласны с суждениями журналов, потому что мы имели уже довольно самобытности. Можно сказать, что Н. А. знал наизусть всю литературу русскую и в этом отношении уже тогда был учнее многих журнальных статей. Он с первого взгляда видел обмолвки и удивлялся только, как люди со всеми средствами делаю промахи, не знают того, что с малолетства знал он еще из сочинений Голикова о Петре Великом, из «Всемирного путешественника» — о географии, и не видят многого, что казалось ему так ясно. Иногда, читая анекдот, выдаваемый за новость, он восклицал: «Боже мой! из Письмовника Курганова!» Читая сочинение Ергова «Об устройстве миров», он смеялся, а книга «Опровержение Коперниковой системы» возбудила и в нем, и в отце нашем негодование. В эту же пору своей жизни начал он посылать разные журнальные статьи почти исключительно в «Вестник Европы» и когда

некоторые из них были напечатаны с благосклонными примечаниями редактора, то он получил даже уверенность в своих силах и не раз говорил мне:

— А можно было бы много поработать!.. Как они не видят этого!

Вскоре и настала для него эпоха неутомимой литературной деятельности.

IV

Здесь должен я еще раз попротиворечить предисловию к «Очеркам», где Н. А. говорит:

«Отец мой решился сделать последнее усилие для поправления своих обстоятельств и, собрав все, какие были у него, средства, завести водочный завод в Москве. Меня отправил он для приуготовлений...» Что значат слова: «для приуготовлений» к устройству завода? Что приуготовлять для этого почти целый год, который прожил Н. А. в Москве, до приезда туда самого отца нашего? Вот как и почему все это происходило. Произведения нашего водочного завода в Курске были так хороши, что, по собранным тогда сведениям, подобных не выдывали в Москве, следовательно можно было продавать их там в большом количестве, тогда как сбыт их в Курске был ограничен. По согласию с своим товарищем, отец наш вздумал учредить депо своих водок в Москве и для этого отправил туда Николая Алексеевича, которого обязанность состояла бы только в оптовой продаже, следовательно оставляла бы ему много досуга для других любимых его занятий. С такою целью отправился он в Москву, в самом начале 1820 года. Я уверен, что если бы отец наш был сколько нибудь в состоянии послать его туда единственно учиться и совершенствовать свои дарования, он сделал бы это непременно, даже без вызова Николая Алексеевича; но нельзя было и думать о том, когда средства наши были чрезвычайно ограничены и необходимость заставляла прежде всего заботиться о безбедном содержании себя.

В первые месяцы своего житья в Москве, Н. А. только собирал ближайшие сведения о деле, порученном ему, и уже летом был отправлен к нему первый обоз водок. Вообще это дело почти не отнимало у него времени и он ревностнее, нежели когда нибудь, предавался тому, о чем мечтал так давно. Не могу не пожалеть, что не сохранились письма, в то время писанные им ко мне. С каким восторгом писал он, например, что абонировавшись в разных библиотеках, может, наконец, иметь все книги, какие бы ни вздумалось ему читать или изучать.

«Не могу выразить тебе, — писал он мне, — какое чувство овладело мною, когда во французской библиотеке мне подали целую книгу одних названий книг, находящихся в моем распоряжении,

и когда я заглянул в нее и увидел там великие имена бессмертных друзей наших, начиная от Гомера и Фукидида до современных — Шатобриана и Делиля!

— «Что же вам угодно назначить? — спросил меня старик Бува, француз, который бегло говорит каким-то ломаным языком; но самый разговор по-французски был мне приятен и я объяснился с ним без затруднения: больше затруднял меня выбор книг!.. Каково, братец? каково богатство?» Все это почти собственные его слова, памятные мне.

С каким упоением извещал он меня потом, что читает Винкельмана и всякий раз переселяется с ним в новый, неведомый до тех пор ему мир!.. Особенно занимали его все подробности, относившиеся к литературе и литераторам. Побывав в публичном собрании Общества Любителей Российской словесности, он описывал мне наружность виденных им членов этого Общества, присоединяя к каждому имени самые почтительные эпитеты. Можно сказать, что он был как проголодавшийся странник, который долго шел по безлюдной степи и наконец-то добрался до жилья и подсел к накрытому столу: все казалось ему прекрасно! Но главным предметом в нескольких письмах его ко мне было описание приятного сближения с Михаилом Трофимовичем Каченовским. Это должен объяснить я несколько подробнее.

Имя Каченовского было знакомо нам с детства. Оно казалось неразлучным с «Вестником Европы», который долго оставался лучшим русским журналом и был для Николая Алексеевича — как для Ломоносова грамматика Смотрицкого и арифметика Магницкого — вратами учености. «Вестник Европы» составлял обычное чтение в нашем доме и все мы так привыкли к нему, что издатель его, Каченовский, казался нам чем-то близким, родным. Многие умные и ученые статьи его внушали нам невольное уважение к нему и уже с детства мы воображали его необыкновенным человеком, удивительным писателем, который знает все, потому что говорит обо всем, раздаёт хвалы и осуждения и всегда остается на недосягаемой другими высоте. Впоследствии, когда мы уже могли давать себе отчет в том, что читали, мы, по привычке, невольно держали сторону Каченовского, тем больше, что противодействия ему почти не было. Важное дело: привычка к журналу. И в наше время, и не в одной России, успех многих периодических изданий объясняется только тем, что к ним привыкли: привыкли даже к их слабостям и пошлостям, отчего и дельное, встречаемое в них, кажется лучше, нежели в других подобных изданиях. «Вестник Европы» клонился к упадку с 1815 года: Каченовский уже лениво занимался им, повторял одно и то же, сбивался на те пошленькие остроты, которыми после кололи его самого, а мы, провинциалы, видели в нем все еще светило русской литературы, и брат мой, особливо с тех пор, как в «Вестнике» были помещены его статьи,

присланные из Курска, был приверженцем Каченовского и питал к нему глубокое, искреннее уважение.

Поосмотревшись в Москве, он почел самым приятным долгом явиться к нему и описывал мне это посещение с юношеским довольством. Все показалось ему умно, прилично, прекрасно у Каченовского. Даже деревянный домик у Пимена в Воротниках, о котором читывали мы на каждой обертке «Вестника Европы», представился брату моему философским убежищем. Множество книг, разбросанных в кабинете, показались ему свидетельством учености и сам хозяин кабинета очаровал пылкого юношу любезностью, умом, разнообразными сведениями, которые высказал он в разговоре с ним. Каченовский был действительно человек умный, ученый и, по-своему, любезный. Он легко находил меткие, язвительные выражения, когда характеризовал какого-нибудь недруга, умел быть веселым при случае и его искренняя страсть к науке делала его красноречивым, когда речь касалась любимых его предметов — истории и древностей России. В свое время, когда ученость ограничивалась большим скоплением книжных сведений, он был одним из ученых между сверстниками и отличался между ними рассудительностью и критическим взглядом, который обратился у него, наконец, в скептицизм. Он радушно встретил Николая Алексеевича, приветливо сказал ему, что не думал найти в сочинителе полученных им статей такого молодого человека и, еще менее, не записного ученого, а купца. Н. А. выражал ему глубокое уважение, просил руководства его в ученых занятиях и, повидимому, так привлек к себе старика своим пылким, образованным умом, что он скоро стал принимать его, как искреннего приятеля. На вопрос молодого приятеля: чем заниматься ему для укрепления своего образования, Каченовский решительно и, думаю, искренно отвечал, что важнее, необходимее всего — заняться древними языками, особливо греческим, без которого, как полагал он, нельзя основательно разрабатывать русской истории, привлекшей к себе Николая Алексеевича после первых его попыток в ней и одобренных Каченовским суждений о разных подробностях ее. Для усовершенствования себя в слоге русском Каченовский советовал брату писать, переводить для «Вестника Европы». Я уверен, что и в этом совете было не эгоистическое побуждение журналиста, а прямое желание добра молодому писателю, в котором он видел дарование. Ничто не дает такой опытности в авторском деле, как журнальная работа: почти все лучшие писатели нового времени, наши и иностранные, образовались сотрудничеством или работой в журналах.

С восхищением писал мне обо всем этом Н. А., и вполне последовал совету Каченовского. Греческие словари, грамматики, учебники не сходили с его столика, а сочинения и переводы его стали являться в каждой книжке «Вестника Европы». Там напечатано, между прочим, несколько стихотворений его, множество шарад,

анаграмм, омонимов, логогрифов, ничтожных гремушек стихотворных, которые были тогда в моде. Легкость, с какою вообще писал стихи Н. А., была причиной, что он доставлял десятками эти вздоры Каченовскому и они красовались в каждой книжке ученого и литературного журнала. Я писал, наконец, брату, что пора ему быть умереннее в этом роде сочинений, и что он становится в ряд поставщикам шарад и логогрифов, над которыми мы смеялись еще в Курске. Были даже своего рода знаменитости в этом роде, которые ничего иного не печатали. Один какой-то господин Варлаков, из Тобольска, особенно был неумолим и утешал нас затейливостью своих выдумок. Его имя беспрестанно встречалось на страницах журналов. «Благонамеренный», журнал А. Е. Измайлова, сделался чуть не специальностью этого рода сочинений, как сказали бы в наше время, когда, заботясь об оригинальности, искажают язык. Но, вспоминая о тогдашней эпохе, нельзя не удивляться, как легко приобреталась литературная известность и за какие подвиги называли тогда поэтом! Писака, поместивший несколько статей в журналах, или стихотворец, издавший книжечку своих вдохновений, заимствованных у Делиля и Бернара, приобретал название писателя, если только мало-мало был смысл и чистенький язык в его писани. Большая часть тогдашних мелких словесников были в этом роде. Правда, что тогда еще не достигли такого совершенства, как в наше время, когда почитают себя литераторами и делаются журналистами люди, о которых трудно сказать, что они знают грамоте. Наименование поэта давалось за несколько стишков, о которых снисходительно отзывался журналист или какой либо известный писатель.

При таком направлении литературы неудивительно, что брат мой увлекся сотрудничеством в «Вестнике Европы» и печатал там всякий вздор, недостойный упоминания. Любопытные могут найти имя его под многими статьями и стихотворениями «Вестника Европы» 1820 года, а что напечатано там без имени его, о том и сам он не вспомнил бы. Но постоянное сотрудничество в «Вестнике» доставило ему некоторую известность и знакомство с литераторами. Из числа их один имел даже влияние — впрочем временное и краткое — на образ мыслей его и отчасти на некоторые отношения в жизни: это Владимир Сергеевич Филимонов (умерший в 1858 году). С необыкновенною любезностью светского человека он соединял образованность и понятия литераторов своего времени. Здесь необходимо выразиться подробнее о тогдашних литераторах относительно взгляда их на искусство. L'Art poétique Буало был для них то же, что Алкоран для мусульманина; писать стихи, то есть сочинения стихов в двадцать, называлось работою, потому что в самом деле они в поте лица работали над каждым стихом, переделывали и переправляли его, посвящали дни, недели на стихотворные безделки, и вымученные таким образом из головы

послания и элегии, оды и басни повергали их в продолжительное бездействие; но, отдохнувши полгода, год, иногда долее, они снова призывали вдохновение, то есть вновь переводили или вымучивали из себя какое нибудь стихотворение. Это не относится ни к кому лично: я говорю только, как вообще тогда понимали поэзию и как занимались литературою все, кроме немногих избранных, всегда создающих себе свой собственный кодекс и свои правила в искусстве. Разговоры о литературе ограничивались выражением безграничного удивления к французской словесности и к тому, что одобрялось и восхвалялось у Лагарпа и подобных ему теоретиков. Нельзя сказать, чтобы не мыслили, не рассуждали, но мыслили и рассуждали по указаниям французов, не имея понятия о самобытности, ни дерзновения подумать: нет ли чего поглубокомысленнее французских теорий?

В общество таких-то литераторов, с одной стороны, и в общество скептика и педанта в науке, с другой, попал брат. Одни твердили ему, что нет большего подвига, как перевести достойным образом сатиру Буало, отрывок из Делиля, модную песню французскую, или написать что нибудь в этом роде, а другой повторял, что, не читая греческих и латинских хроник, нельзя и думать об ученых исследованиях. Следуя советам Каченовского, по крайней мере, можно было притти к каким нибудь полезным, хотя отдаленным последствиям; но советы и направление толпы литературной только умельчали, усыпляли дарование и вели его прямо к уровню общей посредственности. На стороне этих господ было, однако же, общее мнение, прелесть успеха, светское легкомыслие, приправленное остроумием, насмешкой и оттого заразительное, привлекательное для молодого ума. Все они боялись учености и критического пера Каченовского, однако это не мешало им и, может быть, еще больше побуждало их, в своем кругу, подсмеиваться над учеными педантами. Николай Алексеевич, всегда увлекавшийся новостью, невольно стал отделяться от Каченовского, привлекаемый болтовнею и светским остроумием других литераторов.

Особенно сблизился брат мой с В. С. Филимоновым летом 1820 года, когда в его обществе познакомился с другом его Василием Федоровичем Тимковским, братом знаменитого ученостью профессора Романа Федоровича Тимковского и еще более известного описателя путешествия в Китай, Егора Федоровича Тимковского. Василий Федорович первоначально назначал себя также к ученому поприщу и имел к тому большие способности. Он был знаток латинской и немецкой литературы и, перешедши в службу дипломатическую, любил словесность и науки искренно. Во время последней войны России с Наполеоном, он, находясь при государственном секретаре Шишкове, стал известен как отличный деловой человек и в описываемое мной время служил по азиатскому департаменту министерства иностранных дел. Проезжая из Оренбурга,

где успешно исполнил какое-то затруднительное поручение, он остановился, на пути в Петербург, отдохнуть в Москве несколько времени. Он отличался в обществе чистым малороссийским юмором, даже говорил с сильным акцентом малороссиянина и, кажется, даже умел употреблять это как дипломат, высказывая с видом шутивого простодушия многое, чего нельзя выразить в обыкновенных формах разговора. Это же свойство ума чрезвычайно скоро сближало с ним, потому что он был и умен, и остр, и учен с какою-то беспечною веселостью. Зная чуть не наизусть Горация, он всегда кстати произносил классические его изречения и вообще любил применять к настоящему сближения из истории греческого и римского мира. Особенно бывал он любезен за бутылкой хорошего вина, за медленным обедом, а это случалось почти каждый день у Филимонова, приехавшего в Москву также отдохнуть от службы, после того как он был несколько времени вице-губернатором в Новгороде. Горациянские беседы их скоро произвели то, что Тимковский стал называть Николая Алексеевича юношею, а Филимонова Меценатом, который лелеет дарования. Много искрилось вина в бокалах, много было сказано фраз, в роде: «Юноша! не презирай ни нежные любви, ни песен: наслаждайся!» — «Не надо фалернского: дай горького!» — «Почто трепетать о жизни, для которой надобно так мало!» — «Бежит, бежит невозвратимое время!» Такие беседы продолжались и после отъезда Тимковского. Брат мой был пленен системой жизни, которую довольно заманчиво излагает Дроз в легкомысленной книге своей, имевшей большой успех и напечатанной несколько раз под заглавием: «Essai sur l'art d'être heurteux». Брат прислал мне в Курск эту книгу и советовал утешать себя в неприятностях жизни прекрасною философиею Дроза, которая вся состоит в том, что должно наслаждаться жизнью, следовательно, должно улучшать ее и себя, равнодушно глядя на окружающие нас неизбежные препятствия в достижении к эпикурейскому идеалу. Этот жалкий, чахлый отпрыск многоветвистого дерева эпикуреизма может временно одурить юный ум, и Н. А., находясь в обществе, где не только восхищались Дрозом, но и приводили в исполнение его теорию, подкрепляя ее фразами из Горация, и запивая шампанским, несколько времени разделял убеждение в превосходстве мнимой философии Дроза.

Следствием сближения его с Филимоновым было еще то, что они решились устроить в Москве водочный завод, что несомненно было выгоднее, нежели привозить водки на продажу туда из Курска. Намерение это было сообщено нашему отцу и он с охотою согласился привести его в исполнение, то есть устроить завод на общий с Филимоновым капитал. Но прежде надобно было кончить дела и расчеты завода, который был у нас в Курске, тоже в товариществе с одним богатым человеком. Это представило разные затруднения, так что не прежде половины декабря отец мой, кончив

все дела свои в Курске, но оставив там семейство, отправился в Москву и взял с собою меня.

Когда мы приехали в Москву, Н. А. вовсе не был погружен в ученость, как я воображал себе. Он много читал и я нашел у него множество новых для меня книг; но авторская его деятельность ограничивалась элегиями и мадригалами: он был по уши влюблен, что случалось с ним не раз и прежде; но в этот раз можно было подумать, что истинная страсть обладала его сердцем. В доме отца милой девицы, пленившей Николая Алексеевича, В. С. Филимонов был старый приятель, и это вскоре сделало там и брата моего искренним, близким человеком. Он рассуждал о газетных новостях со стариком-отцом, неизменным членом английского клуба, и притом офицером суворовских времен: следовательно, было о чем поговорить и легко было сблизиться с главным лицом дома, который посещал брат мой почти ежедневно. Самое общество в этом доме, разнообразное, приятное, нравилось ему, так что, невольно и незаметно для самого себя, он оставался в развлечении и бездействии: приезд наш в Москву был благодетельным противодействием такому состоянию духа. Началась вещественная деятельность по устройству завода. Остальные месяцы зимы прошли в прискании удобного помещения и в распоряжении касательно устройства и открытия завода. Это лучше всего опровергает слова Николая Алексеевича, что отец отправил его в Москву для «приготовлений» к водочному заводу. Конечно, проживши почти год в Москве, он узнал местные обстоятельства и тем способствовал отцу нашему заняться устройством завода, о котором еще и мысли не было за полгода прежде. Но сам Н. А. никогда, ни в Курске, ни в Москве, не занимался им и даже не имел необходимых для того сведений и опытности. Он способствовал кое-чему, но всегда по указаниям отца, а после смерти его, потом, и вовсе не вмешивался в распоряжения заводом, уже потому, что тогда началась настоящая литературная жизнь его. Делами вообще распоряжался сам отец наш, а потом я и другой старший брат мой, так что Николаю Алексеевичу было много досуга и он не знал, как занять его. Он выражал эту мысль в письмах к Филимонову, который, между тем, уехал на житье в Петербург. Любовь, вольное и невольное отвлечение от литературной деятельности, без которой, однако, не мог он жить, неопределенность в будущем, все это способствовало грустному расположению его души. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не представился случай к новому развлечению для него. По делам завода нашего необходимо было ходатайствовать об одном обстоятельстве в Петербурге. Н. А. отправился туда, возвратился на некоторое время в Москву и опять поехал в Петербург, так что все лето, до осени, провел он там, в самых приятных для него занятиях и развлечениях, потому что дело, бывшее поводом к его поездке, требовало только наблюдения, очень нехлопотливого. Он жил, большею частью, у Филимонова, или, по крайней мере, всегда был в его

обществе, и имел разные случаи познакомиться с некоторыми литераторами. Кажется, больше всех оказывал ему приятное расположение Павел Петрович Свиньин. Это был плохой литератор, но бесценный человек ловкостью, находчивостью, услужливостью, готовый обязывать во всех мелочах. Он не мог быть, да и не почитал себя меценатом; но, имея обширные связи и бесчисленные знакомства, мог быть полезен для тех, кто нуждался в средствах для деятельности артистической или литературной. Неподдельною страстью в нем было отыскивать все замечательно русское, в том числе и русские дарования; но так как он не обладал ни достаточною образованностью, ни проницательностью для этого, то часто впадал в смешные ошибки, поощрял бездарность, наживал себе врагов в людях неблагодарных и, впоследствии, сделался предметом злых насмешек, отчего само покровительство его было непривлекательно. Он чрезвычайно обласкал Николая Алексеевича, но не думаю, чтобы видел в нем кулика-самоучку (как упоминает Н. А. в предисловии к «Очеркам»). В нем было столько сметливости, что, раз побеседовав с таким необыкновенным человеком, как Н. А., он, конечно, увидел в нем не самоучку-простолоудина. П. П. Свиньин всегда смирялся перед его разностороннею образованностью и писательским дарованием. Он пригласил его участвовать в своем журнале «Отечественные Записки» (от которого произошел журнал, издающийся ныне¹ под тем же заглавием), и вызвался со своей стороны оказывать всякие услуги. Но брату моему надобно было в это время спешить в Москву, к отцу, подвергшемуся тяжкой болезни, которая уже и не оставляла его до самой смерти.

Тяжелый был для нас этот год!.. Кроме разных неприятностей по делам, отец наш, которого мы столько же любили, сколько уважали, неизменный герой умом и здоровьем, вдруг очутился на краю гроба от внезапного недуга. Лучшие медики не понимали, что это была за болезнь, и оттого долго не могли даже облегчить его страданий, которые так истощали его силы, что когда Н. А., по приезде из Петербурга, взглянул на него, — он окаменел и не мог выговорить ни слова, покуда не выплакался в другой комнате. Горе наше несколько утихло, когда почтенный родитель наш почувствовал облегчение от своей тяжкой болезни и даже стал опять думать о делах. Зимой 1821—1822 года, Н. А. ездил в Екатеринбургскую губернию (по просьбе В. Ф. Филимонова, у которого происходил там раздел имения), пробыл несколько времени в Курске, у матери нашей, с которою давно не видался; ездил опять в Петербург, и когда возвратился оттуда, отец наш, видя, что болезнь не оставляет его, подозревая, может быть, что она смертельна, поручил Николаю Алексеевичу продолжение заведенного им дела, а сам отправился в Курск, ласкаясь надеждою, что совер-

¹ Писано в конце 50-х годов. — К. П. (?).

шенное спокойствие, тихая семейная жизнь и благорастворенный климат родины помогут ему лучше медицины. Но дни его были уже изочтены...

Мы проводили его до Поклонной горы и с грустным чувством возвратились домой. Известия из Курска были попеременно то тревожные, то успокоительные. Летом, после одного письма от матери, Н. А. поскакал в Курск; но именно в это время отцу нашему стало лучше, так что, когда, после нескольких дней, проведенных в семье, брат отправился обратно в Москву, отец наш, вместе с другими, вышел на крыльцо провожать его и благословляя прибавил: «А вскоре, бог даст, и я к вам приеду». Успокоенный таким образом, возвратился Н. А. в Москву, и там-то началась его истинная литературная деятельность.

Я уже объяснял, что завод наш не требовал с его стороны почти никаких забот. Совершенно располагая своим временем, он занялся окончательным обработыванием своей системы спряжений русских глаголов, углубился в исследование разных вопросов русской истории, переводил стихами Мольерова «Тартюфа», писал статьи для одного сборника, который издавал книгопродавец Ширяев, старинный приятель его, и участвовал в журнале Свинына. Занятиям его русской историей способствовало еще одно обстоятельство, которое не осталось без последствий и потому должно быть изложено мною с некоторыми подробностями.

Летом 1822 года проезжал через Москву В. Ф. Тимковский, отправившийся на службу в Грузию. Приязнь его с Николаем Алексеевичем укрепилась в предшествовавшем году, когда брат мой провел почти все лето в Петербурге и был неразлучен с Филимоновым и Тимковским. Отправляясь в дальний путь и на многие годы, Тимковский остановился в Москве, между прочим, для того, чтобы принять оставшуюся после смерти брата его, Романа Федоровича, библиотеку, — небольшую, но составленную из отборных ученых книг, почти исключительно относившихся к древним литературам и к русской истории. Он просил брата моего взять эту библиотеку к себе и хранить ее до его востребования, предоставляя ему между тем пользоваться ею. Можно ли было сделать большее одолжение человеку, жаждавшему учености всякого рода! Для него любопытно было видеть даже то, какими пособиями руководствовался один из лучших знатоков русской истории. Когда была перевезена к нам библиотека Тимковского, состоявшая сотен из двух томов, брат, можно сказать, впился в нее. Множество мыслей рождалось в нем при чтении всякой новой книги. Спешу заметить, что в библиотеке Тимковского не было ничего редкого, необыкновенного; но для брата моего было достаточно и этого ученого богатства: он перечитал, пересмотрел все важнейшее, что представляла тогда литература русской истории. Это повело его к разным изысканиям и оригинальным идеям, какие всегда рождались в го-

лове его при занятии новым предметом. Самое слово: археология было впервые применено им и лишь впоследствии употреблено П. М. Строевым и утвердилось в нашем ученом языке.

Тимковский поручил также вниманию Николая Алексеевича двух своих племянников, воспитывавшихся в Московском университете на казенном содержании. Одним из них был Михаил Александрович Максимович, вскоре сделавшийся в нашем доме домашним человеком, искренним приятелем. Много лет после того мы сказывали ему беззаветное гостеприимство. Увидим далее, чем кончилась эта приязнь!

К этому же времени относится знакомство Николая Алексеевича с достопамятным Зоряяном Ходаковским. В наше время софизмов и мнений, внушаемых корыстолюбием, изображают этого человека не признающим гением; я опишу его, каков он был в действительности. Происхождение его покрыто таинственностью. В «Энциклопедическом Лексиконе» даже представлена, в виде исторической загадки, двойственная его биография. Несомненно то, что он был польского происхождения и даже не знал порядочно никакого другого языка, кроме польского. По-русски он писал плохо, а говорил с сильным польским акцентом и самым простонародным наречием. Он сам рассказывал нам много раз, что, во время нашествий наполеоновых армий в Россию, он служил в корпусе Даву, был взят в плен около Москвы, но вообще не любил распространяться об этом времени своей жизни и отклонял все вопросы, как и что происходило тогда в глазах его. Казалось, ему совестно было представлять себя неприятелем русских, от которых видел он впоследствии ласку и гостеприимство. Карамзин одобрил его предположение отыскивать и описывать городки, то есть небольшие земляные насыпи известной формы, разбросанные на великих пространствах России и, как полагал Ходаковский, означающие древнейшее местопребывание славян, так что по ним думал он определить пространство, которое занимали славяне, а из сохранившихся названий городков вывести некоторые филологические и исторические заключения. Огласивши в журналах свой проект и получив денежное пособие от нашего правительства, Ходаковский начал свои исследования с Новгородской губернии, но в два года не сделал ничего и ему прекратили выдачу назначенной на путешествие суммы. Он кое-как добрался до Москвы и был в затруднительном положении. Не только продолжать свое фантастическое путешествие, но и жить было ему нечем. Оправдать возбужденных им надежд он не мог и в разговорах давал разуметь, что правительство перестало давать пособие для ученых трудов его по интриге Карамзина, будто бы ненавидевшего его за некоторые критические заметки на «Историю государства Российского». Знакомые равнодушно выслушивали многоречивые его разглагольствования, но со свойственным русскому человеку радушием оказывали ему гостеприимство и пособие.

Надобно сказать, что личные потребности Ходаковского были чрезвычайно умеренны. Всегдашний костюм его составляли: серая куртка и серые шаровары, а на голове что-то вроде суконного колпака. В таком костюме являлся он всюду и обращал на себя внимание солдатскою откровенностью, близкою к грубости. Всех дам, без различия с простолюдинками, называл он «матушка», всех мужчин «батюшко». Пришедши в гости, он обыкновенно оставался до тех пор, когда надобно было ложиться спать. Особенно мил бывал он с людьми, отличавшимися изысканным костюмом и светскими манерами и называл их в глаза «фанфаронами». Но никто не сердился на него за выражения и обращение, которые другому бы стоили дуэли: на такую ногу умел он поставить себя, что на него смотрели, как на Диогена. Смешно было бы вызвать на дуэль Диогена! . . . Одному остроумцу сказал он, прислушавшись к его рассказу о разных успехах в свете:

— Не верю я вам: вы, видно, любите говорить чепуху.

Другому молодому человеку, замечательному носом с горбом, он сказал, увидевши его больным:

— Умрите вы: мне вас не жаль; но жаль только вашего итальянского носа, каких я мало видел в России.

Таков был он по наружности, таков и умом, и образованностью. Дерзкий циник, он бранил всех и не смущался от своего невежества. Не зная ни одного иностранного языка, не имея понятия о необходимой для историка учености, он, однако же, иногда довольно метко и пронзительно критиковал Карамзина и открывал смысл в событиях, затруднявших других исследователей. Он почти ничего не читал и у него не было никаких книг, кроме нескольких, самых обыкновенных польских, засаленных, как он сам. Пять, шесть разрозненных томов истории Карамзина были у него исписаны заметками, иногда самыми циническими. Драгоценностью своею почитал он карту России, на которой были означены открытые им городки, или имена, напоминающие городки. Почти во всяком разговоре он склонял речь на этот предмет и объяснял, что в России множество мест и урочищ носят названия, которые скороговоркой произносил он неизменно: «город, городок, городец, городня, городище». «Да, кроме того («б а т ю ш к о» или «м а т у ш к а», — прибавлял он), где есть названия от б а б ы, от б е р е з ы, от д и д а (и еще следовало исчисление нескольких имен), верно там есть или было городище». С такой речью обращался он ко всякому, кого встречал, особливо в первый раз. Например, Зориян (как мы называли его) сидит у нас, и вдруг приезжает знакомое семейство, дама с сыном и двумя дочерьми. Давши им поосмотреться и сам вслушавшись в разговор, он, в неизменном своем костюме, подсаживается к сыну и говорит:

— Вы, батюшко, из Тульской губернии?

— Да, — отвечает молодой человек,

-- А какого уезда, батюшко?

— Белевского.

— А слышали вы там, батюшко, про городища?

Молодой человек глядит на него в недоумении; Зорян начинает объяснять, что значит городище, расспрашивает о местности, известной тому и утверждает, что тут непременно должно быть городище. Допросивши сына, он приближается к матери и почти в тех же выражениях делает допрос ей; наконец, обращается и к дочерям с вступлением нового рода, удивительно любезным, как он полагал: — Вы, баришни, уроженки Тульской губернии, земли вятичей! Вы, верно, любили гулять по рощам и лесам и знаете речку, которая, вот недалеко от вашей деревни, круто поворачивает влево; тут верно есть холмик и вокруг него вал!

Иногда он, точно, добывался, таким образом, желанных сведений, изумлял знанием местностей, которых он никогда не видывал, и, услышав о новом городке, вносил его в свой алфавитный список городков и отмечал на карте. В этом состояло все его занятие в Москве. Он обращался с расспросами ко всякому, нарочно ходил на Болотный рынок, куда съезжаются обозы с разными припасами из ближайших губерний и умел выпрашивать у русских мужичков о городках. С ним случались даже пресмешные истории. Однажды, он разговорился с мужиками, стоявшими при господском обозе, и заметив, что они не очень поддаются на его расспросы, пригласил нескольких из них в трактир, где, при помощи водки и чаю, распаял их сердца и выпросил, что было ему нужно. Продолжая разговаривать, воротился он с ними к их обозу, где уже был приказчик, заведывавший этим обозом и уже знавший, что какой-то барин увел нескольких мужиков в трактир. Зорян с жаром расспрашивал их о всех малейших подробностях знакомой им местности. Вдруг приказчик хватает его за ворот, громко восклицая:

— Пойдем-ка, брат, на съезжую! Вишь, барин, в кургузой куртке!.. Не первый ты подсыльный от таких-то.

Тут он назвал соседних помещиков, с которыми господин его вел нескончаемый процесс за те самые земли, о которых расспрашивал Зорян. Ошеломленный таким неожиданным нападением, Ходаковский хотел объяснить, для чего он расспрашивал мужиков, повторяя, что он ученый; но приказчик тащил его на съезжую, приговаривая:

— Ученый! А вот мы тебя выучим!.. Станет ли добрый человек шпионить у мужиков, да водить их пьянствовать в трактир!.. Барин! В мороз ходит по рынку в кургузом кафтане, да мужиков подговаривает! На съезжей скажешь всю правду!

И он действительно привел его на съезжую, где объяснилось дело и где уже знали Ходаковского, потому что это приключение было повторением двух-трех прежних, когда также принимали его, то за вора, то за шпиона, и таскали на съезжую. Такому подозре-

нию способствовали его странный вид, его костюм и нерусский выговор.

Надобно согласиться, что такой способ собирать исторические сведения и подробности не представлял никакого ручательства: многое, если не все, надлежало бы поверить личным обозрением. Но Ходаковский был очень доволен своим успехом в розысканиях о городках и, приходя к нам часто, почти каждый раз начинал речь словами: — Открывается много нового!

А новое состояло в том, что он расспрашивал какуюнибудь старуху, какогонибудь мужика из дальней стороны, и та или тот сказали ему, что близь их деревни есть попов, или девичий, или бабий городок. Иногда происходили в глазах наших истинно-комические сцены с его расспросами. Входит в комнату человек, все ему незнакомый, и еще не успел этот человек сказать, зачем пришел, как Зорян начинал допрашивать его. Кое-как отделившись от допросчика, тот спрашивает: — Что это: помешанный, что ли?

Другие принимали его за пьяного, иные воображали, что встретились с следственным приставом; наконец, большая часть ровно ничего не понимала в словах его. . . Бесспорно, что такая страсть, имеющая хоть отдаленную целью пользу науки — почтенна; однако, по способу Ходаковского, это была самая грубая и, что хуже, смешная обработка ученого предмета, который и оставался у Ходаковского в таком грубом виде. К оправданию его можно сказать, что он не имел никаких средств заниматься иначе. Он был не приготовлен, даже не способен к ученым исследованиям, и к тому еще, как я уже сказал, находился в то время в самом стесненном положении. У кого только мог, он занимал деньги; но долго ли можно прожить займом? Продавать и нечего было. Еще с самого начала знакомства с Николаем Алексеевичем, он продал ему словарь Линде, единственную хорошую и ценную книгу свою, говоря, что она ему не нужна и даже в тягость. Потом он стал занимать у него деньги; наконец, когда сумма занятых денег возросла уже до нескольких сотен рублей, он просто выпрашивал по полумпериалу. Жалко было отказывать, но нельзя было и давать больше. Видя сам необходимость заняться чемнибудь для насущного хлеба и следуя совету искренно желавших ему добра, Ходаковский искал какойнибудь должности и, наконец, определился управляющим в имение одного помещика в Тверской губернии. Мы расстались с ним навсегда, но при отъезде он уверял, что непременно заплатит деньги, взятые в разное время у Николая Алексеевича. Остались и росписки его в этих деньгах. Кажется, еще в Москве женился он на единственной своей прислужнице, которую называл своего благодетельницей. Это обстоятельство надобно заметить, как необходимое для объяснения последствий знакомства Николая Алексеевича с Ходаковским.

Осень 1822 года была для нас грустною эпохою кончины незабвенного, добродетельного нашего родителя. Он скончался 26-го августа, при быстром кризисе болезни, так что в это время не было при нем ни одного из нас, сыновей его. Мы знали уже давно, что состояние его было трудно, однако, получая от него самого приказания оставаться в Москве, не могли предугадать, когда настанет торжественная минута вечной разлуки. Не могли знать этого и бывшие вокруг него наши сестры и наша мать. Тем прискорбнее было получить вдруг, внезапно, известие, что он скончался, и описание последних минут христианской его кончины услаждалось для нас только тем, что перед самою смертью он утешал мать нашу надеждою на своих детей, благословлял нас и повторил не раз:

— Ребята мои поддержат мое имя.

Николай Алексеевич не замедлил отправиться в Курск, сколько для утешения матери и сестер, столько же и для приведения в порядок некоторых дел и отношений скончавшегося отца. Он принял на себя оставшиеся после него долги, хотя они превышали то, во что можно было оценить все тогдашнее наше достояние. В Курске оставался Н. А. до поздней осени и старался сколько можно успокоить и обеспечить достойную любви и уважения мать нашу. Она еще не хотела переселяться в Москву и оставить свой милый дом с устроенным хозяйством, где провела несколько мирных, хотя и не совсем счастливых лет.

По возвращении в Москву, Н. А. вскоре улетел в Петербург, куда призывали его уже не дела, а литературные знакомства. В это время Российская академия наградила его большою серебряною медалью за исследование о русских глаголах; статьи его в «Отечественных Записках» также обращали на себя внимание оригинальностью взгляда, изложением и смелостью заключений. Он уже имел случай и подшибить крылья не одной литературной вороне, представлявшейся павою, если не коршуном. Некоторые заметки его касательно русской истории показывали в нем также не пошлого копуна. Этого было достаточно для известности в тогдашнем нашем литературном мире, где многие знаменитости были основаны на нескольких журнальных статейках, на сладеньких стихотворениях. Неудивительно, что предшествующий своею оригинальною известностью, ласкаемый всюду, куда являлся, он любил петербургский круг своих знакомых. Вообще, тогда было в Петербурге больше литературной жизни, нежели в Москве. После того, как оставили Москву почти все современные светила русской литературы, она стала заметно отставать от Петербурга, где, кроме прежних литературных знаменитостей, явилось несколько молодых дарований, обещающих многое и уже

заслуживших известность. Старики — ученые и литераторы — Каченовский, Мерзляков, Гаврилов, С. Н. Глинка и некоторые другие, не шли вперед, даже отставали от прежней своей деятельности и не гармонировали с новою пылкою деятельностью Погодина, на которого они глядели даже презрительно, как на выскочку, — по крайней мере, как на смельчака. Этим объясняется, почему он часто ездил в Петербург, оставался там сколько было можно и писал не для единственного тогда московского литературного журнала («Вестника Европы»). В 1823 году познакомился он с Н. И. Гречем и с Ф. В. Булгариным и был очарован их обществом, где соединялось все, что только было остроумно-литературного, современного, блестящего в сравнении с тем, что представлял московский литературный мир. Круг знакомых Николая Алексеевича был уже чрезвычайно обширен: можно сказать, что начиная от А. С. Шишкова до самых юных тогдашних сподвижников литературы, все стало известно ему лично и от всех видел он привет самый ободрительный для пылкой его души.

После этой поездки в Петербург, он вел довольно постоянную переписку со многими из петербургских литераторов, между прочим с Н. И. Гречем о русской грамматике, потому что, как писал ему г. Греч, он не находил другого, более полезного, сотрудника в деле, требующем не только сведений, но и проницательности и трудолюбия. Но это не могло продолжаться, потому, во-первых, что Н. А. не был способен посвятить много лет для одного занятия и, во-вторых, по причине, далекой от литературы: он собирался жениться.

Забыв прежнюю свою любовь, которая мучила его несколько лет, он любил уже ту, которой суждено было сделаться его женою. Все лето 1823 года плавал он в мечтах влюбленного, ездил летом странствовать по нескольким губерниям и, возвратившись в Москву, около сентября месяца, просил нашу мать, приехавшую погостить у нас, благословить его на женитьбу. Вскоре это устроилось и в октябре 1824 года Николай Алексеевич уже был женат.

Само собою разумеется, что это важное в жизни событие отвлекло его на некоторое время от литературной деятельности, но еще в 1823 году, зимою, он ездил в Петербург пожить в кругу умственной жизни, которой не находил в Москве, где, как объяснял я, почти каждый литератор и ученый жил только для себя или сближался с единомысленными ему людьми, чаще всего вне литературных отношений. Здесь кстати заметить, что Наполеоново нашествие разрушило не одни стены и здания Москвы: оно совершенно уничтожило и прежнюю жизнь ее, так что, возрождаясь, наша древняя столица принимала новый характер во всем — и даже в литературе. Прежний, блестящий круг литературный, оживленный присутствием нескольких первоклассных писателей, соединявшийся и с светским обществом, расстроился и уже не мог

образоваться вновь, особливо при увеличивавшейся притягательной силе Петербурга. Карамзин вскоре совсем переселился туда; Жуковский бывал в Москве только по временам и также переехал в Петербург; Батюшков жил за границею. Из числа прежних и новых тогдашних знаменитостей литературных, в Москве постоянно жили: Иван Иванович Дмитриев и князь Петр Андреевич Вяземский, принадлежавший к молодым литераторам. Но московские ученые и литераторы не любили сближаться ни с Дмитриевым, ни с князем Вяземским, ни друг с другом. Профессор Мерзляков, верный поклонник классицизма, занимался больше всего своими лекциями и, преподавая теорию и историю словесности, нещадно бранил романтиков и всех нововводителей; Каченовский собирался преобразовать понятия о русской истории, но ограничивался исследованиями о куньих мордках и кожаных деньгах, а в «Вестнике Европы» больше и больше увлекался в нетерпимость и язвительно отзывался о новой философии и нововведениях в литературе. Другие старики почти ничего не делали. Не могу поименовать их всех, но для примера, назову двух самых оригинальных и достопамятных: Сергея Николаевича Глинку и князя Шаликова.

Глинка!.. незабвенный, благородный, неподражаемый Сергей Глинка!.. Я много буду говорить о нем и надеюсь показать во всем блеске добра этого истинного христианина... Но в описываемое мною время Глинка был просто книгоделатель, а не литератор. Он издавал какую-то тень «Русского Вестника», не в срочное время какие-то тоненькие книжки, на которых бывало напечатано: «Русский Вестник, №№ 1, 2, 3, 4», иногда и по шести номеров в одной брошюре. Он напечатал многословную компиляцию под заглавием «Русской Истории», в нескольких томах, написанных им наскоро, напыщенно, как все, что писал он в это время. Вообще, сочинения, издаваемые им, не внушали уважения.

Князь Петр Иванович Шаликов был издавна известный фанатический последователь Карамзина. Он почитал своею славою подражать этому знаменитому писателю, но в самом деле подражал только недостаткам его, особенно сантиментальности, которую доводил до истинного комизма. Вообще, как писатель, он был славен с самой комической стороны, и с 1823 года начал издавать «Дамский Журнал», который был плох и смешон, однако, имел подписчиков.

Таковы были старые литераторы, оказывавшие хоть какую нибудь деятельность. Еще некоторые: Максим Иванович Невзоров, Владимир Васильевич Измайлов, Михаил Николаевич Макаров¹ (все бывшие тогда журналистами) или не писали вовсе ничего, или так же, как многие из молодых писателей, ограничи-

¹ В тексте изд. 1888 г. явная опечатка: М а р к о в. — Ред.

вались писанием стихов и маленьких прозаических статей, какими тогда обыкновенно составляли и поддерживали литературную известность.

В Москве существовало общество литературное, утвержденное правительством и известное под именем «Общества любителей российской словесности». Председателем и двигателем его был Антон Антонович Прокопович-Антонский, ученый старого времени, долго бывший профессором, ректором университета, начальником университетского благородного пансиона. Он отличался оригинальным умом и необыкновенною ловкостью в жизни, составил себе под старость огромное богатство какими-то неведомыми средствами, жил со всеми в ладу, но был не литератор и не написал во всю долгую свою жизнь ничего, кроме нескольких официальных речей. Он умел, однако же, придать Обществу любителей российской (не русской) словесности что-то похожее на литературную деятельность. Постоянно собирались у него члены Общества, читали свои статьи и стихи, избирали в члены свои всех знаменитых и известных писателей; но как, за исключением Дмитриева и князя Вяземского, лучшие тогдашние писатели жили не в Москве, то собрания Общества составлялись из членов наличных, а в числе их были и такие, которые иногда прочитывали чужие сочиненья, стихи, или даже стихи Пушкина и Жуковского, но сами не писали ничего, и почему были членами литературного Общества — неизвестно и теперь. Не называю никого, не желая тревожить имен людей, вероятно, почтенных; но кто подумает, что рассказываю сказку, того прошу взглянуть в печатные списки членов Общества любителей российской словесности. Там найдутся имена лиц, вовсе неизвестных в литературе. Но Общество собиралось, читало, привлекало много любителей в свои публичные собрания, и все удивлялись искусству Антонского вести дела. Только литературе было от того не легче. Это самое Общество показывало, что литература ограничивалась формами, мнимую деятельностью, пустословием, и служила больше всего самолюбию и связям, а не удовлетворяла живой потребности ума, стремлениям, изыскательности духа человеческого. Почитали литератором того, кто напечатал хоть чтонибудь. К известности, к праву входа в литературные общества, в Москве и Петербурге был известный путь, а именно вот какой. Надобно было уметь соблюдать только некоторые формы слога или стихотворства, и при этом написать что хотите — несколько стихотворений, несколько статей, добиться того, чтобы они были напечатаны в журналах или в сборниках, издававшихся разными обществами, и после этого открыт был доступ в члены литературных обществ, пробита верная дорога к литературной известности. Автора стихков начинали величать известным, или, по крайней мере, любимым нашим поэтом, а прозаика остроумным,

ученым или, по крайней мере, почтенным нашим литератором. Если стихотворец написал несколько стихов в одном роде, то его именовали, смотря по роду сочинений, фабулистом, эпиграмматистом, сатириком, лириком, поэтому что смотрели на большие сочинения — драму, поэму — как на подвиг, которому надобно посвятить всю жизнь, и даже редко осмеливались братья за сочинение трагедии или поэмы, довольствуясь более удобною славою маленького творца маленьких стихотворений. Кто подражал какомунибудь известному французскому стихотворцу второго и третьего разряда, того за отличную и долгую выслугу начинали называть нашим Шольё, Бернаром и тому подобными поэтическими именами. Иногда, за особенные смелости в подражании, решались находить у нас своих Горацийев, своих Тибуллов, Ювеналов, Марциалов и даже, — недосыгаемое совершенство! — своих Буало.

Это направление литературы особенно укоренилось в Москве. В Петербурге в это самое время явилось несколько деятельных писателей, которые тотчас привлекли к себе внимание общее. Долго «Сын Отечества» был там единственным умным, живым, во многом образцовым журналом; с 1822 года явился «Северный Архив», ученый, дельный журнал, отличавшийся литературным характером, то есть, в нем даже ученые исследования были писаны чистым языком и облечены формами литературными. В выборе статей в разных подробностях был виден характер европейской образованности. При начале журнала имя издателя его было совершенно неизвестно, но через год или два имя Ф. В. Булгарина заслужило громкую известность. Также в конце 1822 года или в начале 1823 года явился в Петербурге альманах «Полярная Звезда», замечательный тем, что он открывал собою ряд литературных сборников нового рода и оживил нашу словесность многими приятными новостями. Тут публика нашла в первый раз русские повести и рассказы, которые были не хуже современных иностранных произведений в том же роде. Самые суждения о литературе, изложенные одним из издателей, впоследствии известным под псевдонимом Марлинского, отличались если не новостью взгляда, то, по крайней мере, живостью, пылкостью и оригинальностью выражения. В стоячем болоте тогдашней нашей критики это казалось явлением необыкновенным.

В Москве не было таких блестящих явлений, но там были залоги успехов более прочных. Что в Петербурге началось практически, то в Москве зарождалось в теории, которая, на зло проклятиям и насмешкам Каченовского и Мерзлякова, нашла себе сочувствие в нескольких молодых людях, искренно стремившихся к просвещению. В Петербурге начали действовать самобытно, хотя безотчетно, по одному сознанию в своих силах — начали писать русские повести (небывалая до тех пор смелость!), начали судить

не по французской риторике; в Москве узнали, что есть философия не только французская, теория словесности не только в риторике Мармонтеля и в поэме Буало. Вот как произошло это.

В числе молодых русских ученых, путешественников за границею для усовершенствования себя в науках, с тем, чтобы потом занять профессорскую кафедру в Московском университете, был некто Михаил Григорьевич Павлов, человек с умом необыкновенным. Он готовился быть профессором сельского хозяйства, но, кажется, живши за границею, больше занимался естествознанием, познакомился в Германии с натуральною философиею Шеллинга и Окена, вывез в Москву несколько их сочинений, несколько тетрадок, где записаны были их лекции, и вскоре обратил на себя любознательное внимание молодых людей и отчаянную ненависть старых ученых. Известно, что философия Шеллинга дает взгляд на мир и все отрасли знания, совершенно противоположный взгляду опытного знания, доведенного бездарными людьми до эмпиризма. Тетрадки и книги Павлова не только распространялись между молодежью, но и приняты были ею с жаром, с восторгом, с увлечением. Многие студенты университета принялись изучать Шеллинга, Окена и их последователей. Под влиянием этого нового учения начали являться статьи даже в самом «Вестнике Европы».

Первый выступил на это поприще умный, пылкий, хотя и странный Андросов. Необходимо сказать несколько слов о нем, потому что он первый познакомил Николая Алексеевича с немецкою философиею. Это увлечет меня в отступления, но тем лучше. Я пишу не историю, не систему какой нибудь науки: желаю объяснить жизнь, ум, характер моего незабвенного брата, а для этого должен познакомить читателя с теми людьми, которые имели на него влияние. Таким образом составится галерея современных портретов, и я могу уверить только в том, что портреты будут сходны. Характеры оригинальные, мало известные, но достойные памяти, будут являться перед нами вместе с характерами людей знаменитых, которые одни никогда не выражают собою общества.

Брат мой и я были уже несколько лет знакомы с Иваном Васильевичем Поповым, одним из величайших оригиналов, каких только встречал я в жизни моей. Это был тот самый Попов, который некогда содержал университетскую типографию и книжную лавку, вместе с Люби и Гари. Памятником этого сообщества остаются на многих русских книгах начала XIX столетия слова: В университетской типографии Люби, Гария и Попова. Не знаю первоначальной жизни Попова. В 1823 году он был уже человек очень пожилой, чтобы не сказать старый, потому что никто не знал настоящего возраста его. Тщательнее всего скрывал он свои лета. В парике, краснолицый, всегда веселый, спокойный, подвижной, он ни в чем не отставал от молодых людей; но все показывало, что он, как говорится, бывал и на коне,

и под конем, прошел сквозь огонь и воды. Воспоминания его доходили до времен Новикова и старинных литераторов, с которыми он бывал в сношениях. Трудно сказать, что такое был он сам? Званием купец, по занятиям книгопродавец, типографщик, писатель, ходатай по делам, поверенный питейных откупщиков, некогда студент университета и всегда близкий знакомый многих литераторов и ученых — он был все, знал все и всех и при этом трудно сказать: что такое был он? Верно только одно, что он был самый жалкий писатель и рифмотворец, исписавший горы бумаги. Всю жизнь свою писал он беспрестанно и почти ничего не печатал из своих сочинений — к счастью читающей публики. Не показывает ли это самое человека вовсе не глупого, который сознавал себя плохим писателем, или, по крайней мере, не доверял своим силам, потому, что в то же время, знакомясь со всеми постепенно возникавшими журналистами, он истощал и лесть, и разные ухищрения, чтобы заставить их напечатать в своих изданиях чтонибудь из бесчисленных его сочинений. И никто никогда не печатал ничего, им написанного, конечно, потому, что и проза, и стихи его были... из рук вон! Только в то время, когда он заведывал «Вестником Европы», после Карамзина, в «Вестнике» и в других тогдашних изданиях напечатано было несколько его стихов и статей. Кстати скажу, что он был настоящим издателем «Вестника Европы» с самого основания этого, некогда знаменитого, журнала. Сделавшись хозяином университетской книжной лавки и типографии, он придумал очень умно: издавать журнал, где соединялась бы с литературой политика. С этою мыслью он обратился к Карамзину, который был тогда не в блестящем положении. С величайшею готовностью принял Карамзин предложения Попова быть редактором журнала за определенную плату (кажется за 2,000 рублей в год!), обдумал и составил план издания с обычным своим искусством, и предприятие оказалось так удачно, что Карамзин сам не ожидал подобного успеха. По выходе первой книжки он сказал Попову, что, по справедливости, можно увеличить плату, условленную за редакцию. «Совершенно согласен и прошу вас самих назначить прибавку», — отвечал Попов. Сколько, думаете вы, назначил, Карамзин?.. Тысячу рублей!.. Разумеется, Попов согласился беспрекословно. Карамзин был редактором «Вестника Европы» два года. После него Попов приглашал быть редакторами «Вестника Европы» Макарова, последователя Карамзина, Панкратия Сумарокова и Каченовского, к которому «Вестник» и перешел окончательно. Оставив книжную торговлю и университетскую типографию, Попов проходил разные мытарства жизни и в 1823 году, кажется, не занимался ничем исключительно, а разыгрывал роль какого-то сентиментального философа, что было чрезвычайно оригинально при его образе жизни и привычках, какие могут быть у ходатая по делам и пове-

ренного винных откупщиков. Он жил близъ тюремного замка или острога, в своем доме, где, на обширном пространстве, было несколько отдельных, самых разнообразных зданий.

В это время помещался в доме Попова, между прочим, земледельческая школа, где директором был упомянутый мною профессор Павлов, а одним из помощников его Андросов, незадолго перед тем окончивший курс в университете. Василий Андреевич¹ Андросов (умерший в 1841 году), был человек замечательный светлым умом, любовью к просвещению и оригинальностью в разговоре. Пылкость его была такова, что он занимался всем, что только может занимать ум и благородную душу; но пылкость же делалась причиной, что он был вспыльчив, увлекался, легко приходил в гнев, не договаривал слов, бормотал, прыскал слюною, когда говорил, и иногда защищал несообразности. От сообщения с Павловым он вскоре сделался отчаянным шеллингистом и, встретившись у Попова с Николаем Алексеевичем, чрезвычайно заинтересовал его, новыми тогда у нас идеями немецкой философии. Целые вечера проходили в суждениях и спорах о ней, и этого было довольно для восприимчивого моего брата. Он усвоил себе некоторые идеи трансцендентальной философии, стал читать книги, написанные в духе ее, и был уже приверженцем новых взглядов, когда судьба сблизила его со многими молодыми людьми, изучавшими немецкую философию. В настоящее время, то есть в половине XIX столетия, у нас почти нет даже и официальных литературных обществ; но в 1823 году, в Москве и в Петербурге, было их несколько и, кроме того, существовали отдельные литературные кружки. Это составлялось само собою, потому что была потребность не только в отдельном, уединенном занятии литературой, как ныне, но и в литературной беседе, то есть в сообщении друг другу своих мнений, впечатлений, изучений. Молодой любитель литературы мог избирать тот кружок, где было ему приятнее, где находил он сочувствие с собою, с своим образом мыслей и где в других встречал то же. Николай Алексеевич, сам не давая себе в том отчета, искал с в о й кружок, где было бы легко и просторно его уму, — и не находил такого круга. Сделавшись известен своими журнальными статьями и особливо рецензиями и критическими замечаниями, он был уже знаком в это время со многими известными писателями; но знакомство органичивалось, большею частью, взаимными вежливостями, а в некоторых случаях обращалось в холодность и неприязнь, единственно от различия в образе мыслей. Впоследствии, когда он сделался журналистом, это самое явилось в обширных размерах; но в описываемую мною эпоху литературные его знакомства были как бы случайными встречами в обществе. Я упомянул, что он находился уже в холодных отно-

¹ Ошибка: Андросова звали Василием Петровичем. — Ред.

шениях с Каченовским; холодность, впрочем, необходимая и неизбежная, по обстоятельствам исключительным, явилась и в отношениях его с В. С. Филимоновым; они перестали выдаваться около этого времени. Но почти все писатели, и особливо молодые люди, желали узнать необыкновенного человека, полагая, конечно, всю необыкновенность его в том, что он купец по званию и вместе писатель, почему и ожидали увидеть в нем умного мужичка, который книжки читает; они не подозревали, что он больше всех их был писатель и литератор, исключительно предавшийся литературной жизни. При первой встрече, при первом разговоре, всякий невольно забывал общественное его звание и видел в нем только необыкновенно-умного человека. Но иных это совершенно сбивало с толку и они никак не могли объяснить себе сближение слов: купец — литератор! Приведу в пример А. А. Прокоповича-Антонского. Познакомившись с моим братом у Александра Александровича Писарева, храброго генерала, плохого писателя, но страстного любителя литературы, Антонский, особливо с того времени, когда генерал Писарев был попечителем Московского университета, оказывал много участия Николаю Алексеичу и в искреннем разговоре посоветовал ему переменить звание. Все современники помнят, что Антонский имел привычку прилагать, в разговорной речи своей, частичку та ко многим словам.

— Странно-та, как-то это: купец-та, да и литератор! — сказал он Николаю Алексеичу: — вступите в службу-та.

Н. А. выразил ему ту мысль, что он не чувствует в себе расположения к службе и не хочет переменить звания, полагая, что оно не мешает ему заниматься литературой.

— Ах-та, молодые-та люди-та! — воскликнул Антонский. — Не в службе-та дело, а надобно-та чин-та, чин получить! Я возьму вас к себе в надзиратели университетского пансиона, и вот-та, время пройдет незаметно, как вы и чиновник-та! . .

Н. А. поблагодарил его за доброе желание, но остался при своих убеждениях. Почти то же, что Антонский, предлагал ему и попечитель университета Писарев: не служа, получить чин, только для виду записавшись в службу по его ведомству. Но такие предложения обыкновенно сердили Николая Алексеича и еще больше утверждали его в мнении остаться в прежнем звании, которое не казалось ему препятствием для успехов в жизни . . . Неудивительно ли, что он так худо знал нравственное направление своих современников и вообще русского общества? . . . Необыкновенно-умный человек, он был неопытный ребенок в этом случае, — невольно и со вздохом прибавляю я, конечно вместе с вами, благосклонный мой читатель! . . Дорого поплатился он потом за свое упрямство, за невнимание к совету опытности и несомненного доброжелательства.

Очень многие, если не все, рассуждали как Антонский, но, ко-

нечно, немногие высказывали это Николаю Алексеевичу. Встречались, как редкость, и такие, которым не приходило в мысль: чиновник ли, дворянин ли, или мещанин был он? Эти видели в нем только необыкновенного, даровитого человека. К числу их принадлежал князь Владимир Федорович Одоевский, который в это время познакомился с Николаем Алексеевичем и года два был с ним и со мною в самых искренних, могу сказать, дружеских отношениях. Потом сношения наши прервались, когда князь переселился в Петербург и посвятил себя другим занятиям; но и через тридцать слишком лет мы встречаемся как старые приятели, потому что князь Вл. Ф. принадлежит к небольшому числу людей, не изменяющихся от внешних отношений. Он и теперь душою своею тот же пылкий, благородный юноша, которого я помню в московском его уютном кабинете искателем истины, посвящавшим большую часть своего времени разнообразным, глубоким изучением и занятиям литературой и музыкой. Князь Одоевский издавал в это время «Мнемозину», сборник в четырех книгах, наполненных самыми разнообразными статьями и стихотворениями; но важнее всего там были неизвестные до того взгляды на философию и словесность. Приверженцы старины почитали это смелостью неопытного юноши: но в самом деле это был первый смелый удар старым теориям, нанесенный рукою неопытною, но, тем не менее, удар меткий. В основании новых мнений «Мнемозины», изложенных в некоторых отношениях ребячески, — была истина, а истина благотворна во всех видах. Многие смеялись над «Мнемозиною», другие задумывались. Литературные и ученые старожилы не понимали, откуда молодые люди берут смелость оспаривать общепринятые ученые мнения или литературные правила? Слыша, что всему этому причиной новая (как говорили тогда) немецкая философия, они проклинали Шеллинга и его книги; но это еще больше утверждало молодых людей в их мнениях. Удивительно ли, что одинаковость в мнениях и убеждениях сближала их друг с другом? Князь Одоевский и два-три человека ближайших его друзей вскоре сделались искренними знакомыми и в нашем доме. Не так ладили мы с другим издателем «Мнемозины», В. Кюхельбекером, хотя, кажется, он был еще прежде знаком с Николаем Алексеевичем. Смешная надутость и бесчисленные странности делали Кюхельбекера несносным, и еще в лицее, где воспитывался он в одно время с Пушкиным, Дельвигом и многими славными впоследствии лицами, его называли нелепым Кюхельбекером, а Пушкин писал в шуточных стихах, что ему было к ю х е л ь б е к е р н о и тошно.

VI

Поминая только о тех, с кем сближение было основано на общей любви к литературе и на одинаковом во многих отношениях образе

мыслей, я должен назвать еще одного замечательного нашего зна-
комого: это Яков Иванович Сабуров. Редко можно встретить чело-
века с таким оригинальным умом, с такою многостороннею образо-
ванностью и с такими силами души для выполнения самых благо-
родных стремлений! Сначала избалованный светским воспитанием
и легкими успехами, он слишком рано поддался тому состоянию
духа, которое выражал Байрон в своих сочинениях, покинул блестя-
щую службу лейб-гвардии в гусарском полку и несколько лет про-
жил в Москве, повидимому, в совершенной безопасности, но на самом
деле воспитывая сам себя разнообразным чтением и знакомством
с жизнью своего отечества, которого нельзя узнать в вихре петер-
бургской жизни. Он уже несколько лет был коротким приятелем
с моим братом и со мною и, не сближаясь ни с кем до истинного
дружества, был, однако ж, одним из самых близких, искренних на-
ших собеседников. Его оригинальный взгляд на все вызывал на
сопротивление остроумным его софизмам и был особенно поучи-
телен для нас, знавших мир только из книг и собственных сообра-
жений. Он по временам уезжал из Москвы, но, возвращаясь, обык-
новенно бывал у нас, и Н. А. любил передавать ему свои мечты
и надежды. Так передал он ему непременно свою мысль — изда-
вать журнал. Эта мысль давно образовывалась в уме моего брата
и он несколько не сомневался в своих силах, но только не знал,
как привести в исполнение задуманный план. Еще во время близкой
приязни с Вл. С. Филимоновым, он составлял план журнала, где
думал участвовать также один из близких наших знакомых в то
время, Василий Евграфович Вердеревский. Но они не могли согла-
ситься ни в плане, ни в направлении журнала. Вскоре общественная
жизнь развела их навсегда.¹ Было еще несколько попыток изда-
вать журнал в сообществе с другими, но они оканчивались ничем.
После многих планов, дум и раздумываний, в половине 1824 года,
брат решился испросить позволение издавать журнал от своего
имени, а сотрудником иметь одного меня. Он составил программу,
по которой в будущий журнал его могло входить все, кроме поли-
тики, — все, как выразился впоследствии один из его противников,
«начиная от бесконечно малых в математике, до петушьих гребеш-
ков в соусе и бантиков на дамских башмаках». Программу свою
отправил он при письме к министру народного просвещения, адми-
ралу Шишкову, который знал его лично и оказывал благосклон-
ность к его литературным занятиям. Никакого покровительства,
никаких заступничеств в Петербурге у брата моего не было. После
отправления письма и программы к министру мы с ним несколько
не надеялись на успех ходатайства, не заготовляли никаких мате-

¹ Больше двадцати пяти лет не встречался я с В. Е. Вердеревским. Два
года назад, в вагоне Николаевской железной дороги, нечаянно очутились мы
лицом к лицу. Мне была истинно приятна эта неожиданная встреча. — К. П.

риалов и, правду сказать, не имели настоящего понятия о том, что значит срочное издание. Нам казалось, что очень приятно будет пописывать да отдавать в печать свои юношеские сочинения; мы видели возможность сделать много прекрасного, полезного, на что не обращали внимания другие журналисты и нам в голову не приходило, что при этом понадобится много неведомой нам опытности, много терпения, и что двое мы не в силах будем наполнять две книжки в месяц срочного издания. Может быть, не все поверят даже (особливо в настоящее время!), что мы не рассчитывали ни на какие денежные выгоды от будущего издания; не думали даже о средствах к изданию и, почти в одно время с отправлением в Петербург программы журнала, занялись составлением алфавитного словаря русских писателей!.. Уже две буквы этого словаря были окончены, при усидчивой, ревностной работе,¹ когда в московском цензурном комитете было получено дозволение Н. А. Полевому издавать журнал по представленной им программе!.. Мы обрадовались, но не изумились, — таким обыкновенным, неважным делом казалось нам это, — и продолжали еще несколько времени трудиться над словарем русских писателей. Между тем слух об издании нового журнала распространился и в Москве, и в Петербурге. Неприязненные к брату моему литераторы говорили о его предприятии с насмешливою улыбкой; люди больше беспристрастные и опытные удивлялись смелости молодого, мало известного писателя.

Здесь должен я упомянуть об одном случае, который покажет, какое понятие имели о Николае Алексеевиче люди опытные и знавшие его лучше, нежели другие. Я упоминал, что Н. И. Греч был с ним в приятельских сношениях, поддерживал переписку и желал иметь его сотрудником не только в журнале, но и в грамматических своих исследованиях. В таких же отношениях с ним находился и Ф. В. Булгарин, уже громкий журналист и литератор русский, любимец почти всех тогдашних писателей петербургских, которые приняли его в самое искреннее свое сообщество, как полезного, смелого деятеля на поприще литературы, и радовались его успехам, а поэты писали к нему дружеские послания и дорожили его мнением. Брат мой, часто посещавший Петербург, познакомился с Ф. В. Булгариным и участвовал в его «Северном Архиве» помещением разных своих статей. В это время Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин предприняли издавать газету «Северная Пчела» и решились распространить и изменить план прежних своих журналов: «Сын Отечества» и «Северный Архив». Разумеется, что им нужны были дельные и сведущие сотрудники, и они, конечно, без удовольствия услышали, что Н. А. Полевой, который мог найти в их журналах

¹ Рукопись этого неоконченного труда, оставшуюся у меня, подарил я впоследствии известному нашему библиографу и библиологу С. Д. Полторацкому. — К. П.

обширное поприще для своей деятельности, вздумал сам издавать журнал. Как люди опытные в деле журналистики, они были уверены, что он затевает предприятие не по силам своим. Все это выразилось в письме Ф. В. Булгарина, приятельском, искреннем, где он убедительно советовал брату моему не начинать своего предприятия. «Чего хотите вы? — писал он ему. — Известности, деятельности? Мы предлагаем вам обширное поприще в наших изданиях. Денег? Напишите без обиняков, просто цифрами или прописью, сколько вы желаете за свои труды, и если только цифра будет не слишком велика, обещаю наперед согласие за себя и своего товарища». Исчислив потом разные затруднения, которые ожидают журналиста неопытного, г. Булгарин с уверенностью прибавлял: «Но я пишу вам все это, а, между тем, верно, уже несколько знаменитых впились в вас и не выпускают вас из рук, в приятной надежде перебраниться в новом журнале с своими недругами».

Вспоминая об этом письме, я вижу в нем искреннее и очень естественное желание сохранить себе хорошего сотрудника, и вместе прямой, добрый порыв отвлечь неопытного писателя от журнального поприща, которое грозило ему не только затруднениями, не только бесчисленными неприятностями, но — чего, конечно, никто не мог предвидеть — и несчастием на всю остальную его жизнь. Счастлив был бы брат мой, если б он послушался совета, действительно приятельского и высказанного с такою искренностью. Но этот совет произвел действие противное тому, какого, конечно, ожидал Ф. В. Булгарин, который ошибся при этом в двух отношениях. Во-первых, никто из знаменитых друзей (я сейчас объясню это слово) не побуждал Николая Алексеевича к его предпринятию; во-вторых, словами о деньгах всего скорее можно было разочаровать его: он не думал о них, предпринимая журнал единственно с фантастическою целью сделать нечто образцовое, и вообразил, что его хотят купить, заставить молчать, плясать по чужой дудке — за деньги! Письмо г. Булгарина было приятно ему только тем, что подтверждало выгодное мнение о писателе, которого так усердно желали завербовать в сотрудники себе; но оно еще больше утвердило его в намерении действовать самобытно.

Слова: знаменитые друзья, или просто знаменитые, на условном тогдашнем языке имело особенное значение и произошло вот каким образом. В 1821 году Н. И. Греч издавал «Сын Отечества» вместе с Воейковым, который теперь забыт как литератор, но достоин памяти, как лицо исключительное в некотором смысле. В молодости он был приятелем многих известных литераторов, писал довольно тяжело, но едко, зло, и стал особенно известен стихотворением: «Дом сумасшедших», куда поместил он и друзей, и недругов своих, изобразив некоторых довольно смешно. Он написал также несколько посланий, замечательных резкими личностями и современными портретами. Все остальное, писанное

им, было ниже посредственности. Но его общественные связи, особенно с тех пор, как он сделался родственником поэта Жуковского, гораздо больше, нежели авторское дарование, помогли ему к достижению разных целей. Не ужившись в Дерпте, где занимал он место профессора русской литературы, Воейков переселился в Петербург и при посредничестве друзей умел сделаться товарищем Н. И. Греча в издании «Сына Отечества». Товарищество их продолжалось не более года, но и в это время успел он наделать множество неприятностей своему товарищу! В самом деле, чудное психологическое явление представлял этот человек!.. Безобразный до невероятности, с искаженным лицом, хромой, гугнявый, плохообразованный — он имел доступ в лучшие общества, умел добиваться всего, получать все, о чем и мечтать не могут люди с обыкновенными средствами. Жуковский, А. Тургенев, многие другие литераторы и покровители просвещения, вельможи — делали для Воейкова все, единственно из уважения к необыкновенной женщине, которая была его женою...¹

Показав значение Воейкова, мне нетрудно объяснить и значение слов: знаменитые друзья. Воейков, сделавшись соиздателем «Сына Отечества», выпрашивал у Жуковского, Пушкина, князя Вяземского и других известных писателей стихотворения для печатания в журнале, где в то же время завел войну с «Вестником Европы», и когда этот журнал, на своем наречии, объявил однажды, что какой-то журнал взял на откуп всех стихотворцев, Воейков с сладкою улыбкой отвечал: «Жалеем о несчастном журнале; а мы можем похвалиться, что наши знаменитые друзья украшают наш журнал своими бесподобными сочинениями». Это произвело общий взрыв насмешек и негодования, потому что Воейкова не любили, да он же и оскорбил общее мнение, назвав своими друзьями знаменитых писателей, которые давали в журнал стихи свои не из дружбы к нему; к тому же, вместе с немногими, действительно-знаменитыми писателями, Воейков сзывал стихотворцев всякого разбора и печатал свои стихи, вовсе не знаменитые. По всем этим причинам, название знаменитых друзей и просто знаменитых стало смешным и сделалось вовсе не лестным эпитетом. Ближе всего означали этим словом писателей бездарных, или с маленьким дарованием, почислявших себя без всяких прав к литературным аристократам. Во все времена, во всякой литературе есть подобные явления.

Ни с кем из таких знаменитых писателей не был знаком Н. А., когда задумывал свой журнал. Я упоминал, что он даже не был постоянным собеседником или посетителем ни одного из невидимых литературных кружков или сообществ, которых было

¹ Более подробную характеристику Воейкова напечатал я в «Живописной Русской Библиотеке» 1859 года, по случаю ошибочной статьи о нем, помещенной в «Современнике». — К. П.

тогда в Москве несколько. Вообще, в Москве, в молодых людях юного поколения, было развито стремление к литературной жизни, но оригинальный, своеобразный взгляд отделял моего брата и от тех молодых литераторов, с которыми был он знаком. Последнюю его попытку сблизиться с одним литературным обществом было нечаянное открытие, что в этом обществе участвовал князь Вл. Ф. Одоевский, наш тогда искренний приятель. Узнав, что Н. А. не только решил издавать журнал, но и получил позволение на то, князь предложил брату моему познакомить его с своим литературным обществом, которое также хотело издавать журнал. Не лучше ли было соединиться с ним, и тем не только избежать соперничества, но и вдруг приобрести многих дельных и образованных сотрудников? Таково было благоразумное суждение князя Одоевского, с которым охотно согласился и Н. А. В самом деле, общество было составлено из отличных молодых людей, большею частью бывших соучеников князя в Университетском благородном пансионе. К несчастью, председателем этого общества был Семен Егорович Раич (Амфитеатров), посредственный стихотворец, отличавшийся множеством оригинальных сторон и в разговоре, и в обращении.

Он был родственник (едва ли не брат) скончавшегося недавно митрополита киевского Филарета, серб по происхождению. Маленький ростом, какой-то чернокожий, тщедушный, почти монах по образу жизни, он любил в стихах своих выражать наслаждения жизнью — б у я н и л в с т и х а х, как мы говаривали тогда; а в разговорах старался всегда поэтизировать, восхищался многим, что не стоило восхищения, говорил всегда нараспев, тоненьким, большим голоском, и это, в противоположности с его личностью, представляло столько истинного комизма, что при имени С. Е. Раича нельзя было не улыбаться. Впрочем, это не мешало ему искренно любить литературу, и доказательством того служит постоянство, с каким он переводил Тассов «Освобожденный Иерусалим», переводил много лет, печатал отрывки из него в журналах и, несмотря на многие насмешки современников, окончил и издал свой долголетний труд. Он также перевел, еще прежде, Вергилиевы «Георгики», и во всю жизнь свою писал в стихах о наслаждениях жизнью или о грусти сердца. Неудивительно, что такой человек придал смешной характер литературному обществу молодых людей, избравших его своим председателем. Общество постоянно собиралось в назначенные дни, имело, кроме председателя, секретаря, который вел протоколы заседаний, читало в своих собраниях стихи и прозаические статейки членов, словом, по-детски подражало официальному Обществу российской словесности, собиравшемуся у Антонского.

Вся эта комедия не понравилась брату моему с первого взгляда; однако, он имел терпение несколько раз являться в собрания Общества, куда был принят членом. Молодые члены уважали

Раича, как бывшего своего наставника в пансионе; но этого похвального чувства не могло быть в человеке, знавшем в руководителе их только посредственного стихотворца и сладенького любителя классических гремушек. Случилась еще одна комическая сцена в последнем собрании, где присутствовал Н. А. Помню, что, возвратившись оттуда, он хохотал и говорил, что не станет больше ездить в Общество, которому остроумный С. А. Соболевский, бывший в сношениях со всею образованною молодежью, придавал уморительные эпитеты, со смехом повторявшиеся самими членами Общества.¹ Князь Одоевский увидел, что с этим Обществом нельзя издавать журнала, хотя, повторяю, членами его были образованные, отличные молодые люди. Решили прекратить сношения с Обществом, и князь обещал участвовать в нашем журнале отдельно, лично от себя. Не знаю, долго ли еще существовало литературное Общество Раича; кажется, оно само собой и разошлось в это время. Некоторые сочлены его основали, года через два, «Московский Вестник», о котором я должен будет говорить в свое время. Но теперь, через тридцать слишком лет, протекших с тех пор, кажется, можно, не нарушая никаких отношений, назвать некоторых членов, и читатель удивится, что в числе их были; знаменитый ныне автор «Писем о богослужении» А. Н. Муравьев; Вл. Павл. Титов, бывший потом послом в Константинополе и уполномоченным на венских конференциях; Степан Петрович Шевырев, писатель и бывший профессор Московского университета; Дм. Петр. Ознобишин, занимавшийся восточными языками; стихотворец и писатель, помещавший статьи свои в журналах под псевдонимом Делюрадера; Рожалин, умерший в молодых летах, памятный умом и ученостью, друг Веневитинова, и несколько других замечательных по разным отношениям людей. Но тогда все они были молоды, раздражительны, самоуверены (как обыкновенно молодые люди) и, возбуждаемые пылким и самолюбивым своим товарищем Александром Писаревым, не только не сблизились с Николаем Алексеевичем, но, после неудачного знакомства в Обществе Раича, легко и, может быть, сами не зная как, сделались его неприятелями.

Назвав А. И. Писарева (умершего через несколько лет потом), я должен объяснить причину неприязни его к моему брату. Писарев был наделен от бога блестящим стихотворным дарованием и с малолетства почти экспромтом писал легкие и звучные стихи. Можно представить себе, как это удивляло и восхищало его товарищей и наставников в то время, когда гладкие стихи доставались тяжким трудом даже знаменитым писателям. Еще в Университетском благородном пансионе, где Писарев воспитывался, он был любим-

¹ Живший в это время в Москве, В. Кюхельбекер, соиздатель «Мнемузины», составил пародию известной детской песни: «Чижик, чижик, где ты был?» — «Раич, Раич, где ты был?». — К. П.

цем Антонского (директора пансиона и профессора, о котором говорено выше), читывал свои стихи в публичных собраниях Общества любителей российской словесности, которое печатало их в своих «Трудах», и между сверстниками славился рукописными сатирами и эпиграммами. Он писал много стихов, нападал своими насмешками на всех и на все, не щадил тех, кого должен был любить и уважать: есть несколько эпиграмм его на А. А. Антонского и на многих товарищей пансионских. Жалею, что не сохранилась его пародия на «Певца в стане русских воинов», где героями представил он московских ученых и литераторов, как Батюшков в своей пародии членов Беседы любителей русского слова. У меня остались в памяти немногие стихи, которые могут показать, сколько было остроты и силы в насмешках Писарева. Вот окончательные стихи куплета, где говорится о Каченовском:

. Каченовский!
Обруган он во всех листках,
И все кричат: таковский!

О другом ученом, который славился тем, что занимался в сем и науками и искусствами, Писарев говорит:

В профессорской отваге,
У Канта он учился петь,
А логике у Флагге.

Флагге был известный тогда в Москве танцевальный учитель, и характеристика ученого, который у танцмейстера учится логике, а у философа Канта пению, — очень оригинальна. Но лучшим портретом в этой галерее была характеристика Василия Львовича Пушкина, добрейшего, светского человека и приятного стихотворца, автора остроумного стихотворения «Опасный сосед». Он славился притом детским простодушием и страстью читать свои и чужие стихи. Камердинер его и вместе дядька и даже библиотекарь, Романыч, был известен всем знакомым Василия Львовича. Представляя смерть барина его, Писарев так заключает куплет:

«О, горе!» верный тем стихам,
Романыч возвещает:
«Отыде барин к праотцам,
И больше не читает!»

Захваленный прежде зрелости своего дарования, самолюбивый и болезненно-раздражительный от природы, Писарев с изумлением увидел, что Н. А. Полевой, писавши в «Отечественных Записках» об одном заседании Общества любителей российской словесности, упомянул, что, между прочим, там читал свое стихотворение А. И. Писарев, и кстати заметил, что этот молодой стихотворец, с несомненным дарованием, идет ложным путем, заботится только о звон-

ких стихах, не имеет определенного характера и не выражает ничего поэтически. Одного этого замечания довольно было для раздражительного Писарева: он возненавидел Н. А. Полевого и до конца жизни своей колот и бранил его где только мог, как увидим далее. При таком расположении, он восстал против соединения Раичева общества с ненавистным ему Полевым и, конечно, способствовал удалению от него многих своих товарищей. Только благородный и самобытный князь Одоевский не обращал внимания на возгласы самолюбия и остался с нами в прежних отношениях после неудачной попытки сблизить Николая Алексеевича с Обществом Раича.

Чрезвычайно важно было для будущности нашего журнала и для отношений Николая Алексеевича знакомство и сближение его с князем Петром Андреевичем Вяземским. Надобно при этом объяснить тогдашние литературные отношения самого князя Вяземского.

До 1824 года он пользовался литературною славою почти наравне с Жуковским и Пушкиным. Называя этих истинных поэтов, обыкновенно прибавляли: «и князь Вяземский», как прежде писали: «Ломоносов и Сумароков», хотя между этими писателями не могло быть никакого сравнения. Князь Вяземский, родственник и почти воспитанник Карамзина, друг Жуковского, Батюшкова, И. И. Дмитриева и всех литераторов их круга, богатый, блестящий светский человек, начал свое литературное поприще так же счастливо, как и поприще общественной жизни. Он писал и помещал стихотворения в журналах с самых юных лет своих, напечатал биографические очерки Державина, Озерова, Дмитриева, и за все это справедливо пользовался, особливо в своем кругу, славою писателя необыкновенного. Я сказал: в своем кругу, и должен прибавить в пояснение, что князь Вяземский не был в университете или каком-нибудь высшем учебном заведении, учился свободно, независимо, и с самых молодых лет был уже в службе и в свете. Первые годы службы обещали ему самую блистательную будущность; но вдруг судьба его изменилась и он должен был не только оставить службу, отказаться от всех призраков честолюбия, но и жить в Москве, в положении довольно зависимом от внешних обстоятельств. Для людей с необыкновенным умом и сильною душою, это положение — самое выгодное для нравственной деятельности. Может быть, пожалев только о нескольких годах, потерянных для призраков, князь Вяземский посвятил себя кабинетным занятиям и удовольствиям образованной жизни. Ум его был обогащен знанием людей и света, душа воспитана благородными, возвышенными стремлениями, и оттого все, что писал он, носило на себе отпечаток силы и глубокого чувства, а выражение его отличалось необыкновенною оригинальностью, и вот что нравилось в нем, вот что привлекало к нему всех людей непредубежденных, особливо

тех, у которых были одинаковые с ним стремления и направления. Этого не могли понять педанты и рутинисты; они видели в князе Вяземском только светского человека, осмеливающегося быть писателем без ученого диплома и критиком без знания латинского языка и схоластических преданий. Но они долго не смели нападать на него, опасаясь и его авторитета, и острого его пера. Между тем, друзья его, может быть, смешивая в нем отличного, возвышенного чувствованиями, любезного, остроумного светского человека с писателем, хвалили его безусловно, как поэта и как лучшего русского критика. Безусловные хвалы необходимо усыпляют дарование и придают ему самоуверенность, легко переходящую в небрежность. Бывает и то, что люди, не одаренные всемогущим гением, но убаюканные похвалами людей своего круга, смело предпринимая труды не по силам. Нечто в этом роде случилось с князем Вяземским. Рассерженный привязчивыми и пустыми замечаниям Каченовского на «Историю государства Российского», он напечатал в 1821 году «Послание к Каченовскому», где язвительно и беспощадно разбил завистливого зоиля. Послание это написано так ловко, что из него нельзя вытолковать никакой личности, почему оно и было напечатано. Но все поняли, кого изобразил князь Вяземский, и желчный Каченовский сделался непримиримым его противником. Он выставил против него целую фалангу своих приверженцев, которые начали в «Вестнике Европы» нападать на князя Вяземского. Прежде всего они показали, что в «Послании к Каченовскому» есть стихи, буквально переведенные из Вольтера; они педантически разбирали каждое слово и неуважительно отзывались о даровании противника-поэта. Как человек умный, князь Вяземский не обращал внимания ни на критические стрелы их, ни на послание к Ульминскому и подобные произведения топорной работы, которые привлекали насмешки на его противников. Но партия «Вестника Европы» не пропускала ни малейшего случая кольнуть остроумного поэта. К особенному ее счастью, князь Вяземский, приняв на себя в Москве издание «Бахчисарайского фонтана» Пушкина, поместил впереди его «Разговор классика с издателем», где, рассуждая о классицизме и романтизме, предмете и теперь еще не совершенно поясненном, высказал несколько мнений и пояснений, которые легко было опровергнуть. Возрадовались и возвеселились сотрудники «Вестника Европы»! Они ухватились за легкую добычу, и особенное рвение показал при этом М. А. Дмитриев, почитавший себя поэтом и великим критиком. Князь Вяземский неосторожно вдался в спор, начал печатать возражения в «Дамском Журнале» князя Шаликова (потому что не было другого приятного ему журнала), и этим дал новую пищу своим противникам. В «Литературных Листках» Ф. В. Булгарина отозвалась эта полемика также не совсем благоприятно для князя Вяземского и окончилась объ-

яснением со стороны Пушкина, напечатанным в «Сыне Отечества» (1824 г., № XVIII), где в заключение поэт сказал: «Автор очень рад, что имеет случай благодарить кн. Вяземского за прекрасный его подарок. «Разговор между Издацелем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» писан более для Европы вообще, чем исключительно для России, где противники романтизма слишком слабы и незаметны и не стоят столь блистательного отражения». И после этого, полемика со стороны «Вестника Европы» затихла не скоро и сопровождалась эпиграммами, разными заметками и насмешками. Противники князя Вяземского торжествовали победу и долго еще посылали запоздалые выстрелы на опустелое поле сражения.

Если рассмотреть теперь эти споры, эту схватку страстей и самолюбия, то прежде всего увидим, что спорили о посторонних предметах, а не о романтизме и классицизме, которые меньше всего были понятны обоим спорившим сторонам. Следствием таких споров обыкновенно бывает раздражение самолюбия, потому что наговорят друг другу много неприятной правды и неправды. Противники князя Вяземского успели доказать, что он утвердительно говорит о предмете, неясном для него; но остроумие, тон хорошего общества и литературное изложение оставались на его стороне во все продолжение спора, который утвердил за «Вестником Европы» только славу бранчивости и педантства.

Между тем князь Вяземский был не в дружеских отношениях и с другими журналистами. Тогда он еще не знал хорошо Воейкова и после удаления его из «Сына Отечества» не мог участвовать в журнале г. Греча, которого почитал несправедливым к гонимому, бедному Воейкову, привыкнув смотреть на этого человека, как на литератора своего круга. «Северный Архив» и «Литературные Листки» казались ему враждебными после несчастной полемики с М. А. Дмитриевым. Оставался приятным «Дамский Журнал»; но это был не литературный журнал и при дамском своем характере пользовался незавидною славой.

При таких отношениях, очень естественно, что князь Вяземский был рад появлению нового журнала в Москве и охотно вызвался быть в нем постоянным сотрудником, когда увидел в будущем издателе «Московского Телеграфа» человека умного, образованного, с совершенными понятиями, хотя мало опытного в писательстве. Он вполне разделял мнение издателя, что самым важным отделом в журнале должна быть критика, независимая, неуклонная, основанная на современных понятиях в науках и в искусстве; что мнения журнала должны давать ему характер, которого не дают периодическому изданию чужие стихотворения и проза, писанные различными по понятиям людьми. Редактор, или редакторы должны давать тон и направление своему изданию. В этом был до такой степени убежден издатель «Московского Теле-

графа», что в журнале его, кроме некоторых специальных критических статей и кроме немногих исключений, все разборы и суждения принадлежали ему самому и одномыслящим с ним постоянным сотрудникам. Приступая к участию в новом журнале с прямым и чистым желанием пользы и успеха в литературе, князь Вяземский не мог, однако же, защититься от невольного и неизбежного желания кольнуть, при случае, своих недругов, к чему вскоре представился не один случай. Сам издатель также не хотел стеснять себя уклончивостью там, где мог сказать чтонибудь новое, сообразное с его убеждениями, хотя бы и против уважаемых им людей. В таком направлении были написаны все критические статьи в первых книжках «Московского Телеграфа».

Из всего, что уже пересказал я об уме, характере и образовании Н. А. Полевого, читатели могут составить себе понятие, какого рода журнал мог издавать этот необыкновенный человек, своеобразный умом. В голове его были тысячи идей, новых для нашей публики, блестящих, потому что они были современны, но не вполне усвоенных им себе, и это не от чего иного, как от свойства его ума. Быстрый, неутомимый, проницательный ум его легко знакомился со всяким предметом, легко узнавал и даже усваивал его себе до известной степени, но не мог ничем заниматься долго, постоянно, не мог приобрести ученых познаний, которые образовали бы из него эрудита. Такого рода умы бывают поверхностны, когда в них нет силы и быстроты; но при этих свойствах, при быстроте и силе, они делают энциклопедическими, то есть способными вмещать в себе многие, разнородные сведения. Им вредит только то, что они беспрестанно переходят от одного предмета к другому, не могут углубиться ни в один из них и стремятся постоянно к новому, к открытию неведомых другим областей умственного мира. Эта переходчивость, это непостоянство, это стремление беспрерывно вперед — одно постоянное в них — составляет их слабость и вместе силу. Такого рода ум, только в обширнейших размерах и в других обстоятельствах, в другом направлении, был у Вольтера, о котором справедливо что-то выражение, что он все знал и все сказал, а потому и сказал все, что все знал, был способен понимать все и одарен стремлением высказывать и передавать другим все приобретаемое им самим. Точно те же свойства были в уме и даровании Н. А. Полевого. Он обладал удивительною способностью схватывать главные стороны и главные подробности предмета, занимался им с увлечением, и в быстром уме его тотчас рождались свои, новые идеи, которые спешил он выразить на бумаге, отчего, при врожденной писательской способности, и сделался энциклопедическим писателем. Как иначе определить человека, который с ранней юности пишет с равною легкостью стихами и прозою, занимается всеми отраслями литературы, истории, политики, философии, и не может не писать о том,

что кипит в уме и в душе его? Все, что сначала по-детски, потом по-юношески выражалось в его деятельности, все это повторилось в его журнальной и многосторонней писательской деятельности. Думали и даже писали, что он хвастал множеством сведений, что он хотел только пускать пыль в глаза, рассуждая о предметах, будто бы вовсе ему неизвестных. Уверенные в этом не знали Николая Алексеевича и ошибались, хотя очень естественно. В самом деле, даже смешно (это и выставляли смешным), что один и тот же человек рассуждает и пишет о русской и всеобщей грамматике, о санскритском языке, об истории всеобщей и русских летописях, о театре и о политической экономии, о промышленности и о Шекспире, о высших взглядах в науках и искусствах, о преобразованиях и успехах по всем отраслям человеческой деятельности. О чем он не писал и в чем не требовал новых успехов, в чем не упрекал застывших и заснувших лентяев и педантов! Но он действительно занимался, можно сказать, в сем, то есть таким множеством разнообразных предметов, что это касалось всего; действительно он изучал и всеобщую грамматику, и санскритский язык, и немецкую философию, и теорию искусства по современным понятиям. Нельзя исчислить всех его разнообразных трудов. При этом, он быстро усваивал себе все изучаемое и тотчас пылал желанием говорить, писать о том предмете, который занимал его и рождал новые понятия в уме, одушевляя благородным желанием делиться своими приобретениями с другими.

VII

С первых книжек «Московского Телеграфа» означился в нем тот энциклопедический характер, который вполне соответствовал преобладающему настроению ума его издателя; в первых критических статьях выразилось требование успеха по всем отраслям наук и искусств и чистое желание указывать на все новое, идти вперед.

Появление журнала, где выполнялось это с юношескою пылкостью, хотя, правду сказать, и с юношеским легкомыслием, было настоящим праздником для читающей публики. Деятельность нового журналиста была тем разительнее, что другие журналисты уже несколько лет ограничивались наполнением известного числа печатных страниц, без дельного выбора статей и без всякого направления. Да и много ли было журналистов? Каченовский? но он смотрел на свое занятие журналом как на ремесло. А. Е. Измайлов? балагурил — вскоре мы увидим, удачно ли даже балагурил? Г. Греч уже несколько лет отвлекался от своего журнала другими работами и видел необходимость изменить его. Г. Булгарин издавал журнал чисто-ученый и только в «Литературных Листках» показал свое разнообразное дарование; но оба они готовились к но-



Фронτισлис первой книжки «Московского телеграфа»

вой деятельности: соединяли и преобразовали свои журналы и прибавили к ним газету политическую и литературную; это также было отчасти причиной, что последний год своих прежних изданий они доканчивали, сберегая и материалы, и свои силы для наступавшего года. Сравнивая с этим живой и разнообразный журнал Полевого, публика обратила на него самое благосклонное внимание. Похвалы доходили до журналиста от знакомых и незнакомых, а лучшим доказательством, что новый журнал соответствовал требованиям публики, было необыкновенное в то время число подписчиков на него. Первое издание (кажется 700 экземпляров) разошлось все до выхода второй книжки; с третьей книжки «Московский Телеграф» печатался уже в числе 1200 экземпляров: успех, давно неслыханный в тогдашнем журнальном мире! В это время и брат мой увидел, что, между прочим, журнал дает порядочное денежное вознаграждение за труд — и тем ревностнее принялся работать. До тех пор, уверяю, он и не рассчитывал на доход от журнала, а радовался только обширному поприщу для своей многосторонней деятельности. Он, еще в Иркутске, ребенком, мечтавший издавать журнал, блистательно выступал на этот давно желанный им путь, еще не зная, какие терны растут на нем!.. Можно подумать, что судьба предназначила его быть журналистом и хотела, чтобы он испытал вполне важность и трудность этого призвания.

Между тем, как успех и общее одобрение поощряли его, явились неизбежные в занятиях журналиста неприятности, которые еще усиливали особенное положение Николая Алексеевича.

В обозрении русской литературы и в других критических статьях, напечатанных в первых книжках «Московского Телеграфа», издатель высказал много правды, не стесняя себя преданиями, какие господствовали в тогдашних мнениях о разных писателях. Он выражал неограниченное уважение к современным светилам нашей литературы — Дмитриеву, Карамзину, Жуковскому, Пушкину и к некоторым их последователям, отличавшимся дарованием; остальным прямо говорил он: посредственно, плохо, дурно, никуда не годится. Приговоры решительные, неуклончивые, даже резкие, были произносимы писателем, еще мало известным, не показавшим ничем собственных своих дарований. Особенно оскорбились эти литераторы, которые искусственно составили себе известность, даже что-то похожее на славу — приятельскими похвалами и общественными связями, или пользовались общею снисходительностью единственно за то, что были почтенные, добрые люди, хотя и плохие писатели. Так, например, рассердился добрый и благородный Сергей Ник. Глинка за отзыв о его «Русской истории», которую издатель «Московского Телеграфа» признавал не только плохой, но искажающей события и потому вредною для науки. Встревожились и многие другие, почтенные старички и молодые стихо-

творцы. «Это что за выскочка?» — возопили многие. «Да какое он имеет право судить о писателях, которые пользуются общим уважением? Неужели он умнее других?». Таковы обыкновенные возгласы посредственности или незаслуженной славы, когда их начинают разоблачать. Всем задетым и даже слегка затронутым казалась непостижимо дерзость журналиста, между тем, как публика тотчас выразила свое сочувствие за искренность, с какою высказывал он свои мнения, согласные с ее убеждениями. Она тотчас одобрила и полюбила журналиста, который вполне понимал и исполнял свою обязанность. С свойственным ей чутьем, публика сознавала, что журнал не лицо, и что литераторы, участвующие в нем, должны выражать мнения независимые, распространять, защищать истину. Тем больше благодарствовала она журналу, чем деятельнее, сильнее обличал он злоупотребления, укоренившиеся в литературе, чем независимее высказывал свои мысли о всех современных предметах. Она смотрела не на лицо журналиста, а на мнения журнала, которые были отголоском мнения большинства, ибо журнал может иметь успех только тогда, когда служит органом мнений, убеждений и направления публики, или, по крайней мере, образованной части ее. Счастлив журналист, если он не разделяет убеждений публики испорченной, падающей нравственно в те несчастные эпохи, когда место здравых учений заступают учения материальные, угождающие только современным страстям и увлечениям! К счастью «Московский Телеграф» начался в ту прекрасную эпоху, когда еще свежи были воспоминания о победе России над Наполеоном, то есть — блага и независимости над злом и тиранством; когда еще здравствовали и действовали почти все благородные участники этой борьбы, великой и вечно-памятной не только победою над материальною силою, но и победою возвышенных идей свободы над деспотизмом, идей независимости и достоинства человеческого, воскресших после падения Наполеона. В то же время на Западе происходила борьба романтиков с классиками и возвышенной трансцендентальной философии с грубым учением материалистов и эмпириков; падали вековые авторитеты; блистательная слава нескольких гениальных писателей обращала внимание всех на новое направление в искусстве: во всем кипела, всюду пробивалась наружу сила, жизнь, независимость!.. Знакомый с этим новым направлением, пылкий, смелый Полевой с увлечением пустился вперед новым путем, тем самым, которым следовала вся обновлявшаяся Европа. Он явился в свое время первым, истинно современным в России писателем и журнал его сделался отголоском многих, прежде неслыханных мнений. Он опирался на мнение большинства в публике: в этом заключалось его право выражать свои мнения независимо от личностей, в этом было и могущество его. Это давно составляет общепринятые убеждения в литературах образованных; но когда Н. А. Полевой начал дей-

ствовать таким образом в нашей литературе, то с ним не могли не согласиться, ни помириться люди отсталые, или те, которые пользовались запоздалыми злоупотреблениями. Они вооружились именно против лица, против самого журналиста, и знаете ли, поверите ли, если не знаете вы, читатель, на что прежде всего начали нападать? На общественное звание обвиняемого!.. Начали повторять и язвительно насмехаться, что купец сделался журналистом!.. Противникам Полевого хотелось — выходит так! — уверить публику, что надобно непременно быть чиновником, чтобы иметь ум и дарование; им казалось, может быть, что купец не может ничему научиться, не может образоваться, а тем меньше опередить других в образованности, как начал это доказывать своим примером Полевой.

Противники его, да и публика, не знали, однако же, что не все критические статьи «Московского Телеграфа» были писаны самим издателем. Особенно в первое время он, еще не вполне уверенный в своей литературной опытности, отдавал свои критические статьи на пересмотр князю Вяземскому. Некоторые, с начала до конца, были написаны князем; некоторые он переделывал почти совершенно. Так была составлена статья о «Русской Талии», изданной на 1825-й год Ф. В. Булгариным. Помню, что брат мой написал легонькую статью об этом сборнике, почти все одобряя в нем, и послал свою статью на пересмотр к князю Вяземскому. Тот возвратил ее, исписав замечаниями целый лист (своим уставным почерком, самым оригинальным, какой мне случалось видеть), и при этом прислал еще следующую записку:

«Возвращаю вам с благодарностью вашу статью о Русской Талии. Признаюсь, что мы разнимся в мнении о ней. Я накидал на бумагу главные мысли, которые служили бы основой моей рецензии, если был бы расположен теперь писать. Предоставляю их на ваше рассмотрение и произвол ваш, если хотите ими воспользоваться. Впрочем, они могут пойти во вторую статью, если хотите оставить первую; но, и оставляя ее, кажется, нужно будет обратиться вам внимание на некоторые места, замеченные мною и требующие исправления. Скажу откровенно, что ваш разбор написан слишком ленивою рукою; надобно добраться до живого и запустить руку далее: тогда доищешься истины и будет о чем поговорить. А поверхностное исчисление поверхностных погрешностей ни к чему не ведет.

Уважаю вас и зная ваш образ мыслей, не имею нужды в извинении за мою искренность: вы, верно, если и не согласитесь со мною, то на нее не подосадуете.

Примите уверение в моей совершенной преданности.

Вяземский».

Ничем нельзя было так затронуть моего брата, как намеком, что он уклоняется от обязанности журналиста. Он впустил в свой разбор все замечания князя Вяземского. Эта статья чрезвычайно раздражила многих, а едва ли не больше всех самого издателя «Талии», который вообще был недоволен тоном нового журнала. Упоминаю об этом случае, весьма важном не только в истории «Московского Телеграфа», но и в жизни Николая Алексеевича Полевого, потому что загоревшаяся после этого литературная война имела влияние на многие его отношения.

Неприятное столкновение, даже с людьми, которых мы не можем любить или уважать, — всегда прискорбно; гораздо прискорбнее оно, когда невольным образом увлекаемся в распря с теми, кто долго был в самых лучших отношениях с нами. Брат мой в то время почитал одним из приятнейших событий в жизни своей дружественное сближение свое с г. Гречем, потому что привык уважать его, дорожить его мнением еще с тех пор, когда в Курске с такою жадностью и с пользою читал «Сын Отечества», а в нем особенно критические статьи и замечания самого издателя.¹ Окончательное охлаждение Николая Алексеевича к Каченовскому наступило после литературной борьбы этого старого журналиста с «Сыном Отечества», в 1821 году, когда права современности, вкуса, литературного такта были на стороне петербургского журналиста.

Гораздо новее было знакомство и сближение моего брата с Ф. В. Булгариным; но он не мог не дорожить приятелью писателя умного, который был любимцем и почти кумиром самых блестящих петербургских литераторов. Ф. Н. Глинка, Гнедич, Баратынский писали к нему поэтические послания; издатели «Полярной Звезды» были искренними его приятелями; а плохие писатели не любили и бранили его, что также признак хорошего.

После этого объяснения, читатель поверит, что издатель «Московского Телеграфа» не думал и не желал входить в распря с двумя литераторами, которых мнение было ему дорого.

По выходе первой книжки «Московского Телеграфа» в «Северной Пчеле» явился намек на журналиста, который умеет составлять идеал хорошего журнала, но не умеет осуществлять его. Были и другие несомненные признаки неудовольствия «Северной

¹ Г. Греч, в кратких библиографических заметках «Сына Отечества», иногда несколькими словами умел сказать более, нежели другие много-шумными и широко-вещательными рецензиями. Остроумный Марлинский справедливо напечатал о нем (в «Полярной Звезде» 1823 года): «На пламени его критической лампы не один литературный трутень опалил себе крылья». В самом деле!.. Например, когда вышел в свет «Филоктет», в русском переводе С. Т. Аксакова, Н. И. Греч выписал заглавие его и под ним написал только полстиха подлинника:

Philoctète, est-ce vous? .. — К. П.

Пчелы» на «Московский Телеграф», где между тем была напечатана статья о «Русской Талии». Брат мой писал в то же время к Н. И. Гречу, что журнальные несогласия не должны прекращать их дружественных отношений. Г. Греч тотчас ответил, что сам желает этого, но что его товарищ сильно раздражен какими-то намеками «Московского Телеграфа» на его сочинения и еще больше замечаниями на «Горе от ума», из которого отрывок был напечатан в «Русской Талии». После этого тотчас началась журнальная перестрелка, вскоре обратившаяся в непрерывную канонаду между «Московским Телеграфом» и тремя изданиями гг. Греча и Булгарина. Никогда, ни прежде, ни после, не бывало в русских журналах подобной войны, в которой принимали участие очень многие литераторы. Заспорили о мнениях касательно разных предметов, но вскоре полемика обратилась просто во взаимные перебранки и обличения! В чем не обличали тут друг друга? Между прочим, да и большею частью, упрекали друг друга «в незнании самых пошлых, ученических мелочей!.. «На брань слово купится», — говорит русская пословица, и тут оправдалась она вполне. Перечитывая теперь эту полемику, нельзя не дивиться, откуда брали охоту и терпение спорившие!.. Но так способен был каждый из нас увлекаться.

Не думаю, чтобы эта литературная война лучших тогда периодических изданий, продолжавшаяся почти три года, была полезна русской литературе; но нет никакого сомнения, что она была чрезвычайно вредна издателю «Московского Телеграфа». Силы его были неравны с силами противника. Ратоборцами со стороны «Московского Телеграфа» были: сам издатель его и долго бывший верным союзом с ним князь Вяземский, да я. На стороне противников были все друзья Греча и Булгарина, участвовавшие и не участвовавшие в их журналах, то есть целая армия писателей, из которых многие были замечательны дарованием, остроумием или специальными сведениями, отчего стрелы их были иногда очень язвительны для «Московского Телеграфа». К даровитым противникам присоединялись и разные обиженные новым журналом писатели и стихотворцы, петербургские и московские, которым, кроме того, были настеж отверсты двери и в «Вестнике Европы», и в «Дамском Журнале», и в «Благонамеренном»! Из них также была открыта непрерывная пальба против «Московского Телеграфа», хотя и не очень опасная для него. Других журналов, собственно литературных, не было. Смирненные «Отчественные Записки» Свинына сами подвергались тяжким ударам «Пчелы» и только отталчивались. Бездушный Воейков похваливал «Московский Телеграф», но его отвратительные хвалы можно было почитать обидою, потому что он хвалил и бранил обыкновенно из какихнибудь корыстных видов и, как увидим впоследствии, сделался отчаянным поносителем «Московского Телеграфа» и его издателя. В «Вест-

нике Европы» с шумом и торжественными кликами восстали прежние противники князя Вяземского, зная, что он одушевляет «Московский Телеграф», а сам Каченовский унижался до пошлой, непозволительной брани. От лени он не мог написать ничего дельного, ни одной даже полемической статьи и ограничился площадным глумлением. Так, однажды, он напечатал в своем «Вестнике», что в Москве выкинут или поднят телеграф на храме Бахуса. В объяснение этого благородного намека надобно сказать, что в том же доме, где мы жили с братом, на заднем дворе, выходявшем на другую улицу, помещался водочный завод, наследованный нами после отца. Вот до чего доходили противники «Московского Телеграфа»!

Таким образом, выступив на защиту здравых мнений, новых понятий и ученых истин образованности, просвещения, литературы, Николай Алексеевич подвергся насмешкам, обвинениям, брань как человек. Мало того, что, подмечая каждую его ошибку, опisku, промах, выводили из этого, в самых подробных комментариях, что он не знает ни русского, ни иностранных языков, не имеет ни о чем сведений образованного человека, — мало того, что обвиняли его в хвастливом невежестве, в дерзком и неуместном желании учить всех, не зная ничего, — его обвиняли как шарлатана, как человека дурного общества, когорый всем жертвует корыстолюбивым видам. Все это писали и печатали в таком дерзком тоне, что едва ли можно отзываться подобным образом даже о человеке, недостойном и той наружной вежливости, которая всегда сохраняется в сношениях людей, сколько нибудь образованных.

Как мог обыкновенный литературный спор обратиться в такое грубое состязание? Действием взаимного самолюбия. Оно может увлечь, незаметно — и далеко. Этим невольным увлечением главных противников радостно воспользовались бездарные писатели и разные литературные фокусники и шарлатаны, которых всегда преследовал Н. А. и не переставал преследовать потом, до конца своей жизни. При обыкновенном направлении и обычном ходе журналов, всякий критический разбор предоставляется окончательному решению публики, и хотя самолюбие обиженного бывает столько же раздражено, однако молчит от боязни, что отповедь с его стороны заслужит новое осуждение, да и не найдет себе места нигде. Но тут открыт был в нескольких журналах свободный доступ всем желавшим ратовать против «Московского Телеграфа».

Знаете ли, кто раздражительнее всех на свете и кто не умеет прощать обиды? Автор, задетый в своем самолюбии. Говорю это на основании бесчисленных примеров, мною самим виденных, и вполне подтверждаю слова покойного брата моего, который очень верно выражался, не раз так рассуждая об этом предмете: «Назовите самого плохого стихотворца великим поэтом, сравните его с Пушкиным, с Байроном, — как вы думаете: поморщится он? Ни-

мало!.. Разве, из наружной скромности, но с улыбкою счастья, он возразит: «Нет, уж вы слишком... снисходительны, добры, слишком ободряете мое слабое дарование»... А в душе будет совершенно согласен с вами и не подумает сомневаться в вашей искренности. Но заметьте тому же плохому стихотворцу, что он не везде соблюдает правила версификации, не везде показывает истинное вдохновение; заметьте хвастливому компилятору, что он не во всем владеет языком (попросту: не знает грамоты русской), что он не везде верно представляет события, и что книга его мало похожа на образцовые произведения, — он придет в неистовство и, не смея выпарапать вам глаз, сделается навсегда вашим врагом, будет обвинять вас публично в пристрастии, в ненависти к дарованиям, в невежестве, в дерзости, пожалуй, даже в неблагонамеренности». И не подумайте, чтобы самолюбивые писатели были дурные сердцем или глупые люди: отнюдь нет! Это люди такие же, как все (кроме немногих исключений к лучшему или к худшему). Но если вы уверены столько же, как я, в раздражительности авторского самолюбия, то скажите: могли ли раздраженные писатели согласиться, что им говорил правду издатель «Московского Телеграфа» и могли ли они не возражать ему, не колоть, не бранить его, когда это сделалось так легко? Всякая выходка, всякая грубая, пошлая насмешка могла быть напечатана и вопли самолюбия, в другое время задушаемые осторожностью, непрерывно раздавались в петербургских и московских журналах. Кажется, истощено было все, чтобы унижить, осмеять, затоптать в грязь издателя «Московского Телеграфа».

Если так действовали против него печатно, то можно представить себе, что говорилось при том в обществе, особливо там, где имели какое нибудь значение обиженные писатели!..

Должно удивляться не буре, вызванной «Московским Телеграфом», а противодействию этого журнала подобной буре. Достоинства и сила его заключались в благородном, живом, современном направлении, и, видно, что эти достоинства были так очевидны, что, несмотря на шум противников, несмотря и на многие недостатки и частные промахи журнала, он заслужил общее одобрение. В этом сознаются теперь сами противники «Московского Телеграфа», которые еще остаются в живых. Для нас, участников в нем, общее одобрение видно было из многих личных и письменных отзывов людей, стоявших во главе общественного мнения и не имевших повода льстить издателю. После выхода первых книжек «Московского Телеграфа», знаменитый Иван Иванович Дмитриев, тогда патриарх русской литературы, написал к Николаю Алексеевичу письмо, где благодарил его за прекрасный его журнал, указывая на статьи, которые особенно ему нравились. Как бы в доказательство, что он судил беспристрастно, заслуженный поэт заметил немногие безделицы, которых, по его мне-

нию, надлежало избегать. Помню, что он указал на слова, несвойственно употребленные, а именно на слово: остроты, которое (писал он) может означать во множественном числе только вещественные или химические остроты; на слова: шотландские горы, замечая, что мы привыкли означать именем гор в только полудикие орды Кавказа. Не сужу, справедлив ли был Дмитриев, но это показывает, что он внимательно читал «Московский Телеграф» и, прибавлю, что всегда потом он оставался в приятни с Николаем Алексеевичем и дорожил его мнениями. Некоторые из молодых людей, бывшие впоследствии известными учеными или писателями, сделались решительными энтузиастами «Московского Телеграфа». Большая часть прежних литераторов выражали одобрение и желали знакомства с издателем.

Особенно приятно было Николаю Алексеевичу получить в начале лета 1825 года письмо от А. С. Пушкина, который жил тогда безвыездно в своей Псковской деревне. Пушкин писал в этом письме, что «Московский Телеграф несомненно лучший русский журнал» и что он готов, чем может, участвовать в нем. Вскоре прислал он несколько своих стихотворений и две первые свои статьи в прозе, для напечатания в «Телеграфе», так что в этом журнале русская публика познакомилась с прозой Пушкина. Одна из прозаических статей его была: «О предисловии Лемонте к французскому переводу басен Крылова»; другая о г-же Сталь, в возражение статье, напечатанной в «Сыне Отечества» Александром Михайловичем¹ Мухановым. Пушкин прислал свои статьи к издателю «Московского Телеграфа» без всякого посредничества, следовательно по личному убеждению признавал журнал его достойным своего участия. Это чрезвычайно обрадовало нас и придало сил к продолжению борьбы с бесчисленными противниками. Кстати, вот заметка для истории литературы русской. В числе присланных Пушкиным стихотворений находилось его «Ex ungue leonem». Оно не может быть понятно тем, кто не знает, по какому поводу написал его Пушкин. В первых книжках «Московского Телеграфа» были напечатаны небольшие его стихотворения, вытребованные у него князем Вяземским для нового журнала, в котором готовился он ревностно участвовать. Видно, у Пушкина не было ничего наготове и он, не желая отказать уважаемому им другу, прислал «Телегу жизни», поручив ему же переделать в ней два-три слишком выразительные стиха (она и напечатана с переделкою князя Вяземского). Пушкин прислал тогда же еще два-три маленькие стихотворения. Одно из них, напечатанное без полной подписи (кажется, по желанию самого поэта), отличалось только силою Пушкинских стихов:

¹ Ошибка: Муханова звали Александром Алексеевичем. — Ред.

Враги мои! покамест, я ни слова,
И, кажется, мой быстрый гнев угас,
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда нибудь любовь:
Не избежит пронзительных ногтей,
Как налечу нежданный, беспощадный!
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

Между тем, с «Московским Телеграфом» повторялась басня «Умиращий лев». Все породы бессильных стали нападать на него, все они почитали как за долг лягнуть его. Это очень неудачно выполнил Александр Ефимович Измайлов, издававший тогда журнал «Благонамеренный». Измайлов был, как говорят, разгульный добряк, и этот же характер выражался в его журнале. Я не знал А. Е. Измайлова лично, но знаю, что «Басни» его показывают некоторое искусство владеть русским языком, при совершенном отсутствии образованного вкуса. К несчастью, он увлекся этим постепенно до того, что злой Воейков верно изобразил характер его сочинений, говоря о Измайлове (в своем «Доме сумасшедших»):

Вот Измайлов, автор басен,
Од, посланий, эпиграмм;
Он бормочет: «Я согласен,
Я писатель не для дам;
Я люблю носы с угрями,
Хожу с музою в трактир,
Ем икру там, лук с сельдями;
Мир квартальных есть мой мир!»

Как будто в подтверждение этого, он наконец принял тон забавника, шутника, любезника в обществе людей пятнадцатого класса, как выразился о нем тот же Воейков в печатной статье. Измайлов беспрестанно шутил и гаерствовал в своем «Благонамеренном», упоминал о пеннике, о настойке, о растегайчиках, о трактире и тому подобных неблагоуханных предметах. Издавая свой журнал неисправно, он опоздал однажды слишком много выдачею книжек, и как это случилось около святой недели, то в вышедшей затем первой книжке он извинялся перед публикой своим шутливым тоном, и тут же прибавил о себе:

Как русский человек на праздниках гулял:
Забыл жену, детей, не только что журнал!

Пушкин упоминает (в своих заметках) об этой неслыханной откровенности. Он всегда с презрением отзывался о тоне сочинений А. Измайлова и даже в своем «Онегине» сказал:

Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски; право, страх!
Могу ли их себе представить
С Благонамеренным в руках?

На беду свою, «Благонамеренный», по примеру других, потому что иного повода не было, вздумал подсмеяться над «Московским Телеграфом» и выбрал предметом насмешки стихотворение Пушкина: «Враги мои» и проч. Обыкновенным своим тоном он говорил: «У сочинителя есть и когти: у, как страшно!» Пушкин, видно, вспыхнул, прочитав эту пошлую насмешку, и тотчас прилетело к нам, по почте, собственною рукою его написанное:

EX UNGUE LEONEM

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал в свет без подписи своей;
Журнальный шут о них статейку тиснул
И в свет пустил без подписи ж, злодей!
Но, что-ж? ни мне, ни площадному шуту,
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз!

Это окончательно сделало «Благонамеренный» неблагонамеренным в отношении к «Московскому Телеграфу» — по милости Пушкина.

Так начались прямые сношения Пушкина с «Московским Телеграфом». Они обещали прочное знакомство: далее увидим, отчего не могло это исполниться.

До половины 1825 года «Московский Телеграф» не отвечал на бесчисленные нападения, какими сопровождалось появление каждой его книжки. Он только неуклонно продолжал действовать по своему направлению, преследовал бездарность и обличал застой и разные злоупотребления в литературе.

Постоянных сотрудников и участников в нем было немного. Главным одушевителем редакции сделался князь Вяземский. Не умею назвать точнее участия его в «Московском Телеграфе». Он не мог поддерживать журнал одними своими статьями, хотя все, что писал он в нем, было озаменовано блестящими мыслями и оригинальным выражением. Статьи его служили украшением «Московского Телеграфа». Но гораздо больше способствовал он издателю ободрением его к той благородной деятельности, или, вернее, борьбе, на которую Николай Алексеевич выступил с пылкостью и неопытностью молодого писателя. Участие князя Вяземского придавало также авторитет журналу, в котором он являлся сотрудником, и было важно советами этого истинно европейского литератора, искренно желавшего водворить в русской журналистике взгляды и критику, достойные современного просвещения.

Но князь Вяземский участвовал в «Московском Телеграфе», как любитель-художник участвует в концерте, устроенном с доброю целью молодыми людьми, достойными ободрения.

Вся главная работа лежала на самом издателе. Он избирал

статьи, отыскивал материалы для каждой из них, с удивительным тактом открывал современность предметов для содержания каждой книжки и сам больше всех работал, то есть следил за всеми явлениями иностранной и русской литературы, находил время прочитывать все, извлекал, переводил, писал неутомимо. Неудивительно, что при этом он делал промахи и ошибался; надобно удивляться тому, как мало было промахов и ошибок при таких усиленных занятиях, и как многое было современно, живо, хорошо!.. Года через три потом, Пушкин, разговаривая со мной о знакомом уже ему издателе «Московского Телеграфа», сказал, между прочим: «Я дивлюсь, как этот человек попадает именно на то, что может быть интересно!». В самом деле, у Николая Алексеевича был удивительный дар в этом отношении; а такой дар проницательности — первое, главное качество журналиста. Читатель не останавливается на мелочных недостатках изложения, когда самый предмет увлекает его, и таким-то образом объясняется успех «Московского Телеграфа», который был первым истинным журналом в нашей литературе. Эта заслуга неоспоримо принадлежит Н. А. Полевому.

Ближайшим сотрудником его был я. Говорю это потому, что здесь нельзя не сказать того, что было. С одушевлением, усердно и ревностно трудился я во все время, покуда «Московский Телеграф» был издаваем моим братом. Как верный с самого детства товарищ его во всем, не разделявший своей жизни от его жизни, с полным убеждением, что иначе и быть не может, участвовал я во всех трудах его по журналу. Живя в одном доме, иногда работая в одной комнате, мы помогали друг другу, критиковали друг друга, заботились о совершенстве юношеских наших трудов, разделяли работы свои и нередко спорили, не соглашались даже в мнениях, потому что были различны по характеру, по некоторым убеждениям, а между тем искренно желали друг другу совершенства. Например, мне казалось тогда, что Николай Алексеевич слишком смело принимал на себя многое, не довольно заботился о совершенстве, об отделке каждого труда, не довольно обращал внимания на язык, имел некоторые пристрастия, некоторые предубеждения и, как выражался наш отец, иногда за а л е т а л з а о б л а к а . Впрочем, я покорялся его авторитету в общем направлении журнала; но занятия сами собою разделялись между нами. Я тогда с особенною ревностью старался усовершенствовать себя в знании иностранных языков, читал, изучал великих писателей; история вообще и военная в особенности была с малолетства моею страстью; теория и история искусств — также; по всем этим предметам я писал и переводил для нашего журнала. В переводах и в чтении корректуры Н. А. был всегда небрежен и охотно предоставлял их мне; впоследствии даже отдавал свои рукописи и корректуры для пересмотра, говоря при том с веселым смехом: «Ну,

что скажешь ты, glaneur? какво? худо вычитано?» Вообще, я принимал самое деятельное участие в редакции «Московского Телеграфа», хотя об этом знали только ближайшие к нам знакомые. Я не только не думал выставлять своих трудов, но, почти как Мольеров г. Журден, удивился бы, если б кто сказал мне тогда, что я занимаюсь литературой: я думал только помогать моему брату, желал только, чтобы журнал его был хорош и увлекался только трудом, не помышляя ни о каких самолюбивых целях.

Еще был один постоянный и очень полезный сотрудник в «Московском Телеграфе», хотя имя его неизвестно в литературе, и я даже не знаю, что с ним сделалось потом. Это был Авенир Иванович Красовский, тогда очень молодой человек, необыкновенно ученый, дельный и притом скромный как красная девица. Званием он был медик и хотя блестящим образом кончил курс медицинских наук, однако не занимался практикой. Кажется, у него было мало средств к существованию, а он уже был женат по любу на молоденькой женщине, необыкновенно умной, образованной, бывшей потом предметом идеальной любви поэта Мицкевича. А. И. Красовский знал древние языки и притом французский, немецкий, английский, польский — превосходно. Почти не было предмета, в котором не имел бы он основательных познаний. Такой человек был бы драгоценен для журнала, если бы притом он обладал литературным дарованием. Но А. И. Красовский, умный, сведущий и хорошо знавший русский язык, был способен только для переводов: сам он почти ничего не писал и, так сказать, не умел давать простора своему уму. Все, писанное им, выходило как-то сухо, нелитературно. У нас и до сих пор еще не совсем понимают, что не всякий умный, образованный, даже ученый человек способен быть литератором; писательское дарование не приобретается, но только совершенствуется трудом и учением. Его, как и дарование поэта, дает бог. Можно знать и усвоить себе все правила словесности, а всетаки не быть литератором. Потому-то и А. И. Красовский занимался только переводами ученых статей для «Московского Телеграфа».

К числу постоянных сотрудников «Московского Телеграфа», в первые годы его, можно причислить также Михаила Александровича Максимовича, который несколько лет писал статьи для него по своей части. Надобно объяснить, какая была его часть и кстати познакомить читателя с этим сотрудником «Московского Телеграфа», тем более, что г. Максимович долго был в самых близких, приятных сношениях с моим братом, а потом сделался неприятелем его — увидим далее каким образом.

Когда В. Ф. Тимковский поручил вниманию брата моего обоих своих племянников, учившихся в Московском университете, один из них, М. А. Максимович, начал посещать нас, показал себя скромным, трудолюбивым юношей, и вскоре сделался домашним

человеком в нашем доме, так что, наконец, проводил целые дни и иногда ночевал у нас. Это началось с 1822 года. Он был довольно оригинален своим малороссийским юмором и страстью к ботанике, которою занимался почти исключительно. Еще бывши студентом, он пописывал ботанические статейки в «Магазине Естественных Наук» Двигубского, профессора, очень значительного в университете, и любителя ботаники. Тогдашний профессор ботаники в университете Гофман, почтенный старичок в рыжем паричке, также оказывал благосклонность молодому ученику своему, конечно, за его дельные занятия общею для них наукою. В нашем кругу все близкие знакомые любили шутить с М. А. Максимовичем, даже подсмеивались над любимыми его занятиями, потому что он пресмешино рассказывал о них, иногда вставляя латинские слова в свои рассказы. Когда он был уже домашним человеком у нас, Николай Алексеевич называл его не иначе, как Dominus, а встречал обыкновенно, какую нибудь латинскою фразою. Все другие, близкие знакомые нашего круга, также называли его Dominus. Но, шутя и балагуря, юноша Dominus сделался кандидатом и потом магистром естественных наук, не переставал пописывать и, когда началось издание «Московского Телеграфа», он принял на себя составление статей по естествознанию. Это было исключительно его частью в «Московском Телеграфе», потому что в то время он и не думал заниматься словесностью собственно. Слабое зрение и незнание иностранных языков мешали ему читать; притом он был страшный лентяй и всегда казался дремлющим; но взамен всего он обладал удивительною сметливостью, умел спрашивать, слушать и, так сказать, учился из разговоров. Когда многие тогдашние молодые люди читали, изучали немецких философов, он не читал их (да и не мог читать), но слушал суждения и объяснения профессора Павлова и всей фаланги его последователей, с которыми был знаком почти со всеми. Словом, он вполне воспользовался правилом древней мудрости: «Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот собирает». Отличаясь в обхождении малороссийским простодушием, он чрезвычайно любил знакомиться с людьми, самыми противоположными по всем отношениям, и легко сближался с ними, наконец, заставляя их исполнять свои требования, даже свои прихоти, и все, смеясь, делали для него то, что он хотел. При всем наружном простодушии, он отличался необыкновенною рассудительностью, умом пронизательным, и тем окончательно привязывал к себе. Его небольшие статьи по части естествознания были очень кстати в «Московском Телеграфе», потому что в них часто выражались новые тогда идеи.

Князь В. Ф. Одоевский в начале 1825 года писал довольно деятельно музыкальные статьи и юмористические очерки для «Московского Телеграфа»; но другие занятия и разные отношения отвлекали его от постоянного сотрудничества в нашем журнале. Он

всегда, и до конца жизни Николая Алексеевича, остался верным приятель с ним, но мало писал для его журнала.

И вот я исчислял всех, кого можно было назвать больше или меньше постоянными сотрудниками «Московского Телеграфа» в первый год его существования. Иногда присылались еще к нам забеглые статьи известных литераторов, не поладивших с теми журналами, где были они сотрудниками; но таких статей было немного. Редакция могла надеяться только на собственные свои силы.

VIII

Неисчислима была толпа тех, которые писали против «Московского Телеграфа» и усиливались уронить его окончательно. Как должен был поступить в этом случае издатель?

Он не отвечал ни на одно нападение до половины 1825 года. Это было не случайностью, а следствием плана, который он составил себе и который обслуживали мы, соображая все обстоятельства.

В журнальной тактике есть два способа отделяться от нападающих. Можно не отвечать им, не отражать никаких нападений и продолжать спокойно свой труд, поддерживая и развивая свои мнения. Так действуют все солидные, уже утвердившие свою известность журналы в Европе; так действовал и у нас Карамзин, когда был журналистом. Ему нечего было опасаться мелочных нападений, когда слава его была уже утверждена прочно. В новейшее время Сенковский, издавая «Библиотеку для Чтения», также не отвечал ни на какие замечания и критические разборы, писанные против его журнала. Но ему также нечего было опасаться: он был сначала негласным редактором журнала, вскоре заслужил известность первого остроумца между русскими писателями, умел приобрести славу первостепенного ученого и не опасался большей части современных литераторов, связанных с его журналом сотрудничеством, за которое редакция платила им щедро. Это было надежным ручательством в сердечной их дружбе. Вообще, Сенковский поставил себя так, что мог с высоты своих оплотов глядеть презрительно на весь мир. Но не всегда можно победить неприятелей недоступностью своею и равнодушием к их нападениям.

Есть другая метода в журнальной тактике: отражать все нападения, отвечать на все критики и замечания, следуя примеру Д. В. Дашкова, который в споре с Шишковым, на дерзкое выражение его: «Хощеши ли сотворю ти подзатыльника?» отвечал: «И абие воздам ти сторицею!» Издатель «Московского Телеграфа» избрал эту методу к защите, не потому, что она была сходнее с воинственным, наступательным его характером, а потому, что несколько месяцев безответности с его стороны не только не усмирили, не укротили его неприятелей, но придали им какую-то уве-

ренность и, как показал я, неслыханную до тех пор дерзость. Издатель «Московского Телеграфа» только начинал свое литературное поприще и, уже в первое время существования его журнала, был, можно сказать, осыпан нападениями и обвинениями всякого рода, начиная от обыкновенных литературных противоречий до самых дерзких и нелитературных выходов. Он был не Карамзин, не прославленный ученый и профессор; он учился не в университетах, не в академиях, а в глазах тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломов ни на какое ученое звание, что так усердно старались пояснить благородные, повитые на щитах его противники. Они упрекали, кололи его званием; выводили последствия, по их мнению очень логические, что звание купца, следовательно торговца, промышленника, несовместно с литературными занятиями, и, почитая его каким-то париею среди благородных каст, на этом основании позволяли себе дерзости, каких не осмелились бы сказать другому. Наконец, издатель «Московского Телеграфа» мог опасаться, что с ним сбудется то, что Бомарше вложил в уста Дон-Базилио о клевете: «Самая пошлая, самая нелепая клевета оставляет после себя след».

«Московский Телеграф» отвечал на критики, направленные против него. Отвечать было необходимо даже для того, чтобы публика не приняла наконец безответственности издателя «Московского Телеграфа» за невольное сознание в обвинениях, взводимых на него. Но, решившись отвечать, Н. А. хотел исполнить это со всею свойственною ему энергиею, хотел не только отразить нападения, но и перейти в наступление на своих неприятелей, врубиться в густую колонну их и, как говорят военные, произвести атаку до дна, à fond. Он собрал все, что было писано против «Московского Телеграфа» с самого начала его, занялся подробным разборom и многоречивых критик, и злых нападений, особенно неприятных ему, посвятил на это довольно много времени, и в половине 1825 года напечатал при своем журнале целую отдельную книжку под заглавием:

«Особенное Прибавление к «Московскому Телеграфу». Обзор критических и антикритических статей и замечаний на «Московский Телеграф», помещенных в «Дамском Журнале», «Вестнике Европы», «Сыне Отечества», «Благонамеренном», «Северной Пчеле», «Северном Архиве» и писанных князем Шаликовым и гг. Н. Мел. . . , М. Дмитриевым, Булгариным, Карниолиным-Пинским, Усовым, Ертовым, А. Ф., П. Ж. К., Д. Р. К.,—вым и проч.».

Это «Особенное Прибавление» по объему своему не могло быть напечатано при одной книжке «Московского Телеграфа» и, конечно, произвело впечатление различное: заняло внимание читающей публики, может быть, оправдало издателя в глазах многих, но еще больше раздражило противников его. Они вскоре на-

чали возражать в различных видах; издатель «Московского Телеграфа» уже не медлил ответом им, и таким образом разгорелась та беспримерная в нашей литературе полемика, о которой я вспоминаю с сожалением. О чем спорили? чего хотели и чего достигли спорившие? В основании спора не было глубокой литературной идеи, не было какогонибудь богатого последствиями направления. Хотели оспорить друг друга, или, лучше сказать, обвинить, унижить неприятеля и, конечно, достигли этого хоть отчасти, потому что указывали на ошибки, обмолвки, слабые и смешные стороны, которые есть в каждом человеке, а следовательно, и в каждом писателе. Кто выдержит строгий суд врага, особенно когда он раздражен? Вместо того, чтобы следовать вечной мудрости, заключающейся в словах: «Пусть тот бросит камень, кто чувствует себя невиноватым ни в чем», беспощадно обвиняли и обличали друг друга, и в громаде пустых, вздорных придиорок было и столько правды, что самолюбие споривших не могло не страдать от того, а в публике не могло не остаться впечатления, неблагоприятного для обеих сторон. Известна старинная истина, что нет великого человека для его камердинера. Раскрывая слабые стороны писателя, унижают его перед толпою без пользы для литературы, когда это ведет не к пояснению какогонибудь литературного вопроса или события, а к унижению только личности. В том-то и был несчастный характер войны против издателя «Московского Телеграфа», что спорили не о литературе собственно, а о нем самом, стараясь унижить его во всех отношениях, как писателя, как члена общества, как человека.

И все это было не иное что, как игра раздраженного самолюбия. В доказательство я укажу не на озлобленных против Николая Алексеевича писателей, с которыми никогда не мог он помириться, не на Каченовского, не на А. Писарева (история не именуется живых!), а на людей, с которыми был он потом в самых дружеских отношениях и которые искренно уважали его. Из числа их наименую прежде всего Дмитрия Владимировича Веневитинова.

Веневитинов был человеком, какие встречаются редко. Он соединял в себе способности поэта-художника с умом философа. Необыкновенная натура его развивалась рано при благоприятных обстоятельствах. Счастливый выбор наставников, избранное общество, довольство в жизни, все способствовало тому, что в двадцать лет он был уже более нежели образованным человеком — он был художник и мыслитель. Нельзя сказать, на какую степень возвысился бы он как писатель, потому что он умер 22-х лет, но у него было необыкновенное писательское дарование. Первым печатным опытом его была статья против «Московского Телеграфа», напечатанная в «Сыне Отечества». Дело шло о явившейся в то время первой главе «Онегина». Николай Алексеевич, увлеченный прелестью и новостью этого явления, расхвалил его почти безусловно



Ушаков

в легкой журнальной статье. Веневитинов насмешливо отозвался об этом юношеском увлечении и указал на некоторые противоречия статьи «Московского Телеграфа». Отвечая своим противникам в «Особенном Прибавлении» Н. А. резко опровергал мнения и замечания Веневитинова, который, в свою очередь, еще резче отвечал ему. И вот два журнальные врага! Но, встречаясь потом в знакомых домах, Веневитинов и Н. А. вскоре познакомились и посещали друг друга. В немного месяцев, которые Веневитинов оставался после этого в Москве, знакомство их не успело возрасти до дружбы; но Веневитинов был не такой человек, чтобы он стал поддерживать знакомство и изъявлять уважение человеку, неприятному ему. Перед самым отъездом своим в Петербург, бывший противник Н. А. Полевого провел у него целый вечер в самом приятельском разговоре.

Еще больше разительный пример представляют вражда и потом искренняя приязнь Николая Алексеевича с достопамятным человеком и хорошим писателем — Василием Аполлоновичем Ушаковым. Он достоин воспоминания, как писатель, но гораздо больше, как человек необыкновенно оригинальный. О нем нет нигде известий и потому я перескажу здесь, что знаю достоверно об авторе «Киргиз-Кайсака». Он воспитывался в Пажеском корпусе, учился отлично и вышел офицером в гвардию. Знавшие его в это время говорили мне, что В. А. Ушаков был самый щеголеватый офицер и при том мечтатель, романтическая голова. Он влюбился в одну особу высокого сана, но не мог и мечтать о ней, тосковал и, может быть, от этого постепенно сделался чудаком, почти медведем, каким мы знали его. Но прежде, нежели дошел он до такого состояния, он прослужил офицером лейб-гвардии Литовского полка 1812, 1813 и 1814-й годы, находился в одном из знаменитых каре своего полка в Бородинской битве, и при этом обе руки его были прострелены картечью; но он вскоре выздоровел и в рядах нашей победоносной гвардии вступил в Париж. Вышедши в отставку, он уединился от общества, накупил себе множество книг, читал, худо управлял своим имением и, кажется, к концу своей жизни, был скорее беден, нежели богат. Оставшись на век холостяком, он не терпел общества женщин, называл их *м а т у ш к и* и *м а д а м* и жил в кругу театральных артистов, а все остальное время посвящал литературным занятиям. Таков был он, когда я узнал его. До 1825 года он не печатал ничего, но в это время принял участие в войне против «Московского Телеграфа» и написал против него несколько резких и довольно замечательных статей. Ни я, ни брат мой не были с ним знакомы. На свадьбе одного родственника нашего в Москве, где он жил, мы встретились с ним; но он глядел медведем и не протягивал руки. В начале 1828 года, отправляясь из Москвы в Петербург в дилижансе, я неожиданно увидел себя лицом к лицу с В. А. Ушаковым. В то время переезд от Москвы

до Петербурга продолжался четверо суток, а в дороге люди сближаются скоро. Я узнал в бывшем своем противнике человека доброго, умного и необыкновенно образованного. Он многое видал, много читал и знал в совершенстве не только языки французский и немецкий, но и литературы. Вообще, что знал он, то знал хорошо и отказывался говорить о том, чего не знал. На нем был отпечаток образованных людей времени Александра I, в которых, при всех их недостатках, было нечто рыцарское: они доказали это и в во время великих войн с Наполеоном, и после, пламенно, искренно любя и отечество, и независимость, и честь народную, и личную. Но, при многих прекрасных качествах ума и души, В. А. Ушаков был оригинал и даже чудак. Правдивость его легко переходила в грубость и он беспощадно обличал невежество и шарлатанство, особливо в людях, имевших наружность образованности. Плохим писателям он прямо говорил, что они не умеют писать. При первой встрече с кем либо, он обыкновенно глядел медведем, отмалчивался или выражался резко. В общество светское он никогда не показывался, хотя мог бы играть там роль, и посещал только немногих знакомых, а вечера обыкновенно проводил в театре. По возвращении из Петербурга он начал навещать нас, то есть меня и Николая Алексеевича, наконец постоянно обедал у нас по воскресеньям и иногда проводил целые дни. Он вызвался писать в «Московском Телеграфе» о театре и, кроме того, помещал в нем свои статьи. Приязнь наша с ним продолжалась до его смерти, хотя иногда случалось, что он вдруг надуется, не приходит несколько времени и потом вдруг является, улыбаясь по-своему. Но в основании это был человек с истинными достоинствами и с хорошим литературным дарованием. Из литературного врага он сделался искренним приятелем Николая Алексеевича. И не может быть иначе между людьми прямодушными и образованными. После размолвки, какой бы то ни было, им стоит только объяснитьсь, и они верно будут справедливы друг к другу. Раздраженное самолюбие заменится приязнию и взаимным уважением.

На стороне литературных противников Николая Алексеевича явился и остроумный А. Бестужев, насмешливо отозвавшийся о «Московском Телеграфе» в своем «Обзрении литературы», напечатанном в «Полярной Звезде» 1825 года. Это особенно изумило моего брата, потому что до тех пор он был в приятельных сношениях с обоими издателями «Полярной Звезды», и один из них,¹ проезжая через Москву зимою 1824 года, несколько раз был у нас, как искренний приятель. Летом 1825 года, А. Бестужев прожил довольно долго в Москве и хотя обменялся с нами визитами, но был холоден. Уже через несколько лет потом, с Кавказа, он

¹ Рылев. — К. П. (?)

начал переписку с нами и в первом письме к Николаю Алексеевичу признавал себя виновным перед ним в том, что поверил клевете В. С. Филимонова, некогда друга его.

Уж эти мне друзья, друзья!

Так-то иногда невидимые причины способствуют литературной распри, и все это обрушивается на личность литератора. Публика не видит и не знает тайных, закулисных, иногда темных поводов к неприязни между писателями, и судит только о том, что читает. Могла ли она подозревать, что Каченовский возненавидел издателя «Московского Телеграфа» за сближение его с князем Вяземским; что Ф. В. Булгарин воспылил местию за разбор «Талии», в котором издатель «Московского Телеграфа» не был виноват; другие вступились за своих приятелей, иные, особливо новички, хотели попробовать сил и поострить над смельчаком, и когда при мешалось к этому человеческое самолюбие и еще больше — авторское самолюбие, тогда вражда легко возросла до неслыханного прежде в нашей литературе раздражения. Но громада обвинений не могла не действовать на многих читателей. Il en reste toujours quelque chose! — говорит знаток дела. И это могли мы видеть на самых благородных, просвещенных людях, не перестававших любить и уважать Николая Алексеевича... Но в их улыбке, в их невольных фразах, вырывавшихся у них, когда заходила речь о «Московском Телеграфе», видно было, что неприязненные нападения на него производили в них впечатление.

Нельзя не сказать: велика должна быть сила в периодическом издании, которого не сломит подобная буря. «Московский Телеграф» выдержал ее и общее мнение, может быть, колебавшееся иногда, вообще было решительно в его пользу. Доказательством этого послужит достопамятный случай, достойный описания.

Я уже упоминал о непримиримой и неукротимой вражде к моему брату А. Писарева и пояснил причины ее. Можно представить себе, как радовался он разнообразной войне, открывшейся со всех сторон против врага-писателя, ненавистного ему. Он и сам участвовал в нападениях на издателя «Московского Телеграфа», писал против него бранчивые статейки и эпиграммы, печатал что дозволялось; пускал в ход в рукописи то, чего нельзя было напечатать. Нельзя и теперь напечатать, по разным отношениям, всех язвительных его стихотворений против моего брата. Вот одна невинная эпиграмма Писарева, направленная собственно против «Московского Телеграфа».

- Ты видел «Телеграф»? — Во Франции видал.
- Читал ли? — Нет. — А что-ж тому причина?
- Как что? — Ведь «Телеграф» — журнал!
- Пустое! Телеграф — машина!

Не довольствуясь всем этим и желая, при шуме общих нападенний, торжественно пристукнуть издателя «Телеграфа», А. Писарев написал против него насмешливые куплеты и вставил их в свой водевиль «Три десятки», который был назначен для представления на театре. Об этом, задолго до первого представления, приятели Писарева разнесли слух, и таково было тогда участие к литературным событиям, что вся читающая публика разделилась на две стороны: одна хотела уничтожить Полевого, другая хотела защитить его. В день представления большой театр был наполнен зрителями так, что недоставало мест. Заметно было какое-то глухое движение, когда начался водевиль Писарева; но когда актер Сабуров пропел:

Теперь везде народ затейный,
Пренебрегают простотой:
Всем мил цветок оранжевыйный
И всем наскучил Полевой! (bis) —

раздались рукоплескания и вместе страшное шиканье. Одни требовали повторения куплета, другие шикали, стучали, кричали: «не надо!» Смущенный актер повернулся и ушел за кулисы. Окончательный куплет пела милая, любимая публикою актриса, г-жа Репина. Слышу, кажется, и теперь вкрадчивый голос, которым она произносила так грациозно:

Журналист без просвещенья
Хочет публику учить;
Сам не кончивши ученья,
Всех собирает учить;
Мертвых и живых тревожит?
Не пора-ль ему шепнуть:
«Тот других учить не может,
Кто учился какнибудь!»

Шиканье, крик, шум, свист до такой степени оглушили актрису, что она, зажав уши, бросилась буквально бежать со сцены. Все расхохотались и защитники Полевого уже думали торжествовать победу, когда раздались крики: «автора!» Несмотря на шиканье и крики противников, Писарев явился в директорской ложе и едва успел поклониться публике раза два-три, потому что шиканье, шум усилились в эти мгновения еще больше, заглушили немногие «браво» приятелей Писарева и сопровождались такими знаками, которые принудили автора поскорее скрыться... Некоторые грозили ему кулаками... Генерал К. (убитый в турецкую войну в 1828 году) встал с кресел первого ряда и, оборотившись к Писареву, плюнул!.. И все это происходило с такою запальчивостью неожиданностью, что не помню ничего подобного в театре и не думаю, чтобы в русском театре бывало чтонибудь подобное!.. Многие свидетели описываемого мною представления, еще здравствующие, подтвердят, что я не преувеличил ничего и рас-

сказал то, что сам видел и слышал. Можно сказать, что этот вечер (в ноябре 1825 года) был торжеством Н. А. Полевого, ибо он ясно подтвердил, как любила его публика и как многочисленны были его защитники против небольшой партии противников, которые собрались в театр с намерением поддержать нападение Писарева и, как они выражались, похоронить Полевого, тогда как со стороны Николая Алексеевича не было никаких приготовлений. Он никого не просил защищать себя и кто были защитники его, — он не знал! Во время представления я сидел в креслах подле него и могу уверить, что он простодушно смеялся куплетам Писарева, чуть не хлопая в ладоши!.. Но чем неудачнее была попытка Писарева, тем сильнее был гнев его. В тот же вечер давали, кажется, переводную пьесу П. Н. Арапова (не помню названия ее), какой-то бенефисный водевиль, к которому несколько номеров музыки написал князь В. Ф. Одоевский. Этой пьесе рукоплескали отчаянно, явно на зло Писареву. Шел еще более слабый водевиль графа Панина, с музыкою капельмейстера Кубишты. И этому рукоплескали, тогда как «Три десятки», пьесу, написанную искусною рукою и украшенную прекрасною музыкою А. Н. Верстовского, приняли холодно и готовы были ошибать. Раздраженный Писарев тут же написал куплет и передал его, через своих знакомых, в кресла. Вот этот куплет.

Скропал А[рапо]в водевиль,
О[доевск]ий скропал музыку:
Man kann nicht immer was man will,
И пьеса хлопнулась без крику!
Но П[ани]н авторов хвалил,
Э[волинский] радозался вчуже,
И пьяным голосом твердил:
«Да мы с Кубиштой чем же хуже?»

Через несколько дней было повторение водевиля «Три десятки». Я поехал в театр посмотреть, что будет еще. Театр был на половину пуст. Когда Сабурову пришлось петь куплет о цветке полево м, он при последнем стихе повернул голову в сторону, прикрыв лицо рукою, произнес его в полголоса и с следующим изменением:

И всем наскучил (в сторону) луговой!

Не знаю, по собственному ли побуждению сделал он эту перемену, но она имела такой вид, как будто актер не согласен с автором. Г-жа Репина, всегда развязная и ловкая, пропела последний куплет свой робко, лишила его всей выразительности и отделалась немногими знаками неодобрения публики. Но сам водевиль пал! Его представляли потом, но очень редко, как бы соображаясь с мнением большинства. А между тем, этот водевиль, может быть, один из самых удачных, написанных Писаревым: по содержанию, по всем подробностям, в нем нет никакого отношения к издателю

«Московского Телеграфа». Но за то, что Писарев включил в него куплеты, явно направленные против ненавистного ему писателя, публика оказала ему на этот раз свое неблаговоление.

Говоря о Писареве, этом талантливом противнике Н. А. Полевого, здесь кстати будет прибавить, что театральные пьесы его и другие сочинения, которые можно напечатать, не дают о нем верного понятия, потому что истинное дарование его проявлялось в тех внезапных эпиграммах и насмешливых сочинениях, которые теперь еще рано печатать. Он сделался писателем для театра случайно, попавши в общество актеров, танцовщиц, актрис, предался ему со всею пылкостью юноши и, ласкаемый Кокоскиным, Загоскиным, управлявшими театром, изумлял их, как прежде изумлял А. А. Антонского, гибкостью своего дарования. Но он не обогатил литературы нашей ни одним замечательным сочинением. Первый драматический опыт его «Лукавин», неудачная переделка Шеридановой «The School for Scandal», остался, все-таки, лучшим его произведением в этом роде. Водевильные остроты его, относящиеся к современным делам и событиям, теперь уже непонятны и не могут быть занимательны. Почти все театральные пьесы были написаны им по заказу, к случаю, на скорую руку, а лирические сочинения без всякого вдохновения. Писать стихами не стоило ему ничего и он растратил свое прекрасное дарование на пустяки, особенно с той поры, как был привязан к театру всеми возможными узами. Один из школьных друзей его справедливо сказал в то время, что он сделался театральным ремесленником. Другой приятель его, С. Т. Аксаков, простодушно рассказывает в своих «Записках», каков был Писарев к концу своей жизни. В нем сохранилось только озлобление на людей, которые нисколько не желали ему зла. Но дарование его вспыхивало иногда и выражалось в злых эпиграммах и насмешках, которыми поражал он ловко и без пощады, без разбора — врагов и друзей. Расскажу один случай. Также приятель его, тогда еще молодой студент, был страстным театралом и пописывал для театра. Некоторые пьесы его были играны и, ободряемый своим успехом, он написал для бенефиса г-жи Львовой-Синецкой новую пьесу, переделанную им из «Ромео и Юлии» Шекспира. Пьеса была преуродливая, незрелое произведение юноши, скропанное для бенефиса, где Юлия отравляется, Ромео беснуется, где есть и свадьба, и похороны. Но молодого автора любили, и между прочим наш литературный круг, бывший в неприязненных отношениях к партии Кокоскина, Загоскина и Писарева, властвовавших в театре, решился, на зло всему, придать неожиданному, блистательному успеху новой пьесе. Каждый приглашал своих знакомых на бенефис г-жи Синецкой и раздавал билеты, с тем, чтобы аплодировать переделке «Ромео и Юлии». Таких хлопальщиков собралось в креслах более ста человек — были они и в ложах, и в райке. Пьеса шла ужасно; ак-

тер Мочалов, игравший Ромео, свирепствовал на сцене, но при всякой несообразности раздавались рукоплескания и особенно усилились они, когда Юлия была в гробу на сцене и ожила. Вероятно, прах Шекспира содрогался в могиле!.. Но едва успел спуститься занавес, как непрерывные рукоплескания, «браво» и «автора» огласили огромную залу Петровского театра. Несколько голосов покушались шикать, но рев толпы заглушил их и рукоплескания походили на беглый огонь. Помню, что какой-то почтенный старичок, украшенный орденами, с изумлением обратился к нам и убедительно говорил: «Господа! чему вы хлопаете! пьеса нелепость, шла дурно!.. Господа, помилуйте, пощадите!» Ему отвечали только улыбкою и продолжали рукоплескать. Автор долго не выходил — явно совестился своего успеха. Но рукоплескания тем больше усиливались... Наконец, он явился в передней боковой ложе и должен был раскланываться с восторженною публикою.

Эта невинная шалость молодежи привела Писарева в величайшее раздражение, тем более, что, кажется, пла в тот же вечер его пьеса, которую встретили равнодушно. Немедленно разлетелись по театру две или три эпиграммы на невиноватого в своем успехе автора. Писарев экспромтом написал тотчас, как вызов кончился:

Вот пьесы приговор:
Из себя Мочалов вышел,
Из терпенья зритель вышел,
Сочинитель в ложу вышел,
А из пьесы — вышел вздор!

Но еще прежде опущения занавеси, выведенный из терпения несвязностью пьесы и рукоплесканиями ей, Писарев написал и послал в кресла следующие стихи:

То-то сечь бы, то-то драть бы,
С приговоркой: «Ах, урод!
Не венчай печальной свадьбы!»
Не берись за перевод!

Вот в таких-то экспромтах являлось настоящее дарование Писарева. Можно представить себе, как бесила его неудача в описанном мною нападении его на Н. А. Полевого. Он остался до конца жизни своей врагом его.

Но в то же время, как «Московский Телеграф» возбуждал против себя многих, задетых им и по разным отношениям вступивших с ним в войну, люди беспристрастные и непредубежденные отдавали справедливость полезной деятельности молодого журналиста. Даже некоторые из авторов, подвергшихся неблагоприятным замечаниям его на их труды, желали после этого узнать лично своего

антагониста, познакомились с ним и оставались добрыми его приятелями. Из числа их нельзя не вспомнить о Николае Петровиче Демидове, достойном воспоминания по многим отношениям.

Это тот самый Демидов, который в Аустерлицкой битве, бывши молодым артиллерийским офицером, не отдавал французам своей пушки и был бы избит ими до смерти, если бы Наполеон, находившийся вблизи, не увидел геройского подвига русского офицера. Он не только спас его от свирепости раздраженных своих солдат, но и велел увековечить подвиг Демидова на картине, изображающей Аустерлицкую битву: там он представлен ухватившимся за свою пушку.

В 1825 году Н. П. Демидов был уже, конечно, не молодой человек, но имел вид и манеры молодого человека и таков остался до смерти. Он был давно в отставке, с чином действительного статского советника, но на брошюрах своих, которые издавал обыкновенно на французском языке, означал себя отставным артиллерийским полковником (*ancien colonel d'artillerie*). С особенною любовью занимаясь политической экономией, Н. П. Демидов печатал разные исследования о ней в виде брошюр, обыкновенно очень небольших, потому что на большее сочинение не достало бы у него терпения. Это был один из самых пылких людей, каких случалось мне видеть. Живость его выражалась и в обхождении, и в поступках. Он приехал к Николаю Алексеевичу, говоря, что терпеть не может печатно спорить, но желал бы пояснить оспариваемые им мысли одной его брошюры. Потом он всегда посещал его, когда жил в Москве. Иногда целые годы проводил он за границею и возвращался в Москву. Нелзя было не уважать в этом человеке его любознательности. Русский барин, военный человек, он не мог жить, не занимаясь исследованием какого-нибудь важного вопроса политической экономии и гражданского устройства; кроме того, он читал много философских книг и имел много светлых идей. Успехам его жизни, и в службе, и в науках, мешал нетерпеливый, раздражительный характер, заставлявший всегда опасаться от него неприятной вспышки. Это и было причиной многих его несчастий, как он говорил мне сам, потому, что одно время он очень полюбил меня и откровенно говорил о самом себе. Но этот недостаток терпения, или, лучше сказать, снисходительности к людям, был вреден только ему самому. Напротив, с людьми прямодушными он никогда не ссорился и вспышки его бывали больше забавны, нежели обидны. Как человек светский, он отличался приятными манерами, говорил очень хорошо, но никогда не улыбался и не умел не только льстить, но даже и промолчать, когда слышал чтонибудь противное своим убеждениям. Я расскажу два случая, два анекдота, бывшие при мне: они лучше всего дадут понятие о Н. П. Демидове.

Как-то раз он сидел у Николая Алексеевича и беседовал с ним

бчень мирно, когда приехал ещё один гость, любитель агрономии,¹ деятельно участвовавший в трудах московского земледельческого Общества, которое процветало под покровительством тогдашнего военного генерал-губернатора, князя Д. В. Голицына. Новый гость, которого Николай Алексеевич познакомил с Демидовым, потому что они встретились тут в первый раз в жизни, не истощался в похвалах и восторженных рассказах, говоря о своем земледельческом Обществе и просвещенном его покровителе. Демидов слушал, молчал и грыз свою трость, что обыкновенно было у него признаком нетерпения. При какой то новой вариации выслушиваемого им панегирика, он вдруг обратился с речью к новому своему знакомцу, почти в следующих словах: «М. Г.! из слов ваших ясно, что вы человек умный и просвещенный; каким же образом можете вы хвалить ваше земледельческое Общество?» Тот как с неба упал, не знал, что отвечать на это и только глядел на своего собеседника, расширив глаза. «Да, конечно, — продолжал Демидов. — Не говорю, по каким побуждениям действуют многие, заседающие в вашем Обществе; явная цель его: увеличить количество хлеба в России. Но что сказали бы вы о том сапожнике, который, не имея возможности продать в год пятьсот пар сапогов, стремился бы готовить их тысячу пар? Не сказали ли бы вы, что он действует безрассудно?» Гость наш позеленел от ужаса при таких словах и начал бормотать о благородстве побуждений, о высоком покровительстве, о поощрениях. «Мы не малые ребята, м. г., — возразил Демидов. — Генерал-губернатор делает свое дело; он в своей роли; но неужели сочлены его серьезно собираются толковать о пустяках?»

Я не сужу, справедливо ли и кстати ли было мнение, выраженное Демидовым, а только передаю случай, выражающий его характер.

Другой случай с ним, бывший при мне, еще лучше характеризует этого человека.

Больше чем через десять лет потом, когда Николай Алексеевич жил в Петербурге, а я в Москве, брат мой приехал в Москву на несколько времени и, по обыкновению, остановился у меня. Его посещали многие, как это бывало всегда во время приездов его из Петербурга. Однажды утром собралось несколько посетителей вдруг и в числе их находился Н. П. Демидов. Один из гостей, по какому-то поводу, заговорил об одном из первых богачей в России и удивлялся уму и способностям его, а в заключение прибавил, как бы в назидание: «Он служит примером, что можно приобрести миллионы честным образом, то есть употребляя в дело ум, пронырливость, сметливость и не прибегая ни к каким предосудительным средствам». При этом значительном выводе терпение Н. П. Демидова лопнуло и он, едва удерживая негодование, ска-

¹ С. А. Маслов. — К. П.

зал панегиристу миллионера: «Князь! (Это был князь Михаил Андреевич Оболенский). Вы хвалите человека, как видно, вовсе неизвестного вам. Позвольте же мне сказать, что я знаю его лучше, нежели вы. Во-первых, он получил еще от отца своего большое имение и, как человек скупой, мог, впродолжение пятидесяти лет, сделаться очень богатым от одних сбережений. Но он не удовольствовался этим и употреблял всякие средства для увеличения своего богатства. Как вам покажется, например, то, что он купил имение у моего отца, Петра Евдокимовича Демидова, с рассрочкою платежа на десять лет, но за такую сумму, которая равнялась десятилетней сложности дохода, то есть, просто, взял его даром и употребил орудием для этого фаворитку моего отца, подлую калмычку, которая имела власть над слабым стариком!.. Я был тогда на службе, далеко от моего отца и, услышавши, что он даром отдал значительную часть нашего имения, прискакал в Москву, но покупатель на все мои убеждения очень вежливо показал мне условие, заключенное им с моим отцом!.. Неудивительно, что, употребляя, между прочим, и такие средства для приобретения богатства, г. NN сделался одним из первых богачей в России. Но где же вы видите его ум, сметливость, проницательность?»

Не стану указывать на всех замечательных и достойных уважения людей, которые сближались с Николаем Алексеевичем в то самое время, когда неприятели старались осмеять, унижить его печатно, а в изустных рассказах о нем не скупились распространять о нем все, что способен сказать раздраженный человек. Я говорю это не о тех благородных людях, которые могли временно сделаться его неприятелями, или, по крайней мере, противниками, но не переставали отдавать ему справедливость и уважать его дарования даже в самый разгар литературной войны с ним. Но не все поступали так прямодушно и не все потом сближались с ним. Со многими он и сам не хотел никогда вступать в приятельские сношения. Я желаю выразить здесь особенно ту истину, что, когда в человеке есть действительные достоинства, все честные люди, раньше или позже, отдадут им справедливость. И только слепая ненависть и злоба преследуют Николая Алексеевича и после смерти его. Приведенные мною примеры достаточно свидетельствуют, что буря, восставленная на него противниками, не уронила его в глазах людей беспристрастных и благородных, хотя была причиной множества неприятностей для него как в то время, так и после.

IX

Говоря о тогдашних знакомых и временных неприятелях Николая Алексеевича, не могу не упомянуть, наконец, о небольшом искреннем кружке знакомых, который образовался около этого вре-

мени в нашем доме. Он составиля, большею частью, из молодых людей, пламенно любивших литературу и занимавшихся новым тогда направлением философии.

Из числа их должен я упомянуть прежде, нежели о других, об Иване Васильевиче Киреевском, потому что он был знаком с нами еще прежде издания «Московского Телеграфа». Можно сказать, что он принадлежал к литературному семейству, где литература была необходимым элементом жизни. Мать его, близкая родственница знаменитого поэта Жуковского, с которым провела она юность свою, сама любила литературу и занималась ею, участвовала даже в некоторых литературных трудах Жуковского, когда он жил в Белеве, и дети ее воспитывались в кругу литераторов. Иван Васильевич и Петр Васильевич Киреевские были дети ее от первого брака. Я начал знать ее, когда она уже была в замужестве за А. А. Елагиным, достойным ее, благородным, просвященным и очень любезным человеком. Не трудно было образоваться в этом семействе двум молодым людям, одаренным такими отличными способностями, какими обладали Иван и Петр Васильевичи Киреевские. Младший из них, Петр Васильевич, был неразговорчив и даже застенчив; но Иван Васильевич, совершенно напротив, любил и отличался умением говорить. У него не было блестящего дара слова, как у покойного Веневитинова, но необыкновенно-логический, твердый ум его способствовал ему быть непобедимым диалектиком. Это особенно обнаружилось в то время, когда в нашем доме явилось несколько молодых людей, только что окончивших университетский курс, страстных последователей и поклонников Шеллинговой философии. Я уже говорил, каким образом эта философия была перенесена в Московский университет и с каким жаром занимались ею все, кто имел какое-нибудь желание быть наравне с просвещением века. Но, разумеется, с исключительною пылкостью занимались ею молодые люди, воспитанники университета, где уже не один Павлов, но и профессор Давыдов (ныне сенатор) объясняли преподаваемые ими предметы согласно выводам немецкой философии. Одним из отличнейших слушателей профессора Давыдова был Михаил Петрович Розберг (ныне профессор Дерптского университета). Он окончил университетский курс в 1825 году и тогда же написал и напечатал свою диссертацию об эстетическом развитии греков и римлян. Диссертация его, написанная на латинском языке, была награждена серебряною, а не золотою медалью потому только, что первую награду присудили одному князю за диссертацию на ту же тему, хотя все знали, что эту диссертацию писал не сам молодой князь, а, по заказу его, кандидат Рожалин, славившийся своими способностями. Такое столкновение не совсем обыкновенных обстоятельств, огласившееся в литературном кругу и неоспоримое достоинство диссертаций г. Розберга побудили Николая Алексеича познакомиться

миться с молодым автором, и он нашел в нем то, чего ожидал, то есть человека необыкновенного умом, образованностью и блестящими способностями, к числу которых и тогда принадлежал редкий дар слова. М. П. Розберг вскоре сделался близким нашим знакомым и ввел в наш круг несколько достойных своих товарищей по университету. Назову из числа их Ивана Ивановича Бессомыкина, Ивана Николаевича Камашева и Михаила Николаевича Лихонина. Все мы были тогда молоды, беззаветно любили все, что только относится к просвещению, и с жаром изучали глубокомысленные, но трудные для ясного уразумения книги Шеллинга и его последователей. Такое общее стремление чрезвычайно сближает людей, особливо молодых, бескорыстно преданных изысканию истины. Прибавьте к этому тогдашнее направление европейской литературы, восторг, с каким читали тогда бессмертные создания великих современных писателей — Байрона, Вальтера Скотта, Гёте, Томаса Мура и многих достойных их последователей и соревнователей; вспомните, что тогда началась новая жизнь во французской литературе, что все благородные стремления воскресали и развивались с необычайною силою, и вы согласитесь, что было с чем побеседовать и поспорить в искреннем кругу молодым людям, больше жившим идеальной жизнью. В самом деле, никогда не бывало между нами и речи о современных сплетнях, о спекуляциях на литературу и жизнь, и даже о том, как сделать свою карьеру. Никто и не думал, что он будет и как пойдет по тернам жизни. За то умственная, идеальная жизнь, исследование вечных задач мира были в полном разгаре. Но в то время, которое описываю я, особенно занимала всех и была предметом жарких суждений немецкая философия. Хотели объяснить себе ее положения и применения, потому что философия дает взгляд на все и отражается во всех действиях человека. Соглашаясь в общих положениях и выводах Шеллинговой философии, не всегда соглашались в подробностях, и это было поводом к бесконечным спорам. Тут-то в первый раз показал вполне и свой сильный ум, и свою диалектическую способность Иван Васильевич Киреевский. C'était un fort joueur! С ним особенно состязался М. П. Розберг, достойный его соперник в диалектике и в слове. Помню, что раз, как-то вечером, завязался спор, не кончившийся до глубокой ночи и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Киреевского. На другой день явились там все спорившие, но жаркое состязание длилось до того, что, наконец, Розберг, усталый, утомленный, переменявшийся в лице от двухдневного спора, с глубоким убеждением и очень торжественно произнес, обращаясь к Киреевскому:

— Я не согласен, но спорить больше нет сил у меня!

Теперь, конечно, непостижимо было бы подобное явление и нынешние молодые люди, со своею положительною философиею, со своим утилитарным умом, видели бы в этом только сто-

рону комическую. Но сколько было прекрасного, поэтического и полезного в этих юношеских спорах и увлечениях! Тут вырабатывались идеи, убеждения, взгляды, и они-то должны были перейти потом в действия. Какое счастье и благо, что основанием для этого служила возвышенная философия Шеллинга, останавливающаяся перед непостижимым, как остановился и сам Шеллинг, когда дошел до крайних пределов в своих выводах.

Чтоб кончить речь о тогдашних наших философских беседах, где была и примесь комизма в подробностях, я должен упомянуть еще об одном лице, некоторое время участвовавшем в общих спорах о философии. Не помню, каким образом познакомился с нами Дмитрий Потапович Шелихов, который был известен как стихотворец, как переводчик отрывков из «Энеиды», как член Общества любителей российской словесности, где он мастерски читывал стихи, потому что был одарен прекрасным органом и чистым произношением; притом был красавец. Он казался еще молодым человеком, хотя участвовал в войне против французов и находился в отставке, кажется, в чине полковника гвардии. Никто и не подозревал, что он был пламенный последователь философии Шеллинга, или, по крайней мере, представлялся таким. Вообще, я и теперь не могу дать себе верного отчета, что за человек был он? О нем говорили много худого; но о ком же не говорят его? Рассказывали какие-то соблазнительные истории; но где граница человеческого злословию?

По крайней мере, я лично не знаю ничего худого о Д. П. Шелихове, теперь уже давно умершем; но знаю, что он был необыкновенно оригинален и показывал иногда необыкновенную сметливость ума. Несомненно, что, в свое время, он искренно любил литературу и не был лишен разнообразных дарований. Но видимым и иногда скучным недостатком его была говорливость. Это была не та быстрая, лихорадочная говорливость, при которой человек не успевает произносить слов, сливает их в какой-то однообразный звук и в заключение брызгает слюною или свистит. Про одного такого говоруна сказал брат мой, что этот господин произносил «двадцать тысяч слов в час» и это было так верно, что в нашем кругу называли его потом «Двадцать тысяч слов в час». Говорливость Шелихова была совсем иного рода. Он произносил слова ясно, вел речь плавно, возвышая и понижая голос: но эта речь не имела конца, лилась рекою и если слушавший хотел прервать ее каким нибудь замечанием или возражением, Шелихов усиливал голос, делал движение рукою, как бы желая остановить собеседника, и продолжал свою речь. Притом он любил иногда выражаться фигурно, высокопарно, с школьным красноречием, с примесью латинских стихов, которых знал множество наизусть. Видно, что он действительно занимался и Шеллинговою философиею, но выражался с комическим жаром, говоря о ней. Рассказа-

зывая, например, что сначала он был поражен глубокомыслием выводов Шеллинга, но не мог дать себе отчета в некоторых основаниях его, Шелихов говорил:

— Я приходил в отчаяние! Читая «Систему трансцендентального идеализма», я прибегал к моему любезному брату, совещался с ним, и оба мы бывали в таком настроении духа, что иногда бывало плачем, волосы на себе рвем! И что-ж? Все выяснилось для нас, когда мы прочли Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt! . .

Молодежь подсмеивалась немного над его непритворным восторгом, как говорил Шелихов, над безусловным самозабвением, с каким, по уверению его, занимался он философией. Но он долго оставался собеседником наших философских собраний, и это уже показывает, что он не имел каких нибудь корыстных целей, посвящая свое время спорам и рассуждениям с юношами. Я уверен, что тогда он сам делался юношей, а им нравился своею оригинальностью, в которой отличительною чертою было какое-то простодушие, искусственное или естественное, этого я не берусь решить. Так, например, встретившись с одним старинным приятелем, товарищем своим еще по университету, человеком очень ловким, может быть, даже слишком ловким, и увлеченный разговором с ним, Шелихов вдруг воскликнул: «NN! ведь я знаю, что ты каналья, но я люблю тебя за то, что ты умен!»

Впоследствии Шелихов предался агрономии, хозяйничал, кажется, очень неудачно, хотя писал целые трактаты об устройстве имений, о земледелии и особенно об унавоживании земли. Тут-то носились о нем разные слухи. Но я не пишу о том, чего не знаю достоверно.

Новый взгляд, бывший следствием знакомства Николая Алексеевича с философией Шеллинга, выражался в «Московском Телеграфе» с самого начала этого журнала. В следующий год там было довольно статей, может быть, даже излишне проникнутых новою тогда философией; но журнальная сметливость издателя была такова, что он никогда не увлекался в однообразное направление, всегда имея в виду общность своих читателей. Все части шли ровно в его журнале. После описанного мною, можно было бы подумать, что философия должна была преобладать в «Московском Телеграфе». Но там выражалась она только в направлении статей, во взгляде, и никогда не вытесняла других частей просвещения. Замечу, как важное достоинство, делающее особенную честь издателю, что, сделавшись ревностным последователем трансцендентальной философии, он не искажал языка терминами и выражениями ее, темными для русских читателей. В этом можно видеть превосходство его над теми писателями русскими, которые, начиная говорить философским языком, превращают русский язык в варварское сцеление непонятных слов и русские слова переделывают

на немецкий лад, так что в них остаются одни только русские звуки. В «Московском Телеграфе» здравые, верные идеи излагались языком понятным и незаметно усваивались читающей публикой. Это можно признать великою заслугою, оказанною Н. А. Полевым. До появления «Московского Телеграфа» было напечатано лишь несколько статей, написанных в духе новой философии, но и те были не все удачны, именно потому, что изложение их казалось непонятно. В «Московском Телеграфе» не говорили прямо о философии, но при всяком случае передавали понятия и выводы ее. Таким образом Н. А. Полевой способствовал не только распространению здравой философии, но и решительной победе ее над чувственною, материальною философіею, которая до тех пор господствовала у нас над всеми умами. Еще за несколько лет прежде, в «Вестнике Европы» писали о философии Локка и предлагали выводы ее как выводы самой мудрости; еще большинство образованных людей почитало философами Гельвеция, Вейсса и даже отвратительного барона Гольбаха с компаниею. В немного времени эти кумиры были ниспровергнуты и их стали называть философами не иначе, как в насмешку. Можно гордиться такою заслугою.

Не менее важную услугу оказал «Московский Телеграф» пояснением и распространением новой теории словесности. До тех пор у нас господствовала так называемая классическая теория и оракулами ее были Гораций и Буало, худо понятые (мимоходом сказать); полнейшим изложением этой теории почитался курс Баттё, уважавшийся во всей Европе. В Германии началось противоборство ложному классицизму и уже во Франции книга г-жи Сталь, брошюры и курс А. Шлегеля тревожили умы; а у нас еще мало и слышали о том. Профессор Мерзляков попрежнему читал свои лекции, руководствуясь переведенною им книжкою Эшенбурга, и побранивал Пушкина как нововводителя, как отступника от классических преданий. В это-то время «Московский Телеграф» смело и откровенно принял сторону нововводителей, начал восхвалять новых поэтов, подсмеиваться над мнимыми классиками и помещать на своих страницах исследования о новой теории словесности. Тут борьба была легкая, потому что ее подкрепляли изящные образцы; но изложение самой теории было трудно, потому что она еще не прояснилась в умах самих защитников ее. Противоположный классицизму — романтизм, и до сих пор изъясняемый различно, давал поводы к спорам между самими защитниками его. В этой борьбе Николай Алексеевич, не великий теоретик, принес много пользы своими критическими разборами, в которых старался показать красоты поэтических сочинений Пушкина и других современных ему поэтов. В настоящее время трудно даже понять, как безусловно господствовал у нас ложный классицизм, и тем удивительнее быстрое его падение. До 1820 года все образованные люди наши, все литераторы, все профессоры и учителя сло-

весности оставались в глубоком убеждении, что теория, извлеченная из древних писателей, непреложна и остается только следовать ей, чтобы достигнуть возможного совершенства. Это казалось логически неопровержимо. Как же? Греки и римляне достигли возможного совершенства по всем отраслям литературы; французы, рабски подражая им, возвели свою литературу почти на такую же степень совершенства; гениальные писатели их следовали безусловно древним образцам, не только подражали им, но и просто переводили из них. Чего же искать и где можно найти что-нибудь более совершенное? И не будет ли всякое отступление от великих образцов упадком, гибельным для успехов, а нарушение теории — святотатством? Так рассуждали все умные и просвещенные люди, подкрепляя свои убеждения примером целых веков и всеми успехами литературы со времени возрождения. Другой теории не знали и были убеждены, что другой теории нет. Станем ли осуждать наших предшественников за их убеждения? Станем ли насмехаться над Херасковым, который воображал, что в точности следует Гомеру, — отрицать дарование у Озерова, который наложил на себя сковы классицизма, или — почитать невеждою профессора Мерзлякова, который умер с убеждением, что нет другой теории словесности, кроме классической? Мы сами были бы смешны, если бы поддались ребяческому удовольствию воображать, что мы умнее наших предшественников. Напротив, в том-то и состояла заслуга людей, восставших против классицизма, что они вступили в борьбу с людьми умными, просвещенными и даровитыми, которых победить было столько же трудно, сколько славно. Теперь всякий школьник знает наизусть то, чего в 1820 году можно было достигнуть только глубоким умом и разнообразными изучениями. За классиков говорило все прошедшее; а противники их могли выставить в защиту своих мнений будущее, то есть будущие успехи последователей их теории, тогда еще во многом не поясненной. Вот почему теоретическая борьба была трудна и быстрое падение старинной теории должно приписать не столько усилиям новых теоретиков, сколько появлению романтических писателей, знакомству с ними публики и, наконец, тому блистательному созвездию великих поэтов, которые вдруг появились в начале нашего столетия. Гёте, Шиллер, Байрон, Вальтер Скотт и достойные их последователи могущественно подкрепили новую теорию и умы, уже давно утомленные классическим однообразием, быстро воспрянули к новой жизни. В самом деле, история литературы не представляет другого столь быстрого переворота. Толпа, всегда жадная к новому, разумеется, вдруг превратилась в жаркую защитницу нового искусства и, как всегда, перешла за границы справедливости. Между тем как во Франции стали сомневаться даже в даровании великих классических поэтов, у нас прежние литературные авторитеты разрушались еще прежде, нежели новая теория оправдала свои выводы

ды. Когда такое направление умов делается модою, достоянием толпы, тогда люди обыкновенные, не превышающие грамотной черни своими понятиями, повторяют чужие мнения безотчетно и представляют иногда комические примеры своей изменчивости. Так, например, Воейков, — о котором я уже говорил довольно подробно, — Воейков, всегда провозглашавший свои хвалы и брани по отношениям, по направлению ветра, восклицал, прежде 1812 года, в своем послании к Эмилию (то есть к Сперанскому):

Херасков, наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани!

А в 1818 году, в послании к Уварову, где он так неловко защищал гекзаметр, уже говорил про того же Гомера-Хераскова:

И Херасков повлекся за ним — слепой подражатель!

Не так действовал Н. А. Полевой. Не повторителем безотчетным, но критиком явился он у нас в знаменитой борьбе новой школы со старою, и старался теоретически оправдать то, чему искренно удивлялся, чем восхищался он в сочинениях Жуковского и Пушкина. Журнал его, в продолжение нескольких лет, высказал в этом отношении много мнений новых, основательных, утвердивших в умах новый взгляд, новую теорию словесности. Скажут, что здесь он сам часто ошибался и иногда показывал шаткость и неопытность в мнениях. Не отрицаю этого; но что значили частные ошибки, когда дело шло о целом перевороте в понятиях? У кого же нет ошибок? Сам А. В. Шлегель, критик образцовый, первый пространший новую теорию словесности с тою ясностью, убедительностью, которые дали ей решительную победу, сам Шлегель является иногда односторонним, не везде справедливым; а мелкие ошибки отыщутся у всякого писателя. Но отымает ли все это у его критики великую заслугу?

Так должно смотреть на критическую и даже на полемическую часть «Московского Телеграфа»; его частные ошибки не мешали быть верною и здоровою той теории, которая проникала все статьи, где излагались новые воззрения на литературу. Люди, привыкшие к старинным учебным и ученым книгам, издевались над высшими взглядами издателя «Московского Телеграфа», а потом, постепенно, усвоили их себе все. Он приносил им пользу уже тем, что указывал на многие иностранные сочинения, о которых они не слыхивали, хотя там излагались совершенно новые взгляды на науку. Сколько было насмешек над высшими взглядами! сколько раз было повторено название верхогляда, которое применяли к Н. А. Полевому. А что-ж такое были эти высшие взгляды, как не расширение пределов науки, взгляд на общность ее, без ограничения себя преданиями староверов? Этого не хотели

видеть и иногда с невежественным цинизмом насмехались над верхоглядом! Им казалось это очень остроумным!

В пример невежественной насмешки упомяну об одном случае.

В сочинении нашего известного писателя и политико-эконома Шторха, изданном в Париже в 1824 году, была в первый раз изложена богатая последствиями мысль о не вещественном капитале. С времен Адама Смита экономисты недоумевали как разуметь и куда причислить тех членов общества, которые не занимаются материальным трудом, как занимаются земледельцы, ремесленники и прочие производители, собственно так называемые. Готовы были почитать писателя, художника, медика, даже полководца просто дармоедами, которые только потребляют чужой труд, не производя сами ничего, составляющего капитал, который есть не иное что, как скопленный труд. Шторх с необыкновенною ясностью доказал, что писатель, медик и подобные им члены общества — такие же производители, как другие, и что труд их так же полезен и необходим, как труд вещественный, и способность такого производителя, и самый труд его назвал он капиталом не вещественным. Н. А. Полевой, зорко наблюдая все новые шаги в науках и сам занимаясь политической экономией, стал при случае повторять и применять мысль Шторха; впоследствии он издал даже отдельную брошюру о не вещественном капитале. И что же? наши остроумцы осыпали его насмешками за не вещественный капитал!.. Мысль, теперь общепринятая и расширившая пределы науки, была поводом к самому пошлому гаерству над тем, кто первый высказал ее по-русски!

Также он первый начал писать о взгляде знаменитого Риттера на Землеведение. Это до такой степени было ново, что впоследствии отъявленный враг Николая Алексеевича, бывший профессор М. П. Погодин, тогда еще молодой человек, пришел к нему попросить у него сочинений Риттера, о которых тот упомянул в рецензии на книжку о древней географии, изданную Погодиным. Между прочим, по экземпляру, взятому у Николая Алексеевича, Погодин издал потом «Sechs Karten von Europa» в русском переводе. До тех пор он, вероятно, и не слыхивал о Риттере, как многие другие.¹

Насмехались также над занятиями Н. А. Полевого санскритским языком и восточным миром. Он никогда не представлял себя санскритологом и индологом, но не мог не обратить внимания и на этот мир, с которым так недавно стала знакомиться Европа. В наше время, когда сравнительная филология сделалась основанием философического изучения человеческого слова, нет надобности до-

¹ О причинах вражды М. П. Погодина к моему брату и о некоторых любопытных подробностях ее упомяну я в надлежащем месте. Это потребует пояснений. — К. П.



Н. А. Полевой читает «Речь о неведущем капитале»

казывать, что для такого изучения индоевропейских языков следует обратиться к языку санскритскому. Проницательный ум Н. А. Полевого тотчас постиг это, и он хотел не сделаться санскриптологом, а узнать до некоторой степени и составить себе понятие, что такое санскритский язык? Тогда не было для этого никаких пособий на русском языке, да и на иностранных было их немного. Он выписал себе руководства, о каких мог найти сведения, и несколько времени изучал этот предмет. Может быть он прежде всех из русских занимался санскритским языком, не с тем, чтобы изучить его и читать санскритские книги, но чтобы дать себе отчет о связи древнейшего языка с новыми, и с русским в особенности, открыть там некоторые законы и воспользоваться ими для пояснения законов русского языка. Такого рода занятие предметом, совершенно новым у нас тогда, должно было бы принести ему честь в глазах просвещенных соотечественников; но литературные враги его обратили и это в насмешку. Пошлые шуточки их обличают только собственное их невежество. Но тогда и это было одним из обвинений против Н. А. Полевого. «Каков? занимается санскритским языком! Что за шарлатан!» Таков был смысл их нападений. В настоящее время, напротив, кто не отдаст справедливости проницательному его уму, его любознательности и неутомимому трудолюбию, с каким занимался он всем? Но именно за то, что он шел впереди многих, люди отсталые или неспособные старались представить деятельность его в искаженном виде.

Рассматривая таким образом разные отрасли литературы, которыми занимался Н. А. Полевой, можно убедиться, что почти в каждой из них он высказал чтонибудь новое, внес новый взгляд и указал на новые успехи и шаги вперед. С особенною любовью занимался он русскою историею; но в 1825 году он еще не успел сделать ничего по этой части и только в критических разборах и замечаниях своих высказал много новых мыслей, возбудивших негодование староверов и читателей авторитетов. Описывая жизнь его за следующие годы, я укажу на услуги, оказанные им русской истории и объясню, отчего многие труды его по этой части были предметом жарких споров, нападений и обвинений.

Х

В описываемое нами время Н. А. вел жизнь почти исключительно литературную. Он передал второму своему брату¹ управление водочным заводом, доставшимся нам от отца нашего (хотя и прежде почти не занимался им), а сам посвятил себя вполне журналу и литературе. Таким образом он достиг цели, к которой

¹ Евсевию Алексеевичу Полевому. — К. П.

стремился с малолетства, и достиг ее единственно силою своих дарований. Одно это уже показывает человека необыкновенного, писателя по призванию. Другой остановился бы при первых попытках, устранился бы препятствий, пал бы под тяжестью окружающих его обстоятельств. Но люди с такою силою призвания к литературе, как Н. А., умеют побеждать все препятствия и занимают место, им назначенное. Не сравниваю его ни с кем, но в истории нашей литературы, после Ломоносова, никто из известных писателей не боролся с такими препятствиями на пути своем, как Н. А. Полевой, и никто не преодолел их так блистательно, как он.

Был ли Николай Алексеевич счастлив, или, по крайней мере, доволен своим положением в это время? Кажется, счастье не бывает уделом людей, одаренных способностью сильно чувствовать и только в немногие минуты бывают они довольны внутренним сознанием, что не даром живут на свете. Конечно, в материальном, вещественном отношении, положение его было хорошо. Но бесконечный труд и бесчисленные неприятности литературные вознаграждались немногими приятными ощущениями. К числу таких приятных ощущений должно причислить прежде всего уважение многих из благороднейших современников, — уважение, тем более знаменательное, что его не могли возмутить никакие брани, осуждения и клеветы врагов Николая Алексеевича.

Князь П. А. Вяземский не только оставался постоянным сотрудником «Московского Телеграфа», но и оказывал постепенно более деятельности в участии своем по журналу. Он писал для него много сам, доставляя статьи знакомых ему литераторов и оказывал издателю искреннюю приязнь, ободрял, поощрял его к труду и был лучшим советником в затруднительных случаях. Участия одного этого отличного литератора, человека, глубоко уважаемого Николаем Алексеевичем, было бы достаточно для придания мужества и новой деятельности журналисту молодому, но чувствовавшему в себе неизмеримые силы.

Неизменный в чувствах дружбы, князь Вл. Ф. Одоевский, хотя почти вовсе не участвовал в нашем журнале, но отношения его к Николаю Алексеевичу оставались прежние. Он был приятнейшим гостем его и часто проводил с ним время, не обращая внимания на внушения школьных своих товарищей, которые сделались врагами или недоброжелателями Н. А. Полевого.

Не называю еще нескольких человек, которые уже давно сошли со сцены мира, но тогда были близкими людьми к моему брату. Казалось, что восставшая против него литературная буря только увеличила их участие к нему и они, видя правоту на его стороне, делались тем более жаркими его защитниками. К этому же времени относится первоначальное знакомство и вскоре искреннее сближение Николая Алексеевича с двумя достопамятными и

славными писателями. Это были: знаменитый польский поэт Мицкевич и необыкновенный своею судьбою, один из лучших поэтов своего времени, Евгений Абрамович Баратынский.

Чтобы показать, как было не только приятно, но и важно для Николая Алексеевича знакомство с Мицкевичем, я должен сказать здесь все, что знаю о Мицкевиче и что могу высказать. Не беда, что некоторые черты его характеристики и знакомства нашего с ним будут относиться не к одному 1825 году; гораздо важнее показать значение этого писателя и необыкновенного человека и его отношения к нашему литературному кругу.

Зимою 1825 года явился к брату моему знакомый ему еще по Курску полковник Похвиснев, долго живший в Польше и приехавший временно в Москву. Между прочим, он заговорил о Мицкевиче как о поэте, славнейшем в польской литературе, и прибавил, что Мицкевич в Москве, что он друг его, а в заключение просил к себе на вечер, где обещал быть и польский поэт. Хотя почтенный полковник был сам не литератор, однако его убедительный и торжественный рассказ возбудил в нас любопытство и желание увидеть славного поэта. Я вместе с братом, по приглашению полковника, также приехал к нему на вечер. Хозяин уже сидел за карточным столом. Он познакомил нас с Мицкевичем и другом его г. Малевским¹ и возвратился к своему висту. Из числа неигравших, кажется, мы были единственные, но разговоры наши тянулись вяло. Мицкевич не знал русского языка, мы не знали языка польского и французский разговор наш больше касался общих предметов, нежели литературы. К тому же, Мицкевич был грустен, говорил мало, и образованный, любезный его товарищ сделал на нас более приятное впечатление. Надобно заметить, что оба они и некоторые другие их товарищи были в Москве не по собственному желанию. После какой то истории в прежнем Виленском университете, многие бывшие студенты его были посланы на службу во внутренние губернии России. Мицкевич, вышедший уже несколько лет из Виленского университета и занимавший должность учителя в каком-то уездном городе Виленской губернии, был отправлен первоначально в Одессу, имел случай съездить оттуда в Крым и написал там чудесные свои «Крымские сонеты». Из Одессы он был переведен в Москву, причислен к канцелярии московского военного генерал-губернатора и оставался покуда без занятия, без знакомств и довольно в стесненном положении.

После первого нашего свидания с ним прошло несколько месяцев, и уже весною 1826 года близкий приятель моего брата, Ю. И. Познанский, тогда молодой офицер генерального штаба,

¹ Достойный друг Мицкевича г. Малевский был не меньше его с нами в дружеских сношениях. Этот благородный, ученый и любезный человек был приятнейшим собеседником нашего искреннего общества. — К. П.

приехавший из Польши, привез с собою несколько стихотворений, переведенных им из Мицкевича, и при свидании с братом изумился, что он почти не знаком с лучшим поэтом Польши, который живет в Москве. Он просил Николая Алексеевича познакомить его с Мицкевичем, желая прочесть ему свои переводы. Восхищение, с каким Ю. И. Познанский говорил о великом польском поэте, и переводы его, хотя не образцовые, заставили моего брата поехать к Мицкевичу, пригласить его к себе и, после нескольких свиданий, он был как родной в нашем доме. Он почти ни с кем не был знаком в Москве, жил уединенно с немногими своими товарищами и, кажется, любящая душа его была обрадована искренним приветом, какой нашел он в русском семействе, в кругу образованных людей и литераторов. Все, кто встречал у нас Мицкевича, вскоре полюбили его, не как поэта (ибо очень немногие могли читать его сочинения), но как человека, привлекавшего к себе возвышенным умом, изумительною образованностью и особенно, какою-то простодушною, только ему свойственною любезностью. Ему тогда не могло быть тридцати лет. Наружность его была истинно прекрасна. Черные, выразительные глаза; роскошные черные волосы; лицо с ярким румянцем; довольно длинный нос, признак остроумия; добрая улыбка, часто являвшаяся на его лице, постоянно выражавшем задумчивость, — таков был Мицкевич в обыкновенном, спокойном расположении духа; но когда он одушевлялся разговором, глаза его воспламенялись, физиономия принимала новбе выражение, и он бывал в эти минуты увлекателен, очаровывая при том своею речью, умною, отчетливою, блистательною, несмóтря на то, что в кругу русских он обыкновенно говорил по-французски. Доказательством необыкновенных его способностей может служить легкость, с какою он усвоивал себе иностранные языки. Все знают, до какой степени обладал он французским языком, на котором впоследствии был литератором; но он свободно говорил также на немецком языке; в знании латинского и греческого отдавал ему всю справедливость знаток этих языков г. Ежовский, известный филолог, друг и, кажется, соученик его. Я упомянул, что вскоре по приезде в Москву Мицкевич почти не знал русского языка; через год он говорил на нем совершенно свободно и, что особенно трудно для поляка, говорил почти без акцента, не сбиваясь на свой родной выговор. Кроме того, он знал языки: английский, итальянский, испанский и, кажется, восточные. Начитанность его была истинно изумительна. Казалось, он прочитал все лучшее во всех литературах. О каком бы поэте и славном писателе ни зашла речь, он знал его, читал с размышлением, цитовал его стихи или целые страницы. Помню, как на одном литературном обеде он изумил всех, читая по-гречески разные места из Илиады, и даже так, что один из собеседников, хорошо изучивший Гомера, прочитывал какой-нибудь стих, а Мицкевич произносил следующие, как будто

вся Илиада была в его памяти. В другой раз он изумил одного страстного любителя и почитателя Жан-Поль-Рихтера. Этот любитель изучал немецкого поэта, глотая по капельке все его отвлеченности и трудясь над разгадыванием нелепостей, которые иногда также встречаются у Жан-Поль-Рихтера. Мицкевич стал доказывать, что это составляет недостаток, что у великих писателей все ясно и светло, и когда противник хотел дать ему знать, что он, конечно, не трудился над великим немецким гением, Мицкевич в быстром очерке объяснил ему содержание лучших романов Жан-Поля, стал цитовать многие места, замечательные несообразностями, и тем доказал, что он говорил не наобум.

Способность выражать мысли и ощущения свои восходила у Мицкевича до импровизации. Я слышал от друзей его, что он превосходно импровизировал целые сочинения на польском языке, всегда прекрасными стихами. Однажды, его упросили сказать импровизацию на заданную тему по-французски. Это было гораздо труднее, потому что французский язык был ему не родной, да он же, со своими определенными формами, неудобен для импровизатора. Но Мицкевич пригласил одного из собеседников играть какуюнибудь тихую мелодию на фортепиано, сел, закрыл глаза рукою, и после нескольких тактов музыки начал свою импровизацию, истинно поэтическую, богатую образами и чувствованиями, хотя выраженную не стихами. Вообще, бог наделил его удивительным даром во всем, что относится к выражению себя в слове.

В доказательство, что я нисколько не преувеличиваю достоинства Мицкевича, могу сослаться на мнение о нем знаменитейших современников. Пушкин, приехавший в Москву осенью 1826 года, вскоре понял Мицкевича и оказывал ему величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Проницательный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался с своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учености Мицкевича, Пушкин не мог сравнивать себя с ним, и сознание в том делает величайшую честь уму нашего поэта. Уважение его к поэтическому гению Мицкевича можно видеть из слов его, сказанных мне, в 1828 году, когда и Мицкевич, и Пушкин жили оба уже в Петербурге. Я приехал туда временно и остановился в гостинице Демута, где обыкновенно жил Пушкин до самой своей женитьбы. Желая повидаться с Мицкевичем, я спросил о нем у Пушкина. Он начал говорить о нем и, невольно увлекшись в похвалы ему, сказал между прочим: «Недавно Жуковский говорит мне: знаешь ли, брат, ведь он заткнет тебя за пояс. — Ты не так говоришь, — отвечал я: он уже заткнул меня». В другой раз, при мне, в той же квартире, Пушкин объяснял Мицкевичу план своей еще неизданной тогда «Полтавы» (ко-

торая первоначально называлась «Мазепою») и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица.

Еще покуда Мицкевич не переселился в Петербург и оставался постоянным жителем Москвы, в 1827 году напечатал он там свои «Сонеты» (на польском языке), которых одна часть названа «Крымскими», потому что они были внушены ему картинами и впечатлениями Крыма. В этих стихотворениях Мицкевич явился в полной зрелости своего поэтического дарования. Некоторое понятие о «Сонетах» его можно получить из переложений слепого поэта Козлова. Не знаю, кто первоначально объяснял Козлову подлинник, которого он не мог понимать, не зная по-польски, но я был свидетелем, что Мицкевич, сидя у болезненного одра слепого поэта, сам указывал ему места, неверно выражавшие его мысли. Козлов обыкновенно читал наизусть свои стихотворения; так прочитывал он и Мицкевичу переводы его «Сонетов». Я дивился терпению, с каким творец «Сонетов» слушал декламацию своего подражателя, и когда мы вместе шли от Козлова, я спросил, неужели он доволен тем, что мы слышали? «*Que voulez-vous! c'est un pauvre aveugle...*» (Что ж делать! он заслуживает сожаления как слепец!) Эти слова произнес Мицкевич с глубоким участием к страдальцу, как бы не думая, что дело шло о собственных его стихотворениях. Вообще, мало встречал я людей, столь кротких в обращении, как Мицкевич. Обыкновенный тон его речи всегда отзывался мягкостью, нежностью, и самые возвышенные мысли выражал он без всякой напыщенности, какая невольно проглядывает во многих людях, чувствующих себя выше других. Снисходительность его к людям была истинно младенческая, и только низость и порок приводили в негодование пылающую его душу, только благородные страсти воспаляли его, и под влиянием их он преображался в другого человека. В суждениях о литературных предметах высказывал он всегда оригинальное свое мнение, но все возвышенное и прекрасное ценил высоко и не останавливался на мелких недостатках. Однажды, кто-то при нем стал указывать на разные слабые стороны нашего Пушкина и обратился к Мицкевичу, как бы ожидая от него подтверждения своего мнения. Мицкевич отвечал: «*Pouchkine est le premier poète de sa nation: c'est là son titre à la gloire*» (Пушкин первый поэт своего народа: вот что дает ему право на славу). С особенным уважением отзывался он о Жуковском и, кажется, еще больше уважал в нем человека, нежели поэта, находя, что его сочинения тем и хороши, что их писал человек превосходный, который вложил в них свою душу. Остроумие Крылова приводило его в восторг и он любил повторять анекдоты и слова, в которых так хорошо выражался ум нашего баснописца. Он не мог без смеха вспомнить, например, что Крылов сказал ему о Ш—е: «у этого

человека ум вот какой: можно иногда послушаться его, когда он не советует чегонибудь; но боже сохрани делать то, что он советует!» Вообще, ему казалось, что лично Крылов был выше своей печатной славы.

Во время пребывания Мицкевича в Петербурге была напечатана поэма его «Конрад Валленрод». Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то есть знал ее содержание, изучал подробности и красоты ее. Это едва ли не единственный в своем роде пример! Но он объясняется общим вниманием петербургской и московской публики к славному польскому поэту и как в Петербурге много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали новую поэму Мицкевича в буквальном переводе. Так прочел ее и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод ее, потому что наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валленрода» своими чудесными стихами. Он сделал попытку: перевел начало «Валленрода», но увидел, как говорил он сам, что не умеет переводить, то есть не умеет подчинить себя тяжелой работе переводчика. Свидетельством этого любопытного случая остаются прекрасные стихи, переведенные из «Валленрода» Пушкиным, не переводившим ничего.

Сближение и, наконец, искренняя дружба с Мицкевичем были для моего брата истинным подарком судьбы. В нашем кругу он был, как родной, как семьянин. Прекрасная душа его не могла не сочувствовать той дружбе, какую постоянно выражали ему не только брат мой и я, но и все люди нашего искреннего круга. Перед отъездом своим за границу, — кажется, это было в 1829 году, — Мицкевич нарочно приезжал из Петербурга в Москву еще раз побывать с друзьями, которые прежде всех других в Москве оказали ему привет и сочувствие. После был он принят и в аристократические салоны, и все наперерыв старались приобрести его знакомство. Мицкевич был признателен ко всем, но сохранял искреннюю привязанность к московским своим друзьям. Благоклонности некоторых высоких покровителей он обязан был тем, что ему позволили отправиться за границу.

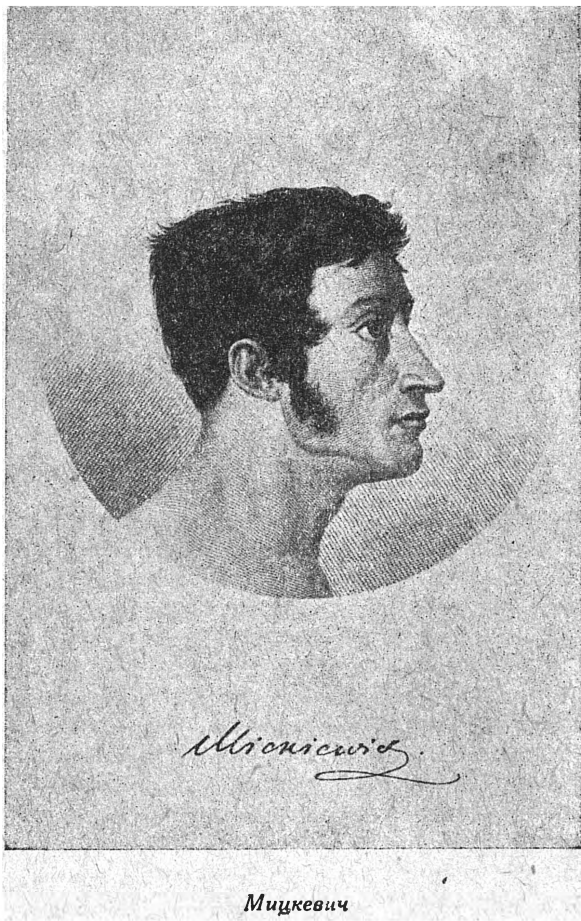
Можно ручаться, что в душе его не было никакого озлобления против России и Пушкин очень верно изобразил отношения Мицкевича к русскому обществу, с грустным чувством вспоминая о нем в 1834 году:

Он между нами жил,
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал он; мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновлен был свыше
И с высоты взирал на жизнь). Нередко

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на Запад — и благословеньем
Его мы проводили.

Нет надобности прибавлять, что разговоры и дружеские беседы с Мицкевичем были не только приятны, но и чрезвычайно полезны Николаю Алексеевичу. Ничто не совершенствует, не возвышает нас так, в известные годы, как сообщество людей необыкновенных, высоких умом и духом. Мицкевич, при многосторонней, удивительной своей образованности, глядел на все самобытно и в каждом предмете умел находить новые стороны. Пошлость, тривиальность, мелкие понятия были для него нестерпимы. Приведу здесь один случай, который покажет и оригинальный взгляд, и пылкость Мицкевича. В «Вестнике Европы» Каченовского была переведена статья известного французского остроумца Гоффмана, где он подсмеивался над Петраркой, над его платоническою любовью к Лауре и старался доказать, что достоинство его сонетов в игре слов, изысканной до такой степени, что, наконец, нельзя различить, о ком он говорит: о Лауре, или о лавровом дереве. Кто-то стал хвалить остроумие этой статьи. Мицкевич вспыхнул и с негодованием произнес: «Этот нестерпимый Каченовский только тем и замечателен, что умеет отыскивать такие статьи и затрогивать такие вопросы, где в основании злость и бессильное желание уронить чьюнибудь славу. Во-первых, статья Гоффмана есть только выборка из Сисмонди, который холодным умом судил о самом нежном и страстном из поэтов. Нигде идеальная страсть к женщине не выражена с такой силою и с таким разнообразием, как в сонетах Петрарки. Из каждого воспоминания о любви своей он создал поэтическую песнь! И как все это выражено, с какою истиною, с каким неподдельным чувством!» Тут Мицкевич начал переводить по-французски разные сонеты Петрарки и в заключение сказал: «Нет поэзии на свете, если это не поэзия!» Он говорил так умно, сильно, возвышенно, что я не могу передать этого, передавая только основную мысль его, которую развил он как самый блистательный профессор.

Почти в это же время поселился в Москве и сблизился с нами Евгений Абрамович Баратынский. Еще незадолго, жизнь его была очень печальна. Он принадлежал к одной из значительнейших дворянских фамилий и воспитывался в одном из военно-учебных заведений, в С.-Петербурге. До выпуска из заведения, где он воспитывался, и когда он был уже известен как поэт с необыкновенным дарованием, шалость, почти ребяческая с его стороны, но окруженная самыми несчастными обстоятельствами, была причиною, что его разжаловали в рядовые и послали на службу в



финляндские линейные батальоны. Мы никогда не говорили с ним об этом несчастном случае его жизни. Он пробыл в Финляндии несколько лет... вдохновлялся дикою природою страны, куда был заброшен судьбою, и написал там многие прекрасные стихотворения, отличающиеся силою впечатлений... Наконец, он был произведен в офицеры и после этого, при первой возможности, вышел в отставку. Здоровье его было расстроено и требовало продолжительного отдыха после тяжких душевных страданий. Он не говорил о них; но его бледное страдальческое лицо ясно показывало, что этот человек выстрадал многое. Тем больше делает ему чести удивительная ясность духа, которую вынес он из своего несчастья. Нисколько не казался он разочарованным и не показывал себя страдальцем. С любезностью самого светского человека соединял он живость ощущений и все достойное внимания мыслящего человека возбуждало его внимание. Воспитание его, как видно, было больше блестящее, нежели основательное. В совершенстве зная только французский язык и французскую литературу, он уже в зрелых летах должен был знакомиться с современным просвещением, и успел в этом, чему способствовал ум его, чрезвычайно ясный, отчетливый, не останавливавшийся на поверхности предметов. Потому-то в нашем обществе, где философские воззрения были тогда в величайшем ходу, он любил затрогивать самые трудные вопросы, и восхищал наших молодых философов ясностью своего ума. Притом он был большой мастер говорить и беседа с ним была всегда приятна. Поселившись в Москве, он вскоре женился и долго был постоянным, часто ежедневным, нашим собеседником. Его привлекал, прежде всего, конечно, сам хозяин, Николай Алексеевич, по истине, очаровательный в искренних сношениях, потому что тут можно было видеть не только возвышенный его ум, но и чистоту, благородство всех его стремлений. Кроме того, как можно видеть из моего рассказа, наше тогдашнее общество составляли люди, вообще необыкновенные, так что редко можно встретить подобное избранное соединение людей в светских гостиных, где гости собираются, как на службу, для исполнения определенных обязанностей, с известными правами и условиями. Неудивительно, что Мицкевич, Баратынский и несколько других лиц, не столь громко известных, но вполне достойных быть их собеседниками, собирались в небогатом домике, где жил Николай Алексеевич, и проводили у него вечера, а иногда и целые дни. Причисляю эти дни к приятнейшим в моей жизни, потому именно, что только счастливое стечение обстоятельств могло соединить столько избранных людей. Чего не было тут переговорено! Какие вопросы не были предметом суждений! Сколько оригинального, умного, высокого было сказано!

Баратынский пользуется славою поэта, и справедливо. У него были и поэтические ощущения, и необыкновенное искусство в вы-

ражении. Но, зная его очень хорошо, могу сказать, что он еще больше был умный человек, нежели поэт. Отчасти, он обязан поэтической славою своею Пушкину, который всегда и постоянно говорил и писал, что Баратынский чудесный поэт, которого не умеют ценить. Почти то же говорил он о Дельвиге и готов был иногда поставить их обоих выше себя. Трудно понять, что заставляло Пушкина доходить до таких преувеличений. Правда, что он называл Баратынского одним из лучших своих друзей; но дружба не могла ослепить необыкновенной его пронизательности. Говорили, что он превозносил Дельвига и Баратынского, чтобы тем больше возвысить свой гений, потому что если они были необыкновенные поэты, то что же сказать о Пушкине? Может ли быть какое нибудь сравнение между ними и им? Но я не предполагаю такой мелкой хитрости в нашем великом поэте. Он превозносил и Катенина и даже написал о нем:

.... Катенин воскресил
Корнея гений величайший!

Но это были странности, какие-то прихоти умного человека, может быть, первоначально порожденные уважением или дружеским чувством его к людям, близким к нему по обстоятельствам жизни. Как бы то ни было, но авторитет Пушкина, конечно, способствовал повторяемому безотчетно мнению, что Баратынский поэт, по достоинствам своим близкий к самому Пушкину. Теперь, кажется, излишне было бы опровергать такое мнение. Баратынский поэт, иногда очень приятный, везде показывающий верный вкус, но писавший не по вдохновению, а вследствие выводов ума. Он трудился над своими сочинениями, отделывал их изящно, находил иногда верные картины и живые чувствования; бывал остроумен, игрив, но все это, как умный человек, а не как поэт. В нем не было ни поэтического огня, ни оригинальности, ни национальности. Оттого-то лучшие его произведения те, где он философствует, как, например, в стихотворении на смерть Гёте. Я уверен, что если бы он не почитал себя поэтом и занялся теориею и критикою литературы, он написал бы в этом роде много умного, прекрасного, пояснил бы много идей для своих современников. Его ясный ум, строгий вкус, сильная и глубокая душа давали ему все средства быть отличным критиком. Это показывали суждения его о многих тогдашних литературных явлениях, суждения, которые развивал он в нашем кругу. Когда приехал в Москву Пушкин и начали появляться одно за другим сочинения его («Цыганы», 2-я глава «Онегина» и много лирических стихотворений), поговорить было о чем, и Баратынский судил об этих явлениях с удивительною верностью, с любовью, но строго и основательно. В поэмах слепа Козлова не находил он никаких достоинств и почти сердился, когда хвалили их, хотя отдавал справедливость некоторым.

его стихотворным переводам. Кажется, и потомство подтверждает эти суждения. Он не было фанатиком ничьим, ни даже самого Пушкина, несмотря на дружбу свою с ним и на похвалы, какими тот всегда осыпал его.

Чтобы дополнить характеристику Баратынского, я должен сказать, что в нем нисколько не было чванства ни своим дарованием, ни своим положением в свете, хотя как поэт, всюду прославляемый, как человек светский и богатый (после своей женитьбы), он имел бы поводы к тому, если бы душа его была меньше возвышенна. Он всегда оставался одинаков с теми, в ком видел достоинства ума и души. Я не приписываю этого испытанным им несчастьям, которые могли показать ему суетность общественного положения, когда оно не соединено с личным достоинством человека. Нет, Баратынский по убеждению ума и духа своего был таков, каким мы видели его. И не почитайте этой черты мелочною: люди, самые необыкновенные во многих отношениях, не всегда бывают свободны от чванства в каком нибудь виде. Вскоре мы увидим здесь же достопамятный пример в этом роде.

XI

Говоря о замечательных людях, с которыми сблизился Николай Алексеевич со времени издания «Московского Телеграфа», не могу не упомянуть еще о Сергее Дмитриевиче Полторацком. Слава богу, он здравствует, а о живых современниках нельзя говорить, как говорил я о сошедших с поприща жизни. Но никакие законы приличия не мешают мне сказать, что дружба этого благородного человека была истинным усаждением моего брата и продолжалась до самой смерти Николая Алексеевича, который лучше всего выразил в посвящении своего перевода «Гамлета» С. Д. Полторацкому как высоко уважал он его. Могу прибавить, что с того времени началась и моя дружба с Сергеем Дмитриевичем, и остается неизменною до сих пор. Ее не могли поколебать никакие изменения в нашей жизни, и она еще больше укрепилась от времени, а это бывает, конечно, только исключением из общего правила. Сколько людей, с которыми находится каждый человек в самых искренних отношениях! А потом они остаются ему чужды, и не через десятки лет! Знакомство Николая Алексеевича с С. Д. Полторацким началось довольно оригинальным образом, и так как случай, сделавшийся поводом к нему, относится к истории литературы, то я опишу его здесь.

В «Сыне Отечества» 1824 года была напечатана хорошо написанная и довольно резкая статья о разных предметах литературы, с подписью: «Калужский Корреспондент». В ней, между прочим, автор коснулся «Мнемозины», издававшейся в Москве и напеч-

ненной, на ряду с умными и дельными статьями, множеством странностей. Это неудивительно: одним из издателей ее был очень сведущий и даже даровитый человек, но, можно сказать, весь составленный из нелепостей! Несколько времени он был с нами в большой приязни; но с этим человеком нельзя было рассчитывать логически ни на что: он часто поступал и действовал, как в жизни, так и в литературе, совершенно наперекор рассудку. Потому-то и приязнь наша с ним не могла поддерживаться. Против статьи «Калужского Корреспондента» явилось возражение издателей «Мнемозины», где они, между прочим, намекали, что «Калужский Корреспондент» лицо вымышленное, не существующее, и что статья «Сына Отечества» с его подписью, вероятно, написана самим издателем этого журнала. Это было незадолго до 1825 года, когда уже Н. А. Полевой объявил об издании «Московского Телеграфа». Отвечая на возражение издателей «Мнемозины», г. Греч сказал, что доставит к издателю «Московского Телеграфа», как к третьему, беспристрастному лицу в споре, доказательства, что действительно статья «Калужского Корреспондента» доставлена была из Калуги, а не сочинена кем нибудь в Петербурге. Через несколько времени он прислал к книгопродавцу Ширяеву, для доставления Николаю Алексеевичу, подлинную статью «Калужского Корреспондента». Когда Н. А. развернул эту статью при Ширяеве, тот, при первом взгляде на рукопись, сказал, что знает, чья это рука, и в доказательство представил письма С. Д. Полторацкого, который с юных лет бывши библиоманом, если еще не библиографом, выписывал от него множество книг для знаменитой своей Авчуринской библиотеки, и поэтому был с ним в постоянной переписке. Не оставалось сомнения, что «Калужский Корреспондент» был С. Д. Полторацкий, и в «Московском Телеграфе» вскоре явилось объявление издателя, что он получил от Н. И. Греча несомненное доказательство в действительной присылке к нему из Калуги статьи, против которой возражали издатели «Мнемозины».

Надобно заметить, что имя С. Д. Полторацкого, как писателя, было уже известно моему брату, потому что на обертке каждой книжки парижского журнала «Revue Encyclopédique» в числе сотрудников означался M.-r Serge Poltoratsky de Moscou, и в самом этом журнале мы читали статьи о русской литературе с тою же подписью, показывавшие близкое знакомство с предметом и часто оригинальный взгляд. Если бы и теперь кто нибудь из образованных русских помещал в одном из лучших французских журналов дельные известия о русской литературе, это было бы любопытно и важно в некоторых отношениях; тогда, в 1824 году, это казалось событием, потому что даже в русских журналах мало встречалось дельных статей о русских писателях и книгах.

Очень естественно, что брат мой желал узнать личность замечательного корреспондента «Сына Отечества» и сотрудника фран-

цуского журнала. Но С. Д. Полторацкий жил тогда не постоянно в Москве, и не прежде как осенью 1825 года познакомился с Николаем Алексеевичем. Есть люди, с которыми первая встреча есть залог неразрывной приязни. Я убежден, что это происходит от одинаковости основных сил души, хотя бы при том характеры, способности, даже направление жизни были различны. Они не мешают любить того, с кем мы одинаковы в нравственных силах. Ни в характере, ни в образе жизни, ни во взгляде на многие предметы не было ничего сходного между моим братом и С. Д. Полторацким. Но это не мешало им оставаться всегда друзьями, потому что брат мой видел в этом друге человека, как выразился он печатно. Свидание с С. Д. Полторацким было для него праздником; он делался с ним весел, шутлив, любезен, хотя бы за четверть часа перед тем сидел нахмуриив брови. Видно было, что сердце его младенчески радовалось.

Между тем как Николай Алексеевич приобретал дружбу и уважение людей благородных, необыкновенных по разным отношениям, находя отраду и утешение в их сообществе, журнальные распри его продолжались и «Московский Телеграф» принужден был беспрестанно отражать разные нападения на него. Многие выходы, особливо в «Вестнике Европы», были таковы, что ответом на них могло быть только презрение; но некоторые, хотя вообще резкие критики, требовали опровержения, или, по крайней мере, объяснения и к «Московскому Телеграфу» прилагались для этого особые листы, не входившие в состав журнала. И теперь прискорбно видеть, что в этих бесполезных спорах утвердился характер вовсе не литературный и, как я уже объяснял не один раз, всего чаще это были личности, то есть выходы против нравственных и умственных достоинств издателя «Московского Телеграфа». Сколько ни была неприлична и несправедлива такая чернильная война, но она, повторяю, чрезвычайно вредила моему брату и оставила глубокий след даже в следующих поколениях. Отчего и теперь иногда непризванные судьи позволяют себе отзываться о трудах его и о нем самом так резко, несправедливо, неприлично, как нельзя отзываться ни о ком? Оттого, что это сделалось какою-то формою выражения о нем, какою-то рутинною людей, не вникающих в события прошедшего. Это отголосок того, что писали против «Московского Телеграфа» в пылу раздраженных страстей и чему хором вторила толпа бездарных, желчных писаек, оскорбленных правдою, которую высказывал им беспристрастный журналист. И теперь, через тридцать лет, я принужден иногда обличать несправедливые нападения на моего брата, появляющиеся в некоторых изданиях, где еще имеют влияние старинные его противники. Они будто передали новому поколению в наследство свою вражду к одному из самых полезных деятелей в нашей литературе. Можно представить себе, каково было ожесточение их в 1825 году!

Эта пустая, ничтожная, вредная литературе война должна была временно стихнуть и все мелкие, личные вражды онемели, когда получено было известие о неожиданном, великом не для одной России событии, которым ознаменовалось окончание 1825 года... Читатели понимают, что я говорю о смерти императора Александра Павловича... Нельзя описать впечатления, какое произвело известие о кончине этого монарха, еще недавнего тогда победителя Наполеона, освободителя Европы, восшедшего на такую высоту славы и могущества, какой только может достигнуть земной повелитель. В его двадцатипятилетнее царствование, и силою его воли и мужества в борьбе с могущественным врагом России, совершились величайшие мировые события. Не одно поколение русских возросло и возмужало в славное царствование императора Александра I, и мы все оставались в невозмутимой никаким предчувствием уверенности, что он еще долго будет царствовать над нами. Он находился в полной крепости мужества и временное переселение его на юг России было только умильтельным доказательством заботливости его о здоровье августейшей его супруги. Посреди такой-то спокойной уверенности всей России, вдруг пронеслись сначала темные слухи о болезни государя, за ними быстро следовали тревожные известия, и когда никто еще и не думал, чтобы так близко было последнее, роковое известие, — оно поразило умы и сердца всех. Повторяю, что нельзя описать, какое сильное впечатление произвело это известие. В полном смысле слова, вся Россия облеклась в траур. Я сам видел, что во многих семействах плакали неутешно, как при потере драгоценного родного! В других, не имевших официальной обязанности одеваться в траурный наряд, — дамы одевались в глубокий траур. Да, печальное платье было не только наружным выражением общей скорби! Оно показывало, что печаль была искренняя. Император Александр Павлович, справедливо названный благословенным, так долго был обожаемым монархом России и с ним было соединено так много великих воспоминаний для русского человека, что внезапная кончина его и не могла произвести иного впечатления.

Еще не успели мы опомниться от этого, неизмеримого по своим последствиям события, как вскоре услышали о другом, столько же печальном, сколько прискорбном для России происшествии, бывшем в Петербурге 14-го декабря 1825 года. Для нас, людей частных, оно казалось совершенно непонятным и только заставляло скорбеть, что в нем было замешано несколько имен, принадлежавших людям, известным своими дарованиями. Некоторые из них были даже близкими знакомыми Николая Алексеевича и он тем больше изумлялся их несчастью, что никогда, в самых искренних разговорах, не слышал от них ни малейшего намека на то, что, как можно было предполагать, задумали они издавна. Теперь, когда это происшествие

сделалось достоянием истории, нет надобности объяснять известного всем; но тогда, после первых известий о нем, оно больше всего приводило в недоумение и невольно тревожило душу. Могу уверить, однако же, что Николай Алексеевич ни на минуту не беспокоился за себя, потому что как в то время, так и до конца жизни, он всегда мог открыть свою душу перед самым строгим судилищем. Никогда не был он одним из тех пошлых и смешных либералов, которые кричат и шумят в своем углу, а потом прячутся от всякого; никогда не принадлежал и к числу тех пессимистов, которые находят дурным все и с голосу иностранных газет хулят все свое, не соображая ни исторических причин с видимыми в данное время явлениями, ни своего народа с теми преобразованиями, о каких кричат, ни закона необходимости, чаще всего управляющего человеческими обществами. Николай Алексеевич не был ни невежда, ни безумец; он знал свое любезное отечество, знал его потребности, и потому никогда не думал об общих, политических преобразованиях его, в убеждении, что для них еще не настало время, и еще более в убеждении, что частный человек в России не может иметь столько сведений о своем отечестве, чтобы основательно судить о его потребностях.

Я почитаю необходимым объяснить в этом отношении унаследованное и направление покойного моего брата, потому что некоторые думали видеть в нем какого-то беспокойного человека, крикуна, наполненного завиральными идеями. Этого не было в нем нисколько. Но как человек честный, с сильною, пылкою душою, он ненавидел злоупотребления, неизбежные в каждом обществе, и обличал, преследовал их где только мог. Много неприятностей испытал он за это, но не боялся ничего, потому что действовал открыто, выражал свои мнения, излагал события печатно, и за тайных мыслей у него не было. Он первый в России начал писать о таких предметах, которые прежде него почитались не принадлежащими к литературе или излагались в старинных журналах в виде какой-то мифологии, к которой надобно было иметь ключ. Николай Алексеевич, напротив, говорил прямо о многом, обличал злоупотребления, смеялся над тем, что было смешно, писал, как говорил бы перед собранием справедливых судей, и потому события, ознаменовавшие окончание 1825 года, не тревожили его лично за себя.

Уверенность его оправдалась вполне, и хотя приятели с нетерпением ожидали, что он исчезнет с горизонта литературы, однако, он остался не только неприкосновенным, но и не слышал ни от кого ни малейшего намека, который относился бы к тогдашним событиям.

Был один случай, к которому первоначальным поводом, конечно, должно почесть тогдашние события, но он кончился развязкою не печальною, а забавною. Как характеристическая черта человека, известного многими подобными эпизодами в жизни своей, этот

случай стоит быть рассказанным даже потому, что он, верно, рас- смешит читателя.

В начале 1826 года, в январе месяце, Николай Алексеевич по- лучил из Петербурга письмо, не подписанное никем. В этом письме неизвестный корреспондент его говорил о 14-м декабря, о негодова- нии своём против злодеев России и жалел, что не все они открыты, что остаются в обществе известные возмутители и злодеи, как, на- пример, Булгарин и Н. И. Греч, которые умели укрыться от пре- следований правосудия. «Сучья обрублены; дерево остается», — говорил красноречивый корреспондент в заключение. Вероятно, он рассчитывал, что Николай Алексеевич, бывший тогда в жаркой литературной войне с издателями «Северной Пчелы», обрадуется случаю повредить им и побежит куда нибудь с доносом на них. Но он поступил, разумеется, иначе: разорвал или сжег письмо и забыл о нем. Через несколько дней потом, как-то утром, является к моему брату очень вежливый, любезный человек и объявляет, что он чи- новник, служащий для особых поручений при московском военном генерал-губернаторе. Поговоривши довольно долго о посторонних предметах, о литературе, о журналах, он вдруг спрашивает: — А что, Николай Алексеевич, получили вы на-днях из Петер- бурга безымянное письмо?

Брат мой, конечно, удивился; но, видя, что это уже официаль- ный вопрос, отвечал без всякого замешательства:

— Получил.

— Что же вы с ним сделали?

— Кинул в огонь.

— Не можете ли вы пересказать мне содержание его?

— Извольте.

Он пересказал ему содержание письма, бывшего у него еще в свежей памяти. Тогда гость его спросил, почему не представил он этого письма начальству, когда в нем содержались довольно важ- ные показания?

— Потому, — отвечал брат мой: — что безымянное письмо совер- шенно ничтожно, как признает его закон; к тому же вы, благородно- мыслящий человек, понимаете, что я не мог оглашать такого письма, не мог, по закону уважения к самому себе, делать людям неприятности без всякого основания.

— Так, но в нынешних исключительных обстоятельствах надобно быть осторожным. Не догадываетесь ли вы, кто писал это письмо?

— Я даже и не подумал о том. Да и как угадать это?

— Не получали ли вы прежде писем, писанных тою же рукою?

— Право, я не обратил внимания на почерк и теперь не помню его.

— Да вот не тот ли это почерк?

Тут посетитель моего брата вынул письмо, писанное точно тем же почерком и даже на такой же бумаге, как письмо, полученное братом по почте; только в списке его было прибавлено на конце:

«Точно такое письмо отправлено к издателю «Московского Телеграфа».

Брат мой взгляделся в почерк и вспомнил, что такую же рукою были писаны разные рукописи, которые получал он из Петербурга от стихотворца Олина. Валериан Николаевич Олин был плохой писатель, лично незнакомый моему брату; но он часто присылал к нему свои сочинения, для помещения в «Московском Телеграфе» и в письмах притом выражал большую неприязнь к г. Гречу и к г. Булгарину, уже не знаю за что. Очень немногие, мелкие его стихотворения, удачнее других написанные, были напечатаны в «Московском Телеграфе»; но самая большая часть присланных им рукописей оставалась не напечатанною и еще хранилась у Николая Алексеевича. Он отыскал их; сличил с ними почерк письма; несомненно было, что рукописи Олина и письма писала одна рука. Брат мой объяснил своему посетителю, что он не знает Олина, но, судя по его письмам, знает, что он не любит гг. Греча и Булгарина, и потому не невозможно, что он вздумал прислать и письмо к нему.

Тогда посетитель объявил ему, что копия с этого письма была адресована к московскому военному генерал-губернатору и, что, для личного объяснения с его сиятельством, брат мой должен явиться к нему на следующий день. Одну из рукописей Олина посетитель взял с собою.

Все знают, что тогдашний московский военный генерал-губернатор, князь Дмитрий Владимирович Голицын, был один из благороднейших людей, истинный покровитель всех жителей Москвы. Когда брат мой явился к нему и пересказал то же, что говорил он вчерашнему посетителю, князь вполне одобрил его действия и сказал, что он может быть спокоен за себя. Тем и кончился этот случай для моего брата; но в Петербурге он имел забавные последствия.

Разумеется, что там прежде всего обратились к Олину. Несчастный стихотворец изумился, и на вопрос, он ли писал письмо к издателю «Московского Телеграфа» отвечал, что и не думал писать ничего подобного. Но каким же образом его рукописи и письмо писаны одною и тою же рукою? Тогда Олин объяснил, что это рука не его, а писца, который обыкновенно переписывает драгоценные его сочинения и занимается переписыванием у многих других. Обратились к писцу. Он ли писал письмо? Он, но не от себя: он только скопировал несколько экземпляров с черновой рукописи, которую дал ему Воейков! Это была проделка А. Ф. Воейкова, уже известного читателям моим по характеристике его, которую поместил я выше. Вероятно, он, в злости своей, решился наделать неприятностей гг. Гречу и Булгарину, разослал несколько экземпляров своего письма в Петербурге известным лицам, отправил его к Н. А. Полевому в Москву и (к чести моего брата) полагая, что он не пустит в ход клеветы, придумал известить о своей посылке

Московского военного генерал-губернатора. Он, конечно, не думал, чтобы могли открыть истинного сочинителя клеветы, потому что письмо его было списано чужою рукою, безвестным писцом, который не давал себе ни малейшего отчета в том, что он списывал. Но надобно же было такое странное сближение случайностей, что по руке писца открыли настоящего сочинителя клеветы! Не знаю, как отделался Воейков от хлопот, которые наделал сам себе. Верно, как обыкновенно действовал он в подобных случаях, обратился к Жуковскому и завопил: «Спаси!» И тот спас его, конечно, не для его личности. Я уже объяснял, по каким побуждениям Жуковский много раз спасал его от разных бед.

1826 год был богат историческими событиями, занимавшими все внимание публики. Россия готовилась праздновать коронавание нового монарха и Москва постепенно наполнялась множеством приезжающих. Обыкновенно, при таких событиях литература удаляется на задний план и не обращает на себя такого внимания, как в другое время, когда умы спокойно ищут себе пищи и занятия. Несчастливая журнальная полемика также приутихла и только изредка раздавалась кой-где безвредная ее перестрелка, ни для кого не занимательная.

Кажется, никогда и ни один журналист в России не встречал такого сильного сопротивления в своей деятельности, как Н. А. Полевой. С первых шагов его на этом поприще возстал против него буря, дошедшая до крайних пределов возможности. Рассматривая причины этого достопамятного явления, найдем их, конечно, в том, что он вдруг стал действовать иначе, нежели до тех пор действовали журналисты. Со времени Карамзина, русские журналы были не иное что, как сборники статей, статейек, стихов и стишков, больше или меньше хороших, больше или меньше занимательных, но всегда добрых, уклончивых в суждениях. Главное, существенное, что составляет жизнь журнала и дает ему характер, критика, самобытность в суждениях, были допускаемы как можно меньше. Даже по выходе в свет такого колоссального произведения, как «История государства Российского», один Каченовский посмешил (на свой счет) читающую публику привязками к нескольким фразам «Предисловия» Карамзина. И того не кончил!.. При таком состоянии журналистики явился «Московский Телеграф», где главным отделом была критика, отличавшаяся самобытностью, смелостью и возможным беспристрастием в суждениях. Очень естественно, что она возстановила против молодого журналиста многих писателей, и казалась укором прежним журналистам, которые не могли согласиться с его новым образом действий. Раздраженные самолюбия довершили разлад!.. Но после 1825 года Николай Алексеевич мог иметь сознание, что он действовал не бесполезно, что он верно понимал потребности литературы и публики, и заслужил одобрение большинства. При таком сознании не мог он уклониться от пути,

им избранного, не искал сближения с своими противниками, просто душно воображая, что, наконец, они отдадут ему справедливость, как отдавали ему справедливость многие из отличнейших современников. Мы увидим далее, до какой степени оправдались его ожидания и как дух партий, самолюбие, вражда могут действовать на людей даже необыкновенных. Любопытные доказательства этого начали являться вскоре.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Осенью 1826 года приехал в Москву поэт Пушкин. Это событие, которое составляло эпоху в жизни самого поэта, оказалось не без последствий на литературные отношения Н. А. Полевого. Потому-то я должен войти здесь в некоторые подробности, любопытные для тайной или закулисной истории нашей литературы и довольно важные в жизни моего брата.

Знаю, что я должен очень осторожно говорить о Пушкине. Нашлись люди, которые в последнее время усиливались представить меня каким-то ненавистником нашего великого поэта и чуть не клеветником нравственной его жизни. Я опроверг такую клевету, когда она выказалась явно,¹ и показал, что никто более меня не уважает памяти Пушкина, никто не ценит более высоко чудесного его дарования. Но дознанная истина, что клевета всегда оставляет после себя следы, и особенно та клевета, которая передается изустно, в сборищах, где, в кругу порядочных людей, можно высказывать возмутительные нелепости, повторяемые с улыбкой. Видно, такую клевету испытал сам Пушкин, упомянувший о ней очень выразительно.

Имя Пушкина сделалось известно публике со времени издания «Руслана и Людмилы» в 1820 году; но еще прежде он стал любимцем и баловнем образованной петербургской молодежи за многие свои лирические стихотворения, несравненные прелестью выражения, гармонией стиха и совершенно новою, небывалою до тех пор вольностью мыслей в разных отношениях. Эротические подробности в посланиях к Лидам и Лилетам, острые, умные сарказмы против известных лиц в посланиях к друзьям, наконец, сальные стихотворения, где думал он подражать А. Шенье, но далеко превзошел свой образец, — были совершенно во вкусе и приходились по сердцу современной молодежи. Лирические произведения Пушкина этой эпохи большею частью писаны были не для печати и в рукописи разлетались по рукам. Вскоре составила́сь целая тетрадь таких

¹ Опровержения мои напечатаны в «Северной Пчеле» 1859 г., в № 129-м и 169-м. — К. П.

стихотворений; современные юноши усердно переписывали ее, невольно выучивали наизусть, — и Пушкин приобрел самую громкую, блестящую известность и жаркую любовь молодых современников своих. Почти в то же время стало известно, что он удален из Петербурга; внутри России даже не знали — куда, за что? Но тем больше казалась поэтической судьба изгнанника свободного (как называл Пушкин сам себя), особенно, когда он упоминал о себе в задумчивых, грустных стихах, то благословляя дружбу, спасшую его от грозы и гибели, то вспоминая об Овидии на берегах Черного моря. И вдруг новая превратность в судьбе его: он живет в своей деревне, не выезжает оттуда, не может выезжать — русский Овидий принял оттенок чуть ли не Вольтера и Ферне, или Руссо в самовольном изгнании. Между тем явились его «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», наконец, первая глава «Онегина», сопровождаемые множеством изящных лирических стихотворений, и уже слышно было, что поэт, в своем уединении, готовит новые, великие создания. В таких отношениях находился Пушкин к русской публике, когда, во время торжеств коронации, в 1826 году, вдруг разнеслась в Москве радостная и неожиданная весть, что император вызвал Пушкина из его уединения и что Пушкин в Москве. Всех обрадовала эта весть; но из числа самых счастливых ею был мой брат Николай Алексеевич. Читатели видели отношения его к Пушкину: искренний жаркий поклонник его дарования, он почитал наградою судьбы за многие неприятности на своем литературном поприще то уважение, какое оказывал ему Пушкин, который признавал «Московский Телеграф» лучшим из современных русских журналов, присылал свои стихи для напечатания в нем и в нем же напечатал первые свои прозаические опыты. Оставалось укрепить личным знакомством этот нравственный союз, естественно связывающий людей необыкновенных, и одним из лучших желаний Николая Алексеевича было свидание с Пушкиным. Можно представить себе, как он обрадовался, когда услышал о его приезде в Москву! Он тотчас поехал к нему и воротился домой не в веселом расположении. Я увидел это, когда с юношеским нетерпением и любопытством прибежал к нему в комнату, восклицая: — Ну, что? видел Пушкина? .. рассказывай скорее. С обыкновенною своею умною улыбкою, он поглядел на меня и отвечал в раздумье: — Видел. — Ну, каков он? — Да я, братец, нашел в нем совсем не то, чего ожидал. Он ужасно холоден, принял меня церемонно, без всякого искреннего выражения.

Он пересказал мне после этого весь свой, впрочем, непродолжительный разговор с Пушкиным, в самом деле состоявший из вежливостей и пустяков. Пушкин торопился куда-то с визитом; видно было, что в это свидание он только поддерживал разговор и, наконец, обещал Николаю Алексеевичу приехать к нему в первый свободный вечер.



Пушкин

Мы посудили, потолковали и утешили себя тем, что, вероятно, Пушкин, занятый какими-нибудь своими политическими отношениями, не в духе. Но, все-таки, странно казалось, что он не выразил Николаю Алексеевичу дружеского, искреннего расположения.

Не помню, скоро ли после этого, но, как-то вечером, он приехал к нам вместе с С. А. Соболевским, который сделался путеводителем его по Москве и впоследствии поселил его у себя. Этот вечер памятен мне впечатлением, какое произвел на меня Пушкин, виденный мною тут в первый раз. Когда мне сказали, что Пушкин в кабинете у Николая Алексеевича, я поспешил туда, но, проходя через комнату перед кабинетом, невольно остановился при мысли: я сейчас увижу его!.. Толпа воспоминаний, ощущений мелькнула и в уме, и в душе... С тревожным чувством отворил я дверь...

Надобно заметить, что, вероятно, как и большая часть моих современников, я представлял себе Пушкина, таким, как он изображен на портрете, приложенном к первому изданию «Руслана и Людмилы», т. е. кудрявым, пухлым юношеско, с приятною улыбкой.

Перед конторкою (на которой обыкновенно писал Н. А.) стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волос. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин. Он был не весел в этот вечер, молчал, когда речь касалась современных событий, почти презрительно отзывался о новом направлении литературы, о новых теориях, и между прочим сказал:

— Немцы видят в Шекспире чорт знает что, тогда как он просто, без всяких умствований говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теорией. — Тут он выразительно напомнил о неблагоприятностях, встречаемых у Шекспира и прибавил, что это был гениальный мужичек! Меня поразило такое суждение тем больше, что я тогда был безусловный поклонник Авг. Шлегеля, который не находит никаких недостатков в Шекспире.

Пушкин несколько развеселился бутылкою шампанского (тогда необходимая принадлежность литературных бесед!) и даже диктовал Соболевскому комические стихи в подражание Виргилию. Не припомню, какая случайность разговора была поводом к тому, но тут я видел, как богат был Пушкин средствами к составлению стихов: он за несколько строк уже готовил мысль или созвучие и находил прямое выражение, не заменимое другим. И это шутя, между разговором! О «Московском Телеграфе» не было и речи: Пушкин, видно, не хотел говорить о нем, потому что не желал сказать о нем своего мнения при первом личном знакомстве с изда-

телем. Это мнение было уже не то, которое выразил он в письме к Н. А., как увидим сейчас. Свидание кончилось тем, что мы с братом остались в недоумении от обращения Пушкина.

Прошло еще несколько дней, когда, однажды утром, я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской, в доме князя Гагарина, отличавшемся вычурными уступами и крыльцами снаружи. Там занимал он довольно грязный номер в две комнаты и я застал его, как обыкновенно заставал потом утром в Москве и в Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом: так жила он потом в гостинице Демута в Петербурге. На этот раз он был, как мне показалось сначала, в каком-то раздражении и тотчас начал речь о «Московском Телеграфе», в котором находил множество недостатков, выражаясь об иных подробностях саркастически. Я возражал ему, как умел и разговор шел довольно запальчиво, когда в комнату вошел г. Шевырев, тогда еще едва начинавший писатель, член Раичева литературного Общества (о котором я говорил в первой части этих записок). Он принес Пушкину незадолго прежде напечатанную книжку: «Об искусстве и художниках, размышления и проч.», изданную Тиком и переведенную с немецкого гг. Титовым, Мельгуновым и Шевыревым. Стихи, находящиеся в этой книге, были писаны последним и Пушкин начал горячо расхваливать их, вообще оказывая г. Шевыреву самое приятное расположение, хотя и с высоты своего величия, тогда как со мною он разговаривал почти как неприятель. Вскоре ввалился в комнату М. П. Погодин. Пушкин и к нему обратился дружески. Я увидел, что буду лишний в таком обществе и взялся за шляпу. Провожая меня до дверей и пожимая мне руку, Пушкин сказал: — Sans gancune, je vous en prie! — и захохотал тем простодушным смехом, который памятен всем знавшим его.

Я воротился домой почти с убеждением, что Пушкин за что-то неприязнен к «Московскому Телеграфу», или, лучше сказать, к редакторам его. Но за что же? Не сам ли он признавал «Московский Телеграф» лучшим из русских журналов; и действительно, не были ли это, как говорят теперь, передовой журнал, оказавший обществу некоторые услуги. Мог ли остановиться Пушкин на мелочных недостатках его и за них отвергать достоинства его, как делали пристрастные наши враги?

Вскоре слышали мы, что Пушкин основывает свой журнал «Московский Вестник», под редакцией г. Погодина и при участии всех членов бывшего Раичева Общества, всех недовольных «Московским Телеграфом». Это объяснило нам многое в недавних отношениях его с нами, особливо, когда стали известны подробности, как заключился такой странный союз. В самом деле, странно было, что этот сердечный союз устроился слишком проворно, и сближение Пушкина в важном литературном предприятии с молодыми

людьми, еще ничем не доказавшими своих дарований, казалось еще изумительнее, когда во главе их являлся г. Погодин! Где мог узнать и как мог оценить всю эту компанию Пушкин, только-что приехавший в Москву?

Я упомянул, что Пушкин приехал в Москву неожиданно ни для кого. Он был привезен прямо в Кремлевский дворец и неожиданно представлен императору. Никто не может сказать, что говорил ему августейший его благодетель, но можно вывести положительное заключение о том из слов самого государя императора, когда, вышедши из кабинета с Пушкиным, после разговора наедине, он сказал, окружавшим его особам: «Господа, это Пушкин мой!»

Несомненно также, что разговор с императором Николаем Павловичем оставил сильное впечатление в Пушкине и если не совершенно изменил прежний образ его мыслей, то заставил его принять новое направление, которому остался он верен до конца своей жизни. На смертном одре, в часы последних страданий перед кончиной, он просил уверить императора, что «весь был бы его», если бы остался жив.¹ Он, конечно, в эту торжественную минуту лишь высказал то, что было в душе его. Как человек высокого ума, до зрелых лет мужества остававшийся либералом и по образу мыслей, и в поэтических излияниях своей души, он не мог вдруг отказаться от своих убеждений; но, раз давши слово следовать указанному ему новому направлению, он хотел исполнить это и благоговейно отзывался о наставлениях, данных ему императором.²

В самом начале, в первые дни своего нравственного кризиса, встретился он в Москве с издателем «Московского Телеграфа» и, может быть, первоначально не хотел сближаться с ним по расчету обыкновенного и очень понятного благоразумия. Еще правительство не обращало своего внимания на молодого журналиста, а Пушкин уже понимал, что не может следовать одному с ним направлению. Живя в Михайловском, он почитал его журналом передовым и откровенно хвалил его; перенесенный в Москву, он был уже не тот Пушкин, потому-то, с первых свиданий, встретил холодно Н. А. Полевого и в первом разговоре со мной порицал, между прочим, неосторожность, с какою пишутся многие статьи «Московского Телеграфа». Это был всегдашний припев его и потом, когда мне случилось говорить с ним о «Московском Телеграфе». Только-что прощенный государем императором за прежние свои вольнодумства, взволнованный милостивым его словом, он хотел держать себя на-стороже с издателем «Московского Телеграфа» и хотя внутренне не мог не отдавать ему справедливости, однако, желал, может быть, лучше узнать его. Таковы были, по моему убеждению, первые причины холодности Пушкина к Н. А. Полевому. К ним вскоре присоединились многие другие.

¹ См. статью Жуковского: «Письмо к С. А. Пушкину». — К. П.

² См. «Соч. Пушкина», изд. Анненкова, т. I, стр. 172. — К. П.

Невозможно, что Пушкин, несмотря на свои ребяческие, смешные мнения об аристократстве, простил бы моему брату звание купца, если бы тот явился перед ним смиренным поклонником. Но когда издатель «Московского Телеграфа» протянул к нему руку свою, как родной, он хотел показать ему, что такое сближение невозможно между потомком бояр Пушкиных, внуком Арапа Ганнибала и между смиренным гражданином. Я готов согласиться, что Пушкин, человек высокого ума, никогда не был глубоко убежден в том, что проповедывал так громко о русском аристократстве и знатности своего рода; но он играл эту роль постоянно, по крайней мере, с тех пор, как я стал знать его лично. Он соображал свое обхождение не с личностью человека, а с положением его в свете, и потому-то признавал своим собратом самого ничтожного барича и оскорблялся, когда в обществе встречали его, как писателя, а не как аристократа. Эту мысль выражал он и на словах, и в своих сочинениях: она послужила ему основой вступительной части и отрывка «Египетские ночи». В Чарском изобразил он себя. Такой образ мыслей мешал сближению его с Н. А. Полевым и естественно заставил его легко согласиться на предложение безвестных молодых людей, которые просили его быть не столько сотрудником, сколько покровителем предпринимаемого ими журнала. И он, и они рассчитывали на верный успех от одного имени Пушкина, которому все остальное должно было служить только рамою. Пушкину было очень кстати получать большую плату за свои стихотворения, печатанные в журнале, покорном ему во всех отношениях, и в этой-то надежде он имел новую причину отдалиться от «Московского Телеграфа», который не платил и не предлагал ему ничего за его сотрудничество, потому что, до 1825 года, так поступали все журналисты. С этого года, г. Греч первый начал платить за труд постоянных своих сотрудников, но все еще не за стихи, которые всегда составляют роскошь журнала и не придают собственно ему ни малейшего достоинства. Не постигая этого, издатель и сотрудники «Московского Вестника» ликовали, что могут получать большие барыши от своего журнала, и под эгидой Пушкина ратоборствовать, как им угодно, особенно против «Московского Телеграфа». Можно представить себе, что наговорили они Пушкину об издателе ненавистного им журнала! В числе их были люди барского происхождения и Пушкин надеялся симпатизировать с ними больше, нежели с простолюдином Полевым. Аристократ по системе, если не в действительности, он увидел себя еще больше чуждым ему, когда блестящее светское общество встретило с распростертыми объятиями знаменитого поэта, бывшего диковинкою в Москве. Он как будто не видал, что в нем чувствовали не потомка бояр Пушкиных, а писателя и современного льва, в первое время, по крайней мере. Увлечшись в вихрь светской жизни, которую всегда любил он, Пушкин почти стыдился звания писателя.

Все это объяснилось постепенно, не вдруг, и если теперь ясны причины странного отчуждения Пушкина от «Московского Телеграфа» и его издателя, то тогда мы могли только оставаться в недоумении и были в праве негодовать, что он без всякой видимой причины, без малейшего повода, становился в положение, неприятное для нас. Холодность и высокомерие его очень уязвляли Николая Алексеевича и, положив руку на сердце, всякий согласится, что на такое расположение, явно выражаемое, нельзя же было отвечать дружбою и преданностью. Еще больше оскорбляло Николая Алексеевича то, что Пушкин принял под свое покровительство противников его и оказывал дружеское расположение г. Погодину, заклятому врагу его.

Из напечатанных писем Пушкина можно видеть, что он желал отклонить от «Московского Телеграфа» главного сотрудника, придававшего свой авторитет этому журналу, князя Вяземского.¹ Это окончательно показывает неприязненное расположение к Н. А. Полевому и даже не совсем хорошее желание повредить ему. Князь Вяземский, которого Пушкин всегда называл своим другом, даже не говорил нам о предложениях Пушкина, но, как человек самостоятельный и благородный, вынужден был принять еще более участия в «Московском Телеграфе» и действительно работал для него в 1827 году усердно и деятельно. Не должен ли был и Пушкин, если бы он еще разделял образ мыслей князя Вяземского, придать свой авторитет «Московскому Телеграфу», а не руководствоваться корыстными расчетами и вступать в союз с незнакомой ему молодежью, которую так хорошо знал и оценивал князь Вяземский и счел верно избразил Грибоедов в известном своем экспромте, оканчивающемся стихами:

Студенческая кровь, казенные бойцы!
Холопы «Вестника Европы»!

Расчет Пушкина и новых друзей его оказался неверен во многих отношениях. «Московский Вестник» не понравился публике с первой книжки и с каждой новою книжкою оказывался ребяческим предприятием, недостойным внимания. Не спасли его и стихи Пушкина, хотя их было там много. Такой неуспех был новым торжеством для «Московского Телеграфа» и только утвердил за ним первенство в русской журналистике. И не могло быть иначе. «Московский Телеграф» был журналом, органом известного рода мнений, касавшийся современных вопросов, а «Московский Вестник» оказался — как и другие современные журналы русские — сборником

¹ В письме к Языкову (Н. М.) он писал, от 21-го ноября 1826 года: «Один Вяземский остался тверд и верен «Телеграфу», жаль, но что же делать». («Соч. Пушкина», изд. Анненкова, т. I, стр. 174). Следовательно, он желал и старался отклонить князя Вяземского от участия в «Московском Телеграфе». — К. П.

разнородных статей, иногда хороших, но чаще плохих, потому что хороших писателей никогда не бывает много и невозможно завербовать их всех в свои сотрудники: поневоле придется наполнять журнал чем попало. Но когда издатель его бывает органом определенных убеждений и современной доктрины, тогда все эти статьи его журнала составляют одно целое и журнал постепенно делается могуществом, которому может противоборствовать только подобное же могущество своего рода, то есть орган других убеждений.

Мы еще так молоды в общественной жизни, что до сих пор не дали себе отчета в значении журналов и оттого-то водворилась в нынешней журналистике нетерпимость, не показывающая высокого просвещения. Она хочет, чтобы все журналы выражали одно и то же учение, одни и те же мнения, не замечая, что это порождает односторонность, деспотизм мнений, всегда вредный для успеха, который возможен только при свободном выражении самых противоположных взглядов.

Если в наше время так ложно понимают истинное назначение журналов, то можно представить себе, каково было понятие о них тридцать пять лет назад. Издатели «Московского Вестника» думали, что стихи Пушкина, и даже одно имя его, дадут успех их сборнику; но прекрасные стихи Пушкина не могли закрыть ничтожности почти всего остального. Главными действующими «Московского Вестника» вскоре остались г. Погодин со своими возгласами и мужиковатым тоном и г. Шевырев со своими плаксивыми стихами и критиками. Участь журнала была решена. Пушкин вскоре охладел к нему вместе с публикою. Правда, что еще несколько времени он, в письмах своих, старался ободрять издателя «Московского Вестника» и хвалил не в меру его главного сотрудника, его милого нашего Шевырева (Соч. Пушкина, т. I, стр. 182); но это не могло быть искренно и всего скорее было вызвано обиженным самолюбием и разочарованием в прежней уверенности, что публика станет платить оброк одному имени Пушкина. Из его же писем видно, что он не имел никакой определенной идеи о журнале, которому сделался кумом, и сам себе противоречил, когда говорил о цели его. Г. Анненков полагает, что «цель журнала была и не в том уничтожить бесплодные сборники, так сильно развившиеся в это время». (Соч. Пушкина, т. I, стр. 181). Это, вероятно, основано на трех словах Пушкина в упомянутом выше письме к Языкову «Пора задушить альманахи». Но могла ли войти в здоровую голову мысль — издавать для этого журнал? Как изданием журнала задушить альманахи, бывшие потребностью для публики? Пушкин написал свои три слова о них мимоходом, так, между прочим, и не мог соединять с ними постоянного убеждения. Напротив, одобрял альманахи, много лет снабжал их своими стихами и после издания «Московского Вестника». Особенно заботился он об успехе «Северных Цветов» Дельвига. Какая же еще была цель журнала?

1-го июля 1827 года Пушкин писал к г. Погодину: «Надобно, чтобы наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, будь сказано между нами, первый единственный журнал на Руси! Должно терпением, добросовестностью, благородством и особенно настойчивостью оправдать ожидания известных друзей словесности и одобрение великого Гёте» (Соч. Пушкина, изд. Анненкова, т. I, стр. 182). К чему тут одобрение великого Гёте? Как мог судить о русском журнале великий Гёте? Ясно: сказано это, чтобы чем нибудь ободрить унывших сотрудников. Но замечательно, что тут Пушкин проповедует добросовестность и все добродетели, а от 31-го августа, следовательно через два месяца, пишет к тому же г. Погодину: «Главная ошибка наша была в том, что мы хотели быть дельными; стихотворная часть у нас славная, проза, может быть, еще лучше; но вот беда: в ней слишком мало вздору. Ведь верно есть у вас повесть для Урании? Давайте ее в «Вестник». Кстати о повестях: они должны быть непременно существенной частью журнала, как моды у «Телеграфа». У нас не то, что в Европе — повести в диковинку. Они составили первоначальную славу Карамзина, у нас про них еще толкуют. Ваша индейская сказка «Переправа» в европейском журнале обратит общее внимание, как любопытное открытие учености; у нас тут видят просто повесть и важно находят ее глупою» (стр. 181). Вот вам и добросовестность, и настойчивость, и одобрение великого Гёте! Давайте вздору, потому что публика не понимает мудрых статей «Московского Вестника»!.. Да, больно видеть, что даровитый, необыкновенный человек унижал себя таким образом, льстил бездарным людям из посторонних видов и противоречил себе и правде! Разве он не знал, что повести и прежде, и в его время (как теперь) были необходимым отделом изящных произведений? Разве не писал он потом сам повестей, которые составляют часть его славы? Публика находит какую нибудь повесть глупою, конечно, не потому, что видела в ней не повесть. Уж верно так! Глупые писатели обыкновенно недовольны публикой, и Пушкину, баловню и любимцу ее, не кстати было утешать своих новых друзей, как утешал он их: благороднее, лучше было бы прямо сказать им, что они взялись не за свое дело. Он, конечно, понимал это прежде всех, но, как я сказал, из самолюбия и нелитературных видов или расчетов, хотел убаюкивать незаслуженными похвалами своих данников.

Не нужно пояснять, что при этой журнальной неудаче Пушкина и клеветов его, Н. А. Полевой был для них бельмом на глазу. В немногих приведенных мною строках из писем Пушкина видно, что упомянуть о «Телеграфе» было неизбежно при суждениях о журнальном успехе, и великий поэт не совестился повторять пошлый намек, будто моды были существенною частью «Московского Телеграфа»! Не станем характеризовать побуждений Пушкина; но кто же не согласится, что в словах его явно неприязненное

расположение к «Телеграфу» и издателю его? Поэт как будто старался поддерживать и даже раздувать это расположение в своих клеветах, а они, разумеется, и не нуждались в таких поощрениях. Г. Шевырев исписывал груды бумаги, усердно трудясь уронить «Телеграф» и выставить издателя его самым дурным писателем и даже дурным человеком; г. Погодин не столько писал, сколько действовал против него неприязненно. Вся его партия искала случая и не пренебрегала никакими средствами, чтобы уязвить журнал, а если можно, то нанести удар издателю «Телеграфа». Но, при этом, наружные формы приязни и все приличия соблюдались вполне. Пушкин и его сотрудники бывали у Н. А. Полевого и при встрече казались добрыми приятелями. Весною 1827 года, не помню по какому случаю, у брата был литературный вечер, где собрались все пишущие друзья и недруги; ужинали, пировали всю ночь и разъехались уже утром. Пушкин казался председателем этого собрания и, попивая шампанское с сельтерской водой, рассказывал смешные анекдоты, читал свои не позволенные стихи, хохотал от резких сарказмов И. М. Снегирева, вспоминал шуточные стихи Дельвига, Баратынского и заставил последнего припомнить написанные им с Дельвигом когда-то рассказы о житье-бытье в Петербурге. Его особенно сместило то место, где в пышных гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов, которые «в лавочку были должны, руки держали в кармамах (перчаток они не имели!)»...

Глядя на пирующих вместе образованных, большею частью, любезных людей, кто подумал бы, что в душе многих из них таились мелкие страстишки и ненависть к тому, у кого они пировали? Только «приличия были спасены», — если позволят употребить здесь выразительный французский идиотизм.

Весною того же года Пушкин спешил отправиться в Петербург и мы были приглашены проводить его. Местом общего собрания для проводин была назначена дача С. А. Соболевского близ Петровского дворца. Тогда еще не существовало нынешнее Петровское, то есть множества дач, окружающих Петровский парк, также не существовавший: все это миловидное предместье Москвы явилось по мановению императора Николая около 1835 года. До тех пор, вокруг исторического Петровского дворца, где несколько дней укрывался Наполеон от московского пожара в 1812 году, было несколько старинных, очень незатейливых дач, стоявших отдельно одна от другой, а все остальное пространство, почти вплоть до заставы, было изрыто, заброшено или покрыто огородами и даже полями с хлебом.

В эту-то пустыню, на дачу Соболевского, около вечера, стали собираться знакомые и близкие Пушкина. Мы увидели там Мицкевича, который с комической досадою рассказывал, что вместе с одним товарищем он забрался в Петровское с полудня, надеясь осмо-

треть на досуге достопамятный дворец и потом найти какойнибудь приют или хоть трактир, где пообедать. Но дворец, тогда только снаружи покрашенный,¹ внутри представлял опустошение; что же касается до утоления голода, который, наконец, стал напоминать Мицкевичу об обеде, то в Петровском не оказалось никаких пособий для этого: в пустынных дачах жили только сторожа, а трактира вблизи не было. В таком отчаянном положении Мицкевич увидел какого-то жалкого разносчика с колбасами, но когда поел колбасы, то весь остальной день мучила его жажда, хотя желудок был пуст. Он так уморительно рассказывал все эти приключения, что слушавшие его не могли не хохотать, а гостеприимный хозяин дачи спешил восстановить упавшие силы знаменитого литвина. Постепенно собралось много знакомых Пушкина, и уже был поздний вечер, а он не являлся. Наконец, приехал Александр Михайлович² Муханов — против которого напечатал свою первую критическую статью Пушкин, вступившийся за m-me Staël — и объявил, что он был вместе с Пушкиным на гулянье в Марьиной роще (в этот день пришелся семик) и что поэт скоро приедет. Уже поданы были свечи, когда он явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение) и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи. Помню, что это произвело на всех неприятное впечатление. Некоторые объясняли дурное расположение Пушкина, рассказывая о неприятностях его по случаю дуэли, окончившейся не к славе поэта. В толстом панегирике своем Пушкину г. Анненков умалчивает о подобных подробностях жизни его, заботясь только выставить поэта мудрым, непогрешительным, чуть не праведником.

Из всего рассказанного здесь мною видно, однако-ж, что Пушкин действовал в отношении к моему брату неприязненно и, вольно или невольно, повредил ему во многом. Конечно, в его воле было затеять свой журнал; но уже одно то, что он не присоединился к «Телеграфу», вдруг переменял свой образ мыслей о нем и стал постоянно отзываться как о ловком шарлатанстве, это уже не могло не повредить Н. А. Полевому и усилило неприязненные действия его противников. Если в письмах своих он не совестился говорить, что в «Телеграфе» существенная часть были моды, то можно представить себе, как отзывался он об этом журнале и его издатель в разговорах своих с теми людьми, которые, и через много лет после смерти Н. А. Полевого, не могут простить ему успехов его и не отдадут ему справедливости? Несомненно, что не лучше отзывался о нем Пушкин и в разговорах с посторонними людьми; а его слово могло сильно действовать на общее мнение. Чем же оправдать такую неприязненность, когда лучшие люди своего времени — князь

¹ Кажется, один нижний этаж его был отделан наскоро. — К. П.

² Алексеевич. — Ред.

Вяземский, Мицкевич, Баратынский и много других, которых авторитета не отвергал Пушкин, были тесно соединены с Н. А. Полевым и уважали его журнал? Теперь никто не станет спорить, что Пушкин во всю жизнь свою был плохой судья в литературе, даже когда бывал искренен; но тут едва ли можно признать в нем даже искренность? Я старался объяснить внезапную перемену его в отношении к моему брату; но раз выступив на ложный путь, он невольно увлекался дальше и дальше, так что, наконец, не стыдился входить в сношения с неблагопристойным, продажным писакой Александром Анфимовичем Орловым и усылал его против Полевого! Об этом я скажу впоследствии.

Теперь остановимся на том, что приезд в Москву и житье там Пушкина были для моего брата только поводом к разным неприятностям в литературных его отношениях. Против него явились: новый неприязненный журнал, под покровительством Пушкина, и авторитет великого поэта, сильно действовавший на публику, которая, разумеется, не знала причин этого явления, и многие, конечно, присоединились к блестящему авторитету. Словом Пушкин сделался неприятелем «Московского Телеграфа», следственно и издателя его; а он, при своих средствах, мог нанести ему существенный вред, хотя бы даже не имел того в виду.

II

Неприятные отношения к Пушкину были не единственным разочарованием для Николая Алексеевича в 1826 году; он начинал уже чувствовать около себя шипение врагов, которые в желании своем вредить ему — не разбирали никаких средств. Любопытным доказательством тому может послужить следующее обстоятельство, которое относится к 1826 году.

В этом году, неожиданно явилась к Н. А. Полевому жена Ходаковского, того оригинала-археолога, которого изобразил я в первой части этих записок. Она явилась с сокрушенным видом, расплакалась и между вздыханий и всхлипываний рассказала, что Зориан Яковлевич скончался и, умирая, говорил ей: «Я не оставляю тебе ничего, кроме долгов; но положение твое может перемениться вот каким образом: после смерти моей поезжай в Москву, к Н. А. Полевому, и скажи ему, что я, на смертном одре, прошу его разобрать мои рукописи, продать их или извлечь из них каким другим способом все, чего они стоят. У меня в бумагах много драгоценного; а Полевой самый честный человек, какого только знаю, и я уверен, что он сделает все возможное для старого своего друга Зориана Ходаковского. Он при жизни много одолжал меня, а по смерти не откажет в моей просьбе оказать тебе благоденствие. Так и скажи ему все, что я говорю теперь тебе».

Рассказ этот, переданный простою женщиной на ломаном русском языке, так растрогал Николая Алексеевича, что он старался как мог ободрить бывшую кухарку, а теперь вдову Ходаковского, выдал ей даже сколько-то денег и обещал исполнить завет старого своего приятеля. Ему было приятно, что Зоран так хорошо оценивал его, и он просил вдову прислать ему рукописи покойного ее мужа, обещая в точности исполнить последнее его желание. Он надеялся, что в рукописях этого чудака найдется хоть что-нибудь, достойное внимания, из чего можно будет выручить сколько-нибудь денег для бедной его вдовы. Через несколько времени она прислала довольно большой сундук, набитый рукописями и книгами и уведомила, что собрала в этом сундуке все бумаги и книги покойного, прибавляя, что сама, по милости господ, у которых жил муж ее, остается покуда в Тверской губернии, с надеждою, что г. Полевой доставит ей средства к существованию. Г. Полевой раскрыл сундук и увидел, что в нем, кроме нескольких толстейших фолиантов, где Ходаковский вписывал городки, о которых узнавал всякими способами, было еще несколько томов разных истасканных, разрозненных книг, исписанных его заметками, несколько экземпляров печатных исследований его о городках и, наконец, довольно большое число тетрадей и отдельных листков, исписанных по-польски. Озадаченный такой плохой находкою, он подумал, что, может быть, в польских рукописях Ходаковского есть что-нибудь дельное, о чем брат мой не мог судить, почти не зная по-польски. Он пересказал это Мицкевичу, Малевскому и молодому, пылкому Дашкевичу, бывшему любимому ученику знаменитого Лелевеля и просил их притти к нему как-нибудь с утра для рассмотрения польских рукописей Ходаковского. В назначенный день они пришли, начали читать его рукописи, и громкий хохот часто прерывал это занятие: большая часть рукописей оказалась списком народных песней польских и разных славянских; как видно, особенною целью Зорана было собирать песни неблагопристойные, хотя иногда очень смешные, отчего так и хохотали его земляки. Кроме этого, были у него какие-то описания и изображения дворянских гербов, разные пустые заметки — и больше ничего. Обманутый в своем ожидании Дашкевич, мечтавший найти что-нибудь историческое в рукописях Ходаковского, назвал его дураком, а Мицкевич и Малевский посмеялись — тем и кончился разбор рукописей хвастливого мечтателя.

Но брат мой увидел себя в досадном положении. Он вызвался вдове Ходаковского извлечь деньги из рукописей покойного ее мужа; но что можно было извлечь из такого вздора, какой он нашел в них? Сначала, он хотел было купить этот вздор, т. е. выдать за него какую-нибудь небольшую сумму и оставить на съедение мышам историческое наследство Ходаковского; но сообразив, что вдова будет иметь поводы воображать, что он воспользовался

стесненным ее положением и купил за бесценок целый сундук золота, — оставил это намерение и приискивал охотника купить рукописи Ходаковского — хоть бы для редкости, или с желанием оказать помощь бедной женщине; но такого охотника не выискивалось, а напечатать из рукописей было решительно нечего, да это и не представляло надежды к какойнибудь выручке. Между тем вдова Ходаковского писала к моему брату, напоминая о его обещании и наконец приехала в Москву. Тут он откровенно объяснил ей все дело, т. е., что в рукописях покойного не нашлось ничего, достойного напечатания, а продать их комунибудь довольно трудно. Вдова ушла, разумеется, недовольная таким разочарованием. Не знаю даже, была ли она грамотная, но уж верно то, что ничего не понимала в рукописях своего мужа и верила на слово ему, что он оставил ей в этих рукописях драгоценность. С такими понятиями, вероятно, она разжаловалась комунибудь из своих знакомых, что Полевой обижает ее, и когда это дошло до друзей Николая Алексеевича, желавших всячески вредить ему, они придумали выставить его чуть не уголовным преступником. Удар казался неотклонимым и привел в изумление самого Николая Алексеевича.

В одно прекрасное утро он получил приглашение явиться к военному генерал-губернатору, князю Д. В. Голицыну. Князь знал его лично и с улыбкою сказал, что де него дошла престранная жалоба на Н. А. Полевого. Вдова Ходаковская представила губернскому предводителю дворянства просьбу, где умоляла его, как законного защитника всех дворянских лиц, принять меры к ограждению ее собственности, которую присваивает себе издатель журнала Полевой. Тут великолепно описывались труды и заслуги, оказанные русской истории Зорианом Ходаковским, который будто бы посвятил свою жизнь изысканиям древностей русских, собрал драгоценные материалы для русской истории и, когда смерть не допустила его окончить свои труды, тогда Полевой выпросил у нее, вдовы Ходаковской, все рукописи и книги покойного ее мужа, обещая издать их в свет, а теперь утверждает, что не нашел в них ничего достопамятного и предлагает взять их обратно, конечно, потому, что он уже выбрал и присвоил себе все лучшее и драгоценное из вверенных ему бумаг Ходаковского. Затем шли воззвания к правосудию, возгласы против вероломства Полевого и излагалось горестное положение ограбленной им вдовы.

Когда Николай Алексеевич прочитал эту бумагу, отданную ему князем, он не мог скрыть своего негодования и тут же сказал ему, что это гнусная клевета. Изложив в коротких словах все дело, он просил позволить ему написать ответ откровенно. «Я прошу вас о том, — сказал князь, — и уверен, что человек ваших достоинств не способен ни на что иное; но не принять жалобы нельзя было, так же как теперь вам необходимо опровергнуть ее».

Я жалею, что у меня не сохранилась копия с написанного брагом моим ответа на жалобу Ходаковской. Это была не приказная бумага, а превосходная защитительная речь, написанная горячо, увлекательно, где он не только опроверг клевету, но и показал всю нелепость взведенного на него обвинения. В коротких словах дал он понятие о значении Ходаковского в ученом мире, упомянул о знакомстве своем с ним, о жалком его положении в последние годы и о денежном пособии, какое он ему оказывал; потом, обращаясь к ученому наследству Ходаковского, он исчислил все найденное в присланном сундуке и в подтверждение, что там не было ничего более, а между найденным ничего дельного, — свидетельствовался соотечественниками покойного, знаменитым поэтом Мицкевичем и друзьями его, гг. Малевским и Дашкевичем, из которых двое первые числились при канцелярии самого г. военного генерал-губернатора. Они вместе с Полевым разбирали и рассматривали бумаги и книги Ходаковского и могли засвидетельствовать, было ли там чтонибудь более, нежели показывает он? Все они — люди ученые по званию и призванию — конечно, заметили бы, если бы между найденным было чтонибудь достойное внимания. В доказательство же, что он не мог утаить чегонибудь из сундука, присланного к нему, просил освидетельствовать этот сундук и увериться, что в нем не могло поместиться более того, что находится; а что не могло быть чеголибо другого, это доказывают сами рукописи, все писанные рукою Ходаковского, и книги, усеянные его заметками. Не мог же Полевой подделать этого! В заключение он не требовал никакого возмездия за клевету Ходаковской, зная, что она женщина простая, вовлеченная в этот поступок злыми советами людей, которые хотели повредить ему.

Действительно, Николай Алексеевич знал и мог бы даже называть людей, которые уговорили невежественную женщину подать низкий извет и забыть все одолжения, которые оказывал Полевой мужу ее и самой ей. Им не трудно было убедить эту женщину, что муж ее, великий ученый и изыскатель древностей, оставил сокровище учености, а Полевой хочет завладеть ими. Самая просьба показывала, что сочинял ее человек, знающий историческую литературу и разные подробности, о которых не могла иметь понятия вдова Ходаковская. Она только уцепилась за этот случай, как за средство получить деньги. К счастью, тогдашний начальник Москвы был столько же просвещенный, сколько беспристрастный судья в подобном деле, и когда он прочитал ответ Н. А. Полевого, то поручил губернскому предводителю дворянства объявить Ходаковской, чтобы вперед она не слушала людей пристрастных и была осторожнее в своих жалобах. Узнав решение князя Голицына, Н. А. Полевой просил губернского предводителя дворянства принять от него сундук с бумагами и книгами Ходаковской, чтобы самому не иметь с нею более никаких сношений. Предводитель

(кажется, тогда был им граф А. И. Гудович) благосклонно исполнил его просьбу, и дело тем кончилось в судебном смысле.

Но враги Н. А. Полевого не умолкли: они не переставали разглашать и даже печатно намекать и утверждать, что он тайком присвоил себе драгоценные рукописи Ходаковского и выдает его изыскания по русской истории за свои собственные. Нелепое это обвинение повторялось много лет сряду: московский Воейков, Надеждин, не посовестился употребить это обвинение орудием против Николая Алексеевича; позднее его повторил М. А. Максимович, который за многолетнее доброжелательство и гостеприимство заплатил моему брату враждою и желанием повредить. В своем месте я объясню это подробнее.

В настоящее время, конечно, никто и не подумает обвинять Н. А. Полевого в присвоении им рукописей и небывалых исторических открытий Ходаковского. Мог ли у такого человека чтонибудь заимствовать Н. А. Полевой, который и по складу ума был совершенною противоположностью ему? Ум Ходаковского был мелочной, а Николай Алексеевич жил идеями и вовсе не умел заниматься мелочными подробностями ни в науке, ни в жизни, ни даже в слоге своем. Он с жадностью хватался за идеи, которые находил у великих современных писателей; но что мог он заимствовать у Ходаковского, который няньчился с одною мыслью о городках и злобно отыскивал мелочные обмолвки у Карамзина?

Впрочем, если мало всех этих доказательств, что враги только хотели оскорбить и очернить моего брата, обвиняя в похищении сокровищ, собранных Ходаковским, то само время оправдало его от такого обвинения. Ни в одном из сочинений автора «Истории Русского народа», так же как и в самой этой «Истории», враги не могли указать того, в чем бессмысленно обвиняли его.

Вспоминая о неприятностях, какие старались делать моему брату литературные друзья, я расскажу еще об одной проделке, которою досаждал ему несколько времени М. П. Погодин, один из деятельнейших его недоброжелателей, и если эта проделка не удалась, то не потому, что не хотел довершить ее г. Погодин.

В конце 1827 года брат мой получил от одного из своих петербургских корреспондентов чрезвычайно любопытную в то время книгу «Жизнь Наполеона», сочиненную Вальтер-Скоттом. Она вышла в свет лишь за несколько месяцев перед тем и имела громадный успех в Европе, но в России оставалась под строгим запрещением. Мы читали до тех пор разборы ее и кое-какие отрывки из нее в иностранных журналах, даже переводили их и печатали в «Московском Телеграфе», и с понятным любопытством принялись читать ее вполне. К удивлению, мы не нашли в ней ничего, что стоило бы запрещения: знаменитый романист порицал и унижал все то, что и в наших книгах порицали, и хотя во многом ошибался,

но хвалил Россию и русских, где приходилось ему говорить о них. За исключением немногих страниц, книга его могла быть напечатана у нас при самой строгой цензуре. Эта мысль поощряла нас заняться переводом «Жизни Наполеона», для того, чтобы напечатать ее. Но как быть с московской цензурой, где председательствовал тогда Сергей Тимофеевич Аксаков, не раз задетый издателем «Московского Телеграфа» за плохие его сочинения, друг театральной партии Писарева и вследствие всего этого непримиримый враг моего брата? Несколько времени он был цензором «Московского Телеграфа» и чинил нам всякие притеснения: черкал самопроизвольно невинные статьи, возвращал иные, требуя, чтобы их переписали хорошо; даже пользовался тем параграфом цензурного устава, где сказано, что цензор должен наблюдать за исправностью слога, и брал некоторые статьи, будто бы худо написанные! Это еще больше раздражило отношения между ним и моим братом, так что, наконец, пришлось просить о перемене цензора для «Телеграфа». Разумеется, если бы такому доброжелателю предоставили решать судьбу перевода запрещенной книги, он не стал бы и рассуждать, когда увидел бы, что перевод принадлежит Н. А. Полевому — он просто донес бы в Петербург, как и сделал впоследствии. При таких отношениях с московскою цензурою, мы решились представить первый том своего перевода в с.-петербургский цензурный комитет, не без основания надеясь, что там будут судить беспристрастно вопрос: можно ли допустить к напечатанию книгу, хотя запрещенную за некоторые страницы, но за исключением их не представляющую в переводе ничего подлежащего запрещению? Мы с братом решили также, что для личного пояснения каких нибудь недоумений я поеду в Петербург, буду там хлопотать, просить, — если бы понадобилось, — самого министра просвещения; а между тем, переводом книги остановились до тех пор, когда разрешат к напечатанию первый том ее. Этот том перевели мы с братом сами, но для ускорения перевода следующих томов имели в виду некоторых молодых своих знакомых, людей способных и сведущих.

Вследствие такого решения я отправился в Петербург (в марте 1828 года), явился там в цензурный комитет и представил свою рукопись, отлично переписанную. Секретарем комитета был тогда г. Комовский, который изумился, взглянув на заглавие моей рукописи и, как бы страшась даже высказать свое мнение русскими звуками о таком ужасном предмете, сказал мне по-французски и вполголоса: «Mais M-r, ne savez vous pas que cet ouvrage est rigoureusement défendu?» (Разве вы не знаете, что это сочинение строго запрещено?) — я отвечал, что, как частное лицо, не могу знать, какое иностранное сочинение запрещено, и уже дело цензурного комитета решать, можно ли дозволить к напечатанию представляемую мною рукопись. К столу секретаря подошли человека

два цензоров и, услышав, о чем у нас шла речь, улыбнулись и сомнительно покачали головою; но в то же время сказали, что об этом деле надобно посудить в общем присутствии. Таким образом рукопись мою приняли, и я на другой же день узнал, что решили доложить о ней министру и испросить его разрешения в таком странном казусе. Через несколько дней мне объявили, что министр приказал рассмотреть рукопись обыкновенным порядком, и если в ней не найдется ничего противного цензурному уставу, то и дозволить напечатать. Для рассмотрения рукопись моя была передана цензору Василию Григорьевичу Анастасевичу.

В следующий день, утром, я пришел к Анастасевичу, который жил тогда в доме Котомина (у Полицейского моста), в одном из верхних этажей. Звоню. Через минуту отворяет дверь милостивый, улыбающийся пожилой человек в длинном сюртуке: это был сам Анастасевич. Не боясь наскучить читателям, я должен передать несколько подробностей об этом замечательном лице. Анастасевич был, кажется, польского происхождения, но в нем ничего не напоминало поляка. Он памятен в нашей литературе несколькими полезными трудами: упомяну о единственном до сих пор хорошем каталоге русских книг, составленном им для библиотеки Плавильщикова (впоследствии Смирдина), и о переводе с польского книги графа Стройновского: «О условиях помещиков с крестьянами», и других подобных. Кроме того, Анастасевич издавал когда-то журнал, писал множество всякой всячины и был заклятый славянофил, или, лучше сказать, ш и ш к о в и а н е ц, то есть приверженец мнений Шишкова, неизменный член Беседы любителей русского слова, за что Батюшков и поместил его в свою остроумную сатиру на эту Беседу и характеризовал, вместе с другим несчастным писателем, в стихах:

Хвала наш пасмурный Гервей,
Обруганный Станевич,
И с польской музою твоей
Холуй Анастасевич! ¹

Услышав мое имя, Анастасевич дружески приветствовал меня и ввел в свою ученую хранилищу. Я не знаю, как назвать иначе его квартиру, которая состояла из двух, может быть, из трех больших комнат, уставленных и загроможденных шкафами, полками, столами с книгами и бумагами, а еще больше картонами разных размеров, где хранились тысячи лоскутков бумаги, исписанных заметками и выписками библиографическими, историческими и всякими, которые он собирался употребить в дело. Над всем этим господствовала

¹ Слово холуй употреблено здесь не в смысле холопа или лакея, а единственно потому, что Анастасевич писал что-то и много о слове холуй в этимологическом отношении. — К. П.

пыль, скоплявшаяся всюду без всякого преследования, потому что Анастасевич жил один одиноконек и не держал никакой прислуги, боясь, что прислуга расстроит у него картонки и лоскутки. Говорили, будто этому была и другая причина: скупость, доходившая до крайних пределов. Как бы ни было, но Анастасевич жил один, без прислуги: по утрам дворник приносил ему горячей воды для чаю, чистил платье и сапоги и оставлял своего жильца посреди его картонов до следующего утра. Анастасевич запирали за ним дверь и оставался, блаженствуя посреди своей пыли, до того времени, когда желудок напоминал ему об обеде. Тогда он одевался и шел обедать к комунибудь из знакомых, где и оставался весь остальной день, а домой возвращался спать. Знакомых, где мог он проводить целый день, было у него много, так что по очереди достало бы на месяц; но чаще, чем у других, бывал он у друзей славянофилов. Хотя Шишков был в описываемое мною время министром просвещения, но Анастасевич посещал его, как и всегда. Много рассказывают анекдотов об Анастасевиче и его скупости; например, когда он, сделавшись болен, не хотел призвать лекаря, а когда знакомый привел ему лекаря, готового лечить его бесплатно, он объявил, что ему не на что покупать лекарств, которые и отпускали ему из аптеки бесплатно, по бедности! Говорят также, что после смерти нашли у него значительные суммы денег, тогда как он при жизни отказывал себе в малейшем удобстве. Я не ручаюсь за все эти рассказы, но сам видел его оригиналом, в роде В. Скоттова антиквария, и готов верить еще одному анекдоту, который очень возможен для такого человека и случился уже после того, как я видел Анастасевича. По обыкновению, он отправился обедать к знакомым, и в отсутствие его оказалась пожар вблизи его комнат в доме Котомина. Пожарные, нашедши комнаты его запертыми, вышибли в них рамы и, увидевши множество картонов и ящиков, начали выкидывать их на улицу, разумеется, думая тем спасти имущество, к которому приближался огонь; но картоны раскрывались на полете от верхнего этажа до земли и покрывали улицу лоскутками бумаги. Между тем Анастасевич услышал о пожаре, поспешил домой, и можно представить себе его отчаяние, когда он увидел свои картоны и лоскутки, разбросанные по улице. Как в насмешку, пожар не дошел до его комнат, был скоро потушен, и пожарные напрасно опустошили его комнаты. Он подобрал, что было можно, из своих сокровищ; но потеря была так велика, что он заболел и уже не выздоровел до конца жизни: зачах от грусти!

Я видел в Анастасевиче человека кроткого, приветливого и даже занимательного своею оригинальностью. Он и говорил, и рассуждал, и даже нюхал табак как-то по своему. Когда дошла речь до моей рукописи, он сказал, что хотя Александр Семенович (так всегда называл он Шишкова) и разрешил цензур-

ному комитету рассмотреть эту рукопись, но ответственность будет, все-таки, на цензоре. «Ведь если бы мы действовали коллегияльно — иное дело! — прибавил он: — а то, вот, комитет решил, а цензор отвечай!» Такие оригинальные отговорки не мешали мне видеть, что главное в моем деле уже кончено: цензор не мог найти в представленной мною рукописи ничего противного даже строгому уставу, бывшему тогда в действии; а рассмотреть ее позволил министр, кто же осмелился бы найти препятствие в том, что рукопись эта была перевод запрещенной книги? Если бы кто спросил: по какому побуждению поступил так либерально в этом случае А. С. Шишков, то я могу отвечать одно: Шишков был человек благородный и беспристрастный (это показал он во множестве случаев); он сам был литератор и глядел на литературу не с одной форменной или бюрократической точки зрения. Он ошибался только там, где не хватало его ума или сил, и был нелеп и смешон лишь в страстных своих убеждениях. Он был полезен и как литератор, потому что всегда действовал добросовестно, по искреннему убеждению, и как министр народного просвещения, потому что не изменял своим правилам, занимая этот высокий и трудный пост. Пользуюсь случаем отдать справедливость человеку, подвергавшемуся при жизни всевозможным нападкам.

Анастасевич рассматривал мою рукопись чрезвычайно тихо, или, лучше сказать, лениво, вероятно, отдавая слишком много времени своим лоскуткам и послеобеденным беседам. Между тем я познакомился с ним довольно близко, особенно проводя вместе много часов у барона Розенкампа, автора ученого исследования о Кормчей книге, бывшего прежде статс-секретарем, если не ошибаюсь, и главным действующим в комиссии составления законов. В 1828 году он был уже болезненный старик, белый как лунь и страдавший подагрой так, что не мог ходить; но лицо его было со свежим румянцем и он отличался юношескою живостью в речах и движениях. В назначенный день, раз в неделю, у него непременно обедал Анастасевич, бывал и я, всегда с удовольствием проводя часы в беседе с умным старцем, который представлял совершенную противоположность с Анастасевичем. Розенкампа был столько же пылок, сколько Анастасевич невозмутимо-спокоен, и, когда они запаривали о чемнибудь, выходила сцена истинно комическая. Розенкампа возвышал голос, лицо его пылало, немецкое произношение путало русские слова в его устах, и он махал руками, покушался вскочить с кресел; но боль в ногах мешала, и он только подымал и опускал их на подушку. Анастасевич в такие минуты умолкал, но едва лишь успокаивался Розенкампа, он хладнокровно повторял свое мнение, и буря снова начиналась. Однажды, говоря о купце Лаптеве, который славился как знаток старинных русских книг и рукописей, Розенкампа назвал

его археологом. Анастасевич возразил, что Лаптев не археолог; Розенкампф вспыхнул и начал доказывать, что Лаптев археолог, и, когда горячность дошла до известной степени, Анастасевич умолк; но едва лишь старец успокоился и уложил на подушку свои ноги, возражатель, преспокойно понюхивая табак, произнес: «А Лаптев, все-таки, не археолог!». Розенкампф чуть не вспрыгнул; вся гимнастика его возобновилась, и полунемецкие фразы полились рекою. И это повторялось несколько раз, так что я едва задушил в себе смех при такой сцене.

Наконец, Анастасевич объявил мне, что он прочел мою рукопись и не нашел в ней ничего подлежащего запрещению, так что готов подписать одобрение, исключивши несколько фраз. Я просил его о том и поспешил уведомить брата о полном успехе нашего предприятия. Но оригинальный цензор мой протянул еще недели две, и при настоятельных моих просьбах подписал рукопись уже в начале июня месяца. Наконец, я получил ее из цензурного комитета, со всеми формальностями, и на другой же день отправился в Москву. Там узнал я, что, между тем, разыгрывалась целая история у моего брата, по поводу этой несчастной рукописи. М. П. Погодин, какими-то неведомыми путями, узнал, что министр дозволил рассмотреть и одобрить к печатанию перевод «Жизни Наполеона», представленный нами в с.-петербургский цензурный комитет. Сообразив, что книга, чрезвычайно любопытная для современной публики, вероятно, даст большие выгоды, когда ее издадут в русском переводе, он вздумал быть участником в этих выгодах, и лично или письменно (не знаю, потому что не был в Москве), объявил моему брату, что также переводит «Жизнь Наполеона», сочиненную Вальтер-Скоттом, и, чтобы не мешать друг другу двойным изданием одной и той же книги, желает войти в сделку с моим братом, то есть издать книгу вместе, или каким-нибудь образом поделить барыши. Николай Алексеевич тотчас увидел, к чему клонится такое вмешательство в его предприятие, и дал какой-то уклончивый ответ. Тогда г. Погодин начал осаждать его и переговорами, и письмами, и увещаниями, и страхом соперничества. Ревностным помощником г. Погодина при этом был г. Шевырев. Долго тянулись жаркие переговоры, памятником которых остаются у меня несколько записок г. Погодина, писанных, по обыкновению его, на засаленных клочках бумаги непочтеными (indéchiffable) почерком и наполненных грубыми выражениями. Наконец, брату моему надоели наглые притязания, которые вели только к досаде и убытку: он объявил, что предоставляет г. Погодину издавать перевод его как он хочет, а свой будет издавать отдельно.

Я не знаю, был ли у г. Погодина какой-нибудь перевод сочинения Вальтер-Скотта, когда ему вздумалось присоединиться к чужому труду, но впоследствии он доказал, что он умеет пере-

водить целые книги в одну ночь;¹ очень могло быть, что он и тут переводил бы по одному тому в сутки и издавал бы перевод, а это непременно повредило бы задуманному нами предприятию, но судьбам угодно было окончить все наши хлопоты иначе.

Не боясь соперничества г. Погодина и даже не веря, чтобы он в самом деле решился издавать другой перевод «Жизни Наполеона», когда ему не удалось без труда сорвать чтонибудь с чужого предприятия, — мы спешили начать печатание процензурованного тома и продолжать перевод следующих томов, которые и были отданы для этого двум или трем способным к тому нашим знакомым. Таким образом на издание нашего перевода потрачено было уже довольно труда и денег. Печатание первого тома приближалось к окончанию, когда был готов перевод двух следующих томов. Тут, кажется, слишком понадеялись мы на беспристрастие С. Т. Аксакова, занимавшего должность председателя московского цензурного комитета, решившись представить в этот комитет второй и третий томы перевода «Жизни Наполеона», вместе с процензурованным в Петербурге и уже отпечатанным первым томом, в доказательство, что нет препятствия цензурировать эту книгу. Мы решились на это для удобства и думая ускорить цензурование. Но когда Аксаков увидел, что в цензурный комитет представлен перевод запрещенной книги, и кем же? Полевым! он выразил благочестивое негодование против беззаконного писателя, велел задержать представленную им рукопись и объявить ему, что дерзкий поступок его будет доведен до сведения высшего начальства. Напрасно брат мой представлял, что если первый том дозволен к напечатанию петербургскою цензурою, и с разрешения самого министра, то московской цензуре не над чем задумываться и она не имеет права отказывать ему в рассмотрении продолжения того же, дозволенного к напечатанию сочинения. Аксаков отвечал, что действия с.-петербургского цензурного комитета ему не указ, а о разрешении министра он не знает ничего официально и представит высшему начальству судить о поступке г. Полевого. Он так и сделал, то есть, вероятно, написал в своем донесении о поступке

¹ С. С. Уваров, бывший министром народного просвещения, посетил Московский университет, и в аудитории г. Погодина, который занимал тогда кафедру русской истории, похвалил мимоходом книжку Демиселя: «История средних веков», 2 части. Угодливый и догадливый профессор, тотчас по выходе министра, воззвал к ревностному усердию своих слушателей и предложил им перевести книгу Демиселя, разорвав ее по страничкам и разделив между собою труд, так, чтобы он был кончен к следующему утру. Это и было сделано. На другой день он поднес министру обыкновенный перевод книжки Демиселя, в доказательство, как дорожат мудрыми указаниями его и он (профессор!), и студенты. Всего лучше, что Уваров не пожурил его за такой фокус, а остался очень доволен! После г. Погодин напечатал этот самый перевод книжки Демиселя и продавал его уже от себя, не знаю для какой или чьей пользы. — К. П.

Полевого, как о неслыханном преступлении против законов. Его ободрило к такому действию особенно то обстоятельство, что Шишков уже не был министром народного просвещения, и место его занял князь Ливен, человек новый, чуждый литературы и смотревший на литераторов вообще, как на людей беспокойных и опасных. По донесению Аксакова, он не стал справляться, виноват ли Полевой, а велел отобрать у него рукопись перевода «Жизнь Наполеона», конфисковать отпечатанные листы первого тома, отобрать оригинал, с которого переводили мы Вальтер-Скотта, и строго спросить и исследовать: откуда и через кого переводчик получил запрещенную книгу? Не знаю, по какому внушению новый министр показал в этом деле столь неуместную строгость, не справившись, или не обратив внимания, что перевод был дозволен к печатанию с разрешения его предшественника — министра, что в этом переводе не было ничего преступного, что запрещенные книги множество раз бывали разрешаемы к обращению в публике; но кто же мог, или посмел бы противоречить сердитому министру?

Приказания его исполнили буквально и, таким образом, предприятие наше рушилось, с немалым убытком для нас. Конечно, мы могли бы, основываясь на цензурном же уставе, требовать вознаграждения убытков от напечатания I тома, дозволенного к тому цензурою и потом запрещенного высшим начальством; но такое взыскание пало бы на невиноватого цензора, доброго приятеля нашего Анастасевича, который честно и добросовестно исполнил свою обязанность. Такого вознаграждения нельзя было допустить, и мы принуждены были только вздохнуть о труде, совершенно потерянном, о неудовольствиях и убытке, нам причененных нашим предприятием. Предоставляю читателям судить о поступках при этом гг. Погодина, Аксакова и князя Ливена. В доказательство самопроизвольности, с какою поступил последний, я скажу только одно: через три или четыре года потом «Жизнь Наполеона», сочиненная Вальтер-Скоттом, была напечатана в русском переводе де-Шаплета, и даже не один раз. На каком же основании ту же самую книгу не позволили печатать нам? Разве она изменилась или выдыхлась в три года? Ясно, что тут действовал один произвол, вызванный нашими литературными неприятелями.

Впрочем, надобно сказать, что мы смотрели тогда на С. Т. Аксакова не как на литератора, и на нем вполне осуществились стихи Грибоедова:

На свете дивные бывают превращения
Одежд и климатов, и нравов, и умов!
Есть люди важные, — слыли за дураков,
Иной по должности, иной плохим поэтом,
Иной... боюсь назвать, но признано всем светом,
Особенно в последние года,
Что стали умны хоть куда!

Мало сказать, что Аксакова почитали плохим стихотворцем, он был в ту пору смешон своими претензиями на литературу, не написавши ничего, даже сносного. В обществе Шишкова, как он сам рассказывает в «Записках о своей жизни», он был даже не славянофилом, а только угодником. Я не знал его лично (видел раза два мимоходом), но много слышал о его похождениях в свете, и это не могло внушить желания сблизиться с ним. Больше всего он терся в кругу разурмяненного Кокошкина (особенно с тех пор, как этот сделался директором московского театра) и жил в большой дружбе с актерами и актрисами; но несмотря на безграничное сближение с этим миром, ему плохо удавались попытки сделаться театральным автором, и сочинения, даже переводы его не находили себе приюта на сцене, оттого, что были плохи из рук вон! Приятель мой В. А. Ушаков, бывший потом сотрудником «Телеграфа» по части театра, не мог говорить о сочинениях Аксакова без смеха и жестоко преследовал его за перевод «Школы мужей» и «Скупого» Мольера. Но он умел ловко обдeldывать дела мира сего. Он первый умел получить место цензора в московском цензурном комитете при его преобразовании, хотя не было ничего лестного быть цензором при тогдашнем (1827 года) цензурном уставе, чрезвычайно строгом и противоречивом; даже умел упрочить себе это место и заслужить такую доверенность начальства, что во все время действия устава 1827 года занимал должность председателя московского цензурного комитета. Я упоминал, как он пользовался своею властью по цензуре в отношении к Н. А. Полевому. Другьям своим, напротив, он позволял печатать почти все, что они хотели. Это положение сделалось бы, наконец, нестерпимо для издателя «Московского Телеграфа», если бы вскоре обстоятельства не изменились к лучшему.

III

Как раз в то время, когда «Московский Телеграф» наиболее страдал от несправедливых притеснений Аксакова, в помощь к нему (или уже после него, не помню) выступили два достопамятные человека: Владимир Васильевич Измайлов и Сергей Николаевич Глинка. Не могу написать этих имен без характеристики, какой они заслуживают.

В. В. Измайлов был издавна известен как самый страстный последователь и подражатель Карамзина, удачно усвоивший себе его способ выражения, но доведший до крайности сентиментальное одушевление, каким отличались первые сочинения забытого творца русской прозы. «Путешествие в полуденную Россию» Измайлова написано легким слогом, напоминающим Карамзина, и вместе пропитано сентиментальностью, доведенною до смешного. Таков,

хотя не в равной степени, общий характер и других сочинений В. В. Измайлова, который в жизнь свою много писал, переводил, издавал журналы («Патриот», и в 1814 году «Вестник Европы»). В 1827 году он был уже дряхлый старичок, с отвисшей губою, говорил пришепетывая, но всегда свысока, и напоминая сантимальностью свои сочинения. Как цензор, он действовал честно и благонамеренно; мы отдохнули, когда он стал цензуровать «Московский Телеграф» после Аксакова.

Другой цензор был Сергей Николаевич Глинка, одно из оригинальнейших лиц, встреченных мною в жизни. Память о нем жива и теперь для всех, кто знал его, и особенно знал близко; но для потомства надобно сохранить хоть некоторые черты его жизни. Он принадлежит к даровитой фамилии Глинок, родовых смоленских дворян, и сам отличался необыкновенными качествами ума и еще более — души. В малолетстве, по редкому стечению случайностей, самую Екатерину Великою он был записан в 1-й кадетский корпус и получил там воспитание и образование, в блестящий период, когда корпусом управлял принц Ангальт. Сергей Николаевич недолго оставался в военной службе и вышел в отставку майором, желая вести независимую жизнь и заниматься литературой, которую любил страстно. Он поселился в Москве и провел там жизнь свою до старости. Лет тридцать, если не более, вся Москва знала Глинку за его оригинальность, и только немногие могли оценить высокую его душу и блестящие дарования, потому что все закрывала в нем странность его поступков, жизни и даже разговоров. Наружность его поражала с первого взгляда. Высокий, мощный, он, вероятно, был красивый мужчина в молодости; он до такой степени пренебрегал всем наружным, что это доходило, наконец, до цинизма. Можно было ручаться, он никогда не бреет бороды, хотя он уверял, что бреется каждый день — «в две минуты и без зеркала, мой любезнейший!» — как он говаривал обыкновенно. Правда, бритва оставляла некоторые следы на лице его: порезы, выбритые полоски; но клочки и кусты волос торчали по всему его подбородку, осененному густыми бакенбардами. Видно, метода бриться «в две минуты и без зеркала» не много пособляла опрятности лица. Костюм его был неизменен, уже с незапамятных времен: широкий синий фрак с стоячим двойным воротником и с обтянутыми сукном пуговицами; синие панталоны в сапоги, какие остаются ныне только у гвардейских гусар (то есть сапоги с высокими выпуклыми голенищами и с кисточками); белый пикейный жилет и черный гаустух, в роде веревочки, — таков был неизменный костюм Сергея Николаевича, с утра до ночи, в праздники и в будни. В непогоду и зимою накидывал он на плечи свои, сверх фрака, серую шинель, также с двойным стоячим воротником, нечто в роде чуйки, но без ватной подкладки и без меху, даже зимою. В сильнейшие морозы надевал он, для переезда по улицам, нанковый сюртук сверх фрака,

и уже на это накидывал свою шинель; но шубы не знал и не употреблял никогда. Едва ли бывал день в году, в который бы Сергей Николаевич оставался дома: он, кажется, с утра до вечера был в разъездах, и всегда находил спешные дела, отчего вечно торопился, и любил засиживаться только на обедах и вечерах у приятных ему людей. Езда его по улицам Москвы бывала своеобразна, как все, что делал он. Обыкновенно, возницей себе избирал он сквернейшего в а н ь к у, и тот мог тащить его как хотел, потому что Глинка вечно мечтал и даже декламировал, сам не подозревая того. Весною, когда по улицам московским трудно ездить, он иногда брал двух извозчиков: одного с санями, другого с дрожками-калйбером; ездил в санях, где оставалась санная езда, и пересаживался на дрожки, где нельз я было ехать иначе, как на колесах. Пешком он не отправлялся странствовать по своим делам; но зато любил прогуливаться по Девичьему полю, близь которого жил: в «приходе Неопалимыя Купины в доме аудитора Подчиненного», — я и теперь помню этот адрес, который много лет печатали на всех изданиях С. Н. Глинки. Там он жил до самого выезда своего из Москвы и в редкие свободные часы выходил прохаживаться по Девичьему полю. Окрестные жители все знали его, и когда их спрашивали о нем, то обыкновенно отвечали: «Как не знать Глинку! Этот тотто, что по Девичьему полю разгуливает, да все бьет себя по спине палкой». В объяснение должно прибавить, что Сергей Николаевич, один на прогулке, или даже на переходе по улице, впадал в мечты, забывал все окружающее, напевал, мурлыкал что нибудь, декламировал и, закинув руки за спину, размахивал тростью и чаще всего ударял себя ею по спине. Он шел, сам не знал куда, поворачивал влево, вправо, иногда оборачивался и шел назад; вдруг поворачивался и шел опять вперед, так что проходил очень немного пространства. Помню, что однажды, в воскресенье, день, в который он обедал у нас в продолжение нескольких лет, Сергей Николаевич явился как-то раньше обыкновенного и, увидевши, что еще до обеда остается больше часа, сказал, что он успеет сходить к соседу нашему Селивановскому, которого дом был саженьях во ста от нашей квартиры (мы жили на Большой Дмитровке, в доме, принадлежащем ныне генералу Бартоломею). Уверяя, что ему крайне нужно видеться с Селивановским, он убежал, обещая вернуться к назначенному времени. Прошло с полчаса, когда кто-то, нечаянно взглянув в окно, увидел Глинку, идущего зигзагами по улице, и все бросились к окну наблюдать нашего гостя. Зрелище было достойно того!

Сергей Николаевич шагал раза два, три; останавливался, рассуждал сам с собою, иногда размахивал руками, шел в сторону, даже назад; и таким образом почти не подвигался вперед. Налюбовавшись им, мы послали просить его к себе, потому что уже пора было садиться за стол; и он воротился, не дошедши до дома Селивановского! Всегда, но за обедом особенно, он бывал любезен, не-

истоцим в рассказах, потому что находился в сношениях почти со всеми известными современниками; а в 1812 году играл видную, почти политическую роль. Сделавшись известным своим «Русским Вестником», журналом, который издавал он много лет и с ожесточением порицал в нем нашу неизлечимую подражательность всему французскому, Глинка, в 1812 году, получил от главнокомандующего в Москве графа Раstopчина, также знаменитого ненавистника французов Наполеонова времени, поручение — всеми средствами способствовать возбуждению ненависти к неприятелям, опустошавшим тогда наше отечество. Ему ассигновано было, кажется, 300,000 рублей на издержки по этому поручению. Глинка говаривал нам много раз, что не взял ни копейки денег; но он сделался, можно сказать, народным трибуном, и для встречи императора Александра, при ожидании приезда его в Москву, за Глинкою шло несколько десятков тысяч человек. Государь пожаловал ему в это время орден Владимира 4-й степени при милостивом рескрипте, где было именно сказано, что он получает награду «за любовь к отечеству, доказанную его деяниями и сочинениями». Тогдашняя ненависть его к французам была глубокая, искренняя, и надобно сказать, что после Тильзитского мира это чувство было во всех мыслящих русских; но у Глинки все выражалось оригинальным образом. Брат его, вдохновенный наш поэт Федор Николаевич Глинка, рассказывает в своих «Письмах русского офицера», что, проходя с армией через Москву, незадолго перед вступлением в нее французов, он застал Сергея Николаевича истребляющим свою французскую библиотеку: лучшие французские книги, разорванные, валялись по комнате и он топтал и уничтожал их с озлоблением. Вот еще черта тогдашнего его одушевления. Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. Н. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: — «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!» Карамзин прижался в уголок своей коляски и, раскланиваясь с Глинкою, спешил удалиться, боясь, что он сделает с ним какую нибудь историю. Этот анекдот слышал я от А. С. Пушкина, которому рассказывал его сам Карамзин. Мы не раз сердили добродушного Глинку, повторяя анекдот, шедший от Карамзина, и спрашивали — «Где вы, С. Н., достали арбуз в это суматошное время?». Сначала он отрицал все; но наконец припомнил, что точно видел Карамзина у заставы и бранил его: «Но уже ел ли арбуз при этом, не помню! Ну, да что-ж, если и ел арбуз?»

Необходимо дополнить, что в то время, когда мы стали знать С. Н. Глинку, он был уже не ненавистник, а обожатель французов: читал наизусть целые страницы из славных французских сочинений, сам писал по-французски и любил выражаться на языке французов. Еще за несколько лет прежде он напечатал свой французский перевод некоторых избранных «Писем русского офицера», а в это время даже отговаривался, когда мы называли его патриотом. «Я филантроп, а не патриот», — говаривал он и доказывал, что слово патриот означает понятие узкое, что патриотом можно быть временно, а филантропом должно быть всегда. У него все переходило в крайности: наконец он даже заикался писать по-русски и хотел писать не иначе, как на языке всемирном (*la langue universelle*), — так он называл французский язык. Надобно заметить, что он обладал им в превосходной степени; говорил на нем свободно, чисто, избранными фразами, зная, можно сказать, наизусть писателей цветущего века французской литературы. Фламять у него была удивительная: он помнил все славные французские песни и распевал их, аккомпанируя себе на фортепиано — «одним пальцем», — как говаривал приятель его Кашин, старинный музыкант. Истинно комическая сцена представлялась, когда Кашин разыгрывал свои русские песни, и Глинка, слушая их, сердился; отчего — вы думаете? Оттого, что не понимал, будто бы, откуда берутся эти русские звуки и напевы, от которых «плакать хочется»? Он утверждал, что в России ничего нет; что даже нет самой России, «а русские звуки есть!» Скептицизм его доходил до того, что он почитал в России все призраком, не верил подлинности русских летописей, и со смехом восклицал: «Да какие летописи: все выдуманно!» У Глинки не было ничего ложного и убеждения его были искренни; только подвижная природа его духа была способна к изменчивости, и он являлся всего чаще в противоречии с своим прошедшим, даже вчерашнего дня, поддаваясь каждому сильному впечатлению. Одно было в нем неизменно: благородство, возвышенность души, которая и заставляла его презирать наружным и дорожить только тем, что почитал он истинным и согласным с достоинством человека. Он был христианин в истинном значении слова. Никогда и никого не обидел он, а сам всегда прощал и забывал обиды. Бескорыстие его доходило до безрассудства, по обыкновенному понятию человеческого: он тратил деньги, не соображая ничего, и раздавал много милостыни, так что часто оставался без гроша. «Русский Вестник» приносил ему значительный доход, другие издания его тоже почти все расходились хорошо. Донцы, которых он превозносил с увлечением в своем журнале, после 1812 года упросили его завести пансион для воспитания их детей; и это одно могло бы обеспечить его положение. Смоленские дворяне поднесли ему в дар около 10,000 рублей, в изъявление своей признательности, как своему сословному, делающему им честь. Но Глинка был

вечно без денег, и куда они шли у него — сам не знал. Жил он всегда тесно, бедно, и постепенно уронил все предметы своего дохода, потому, что не умел ничего поддерживать. «Русский Вестник» умер от неаккуратности, небрежности его; пансион закрылся от недостатка в деньгах; и бедный Глинка бился как рыба об лед. Он издавал старые и новые свои сочинения, и они хоть немного поддерживали его. Каждый день заезжал он в почтамт справляться, не прислано ли к нему денег; а в крайности забегал к своему другу экспедитору газетной экспедиции Жарову (тоже оригиналу немалого размера) и занимал у него несколько рублей, даже рубль, до будущей присылки денег. Но тут бывали с ним новые истории. Он никогда не отказывал просящим милостыни, если была хоть копейка в кармане; нищие, разузнав, что он всегда получает из почтамта деньги, обыкновенно ожидали его при выходе из газетной экспедиции. Однажды, он получил там 50 рублей, присланные к нему. При выходе нищие окружили его. Глинка пошарил в карманах и, не находя там ничего, кроме только что полученной 50-тирублевой бумажки, бросил ее нищим, говоря: «Ну, больше ничего нет! Только разделите между собой честно!» И отправился прямо к книгопродавцу Ширяеву занять рубль, чтобы не воротиться домой с пустым карманом. Клеветали на него, будто он вел разгульную жизнь и был пьяница. Почитаю долгом спровергнуть эту клевету, основанную всего более на известных стихах злого Воейкова:

... на лежанке
Истый Глинка восседит:
Перед ним дух русский в стклянке,
Не откупорен стоит!

Я знал Глинку в продолжение многих лет. Он любил выпить рюмку водки, выпивал за обедом бутылку вина, бывал, что называется, навеселе; но ни разу не видал я его пьяным и не слышал от своих знакомых, чтобы они видали его в опьянении. Он делался от лишней рюмки еще нелепее, если можно так выразить высшую степень того характера, каким всегда отличался Глинка в обхождении. Он обыкновенно и всегда был в каком-то подвижном состоянии, двигался, вертелся огромным своим телом, подпрыгивал неуклюже, а за обедом разбрызгивал и разбрасывал кушанье, попадал рукавом в суп и без умолку продолжал речь, переходя от одного предмета к другому. Один знакомый наш, глядя на него, сказал: «Что это, брат Глинка-то, что за бурда такая!» Но лучше всех характеризовал его Н. И. Греч, когда, приехавши в первый раз в Москву и поездивши по московским улицам, он сказал, при посещении моего брата: «Знаете ли, Николай Алексеевич: я думаю, Москву строил С. Н. Глинка!» В самом деле, Глинка напоминал собою зигзаги и особенности московских улиц и кривых переулков. Неудивительно, что незнавшие его близко иногда принимали его за пьяного, когда он бывал только в обычном своем настроении, под-

прыгивал, подплясывал, вертелся угловато и распевал романсы и песни. Но душа в нем была всегда чистая, младенческая! Он не боялся насмешек и пересудов, потому что не боялся ничего в мире, и очень хорошо выразил это свойство свое, сказавши: «Я прихожу в трепет только в одном случае: когда вижу ребенка на открытом окне четвертого этажа!» Сильные мира не устрашали его, и он никогда и ничего не искал у них, а, напротив, при случае высказывал свой независимый характер. Последний из бояр Екатерининского века, enfant gâté de la Cour, как называли его, один из первых богатей и вельмож русских, князь Сергей Михайлович Голицын был, между прочим, несколько лет попечителем Московского университета в то время, когда Глинка оставался еще цензором; а цензурный комитет был подчинен попечителю университета. Князь Голицын вовсе не занимался своею должностью, не допускал к себе просителей по университетским делам и отклонял от себя дела университета, дорожа своим драгоценным временем — бог знает для чего. Говорили, что он принял должность попечителя университета единственно по желанию государя императора и хотел только поскорее освободиться от нее. Разумеется, такой вельможа ни разу не бывал в цензурном комитете, хотя по уставу был председателем его. Но когда ему надули в уши, что цензор Глинка, по стачке с издателем «Московского Телеграфа» пропускает в этом журнале безбожные и законопротивные статьи, Голицын неожиданно явился в заседание комитета и тотчас, в присутствии всех членов его, обратился к Глинке с грозным выговором, называя его статчиком с неблагонамеренным журналистом, обвиняя в неисполнении обязанностей и присяги по службе. Глинка возражал, но, вскоре выведенный из терпения, вскочил, обратился к портрету императора Александра I, висевшему над председательским местом, и, уже не обращая внимания на Голицына, начал речь, в роде воззвания к тени умершего императора: «Государь, победитель врагов России, названный от всей России благословенным! Ты, в благодати своей, наградил меня выше заслуг, признав во мне любовь к отечеству, доказанную моею жизнью и сочинениями! Теперь, когда перед твоим ликом называют меня неверным своему долгу, своим обязанностям, и подозревают в неблагонамеренности, я обращаюсь к тебе, протестую против обвинения и возвращаю тебе знак твоей милости, данный мне как прямому сыну отечества!» . . . С этими словами он сорвал с своей петлицы Владимирский крест, положил его на стол, за которым происходило заседание, и выбежал из комнаты. «Голова моя горела, — рассказывал Глинка, — и когда я вышел в переднюю комнату, кровь хлынула из моего горла!»

Не знаю, какое впечатление произвела эта сцена на князя Голицына, но после нее Глинка недолго оставался цензором и вышел в отставку. Голицын не мстил ему, потому что в основании был человек добрый; может быть, ему даже не хотелось продолжать

начатой им историй, в которой он не мог оказаться правым, и он прекратил ее, когда увидел, что слова его не устроили того, кого хотел он припугнуть, по обычаю многих начальников.

Говоря откровенно, Глинка не годился в цензора, когда от них требовали мелочной внимательности, и они не имели никаких определенных правил, что можно и чего нельзя было дозволить к обнародованию. «Как можно судить мысль и намерение человека? — говаривал Глинка. — В самых невинных словах может быть злое намерение; а как я угадаю это?» Он выражал этим мысль справедливую в обширном смысле; но был несносен тем, что вследствие своих убеждений и своего характера подписывал все, не читая! . . . Он не только не скрывал этого, но говорил во всеулышание, что действует именно так. Я сам слышал, как он повторил много раз: «Дайте мне стопу белой бумаги, я подпишу ее всю по листам как цензор; а вы пишете на ней что хотите! Да! Я не верю, чтобы нашелся такой человек, который употребил бы во зло доверенность цензора, когда притом он и сам отвечает за то, что пишет». Когда он был цензором «Московского Телеграфа», мы тщетно уговаривали его оставить избранную им систему; просили читать внимательно все присылаемое к нему для рассмотрения, исключать или, по крайней мере, замечать, что несогласно с инструкциею цензору. Писатель не может знать множество отношений, известных только цензуре. Но, повторяю, убеждения были тщетны: Глинка подписывал одобрение цензорское на рукописях и корректурах, не читая их. Когда дозволено было представлять журнальные статьи на рассмотрение цензорам в корректурных листах, мы бывали иногда в затруднении: Глинка оставлял или забывал их у себя, и так как его большею частью не бывало дома, то случалось не раз, что уже вся книжка кончена набором, а цензор еще не подписал ни одного листа к печатанию; приходилось отыскивать его по городу, и он, где нибудь отысканный, вдруг подписывал все листы. Опыт доказал, однако-ж, что система Глинки была не совсем дурна: он несколько лет оставался цензором и, кроме схватки с князем Голицыным, не получал никаких замечаний от высшего начальства, когда товарищи его, внимательные к тому, что прочитывали, не раз получали выговоры и замечания. Если не ошибаюсь, он был смнен и высидел две недели на гауптвахте за какую-то пустейшую статейку, где нашли личности против каких-то сановных лиц;¹ но, прочитывая эту статейку с самым строгим вниманием, нельзя было открыть в ней ничего преступного, и всякий цензор подписал бы ее — и попал бы на гауптвахту!

Я упомянул о его аресте на гауптвахте и не могу отказать себе в удовольствии посмеяться читателя рассказом, как невинный арест

¹ Статья была напечатана в «Московском Вестнике» или в «Телескопе», — не помню хорошенько, а справляться не стоит. — К. П.

стант проводил своё время под стражею. Сначала его посадили на гауптвахту, бывшую во дворе сената (в Кремле). Когда знакомые Глинки — а кто не знал его в Москве? — услышали, что он сидит на гауптвахте, многие поехали навестить его. Число посетителей увеличивалось беспрестанно, так что через несколько дней сенатская гауптвахта представляла что-то в роде гулянья: подле нее было всегда несколько экипажей, и гостей у Глинки собиралось иногда так много, что в небольшой, занимаемой им комнате бывало тесно. Он был очень рад этому, встречал всех с веселым лицом, смеялся, шутил и говорил без умолку, или пел французские романсы, сопровождая себе на маленьком фортепиано, которое велел привезти себе из дому. К нему привозили всяких припасов, фруктов, вина, и он пировал сам и угощал посетителей. Раз, в веселом расположении, он вздумал угостить солдат, державших караул на гауптвахте, достал как-то полведра пеннику и отдал его солдатам, приглашая их выпить за здоровье всех добрых людей. Офицер, видно, не досмотрел этого и встревожился, когда увидел своих солдат пьяными и готовыми кричать «ура» Глинке. Он тотчас донес об этом по начальству; явился плац-майор, добрый толстяк, кажется, даже приятель Глинки, и, вероятно, сам смеясь внутренне, стал объяснять ему, что арестант не имеет права подчивать водкою своих стражей. Глинка восстал против него, засыпал его филантропическими возгласами, и тот, видя, что с ним не сговоришься, почел необходимым доложить коменданту о необыкновенном происшествии, случившемся на сенатской гауптвахте. Комендант приказал перевести Глинку на главную гауптвахту (бывшую тогда под Ивановской колокольнею) и держать его там построже. На другой день, плац-майор явился для исполнения приказа коменданта, но не рано, когда у Глинки была уже толпа гостей. После нескольких обиняков, он объявил ему, что комендант приказал перевести его на главную гауптвахту. Глинка запрыгал и, прищелкивая, задел какую-то французскую песню. «Очень рад, очень рад!» — сказал он потом. «Приятно прогуляться по чистому воздуху! А приятели проводят меня!» — прибавил он, обращаясь к своим гостям. «Фортепиано пойдут со мной под арест и туда: дайте же мне людей перенести их!» — сказал он плац-майору. Вскоре все вещи Глинки были захватаны гостями, слугами их и несколькими инвалидами; началось шествие от сената до Ивановской колокольни: впереди шел Глинка с плац-майором; вокруг них и позади толпа гостей арестанта, которые несли кто кисет, кто трубку его, кто кружку и все остальное. Тут же несли фортепиано. Все это составляло невиданную процессию, не унылую, а веселую и смешную импровизированную комедию.

С ликованием Глинка водворился в новой своей квартире. Плац-майор не мог же гнать гостей его, видя в них по большей части людей порядочных; так это и продолжалось до окончания ареста Глинки, неожиданно сократившегося тем, что из Петербурга дано

было знать о немедленном освобождении заключенного цензора, которого назначено было продержатъ под арестом три дня, а по ошибке или недоразумению написано было: три недели. Плац-майор был рад освобождению его чуть ли не больше всех и уверял, что никогда еще не бывало в ведении его такого беспокойного арестанта.

Мы видим, что Глинка шутя переносил подобные неприятности, никогда и ни на что не жаловался, не скорбел ни от каких стеснений и неизбежных в жизни несчастий. Но когда клевета вздумала запятнать его честь, благородная душа его взволновалась, и он уехал из Москвы навсегда. Вот как это случилось. Один мерзавец, тогда еще не разгаданный, имеющий формы порядочного и даже светского человека, болтун и злоязычник, ни с того ни с сего стал повторять в разных обществах, что С. Н. Глинка — тайный шпион, которого надобно остерегаться; что он прикрывает простодушием и громким либеральством злонамеренность и доносит на тех, кто говорит с ним неосторожно.

Глинка сначала не понимал холодности, которую стали оказывать ему некоторые знакомые; наконец, видя что-то недоброе против себя, стал внимательнее, и когда один из близких людей сказал ему, какие слухи распространены в обществе на его счет, Глинка, чистый в душе, был уязвлен и поражен этим так глубоко, что решил оставить Москву навсегда, немедленно собрался и уехал сначала на свою родину, в Смоленск, а оттуда в Петербург, где и провел остальные годы своей жизни. Люди могли бы истолковать, может быть, и истолковали это не в его пользу, повторяя: «Бежал от стыда! Совестно было ему глядеть в глаза честным людям!» Но Глинка не совестился тех честных людей, которые готовы верить самой нелепой клевете и приносить в жертву честное имя, заслуженное целою жизнью. Он сам говорил мне после: «Если я, слишком тридцать лет прожив в Москве, не удостоен от нее уверенностью, что я честный человек, то я уже не могу жить в ней, с людьми, которые глядят на меня, как на предателя. Я не могу оставаться там, где отнимают у меня одно, чем я дорожу». Почти то же выражал он в письме ко мне из Смоленска.

Глинку поразило именно то зло, которым он гнушался всего более, почитал его редким явлением в сердце человеческом, и на этом-то основании говорил всегда откровенно, не стесняясь, и, бывши цензором, позволял все печатать. «Les livres ne se dénoncent pas; on les dénonce!» (Книги не доносят сами на себя; на них доносят) — восклицал он, не предполагая, чтобы в книге могло быть что-нибудь злоумышленное, и думая, что если человек и проговорится, так это не беда; а люди, даже злые, редко решаются представлять белое черным. Кардинал Ришельё радовался легкости клеветы, когда говорил: «Donnez-moi deux lignes du plus honnête homme, je le ferai pendre!» (Дайте мне две строчки честнейшего человека и я сделаю его достойным виселицы). А Глинка не верил,

чтобы клеветники и доносчики не были исключительным явлением. Кажется, я сказал уже, что сам он ни о ком не говорил дурного, и если при нем разговор переходил в обыкновенное человеческое злословие, он вставал со своего места, начинал подпрыгивать (т. е. делать какие-то угловатые движения, только ему свойственные, для которых надобно изобрести новое слово) и запевал какойнибудь французский романс, совершенно противоположный разговору.

В последний раз я видел Глинку незадолго перед его смертью. Это было зимою 1846 — 1847 года, когда я жил временно в Петербурге, и давно не слыхал ничего о старом, всегда уважаемом мною приятеле. Из знакомых никто не упоминал о нем. Неожиданно я получил приглашение посетить его. В письме, писанном не его рукою, он упоминал, что по болезни не может посетить меня сам. Я отправился по его адресу на Сергиевскую улицу, близ Таврического сада, где занимал он квартиру во флигельке какого-то полуразвалившегося дома. Я изумился, когда увидел Глинку слепого: он в последние годы свои имел несчастье лишиться зрения. Можно было бы предполагать, что этот живой, огненный человек нетерпеливо переносил свое ужасное несчастье; напротив, он еще больше изумил меня своим смирением, своею преданностью провидению. Лишенный возможности ходить свободно, он совершенно отказался от света, почивая слепоту свою указанием божием для новой жизни, и почти не выходил из своей квартиры, а так как движение было ему необходимо, то он велел протянуть в комнате веревочку и, держась за нее, расхаживал, сколько ему хотелось. Я радовался, глядя на него, совершенно преобразившегося в новом несчастье. Черты лица его приняли какое-то глубокое, благородное выражение, все лицо, прежде всегда горевшее багровым румянцем, было бледно, и хотя он вообще был расстроен в здорovie, однако был совершенно спокоен и с услаждением говорил, что скоро надеется перейти в другой, лучший мир. В речах его не было прежних, иногда пустых, надутых фраз и сентенций, которые повторял он по привычке. «Чем вы занимаете свое время?» — спросил я. — «Молюсь, размышляю, вспоминаю о прошедшем, слушаю библию и повторяю псалмы Давида», — отвечал он и, указывая на молоденькую дочь свою, тут же бывшую, прибавил: «Et voici ma lectrice et ma consolatrice! Она всегда при мне». Он с благодарностью говорил о своей супруге и обо всех, кто любил его. — «Жалею, что теперь никто не навещает меня», — сказал он. Из всех старых знакомых, только князь Пётр Андреевич Вяземский посетил слепого Глинку. «Он истинно утешил меня своею беседою и я душевно благодарен ему». Он сказал мне, что затем просил и меня к себе, чтобы в моем лице выразить благодарность всему нашему семейству за многие часы, проведенные с нами, и за неизменную дружбу нашу. Я расстался с ним сердечно расстроенный и надеялся ещё увидеть его; но, живя на другом краю города, в заботах и хлопотах жизни, не успел побывать у него

до начала весны, когда неожиданно прочитал в газетах известие о его смерти и вместе приглашение ко всем друзьям покойного на отпевание тела его в церковь Волковского кладбища. Я поехал туда и бросил горсть земли на его гроб, который отнесли мы из церкви до могилы.

Надеюсь, что читатели не посетуют на меня за длинное отступление от главного моего рассказа. Я не мог не заговориться, начав речь о Глинке, достопамятном и своею оригинальностью, и необыкновенными качествами ума и души. Мы видели, что при начале издания «Московского Телеграфа» Сергей Николаевич сердился за неблагоприятный отзыв о его «Русской истории», напечатанный в этом журнале. Но его младенческое сердце не знало злобы, и с первой встречи с моим братом он полюбил его, сказал, что сам знает цену своей книги, и что сердился только за выражение о ней, которое перетолковывали не в его пользу. Вскоре он сделался искренним ближайшим нашим приятелем, собеседником, и в таких отношениях оставались мы до выезда его из Москвы. Он как родной участвовал во всех наших семейных праздниках, и хотя по пылкости, странности и даже угловатости характера не был способен к сближению умственному, но по сердцу, по душе, по благородному направлению был одним из самых близких нам людей. Мы дорожили им как неподдельным человеком, какие встречаются редко. Излишняя пылкость, увлекательность была недостатком его, но за то о нем можно было повторить слова спасителя: «Сей есть израильтянин, в нем же несть лести». Искренняя привязанность такого человека была почетна для моего брата.

В продолжение того времени, когда Глинка был цензором «Московского Телеграфа», один раз угрожали ему большие неприятности, и брат мой был невольною причиною их, потому что это было не иное что, как новая попытка неприятелей стереть Полевого с лица земли, или, по крайней мере, уничтожить его журнал. В неумолкавшей полемике с «Вестником Европы», он как-то резко выразился об издателе его, профессоре Каченовском. Я показал уже до какой пошлости, можно сказать, низости доходил Каченовский в бранных своих выходках против моего брата, который не мог же всегда отмалчиваться. Но дряхлый профессор разжаловался на него своим сослуживцам и, вероятно, внушил им мысль, которую они привели в исполнение самым любезным образом. В собрании университетского совета была прочитана статья «Московского Телеграфа», будто бы оскорблявшая в лице Каченовского, почетнейшего между сочленами, все их сословие. Ни один голос не восстал против этого нелепого обвинения, и все присутствовавшие подписали прошение к министру народного просвещения, где выставляли издателя «Московского Телеграфа», как оскорбителя ученого сословия и просили расправы с дерзким своевольником, а еще более с явным его сообщником,

цензором Глинкою, который позволяет ему печатать все, что он хочет. Знаю, что в числе подписавших такую просьбу не было Ивана Ивановича Давыдова, который оказывал тогда большую приязнь моему брату, часто посещал его и невольно чуждался университетских сослуживцев своих, которые усердно заботились сделать больше тягостною, лежавшую на нем опалу.¹

Просьба целого сословия университета, официальная жалоба, — или назовите еще другим, ближайшим к смыслу такой жалобы словом, — могла иметь серьезные последствия для цензора и для моего брата, особенно при министре князе Ливене, который, как я изложил выше, оказал строгость неуместную по делу о переводе «Жизни Наполеона». Можно было предполагать, что он воспользуется жалобой университета, и в видах общей пользы исходатайствует запрещение «Московского Телеграфа». Это могло тревожить издателя его, особенно в описываемое мною время; но я уверяю, как ближайший свидетель, что брат мой не встревожился ни на минуту; да и уверять не нужно: доказательством неустрашимости его служат резкие и насмешливые статьи, которые напечатал он в своем журнале тотчас, как только услышал он о грозе, воздвигнутой против него Каченовским и его сослуживцами. Эти статьи писал он под влиянием глубокого негодования и изобразил в них многолетние литературные проделки Каченовского. Любопытные могут отыскать их в последних номерах «Московского Телеграфа» за 1829 год с подписью И в а н Б е н и г н а. Там Каченовский был засыпан указаниями на его ошибки, промахи, озлобление, чаще всего выражавшееся против истинных дарований, начиная от Карамзина до Пушкина, против которого в это самое время писал в «Вестнике Европы» тогдашний клевет Каченовского Надеждин, подписывавший свои статьи псевдонимом Н е д о у м к о. Николай Алексеевич нарочно избрал разговорную форму его статей, ввел в свои статьи даже одно из лиц, изобретенных Надеждиным, и дал полный разгул своему перу. Это была, может быть, самая жестокая из всех его полемических выходов. Знакомые наши дивились смелости моего брата, видя, что в такой жаркой схватке он поддал еще пару, как выразился один из них. «Смелость моя, — отвечал он, — должна быть так же велика, относительно, как бессовестность интриги, начатой против меня; жаль, что это невозможно». (Он употребил слово не то, которое здесь подчеркнуто). А что сделал в это время обвиняемый

¹ И. И. Давыдов, долго бывший инспектором университетского благородного пансиона, был внезапно удален от этой должности, но, оставаясь профессором университета, вздумал преподавать философию, и за свою «вступительную лекцию» (которая тогда же была напечатана) подвергся удалению и от профессорской кафедры. Довольно долго он только носил звание профессора, но не преподавал ничего. В это-то время он сблизился с моим братом. — К. П.

цензор, С. Н. Глинка? Он был истинно уморителен и утешителен: его возгласы, тирады против несправедливости людей, его комическая радость, что он пострадает за свободное выражение мысли, наконец, меры к защите, какие придумывал он, были достойны бесхитростного дитя! Между прочим, он составил какую-то записку в оправдание свое, с выписками и цитатами из Руссо, Вольтера, Фенелона, Бенжамен-Констана и подобных старых и новых французских писателей. Нельзя было не хохотать, слушая чтение этой записки! И мысли и возгласы были достойны Глинки, который и читал ее достойным образом, сам не разбирая своей рукописи, состоявшей из множества листов бумаги, потому что Сергей Николаевич обыкновенно писал крупно, криво, так что последние строчки на странице иногда не находили себе места: на иной странице он не уписывал и десяти строк... Никак не мог он понять, что его оправдательной записки с цитатами из Руссо и Вольтера никто не стал бы читать, а если б прочли, то она навеяла бы на него новую вину в глазах таких людей, как князь Ливен, министр просвещения. Происшествие на обеде у профессора Цветаева было для Глинки также поводом к рассказу, который не раз заставил нас похотать. Цветаев был членом цензурного комитета и следовательно сослуживцем Глинки, которого как-то и пригласил к себе на обед, празднуя, не знаю что такое. Это случилось в самый разгар обвинения моего брата и Глинки в мнимом оскорблении университета. Некоторые господа уже наперед торжествовали победу и нетерпеливо ждали грозного решения их совокупной жалобы. И в такое-то собрание явился простодушный Глинка! Его встретили насмешками, стали обвинять за Каченовского, кричать, как рассказывал он, и, наконец, профессор П., сидевший развалился на диване, громко возгласил: «Друг ваш Полевой справедливо бранил вашу русскую историю: эта книга скверная, мерзкая, вредная, и...» бух! Тут он вскочил, сжавши кулаки. Я повторяю здесь собственные слова Сергея Николаевича, который, произнося: бух! показывал движение сердитого профессора, и продолжаю рассказ его же словами, слышанными мною из уст его множество раз: «Тут два сидевшие возле П. — один профессор В., другой не знаю кто, схватили его под руки и усадили снова на диван. А я, по какому-то внушению свыше, протянул руку не вперед к П., а в сторону, к моей шляпе (знаменитой мягкой шляпе Глинки, известной тогда всей Москве), и, раскланиваясь с почтенным собранием, сказал: «Милостивые государи! Я приглашен сюда обедать, а не браниться и драться; из уважения к хозяину, беру шляпу и повторяю слова мудрости: удалися от зла и сотвори благо!» С этими словами он вышел из комнаты. Я не сомневаюсь, что в основании происшествие было так, как рассказывал его Глинка, хотя, может быть, что пылкое его воображение преувеличивало некоторые подробности; г. П. здравствует и теперь:

он всегда представлял себя правдолюбом и отличался ловким цинизмом в обращении, чем особенно выигрывал у сильных мира. Я мог бы рассказать о нем много анекдотов, подобных тому, что когда Надеждин, этот даровитый пройдоха, уже служа в Петербурге, увидел П. в знакомом доме и хотел броситься к нему с лобызанием, как к старому сослуживцу по Московскому университету, П., не двигаясь с дивана, на котором сидел, протянул к нему вместо руки ногу! Но если П. и закричал на Глинку, то едва ли хотел бить его. Да дело не в самом происшествии, а в том, как рассказывал его Глинка: это была истинная умора! Он вмешивал в нее само провидение! «Отчего же, — повторял он всякий раз, — рука моя двинулась не прямо, а в сторону? Я человек, и кровь говорила во мне; отчего же рука моя не протянулась прямо?.. На это была уже не моя воля, а вот откуда шла она!» — торжественно прибавлял он, указывая рукою вверх.

Прошло с месяц: брат мой продолжал трудиться как обыкновенно, хотя не очень надеялся на беспристрастие тех, кто должен был судить жалобу на него профессоров Московского университета. Скорее всего ожидал он неблагоприятного решения, и потому-то Глинка иногда надоедал ему своими преувеличениями. Забегая к нему почти каждый день, он в это время всякий раз кричал, как только вваливался в нему в комнату: «В Сибирь, батюшка, в Сибирь!» Мы ожидали известий из Петербурга, не имея там никакого заступника, а это, конечно, было неутешительно, и естественно, что иеремиады Глинки были, наконец, скучны. Но час «Московского Телеграфа» еще не настал. По странной игре случая, жалоба профессоров была получена в Петербурге в такой промежуток времени, когда князь Ливен почему-то не занимался делами просвещения — был болен или в отлучке — и должность его исправлял, если не ошбаюсь, граф Блудов. Мне самому смешно теперь, как мало заботились мы тогда о столь важном деле, как существование нашего журнала, зависевшее от решения министра; мы не только не хлопотали вокруг него, но даже не знали, кто исправлял должность его. Я и теперь не могу сказать наверное, кто был тот благородный и беспристрастный человек, который, рассмотрев жалобу профессоров Московского университета, признал ее неосновательною, и как издателя «Московского Телеграфа», так и цензора его — несколько невиноватыми, находя в преследуемой статье обыкновенное явление полемики между двумя журналистами, нимало не касавшееся университета. Он здраво указал на совершенное различие между профессором и журналистом и предписал не смешивать впредь звания писателя с тем, что он пишет.

После такого решения, можно представить себе, как были раздосадованы противники «Московского Телеграфа» и как возликовал добрый наш С. Н. Глинка. Он подпрыгивал и распевал, со-

чинил стихи и музыку на них, и уверился, что правда еще не совсем умерла на земле.

Но заметьте, что все такие происшествия неизбежно увеличивали число неприятелей моего брата. Разумеется, что все профессора, участвовавшие в жалобе на него министру, почитали себя вдвойне оскорбленными справедливым решением, полученным из Петербурга. Не только не достигли они предполагаемой цели, но и могли думать, что поступок их не понравился начальству. А известно, как у нас страшатся этого! «И всему виной Полевой! Не будь его, не было бы и этой неприятности! Уж мы же ему!..» Такой образ мыслей, естественно, разделяли родные и друзья их, — все народ, больше или меньше, прикосновенный к литературе.

IV

В то самое время, когда отношения к Каченовскому привели Н. А. к столкновению с Московским университетом, стал известен в литературе Надеждин, о котором упоминал я уже не раз. Он постепенно сделался одним из непримиримых врагов моего брата, и был опасен и нестерпим особенно тем, что не делал различия в средствах, которыми старался достигать своих целей. Я не знал его лично, встретил только раз в жизни, и где же? у С. Н. Глинки, когда тот сидел на гауптвахте: Надеждин, видно, хотел показать ему свое участие!.. Но я знаю его хорошо, бывши участником в литературной войне против него несколько лет. Говорили, что он с необыкновенным отличием прошел полный курс наук в духовных училищах, и несомненно имел обширные познания, особенно в церковных и духовных предметах. Как человек с умом, способным на все, он мог заниматься и литературой, мог бы даже работать для нее с пользою, имея сведения в древних языках; но у такого человека, как Надеждин, все служит только для корыстных видов и не может быть одушевлено любовью к успеху, к добру, к истине. Он явился в Москву с целью получить место профессора в университете, и скоро увидел, что для этого необходимо приобрести благосклонность хоть одного из старших профессоров, имеющих авторитет. Каченовский обладал всеми качествами для покровительства покорного ему клиента. Он был горд, самолюбив и тверд, так что сочлены почти боялись его, знали его авторитет и готовы были сделать для него многое потому даже, что не хотели с ним ссориться. Распознав это, Надеждин уцепился за Каченовского и прикинулся жарким его поборником. Такой образ действий обыкновенно называют ловкостью; но мне кажется, что к этой ловкости способен каждый, не совсем глупый человек: стоит ему только продать душу чоргу, то есть не гнушаться никакими средствами, когда они могут служить корыстным его видам.

и все пойдет как по маслу! Такие примеры встречаются на всяком шагу. Каченовский страшно злобствовал на Пушкина, сначала за его сочинения, а окончательно за Курилку-журналиста, за Зоила, за Подколодный Вестник и проч. Эти эпиграммы лишали его покоя, и он готов был язвить и бранить Пушкина всеми способами; но всегдашняя лень, хилое здоровье и отчасти боязнь проиграть еще больше в новой войне — заставляли его молчать. В это-то время предложил ему свои покорные услуги Надеждин, представлявший себя поклонником его и поборником всех его убеждений. В «Вестнике Европы» стали появляться длинные и многоглаголивые статьи, с подписью Недоумко, где больше всех доставалось Пушкину. Сначала мы думали, что под завесой нового псевдонима пишет сам Каченовский: так умел Надеждин перенять у него взгляды, мнения и даже слог! Какая-то путанная теория, какая-то иезуитская или тартюфская нравственность и тяжелый, фигурный, напомилавший кутейника язык, были отличительными свойствами этих статей. Каченовский ожил в них, с прибавкою еще чего-то тяжелого, безжизненного. Особенно хороши там места, где автор хотел острить; над шуточками его (в роде: «стихи-хи-хи!») после забавлялся сам Пушкин.

Достигнув цели, то есть сделавшись профессором университета, Надеждин отчуждился от Каченовского и потом смеялся над ним. Но он возненавидел моего брата за то, что в статьях «Телеграфа» был обличен в безвкусии и разных промахах, которыми изобиловали рабские его подражания Каченовскому, напечатанные в «Вестнике Европы». Вскоре он стал издавать журнал «Телескоп» с отдельными листками, носившими заглавие «Молвы». Там-то, в продолжение нескольких лет, он выражал всю злобу свою против моего брата и употреблял оружие всякого рода: иногда обвинял за то, чего не писал и не думал его противник, иногда приводил из его сочинений неверные цитаты и пересыпал свои наветы всевозможными грубостями. Вокруг Надеждина образовался особый кружок ненавистников Н. А. Полевого, которые действовали в духе своего предводителя.

Всякий, кто только владеет критическим пером, должен непременно встретить много противников и неприятелей. Это было и прежде, это явно и теперь, при размножении журналов, которые почти все воюют один с другим! Но противники бывают разных свойств, или, — как бы сказать яснее? — разных выражений духа человеческого: с одним поссоришься, даже готов итти с ним подражаться, хоть бы в смертном бою, а как пройдет пыл страсти, то готов подать ему руку; с другими и мысль о примирении не приходит в голову, конечно, потому, что осуществление ее невозможно. Мог ли когданибудь примириться брат мой с Каченовским, с Надеждиным и подобными им писателями, которые действовали против него не только полемикою, или хоть бы самую жаркою пере-



Наеждин

бранкою, но и всеми средствами: интригами, жалобами, клеветою, печатною и изустною, старались наносить ему вред как человеку, как гражданину, и покушались отбить у него доходы не трудом, не искусством, а такими махинациями, какие указал я в действиях г. Погодина. Но он охотно сближался с теми, с кем был только в литературной распре. Примером может послужить сближение его с Михаилом Николаевичем Загоскиным, — сближение курьезное, но искреннее, оставшееся неразрывным до конца жизни.

Загоскин, страстный театрал, драматический писатель, служил при театре и принадлежал к московской партии Кокоскина и Писарева: это само собою удаляло его от моего брата, на которого Писарев готов был восстановить небо и землю. После смерти Писарева, Кокоскин был в приятных отношениях с Николаем Алексеевичем и со мною. Но до 1829 года вся эта партия глядела неприязненно на издателя «Московского Телеграфа»; вероятно, и Загоскин, под влиянием Писарева, разделял ее мнения. Надобно сказать, что Загоскин был человек добрый, простодушный, но горячий, вспыльчивый, капризный, как избалованное дитя. Вспыльчивость его всего чаще бывала смешна, потому что в ней не было и следа злобы. Разумеется, что на такого человека электрически действовала критика его сочинений, и он приходил в бешенство от самого легкого замечания о недостатках милых его чад. Успех «Юрия Милославского» придал ему еще больше авторского самолюбия. Когда издан был второй роман его «Рославлев», издатель «Московского Телеграфа» напечатал о нем в своем журнале отзыв не очень благосклонный и показал ничтожность самого основания этого сочинения. Общее мнение впоследствии подтвердило такой приговор. Но в тот самый день, когда раздавалась книжка «Московского Телеграфа», где был напечатан отзыв о Рославлеве, Загоскин пришел зачем-то в книжную лавку Ширяева, всемирного злослова, который сам поносил всех и любил ссорить людей. Хотя он всегда ласкался около моего брата, потому что получал через него разные выгоды, а иногда и обирал его бессовестно (особенно, когда тот нуждался в деньгах), однако, увидев Загоскина, он не мог удержаться от своей милой привычки и насмешливо спросил у него: «А читали вы, что пишет Полевой о вашем новом романе?» — «Нет!» — отвечал Загоскин и уже вспыхнул. — «Да, это может повредить сбыту вашей книги; не угодно ли взглянуть на его статейку?» И он подал ему книжку «Московского Телеграфа». Загоскин пробежал статью о своем романе, покраснел, задражал и, бегуясь на все манеры, стал бранить моего брата. Ширяев поджигал его гнев своими хладнокровными сарказмами, так что, наконец, Загоскин, стукнув тростью, бывшую у него в руках, вскричал: «Вы видите эту трость? Я сейчас иду к Полевому и прибью его вот этою самою тростью». Квартира наша была в трех шагах от университетской книжной лавки, и Загоскин действительно

тогда прибежал к Николаю Алексеевичу и сказал встретившему его слуге, что Загоскин желает видеть издателя «Московского Телеграфа». Вероятно, покуда он шел от Ширяева до нашей квартиры, горячка его уже немного приутихла; когда же он вступил в комнаты того дома, где обещал драться, он одумался еще больше; наконец, Николай Алексеевич, услышав о Загоскине, поспешил встретить его с таким обрадованным, добрым лицом, что у сердитого добряка руки опустились. — «Как я рад видеть вас у себя, почтеннейший Михаил Николаевич! — начал мой брат: — я давно желал иметь удовольствие познакомиться с вами лично, зная вас...» — «Позвольте, позвольте, Николай Алексеевич, — прервал его Загоскин, смягчая сколько мог голос свой: — я пришел объяснить с вами!» — «Я к вашим услугам, но прежде прошу вас, сделать мне честь, садиться... Вы такой дорогой гость». Разумеется, я не могу передать здесь собственных слов моего брата, и передаю только тон, в каком начал он разговор с Загоскиным, неподдельно обрадовавшись посещению его, потому что давно любил его, как драматического автора и вообще уважал в нем человека и честного писателя. Он и не подозревал, с каким обетом явился к нему этот гость! Он точно принял за честь первый визит с его стороны. Почти обезоруженный его встречей, Загоскин сначала хотел поддерживать свой серьезный тон; но Николай Алексеевич отвечал ему так прямодушно, просто, сказал несколько комплиментов так искренно, что Загоскин протянул к нему руку и сказал: «Я нахожу вас совсем не таким, каким представлял себе по чужим рассказам, и жалею, что мы давно не сошлись. В знак искренности, позвольте же мне попросить у вас извинения в том злом намерении, с каким я пришел к вам: я хотел с вами ссориться, драться за отзыв о «Рославле», но теперь сознаюсь, что вы пользовались только своим правом, которое принадлежит всякому журналисту». Тут начался разговор о самом романе, и брат мой умел так ясно представить ему свое искреннее мнение, оправдал замечания свои так искусно, что Загоскин согласился с ним во многом, уверился, что отзыв сделан не с желанием унижить его дарование, а только показать слабую сторону одного сочинения, и в конце своего визита он уже смеялся, шутил и просил Николая Алексеевича о продолжении приязни, начавшейся так внезапно и оригинально.

Я жил в нижнем этаже того дома, где в верхнем, который занимал мой брат, происходила описанная мною сцена. Проводив Загоскина, брат сошел ко мне и пересказал все подробности своего с ним свидания. С одной стороны нельзя было не смеяться над детской вспыльчивостью Загоскина; с другой стороны нельзя было не полюбить его за доброе сердце. Он своим добрым сердцем понял Николая Алексеевича вернее, нежели многие, которые предполагали в нем глубокую хитрость, когда, напротив, во всех делах и отношениях, выходявших из очарованного круга литературы,

брат мой был простофиля! Кто не обманывал, не обирая, не надудал его? Он искренно предавался чувству приязни и всегда старался более одолжать других, нежели сам искать одолжений. Не было человека более готового на услугу, больше расположенного забыть и простить обиду. В этом у него было своего рода самолюбие. Самый жестокий противник (только не подлец) мог протянуть к нему дружескую руку и после этого требовать даже пожертвований с его стороны. Он не мирился только с теми, в ком видел неистребимые начала зла или шаткую, ненадежную нравственность.

Вот еще пример. Князь Шаликов, издатель «Дамского Журнала», самый смешной подражатель сантиментальности Карамзина, не меньше смешной своей чопорной наружностью, своими высокопарными фразами и всем существом своим, — этот единственный тип своего рода, — открыл в «Дамском Журнальчике» войну против моего брата с самого начала издания «Московского Телеграфа» и продолжал ее несколько лет. Выражения его, обыкновенно отзывавшиеся розовою водою, иногда пахли дегтем, когда он писал против издателя «Московского Телеграфа». Всего больше обижался он тем, что над ним смеет подшучивать мужик, и он почитал себя в праве обращаться к нему иначе, нежели к людям благородным. Приятель его, тоже плохой писатель, Волков (автор «Освобожденной Москвы») заметил ему однажды, что он выходит из границ вежливости и грубо обращается в своем журнале к Полевому. Шаликов, чуть ли не больше всего дороживший своим титулом грузинского князя, величественно возразил Волкову: «Вы, как человек благородный, не можете переселиться в чувства этого мюжжика! Он не поймет тонких намеков светского человека, который считает сорок поколений своих предков князьями!» При другом случае, когда ему заметили, что он слишком горячится, он применил к себе стих, вложенный Пушкиным в уста черкешенки, и воскликнул тоненьким, дрожащим своим голоском:

Я близь Кавказа рождена!

Но, несмотря на свои смешные недостатки, на свое чванство, тупоумие и бесчисленные претензии, князь Шаликов был человек не злой, не дурной! Испорченный своим веком, он, по слабости рассудительной силы, не мог освободиться от многих дурачеств, обратившихся в его природу; но никто не мог упрекнуть его в низости или какомнибудь злонамеренном поступке. Он сделал глупость, нарочно оставшись в Москве в 1812 году и вообразив, что французы, образованные люди, не станут обижать благородного, светского человека, который станет разговаривать с ними на французском диалекте. Он едва ли и видел французов, как разнонародная сволочь, нахлынувшая на Москву, ограбила его так, что он остался в одном халате, а дом,

где он жил, сгорел в общем пожаре. Разочарованный князь Шаликов ждал утешений и пособий на пожарище, когда граф Ростопчин, возвратившись в Москву, грозно приказал ему явиться к себе, полагая, что он был в дружеских сношениях с неприятелями. Но раздраженный грузинский князь дал ему такой отпор, что Ростопчин старался только усмирить его! После одного этого поступка не стыдно было вступать в сношения с князем Шаликовым, который не испугался тогдашнего свирепого главнокомандующего Москвы, а прямо в лицо укорял его в обманчивых уверениях о безопасности столицы, где многие и оставались до тех пор, что уже не было средств к спасению себя и своего имущества. Говорят даже, что Шаликова привезли к Ростопчину, как он был в халате, и он, указывая на свое рубище, прежде всего потребовал у него себе одежды и приюта, приписывая ему свое бедствие. Таких черт князя Шаликова было известно несколько, и они мирились с ним. Не знаю как, брат мой, после нескольких лет журнальной перебранки, сошелся где-то с ним и оставался уже всегда в дружественных сношениях. Князь бывал иногда и обедал у него, и тут я имел случай познакомиться с этим неподражаемым А х а л к и н ы м. Потом мы приятельски встречались с ним на Тверском бульваре, где он бродил еще незадолго до своей смерти, едва передвигая ноги, но все попрежнему рассматривая в лорнет встречавшихся женщин и никогда не упуская случая воскликнуть: «Ах, какая хорошенькая!» Я зазнал его уже дряхлым стариком; но он всегда бывал одет как куколка, подкрашен, накрашен, затянут, и терпеть не мог напоминания о старости. Обыкновенная слабость всех щеголей и волокит!

Неприятели моего брата выставляли почти дурным поступком прекращение неприязненных отношений между ним и издателями «Северной Пчелы» гг. Гречем и Булгариным. Говорили даже, будто я нарочно ездил в Петербург для примирения с ними. Здесь настоящее место опровергнуть эти лживые рассказы и толки, к которым поводом была чистая выдумка наших неприятелей. Я расскажу прямо и откровенно, как прекратилась наша литературная война с упомянутыми писателями, и в каких отношениях были мы с ними в следующие годы, потому что эти отношения не раз изменялись. По порядку времени, упомяну я об этих изменениях; теперь речь только о первом сближении после войны.

До половины 1827 года война все еще продолжалась, хотя уже не запальчиво, потому что обе стороны были утомлены ею и она жестоко им надоела. Летом 1827 года брат мой неожиданно получил, чрез книгопродавца Ширяева, первое издание «Сочинений Булгарина», только что отпечатанное и при нем письмо автора. Жалею, что не сохранилось это письмо, надобно сознаться, написанное очень ловко, с военною искренностью, какую некогда находил в Булгарине А. Бестужев. Я не помню выражений письма,

но первые фразы его могу передать и теперь почти буквально:

«Не журналисту, врагу моему непримиримому, критику неумолимому, посылаю мои сочинения, — писал Булгарин; — нет, посылаю их Николаю Алексеевичу Полевому, который, в былое время, посещал меня, как добрый приятель, которого полюбил я всем сердцем, и всегда с удовольствием вспоминаю о знакомстве с ним и многих часах, проведенных вместе. Мы поссорились, как бешеные, и перебраниваемся на утешение нашим истинным врагам и вместе врагам литературы, которые этим пользуются и нас же подругивают. Будет ли этому конец? Не знаю; но, во всяком случае, прошу вас принять мои томики, как знак воспоминания о старой дружбе. Браните, терзайте их сколько угодно, только будьте уверены, что я не разлюбил вас и храню в душе прежнее к вам уважение».

Таково было содержание этого письма, памятного мне потому, что оно было странным событием в тогдашней нашей войне с Булгариным. В нем было что-то похожее на благородную искренность, была и правда; сверх того, оно могло льстить самолюбию Николая Алексеевича. Он, однако-ж, и не думал принять его за предложение мира, не хотел возобновлять приятельских сношений с Булгариным и, по совету князем Вяземским, бывшим тогда обязательным сотрудником «Московского Телеграфа», даже не отвечал Булгарину на ловкое его письмо. Осенью 1827 года брат мой получил в подарок от Н. И. Греча выпешдшую тогда его «Практическую грамматику», также при коротеньком письме, состоявшем из нескольких обыкновенных вежливостей, но без всяких предложений о мире, хотя еще прежде этого они встретились на обеде у П. П. Свинына и разговаривали приятельски. Николай Алексеевич никогда не питал неприязни к Н. И. Гречу и при свидании у Свинына они были как старые знакомые, которым литературные распри не мешают уважать друг друга. Война прекращалась сама собою, от усталости воевавших, но мира не было. Булгарин начал, однако-ж, иногда упоминать в «Северной Пчеле» об Николае Алексеевиче без неприязни; но это по собственному побуждению, без всяких сношений с ним.

Так прошло время до весны 1828 года, когда я приехал в Петербург с рукописью перевода Вальтер-Скотта «Жизни Наполеона», о чем я уже подробно рассказывал. Это была главная, если не единственная, причина моей поездки в Петербург, где я не бывал до сих пор. Очень естественно, что, как молодому человеку, мне любопытно было познакомиться с самим этим знаменитым городом и с разными его достопамятностями. Невольно оставшись там до июня месяца, я пользовался всеми случаями узнать не одни редкости исторические и художественные, которыми богат Петербург, но хотел видеть вблизи и всех замечательных людей. Кроме того, мы решились с братом устроить свою типографию, если только, бывши в Петербурге, я удостоверюсь, что там точно

есть на Александровской мануфактуре скоропечатный типографский стан, как уверял нас один сведущий человек.

Кстати сказать, я без всякого хвастовства могу почитать себя первым вводителем или распространителем скоропечатных станков в России. Вот как это случилось. Я приехал в Александровскую мануфактуру, явился к главному начальнику ее, ученому генералу Вильсону, и просил его не только позволить мне осмотреть все заведения мануфактуры, но и объяснить некоторые подробности механического ее заведения. Г. Вильсон был так благосклонен, что сам повел меня туда, показывал и объяснял все подробности превосходной, единственной тогда в России, мануфактуры, которую составляли несколько образцовых заведений, как-то: бумагопрядильная, ткацкое заведение, парусная фабрика, где готовились почти все машины, выписываемые ныне из Англии и Бельгии. На карточной фабрике, составлявшей малейшую часть Александровской мануфактуры, генерал Вильсон ввел скоропечатание, посредством двух английских станков, что весьма улучшило и облегчило печатание крапа и рисунков карт. Он объяснил мне, что это-то и есть машина, которую желал я видеть и о которой мы читали чудеса в иностранных журналах. Тогда она еще не была так усовершенствована, как ныне, однако, я пришел в восторг, глядя на ее действия и спросил у генерала Вильсона, может ли он взяться сделать мне такой станок для типографии. Он отвечал, что очень рад, что цель механического заведения — распространять полезные машины. Мы тут же сговорились о времени, в какое может быть изготовлена машина, и приблизительно он назначил мне цену ее — 10,000 рублей ассигнациями. Я сказал ему, что не могу теперь решиться окончательно, но, после совещания с моим братом, уведомя его из Москвы или приеду сам, нарочно для этого заказа. Действительно, в августе я приехал в Петербург, заказал скоропечатную машину и уговорился, что она будет готова к лету будущего года. Г. Вильсон сказал, что раньше он не может сделать ее, при множестве других работ, но когда будет она готова, он уведомят меня, и потом, по перевозке в Москву, пришлет механика — пустить в ход машину. Свидетелем всего этого был Сергей Александрович Соболевский, с которым мы вместе приехали тогда из Москвы, жили на одной квартире, и вместе были у г. Вильсона; он же помог мне тогда с деньгами на задаток за машину и за типографские матрицы и литеры, которые заказал я у Юргенсона. Но видно, судьба не хотела, чтобы Николай Алексеевич и я были типографщиками. Г. Вильсон еще не уведомил нас, как вдруг Н. И. Греч пишет к моему брату, что видел заказанный для него у г. Вильсона скоропечатный стан и просит уступить его за ту самую цену, какую надобно заплатить за него; что г. Вильсон сделает нам другой, а ему (г. Гречу) скоропечатный станок нужен сейчас; что он почтет за одолжение такую уступку. Брат мой согласился на

это, и г. Греч был первый который в Петербурге поставил в своей типографии скоропечатный стан. Изготовление нового стана для нас замедлилось, и, когда он был доставлен в Москву, обстоятельства переменились, так что мы отменили намерение заводить типографию и продали все заготовленные для нее принадлежности, а скоропечатный стан, за ту же цену, какую мы заплатили, купила у нас московская синодальная типография, где с этих пор и введено скоропечатание.

Оправдываю рассказанными здесь подробностями свою претензию на первоначальное введение в России скоропечатных станков. Речь об этом мимоходом, так пришлось сказать кстати; но занятия мои в Петербурге, за время первого приезда моего туда, показывают, что я был там вовсе не для заключения мира с издателями «Северной Пчелы». Сначала я даже раздумывал знакомиться ли с ними лично, хотя это было любопытно и желательно мне по многим отношениям. Любопытно рассмотреть поближе и зверя, с которым был в жаркой схватке. Многие рассказы об оригинальности Булгарина и простодушии в обращении также заставляли меня желать встретиться с ним. К этому был даже случай. Василий Аполлонович Ушаков, ехавший со мной из Москвы в одном дилижансе и показавший мне себя прямодушным и образванным человеком (как описывал я в первой части этих «Записок»), просил меня посетить его в Петербурге и сказал, что он будет жить у своего друга Булгарина, с которым был он в близких сношениях, еще служивши в гвардии, следовательно в ранней молодости. Но я не спешил знакомиться ни с Гречем, ни с Булгариным. В первое время по приезде в Петербург, я жил в гостинице «Демут», где обыкновенно квартировал А. С. Пушкин. Я каждое утро заходил к нему, потому что он встречал меня очень любезно и привлекал к себе своими разговорами и рассказами. Как-то в разговоре с ним я спросил у него — знакомиться ли мне с издателями «Северной Пчелы»? — «А почему же нет? — отвечал не задумываясь Пушкин. — Чем они хуже других? Я нахожу в них людей умных. Для вас они будут особенно любопытны!» Тут он вошел в некоторые подробности, которые показали мне, что он говорит искренно, и находил, что с моей стороны было бы неуместной взыскательностью отказываться от этого знакомства. Мнение Пушкина в этом случае было для меня так значительно, что всякое предубеждение исчезло во мне, и в первое свободное утро я зашел в квартиру Булгарина, спрашивая В. А. Ушакова. Он жил в кабинете Булгарина, и я застал тут довольно многочисленное общество, между прочим, Мицкевича, Грибоедова и Греча. Без объяснений и рекомендаций я очутился как будто в давно знакомом обществе. Булгарин обратился ко мне так просто и радушно, как старый знакомый; он даже показался мне смиренным и кротким простофилей, может быть, оттого, что я ожидал увидеть пыл-

кого говоруна, каким он никогда не был. Напротив, Греч с первого свидания был таков, каким я знаю его и теперь: любезным, остроумным собеседником. Для Мицкевича и какого-то бывшего тут же француза разговор часто переходил из русского во французский, и французское остроумие г. Греча было не хуже русского. Греч просил меня посетить его. Грибоедова я не успел даже рассмотреть, потому что он вскоре ушел, в сопровождении какого-то театрального артиста: с ним часто бывал кто-нибудь из театральных чем-то в роде адъютанта. Если не ошибаюсь, тут же был А. А. Жандр, друг Грибоедова. Для чего было мне отказываться от такого общества, где, кроме самих хозяев, всегда радушных, я встречал множество людей умных, отличных дарованиями, достойных всякого уважения? После, через много лет, Булгарин составил себе о т д е л ь н ы й к р у г, который постепенно оставили все прежние его знакомые, и даже товарищ его Греч; но в описываемое мною время его не чуждался никто, ни Гнедич, ни Пушкин, ни Грибоедов, ни благороднейший адмирал Рикорд, с которым я познакомился также через Булгарина. Чудак, но неподкупный правдорез, В. А. Ушаков, распинался за Булгарина и видел в нем друга! Мог ли человек молодой, и не какойнибудь славный литератор, а случайно брошенный на литературное поприще, не увлечься обаянием истинно-литературного кружка, встречавшего его самым лестным вниманием? Тогда мне было это просто приятно, и я, без всяких расчетов и целей, часто посещал Греча и Булгарина. Я не мог предвидеть, что после сделает из себя Булгарин; а тогда видел в нем много, иногда смешного, капризного, но любезного человека, и если с моей стороны было ошибкою сближение с Булгариным, то я разделял эту ошибку с благороднейшими людьми, которых видел в лучших отношениях с ним. Грибоедов до смерти оставался в самых искренних связях с ним и поручил ему свои интересы, уезжая из Петербурга. Мицкевич находил его добряком и только смеялся над комическими его сторонами. Все другие, общие наши знакомые, глядели на него как на человека с разными недостатками, которые, однако, выкупались добрыми качествами и дарованием. Я и теперь думаю, что он действительно был таков в описываемое мною время.

Покуда я оставался в Петербурге, не было у меня никаких переговоров ни с Гречем, ни с Булгариным о литературном примирении. Когда неволью иногда касалась речь нашей литературной войны, оба они жалели, что она была, и надеялись, что мирные отношения наши будут на пользу литературы. Об этом убедительно говорил и новый знакомец мой В. А. Ушаков. «На что это похоже, — повторял он мне много раз, — лучшие журналисты, люди с умом, с образованным вкусом, с познаниями, перебранятся, тогда как они должны уважать друг друга и общими силами заботиться об успехе литературы и просвещения! За что эта

война? из-за чего началась и продолжается она? Из-за пустых претензий человеческого самолюбия! Ведь вы не можете не согласиться, что журналы, издаваемые Гречем и Булгариным (тогда это были: «Северный Архив», «Сын Отечества» и «Северная Пчела»), да «Московский Телеграф» — лучшие журналы в России? Отчего же не вооружаются они дружно против всякой литературной шушеры, которая кишит вокруг них, а перебраниваются, и тем только дают пищу разным гадинам, которые спокойно греются на солнышке и над вами же подсмеиваются».

В словах его была правда, и он говорил искренно, без всяких корыстных видов — за это могу поручиться, узнавши его потом очень хорошо. Я уверен, что он то же говорил Булгарину, и хотя по своему мизантропическому характеру не очень доверял прямоте людей вообще, однако, видел в своем друге самолюбие на пользу литературы, и готов был ручаться за чистоту его побуждений. В доказательство искренности своей, Ушаков, бывший также нашим литературным противником, вызвался работать для «Московского Телеграфа». «Я сам заблуждался насчет вас, — говорил он мне, — теперь вижу это и хочу дать вам лучшее доказательство моей искренности. Честный писатель не боится пересудов, действуя всегда честно. Пусть говорят, что я переметчик: когда этого нет, то и бояться нечего!» Ушаков, по возвращении в Москву, действительно сделался усердным сотрудником «Московского Телеграфа» и не изменил словам своим никогда.

Из всего рассказанного здесь мною беспристрастный читатель может составить себе понятие, каким образом прекратилась литературная война, доходившая до крайнего ожесточения. Это сделалось само собою, без переговоров, без корыстных стачек, придуманных потом злостью неприятелей Николая Алексеича. Замечательно, что они упрекали в этом естественном замирении всегда одного моего брата, находя как бы понятным и не требующим объяснений тот же самый поступок со стороны Греча и Булгарина. Отчего же так? Разве брат мой покорился им и подчинился их мнениям? Напротив, он остался навсегда независимым, и потом много раз ссорился с Булгариным, который постепенно делался нестерпимее, так что, наконец, брат мой сказал: «Уж лучше быть с ним в ссоре, нежели в мире!» Когда я возвратился в Москву и передавал Николаю Алексеичу разные подробности о своих знакомствах в Петербурге, он больше радовался сближению моему с Пушкиным и Грибоедовым, нежели приятни с журналистами. Проницательный взгляд его, как бы предвидя будущее, заставлял его говорить мне: «Сближение с такими необыкновенными людьми, как Грибоедов и Пушкин, всегда приятно, и для тебя остается как бы страницей истории; но приятель с журналистами никогда не надежен, и мир с ними может быть, как говорится по-русски, только до первой ссоры. Я радуюсь, что Греч и Булгарин не

питают против меня неприязненных чувствований; но мы еще поссоримся не один раз, если долго останемся журналистами. Поверь мне, что если и Пушкин вздумает издавать журнал, он покажет запальчивости не меньше Булгарина. Мы видели маленький опыт этого: чуть он прилепился к этому дрянному «Московскому Вестнику», как уже и стал в неприятельскую позицию против меня. Что же будет, когда журнал делается его плотью и кровью? Хорошо и то, что Булгарин хоть на время перестанет лаять на нас и отвлекать этим от других занятий. А не отвечать на придирки чьи бы то ни было нельзя: такова наша публика, что у нее прав тот, за кем последнее слово. Или надобно, чтобы нападающий журналист был так ничтожен, как Воейков: от этого можно только отплевываться. Публика знает цену ему, и он уже так заруган, что на него не стоит тратить сил; да лежачего и не бьют. Напротив, Каченовский, как ни гадок, а еще имеет вес и свою партию, потому что он много раз показал и ум, и сведения: нельзя не отбиться от него иногда. Еще больше необходимо будет отвечать Булгарину, когда он вздумает опять нападать на меня: ему верит публика.

Я передаю здесь сущность мнения Николая Алексеевича, высказанного им мне в разное время. Можно видеть, что он не считал даже окончательным событием прекращение литературной войны с Булгариным и не надеялся на прочность мира, которого и не искал. Но когда это сделалось само собою, он был очень доволен, потому что приятнее быть в мире, нежели в ссоре с человеком, в котором невольно признаешь не бессилие, а ум и дарование. Никаких других побуждений радоваться этому случаю у него не было и не могло быть. Читатели согласятся с этим, уже довольно зная из моего рассказа независимый характер издателя «Московского Телеграфа»; дальнейшие события в его жизни еще больше убедят их в том. Я упомянул о сближении моем с Грибоедовым и Пушкиным. Здесь можно было бы рассказать любопытные подробности моего знакомства с Грибоедовым; но я уже давно изложил их в биографии его, написанной мною и напечатанной при одном из изданий «Горе от ума». Любопытные могут прочитать их там, тем удобнее, что биография эта не раз перепечатана, даже без моего согласия.

О Пушкине любопытны все подробности, и потому я посвящу ему здесь несколько страниц. Уже не один раз упоминал я, что он жил в гостинице Демута, где занимал бедный номер, состоявший из двух комнаток, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал лежа в постели, а когда к нему приходил гость, он вставал с своей постели, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал и приглаживал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда заставлял я его за другим столиком — карточным, обыкновенно с какимнибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать

было нельзя; после нескольких слов я уходил, оставляя его продолжать игру. Известно, что он вел довольно сильную игру, и чаще всего продувался в пух! Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью! Зато он был удивительно умен и приятен в разговоре, касавшемся всего, что может занимать образованный ум. Многие его замечания и суждения невольно врезывались в памяти. Говоря о своем авторском самолюбии, он сказал мне: «Когда читаю похвалы моим сочинениям, я остаюсь равнодушен: я не дорожу ими; но злая критика, даже бестолковая, раздражает меня». Я заметил ему, что этим доказывается неравнодушие его к похвалам. — «Нет, а может быть, авторское самолюбие?» — отвечал он, смеясь. В нем пробудилась досада, когда он вспомнил о критике одного из своих сочинений, напечатанной в «Атенее», журнале, издававшемся в Москве профессором Павловым. Он сказал мне, что даже написал возражение на эту критику, но не решился напечатать свое возражение и бросил его. Однако, он отыскал клочки синей бумаги, на которой оно было писано, и прочел мне кое-что. Это было, собственно, не возражение, а насмешливое и очень остроумное согласие с глупыми замечаниями его рецензента, которого обличал он в противоречии и невежестве, повидимому соглашаясь с ним. Я уговаривал Пушкина напечатать остроумную его отповедь «Атенею», но он не согласился, говоря: «Никогда и ни на одну критику моих сочинений я не напечатая возражения; но не отказываюсь писать в этом роде на утеху себе». После, он пробовал быть критиком, но очень неудачно, а в печатных спорах выходил из границ и прибегал к пособию своих язвительных эпиграмм. Никто столько не досаждал ему своими злыми замечаниями, как Булгарин и Каченовский, зато он и написал на каждого из них по несколько самых задорных и острых своих эпиграмм. Вообще, как критик, он был умнее на словах, нежели на бумаге. Иногда вырывались у него чрезвычайно меткие, остроумные замечания, которые были бы некстати в печатной критике, но в разговоре поражали своею истиною. Рассуждая о стихотворных переводах Вронченки, производивших тогда впечатление своими неотъемлемыми достоинствами, он сказал: «Да, они хороши, потому что дают понятие о подлиннике своем; но та беда, что к каждому стиху Вронченки привешена гирька!»

Увидевши меня по приезде моем из Москвы, когда были изданы две новые главы «Онегина», Пушкин желал знать, как встретили их в Москве. Я отвечал: «Говорят, что вы повторяете себя: нашли, что у вас два раза упомянуто о битье мух!» Он расхохотался; однако спросил: «Нет? в самом деле говорят это?» — «Я передаю вам не свое замечание; скажу больше: я слышал это из уст дамы». — «А ведь это очень живое замечание: в Москве редко услышишь подобное», — прибавил он.

Самолюбие его проглядывало во всем. Он хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к аристократическому кругу; высокое дарование увлекало его в другой мир, и тогда он выражал свое презрение к черни, которая гнездится, конечно, не в одних рядах мужиков. Эта борьба двух противоположных стремлений заставляла его по временам покидать столичную жизнь, и в деревне свободно предаваться той деятельности, для которой он был рожден. Но дурное воспитание и привычка опять выманивали его в омут бурной жизни, только отчасти светской. Он ошибался, полагая будто в светском обществе принимали его как законного сочлена; напротив, там глядели на него как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода Листа или Серве. Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так что он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места. Очень заметно было, что, он хотел и в качестве поэта играть роль Байрона, которому подражал не в одних своих стихотворениях. Байрон был не только урожденный аристократ, но и мастер на разные проделки бурной жизни, отличный пловец, ездок на лошади; под конец жизни готовился даже сражаться за свободу греков. Пушкин, кроме претензии на аристократство и несомненных успехов в разгульной жизни, считал себя отличным танцором и наездником, хотел даже воевать против турок и для этого поехал в Азиатскую Турцию, где кипела тогда война (в 1829 году) и где вздумал даже участвовать в одном сражении, что в таком смешном виде изображено генералом Ушаковым, историком похода, бывшего под начальством графа Эриванского.

В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что после бурных годов первой молодости и тяжелых болезней, он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; он все еще хотел казаться юношей. Раз как-то, не помню по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом:

Ужель мне точно тридцать лет?

Он тотчас возразил: «Нет, нет! у меня сказано: Ужель мне скоро тридцать лет. Я жду этого рокового термина, а теперь еще не прощаюсь с юностью». Надобно заметить, что до рокового термина оставалось несколько месяцев! Кажется, в этот же раз я сказал, что в сочинениях его встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов. Он отвечал, что в основании характер его — грустный, меланхолический, и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и ненадолго. Мне кажется и теперь, что он ошибался, так определяя свой характер. Ни один глубокочувствующий человек не может быть всегда весе-

лым и гораздо чаще бывает грустен: только поверхностные люди способны быть весельчаками, то есть постоянно и от всего быть веселыми. Однако, человек, не умерший душою, приходит и в светлое, веселое расположение; разница может быть только в том, что один предается ему искренно, от души, другой не способен к такой искренней веселости. И Жуковский иногда весел в своих стихотворениях; но Пушкин, как пламенный лирический поэт, был способен увлекаться всеми сильными ощущениями, и когда предавался веселости, то предавался ей, как неспособны к тому другие. В доказательство можно указать на многие стихотворения Пушкина из всех эпох его жизни. Человек грустного, меланхолического характера не был бы способен к тому.

Однажды я был у него вместе с Павлом Петровичем Свиньиным. Пушкин, как увидел я из разговора, сердился на Свиньина за то, что очень неловко и некстати тот вздумал где-то на бале рекомендовать его славной тогда своей красотой и любезностью девице Л. Нельзя было оскорбить Пушкина более, как рекомендуя его з н а м е н и т ы м п о э т о м ; а Свиньин сделал эту глупость. За то поэт и отплатил ему, как я был свидетелем, очень зло. Кроме того, что он горячо выговаривал ему и просил вперед не принимать труда знакомить его с кем бы то ни было, Пушкин, поуспокоившись, навел разговор на приключения Свиньина в Бессарабии, где тот был с важным поручением от правительства, но поступал так, что его удалили от всяких занятий по службе. Пушкин стал расспрашивать его об этом очень ловко и смело, так что несчастный Свиньин вертелся, как береста на огне. «С чего же взяли, — спрашивал он у него, — что будто вы въезжали в Яссы с торжественною процессиею, верхом, с многочисленною свитой, и внушили такое почтение соломенным молдавским и валахским боярам. что они поднесли вам сто тысяч серебряных рублей?» — «Сказки, м и в ы й Александр Сергеевич! Ну, стоит ли повторять такой вздор!» — восклицал Свиньин, который прилагал слово м и в ы й (милый) в приятельском разговоре со всяким из знакомых. — «Ну, а ведь вам подарили шубы?» — спрашивал опять Пушкин и такими вопросами преследовал Свиньина довольно долго, представляя себя любопытствующим, тогда, как знал, что речь о бессарабских приключениях была для Свиньина — нож острый! Разговор перешел к петербургскому обществу, и Свиньин стал говорить о лучшем избранном круге, называя многие вельможные лица; Пушкин и тут косвенно кольнул его, доказывая, что не всегда чиновные и значительные по службе люди принадлежат к хорошему обществу. Он почти прямо указывал на него, а для прикрытия своего намека рассказывал, что как-то он был у Карамзина (историографа), но не мог поговорить с ним оттого, что к нему беспрестанно приезжали гости и, как нарочно, все это были сенаторы. Уезжал один, и будто на смену его являлся другой. Проводивши последнего из них, Карамзин сказал

Пушкину: «Avez-vous remarqué, mon cher ami, que parmi tous ces messieurs il n'y avait pas un seul qui soit un homme de bonne compagnie?» (Заметили вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?). Свиньин совершенно согласился с мнением Карамзина и поспешно проговорил: «Да, да, мивый, это так, это так!» Пушкин вообще любил повторять изречения или апофегмы Карамзина, потому что питал к нему уважение безграничное. Историограф был для него не только великий писатель, но и мудрец, — человек высокий, как выражался он. Когда он писал своего «Бориса Годунова», Карамзин, услышав о том, спрашивал поэта, не надобно ли ему, для нового его создания, какихнибудь сведений и подробностей из истории избранной им эпохи и вызывался доставить все, что может. Пушкин отвечал, что он имеет все в «Истории Государства Российского», великом создании великого историка, которому обязан и идеєю нового своего творения. Эту же мысль выразил Пушкин в лапидарном посвящении «Бориса Годунова» памяти историографа. Дело критики показать, насколько повредило его драме слишком близкое воспроизведение Карамзинского Годунова и уверенность, что историограф не ошибался. За Карамзина же он окончательно разошелся и с моим братом.

У

Важную эпоху в жизни Н. А. Полевого составляют его труды в области русской истории, результатом которой явилась «История русского народа». Неотлучный свидетель и друг, которому поверял он все свои идеи, все намерения, я могу рассказать, как явилась и выполнялась мысль его. Это тем необходимее, что «История русского народа» была поводом ко множеству клевет на моего брата, порицаний и всяких неприятностей для него. Здесь особенно необходимо восстановить истину.

С самых юных лет брат мой любил заниматься историею вообще и особенно русскою. Мы видели, что еще в Иркутске он читал и сам писал исторические сочинения, разумеется, как дитя; в 1811 и 1812 годах, покуда жил в Москве, он вздумал продолжать «Опыт повествований о России» Елагина, конечно, пленившись славой, какую пользовалось тогда это сочинение; из Курска он уже посылал в «Вестник Европы» исторические исследования о разных предметах русской истории, и Каченовский, знаток предмета, одобрял их и печатал в своем журнале, отчего и завязалось их знакомство, бывшее несколько времени очень близким. Тогда, наконец, брат мой мог пользоваться всеми учеными пособиями в Москве, он занялся подробным рассмотрением русских летописей, изучил важнейшие исследования о них, и приобрел таким образом обширные сведения в истории старой России. Шлецеров Нестор

и «История Государства Российского» были у него исписаны разными заметками. Иногда он писал отдельные исследования из русской истории, и в 1825 году, то есть ко времени издания «Московского Телеграфа», был, конечно, одним из лучших знатоков истории Руси, что и доставило ему лестное знакомство и уважение таких знатоков нашей старины, как П. М. Строев, К. Ф. Калайдович; да и сам Каченовский, покуда не злобствовал на него, отдавал ему справедливость. Все это было прежде начала «Московского Телеграфа», и, кажется, в то время он был избран членом «Общества истории и древностей российских», следовательно заслужил почетную известность как дельный исследователь и знаток любимого им предмета. Припоминаю эти подробности, желая доказать событиями, что он не был поверхностным любителем русской истории, а действительно знал ее, как ученый, изучал в источниках, и приобред сведения во всех ее отраслях. Тому способствовал необыкновенный ум его, который мог глубоко проникать в каждый изучаемый им предмет, легко усваивал себе материальную часть, то есть события истории, и не довольствовался ими, а всегда глядел на предмет с новой стороны.

Издание журнала, особливо в первые годы, отвлекло его от занятий русскою историею. Страшная, почти беспримерная полемика с другими журналами, множество, так сказать, черной работы, неизбежной в журнале, как-то: переводы, корректуры, исправление статей сотрудников и тому подобное, — поглощали его время. Но когда полемика приутихла, когда черная работа в журнале постепенно почти вся перешла ко мне, так же, как и вся материальная часть, Николай Алексеевич имел более досуга для других занятий.

Страстно следя за успехами исторической науки в Европе, брат мой постепенно знакомился с новыми взглядами на события и прошедшее. Он писал в своем журнале разборы исторических книг, являвшихся на русском языке, и книги эти уже до такой степени противоречили его взгляду, что он выражал всего чаще презрение к ним. Поймав слова его: «высшие взгляды» на науки, противники Николая Алексеевича привязались к ним и усердно называли его «верхоглядом», осуждая себя рыться в земле, где, сами не подозревая того, они рыли могилу своим ветхим познаниям. Последним блестящим представителем старой исторической школы был Карамзин в своей «Истории Государства Российского»; но брат мой с полным уважением защищал его от ничтожных нападок «Вестника Европы». Это было еще в 1825 году, когда один из клеветов Каченовского усиливался доказать, что творение Карамзина ничем не лучше «Российской истории» князя Щербатова. Нам сказывали тогда же, что Карамзин, по обычаю своему не читавший злобных рецензий на свои сочинения, прочел возражение, напечатанное в «Московском Телеграфе», и сказал:

— Я полагал, что Каченовский пишет против меня дельнее: теперь радуюсь, что не читаю его критик.

Брат мой уважал в Карамзине великого писателя и высоко ценил услугу, оказанную им разбором и умною критикою материалов русской истории. Глядя на «Историю Государства Российского», как на великолепный и единственный памятник в современной исторической литературе, брат мой любил в Карамзине и человека, которому был обязан дорогими впечатлениями в своей юности. Но все прекрасные качества любимого писателя не ослепляли его до такой степени, чтобы он не видел недостатков в историческом его творении. Чем больше знакомился Николай Алексеевич с новыми взглядами европейских исследователей истории, тем яснее становились для него недостатки «Истории Государства Российского». Но решительное действие произвел на него Нибур своею «Римскою историею».

Позвольте, благосклонный читатель, заметить здесь: не оказал ли великую услугу русскому просвещению Н. А. Полевой одним тем, что он первый стал быстро знакомить нашу читающую публику с замечательными явлениями и успехами европейских литератур? Нетрудно следить за ними и пользоваться всеми необыкновенными их явлениями в настоящее время, когда все журналы, наперерыв один перед другим, больше или меньше удачно — из каких бы ни было видов — пишут о всех замечательных европейских явлениях в литературе, представляют из них извлечения, даже предлагают gratis своим подписчикам переводы многотомных книг; но то ли было во время издания «Московского Телеграфа»? Один этот журнал ставил первую свою обязанностью извещать обо всех важных новостях заграничной литературы, один он указывал на замечательнейшие произведения ее, словом, знакомил с ними, и если ему сочувствовало новое поколение, желавшее сбросить с себя вериги схоластики и рутины, то как встречали труды и все усилия молодого журналиста записные ученые и старые литераторы? Насмешками, бранью, осмеянием всех новых идей! Надобно было много мужества и любви к науке, чтобы продолжать неблагодарный труд, ибо в этом отношении противниками Н. А. Полевого были не одни журналисты, но и профессеры, и ученые. Беспрестанно нападая на него и ославляя его верхоглядом, они повторяли это уже, как аксиому. Ссылаюсь на события! Но он не унывал и непрерывно, безостановочно продолжал трудиться, предвидя еще неясную для него цель — сблизить наши взгляды с европейскими.

В дружеских беседах с Ф. М. Малевским, товарищем и другом Мицкевича, также сблизившимся с нами, как Мицкевич, Николай Алексеевич впервые ознакомился с идеями Нибура в древней истории. Г. Малевский, после окончания курса наук в Виленском университете, жил довольно долго в Берлине, где, под руко-

водством знаменитых профессоров, пополнил и усовершенствовал свои юридико-исторические познания. Разговоры с ним открыли много нового, бывшего до тех пор неизвестным Николаю Алексеичу, но больше всего поразили его взгляды Нибура на первобытную историю Рима, которые брат мой, по свойству своего ума, стал применять к первоначальной истории Руси. Он не применял их к нашей истории слепо, но составил себе о ней много новых идей. Почти в это же время он читал и, можно сказать, изучал исторические исследования Тиерри, совершенно изменившие взгляд на первоначальную историю Франции и народов германского племени. В 1828 году явились печатные курсы Гизо, Кузена, Вилльмена, и брат мой перечитывал их с наслаждением и, можно сказать, с восторгом. Особенно Гизо увлекал его. Он с таким же наслаждением читал его знаменитые «Опыты об истории Франции» и другие исторические сочинения. Незадолго перед тем заслужила всеобщую славу Барантова «История герцогов Бургундских», где искусство излагать события истории обогатилось новым приобретением. В журналах доктринеров: «Le Globe» и «La Revue française» — помещались критики, двинувшие вперед науку истории и замечательные вообще обширным взглядом и новыми идеями. Все это чрезвычайно занимало, увлекало Николая Алексеича, и хотя не вдруг, но быстро изменило взгляд его на историю России. Бессмертный труд Карамзина казался ему уже не только неудовлетворительным, но даже искажающим многое в нашей истории. В этой перемене взгляда не должно видеть легкомыслия: это было естественное явление в уме человека, стремившегося во всем к необходимым для успеха преобразованиям. Мог ли он, во всем шедший впереди других, только принять к сведению великие, открытые великими умами исторические истины, и не воспользоваться ими для успехов нашей истории? Николай Алексеич не принадлежал к числу тех твердых, но ленивых умов, которые весь век свой копят сокровища сведений и все собираются создать из них что-то до тех пор, пока дряхлость или смерть прекратит всяческую их деятельность. Не редкость встретить людей ученых, глубокомысленных, но ничего не сделавших для успеха общества или науки. Не таков был брат мой, смелый вчинатель всякого дела, в котором он видел шаг к лучшему, успех. Не этим ли объясняется неутомная его деятельность на других путях жизни, его ревностное участие в комитетах и советах, куда призывали его к участию.¹ Усвоивши

¹ Его избирали около этого времени в члены разных комитетов по городскому обществу, избрали в члены мануфактурного совета, в члены совета коммерческой академии, и он не только принимал на себя все эти обязанности, но и занимался ими усердно. Один комитет, учрежденный в Москве для пересмотра проекта нового вексельного устава (это было в начале 1828 года), заседавший более года, отымал у него много времени. Так же усердно

себе новые взгляды на историю, он жаждал применить их к русской истории, и в разговорах со мной, ближайшим советником своим, излагал так много новых, светлых идей, что это увлекало и меня. Я вполне одобрил его намерение изложить эти новые идеи в историческом сочинении о России; но он еще сам не давал себе отчета, какое предпринять сочинение. Пылкость его была такова, что иногда он хотел избрать какой-нибудь драматический эпизод нашей истории, например, царствование Иоанна Грозного, или междуцарствие, и изложить их по-барантовски, или даже больше, в виде компиляции, написанной Жакобом Библиофилом о XVI столетии; но он видел, что это было бы только игрушкой или чем-то в роде фокус-покуса истинного историка. Он даже написал несколько листов из жизни Иоанна Грозного, прочитал их мне, и тут же разодрал, сознавши, что не так надобно писать историю, и особенно русскую, где события не открывают в простом рассказе своего истинного значения, и где, сверх того, они затемнены выдумками и ложными взглядами, утвержденными всеми нашими историками и даже самим Карамзиным. Обдумывая предмет, занимавший его, он решил наконец для себя, что русская история приняла свой особый характер с самого начала, и что последующие события были только продолжением того, что видим при самом начале Руси. Скандинавские удалыцы завладели всем, начали распоряжаться покорившимися им народами и всею Русскою землею, как своею отчиною, поделили ее, как одно обширное поместье, и призрак великого князя не мешал дроблению Руси, так что, наконец, в ней исчезло единство, вышедшее потом уже из-под татарского ига, скрепленное вековыми бедствиями и еще долго тонувшее в потоках крови, в тумане злодейств и всяких преступлений. Таким образом это была история не государства, не наследия какого-нибудь великокняжеского племени, а история народа, русского народа, который пережил восемь столетий, прежде нежели водворилось у него государственное единство. Такую идею русской истории нельзя было изложить в каком-нибудь эпизоде и Н. А. Полевой решился написать «Историю русского народа» от начала его до новейшего времени.

и деятельно занимался он в совете коммерческой академии, где был членом несколько лет. Тут же еще он тратил довольно денег на неизбежные пожертвования. В мануфактурном совете, во время выставки предметов промышленности, он и дежурил, и занимался приемом и расстановкой вещей, он же составил и каталог выставленных предметов. Напрасно я убеждал его оставить все подобные занятия, которые приносили ничтожную пользу и чаще всего оканчивались неприятностями; он увлекался при первом случае действовать на пользу общую, как бы не видя, что в современном состоянии общества это было невозможно, и что истинным назначением его была литературная деятельность, от которой он только отвлекался всеми этими членствами. — К. П.

Предприятие его было смело, почти, можно сказать, дерзко. Мог ли он совершить его, притом в немного времени, как предполагал? Но уверенность его в своих силах была такова, что он не знал границ возможного в этом отношении. С одной стороны, это недостаток, но, прибавим, неизбежный в тех людях, которые предназначены идти впереди других. Разве колонна солдат, идущая взять огнедышащую батарею, уверена, что возьмет ее? Но если сна не пойдет почти на верную погибель свою, то еще вернее, что никогда не возьмет батареи! Так рассуждают и передовые люди, ободряющие себя мыслию, что если удастся им совершить предпринимавший подвиг, то за него ожидает их и благо общества, и, может быть, слава. Не осуждайте их, а с благодарностью пользуйтесь их самопожертвованием.

Николай Алексеевич сначала предполагал, — и я убедительно советовал ему, — написать русскую историю не подробную, а в виде очерка, в размере трех-четырех томов. Но когда он начал свое сочинение, то каждое событие, почти каждая подробность увлекали его, и он старался объяснить все, дать отчет во всем. При таком изложении были необходимы примечания: они увеличили объем сочинения. На замечание мое, что при таком изложении не будет границ книге, он отвечал, что подробности необходимы при начале, но дальше повествование пойдет сокращенное. Так написал он два, три тома, и работа его шла чрезвычайно быстро, несмотря на то, что он не переставал заниматься журналом и не расставался с разными другими отвлечениями, о которых я упоминал. Прочитывая написанное, — разумеется, тем людям, которых знаниям и вкусу он доверял, — Николай Алексеевич слышал самые одобрительные отзывы о своем труде, и это заставляло его желать услышать мнение публики. Во всяком случае, важное сочинение столь известного писателя, каким был он тогда, должно было возбудить сильное внимание. Мысль о том естественно подстрекает самолюбие всякого писателя, а надобно сказать, что авторское самолюбие моего брата было очень велико и оправдывалось литературными его успехами. В немного лет он сделался любимцем публики, и если был в войне с большею частью писателей, то видел в то же время уважение достойнейших своих современников и горячую любовь к себе молодого поколения, выражавшуюся при всяком возможном случае. Вот для кого он работал и хотел поскорее издать свое сочинение, поделиться новым своим трудом с теми, кого всегда имел в виду, при всех своих литературных занятиях.

Издать многотомное сочинение — дело не легкое во все времена и у самых образованных народов; но еще труднее это было у нас, тридцать лет назад, когда книги расходились не тысячами экземпляров, так что второе, лучшее издание «Истории Государства Российского» село на руках у издателей-книгопродавцев братьев

Слённых и окончательно было продано на рынок после смерти последнего из них. Издание нескольких больших томов потребовало бы значительной суммы, какой не было у моего брата, а он нетерпеливо хотел печатать новое свое сочинение. Оставалось одно средство: открыть подписку на полное издание, потому что еще не было в обычае издавать и продавать отдельно каждый отпечатанный том.

Не имея этого в расчете и не предвидя возможности ждать окончания своего труда, когда на издание потребовалась бы еще более значительная сумма, брат мой решил печатать первый том «Истории русского народа» и в то же время открыть подписку на нее. Конечно, это было единственное средство для издания его книги; но он поступил притом легкомысленно и безрасчетно, несмотря на все мои предостережения и советы. Если бы рукопись его сочинения была окончена, или, по крайней мере, был определен размер ее, то приблизительно можно было бы определить и время появления ее в свет, и назначить цену книги с верным расчетом. Но он еще сам не знал объема ее, не мог определить, когда он окончит ее и обязался представить 12 томов за 40 рублей ассигнациями! Он рисковал не исполнить принятой им на себя обязанности и назначил за книгу слишком малую цену, которая не только не вознаграждала труда, но и не обеспечивала расходов на издание. Так и случилось, что он не окончил книги и не получил от нее денежных выгод; но хуже всего было то, что предприятие его, благородное и прекрасное по своему происхождению, приняло вид спекуляции, почти шарлатанства, и противникам его открылось обширное поле для нападений, укоризн и порицаний всякого рода. Я не оправдываю моего брата в этом случае: обвиняю его в неосторожности, в легкомыслии, и если угодно, в самонадеянности; но как ближайший к нему человек, поверенный всех его намерений и помышлений, ручаюсь, что он действовал без всяких корыстолюбивых расчетов, был уверен, что исполнит обещанное им и мог бы исполнить это, если бы не увлекался новыми стремлениями и не развлекал себя множеством посторонних работ и занятий. Я слишком долго не убеждался, что в этом отношении он был неизлечим; я еще не давал себе отчета, что сила его заключалась в многосторонности, а не в постоянстве, и впоследствии был приведен к сознанию в том горьким собственным опытом.

Я не стану судить здесь о достоинстве «Истории русского народа». При появлении в свет каждого тома ее, она подвергалась самым пристрастным осуждениям, так что враги Николая Алексеевича, как, например, Погодин и Надеждин, не разбирали, а поносили и ругали ее, или, вернее, ругали ее автора. Но беспристрастные люди находили и находят в ней первый опыт истинной истории России. Новое поколение ученых исследователей нашей

истории видит в ней много светлых идей и взглядов и первую мысль об истории народа. Я уверен, что потомство оценит еще более этот труд и укажет на все открытия и объяснения, которыми наполнены изданные моим братом томы «Истории русского народа». Сами враги его, внутренне сознавая в том, невольны высказывали, что в этой книге есть новые взгляды, верные объяснения известных событий и что она представляет Русь не в том виде, как представляли ее прежние наши историки. Можно ли понимать иначе обвинение, что некоторые взгляды моего брата были заимствованы у Гизо? Стало быть, это было нечто новое? и почему же не должен был он заимствовать у Гизо, у Тиерри, у Нибура все, что применяется к общему у всех народов объяснению событий? До известной степени и в известных обстоятельствах, все народы, имеющие историю, развивались одинаково, потому что человек одинаков всегда и везде, и в древнем Риме, и в России, и в Германии. Тиерри подтвердил неоспоримыми доказательствами мысль свою, что история каждого народа начинается завоеванием. Не видим ли этого и в покорении славян варягами? Не было ли мнимое призвание норманских князей просто завоеванием? Еще Карамзин видел беспрецедентное событие в том, что народ по воле призывает к себе властителей, меняет свободу на рабство; но если бы даже ильменские славяне и действительно призвали княжить у них Рюрика и братьев его, то разве эти молодцы не покоряли потом оружием и вероломством другие племена, обитавшие на русской земле. Согласимся, наконец, что объяснение начала Руси требует еще многих исследований; но разве это мешает видеть в мысли Тиерри, примененной к началу Руси, новое и богатое приобретение в сокровищнице нашей истории? Пусть все наши исследователи применяют так удачно чужие мысли и открытия великих историков к нашей истории — они заслужат только благодарность. Я уверен, что потомство будет благодарно и моему брату за подобные заимствования. Всегда неосторожный, он восставил против себя новую бурю еще одним неосторожным действием. Незадолго до появления «Истории русского народа», был напечатан 12-й, не совсем окончанный том «Истории Государства Российского». Карамзин, скончавшийся в 1826 году, был уже перед судом не современников, а потомства. Между тем, именно в то время, когда он дописывал свое бессмертное сочинение, совершился крутой, беспрецедентный переворот в понятиях об истории. От сочинений исторических стали требовать не одного искусства в изложении, не одной беспристрастной изыскательности, но и верной оценки событий, верной характеристики каждого века, верного изображения исторических лиц. Известно, что этих качеств нет в творениях Карамзина. Он глядел на самые отдаленные события с современной ему точки зрения, изображал исторические лица, как современных героев

и больше всего заботился быть изящным в изложении, избрав себе образцами древних историков Рима. Еще в «Письмах русского путешественника» высказал он свою теорию и остался верен ей в «Истории Государства Российского», где эпический рассказ его, образцовый по языку и изложению, почти везде придает ложный характер событиям и лицам. В 12-м томе есть места умиленные, страницы, написанные великим мастером, но пафос в некоторых местах доведен до крайности, и самый язык образцового нашего прозаика становится изысканным, надутым. Помню, как мы смеялись, беспрестанно встречая в 12-м томе стратигов, блестящих мужей, или читая описание подвигов новгородского попа, который мужествовал один, и т. п. Разумеется под влиянием таких впечатлений, после внимательного изучения русской истории в источниках и уже составивши себе совсем другую теорию истории вообще, брат мой не мог безусловно хвалить «Историю Государства Российского» и, разбирая 12-й том в своем журнале, коснулся вообще недостатков этого творения, хотя в то же время отдавал всю справедливость достоинствам его. Но у Карамзина были поклонники безусловные, и к числу их принадлежали, — увы! — князь Вяземский и Пушкин, не говоря уже о целой фаланге друзей и современников Карамзина. Князь Вяземский, воспитанник и потом друг историографа, питал к нему родственную любовь и не хотел видеть недостатков в его сочинениях. А до какой степени простиралось благоговение родных к этому незабвенному человеку, может показать следующий анекдот, случившийся на моих глазах. Мы находились в самых искренних, почти ежедневных сношениях с князем Вяземским, когда — уже после смерти Карамзина — князь присылает к моему брату нарочного, с запиской, где пишет, что к нему приехали из Петербурга Карамзины, у которых принято, как святое правило, прочитывать каждый день несколько страниц из «Истории Государства Российского». «Мой экземпляр в Остафьеве, — писал князь, — потому пришлите мне какиенибудь томы «Истории Государства Российского». Брат мой, сам беспрестанно имея надобность в этой книге, не хотел поделиться собственным экземпляром, и, вспомнив, что в сундуке Ходаковского есть два-три тома 1-го издания «Истории Государства Российского», вынул их и отослал к князю Вяземскому. Не знаю, забыл ли он, или вовсе не заглядывал в затасканные книги Ходаковского, и потому не знал, что томы Карамзина были у этого чудака с разными писанными им на полях заметками, иногда циническими и вообще несколько не хвалебными. На другой же день князь Вяземский возвратил посланные к нему томы, и в записке притом выражал неудовольствие за плохую шутку, сыгранную с ним и чуть не поссорившую его с Карамзиными. В самом деле можно представить себе, какой ужас и негодование произвели в них грубые порица-

ния против обожяемого человека, написанные на самом творении его! Брат мой поспешил извиниться перед князем Вяземским в своей ненамеренной оплошности и мир водворился попрежнему, когда брат объяснил, как было дело. Но если одно простое, невольное указание на какие нибудь недостатки в «Истории Государства Российского» могло поссорить с почитателями памяти Карамзина, то какое действие должна была произвести основательная критика, где в первый раз творение его было представлено, как неудовлетворительное для новых требований науки? И кто же писал такую критику? Человек, до тех пор изъявлявший безграничное уважение к труду историографа. Слепое пристрастие не могло внушить обожателям Карамзина, что критик его, при изменившемся от новых исследований взгляде своем, не должен же был оставаться при своих прежних понятиях и наперекор новым убеждениям хвалить безусловно то, в чем видел коренные недостатки. Он был журналист, он был обязан сказать свое мнение об одном из важнейших явлений современной литературы. Он исполнил это добросовестно и с обыкновенною своею смелостью. Вот, если бы он поступил иначе, то есть хвалил то, что находил неудовлетворительным, должно было бы порицать его и видеть в нем лицемера. Но, повторяю, у Карамзина были почитатели, — нет, мало сказать, почитатели, — о б о ж а т е л и, и совсем не резко применяются к ним слова, что они лелеяли в себе слепое пристрастие к нему. Довольно вспомнить, что Пушкин находил его безусловно мудрым и совершенным; Жуковский не довольствовался этим: в стихотворении своем: «К И. И. Дмитриеву» (т. IV, стр. 139, изд. 1849 г.), он велит молиться ему и называть святым. Князь Вяземский, когда прочел в «Московском Телеграфе» критику творения Карамзина, расстался навсегда с братом своим, хотя лучше нежелал кто другой, мог знать и оценить достоинства его ума и души. Я называю здесь трех главнейших и благороднейших писателей того времени. Надобно ли после этого называть других, которые общим хором признали, что Н. А. Полевой дерзкий вероломец, предатель, словом — преступник, достойный всесожжения? Это явно кричали добрые и сантиментальные фанатики Карамзина, как, например, Иванчин-Писарев, князь Шаликов и т. п.

И пусть бы добрые, беспристрастные в других отношениях люди заблуждались от убеждения искреннего в большей части. Но к ним присоединилась та многочисленная толпа противников Н. А. Полевого, которая во всем видит только расчет корыстолюбия. Когда было объявлено об издании «Истории русского народа», враги автора ее тотчас вывели сближение, что он для того незадолго выставил «Историю Государства Российского» неудовлетворительно, чтобы дать ход своей книге. Я передаю здесь эту барышническую мысль в скромных выражениях; но московские

журналы, неприязненные «Московскому Телеграфу», истощали всю желчь и злобу свою, доказывая корыстолобивые расчеты моего брата при издании «Истории русского народа». Тошно вспомнить, до чего унижались они в порицаниях! Я назвал неосторожностью со стороны Н. А. напечатание критики «Истории Государства Российского», особливо в то время, когда он сам готовился издавать сочинение о том же предмете. Прибавлю, что честный человек всего скорее впадет в такую ошибку или в неосторожность, потому что собственно это ошибка против такой расчетливости, которая не придет ему в голову. В самом деле, человек с развращенным воображением избегает самого невинного двусмыслия или двусмысленного сближения, даже слова; напротив, человек честный смело высказывает те слова, которые вернее выражают его мысль, и не заботится о кривом толковании их. Так и в поступках. Нравственный иезуит никогда не сделает публично того, что могут перетолковать в ущерб его наружной чистоте; человек прямодушный, напротив, и не вспомнит о том, что скажут другие о его поступке, когда он действует по чистому побуждению. И неужели брат мой, столь проникательный в делах ума, должен был удержаться от желания сказать правду о сочинении Карамзина, если бы даже предвидел, что это перетолкуют как дурной поступок? Но такие расчеты никогда не были побуждениями для его поступков. Побуждение его было просто — высказать глубоко-прочувствованную правду, а для человека прямодушного это почти необходимо, когда мнение его, как он полагает, может исправить ложное мнение, сложившееся о данном предмете. Я уверен, что каждый честный человек испытывал отрадное чувство, когда высказывал лежавшую на душе его правду. Это для него обязанность, почти упительная, усладительная при исполнении, и уклониться от нее не заставят его никакие, даже предвидимые им противоречия людей пристрастных.

Я тем больше обязан в этом случае оправдывать моего брата, что сам много раз действовал так же безрасчетно, или неосторожно по мнению света. Лучшие из моих друзей, очень недавно, обвиняли меня, что я напал на Белинского, в то самое время, когда во всех газетах провозглашали его гением, великим человеком, двигателем целых поколений. «Какая надобность, и какая польза была тебе восстанавливать против себя всех? Тебя только заругали и ты много потерял в мнении большинства, не говоря уже о потере и других, существенных выгод». Что ж делать! слишком тридцать пять лет действовал я на литературном поприще, всегда имея в виду истину и общую пользу и не думая о своих личных выгодах, когда шло дело об опровержении ложных учений и корыстных похвал идолам толпы. Надеюсь остаться до смерти неисправимым в этом отношении и утешаю себя мыслью, что мое мнение о Белинском восторжествует окончательно над безумными



Николай Полевой

или лицемерными хвалами ему. И теперь уже начинают образумливаться на счет его; начинают в журналах высказывать, что он не был благодетельный гений, и робко указывают на его недостатки. Придет время, что подтвердят вполне мое мнение и перестанут приписывать ему то, чего в нем не было. Раз высказанная правда не умирает. Как согласились впоследствии с мнением моего брата об историческом труде Карамзина, так согласятся со мною в мнении о Белинском, о котором придется мне говорить еще и в этих записках. «Да ведь он не был твоим врагом?» — говорят мне мои приятели. — «Он отзывался о твоих сочинениях так лестно, как о немногих других; где же повод противоречить хотя бы и преувеличенным похвалам ему?» Как согласить такое убеждение с моим, которое говорит мне, что я тем больше в праве говорить о нем беспристрастно, что при жизни его никогда не имел повода ссориться с ним, и за печатные хвалы его не могу питать неприязни к его памяти. Я уважал в нем честного, хотя иногда сумасшедшего, большого человека, и очень хорошо оцениваю литературные его достоинства, так же, как недостатки. Словом, я потому могу и должен писать о нем, что могу писать беспристрастно.

Переходя от общественной и литературной жизни Николая Алексеевича к его жизни домашней, я должен сказать, что он был самый гостеприимный, самый радушный хозяин и особенно любил ласкать, кормить и всячески ободрять молодых людей, которые ему нравились или в которых он видел какие нибудь дарования или добрые стремления. Нескольких молодых людей воспитывал брат мой на свой счет; могу даже назвать двоих из них, потому что они уже оба умерли: это были дети Акима Алексеевича Титова, некогда воспитанника моего отца. Я упоминал о Титове при описании наших детских лет; а о двух сыновьях его, воспитывавшихся на счет моего брата, можно навести справки в архиве московской коммерческой академии, куда брат мой платил за них деньги. Других пансионеров его не называю, сохраняя понятную скромность в отношении к здравствующим в сем свете. Могу заметить, наконец, что составился бы порядочный капитал из тех денег, которые брат мой давал займы (без отдачи!) своим знакомым десятками и даже сотнями рублей и, разумеется, почти никогда не получал обратно. В бумагах его сохранились до сих пор, хотя немногие, росписки, которых он никогда не требовал; но заемщики — великодушные и донныне здравствующие лица! — говорили: «нет, нет, для порядку это необходимо!» Я бывал свидетелем таких сцен и росписки остаются только доказательством, что деньги по ним никогда не были выплачены. Без доказательств, может быть, стали бы противоречить моим словам клеветники моего брата, печатно укорявшие его в корыстолюбии и, по воле провидения, пережившие своего врага. Н. А. Полевой — корыстолюбец! Это так нелепо для людей, хорошо знавших его, что даже не стоит опровержения.

Потому то я и привожу здесь для изображения его события; они красноречивее всяких суждений показывают, что он был великодушен, готов на услугу всякому и часто с забвением собственных своих выгод. В свете называют таких людей безрасчетными.

Кто знал моего брата, как я, тот признает во многих действиях его недостаток, противоположный корыстолюбию — бескорыстие, иногда доходившее до безрассудства, безкорыстие не святого бессребренника, а простофили, или человека, до такой степени щекотливого в денежных интересах, что, казалось, иногда он действует во вред себе из какого-то пустого самолюбия или чванства, неуместного и виновного в том отношении, что это подрывало благосостояние и спокойствие всего его семейства. Я опишу один случай такого рода, любопытный и как литературное событие.

Брат мой, бывши членом комитета о пересмотре проекта вкесельного устава, сблизился с Д. Н. Бегичевым, который также был членом того же комитета, служил когда-то в военной службе и, вышедши в отставку полковником, уже много лет жил на отдыхе, блаженствуя летом в деревне, а зимою в Москве. Он принадлежал к тем из русских дворян, которых тип изобразил Грибоедов в своем Платоне Михайловиче. Я слышал даже, что в Платоне Михайловиче Грибоедов представил Д. Н. Бегичева, с которым, а еще больше с братом его Степаном Никитичем, он оставался в большой дружбе до самой своей смерти. Дмитрий Никитич, отличавшийся необыкновенным добродушием в обхождении, казалось, должен был навсегда остаться добрым московским семьянином, когда положение его вдруг переменялось. Сослуживец и приятель его в старые времена, Арсений Андреевич Закревский, уже граф и министр внутренних дел, не знаю по какому побуждению предложил Д. Н. Бегичеву занять место губернатора в одной из русских губерний. Так говорил нам об этом сам Бегичев; но вероятнее, что он, во имя старой приязни, просил графа Закревского о хорошем местечке, и тот истинно по-приятельски исполнил его просьбу: из полковников в отставке Бегичев был переименован в статские советники и назначен губернатором Воронежской губернии. Сбираясь к отъезду туда, в новом своем сане, Бегичев несколько раз заезжал к брату моему, изъявляя ему самую искреннюю приязнь и даже советуясь кое-о-чем. Помню, что Николай Алексеевич не раз говорил мне, покачивая головой: «Не знаю, как этот добряк справится с таким обширным и разнообразным управлением, как губернаторское!» Он ошибался: добряк справился с управлением, и даже возвысился на губернаторском месте! Но речь не о том, а об отношениях его к брату моему, за которым он ухаживал в это время чрезвычайно; вскоре объяснилось — с какою целью. Уже после большого прощального обеда, оживленной веселостью и говорливостью любезнейшего из собеседников Дениса Давыдова, чуть ли не накануне своего отъезда в Воронеж, Бегичев еще заехал

к Николаю Алексеевичу, сидел у него долго, и между искренними разговорами робко сознался, что он — автор, что у него, между прочим, окончен большой роман, взятый из современных событий и изображающий известные всей России лица, но что он не смеет издать его без одобрения знатока в литературе; потому просил Николая Алексеевича просмотреть его рукопись и, если он найдет ее достойною издать, предоставляет ему полное право исправлять и изменять ее, как он признает за лучшее. Отказаться было нельзя, и на другой же день брат мой получил целую кипу мелкоисписанной бумаги; это была рукопись «Семейства Холмских». Кажется, даже он не успел после этого свидеться с новым неожиданным автором, который как будто остерегался личного объяснения о своей рукописи. Кому случалось заниматься пересмотром плохих рукописей, тот знает, какая это скучная и утомительная работа.

Трудно было даже прочитать до конца груды бумаги, присланной Бегичевым. Однако, брат мой, при своей способности оценивать всякие литературные произведения, одолел труд и нашел, что сочинение Бегичева, написанное безграмотно и без всякого искусства, включает в себе многие любопытные картины и подробности, взятые с натуры, что анекдоты об известных лицах и разные их проделки понравятся нашей публике, жадной ко всяким общественным сплетням (за неимением лучшего), и что книга может иметь успех, если напечатать ее в приличном виде. В этой предварительной оценке прошло несколько месяцев, и Бегичев, в дружеских письмах к моему брату, уже спрашивал об участи своей рукописи. Тот отвечал ему, наконец, что находит ее любопытною и достойною напечатания, но не иначе как с большими изменениями. Несамолюбивый автор обрадовался и просил его принять на себя труд пересмотра и издания, снова уполномочивая действовать во всем этом по усмотрению. Брат мой взялся исполнить поручение его, по своему обыкновению, без дальних соображений; но, развлекаемый множеством собственных своих занятий, мог посвящать новому, скучному труду лишь немногие часы, отрывая их от трудов более важных. Работа была прескучная, преутомительная: оказывалось необходимым испещрять каждую страницу грамматическими поправками, а многие страницы, наполненные нелепостей и безвкусыя, вовсе исключать, заменяя чемнибудь новым связь в рассказе. Иногда брат призывал на помощь меня, и я перечертил и исправил многие тетради бесконечной рукописи Бегичева. Разумеется, что все это не могло идти скоро: скука и тоска занятия иногда надолго отвращали от него. Между тем брат мой напечатал в своем журнале несколько отрывков из романа неизвестного автора (это было строжайшим условием), и они обратили на себя внимание, как снимки с натуры и с известных оригиналов. Особенно понравились рассказы об одном генерал-губернаторе и об одном предводителе дворянства, которых по именам называли московские Репе-

тиловы. Книгопродавец Ширяев, поощренный говором о новой книге, предложил Николаю Алексеевичу напечатать ее на свой счет с тем, чтобы все издание было отдано ему на комиссию. Так она и была напечатана, когда, наконец, пересмотрена была вся рукопись, после тяжкого утомления и скуки для моего брата, который еще и в корректуре исправлял драгоценную рукопись Бегичева. Но она явилась в свет в благоприличном виде, с легким языком, предшествуемая молвою, и удостоилась успеха неожиданного. Первое издание было вскоре распродано, и Ширяев купил право на второе, уже за несколько тысяч рублей. Кажется, и третье издание проходило через руки Николая Алексеевича; но, так или иначе, он вынул для Бегичева чистого барыша тысяч двадцать рублей и, что было еще важнее, составил ему литературное имя, потому что инкогнито, разумеется, сохранилось недолго: все знали, что «Семейство Холмских» сочинил воронежский губернатор Д. Н. Бегичев.

Позволяю себе спросить читателя: имел ли право Н. А. Полевой получить за свой тяжелый труд, за потерянное на него время и за искусство, с каким он дал ход книге, созданной им из грубых материалов, — имел ли он право получить вознаграждение и даже требовать его? Кажется, тут не может быть разногласного ответа. Всякий труд требует вознаграждения, а благосклонная услуга, доставившая много тысяч рублей, обязывает того, кому она оказана, поделиться приобретенною выгодою. Но брат мой и Бегичев, каждый с своей стороны, поступили иначе. Бегичев, конечно, и не мечтал получить денежную выгоду, ласкаясь только приобрести какуюнибудь авторскую известность; но когда он увидел неожиданно, как упавшую с неба, груды денег, тем больше, казалось бы, должен был предложить хоть половину ее тому, кто доставил ему, своим трудом и пособием, неожиданное и очень приятное приобретение. Он не заикнулся о том, ограничиваясь тысячею благодарностей в письмах к моему брату; а этот вместо того, чтобы просто требовать справедливого вознаграждения за труд и услугу, доставившие не одну денежную выгоду бессовестному его приятелю, — и не заикнулся написать ему о том.

Я не вмешивался в его расчёты с Бегичевым, потому что в это время я и брат жили уже в разных домах, виделись не каждый день, и после многих споров о его безрасчетности, уговорились вести вместе только дела по изданию журнала. Сам сделавшись семьянином, я не мог, как было в продолжение многих лет, безотчетно предоставлять ему свою будущность и был бы благодарен, если бы никогда не отступал от этой решимости.

Бегичев, еще оставаясь воронежским губернатором, проезжал через Москву в Петербург и виделся с моим братом. После этого свидания Николай Алексеевич с сгорчением пересказал мне свои отношения к автору «Семейства Холмских». Из вырученных за его

книгу денег он не доплатил ему четыре или пять тысяч рублей, и вместо того, чтобы потребовать вознаграждения за свой труд, просил его подождать получения остальных денег, надеясь, как говорил брат мой, что тот сам предложит ему хоть часть приобретенной его же трудом суммы, в знак своей благодарности. Напротив, Бегичев задумался, и потом очень равнодушно сказал: «Ну, что же, в остальной сумме вы дадите мне заемное письмо, пожалуй, хоть на год. Я не имею надобности в деньгах». Если бы он сказал это брату моему при мне, я не удержался бы обличить и упрекнуть неблагодарного корыстолюбца. Но брат мой бесспорно согласился и выдал ему заемное письмо на себя. Выслушавши эту историю, я напал на моего брата, обвиняя его в неуместном потворстве корыстолюбивой бессовестности, и еще больше в том, что он представил себя как бы виноватым в задержке чужих денег. Но дело было сделано, и оставалось подвергнуться последствиям его, а они оказались очень не сладки и для брата моего, и для меня. Чтобы не возвращаться к этой грустной истории, я доскажу ее здесь, нарушая хронологический порядок моего рассказа. Брат мой, нуждаясь в деньгах, не мог заплатить в срок по заемному письму Бегичева, и тот, проезжая в Петербург на службу, где получил он высшее место, благосклонно согласился переписать письмо, с прибавлением к сумме процентов за все протекшее время и за будущее до нового срока. Проценты назначил он не банковские, а ростовщические, отчего сумма вдруг возросла невероятно. Так переписывалось заемное письмо несколько раз, и в 1842 или 1843 году долг моего брата Бегичеву возвысился от процентов до десяти тысяч рублей. Заплатить его, после прекращения «Московского Телеграфа» в 1834 году, не было никакого возможности. Между тем, Николай Алексеевич переселился в Петербург и уже был в холодных отношениях с Бегичевым, который не оказывал ему прежней дружбы, обходился с ним, наконец, как неприятель, и когда, зимою 1842 — 1843 года пришел новый срок по заемному письму, он представил его ко взысканию в полицию, то есть готовился посадить моего брата в тюрьму, ибо знал, что у него нет для платежа денег. Видя себя в таком отчаянном положении, Николай Алексеевич экстренно написал ко мне, чтобы я взялся немедленно заплатить за него Бегичеву 5,000 рублей ассигнациями и прислал бы уведомительное письмо о том; что в таком случае Бегичев перешлет в Москву своему поверенному два заемные письма, для получения по ним означенной суммы, а остальной долг соглашается отсрочить. Я имел тогда в Москве книжную торговлю, и с насильем себе мог исполнить просьбу моего брата. Должен ли был я исполнить ее, или оставить его на жертву бессовестному ростовщику? В надежде на помощь божью, я немедленно отвечал моему брату, что заплачу 5,000 рублей, и чтобы он только обезопасил себя от новых притеснений добряка. Через несколько дней после этого явился

ко мне поверенный Бегичева г. Наумов, кажется, бывший обер-секретарем в сенате, и предъявил два заемные письма, каждое в 2,500 рублей ассигнациями, данные Н. А. Полевым его доверителю, протестованные по неплатежу в срок. Отдавая г. Наумову деньги, я спросил его: «Знаете ли вы, за что получает их Бегичев?» — «За Холмских», — отвечал он. — «Нет, стало быть, вы не знаете, что это просто грабеж, а поводом к нему была глупая деликатность моего брата». Может быть, я выражался еще сильнее, и пересказал г. Наумову всю историю сношений моего брата с Бегичевым. Он бесстрастно слушал и наконец провозгласил обыкновенную в таких случаях отговорку: «Все это до меня не касается: я не больше, как доверенное лицо Бегичева». — «Справедливо, — возразил я: — но вместе с тем вы член общества, а я желаю, чтобы все знали истину в этом деле, которому постараюсь придать всевозможную гласность». Слова мои, повидимому, не произвели никакого действия на г. Наумова; но я с тою же целью, с какою пересказал ему историю поступка Бегичева с моим братом, передаю ее здесь, в книге, посвященной изображению Н. А. Полевого в истинном его виде. Он действовал в описанном случае легкомысленно, безрассудно, не договорившись наперед в платеже за свой труд и решившись отдать дорогое для него время за ласковые слова чуждого ему человека. Как глава многочисленного семейства, он даже не имел права действовать таким образом, в ущерб и отягощение своим родным. Но его оправдывают многие обстоятельства. Согласившись на просьбу Бегичева, он не знал, что тот пришлет ему, и, вероятно, полагал, что все это кончится ничем. Добросовестно решившись извлечь несколько хороших зерен из груды сору, то есть не желая бросить и малой доли хорошего или полезного для литературы, он, конечно, не предполагал, как это будет ему тяжело и трудно; наконец, уже кончивши труд, он, может быть, не предполагал, что книга доставит огромные выгоды, и рассчитывал, что барыш можно поделить всегда, думая за Бегичева, как думал сам. Почитая его человеком добрым и благородным, Николай Алексеевич несомненно был уверен, что тот предложит ему сам приличное вознаграждение, когда увидит, какие выгоды доставили ему труды и заботы человека чуждого, дружески посвятившего ему много труда и своего дарования, потому что, конечно, «Семейство Холмских» не имело бы успеха, если бы брат мой не придал ему литературного достоинства. Не знаю, кто переделял Бегичеву следовавшие за «Холмскими» разные его сочинения (потому что сам он худо знал грамоту), только они не обращали на себя ничего внимания, были пусты, бесцветны. Все это оправдывает брата моего в том, что он не сделал предварительного договора с Бегичевым за свой труд, и ошибка его сводится к тому, что он основательно полагался на благородство того, с кем имел дело. Но когда, при расчете в Москве, он увидел бес-

совестность этого человека, тогда уже глупо было церемониться с ним и деликатничать с ним, надевая себе петлю на шею. Тогда он мог бы сказать ему: «Четыре (или пять) тысяч остальных удерживаю себе за труд». Он мог бы потребовать больше, но никак не должен был поддаваться бессовестному корыстолюбу и признавать себя должником его. Если бы тот заспорил, заупрямился, брат мой мог бы предложить ему третейский суд, или просто предоставить дело решению обыкновенного, гражданского суда, даже для того, чтобы огласить свою правоту и выставить добряка в настоящем его виде. Не сделавши этого, он дал повод, может быть, даже говорить о себе как о человеке ненадежном, который задержал чужие деньги. Наконец, он подверг себя гнету ростовщика, угрозе тюрьмой, и способствовал общему нашему разорению.

Одного описанного мною случая достаточно для доказательства, что Н. А. Полевой был даже способен к корыстолюбию, потому именно, что он был человек возвышенный духом, как показывает вся жизнь его, а такие люди неспособны к низким страстям. Такие люди увлекаются иными стремлениями. Брат мой, как человек, имел много недостатков, происходивших от пылкости, от ветренности, от слабости характера; но душа его осталась чиста и благородна при всех испытаниях, до последнего дыхания жизни. Свет мог признать его неосторожным, самолюбивым, но никогда не имел права подозревать в какой бы то ни было низости. Доказательства этого будут еще встречаться нам много раз.

VI

Указав в прошлой главе на те поводы, которые увлекали моего брата к выполнению его заветной исторической задачи, я должен теперь хотя мельком упомянуть и об остальных его литературных занятиях.

Литературное дарование моего брата было чрезвычайно разнообразно и способно проявляться почти во всех видах. Он писал и в прозе и в стихах с равною легкостью, почти импровизировал, и от непрерывного упражнения эта способность восходила у него до изумительной степени. Без приготовления переходил он от важного к шутливому, от трудного, умственного занятия к такому, которое было для него отдыхом. В пример приведу следующий случай. В 1830 и 1831 годах жила в одном с нами доме родственница Николая Алексеевича по жене, молодая, хорошенькая вдова, веселая, милая хохотунья, которую в домашнем кругу называли Аннетта. Ежедневная собеседница наша, она умела развешивать моего брата и он почти всегда шутил и смеялся с нею. Однажды, шутя, он вызвался изобразить ее в поэме; она привязалась к слову и требовала, чтобы он исполнил его, прибавляя, что он не

сдержит слова, даже потому, что у него никогда нет минуты досуга. — Для вас я найду его, милая Аннета! — возразил он. — Я попрошу жену, чтобы она приказала подавать ужинать получасом позже обыкновенного, и эти полчаса буду посвящать поэме, которая таким образом напишется незаметно.

Действительно, вместо 10 часов, стали подавать ужинать в 10½ часов, и Николай Алексеевич всякий вечер приносил несколько десятков стихов поэмы «Аннета». Под этим заглавием, в форме шуточной поэмы, разделенной на строфы, как «Онегин», он изображал милую свою родственницу, разные случаи из ее жизни, и особенно лица, бывшие предметом ее шуток. Эта безделка не имеет никакого значения для публики и не может быть даже понятна для тех, кто не знает подробностей тогдашней нашей семейной жизни, но она, тем не менее, изображала действительность и так верно, остроумно, весело, что нельзя было не смеяться и вместе не дивиться искусству автора. Стихи были хороши, легки, оригинальные; так что, будь только иное содержание в этой шутке, она бы составила известность иному поэту! А между тем, она была писана урывками, наскоро, тружеником, утомленным занятиями целого дня.

Но такая способность писать служит верным признаком дарования не глубокого и творчества не возвышенного. Истинный поэт долго обдумывает то, что стремится выразить душа его, долго лелеет свои идеи и никогда не согласится издать свое творение без тщательной обработки. Он никогда не бывает вполне доволен своими произведениями, и оттого-то делится ими скупно. Совершенно иное явление представлял Н. А. Полевой. При необычайной своей способности писать обо всем и на все темы, он не умел, не был способен создавать и обдумывать долго, писал быстро, и тотчас передавал общему суду все, что писал. Оттого сочинения его носят на себе печать какой-то поспешности и, можно сказать, незрелости, хотя везде видны в них ум, чувство, душа. Таковы его повести, которые писал он и печатал в «Московском Телеграфе» в 1832—1833 годах. Только две или три из них отличаются глубиною чувствований и многими поэтическими местами; но этому была особенная причина. Желая представить изображаемого мною человека вполне, я не могу умолчать, что в продолжение нескольких лет он страдал сердцем, любил — кого? Я не могу сказать, хотя бы мог назвать двух, даже трех особ, в которых он видел какой-то идеал, и попеременно казался безумно-страдающим то по одной, то по другой. Любовь эта была безнадежная и чисто-платоническая; притом он не переставал любить и уважать свою добрую жену. Такое противоречие сердца не могло не мучить его, и он иногда впадал в сильное уныние, иногда переселялся в мечтательный мир. Но всякое сильное, истинное чувство может быть выражено так, что произведет впечатление в читателе и даже поразит его, именно потому, что оно истинно. В часы глубокой тоски выражая

свои ощущения, «бездну души», как сказал он где-то, Николай Алексеевич написал несколько повестей, которые производят сильное впечатление на читателя не предубежденного. Таковы: «Блаженство безумия», «Эмма» и особенно «Живописец», — лучшее из его произведений в этом роде. Главное лицо в нем, Аркадий, изображено с такою силою, так истинно представляет характер человека с высокой душою, что на русском языке едва ли есть что либо равное ему. Многие места и сближения в этой повести также превосходны. Укажу, для примера, на чувствования Аркадия, когда ему объясняют, что значит *з а р а б о т ы в а т ь х л е б*; на старика отца его; когда он получил картину сына; но таких мест множество в «Живописце» и вообще весь этот рассказ одушевлен каким-то благородством, возвышенностью, которые приносят отраду душе. Только грубое пристрастие или невнимание современной критики не отличили этого произведения среди множества тогдашних повестей и романов. Люди с душой, с изощренным вкусом, справедливо удивлялись разнообразию дарований моего брата, и даровитый благородный современник его А. Бестужев выразил это в письмах своих к нему, напечатанных в «Русском Вестнике» 1861 года. Я уверен, что история русской литературы современем упомянет о некоторых повестях Н. А. Полевого, как о замечательнейших произведениях в этом роде. Позднейшие повести его ничтожны, и, большею частью, были писаны по заказу. Таковы же и романы его «Аббадонна», «Синие и Зеленые». В «Клятве при гробе господнем» жизнь старой Руси, которую автор знал так хорошо, изображена с поразительной истиною; но в общности романа нет поэтического создания, и оттого он тяжел для чтения.

Я не принимаю на себя обязанностей критика, говоря о поэтических сочинениях моего брата, но, как историк его жизни, не могу не сказать, что в них есть многое, что даст ему право стать выше некоторых прославленных романистов, современников его. Я убежден, по крайней мере, что история подтвердит это мнение.

Но не в этом роде сочинений была его сила и его главная услуга русскому просвещению. Он был двигатель, в чинатель почти во всем, за что принимался с полным увлечением своей пламенной души; но он не был ни поэт, ни писатель первостепенный. Вспоминаю, что один из умнейших и образованнейших людей своего времени, Михаил Федорович Орлов, удостоивавший меня искренней приязни (упоминаю об этом с некоторой гордостью), сказал мне однажды, рассуждая о моем брате: «У него дарование редкое и огромное, только он разменял его на мелочь и распускает по белу свету в виде малой монеты». Я несколько не согласен с этим и остаюсь при своем убеждении, что Н. А. Полевой не мог быть ничем иным, кроме того, чем был, не мог действовать иначе, нежели действовал: такова была его природа, и в разнообразии, в непостоянстве занятий было настоящее его назначение. Очень воз-

можно, что он сделал бы больше, нежели удалось сделать ему, если бы враждебные обстоятельства вдруг не прекратили его деятельности в самый разгар ее и не нанесли ему такого удара, от которого он не мог оправиться до самой рановременной своей смерти. Ны и прежде, и после существования своего журнала, он одинаково стремился быть начинателем на всех путях, где видел застой, сон, лень, и где можно было двинуть вперед какой либо предмет общей пользы. Это заставляло его, как я уже упоминал, часто принимать на себя участие в делах разных комитетов, коммерческой академии, мануфактурного совета, и даже не отказываться от услуг всякому, кто имел в них нужду. Я показал, как дорого обошлась ему услуга, оказанная Бегичеву; но побуждением к ней было доставить русской публике хорошую книгу, особенно важную потому, что она была о б л и ч и т е л ь н о ю для многих лиц. Теперь это легко; но тогда надобно было большое искусство, чтобы придать форму такому рассказу, где изображались злоупотребления современного общества и некоторых значительных лиц. Брат мой не пропускал случаев к обличению не только мелких, но и крупных злоупотреблений, срывал маску не с одних мелких негодяев, злоупотребителей всякого рода, но и с таких лиц, которые, по своему положению в обществе, могли мстить ему. Он открыл в своем журнале даже особый отдел обличительных статей, издававшийся при «Московском Телеграфе» под заглавием «Нового Живописца» и заглавие это было дано по тому поводу, что знаменитый Новиков, в блестящее время своей деятельности, издавал очень остроумный обличительный журнал «Живописец». В «Новом Живописце» напечатано много смелых статей, где обличались современные злоупотребления, глупости, или известные лица, достойные посмеяния за свои подвиги. Некоторые портреты были так верны, что в них публика узнавала изображенные лица, а иногда и сами эти лица узнавали себя. Нечего прибавлять, что такой образ действий наделал много врагов Николаю Алексеевичу и не обходился без неприятностей, иногда довольно серьезных. Я расскажу здесь один случай такого рода, неважный и окончившийся очень смешно. В «Новом Живописце» напечатано было изображение знаменитого и богатого барина, дряхлого старика, но притом сибарита и отвратительного сластолюбца. В числе разных подробностей, при описании этого лица, были названы две любимые его собаки. Надобно же было так случиться, что у одного московского вельможи, знатного барина и богача, были две собаки, называвшиеся теми самыми именами, какие упомянуты в «Новом Живописце»; еще удивительнее, что этот барин, и своею жизнью, и дряхлостью, и своим гаремом известный всей Москве, представлял разительное сходство с портретом отвратительного сибарита, изображенного в «Новом Живописце»! Вероятно, ктонибудь намекнул ему о том, и уязвленный вельможа имел неосторожность пожаловаться на издателя

«Московского Телеграфа» князю Д. В. Голицыну, военному генерал-губернатору. Князь не мог отказать ему в просьбе погонять дерзкого журналиста, пригласил Николая Алексеевича и начал серьезно выговаривать ему за дерзости, которые он позволяет себе писать против известных лиц. Брат мой отвечал, что не понимает, кого мог он обидеть статьями «Нового Живописца», где изображаются пороки и недостатки человеческие, и просил объяснить, какую именно статью его можно признать личностью против кого бы то ни было. Тогда князь, после нескольких обиняков, сказал ему: «Да вот, например, в одной статье вы изображаете вельможу, развратного старика, и вокруг него две собаки; а собаки с такими именами находятся у знатнейшего в Москве вельможи, заслуженного старца; и теперь в обществе толкуют, что вы изобразили его». Брат мой, едва сдерживая свой смех, — да и сам князь Голицын невольно улыбался, — отвечал ему: «Помилуйте, ваше сиятельство! Может ли князь NN принять на свой счет изображение развратного старика, сибарита, негодяя? Неужели есть какоенибудь сходство в нем с таким портретом? Я не знаю лично князя, но знаю, что он носит знаменитое имя и должен быть достоин его; если же у него есть две собаки с такими же именами, какие дал я двум собакам в моем рассказе, то это какая-то непостижимая случайность». Князь Голицын засмеялся и возразил, что не князь NN узнает себя в портрете, а толкуют в обществе, что это его портрет, и в доказательство называют его собак! «Надобно избегать такого соблазна, — прибавил он. — Знатных вельмож в Москве всего двое-трое; и если вы напишете чтонибудь оскорбительное о знатных московских вельможах, то ктонибудь из нас должен принять это на свой счет!» Он еще больше засмеялся и в заключение советовал брату моему быть осторожнее.

Если бы князь Дмитрий Владимирович Голицын не был чудесно-благородный человек, то не разделился бы брат мой так легко за сатирическое изображение сластолюбивого старика-вельможи!

Как рыцарь, как смелый боец на избранном им поприще, Николай Алексеевич не робел ни перед знатностью, ни перед какими бы ни было авторитетами, когда надобно было обличать порок, низость, злоупотребление. Он ненавидел старинную русскую поговорку: «Не нашу тысячу рубят!» и кидался в схватку при всяком случае, который пробуждал в нем неизменное чувство на защиту правды и добра. Повидимому, какая надобность была ему задевать Пушкина и восстанавливать против себя опасного неприятеля в этом могущественном писателе? Не выгоднее ли было бы позабыть распри и жить с ним, по крайней мере, в приязни? Но это было уже невозможно для моего брата с тех пор, как Пушкин написал некоторые свои стихотворения и напечатал в «Литературной Газете» Дельвига «Послание к вельможе». Николай Алексеевич пришел в

глубокое негодование, потому что видел самовольное, жалкое унижение Пушкина особенно в этом послании. Он стал при всяком случае указывать на слабые стороны поэта и за изменчивость его платил ему резкою правдою. Многие видят мастерское произведение в «Послании к вельможе», но брат мой тем больше сердился, что находил в нем прекрасные, пушкинские стихи.

Курьезно суждение об этом г. Анненкова, который в хвалебной компиляции своей о Пушкине говорит: «При появлении своем, оно («Послание к вельможе»), как и многие другие произведения поэта, возбудило недоумение. В свете считали его недостойным лица, к которому писано; в журналах, наоборот, недостойным автора, которого обвиняли в намерении составить панегирик. Любопытно суждение одного повременного издания об этой пьесе, одинаково поражающей и совершенством формы, и совершенством содержания. При разборе «Бориса Годунова» журнал («Московский Телеграф», 1833 г., ч. 49-я, № 1-й) замечал: «Мы уверены, что современем сам Пушкин выбросит из собрания своих сочинений много, как-то: Загадку, Собрание насекомых, Дорожные жалобы, Послание к вельможе — все это недостойно его». Понимание эстетических произведений, связывающее журнал 1833 года с журналами 1820 года!» (Материалы для биографии Пушкина, страница 253-я). Понимание!.. Где г. критик подслушал, что в свете считали «Послание» недостойным лица, к которому оно писано?.. Разве это были Суворов, Екатерина Великая, Карамзин, т. е. или герой, или богиня мудрости, или великий писатель? Известно, какую славою пользовался в Москве прославленный Пушкиным вельможа! Напротив, как современник события, я помню, что все единогласно пожалели об унижении, какому подверг себя Пушкин. Чего желал, чего искал он? Похвалить богатство и сластолюбие? Пообедать у вельможи и насладиться беседою полумертвого, изможенного старика, недостойного своих почтенных лет? Вот в чем было недоумение и вот что возбуждало негодование. Понимание! Тем хуже было, что, писавши о недостойном предмете, Пушкин находил прекрасные стихи и как будто вдохновение. Не таков был Державин: когда его уговорили написать похвальное стихотворение Потемкину, он написал пустейшее произведение «Решемыслу», то есть не умел льстить и находить вдохновение по заказу; но, пораженный внезапною смертью Потемкина, он написал свой «Водопад», когда уже не мог рассчитывать на благосклонность умершего. Вот чего требовали современники и от Пушкина, и чего всегда требуют все благородные, чистые духом люди от поэтов. Неужели Франция не вострепнулась бы от негодования, когда бы Виктор Гюго, в начале 1830 года, написал льстивое послание к министру Полиньяку, так же знатному вельможе, который был, конечно, не хуже того, к кому писал Пушкин? Неужели и теперь, если бы ктонибудь из лучших

современных стихотворцев прекрасными стихами написал такое же хвалебное стихотворение к современному недостойному вельможе, — неужели теперь это не возбудило бы негодования? Неужели стали бы только любоваться стихами, не обращая внимания на смысл и значение сочинения? Г. Анненков очень низко думает о своих современниках, если скажет да! Я не желаю такого понимания ни нынешнему, ни будущему поколению. Повторяю: тем хуже, что Пушкин нашел вдохновение для такого предмета! Если бы это не было временным, исключительным проступком, нельзя было бы верить истине других его стихотворений, и они казались бы нам противны, именно вследствие эстетического понимания.

Брат мой, постепенно разочарованный поступками Пушкина в отношении к нему самому, был еще больше разочарован его действиями в обществе, которому этот великий поэт готов был жертвовать нравственным достоинством, льстя вельможам, втираясь в большой свет, добиваясь камер-юнкерского мундира и разных милостей, которые и сыпались на него щедро. Вспомним, что Пушкин был первый поэт своего народа и своего времени, что на него были обращены взоры целой России, и перестанем удивляться, что в это время публика с недоверчивостью, почти с холодностью встречала лучшие его произведения. Она перестала верить нравственной его силе. Это самое ощущение было испытано Н. А. Полевым, который наконец не уважал в нем нравственного человека. Он прощал более людям слабым, мелкодушным, — но Пушкин! . . . От такого человека каждый соотечественник в праве требовать больше, нежели от какогонибудь рядового писателя. Поэтому-то наконец нападения моего брата на Пушкина доходили до крайности. Он доказывал даже слабость его стихов, не находя в них связи, и для примера предлагал читать некоторые отрывки их с конца к началу, причем смысл почти не изменяется. Так переложил или переставил он и напечатал в «Телеграфе» «Посвящение Онегина» П. А. Плетневу. За то и Пушкин пылал гневом против него и, не отвечая прямо, мстил косвенно, иногда непозволительным образом, чем опять ронял нравственно достоинство свое. К числу таких отщений принадлежит унижительное поощрение, которое он оказывал писателю Орлову. Этот пошлый писателю, издававший отвратительные брошюры под разными циническими заглавиями, как, например: «Поросенок в мешке, или угнетенная невинность», очень угодил Пушкину тем, что начал издаваться и глумиться над Булгариным, с которым Пушкин был в это время чуть не на ножах. Великий поэт обрадовался случаю бросить грязью в автора «Выжигиных» и написал одобрителное и поощрительное письмо к Орлову, усякая его бранить Булгарина. Тот отвечал ему, и таким образом между ними завязалась переписка и почти приязнь. Пушкин старался представить все это в виде забавной шутки, но, тем не менее, событие несомненно: он унижался до переписки с Орловым, поощряя

этого уличного писаку передразнивать и поносить тех людей, которые писали неуважительно о последних сочинениях Пушкина. Когда, наконец, он был раздражен на Н. А. Полевого за разные колкие его замечания, тогда начал поощрять Орлова писать против автора «Истории русского народа». Несомненным доказательством всего этого служит следующая копия с письма Пушкина, сохранившаяся в бумагах Н. А. Полевого. Замечательна надпись, сделанная на ней рукою моего брата: «Прежде всего надобно хорошенько представить себе: кто и к кому пишет? Пушкин — к Орлову!! Теперь начинайте чтение».

Письмо А. С. Пушкина к А. А. Орлову.

«Искренно благодарю за удовольствие, доставленное мне письмом вашим. Радуюсь, что посильное заступление мое за дарование, конечно, не имеющее нужды ни в чьем заступлении, заслужило вашу благосклонность. Вы оценили мое усердие, а не успех. Мал был в братии моей, и если мой камешек угодил в медный лоб Голиафу Фиглярину, то слава создателю! Первая глава нового вашего «Выжигина» есть новое доказательство неистоощаемости вашего таланта, но, почтенный А. А., удержите сие благородное, справедливое негодование, обуздайте свирепость творческого духа вашего. Не приводите яростью пера вашего в отчаяние присмиривших издателей «Пчелы». Оставьте меня впереди согладаем и стражем. Даю вам слово, что если они чуть пшсевельнутя, то Ф. Косичкин заварит такую кашу, или паче кутью, что они ею подавятся».

«Читал я в «Молве» объявление о намерении вашем писать «Историю русского народа». Можно ли верить сей приятной новости?

«С истинным почтением и неизменным усердием остаюсь всегда готовый к вашим услугам, 24 ноября, 1831 г.

«Вот письмо, долженствовавшее к вам явиться, милостивый государь Александр Анфимович! Но, отправляясь в Москву, я его к вам не отослал, а надеялся лично с вами увидеться. Судьба нас не свела, о чем искренно сожалею. Повторяю здесь просьбу мою: оставьте в покое людей, которые не стоят и не заслуживают вашего гнева. Кажется, теперь Полевой нападает на вас и на меня, собираюсь на него рассердиться; покамест с ним возьмется Воейков и Сомов под именем Н. Лугового, наше дело сторона. 1832 года, 9 января».

Жаль, что не сохранилась вся переписка великого поэта с трактирным писакой: любопытно было бы видеть, как они братались! Приведенное мною здесь письмо, как видно, одно из многих; но цель их всех, конечно, была одна и та же. Пушкин подстрекал Орлова писать против неприятных ему людей, и для этого льстил ему, хотя в двусмысленном тоне. Орлов ликовал и показывал письма его встречному и поперечному, предлагая с каждого копию за дву-

гривенник! Вероятно, так достал и брат мой копию с означенного письма. Для пояснения замечу, что под именем Косичкина писал Пушкин бранчивые статьи против Булгарина в «Телескопе» и в «Литературной Газете», которой издателем был Дельвиг, а редакцию занимался Орест Мих. Сомов, добрый малый и образованный словесник, но переметная сума по мнениям. Он был попеременно другом почти всех враждовавших между собою партий. Пушкин, между прочим, находил в Орлове больше дарования, нежели в Булгарине, отчего автор «Выжигина» ужасно бесился. Орлов писал пародии на роман его и, как видно, собирался писать пародию на «Историю русского народа», а Пушкин радовался тому и одобрял его.

Все это были мелкие интриги, сплетни, унижительные, конечно, не для брата моего. Он прямо и открыто нападал на Пушкина, когда находил его достойным порицания. Предположите даже, что он ошибался, увлекался досадой, страстью, но во всяком случае действия его были благородны. «В поле съезжаются — родней не считаются», но нападайте же, как подобает рыцарю, а не подучайте какого нибудь бродягу бросить камнем в вашего противника или дернуть его за ногу в пешем бою. Пушкин не хотел вступить в открытый бой, а не брезговал всйти в интригу с А. Орловым! Не так действовал в свое время Карамзин. Поверят ли после всего этого, что брат мой никогда не переставал любить Пушкина и восхищаться его чудесным дарованием, его усладительными стихами. Можно сказать даже, что эта любовь к великому поэту была главной причиной досады, а иногда и неудержимого негодования, когда он видел, что Пушкин действует недостойно своего великого призвания. Он порицал его, как порицает брат любимого брата, впадшего в проступок: Говорят же, что кого мы любим, на того чаще досадуем, и это отчасти справедливо, потому что сердцу больно за дорогого человека. В порядке вещей, что какой нибудь Орлов купается в грязи, но можно ли равнодушно видеть, когда с таким человеком сближается Пушкин? В самой заметке моего брата на письмо Орлова видна не злость, а какая-то грустная досада.

После прекращения «Московского Телеграфа», брат мой не имел никаких сношений с Пушкиным: не знаю, даже, встречались ли они в последние годы жизни поэта. Один жил в Москве, другой в Петербурге. Но лучшим доказательством, как высоко уважал и любил Пушкина Н. А. Полевой, может служить впечатление, произведенное на него смертью поэта. В Москве пронеслись слухи о дуэли и опасном положении Пушкина, но мы не слыхали и не предполагали, что он был уже не жилец мира. Утром, по какому-то делу, брат заехал ко мне и сидел у меня в кабинете, когда принесли с почты «Северную Пчелу», где в немногих строках было напечатано известие о смерти Пушкина. Взглянув на это роковое известие, брат мой изменился в лице, вскочил, заплакал и, бегая по

комнате, воскликнул: «Да что-ж это такое?.. Да это вздор, нелепость! Пушкин умер!.. Боже мой!..» И рыдания прервали его слова. Он долго не мог успокоиться. Искренние слезы тоски, пролитые им в эти минуты, конечно, примирили с ним память поэта, если при жизни между ними еще оставалась тень неприязни.

Не лгая никому, честно исполняя обязанности журналиста, Николай Алексеевич беспрестанно увеличивал число своих неприятелей. В толпе их надобно отметить одного, замечательного по разным отношениям человека — Сергея Семеновича Уварова, который, наконец, был побудителем к запрещению «Московского Телеграфа». Неприязненное расположение его к издателю этого журнала началось с того, что он признавал неслыханную дерзость, многие и иногда колкие замечания Н. А. Полевого на разные издания академии наук, где Уваров был президентом. Особенно сердили его беспощадные разборы календаря или месящеслова, искони издававшегося академиею, но в описываемые мною годы с такою небрежностью, которая кидалась в глаза и была непростительна. В разборах календаря брат мой указывал на множество ошибок, промахов, недосмотров, противоречий. Он также не щадил и «С.-Петербургских Ведомостей», издававшихся от академии, не знаю под чьею редакциею, но еще больше календаря достопамятных всевозможными недостатками и ужасным языком. Уваров не постигал, как можно осмеливаться критиковать, и так дерзко, издания ученой академии? Когда он сделался товарищем министра народного просвещения, то уже очень не любил Н. А. Полевого и, не помню, лично или через кого-то, сказал ему, чтобы он был осторожнее и вообще умереннее в мнениях. Но он еще не мог ничем пристукнуть его — и выжидал к тому случая, говоря, что Полевого был неисправим. Вскоре мы увидим, как он исправлял или лечил его от излишнего усердия к просвещению.

Тем-то и невыгодно положение журналиста, что, для сохранения мирных отношений с большинством писателей, он должен мирно велить им, хвалить против совести, соображаться с разными отношениями; иначе, т. е. идя путем правды, он встретит множество неприятелей, и даже в таких людях, которые, сами не бывши писателями, имеют какие нибудь отношения к литературе.

Я упоминал об искренней приязни, и можно сказать, дружбе Николая Алексеевича с Иваном Васильевичем Киреевским. Она расстроилась и вот по какому обстоятельству.

Приятель наш, домашний человек в нашем семействе в продолжение многих лет, М. А. Максимович, всегда казавшийся нам ботаником и очень ловко занимавший кафедру ботаники в университете, вдруг вздумал заниматься словесностью и издавать литературные альманахи. В начале 1829 года он издал альманах «Денница», где было обозрение современной русской словесности, написанное И. В. Киреевским. Этот необыкновенно умный и образо-

ванный человек не имел нисколько литературного дарования, и оттого все, что писал он, выходило как-то нескладно и дико. Он начал было даже издавать журнал, но остановился, кажется, на первой книжке, и, много занимаясь философией, не умел написать о ней ничего дельного. Так было написано им и обозрение словесности, напечатанное в «Деннице». Он сам не знал, чего требовал от русской литературы, противоречил сам себе и выражался диким языком, но хуже всего было, что при оценке русских писателей он был пристрастен или несправедлив и до тошноты хвалил всех друзей и любимцев Пушкина. Дельвиг, приятный, иногда остроумный песенник, был превознесен им и притом самым смешным образом: например, желая характеризовать его несколькими словами, Киреевский говорил, что он на светлый идеал древних набросил душегрейку новейшего уныния. Такие же странности были и в других его определениях. Притом, он явно поддерживал довольно распространенное тогда мнение, что писатель не может быть хорош, если не принадлежит к высшему светскому обществу, — мнение, которое беспрестанно выражал и упорно поддерживал Пушкин, вероятно соединяя его с своим понятием об аристократстве. Такое потворство ложному учению было нестерпимо в человеке умном и благородном, каким я всегда почитал Киреевского. Мне казалось даже, что он дезертирует из нашего круга и желает быть приятным бо я р и ну Пушкину, который видел ум и любезность в полумертвом, ничтожном в е л ь м о ж е, и не хотел видеть их в моем брате. Под влиянием таких ощущений я написал длинную статью: «Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года, помещенных в «Деннице» и «Северных Цветах» («Московский Телеграф» 1830 года, № 2-й, стран. 203 — 232). Обличая там ложные мнения и ошибки разного рода, я с особенной горячностью опровергал мнение, будто бог дает художническое дарование только светским людям. Видно, это было выражено довольно сильно и пылко, доказательством тому служит искренняя хвала, которую выразил мне Денис Давыдов с обыкновенною своею оригинальностью. Вскоре после напечатания моей критики, он как-то заехал ко мне с просьбою перевести для него отрывок из «Жизни Агриколы Тацита», который ему нужно было вставить в свою прекрасную статью «Замечания на биографию Раевского». Я отказался, говоря, что не смею переводить Тацита, не довольно изучивши его язык. «Я перевел сам, да с французского!» — сказал он. Тут он прочел мне свой перевод из жизни Агриколы. Выслушавши его, я искренно выразил ему свое мнение, что если бы сам Тацит перевел этот отрывок на русский язык, то перевод не был бы лучше. Может быть, он не во всем верен буквальному смыслу подлинника, зато верен духу его. «Нет, куда мне! — возразил Д. Давыдов. — Нынче хорошо пишут и молодые писатели, так что нам, ветеранам, только любоваться ими. Да вот, у вас напечатана в «Те-

леграфе» критика на Киреевского. Я не судья в том, кто прав, но в этой критике есть две-три страницы, которые берут за душу: в них есть сердечная горечь, полынъ, сознание правды, которое одно может так выражаться». Тут он даже повторил некоторые фразы моей статьи, именно те, где говорится, что Шекспир сделался великим писателем, конечно, не в обществе благородных лордов. Дело не в том, что такая похвала, услышанная от одного из изящнейших наших писателей, могла льстить моему самолюбию, но в том, что статья против Киреевского, очевидно, произвела впечатление. Она действительно была написана с прямотушим истинного убеждения и ниспровергала как теорию, вымышленную Киреевским, так и пристрастные суждения его о частных явлениях русской литературы. Но мог ли согласиться со мной человек, который, при всем своем уме, был убежден в превосходстве своем чуть ли не над всеми смертными, был возлеян неумеренными хвалами всех окружающих его и притом наделен характером ипохондрическим, следовательно склонным к подозрительности? Он, как видно, почел мою критику предательством, был уязвлен в неограниченном своем самолюбии и прекратил знакомство с братом моим и со мною. Но благородная душа его, несомненно, тягстилась такую несправедливостью и высказалась впоследствии. Я упомяну здесь о произвольном сознании его в своем заблуждении, потому, что, кажется, мне не придется более говорить о Киреевском. В 1834 году, после прекращения «Московского Телеграфа», И. В. Киреевский неожиданно посетил моего брата. Он приехал вместе с почтенным своим вотчимом А. А. Елагиным, искренно обнял, поцеловал моего брата и объявил ему, что накануне важнейшего события в своей жизни желает уверить его в своем уважении и уничтожить темное облако, разделявшее их в последние годы. Событием, о котором он упоминает, была его женитьба. Как христианин, приготавливаясь к таинству брака, он хотел прежде очистить свою душу и, признавая себя неправым против моего брата, хотел примириться с ним. Объяснений о том, что было причиной их размолвки и кто был прав и кто виноват, — разумеется, не высказывали. Но оба старые приятели понимали друг друга, и Николай Алексеевич был тронут благородным поступком Киреевского, как он говорил мне в тот же день. Впрочем, разорванная их приязнь не возобновилась. Можно верить только, что он не остался нашим неприятелем за огорчившую его статью.

В начале 1831 года Максимович опять издал свою «Денницу» и опять с обозрением русской литературы за истекший год, как будто необходимы были публике суждения его альманаха о современных явлениях нашей словесности, которыми он ограничивался почти исключительно, сказав несколько двусмысленных фраз об «Истории русского народа». Остальные суждения были повторением пристрастных мнений «Литературной Газеты», издававшейся

под влиянием Пушкина и его партии. Максимович хвалил не в меру всех писателей этой партии и язвительно отзывался о всех их противниках. Явно было, что он не изрек какого нибудь оскорбительного приговора о трудах моего брата единственно потому, что еще хотел сберечь себе приязнь с ним. Напротив, все казалось ему превосходно в произведениях и деятельности пушкинской фаланги, с которою мы находились тогда в войне, и он млея от восторга, указывая на самые пустяшные сочинения Дельвига, Сомова и компании, восхваляя и прекрасное направление «Литературной Газеты». Вот это восхваление особенно рассердило Николая Алексеевича и меня, потому что, если чего не было в «Литературной Газете», так уж, конечно, добросовестности. Почти все хвалы и порицания ее были внушены духом партии: она с беспримерною запальчивостью порицала не только сочинения, но и нравственность своих противников, а между тем, что делала сама?.. Я разумею здесь не только неблагоприятные отзывы, но часто и уличные порицания против моего брата. К несчастью, таков был и до сих пор остается тон русской критики вообще. Но если извинительно до некоторой степени, в пылу и разгаре спора, наговорить своему противнику невежливостей и обвинений вроде того, что он не знает грамоты и пишет бессмыслицу, то ни в каком случае непозволительно нападать на его нравственность. «Литературная Газета» не ограничивалась даже всем этим. Как прикажете назвать, например, вот такую выходку, напечатанную в «Литературной Газете» (1830 года, № 43-й, стран. 72) и относящуюся к известному мнению Пушкина об аристократстве:

... «Пренебрегать своими предками, из опасения шуток гг. Полевого, Греча, Булгарина, непохвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не дворяне (особливо не русские), позволяющие себе насмешки насчет русского дворянства, более извинительны. Но и тут шуточки их достойны порицания. Эпиграммы демократических писателей XVIII столетия (которых, впрочем, ни в каком отношении сравнивать с нашими невозможно) приуточили крики: «Аристократов к фонарю! и ничуть не забавные куплеты с припевом: «Повесим, их, повесим. Avis au lecteur».

Чем это «Avis au lecteur» лучше тех указаний, которыми славился и наконец сделался ненавистен впоследствии Булгарин? Разве это не явный донос, не обвинение в распространении революционных мнений? Не нужно пояснять, к кому взывает «Avis au lecteur!» И это печатали Пушкин и его единомышленники в 1830-м году, при тогдашней опале журналов, указывая на Полевого, который больше других отличался независимыми мнениями!.. Довольно было бы одной такой выходки, чтобы навсегда отвернуться от «Литературной Газеты», или, по крайней мере, не почитать ее добросовестною, не способною к тому же, в чем она упрекала Булгарина.

Очень понятно, что преклонение перед «Литературной Газетой», пристрастные хвалы ее и подражание ее мнениям и суждениям, явные в «Обзрении русской литературы», написанном г. Максимовичем и напечатанном им в «Деннице» на 1831 год, чрезвычайно огорчили и изумили нас; тем более, что он, который прежде всегда советовался с нами о своих литературных предприятиях и писаниях, не показывал нам этого «Обозрения», и оно явилось совершенно для нас неожиданно. По выходе своего альманаха, он и сам не показывался к нам, конечно, желая дать пройти первому впечатлению от его поступка. Между тем, в первом же пылу негодования, я написал (напечатанное в «Московском Телеграфе» 1831 года, в № 4-м, стран. 537-я) известие о появлении «Денницы» и резко выразил при этом свое негодование против г. Максимовича, упрекая его в недобросовестности мнений, выраженных им в своем «Обозрении литературы». Можно ли было говорить иначе не какомунибудь Воейкову или Надеждину, которые расхохотались бы, если бы их упрекнули в предательстве и недобросовестности, а человеку, долго бывшему как родным в нашем семействе, всегда оказывавшему уважение к нашим мнениям и поступкам, и обязанному нам если не чем другим, то, по крайней мере, нашею искреннею приязнью, доброжелательством и неизменным радушием в услугах, чего нельзя вознаградить какими либо корыстными выгодами в делах, внушившими г. Максимовичу новый образ его действий. Надеясь приобрести больше выгод от братства с партиями Пушкина и Надеждина, он как будто обрадовался случаю заявить торжественно свой разрыв с нами и напечатал в «Молве»,¹ в ответ на разбор «Денницы», оскорбительную для моего брата статью. Там, между прочим, выразился он так:

«Г. Полевой говорит о возвышенной цели, беспристрастии, «прямодушии», истине, *bonne foi*, благородстве характера, приличии; но об этих предметах в настоящем случае спорить и мудрено, и некстати; и я могу только сказать: не ему бы говорить и не мне бы слушать».

Этими словами он хотел выразить перед публикой мысль, что я, дескать, знаю вас, г. Полевой, как домашний ваш человек, знаю вас десять лет, и потому не говорите мне о возвышенности и благородстве, которых в вас нет. Слова его могли иметь сильное действие, ибо все многочисленные наши знакомые, в продолжение долгого времени, видели и знали искренние отношения, в каких находился с нами г. Максимович. Хорошо понимая вред, какой могли нанести слова его брату моему, он дерзко высказал их. Всегда отличаясь необыкновенною сметливостью в своих действиях, он не мог не давать себе отчета в том, что становится в положение бра-

¹ В изд. 1888 г. явная опечатка: М о с к в е. — Р е д.

та, обвиняющего своего брата. Обвинение в неблагодарстве, так грубо высказанное им, в отповеди на мою статью, было гораздо значительнее всех клевет и ругательств Надеждина и других отъявленных врагов издателя «Московского Телеграфа». Читая их статьи, всякий знал, что тут нет святой правды, как нет ее никогда в перебранках двух неприятелей. Но обвинение в безнравственности, высказанное искренним человеком, знавшим все подробности семейной жизни Николая Алексеевича, непременно должно было пробудить в читателе мысль: «Видно, Полевой — дурной человек, когда это громко выражают самые близкие его приятели!».

Особенным отличием обвинения, напечатанного г. Максимовичем, было еще то, что оно не высказывало ничего прямо, а было глухим намеком на какую-то общую безнравственность моего брата, в котором Максимович отрицал и беспристрастие, и прямоту, и благородство характера! Высказывать такие обвинения, конечно, очень легко (разумеется, кто способен к тому), но они гораздо злее прямых, ясных указаний на какой-нибудь нравственный проступок или недостаток. Ничего подобного не мог сказать против моего брата самый злой враг его, но тем язвительнее являлся намек на безнравственность во всем, высказанный другом, долженствовавшим питать благодарность к моему брату. Это имело вид невольного, прискорбного сознания!.. Но если бы г. Максимович должен был указать хотя на один безнравственный поступок Н. А. Полевого, — он не нашел бы его. Читатели эту книгу знают, что я не скрываю слабостей и недостатков моего брата, не щаю его заблуждений и ошибок, но и слабости и заблуждения его были следствием не безнравственности или преступного направления, а несовершенства природы человека, которого не осуждает сам бог, наказывающий прегрешения вольные. Г. Максимович повторял в статье своей пошлое осуждение за прекращение войны «Московского Телеграфа» с «Северной Пчелой» и за нападение на Пушкина и на его партию, противоречившие похвалам, какие высказывались в первых годах того же журнала. Но после объяснений, подробно изложенных мной об этих предметах, читатели знают, как естественно и праводушно действовали мы с братом и в отношении к г. Гречу и Булгарину, и в отношении к Пушкину.

Действительно, мнение об издателе «Московского Телеграфа» было очень неблагоприятно, особливо в тех кругах, от которых могло зависеть существование его журнала. Лучшие писатели были озлоблены против него, или, по крайней мере, глядели на него неприязненно. Уваров, назначенный министром народного просвещения, строго наблюдал за ним, и брат мой стал нередко получать замечания и выговоры за разные статьи, появлявшиеся в его журнале. К тому же и журналисты (не устающие до сих пор порицать Булгарина) часто помещали в своих листах явные доносы на изда-

теля «Московского Телеграфа». Как назвать иначе следующие строки, напечатанные Надеждиным в «Молве» 1831 года, в № 48-м: «Если находятся еще в России квасные патриоты, которые наперекор Наполеону почитают Лафайэта человеком мятежным и пронырливым, то пусть они заглянут в № 16 «Московского Телеграфа» (на стр. 464) и уверятся, что «Лафайэт самый честный, самый основательный человек во Французском королевстве, чистейший из патриотов, благороднейший из граждан, хотя вместе с Мирабо, Сиссом, Баррасом, Баррером и множеством других был одним из главных двигателей революции; пусть сии квасные патриоты увидят свое заблуждение и перестанут

Презренной клеветой злословить добродетель!

Я поясню впоследствии этот злонамеренный намек, послуживший к обвинению моего брата в распространении революционных мнений; здесь замечу только, что приведенные выше слова вырваны «Молвою» из большой переводной статьи и принадлежат не брату моему, а известной писательнице леди Морган, которая также передавала только чужие слова в анекдоте о Наполеоне, графе Сегюре и Лафайэте. Но такими-то сближениями и искажениями разных строк «Московского Телеграфа» старались повредить ему враги-журналисты, зная неприязненное мнение о нем нового министра народного просвещения. Они извлекали яд из самых невинных слов, как доказывают приводимые мною события. Можно представить себе, какими комментариями дополняли они изустно свои печатные у к а з а н и я. Надобно удивляться только тому, как долго оказывались недействительными их усилия погубить издателя «Московского Телеграфа», который продолжал свое существование до 1834 года. В самом деле, это особенно удивительно! Каких подкопов, каких стенобитных орудий и каких клевет, интриг не употребляли враги «Московского Телеграфа», усиливаясь стереть с лица земли этот журнал и его издателя! Читатели видели, что орудием служили не только журнальные перебранки, какими сражались с «Московским Телеграфом» неприязненные журналы в первые годы. Тогда, в самых запальчивых выходках, дело шло, все-таки, о литературных правах или достоинствах, и если упрекали друг друга в какихнибудь неправдах, то упреки не намекали на политическое или нравственное достоинство человека. Но люди, порицавшие моего брата за примирение с Булгариным, после подобных перебранок, далеко превзошли этого литератора: его выходки кажутся ученическими винами перед изобретениями других противников моего брата. Я рассказывал, как они хотели представить его человеком способным выкрасть в свою пользу важные открытия из рукописи Зориана Ходаковского, как старались представить уголовным преступлением перевод «Жизни Наполеона», как составили обвинительный акт, жалуясь на оскор-

бление целого ученого сословия в лице Каченовского, как «Литературная Газета» и Надеждин обличали его в распространении революционных мнений, как г. Максимович, воспользовавшись качеством семейного друга, провозгласил Н. А. Полевого лишенным всех нравственных качеств. Я упоминаю здесь только о немногом, слишком гласном или явном; но, вероятно, сотни подобных обвинений и гораздо больше тяжких были распространяемы и передаваемы изустно, неведомо для моего брата и меня. Но что они были, это доказывает неумолимая логика событий. Человек, который делает на вас письменный донос, задумается ли в разговоре и при всяком удобном случае очернить вас как можно усерднее. Если Пушкин или кто из его приверженцев напечатал в «Литературной Газете» «Avis au lecteur», то сколько подобных «Avis» мог он передать без печатной гласности? Если печатно утверждали, что Н. А. Полевой способен к самому преступному действию, то что же клеветали на него в общественных разговорах?

А «Московский Телеграф» не прекращался и шел своим путем! Опаснее всего было для него неблагоприятное расположение Уварова, министра народного просвещения, выраженное много раз; но министр не имел никакого повода запретить издание нашего журнала, и мы, уверенные, что он выше всяких мелких страстей и отношений, продолжали действовать с прежнею откровенностью в мнениях.

VII

Я не почитал и не почитаю нужным, в «Записках» о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого, говорить о содержании издававшегося им журнала, и указываю иногда только на те статьи его, которые относятся к какому нибудь важному случаю на поприще издателя или представляют черту его ума и характера. Любопытствующие могут в самом «Московском Телеграфе» видеть, в каком направлении издавался этот журнал, и оставались ли мы верны общему его характеру и духу до конца его существования. В настоящее время, «Московский Телеграф», как старый журнал, потерял всю свою занимательность и статьи его, большею частью, не могут обратить на себя внимания, — даже не могут быть вполне понятны для нового поколения. Но, в свое время, для своих современников, он был истинным и, как говорят ныне, передовым журналом; по крайней мере, покуда он существовал, общее мнение признавало его лучшим из русских журналов, и я остаюсь в уверенности, что он принес много пользы распространением всякого рода сведений, и еще больше взглядом своим на успехи в науках и события умственной и общественной жизни. Не знаю, долго ли еще мог бы он существовать, если бы неожиданный случай не сделался поводом к его прекращению, и не утомилась ли бы,

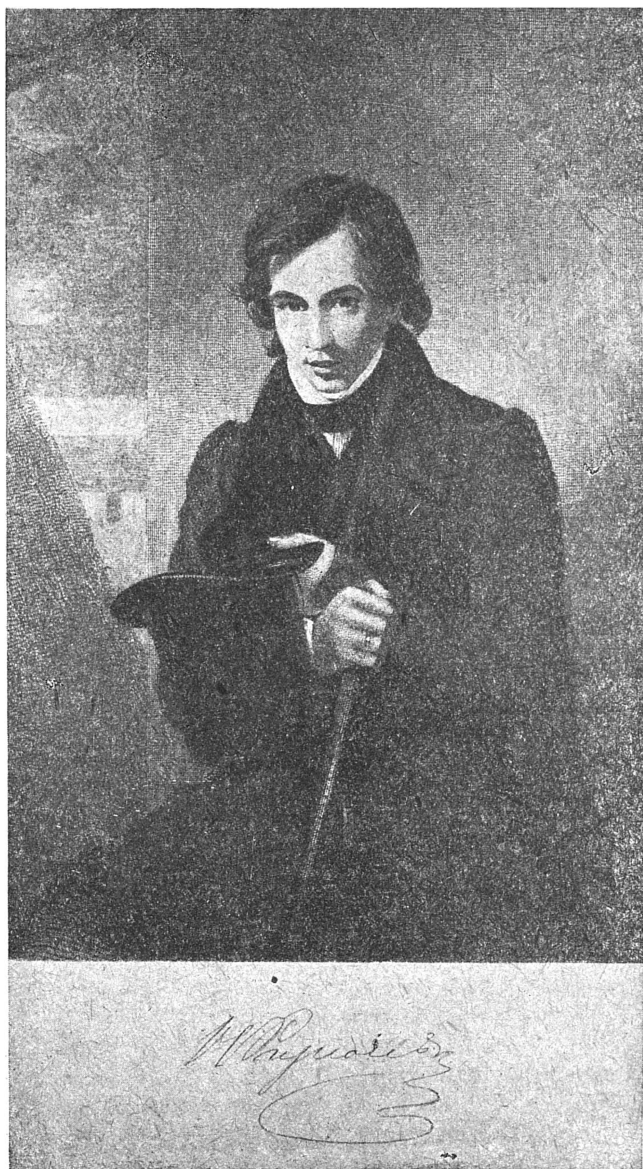
наконец, деятельность самого издателя его, встречавшего, как мы видели, бесчисленные неприятности на своем поприще. Но могу удостоверить, что и в последние, так же как в первые года «Московского Телеграфа», мы с братом равно усердно трудились, стараясь дать своему журналу значение современного органа правды и всякого успеха.

Так достигли мы 1834 года. В начале этого года была напечатана в Петербурге новая драма г. Кукольника: «Рука всевышнего отечество спасла». Г. Кукольник показал первую своей драмой «Торквато Тассо», что у него было поэтическое дарование; но он шел ложным путем, больше заботясь о театральные эффекты, нежели о драматическом выражении истины, впадал в ошибки при изображении характеров действующих лиц, и наполнял речи их высокопарными фразами. Эти общие недостатки всех его драм особенно ярко выказались в «Руке всевышнего», где автор, желая сильнее выразить патриотические чувства, впал в самые странные преувеличения.

Прочитав драму Кукольника, Николай Алексеевич написал разбор ее, где строго выставлял и осуждал недостатки произведения, не лишённого достоинств, но составленного по ложной системе. Он тем сильнее хотел выразить это, что признавал в г. Кукольнике необыкновенное поэтическое дарование и, как критик, хотел предохранить автора от ошибок в будущих его произведениях. Особенно резко отозвался он о ложном патриотизме, который преувеличениями своими вредит истине.

Между тем, он собирался съездить в Петербург по разным делам своим. Это было перед масляницею, когда «Рука всевышнего» уже была поставлена на петербургской сцене, и первые представления ее отличались необыкновенным блеском. Сказывали, что 40,000 рублей было употреблено на постановку этой знаменитой пьесы, и самая блистательная публика наполняла ложи и кресла в первые представления ее на Александринском театре. Государь император удостоил ее своим вниманием и одобрением. «Рука всевышнего» казалась патриотическою, народною драмою, перед которою преклонялись все — и знатные, и простолюдины. О ней не произносили ничего, кроме похвал.

В это время триумфов г. Кукольника и его драмы, брат мой приехал в Петербург. С первых шагов там оглушенный хвалами «Руке всевышнего», он тотчас отправился в театр посмотреть ее в представлении, и был изумлен съездом публики в театр и необыкновенными изъявлениями одобрения пьесе. Первые ряды кресел были заняты высшими сановниками и генералами, ложи наполнены знатными семействами, и зала потрясалась от рукоплесканий. Николай Алексеевич повстречался в театре с одним из влиятельных людей, благосклонных к нему, и почти первым вопросом того было: «Напишет ли он в «Московском Те-



Кукольник

леграфе» одобрительное известие о патриотической пьесе Кукольника?» Брат мой отвечал, что он уже написал разбор ее по печатному экземпляру, полученному им в Москве, но что этот разбор будет вовсе неодобрительным для пьесы. «И разбор ваш уже напечатан?» — спросил тот же знакомый. — «Нет еще; однако я уже отдал его для печатания в моем журнале». — «Что вы делаете, Николай Алексеевич!» — воскликнул чуть не с ужасом влиятельный знакомец. «Вы видите, как принимают здесь пьесу; надобно соображаться с этим мнением; иначе вы навлекете себе страшные неприятности!.. Прошу вас, как искренний ваш доброжелатель, примите самые деятельные меры, чтобы ваш неодобрительный разбор «Руки всевышнего» не появлялся в печати. Напишите, если можно, завтра же, чтобы в Москве не печатали его».

Такая просьба была равносильна приказанию, и брат мой на другой же день написал ко мне, чтобы я не печатал разбора «Руки всевышнего», написанного им для «Московского Телеграфа», а если он уже напечатан, то еще книжка не вышла в свет, то он просил исключить этот разбор и заменить его какуюнибудь другою статью. В немногих словах, но довольно ясно, он объяснил мне причину такого распоряжения. Я получил его письмо, когда несчастный разбор был уже напечатан, книжка «Московского Телеграфа» с этим разбором была роздана и, вероятно, уже получена в Петербурге, когда письмо его дошло до меня. Не судьба ли это? Иногда печатание «Московского Телеграфа» задерживалось на неделю и больше; а тут, когда было бы так кстати встретиться какойнибудь задержке в выходе последней книжки нашего журнала — она вышла из типографии необыкновенно скоро!.. Видно, я, в отсутствие моего брата, хлопотал о том слишком усердно.

Вскоре после этого, воротившись в Москву, Николай Алексеевич передал мне свои опасения, что надобно ожидать какихнибудь неприятностей за статью о «Руке всевышнего». Он основывал свои опасения на разговоре о ней, изложенном мною выше: этот разговор с официальным лицом, которое почти приказывало расхвалить пьесу г. Кукольника и в противном случае предсказывало последствия неприятные, конечно, был предупреждением доброжелательным, и имел свое значение. Когда оказалось невозможно исполнить полуофициальное приказание — оставалось ждать, что из этого выйдет? Мы утешались надеждою, что, может быть, все кончится нашими опасениями, или много если строгим замечанием.

Прошло недели две, и мы продолжали обыкновенные занятия по журналу, нисколько не подозревая близости грозы. Я и брат мой жили в разных домах: он за Сухаревой Башнею, в доме Кошелева (ныне Перлова), я на Тверской, в доме Мятлевой, где была и контора «Московского Телеграфа» — первая в России контора журнала, как будто и в этом брату моему суждено было служить примером для русских журналистов!

В день благовещения, 25 марта, явился в контору «Московского Телеграфа» посланный от обер-полицеймейстера, с извещением к Николаю Алексеевичу Полевому, чтобы он немедленно явился к его превосходительству. Когда мне сказали об этом, я тотчас послал к моему брату, передать ему полученное извещение, и в записке при том просил заехать от обер-полицеймейстера ко мне (это было очень близко), уже предвидя, что начинается тревога по журналу. Часа через два или три, проведенные мною беспокойно, брат заехал ко мне и сказал, что ему приказано немедленно отправиться в Петербург. Он просил отсрочить ему отъезд до следующего дня, располагаясь ехать в дилижансе, но генерал-губернатор (князь Д. В. Голицын), к которому сопровождал его обер-полицеймейстер, лично объявил ему, хотя и с выражением сожаления, что он должен отправиться на перекладных, и в сопровождении жандармского унтер-офицера, не откладывая своего отъезда далее вечера того же дня. «Мне приказано отправить вас в самый день получения приказа», прибавил добрый князь, «и все что могу я сделать, это — позволить вам оставаться в Москве до вечера; хоть поздно, но выезжайте сегодня».

Брат мой несколько не сробел от такого строгого распоряжения высшего начальства, ибо он был убежден в чистоте своих поступков. Могли обвинить его в оплошности, но не в какомнибудь злом намерении и потому-то он, надеясь на справедливость тех, к кому должен был предстать для оправдания, верил, что дело его кончится объяснением с его стороны. Для чего, однако-ж, отправляли его с официальным провожатым и требовали в Петербург экстренно? Это одно могло беспокоить нас, и неизвестность, зачем и для чего это, была тягостна. Обер-полицеймейстер сказал моему брату только, что сопровождающий его унтер-офицер получит приказание, к у д а доставить его в Петербурге.

Остальное время дня мы провели вместе. Брат передал мне не только разные рукописи для журнала и деловые бумаги, но и свои намерения и предположения, на случай какогонибудь неожиданного им несчастья, точно будто отправлялся в невозвратный путь. Так требовало благоразумие, потому что один бог знает будущее.

«Журнал наш продолжай, если я долго не ворочусь, не переменивая направления; за него не обвинит нас никто, и это готов я сказать самым строгим моим судьям», — прибавил он в заключение разных своих распоряжений о «Московском Телеграфе». Словом, и он, и я — мы были тверды, сколько возможно, в подобных обстоятельствах; однако, грустное ощущение было неизбежно при этой нравственной борьбе. К счастью, добрая жена Николая Алексеевича оказала удивительное для женщины мужество в этот печальный день и даже сама ободряла мужа, прося его быть спокойным, и за себя, и за семейство. Двери были заперты для всех по-

сторонних и мы провели все часы до ночи в семейном кружке. Помню, что за ужином Николай Алексеевич шутил и смеялся, стараясь развеселить маленьких своих детей. Между тем, приехал провожатый его, с почтовой тележкой, и надобно было отправляться. Эти последние минуты были горьки. Из квартиры Николая Алексеевича до Тверской заставы мы с братом ехали в городских санях, а тележка сзади. Покуда унтер-офицер пошел явить свою подорожную у заставы, мы еще сказали друг другу несколько слов, давая обещание быть неизменными и осторожными в своих действиях. Наконец, тележка двинулась в темноте ночи, и я остался на месте, покуда был слышен стук ее... Перекрестившись и поручив себя и брата милосердному защитнику слабых людей, я воротился домой.

Через несколько дней — может быть и через неделю, потому что тогда почты ходили между Петербургом и Москвой дня по три — я получил от брата письмо, запечатанное огромною графскою печатью. Он уведомлял меня, что доехал до Петербурга благополучно, живет там очень спокойно, еще никого не видел и просил меня успокоивать его семейство, к которому было приложено письмоцо, в таком же смысле написанное. Через несколько дней было получено еще письмо от него, где писал он почти то же, что и в первом. Апреля 3-го или 4-го, уже вечером, ко мне прискакал посланный от Николая Алексеевича с известием, что он возвратился и зовет меня к себе. Я поспешил к нему и увидел его, идущего ко мне навстречу с улыбкой. Начались рассказы, и мы беседовали долго. Не в один этот вечер, но и потом много раз передавал он мне все подробности своего невольного путешествия в Петербург, и я изложу здесь главные из них, необходимые для пояснения события, важного в жизни моего брата.

В Петербург привезли его в квартиру Леонтия Васильевича Дубельта, начальника штаба корпуса жандармов. Генерал Дубельт встретил моего брата не только вежливо, но и с изъявлением самого дружеского расположения. Он отвел ему одну из комнат в своем помещении и сказал: «Скажу вам откровенно, что, по обязанности моей, я должен приставить стражу к вашей комнате; но я не сделаю этого; только вы дайте мне слово, что не будете иметь ни с кем сообщения, ни переписки, оставаясь неотлучно дома. К вам в комнату будут приносить обед, чай и все, что вам нужно. Я знаю, что вы не можете жить без книг: библиотека моя к вашим услугам, и, сверх того, если вам угодно какую книгу, напишите мне заглавие, — она будет к вам доставлена. Между тем, отдохайте от дороги. Я доложу о вашем приезде графу Александру Христофоровичу и передам вам его распоряжения».

Брату моему, в тогдашнем его положении, оставалось благодарить за такую приветливость. Он дал слово, которого требовал

генерал Дубельт, и, не желая употреблять во зло его благосклонности, просил только послать купить для него книгу, незадолго вышедшую в свет. Эта книга была — толстейшая физика Велланского! Брат мой еще в Москве хотел купить ее, хотя не мог бы там скоро избрать время одолеть такую книгу; вдруг очутившись посреди полного досуга, он вздумал занять его трудною работою читать Велланского. Тяжелые, трудные для чтения, но дельные книги — истинное благодеение для того, кому надобно занять досуг, иногда более тягостный, нежели самая трудная работа.

На другой или на третий день по приезде моего брата в Петербург, генерал Дубельт объявил ему, что он должен явиться к графу Бенкендорфу. «В семь часов потрудитесь отправиться к нему: это очень близко отсюда, и граф будет дома». Николай Алексеевич пошел пешком, без провожатого, и мог почесть это знаком особенной доверенности.

По прибытии в дом, где жил граф Бенкендорф, брат мой назвал себя, и его немедленно пригласили в кабинет графа. При входе туда, он удивился, когда увидел министра народного просвещения Уварова, сидевшего подле стола, насупротив графа Бенкендорфа, который приветливо встретил моего брата и попросил его подсесть к ним. Брат еще не успел исполнить этого, как Уваров обратился к нему с речью, торжественно говоря:

— Вот, г. Полевой, вы видите, справедливо ли я предупреждал вас много раз, чтобы вы, как журналист, действовали благоразумно и соображались с внушениями высших властей. Теперь вам, конечно, неприятно явиться здесь ответчиком?

— Позвольте мне сказать, ваше высокопревосходительство, — отвечал Николай Алексеевич, — что я не понимаю ваших слов. В чем и за что являюсь я ответчиком?

— Садитесь, садитесь, Николай Алексеевич! — перебил его граф Бенкендорф. Нам надобно поговорить с вами о многом.

Когда брат мой сел, граф спросил его, каким побуждением руководствовался он в своем отзыве о патриотической драме Кукольника? И как мог он выразить мнение, противоположное мнению в с е х. Брат мой отвечал, что в отзыве своем он пользовался правом, данным всякому критику выражать свое мнение о произведениях литературы, и если его мнение противоположно мнению большинства или даже всех, то другие критики могут опровергать его убеждения и доводы.

— Тут дело идет не о литературных достоинствах сочинения, — возразил Уваров, — а о противоречии вашему общему патриотическому чувству, которое возбуждает драма Кукольника. Вы, как русский, не должны были бы чувствовать иначе, нежели все самые возвышенные патриоты.

— Я ничего и не писал против патриотических чувствований, а указывал только на недостатки сочинения, которое может воз-

буждать патриотический восторг, и вместе с тем быть неудовлетворительно, как произведение литературное и поэтическое.

— Но, осуждая его, вы охлаждаете общее впечатление, которое, напротив, должно быть поддерживаемо. Драма Кукольника была для вас как будто поводом к осмеянию самого возвышенного чувства.

Брату моему не трудно было опровергать такие обвинения, шедшие совсем не от того побуждения, которое заставило его указать на недостатки «Руки всевышнего». Более и более одушевляясь, он развил свой взгляд так убедительно, что граф Бенкендорф стал поддерживать его и иногда возражать Уварову, который явно желал обличить моего брата в неблагонамеренности. Спор длился уже часа два, когда, наконец, граф сказал:

— Об этом предмете довольно. А о других поговорим завтра, для чего вы, Николай Алексеевич, пожалуйста ко мне вечером в тот же час, как сегодня.

Из этого разговора брат мой ясно увидел, что обвинителем его был Уваров, а граф Бенкендорф старался придать всему форму обыкновенного разговора, и предупредительностью своею останавливал резкие выходы и обвинения министра народного просвещения. Ясно было также, что «Рука всевышнего» служила поводом к каким-то другим обвинениям. Перед Уваровым лежала толстая тетрадь в лист; по временам он перевортывал в ней листы и заглядывал в нее мимоходом.

В следующий вечер, в кабинете графа Бенкендорфа, брат мой опять увидел министра Уварова. Он сидел на том же месте, перед своею толстою тетрадью, и на сей раз стал прямо обвинять брата моего в неблагонамеренном направлении «Московского Телеграфа», в дерзостях, какие он позволяет себе писать в нем, и главное — в возбуждении умов к неуважению властей и в похвалах французской революции.

Брат мой твердо возразил, что хотя он мог бы не отвечать на такие обвинения, сославшись законным образом на то, что ни одна строчка в его журнале не напечатана без одобрения цензуры, а после такого одобрения, он свободен от всякой ответственности, однако, желая уничтожить даже тень подозрения против его благонамеренности и чистоты его помышлений, он просит объяснить, где и что в его журнале могло дать повод к тем обвинениям, какие объявляет ему г. министр.

Тогда Уваров после метафизического объяснения, что направление журнала выказывается не в отдельных статьях, а в духе, проникающем каждую из них, и что это явно для опытного наблюдателя, хотя и не может быть обличено осязательно, провозгласил: — За всем тем, как искусно ни скрываете вы тайное направление вашего журнала, оно невольно проявляется во многих статьях. Например...

Тут он развернул свою толстую тетрадь, и начал прочитывать выписки, или лучше сказать, выдержки из «Московского Телеграфа», наполнявшие эту тетрадь. То были большею частью отдельные фразы или мысли из больших статей, и в таком виде иногда представляли смысл, противоположный тому, какой придавал им автор. К числу таких выдержек принадлежал стыв о Лафайэте, услужливо перепечатанный Надеждиным в «Молве», с злонамеренным намеком на образ мыслей издателя «Московского Телеграфа», как показал я это раньше.

Прочитав эту выписку, Уваров сказал:

— Таким образом, вы выхваляете Лафайэта, называя его самым честным человеком, благороднейшим из граждан, а этот человек был одним из главных двигателей французской революции; это стьявленный противник королевской власти, самый опасный бунтовщик.

Брат мой, как говорил он мне, был изумлен нелепостью такого обвинения в устах просвещенного человека (каким несомненно был Уваров); но, припомнив, откуда взята была похвала Лафайэту, он сказал, что, выписанное из «Московского Телеграфа» мнение о Лафайэте принадлежит не ему, что это слова из анекдота, рассказанного английскою писательницею лэди Морган и слышанного ею во время путешествия в Париж. Она пишет, что как-то Наполеон начал жестоко порицать Лафайэта в присутствии графа Сегюра, который вступился за отсутствовавшего своего друга, сослуживца, кажется, даже родственника, и не страшась гнева деспота, сказал ему, что он отзывается о Лафайэте, не зная его, что Лафайэт честнейший человек и проч.

Объяснив это, брат мой спросил:

— Неужели из этого анекдота можно вывести, что я не только хвалю Лафайэта, как политическое лицо, но в лице его хвалю и французскую революцию? Можно ли мне приписывать слова и мнения, которые составляют мимоходную подробность в статье, не мною писанной?

Уваров, продолжая утверждать, что таково постоянное направление «Московского Телеграфа», привел в доказательство еще одну выписку, где было сказано, что «Франция всегда идет впереди других государств и дарит своими успехами европейские народы». Чудесная память моего брата тотчас надумила его, что это было сказано в одной ученой статье об успехах французов в химии и вообще в естествознании. Он, невольно улыбаясь, объяснил это, и заставил тем графа Бенкендорфа рассмеяться. Вообще, как говорил мне брат мой, граф Бенкендорф, казался больше защитником его, или по крайней мере, доброжелателем: он не только удерживал порывы Уварова, но иногда подшучивал над ним, иногда просто смеялся, и во все время странного допроса, какой производил министр народного просвещения, шеф жандар-



Уваров

мов старался придать характер обыкновенного разговора тягостному состязанию бедного журналиста с его грозным обвинителем. С этой поры брат составил себе благоприятное мнение о характере графа Бенкендорфа, который оправдал такое мнение во всех последующих сношениях с ним.

Невозможно было прочитать всю тетрадь, лежавшую перед Уваровым: из нее были прочитаны лишь немногие места, подававшие повод к опровержениям со стороны Николая Алексеевича и, наконец, уже просто шел разговор о разных предметах, сообразных с обстоятельствами. Брат мой откровенно передавал свои мнения, свой взгляд, свои убеждения, думая, конечно, что чем лучше узнают его, тем больше отдадут ему справедливости. Разговор кончился тем, что Уваров прекратил свои нападения, граф Бенкендорф был очень любезен, и брат мой мог полагать, что он оправдал себя в мнении двух сановников. Он оставил их уже довольно поздно вечером. Возвратившись к генералу Дубельту, он пересказал ему происходившее в этот вечер, и спросил, что ж остается ему еще делать? — «Подождите, — отвечал г. Дубельт. — Вероятно вы скоро узнаете это».

Прошло еще дня два, в которые брат мой оставался не выходя из дому и не слыша ничего нового.

Давши слово не видаться ни с кем, он и не думал нарушать его, но в описываемые мною дни случилось с ним нечто смешное: стоит рассказать эту смешную случайность.

Проходя в сумерки от своей квартиры до дома графа Бенкендорфа, брат мой повстречал лицом к лицу знакомого своего, камер-юнкера Пильсутского, который в Москве был несколько времени сослуживцем его по одному комитету. Надобно заметить, что этот господин был величайший лгун, доводивший ложь до поэзии: рассказывал небывалые приключения, выдавал за события свои выдумки; словом, лгал для того, чтобы лгать, без всяких корыстных видов и злых намерений. Все так и знали его, так принимали и речи его. Увидав Николая Алексеевича, он изъяснил радость, сыпал его вопросами, и тот едва отделался от него приличным образом, спеша на назначенное ему свидание. В тот же вечер г. Пильсутский рассказал знакомым, что встретил Полевого, что говорил с ним, и повторял это всем, знавшим Николая Алексеевича. Но как они знали, что Полевой незадолго перед тем был в Петербурге и уехал в Москву, а потом нигде не появлялся в те дни, когда, г. Пильсутский утверждал, что встретил его, то все только улыбались и говорили друг другу: «Неизменный враль! Рассказывает небылицу и готов побожиться, что говорит правду!»

Впоследствии, когда объяснилось это из разговоров с знакомыми, брат мой много смеялся тому, что г. Пильсутский, может быть, в первый раз в жизни сказал правду — и никто не поверил ему!

Но обратимся к рассказу истинному. Кажется, на третий день после второго вечера, проведенного братом моим у графа Бенкендорфа в состязании с Уваровым, генерал Дубельт объявил ему, что он должен возвратиться в Москву.

— Как же я могу понимать это? — спросил брат мой. — Оправдал я себя от нареканий? Свободен совершенно?

— Не знаю, — отвечал г. Дубельт, — объявляю вам только, что вы должны возвратиться в Москву и отправиться туда сегодня же вечером, с тем же провожатым.

— Как, опять на перекладных? в тележке?

— Да.

— Помилуйте, генерал! Меня измучил такой переезд из Москвы сюда, и уже слишком тягостно будет ехать еще таким образом.

— Что ж делать! Мне приказано так отправить вас.

— Да у меня и денег нет на проезд; а откуда я возьму их, не выходя из комнаты?

В объяснение надо заметить, что брат мой ехал из Москвы, платя прогоны от себя, хотя подорожная была выдана жандарму. При отъезде у него было немного денег, и оставшихся в Петербурге недоставало бы на обратный переезд в Москву. Он полагал, что ему возвратят издержки на это невольное путешествие; но генерал Дубельт с обычной своей любезностью сказал:

— О деньгах не заботьтесь, любезнейший Николай Алексеевич! Возьмите у меня, сколько вам надобно. По приезде в Москву вы возвратите мне их.

Он немедленно вручил ему двести рублей, и заботился вообще снарядить его сколько возможно удобнее. Но личная его любезность не скрывала от моего брата, что дело еще не было кончено. Правда, что с ним обходился самым приятным образом, и он прожил у генерала Дубельта несколько дней со всеми удобствами; однако, видел себя все-таки арестантом и не знал, чем это кончится. Понятно, что после этого переезд в Москву был ему не весел, и он доехал до заставы ее грустный и измученный, стараясь угадать, куда там повезет его жандарм. Надобно сказать, что это был тот же унтер-офицер, который сопровождал его в Петербург, добрый малороссиянин, отличавшийся необыкновенным простодушием. Он ни в чем не стеснял моего брата, и, напротив, во время дороги, прислуживал ему, как самый усердный слуга. Когда почтовая тележка остановилась у заставы, унтер-офицер соскочил на мостовую, снял фуражку и пожелал моему брату всякого благополучия.

— Стало быть, я могу ехать прямо домой? — спросил у него брат мой.

— Беспременно, ваше благородие. Дальше я провожать вас не могу: так приказано.

Обрадованный своею свободою, брат мой вынул оставшуюся у него в бумажнике двадцати-пяти-рублевую ассигнацию и на ра-

дости отдал ее доброму служивому, вместе с русским «спасибо» за услуги в дороге. Неожиданная щедрость моего брата изумила унтер-офицера до такой степени, что он благодарил его, называя чуть ли не превосходительством, и в заключение воскликнул: — Дай бог и вперед ездить с вами, ваше превосходительство! — Ну, брат, дай бог, чтобы этого не случилось! возразил Николай Алексеевич, смеясь.

Рассуждая обо всех подробностях его поездки и особенно о разговорах, какие имел он в Петербурге, мы недоумевали, что же такое было это и чем могло кончиться? Обвинения, высказанные Уваровым, были так неопределенны, общи и, прибавлю, так натянуты и нелепы, что граф Бенкендорф справедливо смеялся, выслушивая их, и брат мой надеялся на его заступление. Уваров показал явное предубеждение прогив моего брата, обвинял его пристрастно, однако, после выслушанных объяснений, мог быть справедливым. Словом сказать, мы обольщали себя надеждою, что все случившееся было только мимолетною грозю, которая пройдет без неприятных для нас последствий.

Возобновились прежние занятия Николая Алексеевича по журналу, которому он столько лет посвящал труды свои, и таким образом прошло недели две. Между тем, готова была новая книжка журнала, и из типографии отправили ее в цензурный комитет, для получения билета на выпуск; но посланному сказали, что билета выдать нельзя, и что издатель «Московского Телеграфа» должен сам явиться в комитет. Он немедленно поехал туда, и ему объявили, что издание его журнала запрещено. Даже отпечатанная его книжка не могла быть выдана в свет и подверглась конфискации.

Надобно ли говорить, что это событие было для нас при-
корбно? Кроме того, что оно прекращало полезную деятельность Николая Алексеевича и набрасывало на него тень в глазах правительства, оно, мало сказать, наносило ему убыток, — разоряло его. Все заготовленные для журнала материалы погибли, и надобно было чемнибудь заменить получившийся от него доход; а легко ли это? возможно ли даже было это человеку, в продолжение многих лет занимавшемуся исключительно литературой? Он вдруг увидел себя в положении самом стесненном, и скоро ли мог найти занятие, которое давало бы ему достаточный на прожитие доход?

Могу уверить читателя, что в эту критическую минуту мы несколько не сробели. «Видно, богу так угодно: покоримся его воле и будем надеяться, что он нас поддержит и подкрепит». Таков был единственный оплот, на котором могли мы утвердиться и который дал нам бодрость и мужество в новой борьбе с жизнью. Надеяться на людей мы не могли, потому что были не ребята неопытные. Мы знали по собственному опыту, чего можно ожидать от друзей, которые видели от нас много добра; как же не было бы ребячеством с нашей стороны ожидание какогонибудь участия от

людей чуждых? К тому же «Московский Телеграф» восстановил против нас столько обиженных самолюбий, что многие явно выражали свое удовольствие, когда слышали, что прекратился ненавистный им журнал. Прибавлю, однако-ж, что немногие, которых мнением дорожили мы, изъявили Николаю Алексеичу искреннее участие в неожиданном его горе. Я упоминал, что благородный Ив. Вас. Киреевский приезжал к нему в это время засвидетельствовать свое уважение; было и еще несколько человек, сделавших то же. Не называю их, но благодарность к ним жива в моем сердце.

Что было главною, если не единственною причиною запрещения «Московского Телеграфа»? Говорю положительно: желание Уварова, бывшего тогда министром просвещения. Это несомненно, это доказывают подробности, которые сопровождали вызов Николая Алексеича в Петербург, разговоры с ним Уварова и дальнейшие преследования со стороны министра, который, кажется, хотел уничтожить всякую деятельность моего брата, как покажет дальнейший мой рассказ, и являлся ожесточенным его гонителем при всяком случае, в продолжение многих лет. Теперь обратимся к тому, как он воспользовался обстоятельствами для запрещения «Московского Телеграфа».

Не знаю наверно, но имею причины думать, что он же представил государю императору ложное обвинение против моего брата, будто он обращает в смех и осуждает патриотические чувства, выраженные г. Кукольниковым в драме его: «Рука всевышнего отечество спасла». Желая исследовать это, государь приказал потребовать Полевого в Петербург и поручил графу Бенкендорфу, вместе с Уваровым, узнать образ мыслей издателя «Московского Телеграфа». Сказывают, что государь прибавил: «Уваров давно говорил мне про этого человека и даже показывал целую книгу выписок из его журнала; кстати, пусть спросит объяснений и по журналу». Таким образом, Уваров является главным действующим лицом во всем этом деле. Во время разговора с моим братом, он был обвинителем, а граф Бенкендорф только удерживал его от увлечений. Он непременно хотел обвинить гонимого им журналиста, и, вероятно, в таком смысле составил доклад о нем, то есть, представил его человеком опасным по образу мыслей, потому что и впоследствии представляя таким же (это мы увидим далее). Не так думал о брате моем граф Бенкендорф, обращавшийся к нему не как Уваров и, наконец, давший ему возможность оправдать себя в мнении правительства единственно добрыми своими отзывами о нем. Зная это, не трудно решить кто из них двух требовал запрещения «Московского Телеграфа», как блага отечеству?

Не ошибаясь в том, что Н. А. Полевой не перестанет писать и после запрещения его журнала, Уваров предписал цензурным комитетам, чтобы они не позволяли печатать ничего, написанного бывшим издателем «Московского Телеграфа», так что, по произ-

волу министра народного просвещения, самое имя Н. А. Полевого сделалось запрещенным для печати! Не нужно объяснять, что такое распоряжение было не только несправедливо, притеснительно, но и нелепо, потому что неисполнимо. Кто стал бы сомневаться в истине рассказываемого мною события, а очень естественно сомневаться в истине рассказа о такой нелепости, того прошу продолжать чтение этих «Записок». Доказательства встретятся скоро.

Мы с братом решились заняться переводом и изданием разных книг, надеясь таким образом с пользою употребить свое время, оставшееся свободным после прекращения «Московского Телеграфа». Этому могла способствовать небольшая книжная торговля, образовавшаяся при конторе «Московского Телеграфа», где продавались книги, принимавшиеся от издателей в комиссию, и, кроме того, покупались те, которые обещали значительный сбыт. Так, например, мы купили за наличные деньги, разумеется с уступкою, несколько сотен экземпляров «Истории Пугачевского бунта» Пушкина, и они были немедленно распроданы. Переименовав контору журнала в книжную лавку, мы продолжали это дело, даже увеличивая его понемногу, то есть покупая для продажи все лучшие книги. Оно было тем удобнее и легче для нас, что для управления нашей книжною торговлей был у нас человек испытанной честности, благоразумный, деятельный, уже много лет, с первой юности своей, бывший с о и м и как бы родным в нашем доме. Это — известный впоследствии книгопродавец Петр Алексеевич Ратьков, сначала бывший секретарем при журнале, а потом управляющим конторою его.

Николай Алексеевич предоставил мне ближайший надзор за нашею книжною торговлей, которая производилась в том же доме, где я жил, а сам он искал себе занятий кабинетных. Кипучая его деятельность не могла ограничиваться переводом какой-нибудь книги, и он, придумывая разные предприятия, решился начать издание, небывалое до тех пор в России. Не за много лет прежде, в Англии и во Франции начали появляться так называемые иллюстрированные издания с п о л и т и п а ж а м и, т. е. с рисунками, вырезываемыми на дереве. Резьба на дереве несравненно дешевле резьбы на меди или на стали, и с деревянной гравированной доски можно оттиснуть тысячи рисунков; к этому придумали еще снимать с доски металлические к л и ш е (или слепок), а клише может дать почти неограниченное число рисунков, отчего оттиски делаются чрезвычайно дешево и издания с такими рисунками могут продаваться почти по той же цене, как и издания без рисунков. Собрав сведения обо всем этом, брат мой решился издавать периодически сборник с политипажными рисунками, издавать выпусками, так что его нельзя было признать журналом, хотя по образу выхода он походит на журнал, и мог быть издаваем на подписку. Подготовив все к новому своему предприятию, Николай Алексеевич

доставил в московский цензурный комитет программу, где стояла в заглавии: «Живописное Обзорение» и проч., издаваемое Николаем Полевым. В программе он объяснял план и цель своего издания, упоминая также, что это книга, для удобства издаваемая выпусками. Он думал, что его не допустят печатать ее, потому что признают периодическим изданием, которое могло быть дозволено только с высочайшего разрешения. Открылось совсем иное: цензурный комитет наотрез отказал в дозволении издавать «Живописное Обзорение», потому что в заглавии его должно было находиться имя Николая Полевого, как издателя, а предписанием министра народного просвещения было запрещено дозвлять к печатанию что бы то ни было с этим именем. Напрасны были все хлопоты отклонить такое неслыханное притеснение. Цензурный комитет не решался дать позволения на издание «Живописного Обзорения» от имени Н. А. Полевого, а если бы послал это дело на разрешение министра народного просвещения, то, конечно, получил бы в ответ новое подтверждение прежнего его распоряжения об опальном журналисте. Заметим, что г. министр действовал не на основании какого нибудь закона или судебного решения, а просто по собственному произволу. Брат мой не был под судом, не был лишен никаких гражданских прав, даже не слышал никакого официального приговора или осуждения за свой журнал, а г. Уваров не был ни законодатель, ни судья. Но как мог противиться его произвольным распоряжениям брат мой?

Принимая в соображение стесненное свое положение и не надеясь ни на какой успех от борьбы с сильным гонителем, Николай Алексеевич решил издавать «Живописное Обзорение» не от своего лица. Он был в самых приятельских сношениях с г. Семёном, искусным типографщиком и образованным французским книгопродавцем, у которого несколько лет печатался «Московский Телеграф». Г. Семён был в постоянных сношениях с Францией по своей типографии и торговле, и способствовал Николаю Алексеевичу в приготовлениях к «Живописному Обзорению», приняв на себя все хлопоты по материальной и художественной части, за что должен был получать половину предполагаемого дохода от издания. Когда, по произволу Уварова, нельзя было издавать «Живописное Обзорение» от имени Н. А. Полевого, брат мой передал все права на него г. Семёну, ограничившись тем, что за редакцию этого издания должен был получать условленную половину выгод. Вот отчего «Живописное Обзорение» явилось с именем г. Семёна, как издателя, и появление издания замедлилось до половины 1835 года. Но никакие затруднения и стеснения не помешали успеху «Живописного Обзорения». Оно было первым в России иллюстрированным изданием, и хотя политипажные гравюры были тогда вообще плохи, даже очень плохи, так что английский «Penny Magazin» и французский «Magasin Pittoresque», из которых были

занимствованы главнейшие рисунки «Живописного Обзорения», мало отличались от старинных наших лубочных изданий, однако, публика встретила их как приятную новость. Впоследствии, глаз наш привык к изящным полнотипажным рисункам, которые почти не хуже рисунков на меди, но тогда, я помню это, плохие полнотипажи казались удовлетворительными, отчего они и имели такой громадный успех во всей Европе. Большое достоинство «Живописному Обзорению» придавали статьи, наполнявшие его и писанные Николаем Алексеевичем с тем необыкновенным тактом, какой показывал он во всех своих литературных предприятиях. Они были совершенно по плечу нашей читающей публике, хотя могли удовлетворять и самого образованного читателя. Он избирал для них рисунки любопытнейших предметов природы, искусства, ремесл, портреты и памятники замечательных людей, кстати помещал и современные известия, словом, придавал своему сборнику почти занимательность журнала. Общее одобрение было таково, что с первого же года «Живописное Обзорение» стали выписывать в большом числе экземпляров для учебных заведений, и сам Уваров разрешил получать его в разных подведомых ему заведениях. Г. Семэн был знаком с ним и представил ему свое издание, которое он и принял, как будто не знал, кто был душою этого издания.

Между тем, брат мой не мог же не выставлять своего имени на некоторых, прежде начатых им книгах, как-то на «Истории русского народа», которая, при появлении своем, удостоилась высочайшего благоволения. Он полагал, что таким образом постепенно смягчит он своими действиями упрямую жестокость министра народного просвещения.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Ограниченный круг литературной деятельности по изданию «Живописного Обзорения» не мог удовлетворять пылкого и многостороннего Николая Алексеевича. Он занимался этим изданием добросовестно, с обычною своею любовью ко всякому литературному предприятию, которое принимал на себя, и успел образовать первое в России иллюстрированное периодическое издание, по образцу тогдашних французских и английских изданий того же рода. Оно, как уже я упоминал, чрезвычайно понравилось русской публике и утвердилось надолго. Таким образом, Николай Алексеевич, между прочим, так сказать мимоходом, сделал еще одно полезное нововведение в нашей литературе, и может быть назван вчинателем иллюстрированных изданий в России. Но полу-педагогический характер «Живописного Обзорения», которое, доставляя вообще приятное и полезное чтение, предназначалось особенно для детей,

и много-много если для юношей и людей неученых, — этот характер не давал довольно разгула воображению и трудолюбию бывшего издателя «Московского Телеграфа». Потому-то он, наполняя листы «Живописного Обозрения», писал в то же время повести, романы, и начал перевод и издание известного «Путешествия» Дюмон-Дюрвиля, думая, что эта книга будет для современного поколения тем же, чем был для отцов наших да и для самого Николая Алексеевича «Всемирный путешественник», составленный аббатом Де-ла-Портом и переведенный на русский язык трудолюбивым писателем и умным дипломатом Я. И. Булгаковым. Это предприятие моего брата оказалось очень неудачно. Во-первых, в то же время стал издавать другой перевод той же самой книги г. Плюшар, славный книжный антрепренер, бывший тогда в большой силе, так что все журналы только похваливали его предприятия. Его петербургское издание чрезвычайно помешало московскому изданию. Любопытно заметить, что с тех пор как началась издательская деятельность Смирдина, и почти все лучшие литераторы жили в Петербурге, там выходили самые занимательные, дельные книги, там легче были и все литературные предприятия, при множестве лиц, которые готовы были способствовать им. Москва далеко отставала в этом отношении от Петербурга, и, наконец, в публике образовалось мнение, что только петербургские книги хороши. Это доказывалось даже отзывами книгопродавцев и бродячих продавцов книг, которые охотнее покупали петербургские книги и дороже платили за них, говоря: «Нам вот что дорого», и указывая на магическое для них в заглавии слово «С.-Петербург». При таком направлении мнения, трудно было моему брату соперничать с изданием Плюшара. Потому-то, напечатав несколько томов своего «Путешествия» Дюмона-Дюрвиля, он, с большою уступкою, продал все свое издание книгопродавцу Улитину и рассрочил получение денег в дальние сроки. Но не прошло нескольких месяцев после продажи книги, как Улитин прекратил платежи и предложил своим кредиторам сделку. Это не только нанесло большой убыток Николаю Алексеевичу, но и чрезвычайно стеснило его. Начатое им предприятие погибло и не было кончено.

Стесненный со всех сторон, под гнетом долгов, уже довольно значительных, брат мой изыскивал средства к облегчению себя, но средства эти заключались в его уме и его пере, а именно за них-то Уваров умел представить его человеком опасным и подвергнул опале и своему личному преследованию. Первое облегчение увидел опальный по одному неожиданному случаю, который должен я описать здесь в знак признательности к тем, кто были главными действующими при этом случае. Из них только один остается в живых и потому откровенность моя должна быть еще дозволительнее.

Император Николай часто посещал Москву, и его почти всегда сопровождал граф А. Х. Бенкендорф. В один из таких приездов,

граф спросил у состоявшего при его канцелярии чиновника, занимавшего в Москве должность цензора периодических изданий: «А что подделывает Полевой? как живет он?» Надобно заметить, что чиновник был за много лет прежде знаком с Николаем Алексеевичем, но в описываемое мною время они почти не видались. На вопрос графа он отвечал: «Полевой заведывает редакцией небольшого периодического издания «Живописное Обозрение» и пишет там прекрасные статьи». Бывший при этом московский обер-полицеймейстер, генерал свиты его величества Лев Михайлович Цынский, прибавил с своей стороны, что он, по обязанности наблюдая за всеми поступками Николая Алексеевича Полевого, не может сказать о нем ничего, кроме доброго; Полевой живет тихо, скромно, трудится и редко показывается в обществе. «А что же это за журнал, которого редактором Полевой?» спросил граф Бенкендорф у своего чиновника (не называю его, потому что он здравствует и в настоящее время). Тот вынул из своего портфеля листки «Живописного Обозрения» и, представляя их графу, сказал: «Вот издание Полевого. Прошу ваше сиятельство обратить внимание на статью «Памятник Петру Великому в Петербурге» и вы согласитесь со мною, что нельзя писать благонамереннее и лучше». Граф пробежал указанную ему статью, и она произвела на него такое благоприятное впечатление, что он воскликнул: «Я сейчас представляю это государю императору!» И с листком в руке он ушел во внутренние комнаты дворца, а через несколько времени возвратился с веселым лицом и сказал своему чиновнику: «Государь император чрезвычайно доволен статьей о Петре Великом и поручил мне изъяснить его благоволение за нее автору. Отправьте же сейчас фельдъегеря с приказанием к Полевому, чтобы он немедленно приехал ко мне. Надобно пораздовать его!» Добрый чиновник заметил графу, что внезапный приезд фельдъегеря, с приказанием явиться к шефу жандармов, может встревожить Николая Алексеевича Полевого и еще больше испугать его семейство. «Позвольте, ваше сиятельство, — прибавил он, — мне самому отправиться к Полевому и предупредить его, что он явится к вам для счастливой вести». — Спасибо вам, что вы вздумали об этом, — отвечал граф Бенкендорф. — С богом, отправляйтесь.

Кто не согласится, что эта сцена делает величайшую честь добродушному сердцу графа Бенкендорфа и показывает благородство, с каким он отправлял трудную свою должность. Действия доброго его чиновника не нуждаются в похвалах и говорят сами за себя. Он с радостным лицом приехал к Николаю Алексеевичу, намекнул ему о доброй вести и привез его к графу Бенкендорфу, который объявил ему высочайшее благоволение и объяснил, что государь готов поощрять его во всех полезных трудах. После разговора с графом Бенкендорфом, брат мой успокоился за свою будущность, видя или полагая, по крайней мере, что против него нет постоянного, неумо-

лимого предубеждения и что гонение от Уварова было следствием личного озлобления на неугомонного писателя.

Во всех последующих сношениях своих с Николаем Алексеевичем граф Бенкендорф действовал с неизменным доброжелательством к нему, и даже, когда случилось ему (и не один раз после этого), делать выговоры неосторожному писателю, он старался щадить и ободрять в нем человека. Странное противоречие в поступках двух сильных тогда людей! Тот, кто, по назначению своему, мог преследовать литератора, всячески облегчал его и старался вывести из опалы, тогда как другой, по званию своему покровитель и защитник всех литераторов, преследовал невиноватого ни в чем и играл в отношении к нему роль инквизитора. Потому-то брат мой очень справедливо сказал, однажды, что «полиция обходится с ним как министр просвещения, а действительный министр просвещения как полиция».

Еще во время издания «Московского Телеграфа», Николай Алексеевич имел мысль перевести одну из драм Шекспира и поставить ее на сцену, в полном убеждении, что это воскресит и нашу публику и актеров, которые чувствовали неудовлетворительность современного репертуара. И актеры, и публика скучали, но продолжали довольствоваться пошлыми комедиями и водевилями, которые ввел в моду А. Писарев. Однообразие репертуара нарушалось иногда чудовищными мелодрамами или нелепыми переделками знаменитых драм. Никому и в мысль не приходило, как изменить такое жалкое состояние театра. И литераторы, и актеры были уверены, что сочинения Шекспира писаны не для нашего времени, не годятся для сцены и не могут иметь успеха перед нашей публикой. Брат мой думал совсем иначе, часто говаривал мне об этом и жалел, что не имеет досуга заняться переводом Шекспировой драмы. В 1835 году, хотя также занятый множеством литературных работ, он стал о т д ы х а т ь иногда за переводом Шекспира (это собственное его выражение). Для перевода избрал он «Гамлета», конечно, самую глубокомысленную из драм великого британского поэта, но, вместе с тем, едва ли не самую богатую живыми, потрясающими душу, сценами и, бессмертными изречениями. Выбор этой пьесы для перевода показывает необыкновенную проницательность Николая Алексеевича. Как хорошо знал он, что нужно нашей публике и чем можно было вызвать ее к неведомому ей до тех пор эстетическому наслаждению! Какую ни избрал бы он другую из пьес Шекспира для первого знакомства с ним нашей публики, успех едва ли увенчал бы предприятие? Другие пьесы Шекспира не представляют такого разнообразия подробностей, как «Гамлет», и подчиняют зрителя какому нибудь одному глубокому ощущению; а тогдашняя публика наша еще не могла увлечься этим. В «Гамлете» если она и не понимала основной мысли автора, то увлеклась общим ходом, чудесным разнообразием и силою почти

каждого явления. Самая оригинальность содержания этой великой драмы, таинственный, не всякому доступный характер главного лица, в котором Шекспир вовсе не думал выставить героя, все тут было так ново, поразительно, полно жизни, что публика не могла остаться равнодушною при такой пьесе. Николай Алексеевич один из всех сообразил это и, наконец, с необыкновенною своею пылкостью занялся новым для него самым трудом. Я уже не раз упоминал, что он почти с равной легкостью писал стихами и прозой, но борьба с Шекспиром и самый род стихов его представляли много трудностей для переводчика. За всем тем, он исполнил свое дело совершенно удовлетворительно, и лучшим доказательством этого служит успех, необычайный, продолжительный и постоянный, каким была награждена смелая его попытка. Могут перевести «Гамлета» гораздо лучше и ближе, нежели перевел его брат мой, но достоинство его перевода может отрицать только пристрастная критика. Многие места этого перевода прекрасны, и вообще он написан в том характере и тоне, какими отличается подлинник, что и способствовало его успеху. Очень хороший перевод той же пьесы, еще прежде исполненный Вронченком, больше всего страдает тем, что он не в духе подлинника и не передает разнообразия его тонов и оттенков. Но Шекспировы лица в переводе Полевого говорят так, как должны они говорить сообразно своему характеру и намерению автора. Вот что дало успех переводу моего брата и в сценическом представлении, и в обыкновенном чтении. Враги его желчно повторяли, что в этом переводе есть ошибки, неточности, неудачные переделки. Может быть; но общность выкупает мелкие недостатки, неизбежные во всяком труде. В бессильной злости старались представить смешными некоторые выражения того же перевода, сделавшиеся общенародными поговорками, например— за человека страшно! Что ему Гекуба! и еще другие. Но эти выражения прекрасные, сильные, правильные, которые не даром сделались популярными. Смешны те, которые смеются над ними.

Перевод был кончен, но предстояла еще великая трудность — поставить его на сцену. Николай Алексеевич призвал к себе актера Мочалова и предложил ему свой перевод даром для представления в его бенефис. Мочалов был актер с дарованием, с сильным чувством, но человек грубый, необразованный, неспособный собственными силами понимать Шекспира, потому что был совершенный невежда, и начитанность его ограничивалась ролями, которых играл он бесчисленное множество. При первом предложении моего брата, он попятился, почти испугался и стал повторять общее тогда мнение, что Шекспир не годится для русской сцены. Брат мой старался объяснить ему, что он ошибается, похвалился успехом самолюбия его, которое было неизмеримо, прочитал с ним «Гамлета» и отдал ему свою рукопись для изучения. Через некоторое время

Мочалов явился к нему, стал декламировать некоторые монологи Гамлета и брат мой увидел, что он вовсе не понимает назначаемой ему роли. Брат толковал ему что тут надобно не декламировать, не бесноваться, а объяснять мысль и чувство, вложенные автором в слова. Он сам начал прочитывать ему каждое явление, со всеми возможными комментариями, выслушивал его чтение, поправлял, указывал, что и как должно быть произнесено и, наконец, пробудил в этом даровитом человеке чувство и сознание. Мочалов, артист неподдельный, охотно приходил к нему советоваться во всем, касательно роли Гамлета, и следовал его советам, конечно, потому, что находил отголосок им в своей душе. Все лето 1836 года занимаясь таким образом Николай Алексеевич с Мочаловым и, наконец, был доволен им, обещая ему блистательный успех. Принятие «Гамлета» на сцену не могло встретить препятствий, потому что директором московского театра был добродушный Загоскин, тогда искренний приятель Николая Алексеевича, а душою театрального управления был Алексей Николаевич Верстовский, сам художник и образованный ценитель изящного. Он так же находился в дружеских отношениях с моим братом и много способствовал хорошей постановке пьесы на сцене. Роль Гамлета занимал Мочалов, Полония — г. Щепкин, роль Офелии занимала г-жа Орлова, а королевы матери Гамлета — г-жа Львова-Синецкая. Все они были хороши в своих ролях, а особливо трое первые. Второстепенные лица также нашли себе хороших представителей, например, роль могильщика-говорюна отлично представлял г. Орлов. Николай Алексеевич присутствовал на нескольких репетициях и был полезен своими советами всем этим даровитым артистам и общности их игры. Кроме того, что он вполне понимал Шекспира, он превосходно читал и мог дать хороший совет и пример тем, кто произносил неправильно, ложно какую нибудь речь, или не понимал чувства, которое должно было одушевлять действующее лицо. Наконец, пьеса была слажена для представления и бенефис Мочалова назначен, кажется, в феврале 1837 года. Это было достопамятное событие и для моего брата, и для будущности русской сцены. От успеха или неуспеха зависела новая деятельность бывшего журналиста и новая жизнь драматического искусства в России.

Я был на первом представлении русского «Гамлета» и помню впечатления, какие испытывала публика, наполнявшая театр. Первые сцены, особливо та, где является тень Гамлетова отца, были непонятны и как бы дики для зрителей, но когда начались чудесные монологи Гамлета, одушевленные дарованием Мочалова, и превосходные, вечно-оригинальные сцены, где Гамлет выступает на первый план, поражая зрителя неожиданностью и глубиной своих чувствований, публика вполне предалась очарованию великого творения и сочувствовала всем красотам, так щедро рассыпанным в этой дивной пьесе. Рукоплесканиям, вызовам не было конца и переводчик

увидел все сочувствие, всю признательность к нему публики. Почти то же повторилось и на петербургской сцене, где вскоре был поставлен перевод Николая Алексеевича и где роль Гамлета занимал В. А. Каратыгин. Это последнее обстоятельство служит лучшим опровержением мнения тех порицателей Николая Алексеевича, которые утверждали, что успех «Гамлета» зависел от игры Мочалова. В Петербурге занимал главную роль Каратыгин и исполнил ее совсем иначе, нежели Мочалов, однако успех был не меньше, оттого, что главная причина этого успеха заключалась в самой пьесе и почти в каждой роли, которые даже при посредственной игре производят удивительное действие. При хорошем исполнении, как в Москве, так и в Петербурге, «Гамлет» не мог не иметь великого успеха, потому что открывал и публике и хорошим актерам новый мир. Нельзя не сознаться, что тот, кто первый усвоил русской сцене Шекспира, оказал великую услугу сценическому искусству в России.

Объяснением этой заслуги я желаю подтвердить ту мысль, которая находится в основании моих «Записок» о Н. А. Полевом: он был передовой человек в нашей литературе, начинатель всякого успеха, бывшего на очереди. Нельзя отрицать событий, и потому нельзя не согласиться, что он был преобразователем многих отраслей нашей литературы, и успехи его в этом происходили оттого, что он глядел на все светлым взглядом, видел то, чего не видали другие, а при неусышной деятельности своей непрерывно стремился к новым успехам. Проложив дорогу в одном направлении, он начал работать в другом и за каждое предприятие принимался со всем увлечением своей пылкой души. Несомненные его дарования помогли ему в этом.

Всеобщий, неоспоримый успех «Гамлета» доставил Николаю Алексеевичу новую, громкую известность, и в то же время глубокое уважение артистов. Он вошел в этот новый для него мир и, восхваляемый со всех сторон, начал почти тотчас писать большую драму собственного своего сочинения: «Уголино». Через год она была представлена, и успех ее был также блистателен, хотя она не имела никаких достоинств, кроме сценических эффектов и нескольких великолепных тирад. Станем ли удивляться после этого, что обольщенный успехом автор увлекся драматическим поприщем и поставил на сцену целый ряд театральных пьес, удачных и неудачных, но долго поддерживавших русскую сцену? Сценические успехи обольстительны, трудно защититься от увлечения ими и самому самолюбивому автору, а в Николае Алексеевиче было много самолюбия именно такого рода, которое любит блеск и гром. Иногда он жертвовал ему всеми другими соображениями, как случилось, к сожалению, и с его деятельностью для театра. Мы увидим это в постепенном описании дальнейших годов его жизни. Я не нахожу ничего похвального в том, что он не воспользовался блистательными и неожиданными своими театральными успехами для пособия своему

стесненному положению. Как первую, так и следующие пьесы свои, он дарил на бенефисы актерам и актрисам; а между тем, почти каждая пьеса его выдерживала бесчисленные представления, и это составило бы значительный доход для автора. Известно, что у нас пьеса, представленная в бенефис актера или актрисы, делается достоянием театральной дирекции и уже не дает никакого вознаграждения автору или переводчику. Какой же суммы дохода лишился Николай Алексеевич от этих дарствований гг. артистам? Может быть, мне случится упомянуть и о том, какую благодарностью оплатили ему некоторые из них! Здесь замечу только, что, не хваля неуместного великодушия моего брата, я вижу в этом новое доказательство, как мало думал он о денежных своих выгодах. А враги прославляли его корыстолюбием. Хорош корыстолюбец, не умевший соблюдать собственных своих законных выгод!

II

Образ жизни Николая Алексеевича и после прекращения «Телеграфа» не изменился ни в чем. Попрежнему он работал в своем кабинете с утра до вечера, принимал добрых приятелей, оставшихся ему верными, и находил отдых и утешение в своем семействе. Молодые ученые и литераторы почитали за долг являться к нему с выражением своего уважения. К числу их принадлежали молодые люди, готовившиеся в Дерптском педагогическом институте к занятию кафедр в русских университетах. Еще из Дерпта прислали они моему брату печатные свои диссертации, с самыми лестными для него надписями. Эти книжки и до сих пор сохранились. Приезжавшие для занятия кафедр в Московском университете гг. Редкин, Крюков и некоторые другие, являлись к Николаю Алексеевичу и потом посещали его, покуда он оставался в Москве. Нет надобности пояснять, что такие знаки уважения благородных молодых людей были истинным вознаграждением человеку, посвятившему жизнь свою на пользу русского просвещения.

К этому времени относится знакомство Николая Алексеевича с Белинским, который был несколько лет жарким его поклонником, а потом — озлобленным, непримиримым врагом. Я не знаю первоначальной жизни Белинского. знаю только, что он был в положении самом невыгодном, даже бедственном, когда начал свое литературное поприще критическими статьками в журналах Надеждина. Отчасти он сам был причиною своего печального положения: не уживался ни с кем, был вспыльчив, задорен и самолюбив до невообразимой степени. Подтверждением этого служит та история, которая заставила его выйти из университета. Он написал какую-то часть русской грамматики, признавая, что все писавшие до него об этом предмете ничего не смыслили. С рукописью своего опыта



Николай Полевой

грамматики явился Белинский к тогдашнему попечителю Московского университета, графу С. Г. Строгонову, и стал объяснять ему, что он много трудился над грамматикой, открыл в ней новые законы и представляет г. попечителю часть своего труда. Просвещенный, искренний покровитель всякого любознательного стремления, особливо в студентах подведомого ему университета, граф С. Г. Строгонов принял рукопись Белинского очень благосклонно и сказал, что отдаст рассмотреть ее сведущим людям. Когда, через несколько времени, Белинский явился узнать об участи своего труда, граф Строгонов возвратил ему рукопись его, исписанную замечаниями довольно колкими, насмешливыми и сказал, что приговор людей ученых неблагоприятен к этому детскому, поверхностному труду, что он даже удивляется, как Белинский вздумал представить ему свой легкий опыт за нечто образцовое. Белинский отвечал на этот отзыв так, что уже не мог более оставаться в университете и бедствовал, находясь несколько времени гувернером при воспитанниках у г. Погодина, а потом сделался сотрудником Надеждина, который платил ему безделицы за многоречивые его статьи. Но в этих статьях, при всех их недостатках, была искренняя любовь к просвещению, были и мысли иногда очень верные, всегда смелые, словом, в них виден был тот Белинский, который разросся впоследствии до необыкновенных размеров, в хорошем, и в диком, нелепом. Опытный взгляд Николая Алексеевича угадал это в первых попытках Белинского, которого тогда же назвал он *нелепым*; но, всегда цenia любовь к просвещению и юношеский жар в стремлении к лучшему, он приблизил его к себе, любил беседовать с ним, познакомил его со мной, и вскоре Белинский сделался постоянным гостем у брата моего и у меня. Эта приязнь была совершенно бескорыстной как с нашей, так и с его стороны. Брат мой, сам опальный литератор, не мог покровительствовать ему ни в чем, а Белинский, безвестный юноша, не мог оказать ему никакой услуги. Мы видели в нем только добродушную искренность и благородную глупость во всех его стремлениях; он, с своей стороны, выражал нам свои жалобы, свои сетования на людей, на их испорченность, пошлость и, конечно, находил утешение в беседе с теми, кому так искренно открывал свою душу. Самолюбие его еще не было затронуто.

Вскоре представился моему брату случай изменить свое положение к лучшему, как полагал он, и, не задумываясь ни мало, он решился на это. Деятельный, прославившийся своими книжными, почти всегда счастливыми предприятиями, А. Ф. Смирдин задумал новое большое предприятие. Он согласил издателей «Северной Пчелы» и «Сына Отечества» передать ему на условленное время издание их газеты и журнала, с правом пригласить для редакции обоих изданий Н. А. Полевого, который изъявил на то свое согласие. Для рассказа моего важны не подробности условий этого пред-

приятия, а одно то, что брат мой решился переселиться в Петербург с тем, чтобы принять на себя главную, как он полагал, редакцию двух больших изданий. Он объявил мне об этом, когда договор его со Смирдиным был уже кончен. Смирдин обеспечивал ему большие выгоды, а на издержки переселения и уплату некоторых нетерпящих долгов выдавал вперед 20,000 рублей ассигнациями, правда, не наличными деньгами, а своими векселями, которые принимались тогда всеми процентерами как чистые деньги. Человек осторожный задумался бы над этими блестящими предложениями, соединенными с таким сцеплением разных обстоятельств и отношений, из которых каждое, при неудаче, могло расстроить все предприятие и поставить Николая Алексеевича в бедственное положение (как это и случилось!); между тем он разрывал все прежние связи, лишался хоть маленьких средств и поддержек в Москве, и переселялся в Петербург, где на всех путях множество составляющихся, где, по русской поговорке, на обухе рожь м о л о т я т. Одним из величайших неудобств нового его положения было то, что он должен был часто сталкиваться с Булгариным, который оставался непременным участником в «Северной Пчеле» и хотя брат мой еще не знал его так, как узнал впоследствии, однако, имел много случаев удостовериться, что это был человек капризный, взбалмошный, готовый всем пожертвовать своему мелкому самолюбию — и корысти, как оказалось после.

Другая опасность грозила брату моему в лице неумолимого следователя его, министра Уварова, который, своим влиянием, мог препятствовать ему во всем, делать разные неприятности и воспользоваться какойнибудь его неосторожностью, чтобы совершенно раздавить его. Но брат еще верил, что правота его могла обезоружить сильного врага. Наконец, сам Смирдин, честный, добрый, готовый на все хорошее, был человек пустой, слабый со многих сторон, и главное — загадочный, как купец. Брат мой, конечно, знал, что Смирдин не имел почти никакого капитала в своей торговле, развел огромные дела в кредит и от первого удара мог пошатнуться. Но, зная это, мог ли он предполагать, что предприятия Смирдина будут всегда удачны, а при неудаче мог ли надеяться, что этот добрый человек поддержит его, когда сам очутится в тисках? Все эти соображения могли бы притти в голову когонибудь другого, но не моего брата, доверчивого до легкомыслия, легко увлекающегося и ослепленного новым, обширным поприщем литературной деятельности. Денежные выгоды казались ему второстепенным обстоятельством, главным для него было то, что он опять будет действовать как журналист. Я передал ему кой-какие свои соображения, но увидел, что это был тщетный труд. Он мечтал, что успеет устроить свои отношения и поправить стесненные обстоятельства. Оставалось пожелать ему возможного успеха и способствовать, чем я мог, в его делах.

Он был должен в Москве значительные суммы и, что еще хуже, — должен ростовщикам, то есть людям, которые дают деньги не меньше, как за 12 процентов. При таких чудовищных процентах ожидает заемщика неминуемая гибель, если какойнибудь счастливый оборот не пособит ему собрать в короткое время сумму для платежа окончательного. Брат мой рассчитывал и надеялся, что в новом положении ему удастся это. На платеж ближайших долгов своих он оставил мне несколько векселей, передавал принадлежавшие ему издания и обещал, что если бы мне случилось произвести за него какойлибо платеж своими деньгами, то он возвратит их при первой возможности. Я мог взяться за то, потому что несколько удачных изданий книг доставили мне капитал, хотя небольшой; сверх того, книжная торговля, родившаяся из бывшей конторы «Московского Телеграфа», шла очень успешно, так что у меня была оборотная сумма. Разумеется, что основанием таких отношений служила наша беззаветная, бескорыстная дружба, — которая не знает расчетов. Я готов был сделать для моего брата все, что только мог, так же как он делал для меня все, что было в его возможности. Мы не думали о том, кто кому из нас останется должен, а рассчитывали только, как бы пособить друг другу в случае нужды. Словом, я обещал ему успокоивать и сблгчать его в Москве, а он обещал способствовать мне в Петербурге всем, чем и где только мог. С горькою улыбкою вспоминаю, что, говоря о долгах, о векселях, о деньгах, мы прилагали к ним презрительные эпитеты, жалели о людях, которые только ими занимают свою жизнь, и смеялись, доверчиво утешая себя, что скоро избавимся от таких отношений с людьми. Мы еще не испытали на себе, как трудно избавиться от гидры, называемой долгами!.. Если книгу мою будут читать молодые люди, вступающие на поприще жизни, умоляю их, для счастья в жизни, не входить ни в какие, даже малейшие долги. Лучше есть черный хлеб, испытать голод, холод, всякое стеснение, чем занимать деньги, не имея верного фонда для уплаты их. Тот должен навек проститься со спокойствием и свободой, кто делается должником ростовщиков.

Но мы с братом не знали этих горьких истин, и вполне были уверены, что избавимся от крайнего стеснения деятельностью, трудом, терпением. Я не очень верил петербургским его надеждам, но был уверен в нем, знал его неизменное никакими случайностями благородство, его ум, неистощимый в средствах, и не думал только об одном, что он сам мог очутиться в положении неисходном! Что значат воля и самая геройская решимость перед всемогущими обстоятельствами?

Брат передал мне редакцию «Живописного Обозрения», потому что, переселяясь в другой город, не мог больше заниматься ею. Я поддержал это издание и занимался им несколько лет, разделяя выгоды с издателем, г-м Семэном, человеком приятным во всех

отношениях. Оно служило мне поддержкою и в собственных моих делах, и в обязательствах моего брата. Летом 1837 года Николай Алексеевич отправил свою жену и часть своего семейства в Ревель для поправления здоровья морскими купаньями, с остальными детьми он жил до осени в скромной своей квартире (под Новинским, во флигеле дома Сафонова). Эти месяцы оставили приятное воспоминание в моей жизни. Брат мой, полу-одинокий, чаще обыкновенного видался со мною и иногда проводил целые дни со мной и моим семейством, на даче, а его сообщество в искреннем кругу заключало в себе прелесть неизъяснимую. Всем известен его ум, но только ближайšie к нему люди могли судить, до какой степени этот ум, обогащенный самой обширной начитанностью и основательным изучением многих предметов, был приятен и, можно сказать, обаятелен. Он применялся ко всем предметам, ко всем положениям, к самым разнообразным лицам. Равно способный разговаривать с первостепенным ученым о его предмете и весело шутить с ребенком, Николай Алексеевич умел придать всему форму образованности, и был так же умен в суждениях о предметах науки, как и в приятной болтовне с умной женщиной. Замечу мимоходом, что он был особенным любимцем женщин, которые находили в его беседе остроумие, и приятную, легкую, оригинальную игру воображения, придававшую разговору поэтический оттенок. В самой веселости его всегда проглядывала грусть — свойство многих необыкновенных людей, но он умел шутить и предаваться радости, как бы подавляя неисцелимую грусть своей души. Сколько жизни и силы было в его мечтах о совершенствовании и счастье человечества! Сколько любви к изящному и ко всем поэтам и художникам! Сколько идей и порывов благородных, прекрасных, чистых! К сожалению, он только немного мог осуществить своей деятельностью и постоянным трудом, — но счастлив и тот, кто мог сделать столько же, как он успел сделать в непродолжительную свою жизнь!

Беседы наши разнообразились иногда присутствием немногих искренних знакомых. В это время особенно сблизился с нами академик Карл Иванович Рабус, хороший ландшафтный живописец, образованный художник и чрезвычайно любезный человек. Немец по происхождению, малороссиянин по воспитанию, он соединял в себе хорошие качества того и другого народа. Продолжительное путешествие по Греции и Германии, учение в Академии Художеств, оригинальные черты малороссиян, все служило предметом для его остроумных рассказов и суждений. Он вынес теплую душу из разных испытаний жизни и отличался детским простодушием в обращении, но когда речь касалась искусства, в нем видна была душа художника. Этот необыкновенный человек умер слишком рано. Воспоминание о нем не умрет для его друзей.

Николай Алексеевич находил истинное наслаждение в друже-

ских сношениях с другим необыкновенным человеком, Алексеем Николаевичем Верстовским, в котором столько же любил и уважал он блестящее его дарование и глубокие познания в музыке, сколько пылкую поэтическую его душу. Притом редко можно встретить человека столь оригинально-остроумного! Все это вместе привязывало Николая Алексеевича к Алексею Николаевичу Верстовскому, и он очень часто виделся с ним в последние месяцы своего житья в Москве. Он вызвался написать либретто для новой оперы г. Верстовского. Был избран сюжет, даже написано несколько сцен; но сначала хлопоты переселения, а потом заботы и неприятности, начавшиеся для моего брата тотчас по приезде в Петербург, помешали исполнению этого намерения.

Не называю других, безвестных публике лиц, с которыми жаль было расставаться Николаю Алексеевичу при переселении его в город. Семейные привязанности также должны быть тайной лишь тех, кому они принадлежат. Тем не менее грустно оставлять людей, дорогих сердцу или душе по каким бы то ни было отношениям. Брат мой испытывал это вполне, но мужественно стремился к исполнению принятого им намерения.

Последние две или три недели, после отправления в Петербург остальной части своего семейства, Николай Алексеевич прожил у меня в квартире, в отдельных комнатах, где у него перербывало множество посетителей. Иные приходили по делам, другие желали побеседовать с ним, некоторые хотели на прощанье выразить ему свое уважение, потому что для всех наших знакомых отъезд моего брата казался событием. Как жители Москвы, они, можно подумать, хотели выразить за нее, что она расстается с одним из достойнейших сынов своих.

В это время Белинский оказывал ему самую жаркую приверженность и едва ли не чаще всех бывал у него. Николай Алексеевич, видя его ум и добрые стремления, желал оказать ему пособие в бедственном его положении и вместе способствовать его успехам. С такими целями, он приглашал его писать для тех изданий, которых готовился быть редактором, и обещал переселить его в Петербург, если откроется постоянное и выгодное для него занятие. Белинский с увлечением желал, чтобы это исполнилось, обещал самое искреннее сотрудничество и боялся только, что в газете слишком тесны рамы для его статей, которые любил он писать размашисто, многословно, и не умел укладываться в определенных границах. «Что можно сказать в фельетоне!» — говаривал он: «Иную мысль не разовьешь и в книге», — прибавлял он, не зная искусства быть кратким и любя вводить в свои рассуждения всякую постороннину. Надеялись отвратить какнибудь это затруднение, отделив для Белинского места побольше в «Северной Пчеле» и «Сыне Отечества». Он умолял только об одном: напечатать вполне его статью о «Гамлете» и Мочалове, которого признавал он гениальным актером. Он

еще только собирался писать эту статью, но говорил, что она выйдет объемиста, вероятно располагаясь разговориться в ней *de omni re scibili*. Брат мой не мог судить о ней, но на веру в дарование и усердие Белинского обещал, что исполнит его желание. Можно ли было предполагать, что эта несчастная статья, никогда вполне и не написанная, будет поводом для Белинского к непримиримой злобе и мщению против того, кто оказывал ему столько радушия?

Время летело быстро при множестве посещений, визитов, дел и разных приготовлений к отъезду. Уладивши все свои дела в Москве сколько было можно, Николай Алексеевич спешил оставить прежние отношения для новых, которые призывали его в Петербург. Наконец, назначен был день его отъезда. Грустный день! Я чувствовал тоску невыразимую, теряя много с его удалением, теряя единственного друга, с которым, в продолжение стольких лет, делил все радости и горести, труды и заботы, мысли и ощущения. Мне казалось невообразимо жить в Москве без него!

Николай Алексеевич не говорил никому из знакомых о дне своего отъезда, не желая чтобы толпа провожала его и стесняла его последние часы, которые хотел он посвятить родственной любви и дружбе. Так и случилось, что его никто не провожал; пришел только Белинский, и когда, наконец, брат мой сел в дорожный экипаж, я с Белинским отправился проводить его за Тверскую заставу. Проехав с версту по шоссе, мы остановились, Николай Алексеевич вышел из своего экипажа, и когда мы крепко обнялись на прощанье — слезы невольно покатались из наших глаз... Он спешил броситься в дилижанс (кажется, взятый им весь, потому что с ним отправлялся П. А. Ратьков, и еще кто-то)... Долго и безмолвно стоял я на дороге, покуда экипаж не скрылся из глаз. Когда, наконец, опомнился я от моих ощущений, я увидел стоявшего вблизи меня Белинского — в слезах... Он не мог равнодушно видеть сцены прощания моего с братом. Не говоря ничего, я пожал ему руку и пригласил ехать ко мне, провести несколько времени вместе. Помню, что мы говорили немного, но я был чрезвычайно благодарен ему за его сочувствие... Довольно было видеть его в этот день, чтобы увериться в его добром сердце. Я и теперь уверен, что он был способен к самым нежным и возвышенным чувствованиям, хотя грубая кора покрывала его. Несчастьем жизни его была — желчная болезнь, может быть, порожденная страданиями и бедностью, и еще больше — гордость и самолюбие, эти страшные недуги души, особенно когда они владеют человеком так, как владели Белинским.

Николай Алексеевич оставил мне несколько скучных дел и работ. Тягостнее всего был платеж долгов его по срочным векселям, которых скопилось в это время довольно много. Средств, переданных им мне не доставало, и поневоле надобно было прибавлять своих денег, а это затрудняло меня. Я принужден был сам заниматься, в надежде, что вскоре он будет в состоянии уплатить и по

прежним и по новым векселям. Не безрассудство и не исключительно дружба к брату заставляли меня так действовать, а уверенность, что труды его вознаграждаются, особливо при тех выгодных условиях, на каких он должен был начать свою деятельность в Петербурге. Да и мог ли я не платить за него, хотя бы собственными деньгами, когда гибель его могла погубить и меня?

Другой скучной, хотя и пустой в основании, заботой был для меня Мочалов со своим бенефисом. Надобно пояснить, что брат мой отдал ему «Уголино», как и «Гамлета», бесплатно, и Мочалов назначил его для представления в свой бенефис, который, по расписанию дирекции, приходился в первых числах января. Брат мой уехал в Петербург в половине октября, и долго потом даже не упоминал, отдал ли он в цензуру свою пьесу и скоро ли она выйдет оттуда. Между тем в Москве уже разучивали роли и начали репетировать «Уголино», прежде нежели он был дозволен к представлению, и Мочалов беспрестанно приходил ко мне справиться, не получил ли я известия из Петербурга? Когда это замедлилось, он начал изъявлять отчаяние, бешоваться, печалиться, даже высказывать иногда опасения, что он, по милости Николая Алексеевича, останется без бенефиса. Я останавливал его порывы, утешал его и видел в нем только ребенка, покуда он не явился ко мне однажды — пьяный. Я выпроводил его и велел отказывать ему, если он придет еще. К счастью, разрешение представлять «Уголино» пришло во время, и Мочалов снова явился передо мною ребенком: радовался, просил извинения и так искренно сожалел о беспокойствах, наделанных им мне, что я помирился с ним. Он, так же как отец его, славный в свое время актер, был одарен от природы чрезвычайно щедро, но не умел или не мог воспользоваться своим дарованием вполне. Выразительное, благородное лицо, симпатический голос, редкая способность одушевляться своею ролью, могли бы способствовать ему усовершенствоваться в сценическом искусстве. Но, оставшись без всякого образования, он слишком рано выступил на сцену и, к несчастью, следовал примерам и указаниям дурной, ложной школы; наконец, что совершенно погубило его и свело преждевременно в гроб, он — также подобно отцу — предавался пьянству до иступления. За всем тем, в хорошие, трезвые периоды своей жизни, он показывал иногда такое сильное сценическое дарование, что мог быть причислен к лучшим актерам, какие бывали на русской сцене. Роль Гамлета исполнял он превосходно, лучше нежели какой либо другой из русских артистов, и это доказывает, каким художником явился бы он, если бы с юных дней получил хорошее образование, воспигался не на театральных подмостках в период ложного направления и не испортил себя глупыми ролями и беспорядочной жизнью.

Не роптал, как Мочалов, но появлялся ко мне с печальным лицом Белинский. Он также ждал утешительных вестей от Николая

Алексеевича, а их не было. Читатели увидят причины этого в письмах моего брата, которые приведу я далее, но я не знал в первое время, почему он и ко мне писал лишь немного слов, а о Белинском даже не упоминал. Вот что печалило Белинского, и я скорбел, видя его несчастное положение, не имея средств помочь ему, тем более, что с ним надобно было обходиться как с огнем, готовым вспыхнуть от легчайшего прикосновения горячего вещества. Необходимо было щадить его самолюбие и гордость, а между тем он находился под гнетом — мало сказать бедности — тяжелой нищеты. Опишу случай, который покажет это.

С ним жили один или двое братьев: по крайней мере помню одного, в изношенном студенческом наряде. Кажется, Белинский взял к себе брата (или братьев), когда еще имел кой-какие средства к существованию, сотрудничая в журналах Надеждина. Когда не стало этого пособия, он очутился в отчаянном положении. В описываемое мною время, брат его приходит ко мне и говорит, что Виссарион Григорьевич болен, так что не может выходить, а между тем ему необходимо повидаться со мной, и он просит меня посетить его. Я немедленно отправился к нему, по указанию его брата. Белинский жил в доме князя Касаткина-Ростовского, выходящем главным фасадом на Петровку, а другим в переулок и на канаву. Этот огромный дом всегда бывал наполнен множеством жильцов, находивших там самые дешевые квартиры. Вход в квартиру Белинского был изнутри двора. Когда я переступил к нему за порог, то невольно остановился, увидев себя в какой-то обширной комнате, разделенной на каморки и углы, где от мрака и пару трудно было разглядеть чтонибудь. На спрос мой о В. Г. Белинском, мне указали угол, где, за какой-то перегородкой сидел в полумраке бедный мой знакомец, и, окутанный шарфами, сильно кашлял. Он изъявил мне свою благодарность за посещение, и после нескольких обиняков и горьких шуток над своим положением, сказал что ему крайне необходимы — пять рублей!.. Я посетовал на него за церемонии и предложил сколько ему было нужно для всех неотступных потребностей. Мое радушное ободрение было видимо приятно страдальцу. Он не благодарил меня, а только крепко пожал мне руку, когда я уходил.

Бедность всегда тягостна, иногда убийственна; но особенно болезненна она для того, кто чувствует в себе возвышенные стремления и душевные силы — потому что их-то она и придавливает. Я видел, что в таком положении находился Белинский. Он чувствовал себя выше многих; может быть, мечтал и о той славе, какой пользуется после своей смерти, но, томясь в грязном углу, почти без хлеба, больной, он конечно страдал тяжело. Изыскивая все средства помочь ему и зная, что гордость его возмущалась бы от всякого предложения, которое почтет он унижительным для себя, я решился, наконец, предложить ему работу, в виде одолже-

ния для меня самого. Я издавал тогда многотомную книгу: «Деяния Петра Великого», сочинения Голикова (2-е издание) и написал к Белинскому самое дружеское письмо, где просил его принять на себя чтение корректурных листов печатаемой мною книги и предлагал ему за труд такую плату, какой обыкновенно корректоры не получают. Я опасался, что он, по гордости своей, отвергнет мое предложение как обиду, и обрадовался, когда получил от него ответ, почти в следующих словах: «Не только не отказываюсь от вашего предложения, но хватаюсь за него, как за спасительное средство в моем положении. Присылайте мне поскорее корректуры, давайте их больше, и будьте уверены, что я стану с величайшим усердием исправлять все ошибки наборщиков. Да это поэзия в моем положении!»

Я был очень рад, что мог быть хоть сколько нибудь полезен Белинскому, но сношения наши после этого были непродолжительны. В № 4 «Северной Пчелы» 1838 года — следовательно в самом начале года — была напечатана статья Белинского под заглавием: «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета. Статья первая». В ней нет ничего замечательного, и она должна была только служить приступом или частью введения, потому что автор собирался написать целую книгу о Гамлете и Мочалове. Вскоре он послал второй большой отрывок ее к моему брату, но этот отрывок не был напечатан, по той причине, как говорил мне потом Николай Алексеевич, что Белинский слишком хвалил переводчика «Гамлета», а все знали, что переводчик был редактором «Северной Пчелы», и ему казалось неуместным печатать похвалы себе в той газете, которая находилась в его распоряжении. Оттого второй отрывок знаменитой статьи Белинского не являлся в печати, и он сначала недоумевал, жаловался мне на брата моего и, наконец, рассердился на него, когда были напечатаны где-то насмешливые замечания на первую статью о Гамлете. «Зачем же он манил меня надеждами?» говорил мне Белинский. «Зачем напечатал первую статью и не печатает второй? и где же теперь буду я защищаться от нападений за первую, когда мне заперты двери в «Северную Пчелу?» Я советовал ему подождать объяснений от моего брата, ручался, что с его стороны, верно, нет ничего, кроме желания быть приятным и полезным Белинскому; но этот пылкий человек явно охладел к моему брату. Он еще продолжал посещать меня, но уже не упоминал ни о «Гамлете», ни о статье своей. Тут вскоре он сблизился с несколькими молодыми людьми, которые совершенно повернули ему голову. Он приводил ко мне одного из них (Бакунина); с другими я был знаком прежде его, и не мог никогда сблизиться с этим кружком.

Вскоре они решились издавать свой журнал, но об этом речь впереди.

Я не мог не беспокоиться о своем брате, когда он, в первое время по приезде своем в Петербург, писал ко мне коротенькие письма с самыми тревожными упоминаниями о разных подробностях своей жизни. Наконец, я получил от него первое большое письмо от 5-го ноября, где он подробно излагал печальные обстоятельства, вдруг окружившие его в Петербурге так тяжело, как нельзя было и ожидать.

Прежде нежели перепишу здесь его письмо, для пояснения я должен упомянуть, что брат мой почитал себя не в таких отношениях к правительству, как это оказалось на деле. После высочайшего благоволения, объявленного ему за статью о Петре Великом (как упоминал я выше), граф Бенкендорф не один раз, во время приездов своих в Москву, призывал его к себе, рассуждал с ним очень любезно о разных предметах, поручал составлять статьи о пребывании государя императора в Москве, и вообще обходился с ним, как с человеком уважаемым и отнюдь не подозрительным для правительства. Тот, кому, повидимому, был поручен ближайший надзор за моим братом после запрещения «Московского Телеграфа», Лев Михайлович Цынский (обер-полицеймейстер в Москве) постоянно изъявлял ему уважение и, можно сказать, самую искреннюю приязнь, любил с ним побеседовать, посбедать запросто с двумя-тремя общими знакомыми, и, когда доходила речь до отношений моего брата к правительству, генерал Цынский уверял его, что он может быть спокоен, что его безукоризненные действия и честная жизнь вполне известны. Я был знаком с генералом Цынским в продолжение нескольких лет и могу засвидетельствовать, что это был не такой человек, который был бы способен говорить то, чего не было. Я всегда видел в нем благородного, достойного сподвижника офицеров 1812 года, в которых господствовал честный характер. Несколько жесткие формы не мешали ему делать добро и пользу при исполнении трудных его обязанностей. Я сам, лично, обязан ему за действие его при одном важном случае моей жизни, и умру с сердцем, полным благодарного воспоминания о нем. Повторяю, что такой человек не был способен обманывать моего брата, когда говорил о благосклонном внимании к нему правительства, о чем он, конечно, мог иметь верное убеждение. Да он не имел и надобности хитрить с ним или ставить ему ловушку; а это также служит подтверждением искренности его слов. При неблагоприятии правительства, он, конечно, не был бы так предупредителен и дружелюбен во всех отношениях с моим братом, как это видели мы в продолжение нескольких лет.

Таким образом, брат мой уехал в Петербург с уверенностью, что он уже не в опале у правительства...

КОММЕНТАРИИ

АВТОБИОГРАФИЯ НИКОЛАЯ ПОЛЕВОГО

Заглавие принадлежит редактору. В книге Н. Полевого «Очерки русской литературы» (ч. I, 1839 г.), откуда перепечатан настоящий текст, он носит иное заглавие — «Несколько слов от сочинителя» — и служит предисловием к двухтомному собранию историко-литературных и литературно-критических статей Н. Полевого. Мы перепечатываем это предисловие не целиком, а только те его страницы, которые имеют автобиографическое значение. Опущены рассуждения Н. Полевого о критике вообще, о его собственной литературно-критической деятельности и проч., а также подробная информация о его журнальных отношениях с редактором «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковским, самовольно искажавшим статьи Полевого, помещавшиеся в этом журнале в 1837—1838 гг. (история журнальных отношений Полевого с Сенковским прослежена нами на стр. 498—499 наст. издания; о самовольном обращении Сенковского с текстами чужих произведений см. у В. Каверина — «Барон Брамбеус», 1929, стр. 66 сл. и 237; об искажении Сенковским статей Полевого см. дополнительно в статье С. Д. Полторацкого «Русские биографические и библиографические летописи», в «Северной Пчеле», 1846, № 34, стр. 134—136).

Из неизданных писем Н. Полевого к И. П. Сахарову, в типографии которого печатались «Очерки русской литературы», выясняется, что Автобиография была написана Полевым в марте 1839 г., но до середины мая задерживалась цензурой (вообще крайне строго отнесшейся к «Очеркам» и исключившей из их состава две статьи: «Об истории Малой России, соч. Д. Н. Бантыш-Каменского» и «О духоборцах, соч. Ореста Новицкого», прежде напечатанные в «Московском Телеграфе» 1830 и 1832 гг.). Из этих же писем узнаем, что Полевой пытался восстановить аутентичный текст искаженных Сенковским статей: «Пять раз принимался за корректурные листы, — пишет Полевой, — но бросал с досадою, видя гнусные вставки и изменения мерзавца Сенковского, его отвратительные шутки и проч. и проч.»; «Статьи так обезображены

вставками этого отвратительного Брамбеуса, что я едва мог их выправить. Он вставил свои глупые мысли, изгадил слог до того, что я должен был во многих местах угадывать, что такое хотел я сказать? С трудом можно было вырвать одни эти, это, которых он насажал» (Сенковский прославился своей ненавистью к архаическим: «сей» и «фный»). Письма Н. Полевого к И. П. Сахарову хранятся в ГПБ.

Рукопись Автобиографии Н. Полевого хранилась в собрании автографов Э. П. Юргенсона (см. «Столица и усадьба», 1915, № 42, стр. 3); местонахождение ее в настоящее время — нам неизвестно.

Н. Полевой предполагал составить обширные «Заметки о жизни своей» и даже начал работу над ними. Свидетельство этому находим у И. П. Сахарова: «Я знаю, что Полевой писал свои записки; он сам мне их показывал, сам читал их; одну из них помню — об И. И. Дмитриеве» (Р. С., 1897, № 7, стр. 104). Судьба записок Полевого неизвестна. Кроме Автобиографии он оставил следующие статьи мемуарного характера: «Мои воспоминания о русском театре и русской драматургии» («Репертуар русского театра», 1840, кн. II), «Листки и очерки из записной книжки» (С. О., 1840, тт. I — II). См. также статью Полевого о посмертном издании сочинений Пушкина, в которой содержится несколько личных воспоминаний («Рус. Вестник», 1842, № 1) и его Дневник (1837—1845 гг.), опубликованный в извлечениях в «Историческом Вестнике» 1888 г., март — апрель.

Дополнительные данные о детстве и юности Н. Полевого, о его семье (об отце в частности) и первых литературных знакомствах см. в комментарии к «Запискам» Кс. Полевого (ниже, стр. 367—375); здесь же ограничиваемся несколькими примечаниями по вопросам, не затронутым Кс. Полевым.

1. Державин успел известного богача, откупщика М. С. Голикова в стихотворении «К первому соседу» (1780), где между прочим читаем:

Ты спишь — и сон тебе мечтает,
Что в век благополучен ты,
Что само небо рассыпает
Блаженства вокруг тебя цветы;
Что парка дней твоих не косит,
Что откуп вновь тебе приносит
Сибирски горы серебра,
И дождь золотой к тебе летится...

2. Об экспедиции Шелихова в 1783 г. на остров Кадьяк и об основании Российско-Американской компании см. в книге П. Тихменева «Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действия ее до настоящего времени», 1863.

3. В рассказе «Сохатый». — Сибирское предание» Полевой писал: «Если кто из вас, друзья мои, будет в Иркутске — пусть пой-

дет он за город, к тому месту, где близ старой, разрушенной мельницы вливается в Ангару Ушаковка. Тут извилистое течение этой речки приведет его к тому месту, где Ушаковка раздвояется островами, где против него на луговой стороне будет старое Адмиралтейство — тут жил отец мой; тут были пределы первого моего мира; тут мечтал я, плакивал над Плутархом, думал быть великим человеком, подобно великим людям, им описанным; горделиво ходил по лугу, уединяясь в тень деревьев, вдохновляясь первою любовью, делаясь первыми ощущениями дружбы...» (Альманах «Денница» на 1830 г., стр. 172—176).

4. О своих первых драматургических опытах Н. Полевой подробно рассказал в статье «Мои воспоминания о русском театре и русской драматургии»: «Театр и драма с самого детства были моею страстью и волновали меня самыми первыми и живыми впечатлениями юности; тем сильнее и ярче, может быть, были мои впечатления, что, до 15 лет живя в Сибири, я знал театр только по книгам и по рассказам. В Иркутске, где родился и жил до 1811 года, не было тогда театра, не заводили и благородных домашних спектаклей. — Чуть помню я, что когда был там генерал-губернатором почтенный старик Лещано, суворовский сослуживец, человек отлично образованный и умный, какой-то ссыльный актер заводил там театр, играя сам и составив труппу из приказных. Помню, что меня с братом возили тогда два, три раза в театр... Театр заменяли для нас вертепы. Знаете ли, что это такое?.. Вертеп — кукольная комедия, род духовной мистерии... Куклы одеты бывали царями, барынями, генералами, и вертепы важивали и нашивали семинаристы и приказные по улицам в святочные вечера, ибо только о святках позволялось такое увеселение. Боже мой, с каким бывало нетерпением ждем мы святка и вертепа!.. Впрочем, имея темное понятие о сцене и театре, скоро познакомился я теоретически с драмою, и даже сам начал писать трагедии и комедии. Мне попались в руки тома два сочинений Сумарокова, тома два Княжнина, но полную победу одержал надо мною Херасков: двенадцать томов его творений, где несколько томов занято драмами, увлекли меня. Давай читать, давай самому писать... Вот я нашел во «Всемирном путешественнике», Аббата де-ла-Порта, Историю Петра Великого и Марии Падиаллы, и из нее придумал скропать трагедию «Бланка Бурбонская». Прочитавши две пьесы: «Россы в Италии» и «Россы в Архипелаге», да две книжонки: «Суворов и казаки в Италии» и «Бенигсен и Бонапарте в армиях», я смастерил целую драму «Герои русские в Пруссии», где вывел на сцену Наполеона и Бенигсена, изображая Наполеона почти разбойничьим атаманом — тогда все мы так думали, и «Русский Вестник», любимое чтение, подкреплял во мне такое мнение... — Помню еще мое творение «Царская свадьба»; содержание взял я из Дополнений к «Деяниям Петра Великого», изображая

свадьбу царя Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной. Когда попался мне «Дмитрий Донской» Озерова, и когда случайно дали мне тома три «Театра Коцебу», мне показалось однакожь, что я открыл новый свет... , помню также живое впечатление, когда прочитал я в «Вестнике Европы» отрывок из Эврипидовой «Гекубы», перевод Мерзлякова. Сумарокова и Хераскова перестал я после того читать, и десять раз перечитывал в Баттё разбор древних греческих трагиков, особливо Софоклова Эдипа, я становился на колени и все мои теории были после того сбиты с толку. Как хотелось мне тогда читать Шекспира! Но взять его было негде» (см. «Репертуар русского театра», 1840, кн. 2, стр. 2—4). Об иркутском театре писал также и Ф. Ф. Вигель: «Были в Иркутске музыканты, были и актеры, следственно был театр, были и содержатели его; все это составилось из ссыльных и их детей и должно бы быть изрядно. Играли, однако же, так дурно, что хоть бы на великороссийском губернском театре» («Записки», т. I, 1928, стр. 253; ср. об иркутских «вертепах» в записках И. Т. Калашникова — Р. С., 1905, № 7, стр. 204—209).

5. О своих театральных впечатлениях на Макарьевской ярмарке и в Москве Н. Полевой рассказал в цитированной выше статье «Воспоминания о русском театре»: «Но вот — прощай Иркутск! Маленький кандидат в великие драматические писатели отправился на святую Русь и, лежа в повозке, сколько раз мечтал я, что увижу то-то и то-то — увижу и театр; живые люди пойдут передо мною царями и героями... В июле 1811 года приехал я на знаменитую ярмарку, которая тогда была еще в Макарьеве, и здесь-то, когда пошли мы в первый раз по бесконечным рядам и балконам ярмарочным, вообразите мое восхищение при виде какого-то огромного, отдельного, странного здания; то был театр! Бросаю к афишке, прилепленной у входа — дают «Гуситов под Наумбургом», Коцебу. Добрый спутник мой смеялся моему восторгу, и обещал вечером итти со мною в театр... В тот день я почти ничего не ел от радости. Идем... Как все это чудно, как все изумительно... И новый мир кулис и сцены, таинственно закрытый занавесом, и толпа народа... — и все это при волшебном свете ламп, в каком-то фантастическом мире... Напрасно хотел бы я рассказать вам, что чувствовал я, сидя в креслах, в первый раз от роду, в театре, когда, весь превратившись в слух и внимание, я ловил каждое слово актеров». «Случай приготовил мне не менее сильное впечатление и в Московском театре, где в первый раз пришедши в спектакль, я видел Самойловых... В первый раз увидел я их в «Павле и Виргинии» и, помнится, в «Оборотнях» [популярный французский водевиль, переведенный Кобяковым. — В. О.], где и муж и жена были превосходны» [далее идет очень живой рассказ о московском театре 10-х годов, сообщены ценные данные о репертуаре, актерах и проч. — В. О.]. «До половины 1812-го

я был привычным его посетителем. Товарищами моими были двоюродный брат, молодой купец, его друзья и товарищи, и университетские студенты; все мы хаживали в партер, без афишки угадывали лица, считали себя большими знатоками, хлопали до усталости, судили, рядили, имели своих любимцов и любимиц, и конца не было нашим спорам за пьесы и артистов. — Мысль писать для сцены меня не оставляла, и я скропал потихоньку целую трагедию из ослепления Василько, но сам чувствовал, что она никуда не годится, и сжег ее.

ЗАПИСКИ КСЕНОФОНТА ПОЛЕВОГО

КСЕНОФОНТ ПОЛЕВОЙ И ЕГО ЗАПИСКИ

(вводное примечание)

С Николаем Полевым тесно связана личная и писательская судьба его младшего брата Ксенофонта Алексеевича (1801—1867). Ксенофонт Полевой — критик, переводчик, мемуарист, издатель и книгопродавец — вошел в сознание современников, а вслед за тем и в историю русской литературы, почти исключительно как «спутник» своего знаменитого брата, и до сих пор его имя, если и вспоминается, то всегда в связи с именем Николая Полевого. Между тем, и объем и характер литературно-журнальной деятельности Ксенофонта Полевого заслуживают большего внимания. Заслоненный своим братом, Ксенофонт Полевой выпал из поля зрения историков русской журналистики 1820—1830-х гг.; сравнительно более известна его деятельность в позднейшее время, в эпоху 1850-х гг., когда он выступал в бесславной роли воинствующего публициста ультра-реакционного лагеря. Между тем именно первый — «московский» — период деятельности Кс. Полевого имеет преимущественное значение в плане построения его литературной биографии. Не имея возможности в данной краткой заметке представить результаты изучения литературно-журнальной деятельности Кс. Полевого в эпоху тридцатых годов, ограничимся пересмотром вопроса об его участии в редакционных делах «Московского Телеграфа».

С детских лет Кс. Полевой был непререкаемым и ревностнейшим сотрудником брата Николая и ближайшим участником всех его начинаний. Николай еще в Иркутске принял на себя обязанности ментора Ксенофонта, воспитателя и образователя его ума и вкуса; об этом подробно пишет сам Кс. Полевой в своих «Записках».

С первой же книжки «Московского Телеграфа» Кс. Полевой принял самое деятельное участие в издании журнала. Трудно учесть все то, что было написано им для «Московского Теле-

графа», но нужно думать, что значительная часть анонимных рецензий (преимущественно на русские книги по разделам истории и художественной литературы), а также статей из отделов Современная летопись, Смесь и пр. — принадлежит перу Ксенофонта Алексеевича.

Николай Полевой в сущности только в течение первых двух лет издания журнала уделял ему свое преимущественное внимание: широкие литературные планы (роман, история) вскоре же захватили его целиком и постепенно он все более и более отдалялся от непосредственного составления и редактирования своего журнала, от повседневных хлопот, связанных с черновой журнальной работой. Недаром в 1829 г. он признавался В. Ф. Одоевскому, что «Телеграф» — «тяжелит его», что «душа просит лучшего, более важного занятия» (неизданное письмо). Неизвестно, когда именно Николай Полевой, если не совсем, то почти совсем отошел от дела издания «Московского Телеграфа», — во всяком случае уже в 1831 г. главную роль в редакции играл не он, а Ксенофонт. Со следующего же, 1832 г., Ксенофонт становится почти полноправным хозяином журнала. Сведения об этом, правда скупые и случайные, содержатся в некоторых современных письмах; так, напр., П. А. Муханов, человек, близко стоявший к кружку «Московского Телеграфа» и хорошо осведомленный о его редакционных делах, уже в январе 1832 г. сообщал своему брату А. А. Муханову, что «Полевой кропает Историю, Ксенофонту передал право на журнал, а себе право на все вырученные до сего времени деньги, которых немало. Телеграф без сомнения упадет, что предвидел дальновидный Н. Полевой» («Щукинский сборник», III, 1904, стр. 174).

Но «Телеграф» не только не «упал» после перехода под управление Кс. Полевого, но — наоборот — еще более укрепился и, что достойно внимания, — укрепился не только в литературном, но и в политическом отношении. Достаточно просмотреть книжки «Московского Телеграфа» за 1832—1833 гг., чтобы убедиться в том, что журнал в это время с большей откровенностью, четкостью и принципиальностью формулирует свои радикальные социально-политические мнения, нежели это делалось прежде. Связано это в первую очередь, как нам кажется, с принятием Кс. Полевым обязанностей хотя и неофициального, но фактически полноправного редактора журнала. О том же, что Кс. Полевой был именно полноправным редактором, пишет и сам Н. Полевой в письме к И. М. Снегиреву: «Условились мы с братом, который хоть и полный Редактор Телеграфа, но по праву старшего брата, позволяет мне хозяйничать беспрекословно; да и официально не облечен еще жалким достоинством публичного человека» (письмо от 15 октября 1833 г. — «Вестник Всемирной Истории», 1900, № 9, стр. 173). Противоречие в этой цитате очевидно: с одной стороны Ник. Полевой называет Ксенофонта «полным редактором», с дру-

гой — оставляет за собой право «хозяйничать беспрекословно». Но следует принять во внимание то обстоятельство, что письмо, во-первых, обращено к цензору «Московского Телеграфа», для которого Ник. Полевой оставался попрежнему официальным и ответственным редактором, а, во-вторых, то, что именно в это время Николаю Полевому было отказано в его просьбе передать «Московский Телеграф» брату Ксенофонту.

В делах Главного управления цензуры имеется дело (под № 534) — «По представлению Московского цензурного комитета о дозволении купцу Н. Полевому принять в участие по редакции журнала: Московский Телеграф брата своего Ксенофонта» (началось это дело 26 июня, кончилось 13 ноября 1833 г.). В деле имеется отношение от Московского цензурного комитета в Главное управление цензуры (за № 107, от 14 июня 1832 г. и за подписью члена комитета Л. М. Цветаева), в котором сообщается, что Полевой подал в Комитет просьбу на предмет разрешения принять с 1833 г. в редакцию «Московского Телеграфа» брата Ксенофонта — «с полною во всех отношениях обязанностью и ответственностью наравне с ним, Николаем Полевым, так, чтобы в объявлениях публике и в заглавии, Телеграф мог уже означаться: издаваемый Николаем и Ксенофонтом Полевыми, а в случае смерти его, Николая Полевского, переходил бы вполне в управление и собственность означенного брата его Ксенофонта». Не решаясь вынести собственное суждение, Московский цензурный комитет представил ходатайство Полевого на «благоусмотрение» Главного управления цензуры. В ответ, из Петербурга, от министра народного просвещения кн. К. А. Ливена поступило требование (за № 250, от 25 июня 1832 г.) представить «обстоятельные сведения о способности издателя выполнять принимаемую им на себя обязанность; также и о нравственной благонадежности его к тому». Требуемые сведения были представлены в Главное управление цензуры только 17 января 1833 г. (за № 211, за подписью временного председателя Московского цензурного комитета, помощника попечителя московского учебного округа Д. П. Голохвастова): «Московский цензурный комитет честь имеет препроводить при сем доставленные от г. исправляющего должность московского обер-полицеймейстера, как равно и сообщенные от г. исправляющего должность московского градского главы сведения о нравственной благонадежности московского купеческого брата Ксенофонта Полевого». Отзывы эти были для Кс. Полевого вполне благоприятны. «Правящий должность» московского «градского главы» бургомистр Троилин сообщил (26 августа 1832 г.), что «упомянутый Полевой ни в каких предосудительных для нравственности поступках незамечен». Московский полицеймейстер Миллер, в свою очередь, «честь имел присовокупить» (24 декабря 1832 г.), что «сей Полевой, по квартирванию его Сretenской части в доме

Г. Римского-Корсакова, замечен в весьма хорошем поведении, кротости и трезвости». К отношению Миллера были приложены «сведения» о Кс. Полевом, собранные от московских купцов А. Ширяева, Н. Глазунова и «8-го класса» Гофмана, единодушно свидетельствующие о «весьма хорошем» поведении Кс. Полевого.

Однако в Главном цензурном комитете полученные сведения были признаны недостаточными и 13 февраля 1833 г. Московскому цензурному комитету было предложено расширить их и уточнить, «ибо, сверх удостоверений в отношении образа жизни и нравственной благонадежности ищущих позволения издавать журналы, потребны доказательства способности их издавать повременное сочинение, каковых о Кс. Полевом комитет вовсе не представил». С аналогичным же требованием обратился к помощнику попечителя московского учебного округа и министр народного просвещения Ливен.

В Москве не слишком торопились с представлением требуемых сведений и только 10 марта 1833 г. за подписью Голохвастова в Главное управление цензуры было послано отношение (за № 45), которым «Комитет честь имел донести, что оный, по рассмотрении представленных г. цензором Цветаевым документов, свидетельствующих о занимательности многих статей, помещаемых Ксенофонтом Полевым в журнале Телеграф... нашел, что статьи сии доказывают способность его, г. Ксенофонта Полевого, к изданию повременного сочинения».

Итак, все формальности были соблюдены, все требуемые «сведения о «благонадежности» и «способностях» Кс. Полевого представлены, но — тем не менее — Главный цензурный комитет в заседании 27 марта 1833 г. постановил решение дела о Ксенофонте Полевом отложить до конца года, руководствуясь, может быть, тем соображением, что в середине года осуществится изменение состава редакции журнала не представляется удобным.

Но, к несчастью Полевых, Ливена, на посту министра народного просвещения, сменил тем временем С. С. Уваров, поручивший барону Брунову составление «списка злодеяний» мятежных журналистов (см. ниже, стр. 479). 13 ноября Уваров сообщил Московскому цензурному комитету, что «Главное управление цензуры признало невозможным согласиться на принятие издателем Московского Телеграфа Николаем Полевым в участие по изданию сего журнала брата своего Ксенофонта Полевого, потому что первоначальное дозволение на сие повременное сочинение дано было одному Николаю Полевому, на коем одном должна и впредь оставаться ответственность за редакцию сего журнала» (ср. Н. Козмин — «Из истории русского романтизма», 1903, стр. 503—504).

Ответственность и оставалась на Н. Полевом вплоть до запрещения журнала в 1834 г., когда тяжелая рука Уварова «удушила» его, как официального и ответственного редактора. Между тем

в своем обвинительном акте против «Московского Телеграфа» Уваров оперировал преимущественно материалом статей 1832—1833 гг., когда социально-политическую линию журнала в значительно большей, нежели Н. Полевой, степени осуществлял Ксенофонт.

Что же касается повседневной журнально-редакционной работы в последние три-четыре года издания «Московского Телеграфа», то она целиком лежала на Кс. Полевом. В неизданном письме А. А. Бестужеву-Марлинскому от 22 июля 1832 г. он писал: «Досуг не в моем повелении. Чувствую, что я не рожден для журнальной работы, и потому-то она так тяжела, так трудна для меня. Бросить ее не могу по многим отношениям. Прежде всего потому, что уверен в пользе своего издания. Мысль, что умолкнет Телеграф, последний (смело говорю) благородный орган в Русском Журнализме, была бы несносна для меня. Сверх того, семилетняя привычка и довольно значительный доход не малые побуждения. День, проведенный без журнальной работы, казался бы мне даже каким-то бездействием. Но сделавшись батраком этой толчей, я не хочу и даже не могу делать кое-как, и шить на живую нитку, как делают почти все Русские Журналисты... От того жизнь моя тонет в неблагоприятном труде. Брат Николай Алексеевич занят множеством других дел и работ, так что у него решительно нет времени заниматься Журналом. Сверх того, пора и отдохнуть ему в других, более питающих ум занятиях» (ИРЛИ).

Крах журнального предприятия в очень короткий срок разрушил материальное и моральное благополучие не только Николая, но и Кс. Полевого. Впрочем, первое время он держался более независимо, нежели Николай Алексеевич, и через четыре года после запрещения «Московского Телеграфа», посылая Ксенофонту первые номера «Сына Отечества» и «Северной Пчелы» за 1838 г., Николай спрашивал его с худо затаенной тревогой: «Что-то скажешь ты о Сыне Отечества и о Пчеле... Помни мое положение, обстоятельства, отношения — не решай а б с о л ю т н о» (см. «Записки» Кс. Полевого, изд. 1888 г., стр. 407).

Катастрофа 1834 г. не надолго выбила Кс. Полевого из колеи привычной ему журнальной деятельности: со следующего же 1835 г. он принимает на себя редакцию художественно-исторического журнала «Живописное Обозрение» (редактировал он его до 1844 года). Правда, гонимый Уваровым и стесненный материально, и он на время вынужден был уйти в литературное «подполье»: в 1840-е гг. он мало занимается литературной критикой, но больше переводами (Э. Кине, записки Наполеона, маршала Мормона, герцогини д'Абрантес и др.), а также издательским и книготорговым делом.

В 1836 г. он издал книгу «М. В. Ломоносов», являющуюся на русской почве первым по времени образцом распространенного

в наши дни жанра беллетризованной биографии. Попытка Кс. Полевого снова выйти на широкую журнальную дорогу (в 1835 г. он собирался приобрести право на издание «Московского Наблюдателя») — была пресечена Уваровым, зорко наблюдавшим за братьями Полевыми и в их унижении. Такая же участь постигла и позднейший (1841 г.) проект Кс. Полевого взять на себя издание «Библиотеки для чтения» (по соглашению с Сенковским). В конце 1840-х гг. он довольно деятельно сотрудничал в «Санктпетербургских Ведомостях».

В 1849 г. Кс. Полевой переехал из Москвы в Петербург и с этого времени начинается третий и последний период его деятельности. Здесь он продал свое перо Гречу и стал одним из деятельнейших сотрудников «Северной Пчелы» (в 1856—1858 гг. он издавал свой собственный иллюстрированный журнал «Живописная русская библиотека»; сотрудничал также одно время в «Библиотеке для чтения»).

В эпоху 1850-х гг. Кс. Полевой являл собою печальный пример продажного журналиста, добросовестно и за сходную цену выполняющего заказы «хозяина». Он пережил свое время и в новых условиях сумел найти себе место только в лагере оглоделой литературно-политической реакции. Кс. Полевой 1850-х гг. — типичный «зубр», для которого новые герои, как Герцен и Белинский — «герои не движения, а ломки, разрушения всего, созданного историческими событиями». Он выступает ожесточенным и непримиримым противником «натуральной школы», не устает печатно заявлять о своих «верноподданнических чувствах» и доходит в своих статьях до прямых доносов на враждебную ему молодую литературу.

История сыграла с Кс. Полевым плохую шутку. Он — когда-то поклонник Вашингтона и Боливара, независимый в мнениях редактор, редактор передового в свое время журнала, — превратился под конец жизни в жалкое посмешище журнальных фельетонистов. В сатирических куплетах, в бесчисленных эпиграммах, люди пятидесятых годов легко и свободно объединяли его имя с «прославленным» именем Булгарина, — и это было худшим приговором, какой история могла вынести Кс. Полевому:

Он всех Булгаринских идей
Живую стал апотеозой...
Иль нет: пред ним и сам Фаддей
Покажется Маркизом Позой!

(Н. Щербина, 1859).

А когда Кс. Полевой печатно объявил, что с 1860 г. решает все оставить журнальное поприще, В. Курочкин почтил его такой прижизненной эпитафией:

... Прости же, о критик! Уж ты не тово...
Уж ты перестал быть забавой,
И мы оставляем тебя одного
С твоей непотребною славой.

А. Д. Галахов от лица своих литературных сверстников и единомышленников писал (в «Воспоминаниях»): «К. А. Полевой в Москве и К. А. Полевой в Петербурге — два разные лица. В Москве он был сотрудником, правую рукою своего брата, передового журналиста, знакомившего нас с явлениями умственной и литературной жизни Запада, вместе с братом постоянно воевал он с Гречем и Булгариным, и в этой войне наносил им чувствительные удары. В то время все мы, молодые люди, кончившие университетский курс, любили и уважали обоих братьев, стояли непременно на их стороне, сердились на их противников за эпиграммы на «Телеграф» и на его издателя с сотрудниками. В Петербурге же К. Полевой преобразился: сошелся с Гречем, стал защитником его мнений, отщепенцем от самого себя, лже-Полевым» (Р. С., 1879, т. 24, стр. 331). — В 1867 г. Кс. Полевой умер в своем смоленском имении — заживо похороненный врагами и забытый друзьями минувшего времени.

Если собрать все написанное Кс. Полевым, получится несколько объемистых томов. Но из всего литературного его наследия историческое значение имеют только «Записки» да пожалуй еще некоторые критические и историко-литературные статьи эпохи тридцатых годов.¹ На склоне лет Кс. Полевой открыл в себе незаурядный талант мемуариста и создал книгу, являющуюся одним из основных источников для истории русской литературы и журналистики первой половины XIX столетия.

Задачей, которую ставил перед собой мемуарист, было — реабилитировать Николая Полевого, сурово осужденного либеральной и радикальной критикой 1840—1860-х гг. На страницах «Записок» Кс. Полевой не только продолжал вести полемику с враждебной ему литературной современностью, но и сводил запоздалые счета со стародавними антагонистами своего брата. «Записки» отнюдь не бесстрастная летопись, а скорее боевой памфлет, воскрешающий в зна-

¹ Укажем основные статьи Кс. Полевого в «Московском Телеграфе»: о сочинениях Пушкина и стихотворениях Дельвига (1829, ч. 27); «О русских повестях и романах» (1829, ч. 28); «Взгляд на состояние Турецкого государства» (1829, чч. 28 и 29); «Взгляд на два Обозрения русской словесности, помещенные в Деннице и Северных Цветах» (1830, ч. 31); о «Брошюрках» И. Кронеберга (1830, ч. 34); об «Ермаке» А. Хомякова (1832, ч. 44); о «Душеньке» И. Богдановича (ibid.); об «Украинских мелодиях» Н. Маркевича (1832, ч. 46); о стихах и прозе Дениса Давыдова (ibid.); о «Жизни Наполеона» Вальтер-Скотта (1833, чч. 50 и 51); о «Системе российской словесности» И. Давыдова (1833, ч. 51); «О направлениях и партиях в литературе» — ответ П. Катенину (ibid.); «Изучение новых произведений Гете» (1834, ч. 55); «О новом направлении в русской словесности» (1834, ч. 56).

чительной степени полемические приемы воейковско-булгаринских времен. Отсюда — пристрастность многих оценок и мнений Кс. Полевого, а в иных случаях и сознательное искажение событий и ситуаций. Кроме того, нужно учесть и то обстоятельство, что Кс. Полевой судил литературно-общественное движение 1820—1830-х гг. уже под углом своего реакционного политического зрения 1860-х гг. С поправкой на этот угол зрения и следует расценивать многие страницы «Записок» Кс. Полевого (например страницы, посвященные декабристам и отношению к ним кружка «Моск. Телеграфа»).

Любопытна самая судьба «Записок» Кс. Полевого. Написанные, в основной своей части, еще во вторую половину 1850-х гг., они тридцать лет дожидались своего полного опубликования. Отдельные фрагменты «Записок» появлялись в печати (преимущественно в «Северной Пчеле») уже с 1856 г.; в сокращенной редакции 1-я часть «Записок» была роздана подписчикам «Живописной русской библиотеки» в 1859 г., «в виде премии», а в следующем 1860 г. вышла отдельным изданием. В предисловии Кс. Полевой «почитал необходимым пояснить, что во второй половине этой части должен был исключить некоторые подробности и описания, так что в иных местах могут быть заметны пропуски» и обещался «вознаградить это во второй части «Записок», где будут приложены также необходимые примечания и пояснительные статьи». Но 2-й части «Записок» при жизни Кс. Полевого так и не появилось. Изданная им книжка вызвала столь шумную полемическую бурю в журналистике, что Кс. Полевой не решился продолжать свое издание. Смерть помешала ему довести свою работу до конца, рукопись «Записок» обрывается на VI главе III части. Только в конце 1880-х гг. сын мемуариста Ник. Кс. Полевой предоставил ее редакции «Исторического Вестника», где она и была напечатана в 1887 г. (в 1888 г. вышло отдельное издание А. С. Суворина).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В первых главах своих «Записок» Кс. Полевой много места уделяет полемике с братом, подробно опровергая данные автобиографического предисловия Н. Полевого к собранию его историко-литературных и литературно-критических статей («Очерки русской литературы», 2 т., 1839).

Об отце Полевых — Алексее Евсевиевиче — мы располагаем крайне незначительными сведениями. И. Т. Калашников в своих «Записках Иркутского жителя» характеризует его как человека «весьма умного и честного» (Р. С., 1905, № 7, стр. 200—201). Лейтенант Г. И. Давыдов, на свидетельство которого ссылается Кс. Полевой, также отзываясь об его отце как о «человеке очень умном и любезном» (см. «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним», ч. I,

1810, стр. 140; Давыдов познакомился с А. Е. Полевым в 1802 году, в Охотске, где тот занимал должность управляющего делами Российской-Американской компании). По собственному свидетельству Н. Полевого, он изобразил своего отца в последней главе романа «Аббадонна», в образе отца Рейхенбаха — разорившегося предпринимателя («тысячи мыслей, идей, предприятий тревожили его»).

На стр. 98 Кс. Полевой пишет, что почти все чиновники из состава посольства графа Ю. А. Головкина, отправленного в 1805 г. в Китай, посещали в Иркутске дом его отца. Один из этих чиновников — Ф. Ф. Вигель — оставил любопытный рассказ об А. Е. Полевом и его семье: «Между Иркутскими купцами, ведущими, обширную торговлю с Китаем, были миллионщики: Мыльниковы, Сибиряковы и другие; но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским, обычаям: в каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чуланах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото, и при неимоверной, даже смешной, дешевизне, ели с семьею одну солянку, запивали ее квасом или пивом. — Совсем не таков был купчик, к которому судьба привела меня на квартиру. Алексей Иванов [sic — В. О.] Полевой, родом из Курска, лет сорока с небольшим, был весьма не богат, но весьма тароват, словоохотен и любознателен. Жена у него красавица, хотя уже дочь выдана замуж; он держал ее назаперти, и мы, кажется, друг другу очень понравились. Он гордился не столько ею самою, как ее рождением. У них был девятилетний сынишка Николай, нежененький, беленький, худенький мальчик, который влюблен был в грамоту и бредил стихами. С худой ли, с хорошей ли стороны он теперь известен всей России. Я всякий день ходил обедать к послу [гр. Ю. А. Головкину — В. О.] и только вечером знал хлебосольство моих хозяев. Можно было подумать, что они меня хотят окормить. Насытись от французского обеда, я за ужином без пощады опоражнивал русские блюда; не знаю, кого из супругов мне благодарить или бранить за сие пресыщение. Я думаю, однако же, скорее жену...» В декабре 1805 г. Вигель уехал в Кяхту, но на обратном пути через Иркутск, снова «остановился у прежнего хозяина своего, г. Полевого» — «Для удовлетворения любопытства ничего не мог я лучше избрать: Полевой занимался европейской политикой гораздо более, чем азиатскою своею торговлей. В нем была заметна склонность к тому, чему тогда еще не было имени и что ныне называют либерализм, и он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие... Маленький сын Полевого [Николай — В. О.] не питал еще тогда ненависти к своему отечеству; напротив, прельщался его славою и написал четверостишие, в котором вклеил, играя словами: Бог-рати-он и На-поле-он. После то же самое слышал я в Москве, и теперь не знаю, где было эхо, там ли, или

в Иркутске? Где повторяли, и кто у кого перенял?» (Ф. Ф. Вигель — «Записки», т. I, 1928, стр. 245—246 и 253). — Стихи, о которых упоминает Вигель, печатаются в собраниях сочинений Г. Р. Державина в следующей редакции:

О, как велик На-поле-он!
Он хитр, и быстр, и тверд во брани,
Но дрогнул, как простер лишь длани
К нему с штыком Бог-рати-он.

(см. П. с. с. Державина, изд. Ак. наук, т. II, стр. 579). Четверостишие это пользовалось в свое время большой популярностью и разошлось по всей России, напечатанное крупным шрифтом на особом листке; впрочем, рассказ Вигеля в этой своей части вызывает сомнения, так как в сочинениях Державина приведенное четверостишие датировано 1806 г., тогда как Вигель излагает события, имевшие место в 1805 г.

На стр. 102 Кс. Полевой упоминает о «пылком уме» и «любви к чтению» своей старшей сестры Екатерины Алексеевны (в замужестве Авдеевой; см. о ней в указателе имен). И. Т. Калашников в уже цитированных «Записках Иркутского жителя» сообщает, что «был удивлен ее познаниями. Она прекрасно говорила и вела политический разговор о тогдашнем положении Европы, о чем Иркутские дамы, за немногими исключениями, и помышлять боялись» (Р. С., 1905, № 7, стр. 201).

Отзыв Кс. Полевого о пасторе Беккере (на стр. 106) находит подтверждение у И. Т. Калашникова: «Пастор Беккер был человек весьма ученый, но отличавшийся многими странностями. Он жил более в мире идей, чем в мире действительности» (Р. С., 1905, № 8, стр. 393).

Рассказ Кс. Полевого о появлении на страницах «Русского Вестника» 1817 г. первых литературных произведений его брата может быть дополнен материалом воспоминаний издателя «Русского Вестника» — С. Н. Глинки: «В июле 1817 года в «Русский Вестник» доставлена была из Курска статья: «О трехдневном в том городе пребывании Александра I», с приложением письма, в котором сочинитель статьи, Николай Алексеевич Полевой, отдавая первые труды пера своего на мой произвол, просил о напечатании его извещения. Исполняя его просьбу и оставя в упомянутой статье сдвиг числа и места, когда и где был император Александр, я все прочее от первой до последней строки изменил. Не воображал и не думал я тогда, что из букв вещественных выйдет живое слово и яркая мысль. Вероятно Н. А. Полевой тогда-же по своей природной остроте усмотрел, что об одном и том же предмете можно предлагать совершенно различным образом. Пользуясь сущностью доставляемых статей, я всегда оставляя имя сочинителей, а потому и под статьей молодого курского писателя оставил: Николай Полевой. Вскоре потом получил я от него стихи на проезд через Курск

князя Барклай де Толли. Хотя я и сам хромал в поэзии, но и со стихами поступил наряду с прозой. Следственно первый труд пера историка русского народа и издателя «Телеграфа» был напечатан в «Русском Вестнике», в июле 1817 года» («Записки С. Н. Глинки», 1895, стр. 310—311). — Приводим перечень произведений Н. Полевого, появившихся в «Русском Вестнике» 1817 г.: 1) «Воспоминания о трех достопамятных годах по случаю торжества сего 1817 г. о взятии Парижа» (№ 7—8, стр. 113—119), 2) «Чувства курских жителей по случаю прибытия в Курск графа Барклая де Толли, 1817 г. в июне» (№ 15—16, стр. 91—93), 3) «Хор во славу императора Александра, самодержца всероссийского» (*Ibid.*, стр. 89—90; довольно гладкий перевод французского стихотворения Моризо, помеченный: 1815 г., Курск) и 4) «Отрывки из писем к другу из Курска» (№ 19—20, стр. 17—26; о пребывании в Курске императора Александра I). — О личных и журнальных взаимоотношениях Н. Полевого и С. Н. Глинки см. ниже, на стр. 431—433.

Стихотворение, написанное Н. Полевым по случаю приезда в Курск известного архиепископа Евгения (Болховитинова), о котором упоминает Кс. Полевой на стр. 122 своих «Записок» — в печати не появлялось.

Упомянув о курских меценатах — П. А. Анненкове и кн. В. П. Мещерском (см. о них в указателе имен), Кс. Полевой утаил имя третьего «просвещенного покровителя» своего брата, причем утаил его не без оснований: после 1825 г. имя это было в числе «запретных». Мы имеем в виду Андрея Федосеевича Раевского, знакомство с которым оказало, как нам кажется, в известной мере влияние на характер социально-политических и литературных мнений Н. Полевого в начале 1820-х гг. — Об Андрее Раевском мы располагаем крайне незначительными данными: он был сыном богатого курского помещика (и одно время губернского предводителя дворянства) Федосея Михайловича Раевского. Огромная семья Раевских была безусловно самой просвещенной в Курске, атмосфера в их доме была либеральная и проникнутая литературными интересами. Самым видным из членов этой семьи был брат Андрея Раевского — Владимир Федосеевич — известный «первый декабрист» (см. о нем и вообще о семье Раевских работу П. Е. Щеголева «Владимир Раевский» в его сборнике «Декабристы», 1926, стр. 7—70). Есть основания предполагать, что Андрей Раевский ближе других членов семьи стоял к своему вольнодумному брату, политическую деятельность которого характеризуют явно-выраженные антиаристократические тенденции, симпатии к купечеству и пропаганда идей буржуазной революции.

Андрей Федосеевич Раевский воспитывался в Московском университетском благородном пансионе (см. у Н. В. Сушкова — «Московский университетский благородный пансион», 1858, стр. 82),

впоследствии служил в л.-гв. уланском полку, участвовал в заграничных походах 1813—1814 гг., а в 1815—1819 гг. состоял адъютантом при начальнике штаба гвардейского корпуса, генерал-адъютанте Н. М. Сипягине. Когда, по мысли Сипягина, в 1817 г. состоявшее под его председательством Общество любителей военных наук приступило к изданию «Военного Журнала» (выходил в 1817—1819 гг.) — А. Ф. Раевский принял деятельное участие в делах его редакции (см. Р. А., 1866, стбц. 1430). С молодых лет А. Ф. Раевский занимался литературой и выступал в печати со стихотворениями (гл. обр. элегиями в духе Батюшкова, также переводами из латинских авторов). 15 ноября 1817 г. он, по предложению А. Е. Измайлова, был избран в действительные члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, являвшегося одним из видных литературных объединений начала XIX века (вместе с ним были избраны В. К. Кюхельбекер и А. Г. Родзянко; заимствуем эти сведения из рукописных протоколов Общества, хранящихся в библиотеке Ленинградского государственного университета). Стихотворения и переводы Раевского появлялись в сборниках Московского университетского благородного пансиона: «Полезное упражнение юношества» (1789), «Утренняя заря» (6 ч., 1802—1808) и «В удовольствие и пользу» (2 ч., 1810—1811; там же напечатана его проза: «Василько в темнице»), также в В. Е., 1808—1809 и 1822 гг., в «Цветнике», 1810 (ч. VII, стр. 236—214) и в альманахе «Венера или собрание стихотворений разных авторов», 1831 (ч. IV, стр. 57—59). В 1810 г. А. Раевский издал перевод книжки английского писателя Роберта Додсли (Dodsley) — «The Economy of human life, translated from an Indian manuscript, written by an ancient Bramin», — под заглавием: «Мысли индийского философа, соч. г. Додслея, перевел с французского Андрей Раевский». СПб. 1810 (см. Сопиков, № 6340). Эта небольшая книжка (сборник нравственных правил), долгое время приписывавшаяся перу лорда Честерфильда, была широко распространена по всей Европе в 1750—1810-х гг. В России она пользовалась большим успехом в масонском кружке Н. И. Новикова; отрывки из нее появились на русском языке еще в 1762 г. (в журнале М. М. Хераскова «Полезное увеселение», т. V), первое отдельное русское издание вышло в 1765 г. — В «Благонамеренном» 1818 г. появились два отрывка из «Записок русского офицера» А. Раевского: «Дорога от Устилуга до Варшавы» (ч. I, стр. 51—75) и «Любек» (Ibid., стр. 331—345). Полностью записки эти были изданы в 1822 г. в Москве («Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов», 2 части); в этой интересной книге содержится, между прочим, рассказ о встречах с К. Н. Батюшковым и Ф. Н. Глинкой (см. ч. I, стр. 29—30). Кроме того, А. Ф. Раевский занимался переводом сочинения эрцгерцога Карла о стратегии. В 1821 г. Раевский состоял при штабе начальника Чугуевских военных поселений генерала Д. М. Юзефо-

вича, в этой должности встретил его А. В. Никитенко, отозвавшийся о нем как о «весьма образованном молодым человеком» (см. А. В. Никитенко, «Записки и дневник», т. I, 1905, стр. 108). А. Ф. Раевский умер, по официальным данным, «от чахотки», в 1822 г., в год ареста «первого декабриста»; некрологическую заметку о нем см. в книге В. Соца «Опыт библиотеки для военных людей» (2-е изд., 1826, стр. 343—344), см. также некролог в «Revue Encyclopédique», 1826, t. XXX, p. 559 (там же, 1823, t. XIX, p. 134 — рецензия на его «Воспоминания о походах 1813—1814 гг.»). — Н. Полевой посвятил памяти Раевского статью «Память доброму другу», напечатанную в О. З., 1822, ч. X, № 24, стр. 21—24 (за подписью: Н. П.), в которой писал: «В Курске, сего 1822 года, Марта 1 дня, после продолжительной изнурительной чахотки скончался Андрей Федосеевич Раевский. Как писатель, он известен любителям отечественной словесности своим переводом сочинения эрцгерцога Карла «О стратегии», которого однако ж не мог кончить; разными стихотворениями, из которых многие показывают прекрасный талант юного поэта, к несчастью не успевший развернуться, убитый обстоятельствами. Еще в нынешнем году изданы его «Воспоминания о походах 1813 и 1814 годов», где он участвовал. Проза Раевского легка, свободна, иногда не ознаменована чистым вкусом, но соображая все вообще сочинения его, всякой пожалеет, что не лучшая участь была ему суждена!».

На стр. 124 Кс. Полевой рассказывает о «филологических занятиях касательно русского языка», которым его брат предавался с молодых лет. Статья Н. И. Греча, побудившая Н. Полевого заняться составлением таблицы спряжений русских глаголов, появилась в С. О., 1819, ч. 55, №№ 31-33; в этой статье Греч подверг разрушительной критике третье издание «Российской грамматики, соч. Рос. Академией» и пришел к выводу, что «академическая грамматика вовсе не заключает в себе научного исследования свойств русского языка». Работа Н. Полевого по спряжению русских глаголов (о которой Кс. Полевой упоминает неоднократно, см. напр. стр. 124 и 141) была закончена в 1822 г. и тогда же была представлена им (через А. С. Шишкова) в Российскую Академию. В отчете о заседании Российской Академии 9 сентября 1822 г. читаем: «В заседание, сего числа бывшее, Г. Президент Академии, Вице-Адмирал и Кавалер Александр Семенович Шишков сделал предложение следующего содержания: «В одно из прошедших заседаний, по желанию сочинителя, внес я в Академию сочинение Московского купца Николая Полевого под названием: «Новый способ спряжения русских глаголов». Академия поручила опыт сей рассмотреть члену своему Г. Действительному статскому советнику Ивану Ивановичу Мартынову. Прилагая при сем отзыв его о сем сочинении и соглашаясь с ним, что подобное упрямление, показы-

яющее особенную склонность и способность в человеке обязанном должностями торговли, заслуживает в вящему его поощрению быть одобрена Академиею: а потому почтеннейше и предлагаю за сей труд наградить его серебряною медалью». Академия согласилась с предложением своего президента, и серебряная медаль была вручена Н. Полевому 31 октября 1822 г. через П. П. Свинына (см. «Известия Российской Академии», кн. II, 1823, стр. 7—8).

Статья Н. Полевого «Замечания на статью: «Нечто о Велесе» (появившуюся в В. Е., 1819, стр. 174—183; автором ее был А. Волков) и перевод Шатобрианова описания путешествия Маккензи — были напечатаны в В. Е., 1819, № 21, стр. 38—48. — Годом позже Н. Полевой лично познакомился с редактором В. Е. — М. Т. Каченовским и деятельно сотрудничал в его журнале, помещая там стихотворения, шарady, омонимы, логогрифы и прочие стихотворные мелочи, а также прозаические переводы с французского; большинство из них было напечатано анонимно; из подписанных отметим: «Анаграммы» (№ 5, стр. 70), «Шарady» (№ 6, стр. 141—142; № 7, стр. 230—231 и № 17, стр. 69), «Умиравший воин» и «Три слова» — стихотворения (№ 9, стр. 35—36), «Урок любви», повесть г-жи Монтолье (№№ 9, 10 и 11), «Мысли из Шатобриана» (№ 11), «Вильгельм Пенн»; повесть г-жи Монтолье (№№ 15 и 16) и «в альбом Софии» — стихотворение (№ 23, стр. 167). — Об отношениях Н. Полевого с Каченовским в пору издания М. Т. — см. ниже.

На стр. 131—135 Кс. Полевой много говорит о В. С. Филимонове — покровителе, а впоследствии компаньоне (по водочному заводу) Н. Полевого. Сводка данных о Филимонове приводится в указателе имен, здесь же мы ограничимся вопросом о «горацианских настроениях» Полевого в пору его сближения с Филимоновым (1820—1824 гг.). Филимонов выступил пропагандистом идей позднего эпикуреизма, выраженных в «легкомысленной» книжке И. Дроза «Essai sur l'art d'être heureux». Полевой также отдал дань этому увлечению; в «Дневнике» И. М. Снегирева (отд. изд. 1904 г., т. I, стр. 7) под 12 марта 1823 г. читаем: «У Полевого... слушал его стихи, перевод из Дроза». Впрочем, «горацианские увлечения» Полевого были недолговременны, вскоре он разошелся с Филимоновым и когда последний выпустил в свет первую (и единственную) из восьми предполагавшихся частей книги «Искусство жить» (сокращенный перевод сочинений Дроза, Циммермана, Шаррона и Франклина) — под заглавием: «Щастие» (из Дроза) СПб, 1825, — Полевой встретил ее насмешливой рецензией в М. Т., 1826, ч. IX, отд. I, стр. 223—235. Для характеристики «горацианских настроений», распространенных в кружке Филимонова, см. его пространное объявление об издании «Искусства жить», напечатанное во многих газетах и журналах 1825 г. (напр.: «Благонамеренный», ч. 29, № 4, стр. 155—158; «Русский Инвалид», № 17;

«Соревнователь просвещения и благотворения», ч. 29, стр. 330—333; «С. Петербургские Ведомости», № 14, стр. 173) и тогда же изданное отдельно. Отметим, что еще в 1831 г. в СПб появился анонимный перевод -книжки Дроза: «Искусство быть счастливым».

На следующих страницах Кс. Полевой рассказывает о знакомстве своего брата с П. П. Свиным. Упоминание о «Кулик-самоучке» имеет в виду популярную в свое время басню А. Е. Измайлова «Лгун», высмеивающую известную лживость Свинына, а также его болезненное пристрастие к «самобытным» талантам; в басне фигурирует конструктор необыкновенно-огромного воздушного шара — «мужик, наш русский маркитант, Коломенский мясник Софрон Егорович Кулик» (см. в нашей книге «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 439). Свинын, оказавший Н. Полевому существенную поддержку в первые годы его литературно-журнальной деятельности; рекомендовал нового «самоучку» вниманию читателей своего журнала «Отечественные Записки» в следующих выражениях: «Со временем надеюсь ознакомить вас с Г. Полевым, коего я беспристрастно признаю в числе необыкновенных людей. Знаете ли, что он наперекор общему мнению о способе учения, выучился Русскому, Французскому, Немецкому и Латинскому языкам, перечитал многое, очень многое, касающееся до отечественной словесности и прочих наук, читая все с размышлением и замечаниями — украдкою — по ночам! Нет сомнения, что сия награда от столь почетного сословия [речь идет о награждении Полевого медалью Российской Академии в 1822 г. — В. О.] не только поощрит его к новым почетным трудам, но и родным его покажет, что занятия его заслуживают уважения!» (см. О. З., 1823, ч. 13, стр. 156—157).

Свинын привлек Н. Полевого к сотрудничеству в своем журнале; в течение 1821—1824 гг. Полевой поместил в О. З. несколько статей, в том числе две статьи о «самородках», «куликах-самоучках» (см. 1821, ч. VIII, стр. 42—53 — «Чудный мальчик живописец» и 1824, ч. XVII, стр. 296—297 — «Письмо П. П. Свиныну» — о курском мяснике-астрономе Семенове); см. также: 1822, ч. IX, № 23, стр. 396—424 («Воспоминания о происшествиях, бывших в Курске в 1812 году»); Ibid., № 22, стр. 282—286 («Анекдоты Сибирской храбрости»); 1822, ч. X, № 24, стр. 21—24 («Память доброму другу — курскому поэту А. Ф. Раевскому») и 1823, ч. XV, стр. 81—101 и 275—284 (весьма обстоятельная критика «Краткого всеобщего землеописания, изданного Т. Каменецким», 4-е изд., 1823 г.). — Добрые отношения со Свиным Полевой поддерживал вплоть до конца 1820-х гг., когда, по невыясненным причинам, они были прерваны. Весьма возможно, что причиной разрыва послужила резко-отрицательная оценка романа Свинына: «Ягуб Скупалов» (1830), данная на

страницах М. Т. (1830, № 6; ср. «Лит. Газета», 1830, т. I, стр. 236); в рецензии в М. Т. Полевой писал: «Роман сей так дурен, что не смотря на приятельские мои сношения с Автором... я не хочу верить, чтобы роман сей был им написан». Свиньин же считал себя «наставником» Полевого и всецело своему покровительству приписывал его литературные успехи. В неизданных письмах к А. И. Михайловскому-Данилевскому (1831 г.) Свиньин иронически называет Полевого «Московским мыслителем» и оеуждает его «дерзость и надменность». В 1832 г. Свиньин, только что окончивший свой роман «Шемякин суд», горько жалуется Михайловскому-Данилевскому: «Удружил мне приятель мой, Полевой, который пишет также роман из сей эпохи [имеется в виду «Клятва при гробе господнем» — В. О.] и уже запродавал Ширяеву за 10 000 рублей. Бог знает, когда он его напишет, со всем тем десять тысяч выгащил у меня из кармана! Вот каковы в Москве литературные корсары!» Также в другом письме: «Мне соперничествует Полевой, обзававшийся Ширяеву поставить такой же роман за 10 000 рублей к 1832 году. Деньги взял, а еще только кончил первый том! Вообразите, что он вероломного, бесчестного Шемяку представил образцом великодушия, справедливости и прочих добродетелей — вопреки Карамзина и прочих историков, летописей и преданий...» (ГПБ). Полевой примирился со Свиньиным только в 1838 г., когда тот уже был «расстроен и духовно и вещественно» (см. Кс. Полевой, изд. 1888 г., стр. 422—434), а после его смерти писал брату (11 апреля 1839 г.): «Внезапная смерть его меня поразила!.. В «мивом» [так Н. Полевой звал Свиньиного. — В. О.] были хорошие стороны, по крайней мере мы должны вспомнить о нем с благодарностью и я хочу сказать это печатно» (Ibid., стр. 467).

На стр. 136 Кс. Полевой упоминает о том, что брат его в 1821 г переводил стихами Мольерова «Тартюфа». Никаких следов этого перевода не обнаружено. Не знаем также, о каком сборнике, издававшемся книгопродавцем А. С. Ширяевым, при участии Н. Полевого, идет речь.

На стр. 144 Кс. Полевой в довольно пренебрежительных выражениях отзывается об Обществе любителей российской словесности при Московском университете. Н. Полевой был связан с этим Обществом: еще в 1820 г. в «Трудах» Общества (ч. XVIII, отд. «Стихотворения», стр. 76—82) было напечатано большое стихотворение Полевого «Вдохновение поэта», изобилующее автобиографическими мотивами. В 1822 г. Н. Полевой был избран членом-сотрудником Общества (см. М. Н. Лонгинов, Сочинения, т. I, 1915, стр. 439), по предложению Н. И. Греча (см. С. О., 1825, ч. 104, стр. 193), а в 1829 г. вошел в число действительных членов, причем избрание его вызвало бурю возмущения в московских литературно-ученых кругах (см. Н. Барсуков, «Жизнь

и труды М. П. Погодина», кн. II, стр. 264—272); один из деятельных членов Общества — С. Т. Аксаков — писал (2 апреля 1829 г.) С. П. Шевыреву: «Общество, по предложению И. И. Давыдова, избрало Полевого в действительные члены! Из 12 избирателей семеро были враги его — и выбрали единогласно! Выбрали в то время, когда Университет потерпел за него оскорбление. Не доказывает ли это, что личные достоинства Полевого заставили молчать и злобу и зависть?.. Дурацкая история! Я вышел из членов; вероятно все профессора сделают то же» (Р. А., 1878, II, стр. 50; ср. у М. А. Дмитриева — «Мелочи из запата моей памяти», 2-е изд., 1869, стр. 172).

Цензурные условия помешали Кс. Полевому назвать (на стр. 145) по именам издателей альманаха «Полярная Звезда» — декабристов К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева, выступавшего в литературе под псевдонимом Марлинский.

В конце V главы Кс. Полевой говорит о кн. В. Ф. Одоевском. В эпоху 1820-х годов Одоевский — один из первых литературных покровителей и опекунов Полевого: он вводит его в кружок молодых писателей, собиравшихся у С. Е. Раича, и печатает его произведения в альманахе «Мнемозина» (4 части, М. 1824—1825), издававшемся им в сотрудничестве с В. К. Кюхельбекером. Полевой принимал участие в собраниях московских «любомудров», объединившихся вокруг Д. В. Веневитинова и В. Ф. Одоевского и находившихся под сильнейшим влиянием идеалистической философии Шеллинга. В «Мнемозине», служившей до некоторой степени органом группы воинствующих шеллингианцев, Полевой напечатал два своих произведения: «Эпиграмму» (см. ч. II, стр. 44) и прозаическую аллегорию в духе Ф. Глинки — «Спутники жизни» (ч. IV, стр. 56—62; перепечатана в альманахе «Радуга» на 1833 г., стр. 52—65). Появление «Мнемозины» Полевой отметил в своем «Обзрении русской литературы в 1824 г.» (М. Т., 1825, ч. I, стр. 76) и предполагал написать подробный ее разбор, чего, однако, не сделал. Отношения между Полевым и Одоевским к концу 1824 г. настолько упрочились, что в конфликте Полевого с кружком Раича по вопросу об издании журнала (см. ниже, стр. 379), Одоевский — единственный из членов кружка — не только разделял, в основном, точку зрения Полевого, но и вступил, с нового 1825 г., в ряды неперемных сотрудников М. Т., регулярно помещая в нем свои художественные произведения, нраво-описательные фельетоны и критические статьи, а также принимая деятельное участие в отделах музыкальных рецензий, «Смесь», «Современные нравы» и даже «Летописи мод». Отойдя впоследствии от участия в М. Т., Одоевский, тем не менее, остался с Полевым в дружеских отношениях. Кс. Полевой неправ, утверждая, что период дружбы между Одоевским и его братом продолжался всего «года два»: охлаждение наступило, по-

видимому, не ранее 1833 г., когда Полевой крайне резко осудил «аристократический тон» книги Одоевского «Пестрые сказки Ириней Модестовича Гомозейки, изданные В. Безгласным» (см. М. Т., 1833, № 8, стр. 572—582; ср. у П. Н. Сакулина — «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский», т. I, ч. 2, 1913, стр. 32—34). Хотя Одоевский никогда не выступал против Полевого в печати, в течение последующих четырех-пяти лет между ними шла скрытая война. Одоевский неоднократно пытался примириться с Полевым, «не ставя в грош всякие жизненные отношения», и даже согласился участвовать в «Московском Наблюдателе» с неперменным условием, «чтоб на Полевого не нападали» (см. письмо Одоевского к С. П. Шевыреву в Р. А., 1878, II, стр. 55). Примирение их состоялось только в конце 1837 г., после переезда Полевого в Петербург (см. рассказ об этом в «Записках» И. П. Сахарова — Р. А., 1873, стр. 946). В петербургский период жизни Полевого (1838—1846) Одоевский вновь стал его сотрудником (по С. О. и «Сев. Пчеле») и оставался с ним в приятельских отношениях (только в 1844 г. он ополчился на Полевого с резкой антикритикой по поводу анонимной рецензии на три тома «Сочинений кн. Одоевского», появившейся в «Библиотеке для чтения», 1844, т. 66, отд. VI, стр. 1—9; автором же этой рецензии был, по видимому, не Полевой, а О. И. Сенковский).

Что касается второго издателя «Мнемозины» — В. К. Кюхельбекера, то хотя он и считал Полевого «самым деятельным и дельным из наших журналистов» и отмечал его «рвение ко всему благородному, полезному и прекрасному» («Дневник В. К. Кюхельбекера», изд. под ред. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого, 1929, стр. 178), — тем не менее в письме к Одоевскому 1825 г. назвал его «совершенным невежей» (Р. С., 1904, № 2, стр. 383). Полевой же относился к Кюхельбекеру всегда в высшей степени благожелательно и с уважением отзывался о его литературной деятельности (см. М. Т., 1825, № 8, стр. 563; ср. комментарии в уже цитированном выше издании «Дневника В. К. Кюхельбекера», стр. 334; *Ibid.*, по указателю — отзывы Кюхельбекера о Полевом). Кюхельбекер сотрудничал в М. Т.: см. его послание «К Грибоедову» — 1825, ч. I, стр. 118—119; в 1826 г. Полевой напечатал в М. Т. без подписи стихотворение Кюхельбекера: «К Гете» («Было и я в стране чудесной»...) — см. ч. XI, отд. 2, стр. 3—5 (авторство Кюхельбекера установлено нами). В самом конце главы Кс. Полевой упоминает о шуточных стихах Пушкина про Кюхельбекера; речь идет об известной эпиграмме 1818 г.:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.

Эпиграмма эта была опубликована впервые в 1866 г. (Р. А., № 8—9), так что Кс. Полевой знал ее, повидимому, по изустному преданию.

Главу VI своих «Записок» Кс. Полевой почти целиком посвящает журнальным проектам своего брата в 1823—1824 гг. и истории организации М. Т. Но прежде чем перейти к комментированию рассказа Кс. Полевого, отметим, что на стр. 151 он цитирует А. А. Бестужева-Марлинского, не называя его по имени в силу цензурных условий. Цитата, приведенная Кс. Полевым, полностью читается так: «В Москве появился двухнедельный журнал Телеграф, изд. Г. Полевым. Он заключает в себе все; извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике, до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего телеграфа, а смелым в ладе ет бог — его девиз». Бестужев писал это в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начала 1825 годов» (альманах «Полярная Звезда» на 1825 г., стр. 22). О взаимоотношениях Н. Полевого и А. А. Бестужева — см. ниже, стр. 413.

Отметим также, что упоминаемый Кс. Полевым на той же странице «Алфавитный словарь русских писателей» был доведен до буквы «Е»; С. Д. Полторацкому он был подарен в 1832 г., когда тот начал собирать материалы для своего словаря русских писателей; в настоящее время рукопись Полевых хранится в Библиотеке им. В. И. Ленина, б. Румянцевском музее (см. М. И. Сухоминов, «История Российской Академии», вып. V, 1880, стр. 330—331; ср. также «Дневник И. М. Снегирева», т. I, 1904, стр. 103).

История организации М. Т. — темна и запутана. Она дошла до нас в трех вариантах, из которых первый, излагаемый Кс. Полевым, заслуживает наименьшего доверия, хотя и находит подтверждение в предисловии самого Н. Полевого к изданному им в 1832 г. сборнику «Новый живописец общества и литературы», где читаем: «Более семи лет прошло с того времени, когда, уединенно гуляя по окрестностям Москвы, в прекрасный летний вечер, решился я издавать журнал. План его давно был у меня составлен, всё предварительно обдуманно, сделаны были и некоторые приготовления; стоило только решиться — я решился, и объявления «Московских Ведомостей» возвестили всему читающему и нечитающему русскому миру о появлении, с 1-го января 1825 года, «Московского Телеграфа». — Когданибудь, на досуге, расскажу я читателям, как обыкновенно начинаются, составляются и издаются на святой Руси журналы. Дело презабавное и пресмешное! У меня это дело шло весьма просто. Во-первых, сотруди-ников у меня не было никого, кроме двух рук моих, во-вторых,

сделавшись издателем журнала, я нисколько не переменял ни образа жизни, ни отношений моих: жил попрежнему, занимался попрежнему. Изготовив статью, посылал ее печатать; напечатав книжку, выдавал ее подписчикам и предоставлял судьбу журнала моего и все другое — всеблагому провидению . . » и т. д.

Показания братьев Полевых опровергаются кн. П. А. Вяземским и М. П. Погодиным; оба они отрицают право Н. Полевого на приоритет в деле основания М. Т. — Вяземский в автобиографическом введении к собранию своих сочинений пишет: «Полевой был в то время [1824 г. — В. О.] еще литератором *in partibus infidelium*. Едва ли не против меня были обращены первые действия его. По крайней мере ему приписывали довольно бранное послание на имя мое, напечатанное в «Вестнике Европы», в ответ на мое известное, и также не слишком вежливое, послание к Каченовскому [см. ниже, стр. 392. — В. О.]. Как бы то ни было, Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила [Юрьевича] Вьельгорского. Речь зашла о журналистике. Вьельгорский спросил Полевого, что он делает теперь. — Да покамест ничего, — отвечал он. — Зачем не приметесь вы издавать журнал? — продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других пригготовительных пособий. Юноша был тогда скромен и застенчив. Вьельгорский настаивал и преследовал мысль свою; он указал на меня, что я и приятели мои не откажутся содействовать ему в предприятии его, и так далее; дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевом переулке, зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя Телеграфу . . » (см. П. с. с., т. I, 1878, стр. XLVII). Таким образом, истинным виновником рождения М. Т. Вяземский считает гр. М. Ю. Вьельгорского (а вместе с ним и себя, разумеется). — По версии же М. П. Погодина, М. Т. родился в кружке С. Е. Раича, о котором речь будет идти ниже. В своих «Воспоминаниях о С. П. Шевыреве» Погодин, рассказывая о раичевском обществе, пишет: «Много толков было о журнале, которого программу представил Полевой (Н. А.), принятый в наше общество. Она не понравилась нам и Полевой отстранился, объявив в следующем году подписку на Телеграф» (см. «Журнал мин. народн. просвещения», 1869, № 2, стр. 399).

Дополнительные материалы уточняют и исправляют показания Погодина. Прежде всего Полевой не «отстранился» от участия в обществе Раича, а был вытеснен оттуда в результате разгоревшейся борьбы именно вокруг проекта организации журнального предприятия. Мысли о журнале возникли в Обществе еще в самом начале 1823 г. и, возможно, что Полевой принимал участие в обсуждении этого вопроса. Известно, что 3 мая 1823 г. Общество рассуждало о журнале, причём в заседании при-

нимал участие специально приглашенный кн. П. А. Вяземский. Полевой вскоре же представил свой проект (к сожалению, не сохранившийся), который и был отвергнут Обществом. Весьма вероятным кажется нам, что вскоре после этого имела место беседа Полевого с гр. М. Ю. Вельгорским, о которой сообщает кн. П. А. Вяземский.

Таким образом возможно, что мысли об организации журнала Полевой подхватил в кружке Раича, а непосредственным толчком к возбуждению ходатайства с разрешением издавать М. Т. послужила беседа Полевого с Вельгорским и Вяземским.

Этим, конечно, отнюдь не исключена возможность того, что Н. Полевой, независимо от кружка Раича и от Вяземского и до знакомства с ними, обдумывал собственные журнальные проекты в сотрудничестве с Я. И. Сабуровым, В. С. Филимоновым и В. Е. Вердеревским, на которых ссылается Кс. Полевой. Ср. «Пояснения к библиографическим запискам г. Лонгинова» Кс. Полевого, где он настаивает на своей версии истории основания М. Т.: «Лишившись в 1822 году добродетельного и умного нашего отца, мы получили от него в наследство только небольшой водочный завод в Москве, которым управлял брат наш, второй после Н. А. и старший меня [Евсей Алексеевич. — В. О.]. Мы с Н. А. решились отказаться от несбывшихся предположений нашего отца доставить себе независимое состояние промышленностью и, не чувствуя к ней склонности, всегда живши в мире литературном и умственном, больше, нежели в мире промышленном и торговом, стали почти исключительно заниматься учением и словесностью. В записках о жизни Н. А. я подробно излагаю, как незаметным образом подвигался он к главной и всегдашней цели своей жизни — издавать журнал; как, в продолжение многих лет, мы с ним были самыми внимательными наблюдателями русских журналов, видели возможность придать новую жизнь этой важной части литературы, и как сн, наконец, решился, без всяких дальних приготовлений — просить позволения издавать журнал в Москве» (см. «Сев. Пчела», 1856, № 182, стр. 923).

Несомненно, что какие-то смутные планы о журнале строились братьями Полевыми еще задолго до переговоров с кружком Раича и Вяземским; И. М. Снегирев записал в «Дневнике», под 26 февраля 1823 г.: «Вечер просидел дома с Полевым. . . разговор был об издании на будущий год журнала» (изд. 1904 г., т. I, стр. 5).

Так или иначе, но в середине 1824 года Полевой отправил в Петербург, на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова, «Предположение об издании с будущего 1825 года нового повременного сочинения под названием «Московский Телеграф».

Приведем здесь это «Предположение» полностью:

Nisi utile est quod facimus stulta gloria!

Федр, кн. III, б. 17.

«Опыт и здравое рассуждение научают нас, что взгляд на состояние наук и словесности в каком либо государстве есть верный размер его нравственной силы и могущества, и цветущее состояние наук и словесности есть верное доказательство просвещения народного: «Степень просвещения — сказал почтеннейший наш писатель, открывая Беседу любителей русского слова, — определяется большим или меньшим числом людей, упражняющихся и прилежащих к полезным знаниям и наукам». — Сколь же приятно сердцу русскому, обозревая отечество, видеть умножающуюся повсюду ревность к ученым занятиям, к упражнениям умственным, утверждающим в нас веру в бога, любовь к отечеству, верность к избранному, богом монарху нашему, ибо главнейшее основание просвещения есть вера, добродетель и тщательное исполнение обязанностей человека и гражданина: человек просвещенный есть человек добродетельный. — Столь же и лестно для каждого русского участвовать в сем великом деле посильными своими способностями. — Сими одушевляясь чувствами, нижеподписавшийся осмеливается предположить, с будущего 1825 года, издание повременного сочинения. — В настоящем состоянии наук и словесности в России, повременное сочинение, производя быстрое сообщение ученых занятий, доставляя писателям удобный способ сообщать свои сочинения публике и слышать мнения просвещенных особ, предварительно прежде издания оных вполне, в то же время сообщая новейшие сочинения, изыскания и открытия иностранных ученых мужей, представляя публике чтение приятное по самому разнообразию оною, у нас принесет пользы, конечно, более, нежели в каждом другом государстве. Все зависит от цели и намерений издателя.

Нижеподписавшийся не поставляет целью своего повременного издания — легкое, поверхностное и забавное чтение, переводы летучих повестей, печатанье мелких стихотворений и статей спорных, где острота иногда заменяет пользу. — Избирая название «Московского Телеграфа», он желает означить сим названием, что внимание его главнейше будет обращено на следующее: 1-ое. Сообщение отечественной публике статей, касающихся до нашей истории, географии, статистики и словесности, которые бы иностранцам показывали благословенное отечество наше в истинном его виде. 2-е. Сообщение также всего, что любопытного найдется в лучших иностранных журналах и новейших сочинениях или что неизвестно еще на нашем языке, касательно наук, искусств, художеств вообще и словесности древних и новых народов. — Вследствие сего «Телеграф» будет передавать взаимно изящное и полезное. — В «Телеграфе» не будет особенного разделения статей, однако, каждая книжка должна заключать сочинения или переводы по следующим четырем предметам:

I. Науки и искусства.

а) История и археология.

Отрывки из классических сочинений — исследования о нравах, обычаях, памятниках всех народов; историческая критика — разбор лучших исторических и археологических сочинений; извлечения и переводы из древних писателей греческих, латинских, скандинавских и славянских, как-то: сербских, польских, богемских. — Главное место займет история отечественная, исследования о народах славянских, народах северных, азиатских, относительно России: их языках, памятниках, летописях и проч., и проч., — Непременными и весьма обширными статьями в «Телеграфе» будут следующие: 1-е. Критическое обозрение всех сочинений, относящихся к русской истории от древнейших времен до настоящего времени. 2-е. Критическое обозрение всех сочинений, писанных иностранцами о России, кроме таких, где явная нелепость известий не заслуживает внимания и опроверженья. — Кроме того, нижеподписавшийся сообщит публике многие, доныне малоизвестные рукописи и описания древних русских памятников, имея таковые у себя уже готовые и надеясь на обещания почтенных любителей всего отечественного.

б) География и статистика.

Кроме известий географических и статистических о России и описания различных многочисленных обитателей нашего отечества, будут помещены лучшие географические статьи из иностранных журналов и новейших сочинений, исследования ученых мужей и новые путешествия по всем частям света.

в) Эстетика. Изящные искусства.

Все, что может служить к утверждению чистого вкуса в поэзии и красноречии: древние и новые исследования писавших в сем предмете будут сообщаемы с самым строгим выбором.

II. Словесность.

Новейшие произведения известных русских и иностранных писателей во всех родах прозы, как-то: повести, речи, разговоры, описания и проч. Отрывки из древних классических писателей. Нижеподписавшийся надеется иметь переводы с языков: арабского, китайского, английского и итальянского. Касательно стихотворений, преимущественно будут помещаемы переводы из классических авторов, или сочинения, где поэты изобразят русские исторические события или предметы нравственные. Решительно в «Телеграф» не будут принимаемы стихи нескромные и посредственные.

III. Библиография и критика.

Известия о всех книжках, в России выходящих. Разбор и замечания на русские книги по части изящной словесности, истории, географии и статистики. Известия о новых иностранных книгах вообще и разбор примечательнейших произведений словесности французской, немецкой, английской и итальянской. В сих статьях нижеподписавшийся обязанностью почтет: предлагать публике суждения беспристрастные, тщательно соблюдая, чтобы не одни погрешности были замечены; но наиболее показаны достоинства сочинений и рассуждаемо только о самых сочинениях, не касаясь никаким образом до особы сочинителя. — Посему антикритика и возражения, где не соблюдено сие правило, и вообще такие, где речь идет о каких нибудь отношениях, а не настоящем деле, помещаемы не будут. — Кроме книг будут рассматриваемы карты, рисунки и музыкальные произведения.

IV. Известия и смесь.

Собрание небольших статей, достойных внимания читателей, как-то: известия иностранные — не политические; известия отечественные; анекдоты, жизнеописания славных или замечательных современников; новые произведения художеств; выставки, заседания и задачи ученых обществ русских и иностранных; новые открытия и изобретения; московские события, заслуживающие в каком-нибудь отношении быть известными; известия коммерческие; мелкие прозаические сочинения, как-то: мысли, притчи, нравоучительные изречения и проч.

Для наполнения «Московского Телеграфа» нижеподписавшийся имеет уже немалое количество статей разного содержания и, предполагая выписать все лучшие журналы французские и немецкие, он отделяет значительную сумму на покупку новейших сочинений, которые будут изданы в следующем году. — В его трудах принимают участие многие известные русские писатели. — «Московский Телеграф» будет состоять из 24 книжек в год: через две недели, то есть 1-го и 15-го числа каждого месяца, должна выходить одна книжка, содержащая от 5-ти до 4-х печатных листов.

Курский 2-й гильдии купец Николай, Алексеев сын, Полевой».

(Из архива Мин. народн. просвещения, дела 1824 г., № 114; опубликовано М. И. Сухомлиновым в статье «Н. А. Полевой и его журнал Московский Телеграф», — см. его «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. II, 1889, стр. 372—376).

«Предположение» составлено в высшей степени дипломатично: Полевой не только учел в нем литературные вкусы и понятия Шишкова, от которого единственно зависело выдать разрешение на издание журнала, но и ловко процитировал в начале своего проекта

речь самого Шишкова. Обширность программы, включавшей в себя все, вплоть до переводов с арабского и китайского языков, указывает на то, что Полевой рассчитывал при этом на постоянное сотрудничество какого-то коллектива литераторов и ученых, что еще лишний раз подчеркивает несостоятельность версии Кс. Полевого о возникновении М. Т., как единоличного предприятия его брата. Весьма возможно, что в данном случае Полевой рассчитывал на поддержку членов кружка Раича, разрыв с которым произошел у него уже после выработки программы журнала (см. ниже). Литературные заслуги Н. Полевого, которые давали ему право на занятия журналистикой, были указаны, как требовал того закон, в представлении попечителя московского учебного округа князя А. Оболенского, также отправленном к министру народного просвещения. «Курский 1-й [sic! Полевой был купцом 2-й гильдии. — В. О.] гильдии купец Николай Полевой», — писал Оболенский, — «желая с генваря месяца будущего 1825 года издавать здесь в Москве повременное сочинение, под названием: «Московский Телеграф», просит позволения на издание оногo. Касательно же участия своего объявляет, что, не оставляя купеческого звания, слушал он лекции в Московском университете в 1811 и 1812, также в 1820 и 1821 годах; из сочинений же его и переводов многие статьи помещены в «Вестнике Европы», «Сыне Отечества», «Северном Архиве», «Русском Вестнике», «Благонамеренном» и в Трудах Общества любителей российской словесности, к сотрудникам коего причислен он в 1822 году; а за рассуждение под названием: «Новый способ спряжения русских глаголов», в том же году представленное в императорскую Российскую академию, удостоен награждения серебряною медалью». Кн. Оболенский добавлял при этом, что Московский цензурный комитет «не находит со своей стороны никакого препятствия к изданию Московского Телеграфа» (см. М. И. Сухомятинов, *op. cit.*, стр. 376; также у П. Щербальского — «Материалы для истории русской цензуры», в «Беседах в ОЛРС», вып. III, 1871, стр. 45 — 46).

Успех, которым увенчалось предприятие Н. Полевого в Петербурге, естественно, окрылил нового журналиста и, по получении официального дозволения на издание М. Т., он опубликовал в № 87 «Московских ведомостей» (от 29 октября 1824 г.) пространное объявление, содержащее программу журнала и условия подписки на него. «Главным предметом оногo», — писал Полевой в объявлении, — «будет: сообщение отечественной публике всего, что только любопытного найдется в лучших иностранных журналах и новейших сочинениях европейских ученых и писателей, также всех новых опытов и открытий ума человеческого в науках, искусствах и нравственном мире. Но, чтобы Телеграф, оправдывая свое название, в з а и м н о п е р е д а в а л и з я щ н о е и п о л е з н о е, в нем помещаться будут статьи касательно русской истории, ста-

тики, древней словесности, критического обозрения нынешней русской литературы и вообще все, что покажет иностранцам Россию в истинном ее виде. Из сего можно видеть, что статьи в Телеграфе должны быть разнообразны». . . Заслуживает внимания, что в объявлении Полевой указал: «Многие известные русские поэты и прозаики обещали издателю украсить Телеграф своими сочинениями и переводами»; к тому времени Полевой уже заключил альянс с Вяземским (см. ниже) и рассчитывал на сотрудничество как самого Вяземского, так и его литературных друзей. На следующий день после появления своего журнального манифеста, Полевой писал П. П. Свиньину: «Вчерашний день, из 87 № «Московских ведомостей», вся Москва узнала о рождении, или лучше сказать, зачати Телеграфа. Спешу препроводить вам билет и покорно прошу напечатать прилагаемое объявление в Отечественных записках, — место же будущего сына полюбить, ибо он, право, будет малый не дурной и смиренный, будет гнать только невежество и глупость и постарается жить миролюбиво со всеми добрыми людьми» (см. П. Н. Полевой — «История русской словесности», т. III, 1900, стр. 196—197, факсимильное воспроизведение письма).

На следующих страницах Кс. Полевой касается вопроса об отношениях своего брата с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным до 1825 г., когда между ними вспыхнула ожесточенная литературная и конкурентная вражда, историю которой мы проследим ниже (см. стр. 398). В эпоху же, предшествовавшую рождению М. Т., Полевой действительно сотрудничал со своими будущими конкурентами и критиками. Н. И. Греч был в числе первых покровителей и наставников Н. Полевого; сохранилось его письмо к Полевому от 11 мая 1824 г., где Греч пишет: «Желательно бы мне было крайне увидеться с вами нынешним летом. . . Мы в две недели наработали бы кучу. Если случится вам приехать [в Петербург — В. О.], то остановитесь прямо у меня. . . Тут-то поработаем и поспорим» (Р. С., 1871, т. IV, стр. 677—678). Н. Полевой печатал свои статьи в журналах Греча и Булгарина, см., например: С. О., 1823, ч. 90, стр. 212—216; 1824, № 25, стр. 215—228; № 44, стр. 169—182 и № 45, стр. 212—225 (критика на книгу К. де-Лаво: «Guide du Voyageur à Moscou») и «Северный Архив», 1824, № 13—14, стр. 65—73 (критика на «Летопись Несторову», изд. проф. Тимковским); в этих журналах появились также объявления об издании М. Т. (С. О., 1824, № 45, стр. 237—240 и «Сев. Архив», 1824, № 20, стр. 103). — Эпизод с приглашением Н. Полевого в сотрудники «Северной Пчелы» изложен у Кс. Полевого верно. Письмо Булгарина, содержание которого Кс. Полевой излагает на стр. 153, — до нас не дошло; написано оно было 27 октября 1824 г. В разгар полемики с Булгариным и Гречем, в конце 1825 г., Н. Полевой печатно заявил, что Булгарин предлагал

ему «отступить» от мысли издавать собственный журнал, «снять вместе откуп журнальный» и «со всем жаром сердобольного участия пугал его затруднениями, сопряженными с званием издателя, уговаривая действовать лучше общими силами» (М. Т., 1825, ч. IV, стр. 176). В ответ на это Греч писал в открытом письме к Н. Полевому (от 18 ноября 1825 г.): «Вы говорите, что Ф. В. Булгарин (от 27 октября 1824 года) предлагал вам быть участником в издании наших журналов. Тут маленькая описка: вместо участником, надлежало бы сказать: сотрудником. Жалею, что должен оскорбить вашу скромность, но уверяю вас, что вы, при надлежащем присмотре, были бы нам весьма полезным и хорошим сотрудником... Знаете ли что? Мы и теперь повторяем сие предложение и можем вас уверить, что года в два успеем поправить вашу литературную репутацию» (С. О., 1825, ч. 104, стр. 193). Та оценка, которую дает этим закулисным переговорам Кс. Полевой, в значительной степени, конечно, продиктована его позднейшим отношением к Гречу и Булгарину (в эпоху 1850-х годов, когда писались «Записки», Кс. Полевой — вернейший друг и соратник издателей «Северной Пчелы»); попытки Кс. Полевого истолковать издание М. Т., как «несчастье всей жизни» своего брата, а также заверения его о непричастности к проекту Н. Полевого «знаменитых друзей» и об отсутствии материальной заинтересованности — нужно признать явно несостоятельными (ср. приведенный выше материал по истории организации М. Т.).

Далее Кс. Полевой несколько страниц посвящает А. Ф. Воейкову — одному из наиболее яростных противников М. Т. и его редактора (о полемике Воейкова с Н. Полевым см. ниже, стр. 402). Характеристика Воейкова в «Записках» Кс. Полевого хотя и пристрастна, но в общих чертах верна: все мемуаристы единодушно сходятся в оценке низких нравственных качеств Воейкова, «всем своим существом обязанного» (по словам Н. И. Греча) «несравненной своей, прекрасной, умной, образованной и добрейшей Александре Андреевне» (урожденной Протасовой), знаменитой «Светлане» — приятельнице Жуковского, А. И. Тургенева, Блудова, Дашкова, В. А. Перовского и других арзамасцев (сводку данных о Воейкове см. в комментариях к его «Дому сумасшедших», в нашей книге «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 505—545). — В 1820 г., по рекомендации В. А. Жуковского, Воейков стал издателем и соредактором Н. И. Греча по журналу С. О., причем в условиях, заключенном между ними, было оговорено, что в С. О. будут постоянно сотрудничать покровители Воейкова — Жуковский, Батюшков, Вяземский, В. Л. Пушкин, братья Тургеневы, Блудов и др. (см. Н. И. Греч — «Записки о моей жизни», 1930, стр. 640; письмо Воейкова к Гречу об условиях вступления в С. О. см. в Р. С., 1899, №12, стр. 601), Сотрудничество Воейкова в С. О. продолжалось недолго, до начала 1822 г., и, хотя обещанное им

содействие других литераторов было крайне незначительно, Воейков беспрестанно, в самых бестактных выражениях писал о своих «з не а м е н и т ы х д р у з ь я х» (см. Н. И. Греч, *op. cit.*, стр. 643—647). Страницы, посвященные Кс. Полевым Воейкову, дополняет его же пространная статья «Сатирик Воейков и современные воспоминания о нем», напечатанная в «Живописной русской библиотеке», 1859, т. IV, стр. 27—32 и 34—37 (в ответ на статью Е. Колбасина в «Современнике», 1859, № 1).

На стр. 155—156 Кс. Полевой рассказывает о литературном кружке С. Е. Раича, куда Н. Полевой был введен В. Ф. Одоевским (см. Н. Колюпанов — «Биография А. И. Кошелева, т. I, ч. 2, стр. 64). Кружок Раича образовался в начале 1823 г. (см. письмо М. П. Погодина к кн. Голицыной от 15 марта 1823 г. у Н. П. Барсукова — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. I, стр. 212), хотя толки об обществе начались еще в 1822 г. (см. М. Аронсон и С. Рейсер — «Кружки и салоны», 1929, стр. 63 и 266). В кружок входили: С. Е. Раич, В. И. Оболенский, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, В. П. Титов, В. Ф. Одоевский, Д. П. Ознобишин, А. И. Писарев, П. И. Колошин, Н. В. Путята, А. Н. Муравьев, В. П. Андросов, А. Ф. Томашевский, М. А. Максимович, А. М. Кубарев, А. И. Кошелев, А. С. Норов, Д. В. и А. В. Веневитиновы, Ф. И. Тютчев, В. К. Кюхельбекер; сам Раич называет также М. А. Дмитриева, С. Д. Полторацкого и А. А. Шаховского (см. его «Автобиографию» в «Рус. Библиофиле», 1913, № 8, стр. 28—29), а Н. В. Путята — Н. П. Крюкова (см. Р. А., 1876, т. II, стр. 357) и М. А. Дмитриев — П. В. Киреевского (см. «Моск. Ведомости», 1855, № 141 — «Воспоминания о С. Е. Раиче»). Н. Полевой вошел в кружок, повидимому, только в 1824 г. Погодин записал в своем дневнике под 23 января 1824 г.: «Познакомился с Полевым в обществе» (ср. также А. Н. Муравьев — «Знакомство с русскими поэтами», 1871, стр. 4—7).

Выше мы уже коснулись вопроса о плане организации журнала, родившемся в кружке Раича и подхваченном Н. Полевым. Кс. Полевой в своих «Записках» подчеркивает, что М. Т. был задуман его братом вне всякой связи с кружком Раича и что только по настоянию В. Ф. Одоевского он предложил кружку свой, уже готовый, план журнала. С еще большей резкостью (и неправдоподобием) подчеркивал это Кс. Полевой в статье, напечатанной в «Сев. Пчеле» (1856, № 182, стр. 925—926), где читаем: «Программа Телеграфа была напечатана, когда еще Н. А. и не знал о существовании общества Раича, по крайней мере, не знал, кто составлял это общество. . . Н. А. Полевой и не подумал бы искать сближения с этим обществом, если б не побудил его к тому человек, которого мнение он уважал» (т. е. В. Ф. Одоевский. — В. О.). Достаточно отметить, что программа М. Т. была опубликована в конце октября 1824 г., тогда как в обществе Раича Н. Полевой, по достоверным

данным, появился не позже января 1824 г., — чтобы убедиться в явной недобросовестности Кс. Полевого. Сколь тесны были связи Н. Полевого с кружком Раича (и в частности по вопросу об издании журнала) показывает письмо М. А. Максимовича, бывшего в курсе всех кружковых дел, к Н. Н. Похвисневу от 2 декабря 1824 г.: «Полевой с следующего года издает журнал под названием «Московский Телеграф». С ним соединилось общество молодых литераторов наших, или Раич со Компанией, о которых вы, я думаю, уже слышали» (Р. А., 1910, кн. III, стр. 676); а П. А. Вяземский в письме к А. С. Пушкину от 6 ноября 1824 г. также называл Раича товарищем Полевого по изданию журнала: «В Москве готовится новый журнал: Полевой и Раич главные издатели. Они люди честные и благонамеренные. Дай им чтонибудь на зубок» («Переписка Пушкина», изд. Академии наук, т. I, 1906, стр. 145—146). Окончательный разрыв между Раичем и Полевым произошел во всяком случае не раньше самого конца 1824 г.; см. в дневнике И. М. Снегирева запись от 7 января 1825 г.: «Раич... как сказывал, отстал от Полевого за его критики, коих он прежде не хотел помещать в своем журнале» («Дневник И. М. Снегирева», т. I, 1904, стр. 130).

Ироническая оценка, которую дает обществу Раича Кс. Полевой, — несправедлива: круг занятий общества был широк и разнообразен; там «читались и обсуждались, по законам эстетики, которая была в ходу, сочинения членов и переводы с греческого, латинского, персидского, арабского, английского, итальянского, немецкого и редко французского языков» (С. Е. Раич, «Автобиография» — «Рус. Библиофил», 1913, № 8, стр. 28—29); члены кружка переводили из Тита Ливия, Цицерона, Аста, Шатобриана, Шеллинга, Маккиавелли, Вернера, Фукидида, Платона, Вергилия, Окена; в начале 1823 г. кружок выпустил альманах «Новые Аониды», составленный из «образцовых сочинений» в стихах, заимствованных из различных журналов, альманахов и сборников; в литературной жизни 1820-х годов (1823—1825) кружок Раича сыграл довольно заметную роль (специального исследования заслуживает вопрос о преемственной связи с обществом Раича Веневитиновского кружка московских «любомудров»). Несовпадение журнальных проектов Н. Полевого и кружка Раича знаменует собою противоположность их социальных и эстетических установок; литературные мнения, сложившиеся в кружке, и самый круг его занятий — не могли удовлетворить Н. Полевого; чисто-литературному и философскому, отрешенному от боевых задач социальной современности, журналу (как он мыслился в Раичевском обществе), Полевой противопоставил свой проект организации принципиально боевого, публицистического и энциклопедического (а не узкого литературно-философского) органа. Разрывав в 1825 г. свои связи с Раичевским обществом и объявив подписку на М. Т., Полевой

тем самым запер дорогу общественному журналу (члены кружка перешли на издание альманахов — «Уrania», «Северная лира», «Денница» и др.). — Пародийная песня В. К. Кюхельбекера: «Раич, Раич, где ты был?», о которой упоминает Кс. Полевой в примечании, — нам неизвестна. Общество Раича прекратило свои собрания не позже апреля 1825 г. (см. «Рус. Библиофил», 1913, № 8, стр. 28).

Так как в дальнейших главах своих «Записок» Кс. Полевой больше не возвращается к С. Е. Раичу, скажем несколько слов о взаимоотношениях его с Н. Полевым после 1825 г. Вначале, несмотря на расхождение, Раич поддерживал с издателем М. Т., по-видимому, более или менее хорошие отношения, — во всяком случае еще в 1827 г. Полевой напечатал в своем журнале стихотворение Раича (см. ч. XIV, стр. 50), а в 1828 г. благосклонно отзывался о его переводе «Освобожденного Иерусалима» (см. ч. XIX, стр. 132—133). Положение резко изменилось в 1829 г., когда Раич приступил к изданию собственного журнала «Галатея» (Раич сам засвидетельствовал, что стал журналистом «не по призванию, а по обстоятельствам», — см. «Рус. Библиофил», 1913, № 8, стр. 29). Н. Полевой поместил в М. Т. (1828, ч. XXIII, стр. 483—485) ироническое известие о новом журнале, которое крайне болезненно было воспринято Раичем. Несмотря на то, что в программной статье «Галатеи» Раич заявил, что выступает на журнальное поприще «со всею скромностью» и будет «действовать в духе человека благонамеренного, желающего принести соотечественникам столько пользы, сколько позволяют силы», — «Галатея» прославилась из ряда вон выходящей по неприличию полемикой с М. Т.; кн. П. А. Вяземский с удивлением писал 7 апреля 1829 г. И. Н. Дмитриеву: «Не понимаю, как Раич мог унизиться до такой степени. «Галатея» его напоминает московских баб, торгующих на перекрестках гнилыми яблоками: тот же говор и те же ругательства. Мне не верится, что сам Раич — хозяин своего журнала: я ожидал бы от него более благопристойности и по характеру его, и по прежним мнениям об общей невежливости наших журналистов. . . Критики его более отзываются героем поэмы Василия Львовича [т. е. «Опасного соседа» В. Л. Пушкина. — В. О.], чем воспитанником Виргилия и Тасса, образовавшегося в школе Георгик и Освобожденного Иерусалима» (Р. А., 1868, стбц. 605). «Может ли что быть неприличнее печатной переписки издателей Телеграфа и Галатеи?» — спрашивал тот же Вяземский (см. Р. А., 1866, стбц. 1719). Полевой, попытавшийся сначала уклониться от полемики с «Галатеей», в конце концов не выдержал беспрестанных и грубых нападок Раича и ответил ему едва ли не менее резко: «Свой краткий век «Галатея» наполнила шумом, какого нельзя было ожидать от легкости крыл ее», — извещала журнальная хроника 1831 г. — «Она вливалась в «Телеграф» осеннею мухою и не

давала ему, как говорится, ни дня, ни ночи. Великан долго стоял, морщился, терпел и, наконец, стал отмахиваться» (см. «Молва», 1831, № 1, статья Н. И. Надеждина).

Полагая излишним подробно останавливаться на полемике «Галатеи» с М. Т., ограничимся некоторыми библиографическими указаниями: см. «Галатею» 1829 г., ч. I, стр. 211—217 (здесь сказано, между прочим, что М. Т. есть «в литературном и журнальном отношении — самое безобразное творение разгоряченной фантазии, не имеющее ни цели, ни плана, ни характера», где «досужая посредственность без помехи занимается литературными фокусами и каррикатурством современного просвещения»; статьи Н. Полевого Раич осудил за их «решительный тон, хвастовство ученостью, пусторечие, сбивчивость в мыслях, пристрастие и присвоение самоуправства»); ч. II, стр. 41—46; *Ibid.*, стр. 162—164 (здесь осуждены «пошлые замашки» «жалкого журнала» Полевого); *Ibid.*, стр. 168—169 (статья С. Т. Аксакова); *Ibid.*, стр. 261—266 и 267—273 (письмо к редактору кн. А. А. Шаховского, обидевшегося на Н. Полевого за резкие отзывы о его пьесах); ч. III, стр. 41—59; ч. IV, стр. 121—130 (здесь речь идет о «наглых нападках Полевого на людей, заслуживающих всеобщее уважение»); *Ibid.*, стр. 241—245; ч. V, стр. 41—45, 105—114, 161—166, 278—283; ч. VI, стр. 156—159 и 165—182 (здесь Раич прочитал Полевому такое нравоучение: «Я стал поперек дороги, на которой вы безнаказанно доселе подвизались; я не позволяю вам более тянуть русскую литературу замашками, несвойственными журналисту-литератору; я выставляю на показ ваше каррикатурство современного просвещения в М. Т. я говорю вам горькую правду в глаза и уже торжественно сорвал с вас мишурную мантию Полигистора, народного оратора, самоучки и публициста, в которой вы, с помощью приятелей и своего бесстыдства, взмостились было на рухлые подмостки, сооруженные вами в эпоху междуцарствия в нашей беззащитной литературе. Но время унять, г. Полевой! На все есть своя чреда и мера, и вам пора уже спуститься в литературе до той ничтожной точки, на которой неотъемлемо поставляют вас: ваше невежество, ваша заносчивость, ваша дерзкая самоуверенность и пошлые, не-литературные выходки»); *Ibid.*, стр. 229—245, 245—249, 297—299 (здесь прямой донос на Полевого: «пересмотрите большую часть номеров М. Т., и вы с ужасом увидите, как много посеял он зловердных плевел»); *Ibid.*, стр. 308—311; ч. VII, стр. 94—95; ч. VIII, стр. 97—100, 199—216, 217—218, 254—284 (статья Ю. Венелина); ч. IX, стр. 29—57 (продолжение статьи Венелина); *Ibid.*, стр. 110—118, 319—320. — Любопытно, что, не смотря на свою ненависть к Н. Полевому, Раич тем не менее заступился за его «купеческое звание» в ответ на насмешки кн. Шаликова в «Дамском Журнале» (см. «Галатея», ч. III, стр. 46

и ч. IV, стр. 129). — Когда в 1839 г. Раич возобновил издание своей «Галатеи», Н. Полевой снова приветствовал ее в весьма иронических выражениях (см. С. О., 1839, т. VIII, библиография, стр. 71—72).

Об А. И. Писареве и его полемике с Полевым см. в нашей книге «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 185—188; там же, на стр. 195—223, собраны эпиграммы и экспромты А. И. Писарева, а также перепечатана его пародия на «Певца во стане русских воинов» В. А. Жуковского, отрывки из которой приводит в тексте Кс. Полевой. Отзыв Н. Полевого о Писареве совпадает с оценкой его литературной деятельности, данной в некрологической заметке, появившейся после смерти Писарева в М. Т. (1828, ч. 22, стр. 291—293): «Грустно думать, что при отличном таланте своем, г-н Писарев не выполнил надежд, от ложного направления, какое давал он своим дарованиям... Он променял прочные лавры на мгновенный блеск театрального вызова». Ср. ниже, на стр. 414, сводку данных о полемике Писарева с Н. Полевым в годы издания М. Т.

В конце VI главы «Записок» Кс. Полевой пишет о кн. П. А. Вяземском и его отношении к М. Т. Выше уже была изложена версия Вяземского об истории организации «Телеграфа», дополним ее некоторыми новыми данными. В 1869 г. Вяземский в письме к М. П. Погодину, вспоминая время своей журнальной работы в М. Т., прямо и безоговорочно указывал: «Мысль о «Телеграфе» родилась в моем кабинете... Я был в полном смысле крестным отцом «Телеграфа», чуть ли не родным» (П. с. с. Вяземского, т. X, 1886, стр. 266) и еще более определенно: «От нечего делать, от безделья обязался я участвовать в «Телеграфе» и за участие брать с издателя половину барышей его... Я подбил сначала Полевого издавать журнал (письмо к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 20 ноября 1826 г., см. «Архив бр. Тургеневых», вып. VI, 1921, стр. 46). При этом следует учесть некоторые факты внешней биографии Вяземского, на которые указывает и Кс. Полевой, а именно: увольнение с государственной службы, в результате перлюстрации его переписки, и установление за ним негласного полицейского надзора. Вернувшись в 1821 г. в Москву, Вяземский всецело отдался литературным занятиям — и, несмотря на умеренность своего «варшавского либерализма», занял видное положение в среде либеральной дворянской фронды, отличавшейся довольно устойчивыми антиправительственными настроениями. Один из влиятельнейших представителей группы «литературных аристократов», Вяземский выступал застрельщиком в борьбе группы за гегемонию в литературной жизни эпохи. В 1824—1825 годах, в связи с явно-выраженными тенденциями реакционно-демократического крыла русской литературы (Булгарин, Греч) к организации «журнальной монополии» — прежние методы литератур-

ной борьбы, какими пользовались «аристократы» (эпиграмма, памфлет и т. д.), оказались недостаточными. Вяземский — передовой боец своей группы — учел необходимость перенести борьбу с болгаринской кликой в иную плоскость; вытесненный почти из всех современных журналов (за исключением «Дамского Журнала»), Вяземский настойчиво искал такое журнальное поле, которое мог бы назвать своим. Лишенный возможности, в силу своей политической репутации, получить право на издание собственного журнала, Вяземский поддержал Полевого в деле организации М. Т. и занял в нем первенствующее положение в качестве присяжного критика и фактического руководителя редакции. В автобиографическом введении к собранию своих сочинений Вяземский писал: «Журнальная деятельность была по мне... Иная книжка «Телеграфа» была наполовину наполнена мною, или материалами, которые сообщал я в журнал... Сначала медовые месяцы сожития моего с Полевым шли благополучно, работа кипела. Не было недостатка в досаде, зависти и брани прочих журналов. Все это было по мне; все подстрекало, подбивало меня. Я стоял на боевой стене, стрелял из всех орудий, партизанил, наездничал, и под собственным именем, и под разными заимствованными именами и буквами. Журнальный сыщик [псевдоним Вяземского — В. О.] все ловил на-лету». Первое время Н. Полевой находился всецело под влиянием Вяземского и даже переделывал собственные статьи по его указаниям, но уже в 1827 г. отношения между ними расстроились и вскоре Вяземский отказался от участия в М. Т. (см. ниже, стр. 452).

На стр. 159 Кс. Полевой говорит о нашумевшем в свое время послании Вяземского к М. Т. Каченовскому (появилось в С. О., 1821, ч. 67, стр. 76 и было перепечатано самим Каченовским в В. Е., 1821, ч. 116, № 2). Об обстоятельствах, сопровождавших появление этого послания в печати см. в нашей книге «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 348—350, где также перепечатаны и самое послание Вяземского и ответное «Послание к Птелинскому-Ульминскому», написанное в защиту Каченовского С. Т. Аксаковым (см. стр. 280—288, фамилия «Птелинский-Ульминский» расшифровывается следующим образом: πτελέα по-гречески, а ultus по-латыни значат «в я з»). Любопытно, что в этой поэтической полемике 1821 г. принял участие и Н. Полевой. В письме к А. И. Тургеневу (из Варшавы, от 20 марта 1821 г.) Вяземский спрашивал: «Читал ли ты послание ко мне какого-то Полевого, поэта и водочного продавца московского, о послании моем к Каченовскому? Оно прислано сюда Измайловым. Много легкости и свободы в стихосложении, но чорт знает, чего он от меня хочет! Мы с ним скорее сговорились бы на водке, чем на стихах. Между прочим говорит он:

Что за посланье! Нет начала, ни конца...



Вяземский

Поверь, как на море в дни страшной непогоды,
Так на твое теперь послание смотрю.

Впрочем, встречаются хорошие стихи и в особенности какая-то развязность, похожая на дарование» («Остафьевский архив», т. II, стр. 179—180). Ср. также в письме Вяземского к С. Д. Полторацкому (от 7 февраля 1845 г.): «А знаешь ли ты ответ Полевого на мое послание к Каченовскому, напечатанный в В. Е.? Вовсе не помню стихов, но помню, что они были замечательно глупы и дурны. Отыщи их для пополнения твоих библиографических редкостей» («Новь», 1885, т. III, № 9, стр. 91). Вяземский, по видимому, запомнил и смешал послание Полевого с посланием С. Т. Аксакова. Послание Н. Полевого в печати не появлялось; неполный автограф его хранится в архиве Академии наук СССР.

Смысл и содержание знаменитой полемики, разгоревшейся между П. А. Вяземским, с одной стороны, и «Вестником Европы» (персонально М. А. Дмитриевым и А. И. Писаревым), с другой, вокруг предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина, — полемики, выразившей с предельной четкостью литературно-теоретические споры 1820-х годов о романтизме и классицизме, — раскрыты Ю. Н. Тыняновым в статье «Архаисты и Пушкин» (см. его книгу «Архаисты и новаторы», 1929, стр. 145—147). Библиографическую справку по этому вопросу см. в нашем сборнике «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 183—184; там же, на стр. 191 и сл. приведены многочисленные эпиграммы, имеющие отношение к полемике.

Главу VII своих «Записок» Кс. Полевой посвятил М. Т. в первый год его существования. Огромный материал современной журналистики дает возможность широкого комментирования полемики, развернувшейся по всему фронту русской литературы второй половины 1820-х гг. тотчас же после выхода первой книжки М. Т. По условиям места мы, однако, вынуждены ограничиться самым сжатым комментарием, преимущественно библиографического характера. Успех М. Т. был несомненным: первые книжки журнала раскупались в течение нескольких дней и вскоре были переизданы «вторым тиснением» — факт небывалый в истории русской журналистики. Современники, равно и друзья и враги Н. Полевого, единогласно сошлись в мнении, что журнал его представлял собою «явление замечательное», как по широте своего диапазона, так и по принципиальности своей позиции. В. Г. Белинский, бывший еще живым свидетелем торжества Н. Полевого, с большой четкостью выразил эту точку зрения людей 1820-х гг.: «Московский Телеграф, — писал он, — был явлением необыкновенным, во всех отношениях. Человек, почти вовсе неизвестный в литературе, нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала, — и его журнал, с первой же книжки, изумляет всех

живостью, свежестию, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верною в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению. Такой журнал не мог бы не быть замеченным и в толпе хороших журналов, но среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой журналистики того времени, он был изумительным явлением. И с первой до последней книжки своей издавался он, в течение почти десяти лет, с тою постоянною заботливостию, с тем вниманием, с тем неослабеваемым стремлением к улучшению, которых источником может быть только призвание и страсть» («Н. А. Полевский», 1846, стр. 37).

Что касается «энциклопедического характера», которым, по словам Кс. Полевого, были отмечены уже первые книжки М. Т., то достаточно будет обратиться к программе журнала, чтобы убедиться в справедливости такого замечания. Н. Полевой открыл для русских читателей на страницах своего журнала подлинный заочный университет: в М. Т. печатались переводы с иностранных языков «во всех родах прозы изящной: повести, стихи и апологи, разговоры, описания, отрывки из новейших иностранных сочинений и журналов», новейшие произведения русских писателей в стихах и прозе, «исторические и археологические исследования о нравах, обычаях, памятниках всех народов, и особенно народов славянских, северных и азиатских, относительно к России: их языках, памятниках, летописях», извлечения и переводы из писателей греческих, скандинавских, восточных, славянских и вообще «из сочинений, признанных классическими и в России мало известных»; затем: «географические и статистические известия о России и описания различных многочисленных ее обитателей — лучшие статьи из ученых иностранных журналов, новые любопытные путешествия по всем частям света»: сочинения и переводы «касательно эстетики и теории изящных искусств»; критические исследования, относящиеся к русской истории, археологии, палеографии; выписки из древних русских сочинений — грамматы, старинные песни. «Непременными статьями «Телеграфа» были: критическое обозрение литературы о русской истории и обзоры «Rossica». Очень большое внимание уделялось критико-библиографическому отделу, куда относились: «библиографические известия о всех книгах и журналах в России выходящих, критический разбор новых русских сочинений и переводов по части изящной словесности, истории, географии и статистики»; сюда же относилось и «рассмотрение» географических карт, разных рисунков и музыкальных произведений, а также «известия о новых иностранных книгах и разбор замечательных произведений словесности французской, немецкой, английской и итальянской». Широко планировался отдел «Известия и смесь», куда входили известия о «новейших любопытных открытиях и изобретениях, археологических и исторических находках», биографии и некрологи знаменитых современников, хроника текущей политической,

научной, литературной и художественной жизни и проч. И, наконец, к М. Т. прилагалось специальное «Прибавление», особенно посвящаемое «читательницам «Телеграфа», где печатались «небольшие сочинения в стихах и прозе, новости не-политические, описания старинных и нынешних нравов и обычаев, московские записки, известия об иностранных театрах, концертах», и — *Finis coronat opus* — «Описания новых мод, с картинкою, хорошо гравированною и отлично раскрашенною» (см. объявление о выходе М. Т. в «Моск. Ведомостях», 1824, № 87). В дальнейшем Н. Полевой еще более расширил круг материала, представленного в М. Т., за счет появления некоторых новых отделов и реорганизации прежде существовавших (философия, политическая экономия, естествознание и точные науки, известия о промышленных открытиях, сатирические прибавления).

С приведенными выше данными небезынтересно сопоставить программную статью Н. Полевого «Письмо издателя к NN», выражающую *profession de foi* молодого журналиста. Здесь уже поставлены основные (в понимании Полевого), проблемы — учет вкусов и интересов массового читателя и принципиальность литературно-критических мнений редактора: «Журналиста не должно печалить разнообразие вкусов», — пишет Полевой. — «Пусть предположит он себе целью пользу и удовольствие читателей, трудится не из низкого расчета, но с ревностью благородною и журнал его должен полюбиться многим и не истлеть в пыли с неразрезанными листочками... Для изображения совершенного журнала вообразите зеркало, в котором отражается весь мир нравственный, политический и физический. Такой журнал едва ли не более многих книг принесет пользы... Главное: сыскать скользкую дорожку, которая вьется между излишнею важностью и ничтожною легкостью... Вообще можно пожелать, чтобы журналисты более пользовались важным преимуществом своим: представлять отчетные извлечения из всех книг, любопытных и важных, и уведомлять читателей обо всем, что слышно нового. Журналист — разнощик вестей... Вот почему я полагаю критику одним из важнейших отделений журнала — пусть только будет она умна, правдива, дельна. Присовокупите к тому избранные новости литературные, важнейшие новости в науках, искусствах и художествах, обзор всеобщего просвещения и умеете предлагать это не односторонно, разнообразно... Я поставил бы в обязанность русскому журналисту... важный подвиг: беспристрастный надзор за отечественной литературой. Обличение невежества, похвала уму и познаниям — его дело... Пусть поэты и прозаики наши летают во всех возможных направлениях умозрения и фантазии — журналист может и должен разбирать и ценить труды их, отделять репейник, быть посредником здравого смысла, чистого вкуса, изящного слога... Вот идеальное изображение цели и пользы журнала, издаваемого

для чтения общества, не отдельно для какогонибудь сословия читателей! . . .» (М. Т., 1825. № 1, стр. 1 — 17).

Столь категорическое заявление Н. Полевого о том, что он берет на себя роль литературного судьи, «уставщика», естественно, внесло тревогу в ряды московских и петербургских журналистов. Еще до появления первой книжки М. Т., — В. Ф. Одоевский высказал свою полную уверенность в том, что «предполагаемый г. Полевым европейский журнал . . . встретит много и много себе противников» («Мнемозина», ч. III, 1824, стр. 185). И, действительно, русские журналисты всех мастей и оттенков приняли Полевого в штыки; «конечно, никогда не было в нашей литературе, и особенно в журналистике, такого шума, какой поднялся в 1825 году при появлении Московского Телеграфа» (М. Н. Лонгинов).

В роли застрельщиков журнальной распри выступили Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин — руководители трех крупных журнальных предприятий того времени: «Сына Отечества», «Северного Архива» и новорожденной «Северной Пчелы». Нет смысла пересказывать здесь подробно историю полемики М. Т. с этими журналами: один перечень «критик» и «антикритик», сыпавшихся, как горох, с той и другой стороны, занял бы слишком много места. Достаточно сказать только, что полемика эта, небывалая по резкости тона и перешедшая границы самого элементарного приличия, продолжалась беспрерывно в течение двух с половиною лет. Причиной полемики послужила, конечно, не строгая рецензия Н. Полевого на сборник Ф. В. Булгарина «Русская Талия» (как пишет об этом Кс. Полевой на стр. 168; рецензия эта была напечатана без подписи в М. Т., 1825, № 2, стр. 162 — 171), причина лежала значительно глубже; борьба шла за гегемонию в литературной жизни, или — как говорили тогда — за журнальную монополию (недаром Греч и Булгарин поспешили предложить Полевому свою дружбу, как только узнали об организации М. Т.). Именно об этом писал — по прошествии многих лет — Греч, озабоченный собственной реабилитацией за счет запоздалого осуждения Булгарина (тогда уже покойника): «[Булгарин] ни с кем не умел ужиться, был очень подозрителен и щекотлив и, при первом слове, при первом намеке, бросался на того, кто казался ему противником, со всею силою злобы и мщенья. Так, например, произошла его вражда с Н. А. Полевым, продолжавшаяся несколько лет. Полевой начал свой «Телеграф» в одно время с «Пчелою». Уж этого было бы довольно, но он дерзнул упомянуть в своем объявлении, что странно отвергать переводы в журналах, а Булгарин именно говорил об этом в одной из своих программ. Вот и загорелась война. Признаюсь теперь, по истечении пятидесяти лет, что я мог бы в то время остановить Булгарина, но меня забавляла эта брань, к тому же я был товарищем Булгарина и считал обязанностью помогать ему в обороне, да и высокомерный и заносчивый

Полевой сам подавал к тому повод. В 1827 году сошлись мы с Полевым на обеде у П. П. Свинына, объяснились, и с тех пор оставались друзьями, но с Булгариным не обходилось без вспышек» («Записки о моей жизни», 1930, стр. 698). «Сев. Пчела», «С. О.» и «Сев. Архив» не только печатали регулярно статьи и заметки, изобличающие «самонадеянность и несправедливость», «резкий, решительный тон», «неосновательные сведения в науках», «дух партии и пристрастие к приговорам», «незнание русского языка и грамматики» Н. Полевого (см. «Сев. Архив» 1825, ч. IV, стр. 350), но и предоставили свои страницы всем авторам, имевшим какие-либо причины быть недовольными редактором М. Т. (так, например, в С. О. выступили: С. Усов, М. Карниолин-Пинский, Н. Щеглов, В. Ушаков и др. — см. ч. 100, стр. 80 — 86 и 183 — 203, а также обширное «Прибавление» к С. О., при чч. 103 и 104, целиком посвященное полемике с Н. Полевым). В №№ 80 и 82 «Сев. Пчелы» появились знаменитые в свое время «Письма бригадирши, или горе от Московского Телеграфа» (автором их, повидимому, был Ф. В. Булгарин), открывшие собою целую серию фельетонов и памфлетов, высмеивающих мелкие ошибки и промахи Полевого. Так, например, зло были высмеяны ошибки, допущенные Полевым в переводах имен французских рыцарей (в переводе «Истории герцогов бургундских» Баранта) и модного цвета: «Gris-poussière» (переведенного Полевым: «Грипусье»); отсюда прозвища: «Сир Барской» и «Грипусье», которыми наделяли Полевого не слишком разборчивые в средствах полемики его антагонисты (см. «Сев. Пчелу», 1825, №№ 116, 121, 126 и 132; также в нашей книге «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 346 — 347 и у М. Н. Лонгинова — «Сочинения», т. I, 1915, стр. 102 — 111). «Запальчивость» Булгарина доходила до того, что Н. Полевой, обруганный в «Сев. Пчеле» самым площадным образом, был назван однажды «общипанным заводчиком» (см. № 62 за 1825 г.).

С. О. в своих выступлениях против М. Т. старался сохранить некоторую «академичность» тона; если Булгарин в «Пчеле» отдавал явное предпочтение площадным остроумам и грубым издевательствам по адресу своего счастливого конкурента, то Греч в С. О. вел методический подсчет ошибок и недомолвок, выловленных из научных статей М. Т. В конце концов издатель С. О. решили собрать отдельно все статьи, направленные против Н. Полевого и разослать при журнале: получился довольно объемистый томик (до 200 страниц). Сверх того было издано еще «Особое прибавление к С. О.», где автор, скрывшийся под инициалами NN (Греч?), пытался в следующих выражениях объяснить позицию своего журнала в отношении Полевого: «Наблюдая в течение многих лет отечественную словесность, не помню, чтоб какой-либо писатель имел такое множество противников, как Г. Издатель «Московского Телеграфа»: хотя не он собственно начал нападения, но вызвал

на поприще многих противников диктаторским тоном, решительностью несправедливых приговоров и неосновательных замечаний, между тем, как он сам в первоначальных даже предметах книжного учения имеет слабые познания, не умеет владеть языком отечественным и не знает языков иностранных, с которых берется переводить, над произведениями коих произносит приговоры. . . Не упоминаю о вступлении к «Телеграфу» [т. е. о «Письме издателя к NN, в № 1-м М. Т. за 1825 г. — В. О.], в коем он выставил идеал совершенного журнала, с забавным самодовольством уверяет, что может выполнить все требования» (стр. 75). — В «Сев. Архиве» подвизался Ф. В. Булгарин, также обвинявший Полевого в «излишней самонадеянности» (см. № 3, стр. 289; также иностранную статью в № 16, стр. 348—363, кончающуюся грубым намеком на деятельность Полевого в качестве водочного заводчика: «Любя правду, отдаю вам справедливость в одном обстоятельстве. Г. Д. Р. К. [псевдоним Н. И. Греча — В. О.] сделал какое-то неудачное техническое сравнение журнала с кубом и спиртом; вы мастерски доказали его невежество в сих предметах»; см. там же, стр. 363—380, статью, подписанную Н. Гречем и Ф. Булгариным).

Переписка Н. Полевого с Н. И. Гречем, о которой сообщает Кс. Полевой на стр. 169 своих «Записок» — до нас не дошла. Дополнительные данные по этому вопросу содержатся в открытом письме Н. И. Греча к Н. Полевому от 18 ноября 1825 г.: «Милостивый Государь Н. А.! — В 20 книжке издаваемого вами М. Т., на стр. 407, вы изъявляете готовность свою напечатать выписки из двух моих писем к вам (от 3 февраля и 7 июня сего года). — Желая освободить вас от сей необходимости, пишу к вам третье письмо и печатаю оное. В нем намерен я изложить историю прежних писем, повторить сказанное в них, и дополнить оное пояснением некоторых, наступивших после того обстоятельств. — В начале июня сего года зашел я мимоходом в книжную лавку И. В. С. [Ленина], и увидел у него ваше к нему письмо с следующею припискою: «Неужели и . . . Греч принадлежит к числу моих врагов? Неужели и он вооружается против меня? После этого верь людям!» Я в ту-же минуту потребовал бумаги и пера, и написал к вам письмо, в коем сказал, что никогда не был вашим врагом, что не писал на вас ни строки, и писать не намерен, и в то-же время напомнил вам, что вы восставили на себя товарища моего, Ф. В. Булгарина, неуместно выходкою на его статьи о нравах в 1-й книжке «Телеграфа». — Письмо еще оканчивалось благодарением за лестный отзыв ваш о печатающейся грамматике моей, с шуточным вопросом, не начало ли это критики на мою книгу. . . Ответили-ль вы на это письмо? — Ни словом. — Но непосредственно за сим появилось в «Телеграфе» (в 11 книжке, вышедшей 15 июня) выходка на издателей «Северной Пчелы» с названным защитением Сея, а в 12-й (вышедшей 25 июня) замечание о дурных

повадках журналистов с указанием на 1824 год «Сына Отечества» [далее перечисляются нападки Полевого на Булгарина и Греча в 13 и 14 книжках М. Т. — В. О.]. — Я истинно уважаю вас за благородную вашу любовь к наукам и литературе, искренне хвалю почтенные ваши занятия, с удовольствием признаю отличные ваши способности и уверен, что если бы вы занялись исключительно каким-либо отдельным предметом по части наук, то могли бы принести отечественной словесности важную пользу и снискали бы себе почетное имя в истории нашего просвещения. Я никогда не был вашим врагом и противником, всегда был готов и ныне готов служить вам, чем могу, никогда не писал на вас, не отвечал на выходы ваши, касающиеся меня лично, но обязан был вступаться за товарища [т. е. Булгарина. — В. О.] и сотрудников моих, обязан был отражать несправедливые нападения на издания наши, обязан был давать место антикритикам — и впредь постараюсь исполнять сии обязанности. . . » и т. д. (С. О., 1825, ч. 104, стр. 186—189).

Н. Полевой был против воли втянут в полемику с Булгариним и Гречем, на этот счет имеются неопровержимые данные. См., напр., в письме П. А. Муханова к Ф. В. Булгарину от 16 февраля 1825 г.: «В бытность мою в Москве, Полевой познакомился со мною, — мы говорили о тебе, — и я знаю, что он совершенно хотел сохранить дружбу и мир с вами, как по доброму прежнему знакомству, так более из политики, из расчета, чтоб его не задела. Я знаю еще, что он много делает, чтобы усмирить гнев издателей «Мнемозины» [В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского — В. О.], ибо они сильно восстали на тебя, вооружились перьями и злыми намерениями, — и Полевой старался их унять» (Р. С., 1888, т. 60, стр. 591). Но, втянувшись в полемику, Полевой не уступал своим критикам в запальчивости тона. На болгаринские «Письма бригадирши» он ответил целой серией заметок «Матюши-журналуочки» и «Сидоренки» (см. М. Т., 1825, № 15, прибавление, стр. 287—290, 311 и др. Вообще же об антикритиках М. Т. 1825 г. см. ниже, стр. 411). Так или иначе, но 1825 — 1826 гг. прошли для Полевого под знаком борьбы преимущественно с Булгариним; в начале 1826 г. Булгарин писал М. П. Погодину: «Что Полевой? Утолил ли злобу свою против меня, или все еще пышет мстостью и бранью? Я для него служу фокусом, в котором сосредоточиваются все лучи его гнева и злобы противу целого мира!» (Н. П. Барсуков — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 10).

О взаимоотношениях Н. Полевого с издателями В. Е., «Дамского Журнала» и «Благонамеренного» — М. Т. Каченовским, кн. П. И. Шаликовым и А. Е. Измайловым — скажем мы в своем месте. Отметим здесь только, что упоминаемая Кс. Полевым на стр. 170 «площадная» выходка Каченовского относительно «Телеграфа, поднятого под храмом Бахуса» — содержится в полемической заметке, напечатанной в В. Е., 1825, № 11, стр. 72 (см. также

известие о «литераторах водочного завода Москвы белокаменной» — Ibid., № 10, стр. 152).

Здесь же коснемся вопроса о полемике А. Ф. Воейкома с М. Т., поскольку Кс. Полевой на дальнейших страницах своих «Записок» не уделяет ей никакого внимания. Знакомство Н. Полевого с Воейковым восходит, повидимому, еще к началу 1820-х годов; в 1823 г. Воейков напечатал в своем журнале «Новости Литературы» (кн. III, стр. 109—112) стихотворение Полевого «Курганы», снабдив его следующим примечанием: «Сочинитель сих прекрасных стихов известен уже публике, как ученый любитель отечественного языка и словесности. Благонамеренные труды его удостоились весьма лестного одобрения со стороны Российской императорской Академии. Нам приятно было узнать, что с обширными и основательными сведениями соединяет он счастливый талант к Поэзии». Тесно связанный с кн. П. А. Вяземским, Воейков приветствовал появление М. Т. и в течение первых трех лет его существования не выступал против Н. Полевого. Но мир с Воейковым, естественно, не мог быть ни прочным, ни долгим. Воейков — завзятый полемист и интриган — воспринял журнальные успехи Н. Полевого как личную обиду; к тому же издатель М. Т. вовсе не проявлял к нему особенного уважения. С 1828 г. Воейков ведет против Полевого ожесточеннейшую и непрерывную войну; отход от М. Т. кн. П. А. Вяземского еще более способствовал разгару этой войны. Уже в самом начале 1825 г. П. Муханов сообщил Ф. В. Булгарину: «Напрасно ты думаешь, что Полевой с Воейковым в дружбе. Я знаю, что в «Телеграфе» будет даже статья «Литературный Макар» на Оленина и на него» (Р. С., 1888, т. 60, стр. 592; статьи этой в М. Т. не появлялось). Так или иначе, но мир между Полевым и Воейковым поддерживался, хотя и с трудом, до конца 1827 г. Сохранилось письмо Воейкова к Полевому от 3 января 1827 г., где Воейков, в обычной для него льстивой манере, называя Полевого «человеком благородным, беспристрастным и милосердным», просил «замолвить пару добрых слов» в М. Т. о его газете «Русский Инвалид», причем прибегал, как всегда, к афишированию родственных и литературных связей своей жены: «Если я не имею права на ваше сострадание, то жена моя, родная племянница Карамзина и Жуковского, то ребятишки мои — родные внуки великого нашего историографа и славного песнопевца, имеют право полное на ваше пособие» (Р. С., 1896, № 6, стр. 555—556). В самом конце 1827 г. Полевой похвалил журнал Воейкова «Славянин» («он очень исправно издается и хорошо печатается, но что важнее, заслуживает внимание публики по своему внутреннему достоинству») и предвещал ему «полный успех» (см. М. Т., 1827, ч. XIV, стр. 77—79); следует заметить, что Воейкова с Полевым сблизала в 1825—1827 гг. общность отношения к «Северной Пчеле» и «Сыну Отече-

ства». В 1828 г., когда Полевой заключил мир с Булгариным и Гре-чем (см. ниже) — положение резко изменилось. Воейков завел в своем «Славянине» специальный отдел: «Хамелеонистика», где из номера в номер преследовал Полевого мелкими привязками по методу непрерывной атаки. Полевой неохотно отвечал Вейкому, заявив, что он «не узнает переводчика «Садов», сочинителя остроумных сатир, бывшего обожателя «Телеграфа», в новых его стихах, «Хамелеонистике» и критических статейках на «Телеграф», которому столько-же вреда могут причинить осуждения г-на Воейкова, сколько пользы приносили прежде неумеренные его похвалы» (М. Т., 1828, ч. 20, стр. 232—233).

Нет смысла цитировать бесчисленные статьи и фельетоны Воейкова, направленные против Н. Полевого; ограничимся тем, что укажем их библиографию: см. «Славянин», 1828, ч. VI, № 25, стр. 471—474 (ответ на отзыв Полевого о Воейкове как о «худом писателе и плохом критике», появившийся в М. Т., 1828, № 5); Ibid., № 26, стр. 510—514; ч. VI, № 28, стр. 68—72 («Прелиминарные статьи мира между издателями С. О., и «Сев. Архива», «Сев. Пчелы» и «Детского Собеседника» и издателем М. Т., с замечаниями постороннего дипломата»); Ibid., № 30, стр. 147—148 (памфлет в форме объявления о якобы выходящей в свет книге: «Правила языка славянского, почерпнутые из языка санскритского, родоначальника языка славянского, соч. Н. А. Полевого, с эпиграфом: «ученый многолетний труд Добровского основан на песке, исследования Н. Полевого — на граните»); Ibid., № 31, стр. 188—190 и № 32, стр. 221—224; № 33, стр. 261—270 (памфлет: «Матюша-журналучка») и № 35, стр. 345—354 («Варлаша — юрист», против статей и рецензий Н. Полевого по вопросам юриспруденции и русского законодательства); Ibid., № 36, стр. 382—394 (статья П. М. Строева — «Prospectus», где Н. Полевой назван «шарлатаном, ученым самозванцем, спекулянт-меркантилистом и мистификатором»); ч. VIII, № 40, стр. 35—36; Ibid., № 41, стр. 491—494 (злейший памфлет: «Объявление об новом журнале под заглавием: «Шарлатан, или один за двадцатерых», подписанное: «Издатель Пройдоха Выручкин, неслужащий дворянин, Homme de Lettres»; перепечатан в сб. «Пушкин и его современники», вып. II, 1904, стр. 32—49; Ibid., № 42, стр. 108—109 («Нечто об изданиях Английских журналов: «Лондонский Трутень» [т. е. «Сев. Пчела», — В. О.] и «Бомбайская Каланча» [т. е. М. Т. — В. О.]; здесь — грубые издательские намеки на водочный завод Полевого: «куб бумагомарания, в коем перегоняет он слова, как спирт, посредством паров санскритского языка, и сливая в бочку массивных наречий, закупоривает их изобретенною им мастикой шарлатанизма, а потом ставит эту подмесь в темный подвал невежества»); Ibid., стр. 110—116 («Что сделалось с издателем М. Т.» — исчисление мелких ошибок

и незначительных промахов Н. Полевого, продолжение см. в № 45, стр. 239—244, № 48, стр. 368—370 и № 50, стр. 432—435); 1829, ч. IX, № 5—6, стр. 202—208 («Бомбайская журналистика», подписано: Николай Лесной); Ibid., № 10, стр. 341—344; Ibid., № 12, стр. 424—426 («Два слова об изъявленной издателем М. Т. Полевым совершенной благодарности статскому советнику Жуковскому и коллежскому советнику кн. Вяземскому»; ср. М. Т., 1828, № 24, стр. 514); ч. X, № 23—24, стр. 281; Ibid., № 24—25, стр. 388—404 («Венок, сплетенный бригадиршею из журнальных листов для издателя М. Т.» — перепечатка всех наиболее резких критик на Н. Полевого, появившихся в 1825—1828 гг. за подписями: Каченовского, М. А. Дмитриева, Пилада Белугина [псевдоним А. И. Писарева — В. О.], Греча, О. М. Сомова, Булгарина, П. С. Усова, Погодина, Шевырева, П. М. Строева, Шаликова, В. П. Андроссова, А. Е. Измайлова и др.; продолжение см. № 26, стр. 436—444 и ч. XI, № 27—28, стр. 53—64); ч. XI, стр. 375 (здесь, в примечании, сказано, что Полевою обязан кн. П. А. Вяземскому «всею славою, всем сбытом своего «Телеграфа»); Ibid., стр. 444—445; ч. XII, № 40—41, стр. 90—91; Ibid., № 46—47 («Русская пословица: не в свои сани садиться не надобно»); Ibid., № 48—49, стр. 375—394 («Мои мысли о критике сочинителя Истории русского народа на Историю Государства Российского» — статья, вероятно, С. В. Руссова, с примечаниями А. Ф. Воейкова; см. ответ Полевого в М. Т., 1829, № 24 и «ответ на ответ» Воейкова в «Славянине», 1830, ч. XII, № 2—3, стр. 155—156); 1830, ч. XIV, № 10, стр. 775 («басня» В. Маркова); Ibid., № 11, стр. 842 («Цветок», басня С[иянова]; ч. XV, № 14, стр. 156; Ibid., № 16, стр. 334 и № 19, стр. 85—87; ч. XVI, № 20, стр. 163—177.

Иные полемические выходки Воейкова против Полевого не пропускались в печать цензурой; такова, например, следующая заметка, сохранившаяся в бумагах Воейкова (ГПБ): «Мнение С. Петербургского мещанина Василия Михеева. — Московское купечество избрало от себя депутатов, дабы принести к стопам государя императора глубочайшую свою благодарность за новые права и преимущества, дарованные его величеством. — В числе депутатов находится, говорят, купец 2-ой гильдии Николай Алексеев Полевой [ср. стр. 452 наст. изд. — В. О.]. Выбор сей показался нам не только несправедливым, но и весьма неприличным. — Николай Алексеев Полевой не есть отнюдь почетное лицо в сословии Российского купечества, никаким торговым полезным предприятием неизвестен, а известен только изданием, и то весьма неисправным, одного журнала мод и всякой всячины. Если же литературные предприятия в числе торговых почестя могут, и в сем отношении Николай Алексеев никакого уважения недостоин; ибо он оказался злоумышленно несостоятельным. Обещавшись поставить в течении 1830-го года

12 томов им так называемой Истории русского народа, и собрав под-
писку с оплошных покупателей, купец Полевой по сие время издал
только 3 тома, а о прочих 9-ти и ухом не ведет [см. стр. 450 наст.
изд. — В. О.]. — Хоть ему сие, по добродушию господ подписчи-
ков, и сошло с рук, но тем не менее таковое мошенничество соде-
лывает его недостойным предстать пред лице отца-государя из-
бранным депутатом от такого сословия, в коем честность есть не
только достоинство похвальное, но самое необходимое. — Он же,
купец Полевой, был людьми покойного князя Николая Борисовича
Юсупова за пасквили бит [см. стр. 433 наст. изд. — В. О.], а би-
того мещанина посылать благодарить его императорское величе-
ство за избавление граждан от телесного наказания, — неприлично».

В 1831—1832 гг. Воейков продолжал нападать на Полевого в
«Русском Инвалиде» и «Литературных прибавлениях к Русскому
Инвалиду» (см., напр., 1832, № 18) и преследовал его вплоть до
своей смерти; в 1836 г. он писал, по поводу критических высту-
плений В. Г. Белинского: «Этот юноша вздоен кипучим млеком
Н. А. Полевого, наделавшего в девятилетнее издание своего «Те-
леграфа» столько, столько вреда нашей словесности, что в 50 лет
50 здраво и основательно мыслящих писателей не вознаградят
этого» («Литературные прибавления», 1836, № 66). Впрочем, в
1837—1838 гг. Воейков и Полевой обменялись письмами (по во-
просу об участии Полевого в «Сборнике», изданном Воейковым в
1838 г.); письма эти не опубликованы (ГПБ). Живописный рас-
сказ о «примирении» Воейкова с Полевым в 1837 г. см. в «Лите-
ратурных воспоминаниях» И. И. Панаева, изд. 1928 г., стр. 119,
123—124. — Памятником своего истинного отношения к Н. Полевому
Воейков оставил две знаменитых строфы в «Доме сумасшедших»:

Вот в порожней бочке винной ;
Целовальник Полевой —
И бесштаный и бесчинный...
Сталось что с его башкой?
Спесь с корыстью в ней столкнулись,
И от натиска того —
Ум и сердце повернулись
Вверх ногами у него.

Самохвал, завистник жалкой,
Надувало ремеслом,
Битый Рюриковой палкой
И Санскритским батожьем...
Подл, как раб, — надут, как барин,
Он, чтоб вкратце кончить речь,
Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч.

Письмо И. И. Дмитриева, о котором упоминает Кс. Полевой на
стр. 171 — до нас не дошло, но известно письмо Дмитриева
к П. П. Свиныну (от января 1825 г.), где он называет план

М. Т. — «прекрасным» и отмечает кое-какие мелкие неисправности (см. «Сочинения» И. И. Дмитриева, 1893, т. II, стр. 289). В другом письме к Свиньину (от 28 февраля 1825 г.). Дмитриев похвалил Полевого: «Он умен и умом авторским, только еще не обтерся и не ознакомился с приличиями света» (Р. С., 1897, № 12, стр. 538). И даже впоследствии, когда Дмитриев примкнул к антагонистам Полевого из лагеря «литературных аристократов», он отзывался о М. Т. попрежнему благожелательно: «Не говоря о причинах, по которым я не могу быть к П[олево] привязан, ни об его начальстве и о способе изложения, совестливо скажу, что он один только у нас имел дар привлекать к своему журналу всеобщим участием и занимательностью в выборе статей журнальных» (письмо к Свиньину 1836 г., см. «Сочинения», 1893, т. II, стр. 327).

Вслед за тем Кс. Полевой упоминает (на стр. 172—174) о сотрудничестве А. С. Пушкина в М. Т. История взаимоотношений Пушкина и Н. Полевого заслуживает специального и подробного рассмотрения. Оставляя за собой право сделать это в другом месте, мы ограничимся в настоящей книге необходимыми разъяснениями к рассказу Кс. Полевого (см. также ниже, стр. 422, 458 и 484). Приступив в конце 1824 г. к изданию М. Т., Н. Полевой естественно озаботился привлечением Пушкина к постоянному сотрудничеству в своем журнале. Переговоры велись, преимущественно, при посредничестве кн. П. А. Вяземского; утверждение Кс. Полевого, что Пушкин прислал в М. Т. свои статьи «без всякого посредничества» — неверно. Вяземский усердно зазывал Пушкина в М. Т. (см., напр., его письмо к Пушкину от 6 ноября 1824 г.) и еще в конце 1824 г. получил несколько стихотворений для помещения в журнал Полевого. 25 января 1825 г. Пушкин спрашивал Вяземского: «Прочел я в «Инвалиде» объявление о Телеграфе. Что там моего? Море или телега?» (см. Пушкин — «Письма», т. I, 1926, стр. 113); справляется он о М. Т. и в следующих письмах от 28 января и 19 февраля (Ibid., стр. 116—118). Стихотворный отдел М. Т. открылся стихотворением Пушкина «Телега жизни», напечатанным с переделками Вяземского, убравшего «русский титул» из последней строфы (см. М. Т., 1825, № 1, стр. 49). В первые месяцы 1825 г. Пушкин проявляет в высшей степени заинтересованное отношение к Н. Полевому и готов поддержать его журнал: «Я Телеграфом очень доволен и мышлю или мыслю поддержать его. Скажи это и Ж[уковскому]», — пишет он 27 марта 1825 г. брату Льву Сергеевичу («Письма», т. I, стр. 125). Тогда же, повидимому, Полевой обратился (через С. А. Соболевского) к Льву Пушкину, заведывавшему издательскими делами брата, с предложением заключить условие, по которому все новые произведения Пушкина должны были появляться исключительно в М. Т. — Лев Пушкин не счет возможным согласиться на это предложение и отвечал Соболевскому: «Растолкуй Полевому сле-

дующее: я не могу и даже мне не выгодно его предложение насчет пьес брата. Сделавши с ним предварительное условие, я обязываюсь ему ежемесячно доставлять пьесы брата; не всегда пьесы под рукою; к тому я, продавая их другим журналистам, получаю 10 и более рублей за стих; вся годовая сумма Полевого равняется с платой, которую предлагает мне Аладьин [издатель «Невского Альманаха» — В. О.] за одну пьесу брата. Вот мои невыгоды; невыгоды же Полевого в том, что он будет платить за стихи, которые теперь, хотя не регулярно и не ежемесячно, но будет получать даром. Брат решился сколько можно поддержать в ать Телеграф. Наконец, решительный мой отказ, на который нет возражений, имеет причину то, что у брата мелких пьес мало, а у меня в моем распоряжении их вовсе нет» (Р. А., 1878, кн. III, стр. 397).

Так или иначе, но у Полевого налаживались с Пушкиным близкие и прочные отношения. С первой же книжки М. Т. заявил себя почитателем пушкинской поэзии; в статье Н. Полевого «Обозрение русской словесности» (М. Т., 1825, № 1, стр. 85 — 86) был расхвален «бессомненный великий талант» Пушкина, «другого, а не второго» — после Жуковского — русского поэта; в мартовской же книжке М. Т. появилась восторженная рецензия на I главу «Евгения Онегина» (№ 5, стр. 43 — 51). Однажды только Пушкин выразил свое неудовольствие по поводу появления в «Невском альманахе» на 1825 г. (стр. 106 — 112) стихотворной пародии Полевого («Элегия») на «Сельское кладбище» Грея в переводе Жуковского (впрочем, Полевой объявил, что эта «давно забытая им вздорная пародия» появилась в «Невском альманахе» «без его ведома и дозволения», — см. М. Т., 1825, № 4, стр. 338 — 339); в середине апреля Пушкин писал Вяземскому: «Я было на Полевого очень ошетинился за Невск[ий] альм[анах] и за пародию Жук[овского]. Но теперь с ним примирился. Я даже такого мнения, что должно непременно поддержать его журнал. Хочешь? Я согласен» («Письма», т. I, стр. 129). 25 мая Пушкин в письме к Вяземскому снова возвращается к вопросу о сотрудничестве в М. Т.: «Ты вызываешься сосводничать мне Полевого. Дело в том, что я рад помогать ему, а условий верно никаких не выполню — следств[енно] и денег его мне не надобно. Да ты смотри за ним — ради бога! и ему случается завираться... (Ibid., стр. 132; далее Пушкин приводит ряд ошибок Полевого, обнаруженных в статьях М. Т.).

Между тем, в № 3 М. Т. (стр. 215), за подписью «А. П.», появилась пушкинская эпиграмма «Журнальным приятелям» («Враги мои, покамест я ни слова»), которую приводит в своем тексте Кс. Полевой. Пушкин прислал эту эпиграмму П. А. Вяземскому 25 января 1825 г. с просьбой «напечатать гденибудь». Вяземский отдал ее в М. Т., самовольно изменив заглавие (у Пуш-

кина оно называлось просто: «*Приятелям*»). Пушкин остался доволен такой переменою и по его просьбе Ф. В. Булгарин объявил в «*Сев. Пчеле*» (1825, № 52) об «опечатке» М. Т. (см. оправдание Полевого в М. Т., 1825, № 9, стр. 153). Вяземский по поводу этого объявления писал Пушкину (7 июня): «Охота тебе было печатать une réclamation на Телеграфа [т. е. Н. А. Полевого — В. О.] у подлеца Булгарина! Телеграф очень огорчился, а виноват был во всем я. Мне казалось, осторожнее прибавить журн аль н ы м, потому что у тебя приятелей много и могли бы попасть не в попад. Надобно совершенно разорвать с петербургскими журналистами. Вот тебе письмо от Телеграфа. Давай ему стихов и скажи чего хочешь, только не дорожись и не плутуй. Я буду вашим сводником» («*Переписка Пушкина*», изд. Ак. наук, т. I, стр. 229; письмо Полевого к Пушкину, о котором сообщает Вяземский — не сохранилось). Когда эпиграмма «*Журнальным приятелям*» появилась в М. Т. — издатель «*Благонамеренного*» А. Е. Измайлов, легко разгадавший ее автора, напечатал в своем журнале (1825, ч. XXX, стр. 173) заметку, где писал, между прочим: «Страшно, очень страшно. Более же всего напугало меня то, что у господина сочинителя есть когти!.. Сколько вкуса к чувствительности! Пришлось похвалить! Долго-ли до истории?» Узнав об обиде Полевого, Пушкин писал Вяземскому (в начале июля 1825 г.): «Я послал в Пчелу, а не в Тел[еграф] мою О п е ч а т к у, потому что в Москву почта идет несносно долго; Полевой напрасно огорчился...» («*Письма*», т. I, стр. 139); тогда же он переслал Полевому новую эпиграмму «*Ex ungue leonem*», которую также приводит в тексте Кс. Полевой (появилась она в М. Т., 1825, № 13, стр. 43, за подписью «А. П.»).

Что же касается просьбы Вяземского о постоянном сотрудничестве в М. Т., Пушкин отвечал на нее следующим образом: «Если ему [т. е. Полевому — В. О.] нужны стихи мои, то пошли ему, что тебе попадет (кроме Онегина), если же мое имя, как сотрудника, то не соглашусь из благородной гордости, т. е. амбиции: Телеграф человек порядочный и честный, но враль и невежда; а вранье и невежество журнала делится между его издателями; в часть эту входить не намерен» («*Письма*», т. I, стр. 138 — 139). Вслед затем Пушкин писал к самому Полевому: «Виноват перед вами, долго не отвечал на ваше письмо, хлопоты всякого рода не давали мне покоя ни на минуту. Также не благодарил я вас еще за присылку Телеграфа и за удовольствие, мне доставленное вами в моем уединении [Пушкин был тогда еще в Михайловском в ссылке — В. О.] — это непростительно. — Радуюсь, что стихи мои могут пригодиться вашему журналу (конечно лучшему из всех наших Журналов). Я писал К[нязю] Вяземскому, чтоб он потрудился вам их доставить. У него много моих бредней. Надеюсь на вашу снисходительность и желаю, чтоб они понравились

нашей публике» («Письма», т. I, стр. 149; Н. Полевой получил это письмо 15 августа). Конечно, это письмо имеет в виду Кс. Полевой, ошибочно датирующий его началом лета 1825 г. (см. текст, стр. 172).

Между тем Пушкин все больше и больше сомневался в редакторских способностях Полевого: «Сей час прочел Анти-критику Полевого», — писал он Вяземскому 10 августа — «Нет, мой милый. Не то и не так! — Разбор новой пиитики басен — вот критика. Когда-то мы возьмемся за журнал! Мочи нет хочется, а покаместь смотри хоть за Полевым» («Письма», т. I, стр. 151; «Анти-критика Полевого» — статья «К читателям Телеграфа», помещенная на стр. 1 — 17 «Прибавления» к № 1-му М. Т. в ответ на нападения «Сев. Пчелы»; «Разбор новой пиитики басен» — статья Вяземского в М. Т., 1825, № 44). Пушкину был нужен свой журнал (он беспрестанно возвращается к мысли об организации собственного журнального предприятия в письмах к Вяземскому 1825 г.; см. также письмо к А. А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г.); на М. Т. смотрел он, как на паллиатив, и настоятельно требовал от Вяземского постоянного, бдительного надзора за журналом, своего рода внутренней, кружковой цензуры. Достичь этого, как мы увидим ниже, Пушкину и Вяземскому не удалось. Вяземский, в свою очередь, учитывал опасения Пушкина, но продолжал склонять его к сотрудничеству в «Телеграфе»; в ответ на письмо Пушкина от 10 августа он писал: «Дай же что-нибудь в Телеграф, ты все говоришь, что нужно его поддерживать. Кому же как не тебе? Ты можешь придать ему сто процентов дюжиною стихотворений в год, а там и мне веселее будет надсматривать за ним. Охота-ли лезть в омут одному!» («Переписка Пушкина», изд. Ак. наук, т. I, стр. 283). А отзывы Пушкина о Полевом становились все более суровыми: «Мы с тобою толкуем лишь о Полевом, да о Булгарине, — а они несносны и в бумажном переплете. . .», «Как мне жаль, что Полевой пустился без тебя в антикритику! Он длинен и скучен, педант и невежда — ради бога, надень на него строгой муштук и выезжай его на досуге. Будут и стихи, но погоди немного» («Письма», т. I, стр. 159 — 160 и 163, от сентября 1825 г.). Участие Пушкина в делах М. Т. ограничивались больше одними обещаниями прислать стихи, а когда, в середине октября, Полевой получил, наконец, от Пушкина письмо (до нас не дошедшее), уполномочивающее его взять у Вяземского «стихов мелких», — Вяземский писал Пушкину: «Я все боюсь, потому что ты превздорный на этот счет. Того и смотри, что рассердишься после, моя капризная рожица» («Переписка», стр. 304 — 305). — Пушкин так и не сошелся с Полевым; его сотрудничество в М. Т. 1825 г. выразилось в напечатании четырех стихотворений (кроме «Телеги жизни» и двух эпиграмм, в М. Т. появились еще: «Стихи в альбом» — № 17, стр. 37 и «Цыганская песня» — № 21,

стр. 69) и двух прозических статей: «О г-же Сталь и Г. А. М[ухано]ве» (№ 12, стр. 155 — 259), под псевдонимом: Ст[арый]. Ар [замасец] и «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова (№ 17, стр. 40—46. подпись «Н. К.»), 27 мая 1826 г.

Пушкин писал Вяземскому: «Пора бы нам отослать и Булгарина, и Благонамеренного, и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а, ей богу, когданибудь примусь за журнал!» («Письма», т. II, 1928, стр. 12). Осенью того же 1826 г. Пушкин приехал в Москву и отношения его с Полевым вступили в новую фазу (см. ниже).

Об участии в М. Т. кн. П. А. Вяземского, к которому снова возвращается Кс. Полевой на стр. 174 — сказано выше. Добавим здесь только, что Вяземский действительно был в первые годы издания М. Т. ближайшим и неперменным сотрудником Н. Полевого. Он служил ему своими стихотворениями, критическими статьями и, главным образом, полемическими фельетонами. Большинство статей и фельетонов Вяземского в М. Т. подписано вседонимами, главнейшие из которых: А с м о д е й (также: А с. и А.), Г. Р.-К и Ж у р н а л ь н ы й с ы щ и к. Первый из этих псевдонимов служил прозвищем Вяземского в Арзамасском обществе. Огносительно второго сам Вяземский сообщил следующее: «В Телеграфе подписывал я иногда статьи мои этими тремя буквами, чтобы сбивать с толку московских читателей. Эта подпись должна была означать приятеля моего Григория [Александровича] Римского-Корсакова, очень всем в Москве известного» (см. Вяземский, П. с. с., т. I, стр. 258; о Г. А. Римском-Корсакове см. наши примечания к «Полному собранию стихотворений Дениса Давыдова», 1933, стр. 276 и в книге М. О. Гершензона — «Грибоедовская Москва», 1914). Этими инициалами Вяземский обычно подписывал свои «Письма из Парижа», о которых автор сообщил много лет спустя следующее: «[Они] писаны просто в Москве. Участвуя в Телеграфе, хотел я придать этому журналу разнообразие и, так сказать, движение жизни, которого лишены были тогдашние журналы наши. Я получал много французских газет, имел в Париже двух-трех приятелей, с которыми переписывался и которые передавали мне все свежие новости [имеются в виду Я. Н. Толстой и А. И. Тургенев — В. О.]; из всего этого составлял я свои подложные письма, которые в то время читались с живым любопытством» (Ibid., стр. 222). Под третьим псевдонимом «Журнальный сыщик» Вяземский выступал преимущественно в роли полемиста. Об этом псевдониме встречается уже упоминание в письме Вяземского (к А. Ф. Воейкову, повидимому) от 25 февраля 1824 г.: «Может быть со временем буду присылать тебе изрядные статьи под названием: С ы щ и к, в коих буду выводить на свежую воду наши глупости журнальные, нравственные и проч., и проч.» (см. «Соч. кн. П. П. Вяземского», 1893, стр. 496 — 497). Фельетоны «Журнального сыщика» пользовались в свое время очень большим успе-

хом, и по словам самого Вяземского, вызвали «контрафакции, подделки. Сам издатель Телеграфа, или другие, тайные по особым поручениям чиновники его, подписывались под мою руку». Вяземский писал даже, что «подобные мелкие журнальные неприятности» были одной из причин, «побудивших его совершенно отстраниться от всякого участия в Телеграфе» (см. П. с. с., т. I, стр. 259); Вяземский простился, как «Журнальный сыщик» с читателями М. Т. в 1827 г. (в статье «Обозрение русских газет и журналов», — см. ч. XVIII, стр. 193 — 195). Кн. П. А. Вяземский действительно оказал Н. Полевому на первых порах существенную поддержку своей авторитетной защитой М. Т. и его издателя от нападков современных журналистов. Он неоднократно выступал в печати против насмешек над купеческим происхождением Полевого, см., напр., в его «Письме в Париж»: «Одно из главнейших прав издателя Телеграфа на внимание и благосклонность просвещенных соотечественников есть именно то, что он в лице своем служит доказательством распространения образованности, которая долго замыкалась у нас в одном высшем звании» и т. д. (М. Т., 1825, № 22, стр. 178 — 179). О редакционном кружке М. Т. — см. во вступительной статье, а о взаимоотношениях Н. Полевого с М. А. Максимовичем. — ниже, на стр. 461.

Главу VIII свдих «Записок» Кс. Полевой посвящает продолжению рассказа о полемике, разгоревшейся вскруг М. Т. в 1825 г. — Н. Полевой первоначально не предполагал вступать в полемику со своими критиками, тем более, что уже в программном объявлении об издании М. Т. он заявил, что является принципиальным противником всякого рода «антикритик», которым не будет дано места в его журнале. Но уже сразу после выхода в свет первой книжки М. Т., обстоятельства вынудили Н. Полевого вступить на скользкий путь полемики. В специальном «Особом прибавлении» к № 2 М. Т. — Полевой признался, что «исключение антикритик» из его журнала «невозможно»: «Издатель не имеет никакого права отказывать в помещении дельных [антикритических] статей, не может и сам остаться без обороны от нападений; но если допустить возражения, опровержения, замечания на замечания и прочую полемическую свиту в состав журнала, то статья, критика и библиография может изменить свое направление и сделаться шумным полем авторских битв. Все это заставляет издателя сделать особое прибавление к Телеграфу, не входящее в счет листов, составляющий каждый номер оно. В этом Прибавлении да будет полное раздолье литературной полемике! — Все присылаемые антикритики будут помещаемы, если они будут, как мы упомянули, дельны, прибавим — благопристойны, написаны без грамматических ошибок и переписаны четко. Сам издатель всячески постарается не заводить литературных битв; принужденный же к тому другими, будет отвечать

коротко и, удаляя пустое многоречие, говорить только о существе дела» (стр. 1—2). Таким образом составила та книжка, длинное заглавие которой выписал Кс. Полевой на стр. 179. Но, решившись отвечать своим противникам, Н. Полевой не учел (да и не мог заранее учесть) объема и направления развернувшейся полемики, которая очень скоро перешла допустимые границы и превратилась в малопрстойную перебранку, не имеющую, по существу, ничего общего с литературными спорами даже в том широком значении, какое придавалось им в эпоху двадцатых годов. Уже в № 3-м М. Т. (в статье «Обозрение русской литературы в 1824 г.») Полевой писал: «Мы желаем прекращения всех журнальных распрей!.. Антикритические переговоры не только не возвышают журналов, не спешествуют наукам и просвещению, но унижают достоинство писателей, которое более можно заставить уважать, отличив себя возвышенностью мыслей, беспристрастием суждений и выбором ученых занятий» (стр. 260). А в 1826 г., подведя неутешительные итоги полемики минувшего года, Полевой решительно отказался от помещения в М. Т. антикритических статей: «В течение двух лет я следовал двум различным мнениям, — писал он. — В первый год издания Телеграфа, мечтая убедить своих противников, я увлечен был в журнальные сражения и глядя теперь на огромные статьи, свои и чужие, вспоминая о литературной битве, которою заняты были журналы наши и даже водевили 1825 года, признаюсь, жалею времени, потерянного на бесполезный труд: сделать невозможное возможным, заставить сознаться каждого из авторов в справедливости замечаний, сделанных на его сочинения и согласить литературные мнения разных партий. — Я решительно отказался от антикритик в 1826 году; с дюжину статей, оставшихся в кабинете моем от 1825 года и дюжины две, полученные мною в 1826 году и также оставленных под спудом, доказывают, что я сдержал свое слово. Занимаясь не антикритикой, но настоящей критикою, я, кажется, имел случай доказать, что не опасение быть побежденным заставило меня молчать, но убеждение в бесполезности антикритических переговоров» (М. Т., 1826, ч. XII, отд. I, стр. 247 — 248).

На следующих страницах Кс. Полевой касается вопроса о полемике своего брата с Д. В. Веневитиновым — известным поэтом, стоявшим во главе кружка московских «любомудров». На хвалебную рецензию Полевого о первой главе «Евгения Онегина», появившуюся в М. Т., 1825, № 5, ст. 43—51, — Веневитинов отвечал разбором, появившимся в С. О., 1825, ч. 100, № 8 (подписан: — вь). Полевой, в свою очередь, отвечал Веневитинову статьей «Толки о Евгении Онегине» в М. Т., 1825, № 15, особенное прибавление, стр. 1—11. Веневитинов отвечал Полевому вторично в С. О., 1825, ч. 104, прибавление к № 1, стр. 25—39. Кроме того, в полемике принял участие, на стороне Веневитинова,

его ближайший друг Н. М. Рожалин, выступивший со статьей «Нечто о споре по поводу Онегина» в В. Е., 1825, ч. 144, № 17, стр. 23—34 (подпись: Н. Р—ин). Полевой отвечал Рожалину в М. Т., 1825, № 23, особенное прибавление, стр. 1—11 (см. об этой полемике в статье В. Стратена «Пушкин и Веневитинов», в сб. «Пушкин и его современники», вып. XXXVIII—XXXIX, 1930, стр. 228—240; см. также письмо Д. В. Веневитинова к А. И. Кошелеву у Н. Колюпанова — «Биография А. И. Кошелева», т. I, кн. 2, стр. 119). Несмотря на то, что Веневитинов довольно резко закончил эту полемику, он был расположен к Н. Полевому и ценил его как журналиста. Будучи вдохновителем «Московского Вестника», он всячески сдерживал своих товарищей по редакции, враждебно настроенных по отношению к Полевому, указывая на особенные достоинства М. Т.; 7 января 1827 г. он писал М. П. Погодину: «Я уже говорил, что с Телеграфом не худо бы сначала жить в ладу» (см. Н. Барсуков — «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. II, стр. 77). Только после смерти Веневитинова, с 1828 г., завязалась жаркая полемика между М. Т. и «Моск. Вестником», о которой речь будет идти ниже (см. стр. 426). Poleмика 1825 г. по поводу «Евгения Онегина» всецело лежала в плоскости той литературно-философской борьбы, которую вела в России группа московских «любомудров», усвоивших идеи метафизической, идеалистической философии Шеллинга. О роли, которую играл Шеллинг и вообще натурфилософия в идеологической системе Н. Полевого — см. во вступительной статье.

На стр. 184 Кс. Полевой упоминает об А. А. Бестужева-Марлинском, принадлежавшем к числу близких приятелей братьев Полевых, хотя личное их общение было крайне недолговременным. В предисловии к изданным им письмам Бестужева, Кс. Полевой писал, что брат его «очень близко познакомился с Александром Бестужевым в 1823 и 1824 годах. Во время частых своих поездок в Петербург, он бывал у него, проводил вечера в обществе его и близких его друзей, и был всегда радушно встречаем в этом образованном кружке. Не только сам Бестужев, но и друзья его, сказывали ему приязнь и уважение» («Русский Вестник», 1861, т. XXXII, март, стр. 285). Свидетельство это представляет значительный интерес, так как кружок Бестужева — Рылеева, группировавшийся вокруг альманаха «Полярная Звезда», был своего рода литературной секцией тайного Северного общества будущих декабристов. — Расхождение Бестужева с Полевым в результате какой-то сплетни, пущенной В. С. Филимоновым, вызвало насмешливый отзыв о М. Т. в «Полярной Звезде» (см. стр. 378 наст. издания). Отзыв этот, по словам Кс. Полевого, обидел издателей М. Т., приписавших резкую перемену в отношении к ним Бестужева «во-первых, тому, что он вообще принадлежал к литературной партии, открывшей войну против Телеграфа [Кс. Полевой имеет в виду,

вероятно, близкие отношения, поддерживавшиеся Бестужевым с Гречем и Булгариным. — В. О. 1, и во-вторых, что в последних книжках журнала Литературные Листки за 1824 год было напечатано мое возражение на разбор Боуринговых переводов с русского, там же напечатанный Бестужевым» (ор. cit., стр. 286). Бестужев действительно был задет статьей Кс. Полевого и при свидании в Москве, летом 1825 г., выразил ему по этому поводу свое неудовольствие. На этом кончились личные отношения Полевых с Бестужевым. Больше они не встречались. «Через несколько месяцев, — продолжает Кс. Полевой, — ужасное несчастье поразило Бестужева. Душевно скорбя о нем, мы даже не знали, где он находился».

Между тем, Бестужев, следивший из ссылки за литературно-журнальной деятельностью Н. Полевого, попрежнему осуждал его за «непонимание чувства и мысли» (см. сб. «Памяти декабристов», изд. Академии наук, вып. II, стр. 208). Полный переворот в мнении о Полевом вызвало у Бестужева, очевидно, чтение первого тома «Истории русского народа», которую он расценивал чрезвычайно высоко (см. стр. 62 наст. издания). — В 1830 г. Н. Полевой получил от Бестужева письмо (из Дербента). Письмо это не уцелело, но Кс. Полевой изложил его содержание; Бестужев писал, что «почитал бы себя недостойным имени русского, если бы не отдавал справедливости издателю Московского Телеграфа, распространяющего так много новых светлых и полезных идей и сведений, и не сочувствовал автору Истории русского народа, первой попытки создать истинную русскую историю» (ор. cit., стр. 286). В заключение Бестужев предлагал для «Телеграфа» несколько своих произведений. Н. Полевой ответил Бестужеву дружеским, благодарственным письмом (см. «Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР», 1929, т. II, кн. 1, стр. 204) и между ними завязалась оживленная переписка, к которой позже примкнул и Кс. Полевой. С 1831 г. Бестужев — постоянный сотрудник М. Т. Здесь появились почти все новые его рассказы и повести. «Присылайте, сколько хотите. Вам всегда почетное место» — писал ему Н. Полевой. Кроме того Бестужев передал Полевому право на издание собрания своих сочинений.

Память Бестужева свято чтилась в семействе Полевых. «Годовщина Марлинскому» — записал Н. Полевой в «Дневнике» 1838 г. (см. «Исторический Вестник», 1888, март, стр. 665).

Эпиграммы и водевильные куплеты А. И. Писарева, направленные против Н. Полевого, собраны нами в книге «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 251 — 254; см. также куплет о Полевом в сатире Писарева «Певец на биваках у подошвы Парнаса» — Ibid., стр. 215. Писарев, несомненно, был самым ожесточенным и неприимимым из всех многочисленных врагов Полевого, в своей ненависти к издателю М. Т., он, действительно, доходил подчас до исступления: «Умея наносить жестокие язвы своим противникам,

[он] не умел равнодушно сносить никакой царапинки. Раздражительность, желчность ослепляли его» (С. Аксаков — «Литературные и театральные воспоминания», — в его П. с. с., 1910, т. IV, стр. 72—73). Писарев выступал против Полевого на страницах С. О. (см., напр. 1825, ч. 103, стр. 84—86), задел его в предисловии к изданному им в сотрудничестве с А. Н. Верстовским «Драматическому альбому для любителей театра и музыки на 1826 г.» (см. стр. 11, 359) и в марте 1826 года выпустил даже специальную брошюру «Анти-телеграф, или отражение несправедливых нападений Г-на Полевого», посвятив ее «Господам литераторам, на которых напал Г. Полевой», где, между прочим, сообщил, что программа М. Т. была выработана в обществе «нескольких молодых людей» (имеется в виду кружок Раича), отошедших впоследствии от Полевого, который в одиночестве, естественно, не может издавать свой журнал по программе, «требующей соединенных трудов целой Академии ученых». Выступление Писарева с «Анти-Телеграфом» было, между прочим, поддержано в «Сев. Пчеле» (1826, № 40), где брошюра Писарева предлагалась как сочинение, «открывающее много любопытных истин по изданию М. Т.». — Н. Полевой, в свою очередь, не оставался перед Писаревым в долгу и беспрестанно задевал его в М. Т. (см., напр., 1826, № 2, стр. 162—164 — рецензия на «Анти-Телеграф», Ibid., стр. 272—292 — рецензия на «Драматический альбом», Ibid., стр. 372—373 — отзыв о водевиле Писарева «Волшебный нос»). — Вслед за тем Писарев перенес полемику на театральные подмостки; водевильные куплеты служили ему отличным средством литературной полемики. С рассказом Кс. Полевого о скандале, происшедшем на представлении водевиля Писарева «Три десятички», интересно сравнить рассказ С. Т. Аксакова: «Опера-водевиль «Три десятички, или новое двухдневное приключение»... должна была, по своим прекрасным куплетам, доставить Писареву новое торжество. Но тут было особенное обстоятельство, помешавшее его успеху. Там находился всем известный тогда куплет, возбудивший страшный шум в партере выходкой против Полевого. Издатель «Телеграфа» был тогда в апогее своей славы и большинство публики было на его стороне. Вот куплет:

В наш век на дело не похоже,
Из моды вышла простота,
И без богатства ум — все то же,
Что без наряда красота.
У нас теперь народ затейный,
Пренебрегает простотой:
Всем мил цветок оранжевый
И всем наскучил п о л е в о й.

Едва Сабуров произнес последний стих, как в театре произошло небывалое волнение: поднялся неслыханный крик, шум и стукотня.

Публика разделилась на две партии: одна хлопала и кричала браво и фора, а другая более многочисленная, шикала, кашляла, топала ногами и стучала палками. По музыке следовало повторить последние два стиха, но оглушительный шум заставил актера Сабурова — а, может быть, он сделал это и с намерением (все артисты очень любили Писарева) — не говорить последнего стиха; как же только шум утих, Сабуров, без музыки, громко и выразительно произнес: «и всем наскучил полевой». Можно себе представить гнев защитников Полевого! Сильнее прежнего начался шум, стук и шиканье наполнили весь театр и заглушили голоса и хлопанье друзей Писарева. Мало этого: публика обратилась к начальству, и вместо: полевой было поставлено: луговой; наконец и этим не удовольствовались и куплет был вычеркнут. В конце этого же водевиля был еще куплет на Полевого, гораздо оскорбительнейший, но против него не так сильно восстали Телеграфисты — и сторона Писарева преодолела. Вот он:

Журналист без просвещенья
Хочет умником прослыть;
Сам не кончивши ученья,
Всех пускается учить;
Мертвых и живых тревожит...
Не пора-ль ему шепнуть,
Что учить никак не может,
Кто учился как-нибудь».

(см. С. Аксаков, «Литературные и театральные воспоминания», — П. с. с., 1910, т. IV, стр. 172—173; Кс. Полевой приводит оба куплета Писарева, вероятно, по памяти — в неверной редакции). Об этом театральном скандале см. также заметку Кс. Полевого в «Русской Сцене», 1865, № 17; в письме М. П. Погодина к М. А. Максимовичу 1871 г. («Юбилей М. А. Максимовича», 2-е изд., 1872, стр. 53) и в письме И. Войцеховича к А. М. Марковичу 1825 г. (М. М. Плохинский — «Архивы Черниговской губернии», 1899, стр. 189). И в 1826 г., по словам С. Т. Аксакова, «враждебность» между Полевым и Писаревым «была в полной силе в обеих сторонах. Прекратились выходки Писарева в остроумных куплетах... но не прекратилось взаимное ожесточение и росла взаимная неправота обеих сторон... Я не намерен распространяться об этой полемике, которая впоследствии вышла из всяких пределов приличия и сделалась вовсе не литературною» (op. cit., стр. 86—87; ср. Ibid., стр. 105—106). Водевиль гр. Панина, о котором упоминает Кс. Полевой на стр. 187, — «Лизанька» — был написан для бенефиса актрисы Сандуновой и успеха в зрительном зале не имел.

О Н. П. Демидове и его политико-экономических сочинениях см. в указателе имен. Французская книжка Демидова «Новая теория баланса» (1825) вызвала критическую статью Н. Полевого в М. Т., 1826, ч. X, отд. I, стр. 129 сл. — Нам известно одно

неизданное письмо М. П. Демидова к Н. Полевому, от 15 марта 1827 г.: «Милостивый Государь Николай Алексеевич, препровождая вам при сем экземпляр моего нового сочинения, которое впрочем вы уже читали в манускрипте, прошу вас, милостивый государь, принять его как новый знак истинного моего к вам уважения и той неизменной дружбы, которую мне всегда будет приятно питать к человеку столь же достойному почтения по душевным качествам своим, сколь и знаменитому по дарованиям своим и тем услугам, которые оказывает он согражданам своим чрез постоянный и тщательный труд свой. Я надеюсь, что несогласие наше в некоторых правилах Экономии политической и споры, бывшие и будущие, не изменят сего чувства моего к вам, и не ослабнут [sic! — В. О.] вашего ко мне...» и т. д. (ГПБ).

О философских и эстетических мнениях Н. Полевого и вообще кружка молодых литераторов, собиравшихся в редакции М. Т., которым посвящена IX глава «Записок» Кс. Полевого, — см. во вступительной статье; там же см. об оценке, которую дает Кс. Полевой (на стр. 197) основоположникам материалистической философии XVIII столетия — Гельвецию и «отвратительному барону Гольбаху с компанией». Сводки биографических данных о М. П. Розберге, И. И. Бессомыкине, И. Н. Камашеве, М. Н. Лихонине, И. В. Киреевском и Д. П. Шелехове — см. в указателе имен.

На стр. 200—201 Кс. Полевой упоминает о брошюре своего брата: «Речь о невестественном капитале — capital immatériel, — как одним из главнейших оснований государственного благосостояния и народного богатства...» etc. О речи этой см. выше, во вступительной статье, стр. 25. — Кс. Полевой ошибается, утверждая, что его брат «первый начал писать о взгляде знаменитого Риттера на землевладение»: М. П. Погодин читал и переводил Риттера еще в 1825 г. (см. Н. Барсуков — «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. II, стр. 142).

В X главе «Записок» Кс. Полевой излагает историю знакомства своего брата с А. Мицкевичем и Ф. Малевским. Вопрос о польских отношениях Н. Полевого заслуживает специального рассмотрения: несомненно, что общение с польскими национал-либералами 1820-х годов оказало существенное влияние на социально-политические и литературные мнения редактора М. Т. — Адам Мицкевич, влиятельный член Виленского университетского общества «филаретов», ставившего своей целью «возрождение культурное, национальное, политическое Польши, равно как и участие низших классов в управлении судьбами нации» (И. Лелевель), — приехал в Москву в конце 1825 г. (из Одессы, куда был выслан после разгона общества «филаретов») и прожил там до конца 1827 г., определенный на государственную службу в гражданскую канцелярию московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына. Братья Полевые были одни из первых, с кем близко сошелся Мицкевич в Москве.

По свидетельству автора анонимной статьи о Н. Полевом, напечатанной в «Листке для светских людей», 1844, № 9, и составленной на основании интервью, данного самим Н. Полевым (см. *Ibid.*, № 27), он в 1826 г. «учился у Мицкевича польскому языку и начал читать с ним Шекспира по-английски». По столь же авторитетному свидетельству доктора Станислава Моравского, познакомившегося с Н. Полевым в 1827 г. на обеде у Мицкевича, — Полевой учился у Мицкевича не только его языку. Моравский пишет в своих воспоминаниях о Пушкине: «Пушкин мало учился. Лишь изгнанники из Литвы, а в особенности Мицкевич, Малевский и несколько других, которые были с ним в Москве в постоянных сношениях, открыли ему глаза и, как Полевого, практически навели на то, чего недоставало этим обоим необыкновенным в России мужам для образования их талантов. — Будем справедливы (добавляет Моравский) — и Пушкин и Полевой до смерти сохранили дружбу к этим нашим землякам» (см. «Московский пушкинист», сб. II, 1930, стр. 266; подчеркнуто нами. — В. О.). При отъезде Мицкевича в апреле 1828 г. в Петербург, московские друзья поднесли ему серебряный кубок с вырезанными на нем именами: Е. А. Боратынского, И. В. и П. В. Киреевских, А. А. Елагина, Н. М. Рожалина, С. П. Шевырева, С. А. Соболевского и Николая Полевого. — М. А. Максимович подтверждает, что Н. Полевого познакомил со стихами Мицкевича Ю. И. Познанский — один из первых переводчиков Мицкевича на русский язык (см. Р. А., 1898, кн. II, стр. 480).

В М. Т. велась настоящая пропаганда польской литературы вообще, творчества Мицкевича в частности (при этом, несомненно, играли роль польские симпатии кн. П. А. Вяземского). Так, напр., в Х ч. М. Т. (1826) была помещена большая статья «О состоянии, духе и стремлении новейшей польской поэзии» (№ 2, отд. I, стр. 1—96, 265—279), с таким «примечанием»: «Давно желали мы сделать постоянною статьей Телеграфа известия о литературе в Польше, мы приступаем к исполнению давно предположенного нами намерения». См. также: весьма хвалебный отзыв о «Сонетах» Мицкевича в ч. XIV (1827 г.), стр. 191—222, с приложением прозаических переводов самих сонетов (отзыв и переводы принадлежат перу кн. П. А. Вяземского); обширную статью Н. Полевого об изданной в 1823 г. в Париже книге «Избранные сочинения из польского театра» (1827, ч. XVIII, стр. 118—139) и анонимную рецензию на польское издание «Конрада Валленрода» Мицкевича (1828, ч. XIX, стр. 436—438); рецензия принадлежит перу самого Н. Полевого и кончается следующими словами: «Мицкевичу нет еще и 30 лет. Чего нельзя ожидать от него, если в таких юных летах он создал уже Дзядов, Крымские сонеты и Валленрода? С радостным чувством гордости преследуем величественный полет гения, нашего соотечественника!». Ср. с письмом Н. Полевого

к В. Г. Анастасевичу от марта 1828 г.: «Неужели нет никаких средств нам посплблизиться сколько-нибудь с Польшей? Никогда не чувствовал я потери нашей в сем случае так живо, как читая «Валленрода». Какое дарование! Какая сила таланта в этом превосходном произведении! — Мицкевич становится высоко над всеми современными поэтами и ему — повторяю, что сказал уже в Телеграфе — только 30 лет. Какого сильного полета нельзя нам ждать от Мицкевича! Не знаю, как вы, а я в восторге беспримерном критика. Величие предмета, превосходное изложение, выражения изумляют меня!» («Вестник Всемирной Истории», 1900, № 9, стр. 173; конец письма, от слов: «Мицкевич становится...» опубликован отдельно, как отрывок, у Н. Козмина — «Из истории русского романтизма», 1903, стр. 518). Отметим еще, что в 1827 г. Н. Полевой издал перевод «Польской истории» Лелевеля, а в 1829 — «Крымские сонеты» Мицкевича в переводе И. И. Козлова и с предисловием кн. П. А. Вяземского (см. письмо И. И. Козлова к Н. Полевому от 16 декабря 1828 г. в «Рус. Обозрении», 1893, № 6, стр. 821).

На стр. 209 Кс. Полевой упоминает о переводе Пушкина из «Конрада Валленрода» Мицкевича; имеется в виду отрывок: «Сто лет минуло, как тевтон» (47 стихов), стносящийся к марту 1828 г. Там же Кс. Полевой цитирует (в не совсем верной редакции) стихи Пушкина, обращенные к Мицкевичу и написанные 10 августа 1834 г., когда Мицкевич в своих стихах проявлял чувство крайней ненависти к России (см., например, цикл «Петербург»). Кс. Полевой не приводит конца пушкинского стихотворения:

— но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напялет. — Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. боже! ниспошли
Твой мир в его озлобленную душу.

Следующие страницы своих «Записок» Кс. Полевой посвящает Е. А. Боратынскому, стыдливо умалчивая о «ребяческой шалости», бывшей причиной «несчастливых обстоятельств» его жизни (в 1816 г. Боратынский — тогда еще воспитанник пажеского корпуса — «вынул» со своими товарищами дорогую табакерку и 500 рублей ассигнациями из бюро камергера Приклонского, за каковое преступление и был исключен из корпуса без права поступления на какую бы то ни было службу, кроме как в полк рядовым. В 1819 г. Боратынский вступил рядовым в л.-гв. Егерский полк и пять лет прослужил в Финляндии, только в 1825 г. заслужив офицерские эполеты). Боратынский поселился в Москве в октябре 1825 г. (немедленно по производстве в офицеры он вышел в отставку); знакомство его с братьями Полевыми следует приурочить к концу

1825 — началу 1826 г. — До 1830 г., когда окончательно определился разрыв Н. Полевого с «литературными аристократами», Полевой неоднократно выступал панегиристом Боратынского; так, напр., в рецензии на его поэмы «Эда» и «Пирры» он писал: «Имя Боратынского принадлежит к числу почтеннейших имен нового поколения русских поэтов. В романтической поэзии русской он самостоятельный поэт, не подражатель, но творец, и в том роде, в котором он пишет, донныне никто с ним не сравнился» (М. Т., 1826, ч. VIII, № 1, отд. I, стр. 62—76; ср. также отзыв о «Стихотворениях» Боратынского — 1827, ч. XVII, № 19, стр. 244 и сл. и отзыв о его поэме «Бал» — 1828, № 24, стр. 475 и сл.). В 1827 г. Полевой помог Боратынскому в деле издания его «Стихотворений», любезное письмо Боратынского к Полевому с изъяснением благодарности за хлопоты и заботы о внешности издания см. в Р. А., 1872, № 2, стбц. 351 — 352. — Разрыв с «литературными аристократами» определил и чрезвычайно резкий поворот в отношении Н. Полевого к Боратынскому: в неизданном письме к кн. В. Ф. Одоевскому от 16 февраля 1829 г. Полевой писал, что Боратынский «встречает у него закрытую дверь» (ГПБ). В свою очередь, и Боратынский, именно в это время начинающий проявлять живой интерес к вопросам злободневной литературно-журнальной полемики и осознающий свою органическую связь с группой «литературных аристократов» — выступает в «Литературной Газете» 1830 г. с гневными эпиграммами: «Он нам знаком, — скажите кстати: за что он так не любит знати...» и «Писачка в Фебов двор явился...», направленность которых против редактора М. Т. (а не Булгарина, как обычно полагают) — для нас совершенно очевидна. — «Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариним, — писал Боратынский двумя годами позже (в письме к И. В. Киреевскому, см. «Татевский сборник», 1899, стр. 40). Правда, следует оговорить, что в журнальной травле Полевого, которую вели «литературные аристократы», Боратынский участия не принимал и вообще вражда их не доходила до особенного ожесточения: в 1830 г. Боратынский даже служил посредником в переговорах кн. П. А. Вяземского с Полевым о каких-то денежных делах (см. «Старина и Новизна», кн. V, стр. 51). Полевой и позднее, в конце 1830-х годов, продолжал свои нападки на Боратынского; цитируя стихотворение его «Сначала мысль воплощена», он восклицал: «Вообразите, что это стихи Боратынского!!.. Зачем писать стихи, если время их для нас прошло» (С. О., 1838, т. II, отд. IV, стр. 165).

В начале XI главы Кс. Полевой пишет о С. Д. Полторацком, в ту пору еще здравствовавшем. Краткую сводку биографических данных об этом любопытном человеке, оставившем заметный след в литературной жизни России и Франции за целых пять десятилетий (1820 — 1870-е гг.) — см. в указателе имен. Подробные

сведения о Полторацком и роли, которую играл он в редакционном кружке М. Т. — приведены в нашем предисловии к неизданным письмам братьев Полевых к Полторацкому, имеющим появиться в одном из ближайших выпусков сборника «Звенья». Здесь же ограничиваемся немногими дополнениями к рассказу Кс. Полевого. В «Revue Encyclopédique» Полторацкий сотрудничал с 1822 по 1831 г., регулярно помещая там статьи, рецензии и заметки, преимущественно о русской литературе (частично они учтены в «Table décennale de Revue Encyclopédique 1819—1829», par P. A. M. Miger, Paris, 1831, t. II, pp. 371—374; см. также I. M. Querard — «Notice sur Mr. Serge Poltoratzky», Paris, 1854 — оттиск из его же «La France littéraire», t. XI). — Упомянутая Кс. Полевым статья «Калужского корреспондента» была первым выступлением Полторацкого в русской печати и появилась в С. О. 1824, т. 96, стр. 205—230; возражение на эту статью В. Ф. Одоевского см. в «Мнемозине», 1824, ч. III, стр. 178—188; опровержение Н. И. Греча — в С. О., 1824, т. 98, стр. 267—272; а разъяснение Н. Полевого — в М. Т., 1825, ч. I, прибавление, стр. 33—34. — Полторацкий быстро сошелся с Н. Полевым и сразу же примкнул к редакционному кружку М. Т. Время от времени он печатал в М. Т. свои статьи и библиографические заметки (см., напр., 1825, ч. VI, стр. 314—317; 1826, ч. VII, стр. 111—116; 1827, ч. XVIII, стр. 61—76; 1828, ч. XXIV, стр. 225—235); в 1828 г. при № 4-м М. Т. была роздана специальным приложением, французская статья Полторацкого «Письмо к редактору Московского Телеграфа», посвященная защите Полевого от нападок Булгарина и Греча. — В первые годы издания М. Т. Полторацкий, подобно Вяземскому, пытался играть роль «просвещенного покровителя» и литературного советника братьев Полевых. Вяземский видел в нем как бы своего заместителя на посту блюстителя порядка в редакции М. Т. «Присматривай за Полевым!» — таков смысл наставлений Вяземского в письмах к Полторацкому. «На тебе взыщется беспорядок и оплошность» — писал Вяземский Полторацкому в июле 1828 г. (см. «Новь», 1885, т. III, стр. 88—89). Однако постепенно Полторацкий сдавал свои позиции советника и опекуна, благо Полевые советов у него не спрашивали, а наставлений его не слушали. Когда же определился окончательный разрыв Н. Полевого с «литературными аристократами», Полторацкий не ушел, подобно Вяземскому, из журнала, а остался «кумом, отцом, единоверцем, благодетелем и другом Телеграфа» (по выражению того же Вяземского). В 1840-х гг. Полторацкий неоднократно пытался облегчить тяжелое материальное положение братьев Полевых и поддерживал с ними неизменно дружеские отношения.

Об отношении Н. Полевого к восстанию 14 декабря 1825 г., о котором пишет Кс. Полевой на стр. 218—219, — см. во вступи-

тельной статье. В свете приведенного там материала явно несостоятельной оказывается попытка Кс. Полевого «оправдать» задним числом своего брата. В годы, когда писались «Записки», Кс. Полевой — деятель реакционнейшего крыла русской литературы («Северная Пчела»), отсюда — его отношение к событиям 1825 г., как к «прискорбному для России происшествию». В 1825 г. и он сам, и его брат — расценивали первый опыт буржуазной революции в России иначе. Страницы «Записок», посвященные восстанию декабристов, при исследовании вопроса о социально-политических настроениях Н. и Кс. Полевых в эпоху издания М. Т. — принимать во внимание следует лишь с этой поправкой. — Эпизод с подложным письмом А. Ф. Воейкова о 14 декабря, экземпляр которого получил, в числе других лиц, и Н. Полевой, изложенный на стр. 220 — 222, — дополняется рассказом Н. И. Греча (в «Записках о моей жизни», 1930 г., стр. 659—661), почти во всем совпадающим с рассказом Кс. Полевого. Греч приводит и конец этой истории: когда выяснилось, что автором писем был Воейков, «послали не за обер-полицеймейстером, а за Жуковским. Воейкова пожурили вновь и подвели под милостивый манифест — прекрасных глаз Александры Андреевны» [жены Воейкова. — В. О.]

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первую главу второй части Кс. Полевой посвящает приезду А. С. Пушкина в Москву в 1826 г. из Михайловской ссылки, новые попытки привлечения его к сотрудничеству в М. Т., истории организации «Московского Вестника» и борьбе этих двух журналов за гегемонию в журнальном мире Москвы. — Пушкин приехал в Москву 8 сентября 1826 г. (и пробыл там до мая 1827 г.). Личное знакомство его с Н. Полевым произошло, однако, не ранее октября 1826 г. (см. Н. Лернер — «Труды и дни Пушкина», 2-е изд., 1910, стр. 142). По свидетельству автора анонимной статьи о Полевом (в «Листке для светских людей», 1844, № 9), составленной на основании личных рассказов Полевого (см. *Ibid.*, № 27), Пушкин якобы сказал ему при первой встрече: «Хочу осмотреть достопамятности Москвы и начинаю с Полевого». — «Москва приняла Пушкина с восторгом, везде его носили на руках» — вспоминал С. П. Шевырев, один из инициаторов организации «Моск. Вестника» (см. А. Н. Майков — «Пушкин», 1899, стр. 329). Тот же Шевырев (впоследствии враг Н. Полевого) вспоминает «насмешки и презрение» Пушкина к братьям Полевым и следующим образом излагает историю сближения поэта с группой «любомудров» — будущих издателей «Моск. Вестника»: «В Москве объявил он свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам, в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга. Сблизившись с этими молодыми писателями, Пушкин принял дея-

тельное участие в «Московском Вестнике», который явился как противодействие «Телеграфу». Этому журналу¹ Пушкин не терпел и не поместил в нем ни одной пьесы» (ор. cit., стр. 330, подчеркнуто нами. — В. О.). Теперь мы знаем, что все это было далеко не так: Пушкин не очень уважал теорию Шеллинга и сотрудничал в М. Т.; в приведенной цитате важно только учесть категорическое заявление Шевырева, что «Моск. Вестник» был задуман как противодействие М. Т. Не следует переоценивать союз Пушкина с московскими «любомудрами»; и с той и с другой стороны союз этот расценивался преимущественно как тактический шаг: Пушкин, усердно искавший для себя широкое журнальное поле, не сойдясь с Полевым, предполагал занять в редакции «Моск. Вестника» место диктатора, «хозяина» (что ему, как известно, ни в малейшей мере не удалось), — любомудры же, приглашая Пушкина в свой журнал, рассчитывали, что его постоянное сотрудничество будет способствовать успеху «Моск. Вестника».

Неизвестно, когда именно Пушкин посетил в первый раз Полевого (см. текст, стр. 227); хотя о М. Т. при этой встрече «не было и речи», известно, что С. А. Соболевский, служивший посредником в переговорах Пушкина с кружком «любомудров», в то же самое время «сватал» Пушкина Полевому; С. П. Шевырев прямо обвинял Соболевского: «Ты блюдешь пользы друзей своих, ты стараешься об общем деле, а предлагал Полевому сотрудничество Пушкина! Как ты нелеп, Соболевский! Нет, ты не блюдешь нравственной пользы друзей своих!» (Л. Н. Майков, ор. cit., стр. 343). Обстоятельства, связанные с окончательным расхождением Пушкина с Полевым в 1826 г., и сближение его с кружком «любомудров» выяснены Ю. Г. Оксманом в статье о «Московском Вестнике» (см «Сочинения Пушкина», 1931, т. VI — «Путеводитель по Пушкину», стр. 242—244): Пушкина сближала с «любомудрами» общность многих социально-политических и литературных установок, например «отказ от политического активизма, характерный для верхушки поместно-дворянской интеллигенции после краха 14 декабря, резкое отталкивание от буржуазного радикализма Полевого и мещанского оппортунизма Булгарина, преувеличенные надежды на успехи чистого просветительства, отрицание догматической поэтики французского классицизма, одинаковое разрешение проблем национальной самобытности в литературе, шеллингианское толкование свободы художественного вдохновения, особых прав искусства для искусства», антитезы «поэт и чернь» и пр.» (Ю. Оксман, ор. cit.). — Что касается появления М. П. Погодина во главе редакционного коллектива «Моск. Вестника», столь удивившего Кс. Полевого (см. стр. 229), — то следует указать, что кандидатура Погодина как ответственного редактора-издателя мыслилась (и самими «любомудрами», и Пушкиным) как часто деловая и нейтральная. — На стр. 230 Кс. По-

левой упоминает о «большой плате», которую получал Пушкин за сотрудничество в «Моск. Вестнике»: по условию он должен был получать 10 000 руб. с каждых 1 200 подписчиков и в самом начале издания получил пятитысячный аванс; но так как материальные успехи «Моск. Вестника» были не велики — условие это фактически не выполнялось.

Пушкин не только окончательно разошелся с Полевым, но и склонял к тому кн. П. А. Вяземского, убеждая его перейти также в «Моск. Вестник». Вяземский не согласился на предложение Пушкина. В письме к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 20 ноября 1826 г. он писал: «От нечего делать, обязался я участвовать в Телеграфе и за участие брать с издателя половину барышей его. Пушкин пошел в часть в другой журнал за десять тысяч рублей: Погодин и вся университетская молодежь, воспитанная на немецком пиве Шеллинга, будет на будущий год издавать Московский Вестник... Я не пошел в участники в их журнал по многим причинам: во-первых, я подбил сначала Полевого издавать журнал, и совестно было бы бросить его, когда другой журнал подрывает его. Во-вторых, мне кажется, что денежная спекуляция вернее с Телеграфом, ибо, без сомнения, часть львиная принадлежит по всем правам в том журнале Пушкину, а мне пришлось бы часть рядовая... В третьих, с Пушкиным я, разумеется, рад бы всюду, но его здесь не будет, управление журналом может надоесть ему и надобно будет оставаться в связи с молодежью, без дарований, но удивительно надменною... Я тоже, как ты знаешь, не отличаюсь смиренномудрием и чувствую, что не одобровать бы мне с ними» («Архив братьев Тургеневых», вып. VI, 1921, стр. 46). Ср. также письмо Вяземского к М. П. Погодину 1869 г. по поводу брошюры Погодина «Воспоминания о С. П. Шевыреве», где идет речь об основании «Моск. Вестника»: «Все, что вы говорите, или по крайней мере многое, о Телеграфе», — пишет Вяземский, — «не совсем точно. Мысль о Телеграфе родилась в моем кабинете. Тогда еще не было речи о Московском Вестнике, а Пушкин был во Псковской ссылке и я крепко надеялся на него для Телеграфа. — [На] стр. 14 — Вы говорите: «Я не употребил никакого старания, чтобы привлечь князя Вяземского и обеспечить участие его, который перешел окончательно к Телеграфу». Позвольте заметить, что выражение: «не употребил никакого старания» — не совсем парламентарно и не литературно. Мы с вами были тогда еще мало знакомы. О Московском Вестнике мы с вами никогда не говорили. Но Пушкин неоднократно уговаривал меня войти с ним в редакцию. Я всегда отказывался от предложений и увещаний Пушкина на основании вышесказанного, то есть участия моего в существовании Телеграфа. Я не «окончательно» перешел к Телеграфу, как вы говорите, а первоначально вошел в него. Я был в полном смысле крестным отцом Телеграфа.

чуть ли не родным, и изменить крестнику своему не хотел и не мог... Я хотел оставаться верен данному обещанию и вероятно хотелось мне быть полным хозяином в журнале, что некоторое время и было, тогда как в Московском Вестнике был бы я только сотрудником, хотя Пушкин предлагал мне принять участие в издании именно на тех денежных условиях, как и он» (П. А. Вяземский — П. с. с., т. X, 1886, стр. 266—268). Кс. Полевой строил свои догадки относительно попыток Пушкина склонить Вяземского к переходу в «Моск. Вестник» на основании писем его к Н. М. Языкову; в то время, когда писались «Записки», не были еще опубликованы письма Пушкина к Вяземскому, где Кс. Полевой мог бы найти более веские доказательства в пользу своего предположения: «Я ничего не говорил тебе о своем решительном намерении соединиться с Полевым, а ей богу, грустно» — писал Пушкин в письме от 9 ноября 1826 г. — «И так порядочные литераторы вместе у нас ничего не произведут! — все в одиночку. Полевой, Погодин, Сушков, Завальевский, кто бы не издавал журнал, все равно. Дело в том, что нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно. Мы слишком ленивы, чтоб переводить, выписывать, объявлять etc. etc. Это черная работа журнала, вот зачем и издатель существует; но он должен: 1) знать грамматику русскую, 2) писать со смыслом: т. е. согласовать существ[ительное] с прилаг[ательным] и связывать их глаголом. — А этого-то Полевой и не умеет. Ради Христа прочти первый параграф его известия о смерти Румянцева и Ростопчина. И согласишься со мной, что ему невозможно доверить издания журнала, освященного нашими именами. Впрочем ничего не ушло. Может быть, не Погодин, а я буду хозяин нового журнала — тогда как ты хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к матери в гузно» («Письма», т. II, 1928, стр. 20). Но Пушкин не стал «хозяином нового журнала» и с весны 1827 г. отказался от всяких претензий на руководящую роль в редакции «Моск. Вестника», а Вяземский остался верен своему крестнику — М. Т., и действительно работал для него в 1827 г., как сообщает Кс. Полевой, «усердно и деятельно». Он вербует новых сотрудников, запрашивает материал у А. И. Тургенева и Жуковского, вступает в переговоры с Я. Н. Толстым и французским литератором Э. Геро о парижских корреспонденциях для М. Т., выписывает для редакции иностранные журналы и книги — «сливки европейского просвещения» — и громит врагов «Телеграфа» в фельетонах «Журнального сыщика» (см. письма Вяземского за конец 1826 и 1827 гг. — в «Остафьевском архиве», т. III и в «Архиве братьев Тургеневых», вып. VI).

На стр. 231 Кс. Полевой цитирует эпиграмму А. С. Грибоедова, — она направлена не на московских «любомудров», а на А. И. Писарева и М. А. Дмитриева (см. «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931, стр. 203—227).

На стр. 231—233 Кс. Полевой справедливо замечает, что «Моск. Вестник» не имел успеха в широкой читательской аудитории. Намеренно противопоставляя себя М. Т., журнал «любомудров» декларировал позиции своеобразного «литературного аристократизма», ориентируясь на узкий круг «любителей изящного». Энциклопедизму и популяризации — этим двум главнейшим качествам М. Т. — здесь противопоставлялись: добротная немецкая ученость, недоступная пониманию рядового читателя, и преимущественное внимание к отделам художественной литературы, философии, эстетики и истории. Даже в годы своего подъема (1827 — первая половина 1928) «Моск. Вестник» расходился в количестве всего около 600 экз. (при тираже «Моск. Телеграфа» в 1200 экз.). Впоследствии, когда от «Моск. Вестника» отошел Пушкин (поместивший в нем за все время 32 стихотворения) и значительная часть «любомудров» (В. Ф. Одоевский, А. И. Кошелев, В. П. Титов переехали в Петербург; Н. М. Рожалин, С. П. Шевырев, и И. В. Киреевский — за границу), — «Моск. Вестник» превратился в частное журнальное предприятие М. П. Погодина, широко открывшего доступ в журнал второстепенным и третьестепенным литераторам.

В 1829—1830 гг. «Моск. Вестник» влачил уже довольно жалкое существование (тираж его упал до 250—300 экз.), заполняя свои страницы в достаточной степени неумеренной полемикой с М. Т. — Первоначально полемика эта носила серьезный, принципиальный характер; смысл ее заключался в принципиальном несовпадении программных установок того и другого журнала («Настоящее назначение журнала состоит в том, чтобы... благородно и возвышенно направлять непостоянное внимание своих соотечичей на весь современный ход ума человеческого, на его успехи, уклонения, заблуждения и сосредоточивать воедино все разногласные мнения публики», — писали в «Моск. Вестнике», 1828, ч. VIII, стр. 63—64. Ср. с программными формулировками Полевого, выше, стр. 397). М. Т. встретил появление «Моск. Вестника» дружелюбной статьей «Журнального сыщика» (кн. П. А. Вяземского), где говорилось: «Можно поздравить читателей русских журналов, или вообще просвещенных читателей наших с появлением Московского Вестника!... Имя Пушкина — fortuna для журнала, а он, как сказано в объявлении о новом издании, преимущественно в нем участвует. Должно, однако, надеяться, что и другие участники не оставят его одного поддерживать бремя правления. Некоторые из статей, напечатанных в трех книжках Московского Вестника, донныне вышедших, уже отчасти и оправдывают надежды... Кажется, можно утвердительно предсказать, что Московский Вестник будет вестником одного изящного и благородного» (см. М. Т., 1827, ч. XIII, № 3, стр. 121—122; ср. также благожелательный отзыв о «Моск. Вестнике» в ч. XVI, отд. II, стр. 15—21). С. П. Шевырев — присяжный критик «Моск. Вестника» — в свою очередь писал, что

«Телеграф есть явление весьма замечательное в современной истории нашей литературы. . . лучший журнал в России и более соответствующий общему назначению журнала. Он имеет неотъемлемое право на признательность публики. Явившись в то время, когда задремали все журналисты в непростительной нерешительности и отучили публику от чтения, когда во всех находилась потребность сообщаться со всем новым, говорить и судить обо всем, он весьма удачно пособил этому недостатку: в любителях чтения поддержал сию благородную охоту, приохотил новых читателей, возбудил в них участие ко всему современному в литературе, желанием мыслить пробудил в других это благородное желание, навел страх на тех мелких писателей, которые прежде безнаказанно печатали все без разбора; наконец, показав другим журналистам пример в неутомимом трудолюбии, в смысленной расторопности, — одним словом, во всем искусстве журналиста, — проложил путь другим, приготовил читателей для журнала, более совершенного по образу мыслей, и тем принес (хотя отрицательно) много пользы просвещению отечественному. По всем правам он заслуживает, чтобы имя его означало новую эпоху в истории русского журнализма, как журнала критического и современного». Но, с другой стороны, Шевырев отметил, что журнальную деятельность Н. Полевого характеризуют одновременно: «трудолюбие, неутомимость, разнообразие, современность, пестрота, смесь нового со старым, многосторонность, всеобъемлемость, поверхностность, гордость, презрение к опытности, беспокойство, желание мыслить, неопределенность, неточность, легкомыслие, неясность, совершенная темнота, резкость в приговорах, решительность, расторопность, поспешность, оборотливость, скорость, опрометчивость, нетерпение и терпение, варваризмы, многословие, страсть к общим местам, пустота, вялость, карикатура, благородство вообще, благонамеренность вообще, отсутствие личности, безотчетное желание совершенствоваться, пристрастие» (см. статью Шевырева — «Обозрение русских журналистов в 1827 г.» — «Моск. Вестник», 1828, ч. VIII, № 5, стр. 61 — 105). Как видим, справедливые комплименты по адресу издателя М. Т. Шевырев облил не совсем справедливым ядом; и уж, конечно, ничем так не мог обидеть он Полевого, как указанием на то, что журнал его соткан из противоречий. Для характеристики отношения Шевырева к Н. Полевому приведем цитату из его дневника 1830 г.: «Полевой шарлатан, но русский, и шарлатан в маске благородства, философии XIX столетия, учености всеобъемлющей, умеренного либерализма. В нем видны все приметы русского купца, который продает дурной и старый товар за хороший и новый, умея искусно навесить на него лак новизны. У него оборотливость удивительная, он все сметит, подхватит, подслушает, переймет и исковеркает. Снаружи он чудо, но взгляните внутрь: пусто. В его «Истории русского народа» самое заглавие и посвящение доказывают шарлатанство. Предисловие его

есть образец искусства купеческого в России. В книге его вы увидите, что он схватил все мнения новые: он бредит Шеллингом, Гегелем, Гердером, Гереном и Нибуром, он говорит о Деннлинге, Тьерри, Клапротте, Ремюза — и ничего не прочел порядочно. Везде лак, везде наружность, — но внутри невежество темное. Он обманет многих в России: его шайка велика, ибо у нас более людей поверхностных, недоучившихся, а он их представитель» (см. «Известия Одесского библиографического общества при Новороссийском университете», т. II, вып. 2, Одесса, 1913, стр. 54—55; Шевырев задел Полевого также в своем «Послании к А. С. Пушкину», см. «Денница», 1831, стр. 107—114; косвенным ответом Полевого на эти выпады является пародия стихов Шевырева в «Новом живописце общества и литературы», ч. VI, 1832, стр. 126—127, — ср. также книжку Н. Полевого «Были и небылицы», 1843, стр. 27—28).

На стр. 234 Кс. Полевой рассказывает о посещении Пушкиным литературного вечера Н. Полевого. Несомненно, что именно этот вечер имел в виду И. М. Снегирев, записавший в Дневнике под 16 мая 1827 г.: «Когда лег было спать, приехал Пушкин с Соболевским и увезли меня к Полевому на вечеринку» (см. «Пушкин и его современники», вып. XVI, стр. 52). — Стихотворение А. А. Дельвига и Е. А. Боратынского («пышные гексаметры»), о котором упоминает Кс. Полевой, относится еще к 1819 г. и полностью читается так:

Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком,
Жил поэт Боратынский с Дельвигом, тоже поэтом,
Тихо жили они, за квартиру платили не много,
В лавочку были должны, дома обедали редко.
Часто, когда покрывалось небо осеннею тучей,
Шли они в дождик пешком, в панталонах трикотовых тонких,
Руки спрятав в карман (перчаток они не имели!),
Шли и твердили шутя: какое в россиянах чувство!

(см. П. с. с. Боратынского, т. I, 1914, стр. 200 и 323). — Проводы Пушкина в Петербург, на даче Соболевского, на которые были приглашены братья Полевые, — происходили 19 мая 1826 г.

Всю вторую главу второй части своих «Записок» Кс. Полевой посвящает двум неприятным инцидентам в жизни своего брата: обвинению в присвоении им научных открытий Э. Я. Ходаковского и столкновению с М. П. Погодиным в связи с изданием «Жизни Наполеона» Вальтер-Скотта. Что касается эпизода с бумагами Ходаковского, то мы не располагаем никакими материалами, которые могли бы дополнить или уточнить рассказ Кс. Полевого (ответ Н. Полевого на жалобу вдовы Ходаковского неизвестен). Не знаем также, кого имел в виду Кс. Полевой, заявляя, что брат его «мог бы назвать людей», подговоривших вдову Ходаковского подать извет на Полевого; судя по тому, что это был «человек, знающий историческую литературу», можно предположить, что подозрения

Полевого пали на М. П. Погодина. О самом Э. Я. Ходаковском см. в указателе имен. — Эпизод с переводом «Жизни Наполеона» В. Скотта, подробно изложенный Кс. Полевым, освещен в специальной статье Н. Козмина в Р. С., 1900, № 2, стр. 415 — 432; о конфликтах Полевого с М. П. Погодиным см. также у Н. Барсукова — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 176 — 178.

О В. Г. Анастасевиче см. в указателе имен; после запрещения книги Н. Полевой писал Анастасевичу (30 июля 1828 г.): «Мне прискорбно и грустно думать, если я моим предприятием: издать «Историю Наполеона» причинил вам, хотя и неумышленно, какое-нибудь неудовольствие. — Если цензура должна смотреть на дух и содержание книги, то никто не может обвинять ни меня, ни вас. Дух сочинителя вышеупомянутой книги самый благонамеренный — дух христианина, друга порядка общественного и нравственного Философа. В содержании могли встречаться места, где мнения его, как гражданина Британии, имеющей свои нравы, обычаи и законы, не могли быть совместны с нашими мнениями, но какая же книга выходила в России без того, чтобы из нее чего нибудь не исключили? Но через это вся книга не должна быть осуждаема на вечное изгнание. Встречаются еще места, где автор не верно говорит о России; их стоило исключить или оговориться примечаниями. После всего этого не понимаю я, за что В. Скотт подвергся столь сильному гонению... Не знаю, что и как будут у меня спрашивать по поводу сей книги, но я намерен писать к министру письмо, в котором объясню ему просто и откровенно свои мысли, надеясь, что в нем найду человека благомыслящего и неспособного к утеснению людей невинных. Но, впрочем, неуспех книги для меня малозначителен» (Р. С., 1901, № 5, стр. 404 — 405). — Переводы отдельных глав из «Жизни Наполеона» появились в М. Т.: см. напр., 1827, ч. XVI, отд. I, стр. 38 сл.; ч. XVII, отд. I, стр. 69 сл.; 1828, ч. XIX, № 3 и 4 и ч. XX, отд. I, стр. 1—26 (см. также в ч. XVI, отд. II, стр. 140 — 152 и 318 — 332 — критику на сочинение Вальтер-Скотта).

Скажем тут же несколько слов об отношении к Н. Полевому М. П. Погодина и С. Т. Аксакова — двух непримиримых его врагов. Погодин познакомился с Н. Полевым 23 января 1824 г. в обществе Раича, где Полевой в этот день «совестясь, читал о Полярной Звезде» (см. Н. Барсуков, *op. cit.*, т. I, стр. 282) и отношения между ними сразу же установились натянутые (*Ibid.*, запись в Дневнике Погодина от 28 мая 1824 г., также стр. 313). В годы издания «Моск. Вестника» Погодин уже открыто враждовал с Полевым; в качестве примера его полемических выступлений укажем на статью в «Моск. Вестнике», 1830, ч. V, стр. 209 — 221, где Полевой назван «Гришкой Отрепьевым», которого «вывел в люди» покровитель «князь Вишнявецкий» (т. е. кн. П. А. Вяземский). Полевой, в свою очередь, не оставался в долгу (см., напр., отзыв о

«Повестях Михаила Погодина» в М. Т., 1832, № 9, стр. 97—99). В 1836 г. Погодин прислал А. С. Пушкину для помещения в «Современнике» крайне резкую статью о Полевом, который сотрудничал в ту пору в критическом отделе «Библиотеки для чтения». Погодин, скрывшийся под псевдонимом «Рецензента Современника», обвинил Полевого в пристрастной критике трудов пяти московских литераторов и ученых (Погодина, Шевырева, Венелина, Строева, Иовского — все врагов Полевого) и сделал следующее заявление: «Все русские литераторы самые жестокие его [Полевого — В. О.] гонители — гг. Погодин и Шевырев, не молчали-ль об нем, с тех пор как он перестал издавать Телеграф, не допускали-ль они его промышлять беспрепятственно своими книжными предприятиями! Он опять хочет дускаться в критику! Рецензент Современника будет обличать его на каждом шагу» (см. И. А. Шляпкин — «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина», 1903, стр. 242—243; Пушкин не напечатал статьи Погодина). Ср. резкий отзыв о Полевом в письме Погодина к кн. В. Ф. Одоевскому от 1 декабря 1836 г. в Р. С., 1904, т. 117, стр. 710—711. Уже в самом конце своей жизни, Полевой дал уничтожающий отзыв о брошюре Погодина: «Письмо из Симбирска об открытии памятника Карамзину», М. 1845 (см. «Литературная Газета», 1846, № 1, стр. 2—3). Смерть Полевого Погодин отметил в своем Дневнике лаконической записью: «Умер Полевой. Жаль все-таки» (см. Н. Барсуков, *op. cit.*, т. VIII, стр. 490), а вслед затем унизил Полевого, начисто отрицая какие бы то ни было заслуги его перед русской литературой в анонимной рецензии на брошюру Белинского «Н. А. Полевой» (см. «Москвитянин», 1846, № 5, стр. 164—175). См. ниже, на стр. 448, о критике Погодина на «Историю русского народа» Полевого.

С. Т. Аксаков был врагом Н. Полевого и М. Т. по дружбе своей с А. И. Писаревым, Ф. Ф. Кокошкиным и кн. А. А. Шаховским: «Круг людей, в котором я жил, был весь против Полевого, и я с искреннею горячностью разделял его убеждение», — признавался старик Аксаков в своих «Воспоминаниях». — «Теперь можно хладнокровно рассуждать о прошедшем и находить даже пользу в существовании Московского Телеграфа — пользу отрицания. Отрицание было необходимо, и Полевой, имевший много русской сметливости, ловкости, не лишенный даже некоторого дарования, служил выражением этого отрицания. Он ничего почти не сказал нового, с в о е г о; все было более или менее известно во всех кругах образованных обществ, обо всем этом говорили и спорили московские литераторы, но Полевой первый заговорил с той решительною дерзостью, к которой бывает способно самонадеянное, поверхностное знание дела, и которое в то же время всегда имеет успех. . . Большинство было на стороне Полевого, но торжество Телеграфа еще более, и законно, раздражало его прстивников и доводило ожесточение до крайних пределов» (П. с. с. Аксакова, 1910, т. IV,

стр. 86 — 87). Этот неверный, пристрастный отзыв вызвал резкую отповедь со стороны Кс. Полевого (см. «Северная Пчела», 1859, № 82, стр. 325—326); за Аксакова вступился М. Н. Лонгино (см. «Московские Ведомости», 1859, № 109; продолжение полемики Кс. Полевого с Лонгиновым см. в «Сев. Пчеле», 1859, №№ 129 и 169 и «Моск. Ведомости», 1859, № 145; см. также рецензию Кс. Полевого на «Семейную хронику и воспоминания» С. Аксакова в «Сев. Пчеле», 1856, № 52). — В сентябре 1827 г. С. Т. Аксаков был назначен цензором М. Т. и на этом посту всячески использовал свое служебное положение во вред Н. Полевому, явно протезируя в то же время «Моск. Вестнику», где состоял постоянным сотрудником (по отделу «Драматические прибавления»). В «Воспоминаниях» Аксакова читаем: «Издатель М. Т. сначала пробовал сблизиться со мной; я откровенно ему сказал, что только как цензор я могу быть в сношениях с Г-м Полевым; что же касается до исполнения моей обязанности, то без сомнения он сам видит полную мою готовность к скорому и снисходительному удовлетворению его требований» (П. с. с., т. IV, стр. 150). В то же самое время Аксаков открыто выступал против Полевого в печати; см., напр., «Галатей», 1829, ч. II, стр. 168 — 169, где Аксаков заявил, что «не желает иметь никаких сношений с Г-м Полевым, унижать литературное лицо которого — есть долг каждого любителя словесности». Не оставлял Аксаков в покое и В. А. Ушакова (Ibid, ч. VI, стр. 156—159). О деятельности Аксакова в Московском цензурном комитете см. статьи Н. М. Павлова (Р. А., 1898, II, № 5, стр. 81—96) и В. В. Данилова («Известия по рус. яз. и словесн. Акад. наук СССР», 1928, т. I, кн. 2, стр. 506—524).

Почти вся третья глава второй части «Записок» Кс. Полевого посвящена С. Н. Глинке (см. о нем в указателе имен), назначенному цензором в московский цензурный комитет 1 октября 1827 г. — Образ Глинки хорошо рисуют его «Записки» (СПБ, 1895), XXIV глава которых существенным образом дополняет рассказ Кс. Полевого о деятельности Глинки в цензурном комитете. О его взаимоотношениях с Н. Полевым см. заметку А. Кононова в «Русском Слове», 1860, № 8, Смесь, стр. 76—79 и у М. А. Дмитриева — «Мелочи из запаса моей памяти», 2-е изд., 1869, стр. 108—109 (ср. «Замечания» М. П. Погодина в Р. А., 1869, стбц., 2096). В 1832 г. С. Глинка издал дружеское послание к Н. Полевому, где писал скверными, но искренними стихами:

... Полевой
 Не чужою головою,
 А своим умом парит.
 Окрыляясь душою,
 Демосфеном говорит.
 И Вольтера спесь терзает.

И науку жизни знает:
Самоучка-молодец
Сам плетет себе венец.

(см. «Два послания. Первое: к Петру Тимофеевичу Баснину, русскому гражданину и сибирскому уроженцу. Второе: Орфей-самоучка и красный плащ, к Николаю Алексеичу Полевому. Сочинение Сергея Глинки», М. 1832). С той же характеристикой С. Глинки, которую дает Кс. Полевой в «Записках», не совпадает отзыв о нем в письме Кс. Полевого к А. А. Бестужеву от 19 января 1833 года: «О С. Глинке и говорить нечего. Это нелепое создание пишет для рубля, для рюмки настойки и еще имеет дерзость выдавать себя честным человеком» (неизданное письмо. — ИРЛИ). К «Запискам» Кс. Полевого, изд. 1888 г., было приложено письмо С. Глинки к автору от 1835 г.; мы опускаем это письмо, как не имеющее никакого отношения к тексту.

Характерно, что излагая эпизод полемики своего брата с Каченовским, при котором пострадал С. Глинка (см. стр. 259 — 263), Кс. Полевой ни одним словом не обмолвился о другой, значительно более громкой, цензурной истории, жертвой которой по вине редактора М. Т. оказался тот же «пылкий» и «нелепый» С. Глинка. Мы имеем в виду увольнение С. Глинки от занимаемой им должности цензора в 1830 г. за пропуск в М. Т. сатирического фельетона Н. Полевого «Утро в кабинете знатного барина», в котором начальство усмотрело пасквиль на влиятельнейшего из московских вельмож кн. Н. Б. Юсупова (ср. стр. 302 и 458 наст. изд.): 11 июля 1830 г. попечитель московского учебного округа кн. С. М. Голицын доносил министру народного просвещения кн. К. К. Ливену, что «статья: Утро в кабинете знатного барина обратила на себя внимание читающей публики. Соблазнительная статья сия, по дерзким и явным намекам на известную особу по заслугам своим государству, возбудила негодование всех благомыслящих людей» (см. статью В. В. Данилова — «С. Т. Аксаков, С. Н. Глинка и В. В. Измайлов в Московском цензурном комитете», — «Изв. по рус. яз. и слов. Ак. наук СССР», 1928, т. I, кн. 2, стр. 521; в этой статье история увольнения Глинки освещена по официальным документам. См. также брошюру Б. М. Федорова — «Пятидесятилетие литературной жизни С. Н. Глинки», 1844, стр. 31). Сам С. Н. Глинка так излагает этот эпизод в своих «Записках»: «По возвращении моем из Петербурга, когда я явился в цензурный комитет, меня встретили торжествующие лица профессоров-цензоров. Они смотрели на меня с лукавою улыбкою и будто неумышленно спрашивали: читал-ли я послание Пушкина к князю Ю[супову], [раскритикованное перед тем в М. Т., см. ниже, стр. 458 — В. О.]. Тут, к сожалению, и сторонний цензор, остропамятный Аксаков, вслух и наизусть прочитал несколько стихов, также сопровождая их хитрою улыбкою. Между тем цензор Снегирев, читавший Телеграф в отсутствии моем, сказал

мне откровенно, что десятая книжка Телеграфа ожидает моей подписи, т. е. та роковая книжка, в которой помещена была статья под заглавием: «Утро у знатного барина, князя Беззубова». В ней выставлен какой-то князь Беззубов, имевший собак Жужу, Ами и любовницу, какую-то Александру Ивановну, чистившую князя по щечкам за то, что он упрекал ее за нескромное гулянье в Марьиной роще с французом и снова заключившую с ним мир за ломбардный билет в двадцать тысяч. Возвратясь из Петербурга за неделю до срока отпуска я мог бы отказаться от цензурования этой книги Телеграфа, но я всегда стыдился, как говорит пословица, чужими руками жар загребать. Взяв десятую книжку Телеграфа, пошел я в типографию г. Семена; читаю: в глаза мне тотчас бросился стих из послания, предлагающий перетолкователям намек на князя Ю[супова]. Отправляю к издателю Телеграфа записку, прося его исключить этот стих. Получаю в ответ, что он не намерен исключить ни одной буквы. Что же оставалось цензору? Повиноваться уставу, ибо он не дозволял цензорам никаких замечаний. Я пропустил статью. При первом заседании г. Двигубский объявляет мне, что попечитель отстраняет меня от цензурования Телеграфа и запрещает журнал. «Он не имеет права, один государь предоставил себе право дозволения журналов и запрещения их. А если находят меня в чем виноватым, то на основании устава я требую суда». — На следующий день С. Глинка был вызван к кн. С. М. Голицыну, где имел с ним жаркое объяснение, которое имеет в виду, вероятно, Кс. Полевой на стр. 254—255 своих «Записок» (С. Глинка пишет: «От возгласов попечителя и презрительных улыбок ученых голов кровь у меня сильно кипела, я чувствовал, что из ног кровь быстро приливает к голове, а потому и торопился выйти. . . выхожу и кровь брызнула у меня из носу и шла в продолжение трех суток» — см. «Записки», 1895, стр. 356—358). Кс. Полевой ошибается, заявляя, что С. Глинка «вышел в отставку»: он «слетел с цензорского стула» (Ibid), был уволен по высочайшему повелению. А. Ф. Воейков писал Ф. Н. Глинке (7 октября 1830 г.): «Сатана Полевой соблазнил вашего брата и погубил» (см. «Литературный Вестник», 1902, т. IV, кн. 8, стр. 348). Кн. П. А. Вяземский ходатайствовал о Глинке в письмах к Е. М. Хитрово и Д. Г. Бибикову (см. Р. А., 1899, кн. II, стр. 83—88 и «Отчет имп. публичной библиотеки» за 1895 г., приложение, стр. 56—62; там же «Записка о С. Н. Глинке»). См. также: Н. Барсуков — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. III, стр. 19—23; Б. Модзалевский — «Послание к Вельможе» (его сборник «Пушкин», 1929, стр. 399—410); Н. Козмин — «Из истории русского романтизма», 1903, стр. 501—502. — Достоинно замечания, что после появления в печати фельетона Н. Полевого «Утро в кабинете знатного барина», по Москве распространился слух будто бы Юсупов приказал своим лакеям «отколотить» журналиста (см. «Щукинский сборник», I, 1902, стр.

189). Сплетня эта была подхвачена литературными врагами Полевого и с торжеством обсуждалась на страницах журналов (см. «Le Figet», 1830, № 62; «Славянин», 1830, ч. XV, № 16, стр. 334; № 18, стр. 475 — 481 и № 19, стр. 85 — 87; «Литературная Газета», 1830, № 45). — Укажем, что содержание С. Глинки на гауптвахте, описанное Кс. Полевым на стр. 255—257, имело место в январе 1830 г. «по высочайшему повелению» за пропуск статьи С. Т. Аксакова: «Рекомендация министра» (в «Моск. Вестнике», 1830, № 1) и стихотворения С. Тепловой: «К***» (в альманахе «Денница» на 1830 г.); см. об этом: «Щукинский сборник», вып. I, 1902, стр. 296—297; «Остафьевский архив», т. III, стр. 209; Р. А., 1882, кн. III, стр. 132; М. А. Дмитриев — «Мелочи из записки моей памяти», 1869, стр. 109.

На стр. 261 Кс. Полевой упоминает о двух профессорах московского университета: П. и В. — Имеются в виду, вероятно, Д. М. Певешиков и Д. Е. Василевский (см. о них в указателе имен).

Что касается полемики Н. Полевого с М. Т. Каченовским в 1828 г. (см. Кс. Полевой, стр. 259—263), то ее история вкратце сводится к следующему: в конце 1828 г. Каченовский печатно объявил, что с нового года журнал его «Вестник Европы» будет издаваться им, Каченовским, единолично, без всякого содействия Московского университета. В статье Никодима Надоумки (Н. И. Надеждина) — «Литературные опасения» (напечатанный в В. Е., 1828, № 21) — отмечалось «беспомощное состояние» современной литературы и журналистики, «усилия партий водрузить знамена на земле, которая не была воздвигнута их трудами», и давались читателям обещания, что один только В. Е. будет поддерживать честь и достоинство словесности. Н. Полевой ответил (под псевдонимом «И. Бенигна») едкой статьей: «Новости и перемены в русской журналистике на 1829 г.» (см. М. Т., 1828, ч. XXIII, № 20, стр. 490—493), где В. Е. — «старцу по летам» — предлагалось «признаться в незнании своем, приняться за дело скромно, поучиться, бросить свои смешные предрассудки, заговорить голосом беспристрастия». Каченовскому предъявлялись в этой статье обидные вопросы: «Оспаривая у других права литературного судьи, он дает повод у него потребовать доказательств на его право: где они? — Журнальные статейки, выходы на Карамзина, Жуковского, Буле, Калайдовичей, полдюжины диссертаций из чужих материалов, переделка статей Баузе, перевод вздорного романа («Тереза и Фальдони» — Леонара), перекроение с польского «Хрестоматии» Якобса, смешные споры, коими пестрился иногда В. Е. — вот все, чем устали себе издатель В. Е. дорогу в храм литературного бессмертия в течение 25 лет! Ни одной книги, достойной внимания, ни одной самобытной замечательной статьи в 25 лет!..» В другой статье И. Бенигны — «Литературные опасения кое за что (М. Т., 1828, № 23, стр. 358) — Н. Полевой еще раз подверг жестокой критике

всю литературную деятельность Каченовского в форме разговора «Бенигны» с «Желтяком» (т. е. Н. И. Надеждиным), где, между прочим, вспомнил «постыдные выходки» Каченовского по поводу купеческого звания и водочного завода издателя М. Т. (см. В. Е., 1825, № 10, стр. 152; № 13, стр. 70—74 и № 21, стр. 74). Каченовский ответил Полевому в примечании к статье Никодима Надоумки — «Отклики с Патриарших прудов» (В. Е., 1828, № 24, стр. 304): «Здесь приличным почитаю объявить, что препираться с Бенигнуою я не имею охоты. . . а теперь не имею на то и права, предприняв другие меры к охранению своей личности от игривого произвола сего Бенигны и всех прочих. Я даже не читал бы статьи Телеграфической, еслиб не был увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором имею счастье продолжать оную» (т. е. к Московскому университету. — В. О.) «Другие меры», предпринятые Каченовским, — формальная жалоба, поданная им в цензурный комитет на цензора С. Н. Глинку, пропустившего в печать статьи Бенигны. Комитет запросил у Глинки объяснений и решил спорное дело в пользу Каченовского. Только один член цензурного комитета — В. В. Измайлов стал на сторону Глинки и подал особое мнение. Дело было передано в Петербург, в Главное управление цензуры, которое в конце концов оправдало С. Глинку. Жалобу Каченовского, где он доказывает, что Бенигна затрагивает не только его личную честь, но и честь всего Московского университета, а также объяснения Глинки, см. у Н. Барсукова — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 265—275. Ср. также «Записки С. Н. Глинки, стр. 352—353.

В этой полемике принял участие также А. С. Пушкин, выступивший со статьей «Отрывок из литературных летописей» (в «Северных Цветах» на 1830 г.) и с эпиграммой: «Журналами обиженный жестоко» (в М. Т., 1829, ч. XXVI, № 7, стр. 257), где встал на сторону Полевого, который, конечно, приветствовал выступление Пушкина, заметив, однако, что «шутливый Бенигна» доставит ему вскоре «новый случай к такой же статейке, где вместо В. Е. второе лицо составят совсем другие, и, может быть, более значительные, знаменитые в литературе лица» (т. е. «литературные аристократы», с которыми враждовал в ту пору Полевой). «Будет-ли только поэт так же беспристрастен тогда, как теперь?» — спрашивал Полевой в заключение (см. М. Т., 1830, ч. XXXI, № 1, стр. 82). — История этой полемики, распространившейся почти на все московские и петербургские журналы, прослежена Н. Козминым в «Сочинениях Пушкина», изд. Ак. наук, т. IX, ч. 2, 1929, стр. 111—129 (там же указана библиография).

В начале четвертой главы Кс. Полевой упоминает о полемике своего брата с Н. И. Надеждиным, выступившим в «В. Е.» М. Т. Каченовского под псевдонимом «Никодим Надоумко» с рез-

кой критикой русской романтической школы. Надеждин заново поставил на разрешение вопрос о классицизме и романтизме в искусстве; возражая против «романтического завывания» и «байронизма» современной поэзии, он, вместе с тем, не являлся защитником идей ортодоксального классицизма, воодушевлявшего литературных староверов типа Каченовского (по словам Белинского, Надеждин «был не совсем искренним поборником классицизма, так же, как и не совсем искренним врагом романтизма»). Poleмические выступления Никодима Надоумки в значительной мере были заострены против Н. Полевого как теоретика «новой европейско-романтической школы» в России, выражавшего идеи социально-политического радикализма, характерные для группы французских «неистовых» романтиков 1820-х гг. — Позднее, в своих показаниях по делу о «Философических письмах» П. Я. Чаадаева, Надеждин писал: «В 1829 году я явился на литературное поле. Мои первые статьи были напечатаны в издававшемся тогда В. Е. Я восстал в них с жаром против вредного направления, обучающего нашу словесность под именем романтизма, и с особенным ожесточением преследовал М. Т., бывший тогда главным органом новой европейско-романтической школы. . . Направление мое было: против одействовать ложным, вредным идеям, заносимым к нам с Запада. . . Смею указать на все мои статьи, помещавшиеся в «Телескопе» и «Молве» в 1831 и 1832 годах: они исполнены чистейшей преданности к великому государю и отечеству, проникнуты глубочайшим негодованием против так называемого европейского, губительного просвещения. Я вел тогда газетную полемику с М. Т. и квасной патриотизм, любимое выражение этого журнала, был особенным предметом моих нападений» (см. М. Лемке — «Николаевские жандармы и литература 1825—1855 гг.», 2-е изд., 1909, стр. 433). Таким образом борьбу с Н. Полевым и «вредными идеями» М. Т. Надеждин полагал едва ли не государственной своей заслугой. Еще позже, уже на склоне своих лет (в 1854 г.) Надеждин написал «Автобиографию», где Н. Полевому посвящено несколько более благосклонных строк: «В это время [конец 1820-х гг. — В. О.] Москва кипела литературною деятельностью. . . Живее всех действовал или по крайней мере громче всех кричал Телеграф, журнал, издававшийся покойным Н. А. Полевым, московским гражданином, при участии и сочувствии всех почти тогдашних литературных знаменитостей. Полевой был в то же время и частным деятелем во всех отраслях литературной деятельности. Он издавал книги, судил и рядил обо всем и умел снискать себе такой авторитет, каким редко кто пользовался в русской словесности. Известна главная тенденция этого весьма талантливого, и во всяком случае замечательного, русского писателя. Он был в полном смысле разрушителем всего старого, и в этом отношении действовал благотворно на просвещение, пробуждая застой, который более или

менее обнаруживался всюду» («Русский Вестник», 1856, т. II, стр. 57).

Выше мы уже упомянули об участии Надеждина в полемике Каченовского с Полевым в 1828—1829 г., кроме того Надеждин представлял издателя М. Т. и в других своих статьях (см., напр., В. Е., 1829, ч. 164, №№ 1 и 2 — статья «Сонмище нигилистов» и 1830, № 7, где речь идет о «бесстыдной дерзости» Полевого, «нахально выдающего себя за Кузенея и Гизотов»). Когда в 1830 г. Надеждин издал свою докторскую диссертацию «О начале, сущности и участии поэзии, романтической называемой», представляющую собой в сущности критико-полемическое сочинение под маской объективного научно-исторического исследования (задача Надеждина — доказать, что «романтизм есть то же, что атеизм, шеллингизм, либерализм, терроризм, чадо безверия и революции»), — Полевой выступил с пространной рецензией (см. М. Т., 1830, ч. 33, № 10, стр. 224), — где высмеял тяжелую бурсацкую ученость Надеждина и обрушился на его «шутки неприличные, присвоение чужого непостижимо-бесстыдное, изменение чужого неслыханное и совершенное отсутствие всех приличий» (ср. в «Новом живописце общества и литературы», ч. IV, на стр. 24 портрет семинариста, «который пишет варварской латынью, издает книги, не зная грамматики, кланяется, унижается, потом ругает тех, которые из жалости подали голос свой в пользу бедного студента»). В ответ на критику Полевого Надеждин печатно изъявил свое удивление по поводу того, как его критик, «не принадлежа собственно ни к государственным чиновникам, ни к сословию ученых, может присвоить себе право быть ревизором действий целого университета и, после одобрения университетом оной диссертации и удостоения г. Надеждина высшей ученой степенью доктора, смеет столь дерзко поносить и сочинение, и сочинителя?» (см. «Моск. Вестник», 1830, № 21—22, стр. 110—124, под псевдонимом: «Прямилов из села Тихомирова»). Это было уже очень похоже на донос полиции, впрочем Надеждин не гнушался и прямыми доносами: грозил Полевому уголовным преследованием, доводил до сведения начальства о сочувственном отношении Полевого к июльской революции 1830 г. и утверждал, что литературно-критическая деятельность издателя М. Т. имеет самое вредное влияние на «молодые умы». В «Молве» и «Телескопе» Надеждин беспрестанно объявлял о недостаточной любви Полевого к отечеству, о «посягательстве» его «сделать карикатуру» на «предмет благоговения русских» — память Петра Первого и пр., и т. п. (см., напр., «Молва», 1831, № 27, стр. 9; № 27, стр. 36—39; «Телескоп», 1831, т. V, стр. 233). На страницах надеждинской «Молвы» находили место и доносы на Полевого А. Ф. Восейкова, объявившего, например, (в № 48 за 1831 г.), что «если находятся еще в России квасные патриоты, которые, наперекор Наполеону, почитают Ла-

фаэта человеком мятежным и пронырливым, то пусть они заглянут в № 16 М. Т. (на 464 стр.) и уверятся, что «Лафаэт самый честный, самый основательный человек во французском королевстве, чистейший из патриотов, благороднейший из граждан, хотя он вместе с Мирабо, с Сиесом, Баррасом, Баррером и множеством других был одним из главных двигателей революции» (подчеркнуто Воейковым).¹ Это указание Воейкова вошло, между прочим, в «список злодеяний» Полевого, составленный С. С. Уваровым и сыгравший большую роль в деле запрещения М. Т.; вообще, доносительские критики Надеждина и его сотрудников несомненно много содействовали крушению журнальной деятельности Полевого (см. также на стр. 449 наст. изд. о критике Надеждина по поводу «Истории русского народа» Н. Полевого; о печатных доносах Надеждина на М. Т. вообще см. у М. Ольминского — «О печати», 1926, стр. 16—17). В свое время Н. Г. Чернышевским была высказана любопытная мысль о том, что Надеждин оказал некоторое влияние на выработку литературно-критических мнений Н. Полевого в эпоху 1830-х гг. (см. «Очерки гоголевского периода», изд. 2-е, 1893, стр. 201 и сл.).

На следующих страницах Кс. Полевой пишет о М. Н. Загоскине. С. Т. Аксаков также отмечает, что «доброта и вспыльчивость были отличительными качествами Загоскина» (см. П. с. с., т. IV, 1910, стр. 207). Н. Полевой написал о «Юрии Милославском» Загоскина в М. Т., 1829, № 24. Успех этого романа был исключительным и «составил эпоху в жизни Загоскина» (С. Т. Аксаков), — «публика обеих столиц и вслед за нею, или почти вместе с нею, публика провинциальная, пришли в совершенный восторг» (ор. cit., стр. 227). Второй роман Загоскина — «Рославлев или Русские в 1812 г.», изданный в 1831 г., не имел уже такого успеха; Н. Полевой писал об этом романе в М. Т., 1831, № 8, стр. 534—545. См. в письме М. Н. Загоскина к Ф. В. Булгарину (1825 г.) иронический отзыв о Полевом (Р. С., 1905, № 4, стр. 204—205); известно одно письмо Полевого к Загоскину 1838 г. (см. Р. С., 1902, № 9, стр. 627).

На стр. 269—270 Кс. Полевой пишет о кн. П. И. Шаликове — издателе «Дамского Журнала» (1823—1833); где он вел с Н. Полевым ожесточенную войну в продолжение пяти лет (1825—1829). Неодобрительный отзыв о Полевом имеется еще в «Дамском Журнале» 1824 г. (ч. VIII, № 24, стр. 223—226), в статье: «Несколько слов о критике г. Полевого на книгу: «Guide du Voyageur à Moscou» (появившейся в С. О., 1824, №№ 44 и 45, под заглавием: «Письмо к приятелю»). В первой же книжке

¹ Для характеристики полемических приемов Воейкова стоит указать, что цитированное мнение о Лафайете не принадлежит Полевому, а взято из «Рассказов лэди Морган» (см. у Кс. Полевого на стр. 314 наст. изд.).



Шаликов

М. Т. Полевой задел Шаликова, посмеявшись над «чувствительностью» и бездарностью сочинений безвестных стихотворцев, заполнявших «Дамский Журнал»: «Мне, признаюсь, стыдно бывало читать журналы, особенно для женщин назначенные. Неужели милая, умная женщина... не возвышается понятием далее водевильного куплета или водяного мадригала?» (М. Т., 1825, № 1, стр. 8—9). «Дамский журнал» поспешил занять также боевую позицию; большую роль сыграли при этом модные картинки, прилагавшиеся к М. Т.: Шаликов усмотрел в этом посягательство на свое монопольное право обслуживать «прекрасных читательниц».

В неизданном письме к гр. Д. И. Хвостову от 24 марта 1825 г. Шаликов писал: «Ах! стоит ли такая тварь, как Полевой, торгаш ремеслом и душою, чтобы вы обращали на него благосклонность свою, которую ценить не созданы ум и сердце, преданные одной низкой корысти! Характер этого водочного погребщика обнаружился довольно Телеграфом, открывшим и открывающим более и более тайны — его дерзости: первая видна была из похищения картинки, принадлежащей мне, испросившему привилегию издавать ее в Дамском Журнале, ему одному и пристойной. Я имел бы право протестовать на сию несправедливость, похитившую у меня в то же время три части подписчиков, но не хотел беспокоить Александра Семеновича [Шишкова — министра народного просвещения. — В. О.] при начале его многотрудных занятий» (ИРЛИ).

Не имеет смысла останавливаться подробно на полемике М. Т. с «Дамским Журналом»; в большинстве случаев нападки Шаликова носили мелочной характер и отличались только крайней неумеренностью тона и забвением литературных приличий. Крайней библиографию некоторых статей и заметок: см. «Дамский Журнал», 1825, ч. IX, № 3, стр. 125; ч. X, № 10, стр. 132 (ответ Полевому, заявившему в М. Т., № 2: «Мы хотели говорить много против «Дамского Журнала», но по справке нашей о капиталах своих, не оказалось у нас, к несчастью, ни одной мысли в голове, ни одного чувства в сердце — следовательно объявляем себя несостоятельными»); *Ibid.*, стр. 148—154 (здесь осуждены «скучный педантизм» и «несносная самоуверенность», господствующие в М. Т.; ср. резкий ответ Полевого — «Издателю Дамского Журнала» в прибавлении к № 14 М. Т.); *Ibid.*, № 11, стр. 205—208; ч. XI, № 15, стр. 104—108; 1826, ч. XIII, № 1, стр. 43—44; *Ibid.*, № 6, стр. 255—259; ч. XIV, № 7, стр. 45 и 48; 1827, ч. XVII, № 3, стр. 127 и 134; № 4, стр. 189—202; № 5, стр. 237—238; № 6, стр. 319 (куплет А. И. Писарева: «Гнавши водку для желудка»); ч. XVIII, № 7, стр. 16—18, 32—39 (ср. М. Т., 1827, ч. XIV, стр. 44—45 и 79—81 и 54—57); *Ibid.*, № 8, стр. 109—113; № 9, стр. 171—178; № 10, стр. 211—220; № 11, стр. 253—261; № 12, стр. 302—313 и 318—323;

ч. XIX, № 13, стр. 33—39; № 17, стр. 212; № 18, стр. 244—251; ч. XX, № 19, стр. 16, 17—18, 38—42; № 22, стр. 151—154 (ср. В. Е., 1827, № 18, стр. 150); 1828, ч. XXII; № 8, стр. 67—75; к № 9 (ч. XXII) приложено отдельное добавление на французском языке «*Quelques remarques sur la lettre de M-r P—y adressée au Rédacteur du Télégraphe de Moscou*» на 22 стр.; № 11, стр. 204—213 (ср. М. Т., 1828, № 22, стр. 165 и сл.); ч. XXIII, № 13, стр. 9—11 и 40—41; ч. XXIV, № 23, стр. 148; 1829, ч. XXV, № 2, стр. 27—28 (письмо Н. Ф. Остолопова по поводу неблагоприятного отзыва о его переводе Вольтеровой трагедии «*Магомет*» в М. Т., 1829, № 17; см. ответ Полевого в М. Т., 1829, № 1); *Ibid.*, стр. 30; № 12, стр. 186—188 (письмо к издателю некоего Н. Нефедьева, называющего М. Т. «вместилищем примеров предосудительных, даже вредных для нравственности и общего порядка»); ч. XXVI, № 15, стр. 25—27; № 19, стр. 86—90; № 22, стр. 140—141; ч. XXVII, № 27, стр. 5—8 и ч. XXVIII, № 28, стр. 22—23. — «*Дамский Журнал*» с особенным удовольствием издавался над купеческим происхождением и водочным заводом Н. Полевого и награждал его самыми «презрительными» кличками: винокур, торгаш, «трехгильдейный бирюч литературный», «мещанин, торгующий напитками», «вылезший из мрачной глубины погреба» и т. п. М. Т. в «*Дамском Журнале*» назывался обычно «*Бомбайской каланчой*», название это привилось и перекочевало в другие журналы (см., напр., «*Славянин*», 1829, ч. VI—VII, стр. 202—208). Эпиграммы на Полевого из «*Дамского Журнала*» см. в нашей книге «*Эпиграмма и сатира*», т. I, 1931 (стр. 257—260). — Почему именно и при каких обстоятельствах Шаликов прекратил свои нападения на М. Т. — неизвестно; во всяком случае в 1832 г. «*Дамский Журнал*» уже выступал на защиту Полевого от нападок Воейкова (см. ч. XXXVIII, стр. 28—29).

На следующих страницах Кс. Полевой пишет о мире, неожиданно заключенном между М. Т. и журналами Булгарина — Греча в середине 1827 г. Еще в мартовской книжке М. Т. за 1827 г. Н. Полевой писал, что тот оскорбит его, кто подумает, что он хоть чтонибудь общего имеет с издателями «*Северной Пчелы*» (см. № 3, стр. 123, подчеркнуто Полевым); «вражда» еще была в полном разгаре и послужила даже темой для веселого водевиля П. Каратыгина «*Знакомые незнакомцы*» (написан и представлен в 1827 г., издан в 1830 г.; ср. «*Записки*» П. Каратыгина, т. I, 1929, стр. 300); Вяземский продолжал тревожить Булгарина и Греча в фельетонах «*Журнального сыщика*» (см., напр., 1827, ч. XV, № 9, отд. II, стр. 45—51). Больше того, именно к 1827 г. относятся доносы на Полевого, поданные в III Отделение, автором которых почти наверное был Булгарин (см. ниже, стр. 471). Тем более неожиданной может показаться, на первый взгляд резкая, перемена в отношениях Полевого с петербургскими журналистами,

хотя конечно эта перемена на деле не являлась лишь следствием тактических комбинаций, а имела под собой более сложные и глубокие причины (см. вступительную статью). Получив от Булгарина в дар его «Сочинения», Полевой напечатал о них почти хвалебный отзыв (см. М. Т., 1827, ч. XVIII, стр. 312—315), заявив, что «не может отказать автору в должной похвале». Еще прежде этого в М. Т. появилась благосклонная рецензия о «Практической русской грамматике» Греча (Ibid., стр. 140—145); здесь Греч был признан «отличным прозаиком», а Булгарин — «литератором, подающим большие надежды». Сохранилось письмо Булгарина к Н. Полевому от 19 января 1828 г. с выражением благодарности за прием, оказанный в М. Т. его сочинениям и с комплиментами по адресу Полевого — «первого журналиста московского»: «Я сознаюсь, не надеялся от вас и этого» — написал Булгарин — «и ваши строки удивили меня и заставляют верить словам общих наших друзей, Мицкевича и Малевского, на ваш счет» (см. Р. С., 1871, т. IV, стр. 678—680; любопытно, что польские друзья Полевого, повидимому, содействовали его примирению с Булгариным). Достоин внимания, что еще в январе 1828 г. Булгарин не предполагал мириться с Полевым; см. в письме Булгарина к В. А. Ушакову (от 6 января 1828 г.): «Какой чорт дунул тебе в уши, что я почитаю Полевого умнейшим и честнейшим человеком... Я от роду с ним не мирился: ни он не был у меня, ни я его не посещал. Виделись мы с ним у Свинына и Сомова и говорили вежливо о посторонних предметах. Трогать его не надобно, не для него, но потому что публика скучает. Впрочем, любезный, я слишком был бы скромн, если думал, что я могу быть другом Полевого. Ни мое образование, ни образ мыслей, ни положение в свете не сближают меня с ним. Бог с ним — и только!» (Р. С., 1909, № 11, стр. 351—352).

Поездка Кс. Полевого к Петербург весной 1828 г. закрепила, повидимому, сближение с Булгариным и Гречем. Так или иначе, но мир был подписан, к вящему удовольствию журнальных антагонистов Полевого. С. П. Шевырев в статье «Обозрение русских журналов 1827 г.» отметил, как «замечательное явление», «торжественное примирение Телеграфа с Сев. Пчелою, С. О. и Сев. Архивом, после двухлетней, непрерывной, неутомимой войны, славной в летописях русской журнальной полемики, но пятнающей историю русского журнализма, как часть истории нашей словесности». — «В начале 1827 г., — пишет Шевырев, — сия война была еще во всей силе, еще горели раны, нанесенные Телеграфу знаменитыми сирами барскими и Грипусье, и памятны были С. О., Сев. Пчеле и Сев. Архиву обиды задорного Матюши. Еще в начале прошлого [1827] года отрицали все права гг. Греча и Булгарина на звание достойных писателей, а в журналах северных равномерно отвергали все достоинства издателя Телеграфа. Наконец, преисполнилась мера терпения и сподвизавшихся на поле ратном, и зри-

телей: последовало молчание; вскоре, после прелиминарных похвал, утвержден мирный договор и Грамматика г. Греча была точкою соединения. Признаны права взаимно обеими сторонами: не знаем наверно всех статей сего договора, но, вероятно, одною из них было взаимное условие хвалить друг друга» (см. «Моск. Вестник», 1828, ч. VIII, № 5, стр. 94—96; перепечатано в «Славянине», 1828, ч. VI, № 15, стр. 72—78; *Ibid.*, ч. VII, № 28, стр. 68—72 — «Прелиминарные статьи мира... с замечаниями постороннего дипломата»). Журналисты долго не могли забыть этого происшествия и неоднократно возвращались к «наступательному и оборонительному трактату» Булгарина — Греча — Полевого, «утвержденному на взаимных выгодах и верных расчетах» (см., напр., «Моск. Вестник», 1830, ч. II, стр. 386). Ср. эпиграмму, появившуюся в «Галатее» 1829 г. (ч. VII, стр. 93):

О, добродетельный порыв!
Обиды кровные забыв
И сердцу кроткому послушный,
К ногам Б[улгарина] упал
И нежно их облобызал...
Кто? Грипусье великодушный.

Но «дружба» Полевого с петербургскими журналистами не была долговечной: к концу 1830 г. они снова поссорились. Правда, в 1828—1829 гг. они не скупились на похвалы, расточаемые друг другу (см., напр., отзыв Полевого об «Иване Выжигине» Булгарина в М. Т., 1829, № 7, стр. 344—347; № 12, стр. 467—500 и № 13, стр. 65—69; рецензию на «Повести и литературные отрывки», изданные Полевым, в «Сев. Пчеле» 1829, № 72; отзыв о М. Т. — *Ibid.*, № 122 и др.). В 1829 г. Булгарин же, единственный из русских журналистов, приветствовал появление «Истории русского народа» Полевого (см. ниже, стр. 448) и писал, м. пр., следующее: «Г. Полевой, выступив на поприще литературы изданием М. Т., совершенно уничтожил другие московские журналы... Перед литературным трибуналом М. Т. рассыпалось в прах множество незаслуженных репутаций; старые педанты, молодые неучи и целые легионы безграмотных ужаснулись и восстали против смелого судьи. Правда, что в начале издания М. Т. г. Полевой следовал иногда внушениям людей, которые присвоили себе диктаторство во время всеобщего молчания в Москве [читай: внушениям Вяземского. — В. О.], и, увлекаясь пристрастными их толками, или уступая влиянию, открыл в своем журнале поприще полемике, которой целью было ратоборство с журналами [читай: с «Сев. Пчелой» и С. О. — В. О.], непреклонявшими главы пред хоругвию господствовавшей литературной партии, несправедливо прикрывавшейся блистательным именем Карамзина. Но умный Полевой вскоре сам осмотрелся, стряхнул оковы чужого влияния, свободно выступил на поприще литературы и сделал свой журнал



Греч и Булгарин

самостоятельным. Число противников его умножилось, но зато он приобрел уважение всех благомыслящих, беспристрастных любителей просвещения и стал на такой точке, к которой нынешние издатели московских журналов никогда не приблизятся» («Сев. Пчела», 1829, №№ 129 и 130). — В 1830 г. Булгарин с Полевым были еще «закадышные приятели» (см. Р. А., 1878, т. II, стр. 49 — письмо неизвестного к С. П. Шевыреву от 18 апреля 1830 г.); в М. Т. продолжали хвалить Греча и Булгарина (см. напр., № 2 и хвалебную статью В. А. Ушакова о «Димитрии Самозванце» Булгарина — в № 6, стр. 193 и сл.), но уже с начала 1831 г. война возобновилась строгим отзывом Полевого о «Петре Ивановиче Выжигине» Булгарина (см. М. Т., 1831, т. XXXVIII, стр. 231) и «Учебной книге российской словесности» Греча (см. М. Т., 1831, ч. XXXI, стр. 524 и ответ Греча в «Сев. Пчеле», № 85 — «Первое письмо в Дерпт»; см. также С. О., 1831, № 18, стр. 213 и статьи П. А. Плетнева в «Литературной Газете», 1831, № 24, стр. 197—198 и № 28, стр. 229—230, — авторство Плетнева устанавливается по его письму к Я. К. Гроту, 1844 г. — см. «Перелиска Грота с Плетневым», т. II, 1896, стр. 330).

На стр. 276 Кс. Полевой упоминает о написанной им биографии А. С. Грибоедова. Имеется в виду его статья «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», приложенная ко 2-му изд. «Горе от ума» (СПБ, 1839). Статья эта (в своей мемуарной части) служит одним из основных источников для биографии Грибоедова. — На следующих страницах К. Полевой рассказывает о встрече с Пушкиным в Петербурге весной 1828 г. — Пушкин упомянул об этой встрече в письме к М. П. Погодину от 1 июля 1828 г.: «Растволковали ли вы Телеграфу [т. е. Н. Полевому, — В. О.], что он дурак? Ксенофонт Телеграф, в бытность свою в С.-П[етербург]ге, со мною в том было согласился (но сие да будет между нами; Телеграф добрый и честный человек, и с ним я ссориться не хочу)» («Письма», т. II, 1928, стр. 52). На стр. 276 упоминается об «строумной» отповеди Пушкина на критику «Атеня». Имеется в виду статья Пушкина по поводу мелких грамматических придирок в разборе IV и V глав «Евгения Онегина», появившемся в «Атене», 1828, № 4. Пушкин так и не опубликовал своей статьи, ограничившись впоследствии тем, что некоторые отдельные положения ее ввел в примечания к «Евгению Онегину» (см. примеч. № 24, 31 и 36).

В следующей V главе, речь идет об исторических трудах Н. Полевого, в частности об его «Истории русского народа». Общую характеристику деятельности Н. Полевого в области изучения русской истории см. во вступительной статье (стр. 59—65).

Полевой отчетливо сознавал всю ответственность своего выступления и не преуменьшал значения своей инициативы в деле создания русской истории, основанной на «высших взглядах». В предид-

словии к первому тому И. Р. Н. читаем: «Мои занятия отечественной историей начались с самых юных лет моей жизни. Они изменялись по времени и обстоятельствам, и несколько раз были прерываемы; но с 1825 г. я начал уже систематическое сочинение о русской истории. До того времени все ограничивал я критикою летописей и памятников наших, приготовительными занятиями над историею всеобщею, и особенно тех народов, которых история является в связи с русскою. Меня занимала мысль: написать подробную историю России за три последние века (XVII, XVIII, XIX)... но я изменил план своей работы, распространил его и издаю полную Историю русского народа, с самого начала его до наших времен» (стр. XL—XLI; Полевой предполагал довести изложение до Адрианопольского трактата 1829 г.). Ср. в «Посвящении» Нибуру: «Утвердительно скажу, что я верно изобразил историю России, столь верно, сколько мои отношения мне позволяли. Я знал подробности событий и чувствовал их как русский; был беспристрастен, как гражданин мира» (Ibid.).

«История русского народа» была встречена в литературных и ученых кругах крайне несочувственно (хотя и собрала до 1500 подписчиков, I том был распродан в одну неделю в количестве более 1000 экземпляров и в 1830 г. был переиздан, — см. письмо Н. С. Арцыбашева к М. П. Погодину у Н. Барсукова — «Жизнь и труды Погодина», т. IV, стр. 298—299 и письмо П. В. Киреевского к С. П. Шевыреву в «Голосе Минувшего», 1914, № 7, стр. 214). Число защитников Полевого было очень невелико и их голоса потонули в бранной буре, поднявшейся со страниц почти всех журналов того времени. Один только Ф. В. Булгарин отметил «критическо-философские достоинства» И. Р. Н. (см. «Сев. Пчела», 1829, №№ 129 и 130; 1830, № 4). В 1830 г. Булгарин выступил на защиту Полевого от «отвратительных» нападений его критиков, «которые превращают литературное псприще в какое-то торжище и унижают звание литератора» (см. «Сев. Пчела», 1830, № 110). Можно думать, что Булгарин — этот присяжный рыцарь литературных битв — искренно возмущался характером полемики, развернувшейся вокруг И. Р. Н. Это была даже не столько полемика, сколько злобная травля. Ничем иным нельзя назвать статью М. П. Погодина, который начал свою рецензию об И. Р. Н. следующими словами: «Самохвальство, дерзость, невежество, шарлатанство в высочайшей и отвратительной степени, высокопарные и бессмысленные фразы, все прежние недоразумения, выписки из Карамзина, переведенные на варварский язык и пересыпанные яркими нелепостями автора, несколько чужих суждений, не понятых и не развитых, ни одной мысли новой, ни истинной, ни ложной, ни одного объяснения исторического, ни одного предположения, ни вероятного, ни сомнительного, ни одной догадки, — и по несколько строчек на странице, написанных правильно из готовых выраже-

ний — вот отличительный характер нового сочинения, если уж не грех называть сочинением всякую безобразную компиляцию». «Читатели Моск. Вестника, — добавляет Погодин, — верно удивляются тону, в каком начинается эта рецензия, но как, спрашиваю, можно говорить иначе с журналистом, который в чаду своих страстей забылся до того, что ругается над священными трудами всех наших писателей в самых оскорбительных выражениях, звонит о новых своих мыслях, — и только переписывает, портит старое, не прибавляя решительно ничего своего, стыдит всю русскую литературу, м'о р о ч и т публику?» («Моск. Вестник», 1830, ч. I, стр. 165—190; ср. *Ibid.*, ч. VI, стр. 165—200 — рецензия о II т. И. Р. Н.).¹ Столь же резкой и необоснованной была статья Н. И. Надеждина, в которой, по словам Пушкина, «брань доведена до иступления». Надеждин назвал И. Р. Н. — «безобразным хаосом уродливых слов, скрипящих под тяжестью уродливых мыслей, нахватанных и оттуда и отсюда — без разбора, плана и цели», «печальным опытом судьбы, ожидающей самолюбивое невежество, ищущее прикрыть свою ничтожность бесстрашною дерзостью» (см. В. Е., 1830, ч. 170, № 1, стр. 38—72; ср. *Ibid.*, ч. 173, стр. 276—302 — рецензия о II т. И. Р. Н., автор которой также, повидимому, Надеждин). — Невозможно перечислить все статьи, направленные против Н. Полевого и его «Истории»; укажем дополнительно некоторые: «Моск. Вестник», 1830, ч. II, стр. 201—204 (автор, повидимому, С. Т. Аксаков) и ч. V, стр. 202—207 (письмо к издателю А. Степанову); «Галатее», 1829, № 29 (статья Раича, перепечатанная с примечаниями А. Ф. Воейкова в «Славянине», 1829, ч. XI, стр. 374—378). С исключительным упорством преследовал Полевого историк-дилетант С. В. Руссов, выступивший с целым рядом статей в «Славянине» 1830 г. См. также памфлет: «Гостинный двор российской словесности», М., 1830 (автор — Ф. А. Улегов), где на стр. 14—20 пересказана беседа Н. Полевого с Карамзиным в «царстве мертвых», и пародийную книжку: «Подарок ученым на 1824 г. о царе Горохе», М. 1834. (перепечатана в Р. С., 1878, № 6, стр. 347—368; см. также «Библиографические Записки», 1858, стр. 17—22). Автором ее называют К. Н. Лебедева (см. Н. Барсуков — «Жизнь и труды Погодина», т. IV, стр. 208)

¹ Для характеристики отношения к «Истории русского народа» в кружке «Московского Вестника» можно привести отрывок из неизданного письма С. П. Шевырева к М. П. Погодину (от 9 марта 1830 г., из Рима): «Полевой, как писал князь Волк[онский], посвятил историю свою Нибуру. Как же ты об этом ни слова не пишешь? — Ведь это верх шарлатанизма! Я так уверен, что он не прочел его, как в бытии бога. Со всем терпением принимался я за него и прочел почти всего, а понял разве 6-ю часть — и того нет. — Рожалии, который давно уже сидит в древних, и тот пишет ко мне, что с ним не сладил. Надо быть хватом в древней истории, чтоб его всего понять и иметь к нему почтение, нужное для посвящения книги. Это штука шарлатанская!» (ИРЛИ; ср. отзыв Шевырева об И. Р. Н. на стр. 427 наст. изд.).

и некоего Закревского (см. «Дневник И. М. Снегирева», т. I, 1904, стр. 152). Сам Полевой в ответ заявил, что «все привязки, крики, вопли критиков на И. Р. Н... не будут удостоены с его стороны никаким ответом» (М. Т., 1830, ч. XXIII, № 9, стр. 103).

Значительную роль в полемике 1829—1830 гг. сыграло и то обстоятельство, что Полевой, планируя свою И. Р. Н. в 12 томах, объявил подписку на несуществующее еще сочинение, причем деньги взимались вперед за все 12 томов. Между тем издание затягивалось: в 1833 г. вышел только VI том и оказался последним (изложение было доведено до середины царствования Ивана Грозного). Антагонисты Полевого воспользовались этим обстоятельством и обвинили своего противника в шарлатанстве, купеческой оборотливости и спекуляции. По этому поводу было написано множество колких эпиграмм, часть которых вошла в наш сборник «Эпиграмма и сатира», т. I, 1931 (см. стр. 260—262 и 345); об обмане Полевого распевали даже куплеты в водевилях:

Если автор объявляет,
Что он книгу издает,
И подписку собирает,
Чтобы деньги взять вперед:
Деньги дай, деньги дай,
Но уж книг не ожидай.

(из водевиля Ф. Кони — «Жених по достоверности», см. «Молва», 1832, № 102). Не обошли молчанием «проделки» Полевого и «литературные аристократы»: см. статью П. А. Вяземского об И. Р. Н. в «Литературной Газете», 1830, № 31, стр. 252, и стихотворение Пушкина «Французских рифмачей суровый судия» (1833), где упоминается «писака, собирающий подписку на будущие враки».

Особо стоит вопрос о критике И. Р. Н. из лагеря «литературных аристократов». Острота их полемики с Полевым-историком подчеркивается тем обстоятельством, что за перо взялись признанные вожди группы — Вяземский и Пушкин. Критика Вяземского (см. упомянутую выше статью его в «Литературной Газете», 1830, № 31) — критика справа; его интересует не столько самая историческая позиция Полевого, сколько то, что он «истощил в оскорблениях памяти Карамзина и труда его все, что могла избрести ожесточенная ненависть». Значительно более принципиальна и содержательна критика Пушкина, ответившего Полевому двумя обширными статьями, содержащими подробный критический разбор И. Р. Н. (см. «Литературную Газету», 1830, № 4, стр. 31—32 и № 12, стр. 96—98; см. также черновые наброски т. н. «программы третьей статьи об И. Р. Н.», где Пушкин изложил собственную концепцию русского исторического процесса). Возражая Полевому, Пушкин в то же время пытался в какой-то мере сохранить объективность тона: его статьи, пожалуй, самое благосклон-

ное из всего, что было написано об И. Р. Н. (исключая, конечно, панегирик Булгарина); Пушкин не только высказывается против полемических приемов Погодина и Надеждина, но и отмечает некоторые достоинства труда Полевого. 1830 год, когда были написаны статьи Пушкина об И. Р. Н., — имеет в его биографии особое значение. Именно в это время он осознает закономерность и неизбежность социальных сдвигов в капитализирующейся России («Понятна мне времен превратность, не прекословлю, право, ей»), осознает и свою собственную социальную и литературную позицию как позицию литератора-профессионала, много и подробно пишет о своем «буржуазном перерождении». В свете этого может быть объяснен повышенный интерес Пушкина к опыту построения буржуазной истории Н. Полевого (ср. замечания М. Н. Покровского в статье «Пушкин-историк», в V т. «Сочинений Пушкина», изд. 1931 г., стр. 5—15).

Н. Полевой неоднократно пытался продолжить свою работу над И. Р. Н.; так, напр., в 1834 г. он сообщил в письме к О. И. Сенковскому, отрывки из которого появились в «Библиотеке для чтения» (кн. IV, отдел «Литературная Летопись»), что VII т. И. Р. Н. «приготовлен к печати»; а VIII — «готовится» (отрывок из VII т. был издан в 1859 г. в Берлине под заглавием: «Царствование Иоанна Грозного»; другой отрывок о царе Михаиле Федоровиче был напечатан еще самим Полевым в «Библиотеке для чтения», 1837, кн. IV). В 1838 г. Полевой снова решил возобновить издание своей истории, которую планировал уже не в 12, а в 18 томах; VII том был даже подан им в цензуру, но какова была его цензурная судьба — неизвестно (см. «Дневник Н. А. Полевого» в «Историческом Вестнике», 1888, № 3, стр. 666, 667). В С. О., 1838 г. (т. IV, отд. III, стр. 121—138) был напечатан отрывок из VIII тома (о Борисе Годунове), причем Полевой объявил в примечании, что «после четырехлетней остановки снова приступает к печатанию обширного труда своего и исполнению тем обязанности своей перед публикою»; там же Полевой сообщил, что тт. VIII — XII «вполне окончены в рукописи». Попытки Н. Полевого вернуться к И. Р. Н. продолжались до 1843 г. (см. его письмо к брату в «Записках» Кс. Полевого, изд. 1888 г. стр. 560—561).

На стр. 283 Кс. Полевой упоминает (в примечании) об участии своего брата в общественной жизни Москвы 1820—1830-х гг. Московское купечество неоднократно выдвигало Н. Полевого, на ответственные посты в своих учреждениях и посылало представлять от лица купеческой общины в различных общегосударственных комиссиях и комитетах. В январе 1829 г. Полевой был избран членом совета Московской практической академии коммерческих наук (в 1832 г. был переизбран на второе трехлетие, а в 1835 г. вышел из совета «по своему желанию»); связь его

с академией установилась ещё в 1827 г., когда он был избран в почетные члены Общества любителей коммерческих знаний, существовавшего при академии (см. «История Моск. практич. академии коммерч. наук», сост. И. Глебов и Д. Иванов, М., 1860, стр. 137—138, 144, 151, 152, 203—206). В 1828 г. Полевой был избран членом московского отделения Мануфактурного совета и, в качестве такового, принимал участие в организации выставки промышленных изделий, открытой в Москве в 1831 г., за что и был награжден орденом Анны 3-й степени (см. Р. А., 1902, т. I, стр. 78—81). Членом комитета, рассматривавшего проект нового вексельного устава, Полевой был избран в апреле 1828 г. (см. «Материалы для истории московского купечества. Общественные приговоры», т. III, М. 1896, стр. 9).

На стр. 289 Кс. Полевой вскользь упоминает о том, что кн. П. А. Вяземский «расстался навсегда» с его братом в 1829 г., «когда прочел в М. Т. критику творения Карамзина». Это сообщение нуждается в уточнении и дополнении. Разрыв Вяземского с Полевым произошел прежде 1829 г., намечался он уже в конце 1827 г.: 12 ноября Вяземский сообщает А. И. Тургеневу о своих планах организации собственного журнального предприятия «Современник», типа трехмесячных английских «Review», при участии Пушкина, Жуковского и Дашкова (см. «Остафьевский архив», т. III, стр. 166), а 18 ноября пишет тому же Тургеневу: «Я хлопоту о журнале [М. Т. — В. О.], а между тем, вероятно, мое журналистическое и авторское поприще кончится с нынешним годом» (Ibid., стр. 168). О своем уходе из редакции М. Т. Вяземский сообщил в письме к Н. А. Муханову от 11 декабря 1827 г.: «Я с будущего года уже не журнальный подмастерье и отказался от Телеграфа без всякой ссоры и разрыва, а так от скуки и от того, что предстоят мне многие поездки и следовательно мало времени для постоянного занятия» (Р. А., 1905, № 2, стр. 328);¹ ср. в письме к А. И. Тургеневу от 1 января 1828 г.: «Нынешний год отпускаю лошадей в поле на траву и журнальной гоньбы у меня не будет: я отказался от деятельного участия в Телеграфе и только иногда прокатываться буду на вольных. Между тем я все-таки остаюсь патроном Телеграфа, и если что у тебя будет под рукою, то доставляй мне с Толстым или Геро... Полевой про-

¹ Другой Муханов — Павел — сообщил в свою очередь эту новость третьему брату, Александру Муханову: «Вяземский в Телеграфе с 1828 года не участвует. Полевые наняли большой дом, и корчат бар — жена за чайным столиком принимает гостей — все это до крайности странно. Подписчиков более 1000, у Погодина [т. е. у «Московского вестника», — В. О.] 250... У Полевого много Английских книг — сам маракует по-ангельски [sic — В. О.]... Полевой был в Питере и с Булгариным помирился» (письмо от 26 февраля 1828 г. — «Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина», ч. X, 1902, стр. 428).

сил меня о продолжении посредничества моего между ним и ими» («Остафьевский архив», т. III, стр. 173). Нужно думать, что Вяземский действительно расстался с Полевым «без всякой ссоры» и первое время оставался «патроном Телеграфа», во всяком случае еще и в сентябре 1828 г. он «занимался текущею словесностью у Полевого с Дельвигом и Боратынским» (см. письмо к Пушкину в «Переписке Пушкина», изд. Акад. наук, т. II, стр. 77) и справлялся в письме к И. И. Дмитриеву: «А что делает мой крестник Телеграф, от которого я отрекся? Кажется, его что-то крепко жмут...» (см. «Р. А.», 1868, стр. 605). Но, тем не менее, ошибкой было бы предполагать, что Вяземский вышел из редакции М. Т. исключительно в силу внешних обстоятельств («недостатка времени для постоянного занятия» как пишет он в письме к Н. А. Муханову). Причины расхождения Вяземского с Полевым лежали глубже — в несовпадении их социально-политических и литературно-журнальных позиций (см. вступительную статью). Критика Полевого на XII т. «Истории» Карамзина только завершила процесс нарастания противоречий между издателем М. Т. и его основными сотрудниками. Они имели все основания быть недовольными друг другом. Об этом недвусмысленно заявил сам Вяземский: «Я добровольно вышел из редакции Телеграфа, когда пошел он по дороге, по которой не хотел я идти» (П. с. с. Вяземского, т. X, 1886, стр. 291) и в другом месте: «[Полевой] начал делать попытки по своему усмотрению: печатал статьи, изъявлял мнения, которые выходили совершенно в разрез с моими... Мне это не понравилось и я отказался от сотрудничества. Впрочем, может быть и Полевой рад был моему отказу. Журнал довольно окреп, участия моего было уже не нужно, а между тем, по условию, должен был я получать половину чистой выручки. Журналисту и человеку коммерческому легко было расчесть, что лучше не делить барыша, а вполне оставить его за собою. Что же? Полевой был прав и я нисколько не виню его. Был прав и я. Литературная совесть моя не уступчива, а щекотлива и брезглива» (Ibid., т. I, 1878, стр. XLVIII; какие-то денежные расчеты Полевой вел с Вяземским еще в 1830 г., см. письмо Е. А. Боратынского к Вяземскому в «Старине и Новизне», кн. V, 1902, стр. 51). Известие о выходе Вяземского из редакции М. Т. было подхвачено журналистами. А. Ф. Воейков поместил в своей газете «Русский Инвалид» (1828, № 78) следующую ядовитую заметку: «Московский Телеграф сделал весьма важную потерю; князь П. А. Вяземский не участвует в издании сего журнала; который обязан ему почти всем своим блеском и славой. Хозяин-издатель (Editeur propriétaire) Н. А. Полевой, человек трудолюбивый, с сведениями, критик беспристрастный, прозаический писатель отлично-хороший; но этого мало! Лучшие оригинальные статьи в М. Т. сообщались от друзей кн. Вяземского: от Жуковского, А. С. Пушкина, Боратынского, от

А. И. Тургенева, из Дрездена и Парижа, и от Я. Н. Толстого, также из Парижа. Статья «Журнальный сыщик» была остроумна, забавна и полезна под пером сочинителя Послания к М. Т. Каченовскому; теперь она и плоска, и вяла, и незамысловата. — Впрочем, можно надеяться, что почтеннейший издатель М. Т. поспешит приискать себе нового, столь же достойного товарища, и тем, вознаградив своих подписчиков, удержит М. Т. на первой степени между русскими литературными журналами» (перепечатано в «Дамском Журнале», 1828, ч. XXII, № 8, стр. 92—94).

Доскажем здесь же историю взаимоотношений Вяземского с Полевым в эпоху 1830-х гг., тем более, что Кс. Полевой более к ней не возвращается. Выступив со всей решительностью против Н. Полевого после появления «Истории русского народа», Вяземский тем не менее отдавал должное его успехам на журнальном поприще и, отмечая «неправильность языка» и «неправильность мыслей» Полевого, считал все же М. Т. «лучшим» из русских журналов: «Хотя зеркало и тусклое, худо шлифованное, но все он более прочих журналов отражает движения европейской умственной деятельности... художник не очень искусен, стряпанье его нередко отзывается чересчур самоучкою и поспешностью, но, по крайней мере, он имеет хорошее свойство выбирать сочную и свежую провизию, разнообразить блюда и сметливо соглашаться с требованиями, аппетитом и гастрическими способностями своих застольников». Вместе с тем Вяземский осуждал «недобросовестность» критических высказываний Полевого: «Приговоры, произносимые издателем, отзываются всегда пристрастиями, лицепрятаниями экстренного судьи, руководствующегося не внутренним убеждением, не коренными законами, а одною силою обстоятельств и личных отношений. Это настоящий революционный трибунал: опалы, торжества, казни, апофеозы, действия и противодействия сменяются и применяются с непрерывным противоречием и примерною запальчивостью к одним и тем же лицам, к одним и тем же делам, смотря по времени и посторонним принадлежностям» (см. «Литературная Газета», 1830, № 8, стр. 62 сл.). В приведенной цитате любопытней всего упоминание о революционном трибунале, это не просто дань фразеологии, но многозначительный выпад, приобретающий особый смысл на фоне полемики Полевого с «литературными аристократами» по вопросу о дворянстве и буржуазии (см. вступительную статью). Вяземский принимал в этой полемике деятельное участие и не скупился на брань по адресу Полевого, «лобызающегося» с Булгариным и составившего с ним союз «полицейских и кабацких литераторов» (см. письмо Вяземского к Пушкину от 2 января 1830 г. — «Переписка Пушкина», изд. Акад. наук, т. II, стр. 104—105, — и к М. А. Максимовичу от 23 января 1831 г. — «Отчет о деятельности II Отд. Акад. наук за 1878 г.», стр. 156—157; ср. письмо Вяземского к И. И. Дмитриеву от

13 апреля 1832 г. в Р. А., 1868, стр. 616). Самое существование М. Т. Вяземский, окончательно распространившийся в 1830-х годах со своим «Варшавским либерализмом», считал «политической неприличностью»; он писал И. И. Дмитриеву в 1834 г. по поводу запрещения журнала Полевого: «Признаюсь, существование Телеграфа в том виде, в каком он был, могло быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую; а всё жаль, что должны были прибегнуть к усиленной мере запрещения, когда давно должны были действовать законные меры воздержания. Телеграф, удержанный в границах цензуры, а не пользующийся, не в пример другим, правом какой-то лицензии, упал бы сам собой... Запрещением Телеграф в глазах многих делается жертвою...» (см. «Р. А.», 1868, стр. 638—639; ср. с отзывом Пушкина на стр. 484 наст. изд.). — В 1838 году Полевого пытались помирить с Вяземским, но, кажется, попытки эти не увенчались успехом (см. «Дневник Н. А. Полевого» в «Историческом Вестнике», 1888, № 3, стр. 659). В 1846 г. Вяземский проводил Полевого в гроб следующим напутственным словом: «Полевой имел вредное влияние на литературу: из творений его, вероятно, ни одно не переживет его, а пагубный пример его переживет, и, вероятно, надолго. Библиотека для чтения, Отечественные Записки издаются по образу и подобию его. Полевой у нас родоначальник литературных наездников, каких-то кондотвери, низвергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением» (П. с. с., т. IX, 1884, стр. 211).

На стр. 300 Кс. Полевой упоминает о шуточной поэме своего брата «Аннета»; в другом месте он также засвидетельствовал, что Н. Полевой писал «с удивительной легкостью и ловкостью... на разные комические случаи, бывавшие в приятельском и семейном его обществе. Можно было бы составить не один том из шуточных комических его стихотворений, но они были бы непонятны тем, кто не жил в искреннем его кругу. Между прочим есть целая поэма его, под заглавием «Аннета», где в шутовском рассказе он, с истинным дарованием и в прекрасных стихах, изобразил многих своих родных и знакомых» (см. «Сев. Пчела», 1857, № 151, стр. 712; поэма «Аннета» не сохранилась, памятником «легкого» стихотворчества Н. Полевого остались его пародии, собранные в альманахе «Литературное Зеркало», о котором см. ниже на стр. 458).

На стр. 300—301 упоминаются беллетристические произведения Н. Полевого: «Блаженство безумия» (появилась в М. Т., 1833, №№ 1 и 2); «Эмма» (Ibid., 1834, №№ 1, 2, 3 и 4) и «Живописец» (Ibid., 1833, №№ 9, 10, 11 и 12), вошедшие в сборник его повестей и рассказов: «Мечты и жизнь» (4 части, М., 1833—1834). Роман «Аббадонна» вышел в свет

в 1834 г. в четырех томиках (2-е изд. в 1840 г., см. также эпиграф «Аббадонны» в С. О., 1838, тт. IV и V). «Синие и зеленые» — первоначальное заглавие небольшого романа из византийской истории, изданного в 1841 г. под заглавием: «Византийские легенды. Иоанн Цимисхий. Быль X века». «Клятва при гробе Господнем» — четырехтомный исторический роман Н. Полевого, изданный в 1832 г. — В отзыве о беллетристических произведениях своего брата Кс. Полевой повторил прежние свои мысли, выраженные в неизданном письме к А. А. Бестужеву от 16 сентября 1832 г.: «Я знаю моего брата, знаю к чему способен он и не думаю, чтобы он мог быть романистом образцовым. Этот человек явление необыкновенное, историческое, если угодно; только он — не писатель. Не дивитесь такому резкому приговору, я говорю это ему самому, а вам хочу даже доказать. Этот человек рожден быть действителем на обширном поприще. Природа наделила его страстями сильными, умом редким, быстротою понятий изумительною и необыкновенною находчивостью во всяком случае. Все это показывает, что он мог бы быть гением в иных обстоятельствах. Брошенный на поприще писателя, он опередил многих, но, главное, он произвел удивительное движение во всех частях, до которых удалось ему коснуться. Какой переворот в журналистике, в истории и, уверен, в романе — от его прикосновения! Это поток, изменяющий силой своей ту почву, по которой льется он. Но такие люди не бывают никогда творцами, так сказать, окончательными. У них не достаёт ни терпения, ни внимания, ни честолюбия творить художнически. Он не художник — этим словом сказано все. Начинатель никогда не бывает творцом, или, по крайней мере, примеры в сем случае исключения. Он произведет переворот в романе, наведет на путь других, но не будет романистом истинным. Вглядитесь только в слог его: какая безотчетность! Общий порыв, общий характер прекрасен, но подробности совсем не художнические. Касательно плана он не затрудняется никогда: десять романов уже готовы у него в голове. Он с равною легкостью творит роман, пишет историю и гремит в журнале. Не показывает ли и это, что он; собственно, не романист, не историк и даже не писатель: он действитель» (ИРЛИ). — Н. Полевому-беллетристу посвящена наша специальная статья: «Русская проза 1820—1830-х годов и художественное творчество Н. Полевого» (вводная статья к подготовленному нами собранию избранных сочинений Н. Полевого).

На следующей странице Кс. Полевой упоминает об издававшемся при М. Т. сборнике: «Новый Живописец общества и литературы» (отд. изд., чч. I—VI, М. 1832; в отдельное издание не вошли некоторые статьи из «Нового Живописца», напечатанные прежде в приложении к М. Т., в частности не вошла статья «Утро в кабинете знатного барина», запрещенная цензурою). «Новый

Живописец» являлся сборником сатирических фельетонов на дух и нравы современного общества (также на различные злободневные происшествия) и в этом плане продолжал традиции новиковских сатирических журналов (что подчеркнуто и самим его заглавием). В условиях литературной жизни 1820—1830-х годов нраво-описательный очерк с успехом замещал собою публицистический фельетон и памфлет в качестве метода общественного обличения. «Новый Живописец» отнюдь не ограничивался насмешками над «бытом и нравами», но и пытался критиковать «изъяны» социально-политического порядка (взяточничество и лихоимство, судебный произвол, недостатки школьного воспитания и образования и проч.). Кроме того, «Новый Живописец» выступал и на поприще литературно-журнальной полемики (в нем осмеяны: Общество любителей российской словесности, «Сев. Пчела», «литературные аристократы» и проч.). Можно думать, что если не все, то большинство статей «Нового Живописца» имели в виду реальные современные происшествия. Свидетельство этому находим в «Записной книжке» П. А. Вяземского (1829—1830 гг.): «В № 9 М. Т., в отделе Живописец описано дело Лубянского и Таубе с именем Разумовского. Это хорошо. Только такие статьи должны бы выходить в особенной газете для обихода провинциалов... Как ни говори, а Лубянскому горько будет прочесть 9 № Телеграфа и думать, что в Пензенской губернии его читают и боятся: не прочтут ли в Петербурге и не спросят ли объяснения» (П. с. с., т. IX, стр. 122—123). А Полевой именно надеялся, что его «Живописец» будут читать в Петербурге. «Новый Живописец» объявлял: «Горе педантам, шалунам и шалуням, взяточникам, криводушным вельможам, либеральным эгоистам и всякому отребью в этом роде!.. Пусть не думают, что толстые стены спасут их от насмешки и позора, что знатное звание защитит их от пера Живописцева внука!..», «на чело знатного мерзавца, на пороки, губительные счастью и благу общественному своею обольстительною наружностью, на разврат, покрытый золотою маской, на повальные слабости своего народа и своего времени — вот куда устремляться стрелам сатиры!». Но, вместе с тем, «Живописец» заявлял о своих претензиях быть услышанными и в «высоких сферах»: «Есть пороки, недостатки, дела, которых не может преследовать правосудие гражданское и которое только свист сатирической лозы заставляет трепетать. Нападая на них, преследуя их, мы исполняем долг благомыслящих граждан, спешествуем — осмеливаемся так сказать — благим намерениям правительства, которое, развязывая у и руки своими мудрыми учреждениями, требует, чтобы мы соответствовали благим его подвигам» (см. предисловие к I т. «Нового Живописца», стр. V—XXXIX). Но «благонамеренные» попытки Полевого поставить свою сатиру на службу «мудрому правительству» — не увенчались успехом. Полевой переоценил «муд-

рость» правительства, которое вовсе не было склонно «развязывать ум и руки» издателя М. Т. и наотрез отказалось от его «споспешествования». Когда Полевой пожелал поднести экземпляр «Нового Живописца» Николаю I — ему было в этом отказано. С. С. Уваров, рассматривавший книгу, сомневался в том, «будет ли сие издание иметь благотворное влияние на нравы общие» и полагал, что «Новый Живописец» «не имеет никакого права на высочайшее воззрение» (см. Н. Ковмин — «Из истории русского романтизма», 1903, стр. 502—503). — Особый интерес представляет в «Новом Живописце» отдел литературных пародий: «Поэтическая чепуха или отрывки из нового альманаха: Литературное Зеркало» (см. ч. II, стр. 181—230), почти целиком направленный против «литературных аристократов» («знаменитых» поэтов). Здесь спародированы произведения Пушкина (Бессмыслов, Обезьянин), Вяземского (Шолье, Андреев), Боратынского, Гамлетов), Дельвига (Феофритов), Катенина (Анакреонов), Подолинского (Конфетин), Хомякова (Демишиллеров), Языкова (Буршев), Шевырева (Картофелин), Измайлова (Селедкин) и др. См. подробнее «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX веков», под ред. Ю. Н. Тынянова, 1931, стр. 421—423; там же см. самый текст пародий. См. также «Дневник В. К. Кюхельбекера», под ред. В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого, 1929, стр. 357—358.

На следующих страницах Кс. Полевой пишет о том, как встретил его брат пушкинское «Послание к вельможе» (кн. Н. Б. Юсупову), появившееся в «Литературной Газете», 1830, № 30, стр. 240—241. В уже упоминавшейся выше статье «Утро в кабинете знатного барина» содержится прямой выпад против Пушкина: секретарь князя Беззубова — Подлецов подносит ему «листок печатный» со стихами, автор которых «хвалит» князя, «говорит, что он мудрец: умеет наслаждаться жизнью, покровительствует искусствам, ездил в какую-то землю только затем, чтобы взглянуть на хорошеньких женщин, пил кофе с Вольтером и играл в шашки с каким-то Бомарше». Князь в знак благодарности велит приглашать стихотворца обедать у него по четвергам, но рекомендует секретарю «не слишком вежливо обходиться с ним; ведь эти люди забывчивы, их надобно держать в черном теле» и т. д. Через два года Полевой повторил свой выпад в «Новом Живописце», напечатав пародию на пушкинское стихотворение «Чернь» (М. Т. 1832, ч. VIII, стр. 253—254 — «Поэт. Посвящено Ф. Ф. Мотылькову»), где между прочим, читаем следующие строки:

С твоим божественным искусством,
 Зачем, презренной славы льстец,
 Зачем предательским ты чувством
 Мрачишь лавровый свой венец? —
 Так говорила чернь слепая,
 Поэту дивному внимая;

Он горделиво посмотрел
На вопль и клики черни дикой;
Не дорожа ее уликой,
Как юный, бодрственный орел,
Ударил в струны золотые,
С земли далеко улетел,
В передней у вельможи сел
И песни дивные, живые
В восторге радости запел.

Пушкин, естественно, пришел в страшное негодование и набросал «ответ» Полевому, где писал: «Один журналист принял мое послание за лесть итальянского аббата... заставил вельможу звать меня по четвергам обедать. Так-то чувствуют они вещи и так-то описывают светские нравы... Ныне последний из писак, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безымянные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете» (см. «Соч. Пушкина», ред. П. О. Морозова, т. VI, стр. 343 — 646). Этот эпизод хорошо характеризует взаимоотношения Полевого и Пушкина в эпоху 1830-х годов.

Несмотря на все свое раздражение, Пушкин все же щадил Полевого и никогда не вступал на путь журнальной перебранки со своим противником (участие Пушкина в полемике по поводу И. Р. Н. и статей Полевого против «литературных аристократов» носило деловой и принципиальный характер). «С Полевым Пушкин в ссоре, однако, не дышит против него всем огнем журнального гнева», — писал М. П. Розберг В. Г. Теплякову в 1830 г. (см. «Исторический Вестник», 1887, № 7, стр. 19); в марте 1830 г. они обменялись даже вполне дружескими письмами (см. «Переписка Пушкина», изд. Акад. наук, т. II, стр. 128). Самым резким выступлением Пушкина против Полевого остается, по существу, пресловутая заметка «О выходках против литературной аристократии» («Литературная Газета», 1830, № 45, стр. 72) с многозначительными упоминаниями об «эпиграммах демократических писателей XVIII столетия», приуготовивших крики «Аристократов к фонарю», и еще более многозначительным окончанием: «Avis au lecteur». Полевой истолковал заметку Пушкина как попытку вовлечь в полемику правительство и цензуру (см. у Д. Благого — «Социология творчества Пушкина», 1929, стр. 21) и ответил резкой отповедью (см. М. Т., 1930, ч. XXXIV, № 14, стр. 240 — 243), где писал о последних усилиях «жалкого литературного аристократизма» (см. подробнее во вступительной статье). Но, несмотря на полемику и взаимные обиды, Полевой все же оставался безусловным почитателем Пушкина-поэта, Пушкина-художника: см., напр., его статью о «Полтаве» (М. Т., 1829, ч. XXVI, № 7; ср. статью Кс. Полевого «О сочинениях Пушкина», Ibid., ч. XXVII, № 10), отзывы о «Стихотворениях А. Пушкина» (Ibid., ч. XXVII, № 11), о VI главе «Евгения

Онегина» (Ibid., 1830, ч. XXXII), о «Борисе Годунове» (Ibid., 1831, ч. XXXVII, № 2), большую статью о «Борисе Годунове» (Ibid., 1833, ч. XLIX, №№ 1 и 2). В 1831 г. Полевой прислал Пушкину билет на получение М. Т. и Пушкин принял это как «приятное для себя доказательство, что литературное разногласие не совсем расстроило их прежние отношения»; Полевой писал в ответ: «Верьте, верьте, что глубокое почтение мое к вам никогда не изменялось и не изменится. В самой литературной неприязни ваше имя, вы — всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что вы у нас один и единственный» (см. «Переписка Пушкина», изд. Акад. наук, т. II, стр. 206 — 207).

На смерть Пушкина Н. Полевой откликнулся некрологическими статьями в «Библиотеке для чтения», 1837, № 1 и «Живописном Обозрении», 1837, т. III, стр. 77 — 80, а в 1842 г., в рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина, писал следующее: «Пишущий эти строки не смеет причислить себя к друзьям Пушкина. Он смеет думать, что Пушкин наградил бы его, может быть, большею приязнью, даже дружбою, если бы не обстоятельства и отношения их разделяли. Смеет думать и то, что, может быть, он более других ценил, понимал Пушкина при жизни его, более многих других дорожил его славою и желал ему добра, при жизни поэта осмеливаясь беспристрастно и смело говорить ему правду и скорбя, когда, казалось ему, Пушкин не выдерживал своего характера, как человек и как поэт. Увлекаемый отношениями, о которых не хотим мы здесь говорить, Пушкин иногда оскорблялся тем, даже несколько раз бывал несправедлив, но, пылкий и добрый, он сознавался потом в своей несправедливости и до конца жизни сохранил уважение к своему критику. С 1825 г. начались наши письменные сношения, когда Пушкин жил в своей псковской деревне. Он принял живое участие в журнале, который начал я тогда издавать в Москве. . . В 1826 г., когда приехал Пушкин в Москву, дружески встретились мы, и он изъявил мне радость свою о том, но вскоре обстоятельства, а паче люди, успевшие протесниться и стать между нами, охладили нас друг к другу. С 1827 г. Пушкин принял участие в «Моск. Вестнике». Много любопытных, дополняющих характер Пушкина черт мог бы я рассказать, описывая отношения, встречи и разговоры мои с ним в течение десяти лет с 1827 г. Помнится, в 1834 г. встретился я с ним в последний раз. . . Мне казалось необходимым сказать о моих отношениях к Пушкину, как человеку, дабы устранить всякое подозрение о беспристрастии, с каким могу и хочу я говорить о нем, как о поэте, как о великом современнике нашем. Ни лесть, ни пристрастие не омрачает слов моих. Не льстил я Пушкину при жизни его, а чувство уважения к нему, чувство сознания его высоких дарований хранил я и тогда постоянно в душе моей; сии чувства пережили Пушкина и, как отголосок души моей на все прекрасное, я сохранию их до конца моей

жизни — кто знает — может быть, удаленного еще несколькими грустными годами, а может быть и близкого...» (см. «Русский Вестник», 1842, т. I, стр. 38). Кс. Полевой подробно остановился на своем отношении к Пушкину в «Сев. Пчеле», 1855, № 255 (см. также 1859, № 169).

На стр. 305—307 Кс. Полевой с негодованием цитирует и комментирует единственное письмо Пушкина к знаменитому литератору «толкучего рынка словесности» — А. А. Орлову. Кс. Полевой не понял иронического смысла этого письма, написанного в ответ на благодарность Орлова, принявшего за чистую монету статью Пушкина — Ф. Косичкина «Торжество дружбы, или оправданный А. А. Орлов» (памфлет на Булгарина и Греча). Таким образом и Кс. Полевой, подобно Орлову, стал жертвой мистификации Пушкина. Повидимому, и Н. Полевой принял пушкинское письмо к Орлову всерьез (см. М. Т., 1831, № 9, стр. 448). Ср. «Сочинения Пушкина», изд. Акад. наук, т. IX, ч. 2, стр. 443—465).

На следующих страницах Кс. Полевой пишет о С. С. Уварове, И. В. Киреевском и М. А. Максимовиче. Об Уварове и роли, которую играл он в запрещении М. Т. — см. ниже, в комментариях к следующей главе. — Об И. В. Киреевском см. в указателе имен. Оценка литературно-критических способностей Киреевского, которую дает Кс. Полевой — в корне неверна: Киреевский принадлежит к числу выдающихся русских критиков и публицистов первой половины XIX века. Журнал, который начал издавать Киреевский — «Европеец» (1832), запрещенный на третьей (а не на первой, как пишет Кс. Полевой) книжке за программную статью Киреевского «XIX век». В своем ответе на статью Киреевского — «Обозрение русской словесности 1829 г.» Кс. Полевой резко возражал против «аристократства, неуместного в литературе, и несправедливого» (персонально задеты им Пушкин, Вяземский, Дельвиг, Боратынский и И. И. Дмитриев) и расхвалил Н. И. Греча: «Сей умный, образованный, изящный писатель оказал словесности нашей услуги важные. Он первый начал говорить языком правды и беспристрастия с писателями русскими... В течение десяти лет Греч почти один оживлял журнальную и критическую часть нашей литературы» и т. д. (М. Т., 1830, № 2, стр. 203—232).

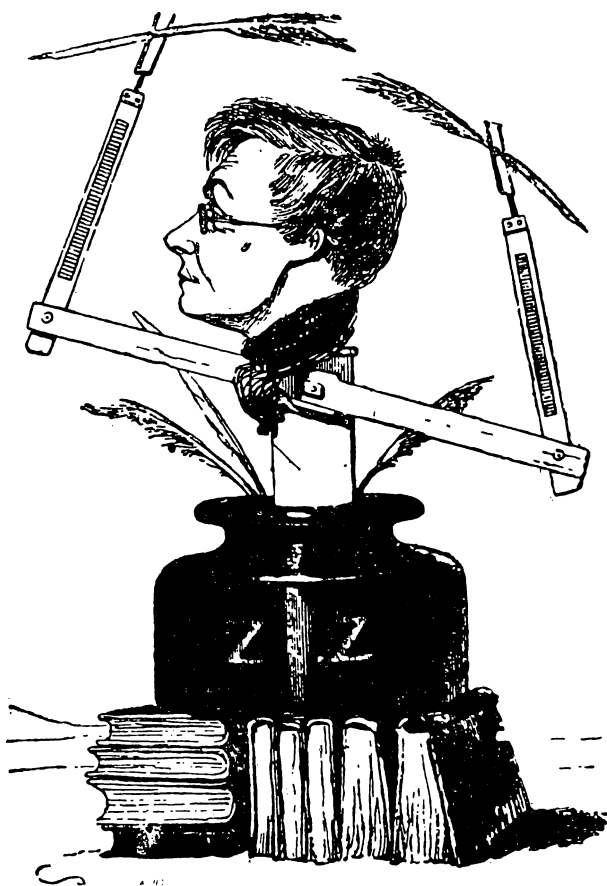
М. А. Максимович принадлежал к числу старинных знакомых Полевых (см. текст, стр. 176); по свидетельству самого Максимовича, знакомство их восходит к 1820 г.: «В. С. Филимонов был первый поэт, позвавший меня, первогодного студента, в мае 1820 г., к себе на обед, на котором был и подстриженный в кружок в длиннополом синем сюртуке Николай Полевой, торговавший тогда в Москве сладкою водкою, Ф и л и м о н о в к о ю, но в то же время уже писавший статьи в В. Е. . . Тогда началось мое знакомство с знаменитым издателем М. Т.» (см. Н. Барсуков — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, стр. 95—96); впоследствии Ма-

ксимович принимал деятельное участие в М. Т. (см. текст, стр. 177), где писал, между прочим, под псевдонимами: W. W. (1825—1826) и Н. Пец-Галуховский (см., напр., 1827, ч. XIII, стр. 236). Максимович следующим образом изложил историю своего расхождения с братьями Полевыми: «Я с прискорбием доскажу вам, — пишет Максимович М. П. Погодину в 1870 г., — то, чего не досказал Ксенофонт в упомянутых вами Записках [изд. 1860 г. — В. О.], которых и знать не хочу. Только с моим мало-российским долготерпением и упорством не хотел я прервать давнюю приязнь с ними. Но когда я неожиданно узнал, что они, либеральничая напропалую в своем «Телеграфе», в то же время шпионичали ежесубботными доносами Булгарину и Гречу на московских литераторов; когда в одну ночь у меня, заночевавшего у них (на Дмитровке) по случаю непогоды, Ксенофонт проник в мой карман боковой и там нашел письмо моего покойного благожелателя О. М. Сомова, к сожалению, в тот же день мною уничтоженного, — и, полагая меня спящим, пересказывал содержание его брату Николаю, — после того я, хотя и с большою душевною, но должен был расплываться с этими торгашами, оставив себе только уважение к старшей сестре их К. А. Авдеевой, на старшей дочери которой, Александре, женился мой любезный товарищ М. П. Розберг» (Р. А., 1882, т. III, стр. 184—185; там же письмо М. П. Погодина к С. П. Шевыреву: «Максимович рассорился с Полевыми и написал к нему отзыв: я оставляю вас, разумеется, не первый, но уж наверно не последний»; ср. у Кс. Полевого в «Сев. Пчеле», 1859, № 129, стр. 517—518). На стр. 312 Кс. Полевой цитирует «оскорбительную» статью Максимовича, появившуюся в ответ на его разбор «Денницы»; статья эта появилась в «Молве», 1831, № 14, стр. 9—15 (ср. также статью Максимовича «Об истории философии Аста», в «Телескопе», 1831, ч. V, стр. 138—144).

О гонениях на М. Т. (Кс. Полевой, стр. 314) см. ниже, в комментариях к следующей главе.

Глава седьмая второй части «Записок» Кс. Полевого посвящена истории запрещения М. Т. Событие это означало крушение не только журнальной, но и вообще всей литературной деятельности братьев Полевых. На нем следует остановиться подробнее, тем более, что запрещение М. Т. имеет свою длинную и в высшей степени поучительную «праисторию». Крах журнального предприятия Полевых в 1834 г. — только последнее звено непрерывной цепи цензурных преследований, которые испытывала редакция М. Т. в продолжении семи лет (1827—1833).

Прежде чем перейти непосредственно к истории напряженной борьбы Н. Полевого с цензурой, коснемся связанного с ней вопроса о планах реорганизации журнала, относящихся к 1827 и 1831 гг. Уже опыт первых двух лет издания М. Т. (1825—1826)



Николай Полевой

показал Н. Полевому полную возможность расширения своего журнального предприятия. «Лестное внимание публики к Телеграфу» превзошло ожидания издателя (см. М. Т., 1826, ч. VII, отд. I, стр. 82—83; ср. письмо к П. П. Свиньину от 22 января 1826 г. в Р. С., 1901, № 5, стр. 399—400); к 1827 г. контингент читателей М. Т. выражался уже очень внушительной (по тем временам) цифрой в 1500 подписчиков, и Полевой не только возмещал расходы по изданию (выражавшиеся в сумме около 20 000 рублей в год), но и получал некоторую прибыль.

В середине 1827 г. Полевой обратился в московский цензурный комитет с прошением разрешить ему издавать, кроме М. Т., политическую газету «Компас» (при этом он, конечно, учитывал колоссальный успех «Северной Пчелы» — единственной в России политической газеты) и ученый журнал «Энциклопедические летописи отечественной и, иностранной литературы»:

«Предположив, в конце 1824 года, издавать в Москве временное сочинение под названием «Московский Телеграф», поставил я правилом для оного: соединение полезного с приятным и доставление отечественным читателям разнообразного и сколько поучительного, столько и занимательного чтения. Сего надеялся я достигнуть, помещая в «Телеграфе» статьи разного рода, из ученых иностранных новых книг и журналов, присоединив к тому: сочинения отечественных и иностранных писателей, собственно к словесности относящиеся; разные современные новости; критику на важные или замечательные явления иностранных литератур и полное критическое обозрение современной русской литературы, так что «Телеграф» составиля из следующих предметов: 1. Науки и искусства; 2. Критика и библиография; 3. Современные происшествия; 4. Словесность (стихи и проза); 5. Смесь. Объемля сии предметы, с некоторыми изменениями в наружном расположении, в течение 1825 и 1826 гг., продолжал я и в сем 1827 году продолжаю мое издание. Одобрение трудов и занятий моих может ручаться за некоторый успех моего предприятия. Имея честь удостоиться словесных, письменных и печатных лестных отзывов о «Телеграфе» от почтеннейших особ и литераторов отечественных, из коих весьма многие почтили «Телеграф» своим участием, я был, сверх того, удостоен принятия в действительные члены московского Общества истории и древностей российских, санктпетербургского Общества любителей словесности и казанского Общества любителей отечественной словесности. Осмеливаюсь заметить, что «Телеграф» получил многие одобрения во французских, немецких и английских журналах и книгах. Статьи из оного переводимы были с похвалою в иностранных журналах. Такое внимание отечественной и иностранной публики побуждало меня к дальнейшему распространению полезной цели моего издания. Несмотря на некоторый успех предприятия, я видел, что цель моя достигнута не вполне, ибо обзоры иностранных лите-

ратур были в «Телеграфе» весьма недостаточны, обозрение современных происшествий неудовлетворительно, а также и обозрение современной русской литературы.

«Главнейшим препятствием был недостаточный размер журнала; ибо хотя число листов было увеличено мною, против обещанного в программе, почти в двое, я не мог вместить в «Телеграф» ни одного отделения вполне и весьма часто любопытные и важные статьи принужден был оставлять по недостатку места. Многие известия не могли иметь цены новости, а желание ускорить сообщением вдруг разнообразных предметов замедляло появление книжек. Собирая все сие, дабы составить полное обозрение современного просвещения и настоящие летописи современной истории, нахожу я необходимым распространить и разделить содержание моего журнала, и предполагаю издавать три следующего содержания издания: 1) Газету по два раза в неделю, в которой немедленно и кратко должны быть сообщаемы новости политические и литературные; 2) Журнал, в котором должны заключаться ученого и литературного содержания статьи, сочиняемые и переводимые из лучших иностранных книг и журналов; критические разборы замечательных произведений, переводимые из иностранных сочинений, имеющих временную занимательность; наконец, 3) Журнал совершенно ученого содержания, который мог бы образовать собою авторитет русской ученой критики.

«Для выполнения такого полезного литературного предприятия, предположено мною, с будущего 1828 года, сверх «Телеграфа», еще издание газеты: «Компас» и журнала: «Энциклопедические летописи». Расположение как «Телеграфа», так и сих изданий предназначается следующее:

«Компас»

«Политическая и литературная газета должна выходить в назначенные дни, два раза в неделю, каждый раз по одному листу, а всего 104 номера в год. Содержание оной: 1. Известия о современных происшествиях во всех частях света, извлекаемые из иностранных ведомостей. 2. Известия о разных событиях в России, важнейших статистических переменах, ученых и художественных открытиях и изобретениях и проч. 3. Ученые известия об успехах наук и искусства в других государствах, об ученых обществах, биографические и некрологические известия. 4. Иностранная библиография: известия о произведениях иностранных литератур, с краткими замечаниями. 5. Отечественная библиография: известия о всех вновь выходящих в России книгах и журналах, географических картах, важнейших эстампах и нотах. 6. Московские записки: известия о разных событиях московских, увеселениях и проч. 7. Театр; известия о новых пьесах, представляемых на С.-Петербургском и Московском театрах.

8. Известия коммерческие: о ценах товаров, вексельных и денежных курсах и других предметах, касательно коммерции отечественной и иностранной. По причине скорого выхода сей газеты, осмеливаюсь испрашивать разрешения выпуска оной из типографии, после надлежащей цензуры, и не в определенные для собрания цензурного комитета дни.

«Московский Телеграф»

«Журнал словесности, критик, наук и искусств, который, на прежнем основании, должен выходить книжками два раза в месяц, а всего 24 номера в год. Содержание оно: 1. Литература. Статьи касательно теории и критики всех вообще знаний и наук (кроме богословия, медицины, математики, физики и химии). Сочинения и переводы в стихах и прозе русских литераторов. 2. Критика. Разборы замечательных явлений иностранных литератур, переводимые из иностранных новых книг и журналов. Разборы русских сочинений, составляемые иностранными критиками, с замечаниями на оные. Разборы произведений отечественной и иностранной словесности, составляемые русскими критиками. 3. Смесъ. Переводные и сочиняемые статьи о нравах, обычаях различных народов; замечания литературные, разные известия.

«Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы»

«Сей журнал должен состоять единственно из обширных критических разборов важнейших произведений русской, немецкой, французской, английской и итальянской литературы, — как составляются известные ученые журналы: Wiener Jahrbücher der Litteratur, Gottingische gelehrte Anzeiger, Quarterly Review, Journal des Savants и другие. Разборы сии будут обнимать все отрасли знаний и будут составляемы известнейшими учеными людьми нашего общества, которые обещали, каждый по своей части, участвовать в сем совершенно новом в России, по содержанию своему, журнале. По составу и содержанию своему сей журнал, требуя тщательной обработки и особенного внимательного занятия, будет выходить только четыре раза в год, книгами от 15 до 20 печатных листов каждая. Подкрепляемый вниманием публики и участием многих литераторов и ученых мужей, осмеливаюсь ласкать себя надеждою, что новые предприятия мои получают успех, при тех благоприятных содействиях, какими подкрепляются в России все благие начинания для пользы и чести отечества.

Издатель «Московского Телеграфа» московский 2-й гильдий купец *Николай, Алексеев сын, Полевой*».

(См. М. И. Сухомлинов — «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. II, 1889, стр. 382—386).

В Главном цензурном комитете (куда переслали из Москвы прошение Полевого), проект реорганизации М. Т. был встречен довольно снисходительно. Комитет нашел возможным дозволить Полевому издание журналов: «Московский Телеграф» и «Энциклопедические Летописи» — безоговорочно; что же касается газеты «Компас», где должны были помещаться политические известия и статьи о театре, — то комитет представил это на разрешение министра народного просвещения А. С. Шишкова. Шишков, вообще относившийся к Полевому благожелательно и дозволивший ему в конце 1824 г. издавать М. Т., отказал в предоставлении Полевому права печатать «суждения о театральных пьесах и игре актеров» на основании издавна существовавшего (и в 1824 г. подтвержденного) распоряжения б. министерства полиции, запрещающего печатать «статьи об игре актеров». По вопросу о политических известиях Шишков приказал снести с министром иностранных дел, а «на прочее изъявил свое согласие». Но ему пришлось неожиданно переменить свое решение и ответить Полевому решительным отказом по всем пунктам его проекта, так как именно в это время, в течение пяти дней, шефу жандармов и начальнику III отделения гр. А. Х. Бенкендорфу было подано три анонимных доноса на издателя М. Т.

В первом доносе, помеченном 19 августа 1827 г., читаем: «Издатель журнала М. Т. купец Полевой старается приобрести позволение на издание в Москве частной политической газеты с будущего 1828 года. По сему случаю осмеливаемся сделать следующие замечания: 1. Издание политической газеты даже в конституционных государствах доверяется людям, известным своею привязанностью к правительству; опытным и умеющим действовать на мнение. В политической газете самое молчание о предметах, могущих произвести приятное впечатление, и простой голый рассказ о событиях, представляющих власть в виде превратном, могут волновать умы и посеять неблагоприятные ощущения в читателях. Цензура не может заставить издателя рассуждать в пользу монархического правления, или говорить, где ему угодно молчать, а потому дух газеты всегда зависит от образа мыслей издателя. Г. Полевой, по происхождению своему, принадлежит к среднему сословию, которое, по натуре вещей, всегда более склонно к нововведениям, обещающим им уравнивание в правах с привилегированными классами: сей образ его мыслей обнаружен в поданном министру финансов мнении московского купечества, в конце царствования блаженной памяти императора Александра. Мнение сие сочинено г. Полевым и в свое время произвело большие толки: там и Вольтер и Дидерот выведены на сцену для защиты прав московского купечества [см. стр. 23 наст. изд. — В. О.]. В М. Т. беспрестанно помещаются статьи, запрещаемые с.-петербургскою цензурою, и разборы иностранных книг, запре-

щенных в России. В нынешнем году помещались там письма А. Тургенева из Дрездена, где явно обнаружено сожаление о погибших друзьях [т. е. декабристах. — В. О.] и прошедших злых временах. Вообще дух сего журнала есть оппозиция, и все, что запрещается в Петербурге говорить о независимых областях Америки и ее героях, с восторгом помещается в М. Т. Сие замечено уже и генералом Волковым. 2. Г. Полевой, по своему рождению, не имея места в кругу большого света, ищет протекции людей высшего состояния, занимающихся литературою, и, само по себе разумеется, одинакового с ним образа мыслей. Главным его протектором и даже участником по журналу есть известный князь Петр Андреевич Вяземский, который, промотавшись, всеми средствами старается о приобретении денег. Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной песне: «Не г о д о в а н и е», служившей катехизисом заговорщиков, которые чуждались его единственно по его бесхарактерности и непомерной склонности к игре и крепким напиткам. Сей-то Вяземский есть меценат Полевого и надушил его издавать политическую газету. 3. Москва есть большая деревня. Там вещи идут другим порядком, нежели в Петербурге, и цензура там никогда не имела ни постоянных правил, ни ограниченного круга действия. Замечательно, что от времен Новикова все запрещенные книги и все вредные, ныне находящиеся в обороте, напечатаны и одобрены в Москве. Даже «Думы» Р ы л е е в а и его поэма «Войнаровский», запрещенные в Петербурге, позволены в Москве. Все запрещаемое здесь, печатается без малейшего затруднения в Москве. Сколько было промахов по газетам и журналам, то всегда это случилось в Москве. Все политические новости и внутренние происшествия иначе понимаются и иначе толкуются в Москве, даже людьми просвещенными. Москва, удаленная от центра политики, всегда превратно толковала происшествия, и журналы, даже статьи из петербургских газет, помещают их часто столь неудачно с пропусками, что дела представляются в другом виде. Вообще, московские цензоры, не имея никакого сообщения с министерствами, в политических предметах поступают наобум и часто делают непозволительные промахи. По связям Вяземского, они почти безусловно ему повинуются. 4. Г. Полевой, как сказано, состоит под покровительством князя Вяземского, который по родству с женою покойного историографа Карамзина, находится в связях с товарищем министра просвещения Блудовым. Не взирая на то, что сам Карамзин знал истинную цену Вяземского, Блудов, из уважения к памяти Карамзина, не откажет ни в чем Вяземскому. Из угождения Блудову, можно в крайности позволить Полевому помещать политику в своем двухнедельном журнале «Московский Телеграф», но выдавать особую политическую газету в Москве невозможно по причинам вышеизъясненным и для предупреждения зла, которое

после гораздо труднее будет истребить. Весьма полезно было бы, чтобы вообще позволение вновь издавать политические газеты даваемо было не иначе, как с высочайшего разрешения, как сие делается во Франции» (см. М. И. Сухомлинов, *op. cit.*, стр. 386—389).

Во втором доносе, помеченном 21 августа, указываются «наугад выбранные» статьи из первых четырех книжек М. Т. за 1827 г., «наполненные революционных правил» (причем доносчик указывает, что «в прошлых годах есть гораздо сильнейшие вещи»). В доносе речь идет о следующих статьях: 1) «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг., письмо в Нью-Йорк, к С. Д. П[олторацкому]» (М. Т., 1827, ч. XIII, № 1, — статья или Н. Полевого, или П. А. Вяземского, где доносчик усмотрел намеки на сетования о судьбе декабриста Н. И. Тургенева, которого он и считает адресатом письма, под «вымышленными буквами» С. Д. П., и «явный ропот против притеснения просвещения, которое называют «запретною розою»; Полевой в данном случае действительно имел в виду «просвещение», точнее — русскую литературу; вообще же «запретной розой» в Москве именовалась известная красавица кн. Е. П. Лобанова-Ростовская, урожд. Киндякова, сестра жены С. Д. Полторацкого, воспетая Вяземским и Пушкиным, — см. у М. Цявловского — «Заметки о Пушкине» в «Пушкин и его современники», вып. 38—39, 1930, стр. 218—222). 2) «Путешествие в Эрмонвиль» (М. Т., 1827, № 4), где Ж. Ж. Руссо «представлен первым и величайшим философом». 3) «Философия истории» (*Ibid.*, № 6), где доносчика особенно возмутила оценка материалистической философии XVIII века, которая, как сказано в статье, «навекы пребудет убежищем всех избранных душ». И, наконец, доносчик отметил в № 7 М. Т. — «места, содержащие в себе самый явный карбонаризм».

Третий донос, помеченный 23 августа, посвящен выяснению персонального состава «московской либеральной шайки», «атаманами» которой названы кн. Вяземский и Н. Полевой. Здесь доносчик проявил слабое знакомство с истинным положением дел, зачислив в «партию» Полевого несомненных его противников, преимущественно из круга «Московского Вестника». Сюда попали и Титов — «молодой человек развратных правил», и Шевырев, и Рожалин, и Киреевский, и Соболевский, «замеченные в весьма либеральных правилах», а, сверх того, «бывший профессор Давыдов, самый отважный якобинец», и Пушкин. В доносе сообщается, что «Полевой сам приехал сюда [т. е. в Петербург. — В. О.] хлопотать о позволении издавать политическую газету» и что ему «покровительствуют все так называемые патриоты, и даже сам Мордвинов» (упомянут в качестве «ходатая» Полевого и С. Д. Нечаев — сотрудник М. Т. — благонамереннейший чиновник и литератор, которого автор доноса произвел в члены Союза благоденствия, «как то оказалось из добровольного сознания тульского

почтмейстера»). Заступниками Полевого названы также министры Блудов и Шишков (см. в упомянутой книге М. И. Сухомлинова, впервые опубликовавшего все три доноса по рукописи архива мин. народного просвещения; в Р. С., 1903, № 2 — Н. Дубровин вновь издал эти документы по рукописям архива III Отделения).

Кто был автором доносов 1827 г. — достоверно не известно. Об этом можно только догадываться, впрочем догадка будет весьма правдоподобна. Прежде всего, все три доноса принадлежат перу одного и того же лица (см. в третьем доносе: «я счел... долгом еще раз обратить внимание»). Затем автор доносов несомненно петербуржец, как это явствует из самого текста (см. в первом доносе выпады против «московского карбонаризма», в третьем доносе точно указаны даже адреса тех лиц, у которых остановились приезжавшие из Москвы «карбонарии»), и, наконец, автор доноса — несомненно литератор, имеющий связи в цензурном комитете (в третьем доносе читаем: «вчера в цензурном комитете подписан журнал о дозволении издавать в Москве газету: «Компас»). Кроме того, доносчик — ярый враг Вяземского. О «благонадежности» доносчика говорить не приходится. Еще одно обстоятельство достойно замечания: автор доносов более всего обеспокоен данным Полевому дозволением издавать политическую газету. Итак перед нами: благонамеренный петербургский литератор (журналист), непримиримый противник Н. Полевого и Вяземского. Остается назвать только имя: Фаддей Булгарин. Если учесть при этом еще репутацию Булгарина — первого доносчика и инсинуатора своего времени — и сравнить самый стиль, «манеру», приведенных доносов с подобного же рода творениями Булгарина (авторство которых твердо установлено), — то догадка наша много выиграет в своей убедительности (М. Лемке безоговорочно приписывает доносы 1827 г. перу Булгарина — см. его «Николаевские жандармы и русская литература 1825 — 1855 гг.», 2-е изд., 1909 г., стр. 254 — 260; мнение это поддержано и Н. Лернером — см. Р. С., 1909, № 11, стр. 354. — Вяземский писал также: «По всем догадкам это была Булгаринская шутка. Узнав, что в Москве предполагают издавать газету, которая может отнять несколько подписчиков у «Северной Пчелы», и думая, что я буду в ней участвовать, он нанес мне удар из-за угла» — П. с. с., т. IX, стр. 102—103; ср. Ibid., т. II, стр. 98—102).

Доносы 1827 г. были приняты во внимание. Бенкендорф довел их до сведения Николая I, и Шишков должен был взять назад свое дозволение, — по повелению царя (см. докладную записку кн. Ливена Николаю I от 7 января 1831 г. в архиве мин. народного просвещения, дело № 420). Официальные причины своего отказа Шишков изложил в отношении, посланном в Главный цензурный комитет: «Я не могу изъявить своего согласия, во-первых, потому, что в состав одного из сих сочинений входят

политические известия, которые московский цензурный комитет, не имея определенного уставом о цензуре особого наставления, рассматривать и одобрять не может и, во-вторых, что для позволения г. Полевому распространить круг действия своего, как повременному издателю, надлежит, на основании существующих узаконений, иметь правительству надежнейшее того обеспечение, которое признано достаточным для издания одного только «Телеграфа». При сем почитаю нужным подтвердить г. Полевому, касательно издаваемого им журнала, чтобы он при выборе помещаемых в оном статей действовал с величайшею осмотрительностью» (см. М. Сухомлинов, *op. cit.*, стр. 393).

Булгарин мог торжествовать победу. Известна еще одна записка, поданная Бенкендорфу после того, как Полевому было отказано в разрешении на реорганизацию М. Т.; автор этой записки (повидимому, все тот же Булгарин) сообщает, что «литераторы здешние и даже многие москвичи чрезвычайно рады этому запрещению», а также указывает, что «Полевого сильно протезировали так называемые русские патриоты, или, как их в насмешку называют, русские думники. Первым протектором был Н. С. Мордвинов. Блудов протезировал лишь по связи с Вяземским... Кикин сильно действовал в его пользу. Никто из них не сомневался в успехе, и все крайне удивлялись, когда Шишков объявил в свое оправдание, что запрещено с вышше... Жена Шишкова говорила, что Н. С. Мордвинов сильно напал на ее мужа, зачем он не отстоял Полевого, ибо он купец и патриот, а нам должно поддерживать русские дарования». В заключение сообщается вздорный слух: «Здесь получено известие, что Вяземский переходит к другой партии и научает молодых людей: Михайлу Дмитриева, Писарева молодого и еще нескольких, испросить позволение на издание политической газеты в Москве. Ему непременно хочется иметь в Москве частную политическую газету» (*Ibid.*, стр. 393—394).

Между тем, Н. Полевой, приехавший в Петербург лично хлопотать о своих делах, вел себя неосторожно. В известной записке управляющего III отделением М. Я. фон-Фока о состоянии умов петербургских литераторов после 14 декабря 1825 г., представленной Бенкендорфу и начальнику главного штаба И. И. Дибичу и инспирированной также, повидимому, Булгариным, сообщалось, что на вечеринке у О. М. Сомова, 31 августа 1827 г., Полевой «один отличался резкими чертами от здешних литераторов, сохраняя в себе весь прежний дух строптивости, которым блистал Рылеев и его сообщники в обществах. Ему сделали вопрос: каким образом он успевает помещать слишком смелые и либеральные статьи? Полевой... начал рассказывать... как он потчует своих цензоров и под шумок выманивает у них подпись. Это оскорбило целое собрание, а ему отвечали, что у нас это называется обманом,

которого ничто не извиняет. Полевой хвастал, как великим подвигом и заслугой, что московский военный губернатор князь Голицын несколько раз уже жаловался на него попечителю [А. А.] Писареву за либерализм, но что он не боится ничего под покровом князя Вяземского, который берет всю ответственность на себя, будучи силен в Петербурге. На сие его неуместное хвастовство также отвечали презрительным молчанием» (см. Б. Л. Модзалевский — «Пушкин под тайным надзором», 3-е изд., 1926, стр. 68—70; весь смысл записки фон-Фока — в желании доказать, что поведение петербургских литераторов «предвещает хороший дух и совершенно противный московскому»).

Полевой был чрезвычайно огорчен неудачей своего предприятия, он писал В. Г. Анастасевичу 29 ноября 1827 г.: «Признаюсь, что меня сильно оскорбила и опечалила петербургская моя поездка. Мог я ожидать отказа, но не такого отзыва, какой получил. Признаться ли во всем? Дорогой я так хандрил, что решился было совсем бросить все мои литературные занятия, но вид семейства отогрел меня и уединение примирило опять со всем окружающим. Могу сказать, что теперь с усиленными напряжениями налег я на мои труды. Готовлю многое... Думаю, что предприятия мои новые заслужат ваше одобрение: одно из них — новое прибавление к «Телеграфу», для наших художников и ремесленников, и за самую дешевую цену предназначенное. Другое — открытие конторы «Телеграфа», с комиссионерскою продажей книг и пособиями авторам в издании книг полезных; за это сердятся на меня здешние книготорговцы, но кажется хвалит публика» (см. «Вестник всемирной истории», 1900, № 9, стр. 169—178). Таким образом все широкие планы Полевого касательно М. Т. свелись к прибавлению лишних 12 модных картинок и листка для «художников и ремесленников» (ср. письмо А. Ф. Войекова к В. М. Перевощикову в Р. А., 1890, № 9, стр. 94).

Отказ и «предупреждение» Шишкова в 1827 г. открыли собою длинный ряд цензурных преследований против Н. Полевого — замечаний, выговоров, внушений и советов, «имеющих обязательную силу приказаний» (М. И. Сухомлинов). Не помог ему и новый, «либеральный», цензурный устав 1828 г., выработанный при премнике Шишкова — кн. К. А. Ливене. Так, напр., в 1829 г. Николай I, ознакомившись со статьей «Приказные анекдоты» появившейся в № 14 М. Т. (в отделе «Новый Живописец»), приказал Бенкендорфу сделать, через начальника московского округа корпуса жандармов ген. А. А. Волкова, строгий выговор Полевому и цензору С. Н. Глинке, и узнать имя сочинителя статьи. 26 сентября 1829 г. Полевой представил ген. Волкову объяснение, где заверял, что в своей статье не имел в виду ничего, «кроме общественной пользы и славы монарха русского», и обращался с такой оригинальной просьбой: «Чтобы извлечь надлежащую пользу

для общества из критических статей о нравах, и с тем вместе действовать сообразно намерениям и воле правительства, да позволено мне будет отныне прежде обыкновенной цензуры подвергать статьи сего рода... цензуре особенной, доставляя их для рассмотрения к вашему превосходительству» (см. Р. О., 1903, № 2, стр. 236 — 264). По докладу Бенкендорфа Николай I «милостиво» согласился на предоставление Полевому права отдавать статьи «Нового Живописца» в предварительную цензуру жандармского генерала — факт сам по себе парадоксальный, но характеризующий цензурные условия того времени (впрочем, может быть, Полевой, бывший с ген. Волковым с хороших отношений, рассчитывал на его заступничество). В том же 1829 г. министр народного просвещения Ливен поручил А. А. Писареву «поставить на вид» московскому цензурному комитету пропуск первой лекции курса истории философии Кузена (напечатанного в № 10 М. Т.) на том основании, что указанная лекция «заключает в себе вредное учение о вере и философии» (см. «Щукинский сборник», II, 1903, стр. 302 — 303). В начале 1832 г. Полевой снова попал под замечание III Отделения за помещенную в № 16 М. Т. (1831 г.) рецензию о нелепой и реакционной брошюре: «Горе от ума, производящего всеобщий революционный дух, философски-умозрительное рассуждение, сочинение S» (М. 1831). Граф А. Х. Бенкендорф обратился 8 февраля 1832 г. к Н. Полевому с письмом, выдержанным в тонах дружеского совета или отеческого увещания: «Милостивый государь Н. А.! Я не решился бы писать к вам и делать мои замечания на ваши сочинения, если бы неоднократные опыты вашего доброго ко мне расположения не давали мне права полагать, что рассуждения мои вы примете доказательством моего к вам уважения», — писал Бенкендорф. — «В разборе брошюрки г-на S — «Горе от ума», на стр. 519, 520 и 521, вы утверждаете, что революции необходимы и что кровопролития и ужасы, сопровождающие насильственные перевороты в правлении, не так губительны, как воображают такие простаки, каков г-н S; что даже польза революции очевидна для потомства и что только непросвещенные мыслители могут жаловаться на бедствия, проистекающие от оных... Я не столько удивляюсь, что цензура пропустила такие вредные суждения, как удивляюсь тому, что столь умный человек, как вы, пишет такие нелепости... Для совершенного опровержения вашей системы не нужно входить в общие рассуждения; я ограничу себя только тем замечанием, что подобный образ мыслей весьма вреден в России, особливо если он встречается в человеке умном, образованном, который имеет дар писать остро и замысловато, в сочинителе, коего публика читает охотно и коего мнения могут посеять такие семена, могут дать такое направление умам молодых людей, которое вовлечет государство в бездну несчастий... Я не могу не скорбеть душою, что во

времена, в кои и без ваших вольнодумных рассуждений, юные умы стремятся к общему беспорядку, вы еще более их воспламеняете и не хотите предвидеть, что сочинения ваши могут и должны быть одною из непосредственных причин разрушения общего спокойствия. Писатель с вашим дарованием принесет много пользы государству, если он даст перу своему направление благомыслящее, успокаивающее страсти, а не возжигающие оные. Я надеюсь, что вы с благоразумием примете мое предостережение и что впредь не поставите меня в неприятную обязанность делать невыгодные замечания насчет сочинений ваших и говорить вам столь горькую истину» (см. Р. А., 1866, № 12, стбб. 1753—1756; ответного письма Полевого не сохранилось). Приведенное письмо является великолепным образчиком дружеских советов, «имевших обязательную силу приказаний». Впрочем, Бенкендорф не ограничился и в данном случае одним дружеским советом и на следующий же день, 9 февраля 1832 г., послал официальное отношение министру народного просвещения, где указал на распространение московскими журналистами Полевым и Надеждиным «идей самого вредного либерализма» (см. «Шукинский сборник», I, 1902, стр. 297). Министр разослал по всем университетам циркулярное предписание не допускать чтения М. Т. и «Телескопа» студентами; см. в письме Е. А. Боратынского к И. В. Киреевскому из Казани: «В здешний университет пришла бумага от министра просвещения, в которой рекомендуется иметь строгое смотрение за тем, чтобы студенты не читали ни «Телеграфа», ни «Телескопа», как журналов, распространяющих вредные мысли. Говорят, что издание их прекращено» («Татевский сборник», 1899, стр. 42—43). Известен еще целый ряд мелких придинок и «привязок» к Полевому, пересказывать которые не имеет смысла (см., напр., у Н. Дризена — «Материалы к истории русского театра», 1905, стр. 171—179 и Р. С., 1903, № 2, стр. 308—310; ср. сводку данных по этому вопросу у Н. Козмина — «Из истории русского романтизма», 1903, стр. 491—511).

Несмотря на запрещение проекта реорганизации М. Т. в 1827 г. и репрессии по отношению к журналу в последующие годы, Полевой вторично ходатайствовал о новом преобразовании своего журнального предприятия. 18 сентября 1831 г. он обратился в моск. цензурный комитет с прошением, в котором указывал, что «опытом убедился, что для доставления большей пользы и удовольствия читателям, необходимы некоторые перемены в плане и содержании» его журнала. К прошению было приложено «Начертание М. Т. на 1832 г.»; издание разбивалось на три «отделения», а именно: ученый журнал «Московский Телеграф» (четыре больших книжки в год), содержание которого должны составить: 1) рецензии на книги русские и иностранные и 2) материалы для истории, географии и статистики русской; — «Прибавление к Моск.

Телеграфу» (еженедельное издание, 52 небольших книжки в год), включающее в себя: 1) статьи оригинальные и переводные о науках, искусстве, художестве, даже ремеслах; 2) изящную словесность (сочинения и переводы всех родов, в стихах и прозе); 3) библиографию русскую и иностранную; 4) статьи о театре; 5) мелкие разные статьи (сатирический фельетон, смесь и проч.); — специальный «Journal des modes» («краткие замечания о модах, модных обычаях, книгах, составляющих легкое чтение, смесь, анекдоты, словом: легкое чтение для дам»). Учитывая печальный опыт представления 1827 г., Полевой на сей раз предусмотрительно подчеркнул, что из его журнала исключаются «статьи о книгах духовных... также статьи касательно современной политики. Но события нашего времени в исторической форме, т. е. когда они поступили в область истории, а не составляют предмета политики, не исключаются. Так, напр., если бы встретилась книга, заключающая в себе описание последней войны России с Турцией, она может быть предметом рецензии, но книги о событиях 1830 и 1831 гг. — исключаются». При этом нужно заметить, что речь идет о победоносной русско-турецкой кампании 1828—1829 гг., ставшей предметом высоко-патриотических писаний в стихах и прозе — и бесславном и кровавом подавлении польской революции 1830—1831 гг., суждения о которой, даже и высоко-патриотического характера, вообще не дозволялись. — Наученный горьким опытом, в 1831 г. Н. Полевой усердно расписывался в своей «благонадежности»: «Излишне было бы говорить здесь», — пишет он в представлении, — «что как донные священною обязанностью поставял издатель глубокое благоговение к священным истинам религии и государственных постановлений, так и впредь первым долгом себе поставит сию обязанность христианина, гражданина и честного человека. Пламенное усердие к отечеству, руководствуемое вернопопданнейшею любовью к престолу великого монарха нашего, будет одушевлять, что он мыслит и пишет» (см. М. И. Сухоминов, *op. cit.*, стр. 394—397). — Но Полевому и теперь не пришлось доказать свое «пламенное усердие» и «вернопопданнейшую любовь». Председатель моск. цензурного комитета кн. С. М. Голицын представил проект Полевого в Главное управление цензуры, сопроводив его собственным «мнением», в котором просил «дабы журнал М. Т. на предбудущее время ограничивался одною только литературою по той причине, что неоднократно в оном помещались такие статьи, которые не совсем-то были одобряемы высшим начальством и что издатель оного, купец Николай Полевой, не пользуется совершенною доверенностью Правительства». Министр народн. просвещения кн. Ливен представил этот вопрос на рассмотрение Николая I, и 7 ноября 1831 г. царь наложил одну из классических своих резолюций: «Не дозволять, ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего».

В марте 1833 г. во главе министерства народного просвещения стал С. С. Уваров — виднейший деятель николаевской реакции, автор пресловутой формулы: «истинно-русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества». С назначением Уварова министром начались для Полевого «черные дни», отношения его с правительственными органами вступили в последнюю, решающую фазу своего развития. Кс. Полевой наивно объясняет (см. стр. 308) ненависть Уварова к своему брату колкими замечаниями М. Т. об адрес-календарях и «СПБ Ведомостях», издававшихся при Академии наук, где Уваров был президентом. Суть, разумеется, не в этом. Уваров боролся с Полевым на принципиальных позициях, задался целью обезоружить издателя М. Т., стремился истребить дух «карбонаризма» и «якобинства», выразителем которого являлся в его глазах М. Т. — А. В. Никитенко записал свой разговор с Уваровым в 1835 г., после запрещения М. Т. — Уваров заявил: «Я знаю, чего хотят наши либералы, наши журналисты и их клеветы: Греч, Полевой, Сенковский и проч. Но им не удастся бросить своих семян на ниву, на которой я сею и которой я состою стражем, — нет, не удастся. Мое дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мое дело и умру спокойно» (А. В. Никитенко — «Записки и дневник», 2-е изд., 1905, т. I, стр. 267).

Еще в 1832 г. Уваров (тогда еще товарищ министра народного просвещения), посетив Москву, вызвал к себе Н. Полевого и «изложил ему с умеренностью, но твердо все последствия, какие влечет за собою опасное направление его журнала» и якобы «получил от него торжественное обещание исправить сию ложную и вредную наклонность». «Вообще, имея при сем случае непосредственное сношение с сими лицами [т. е. Полевым и Надеждиным, — В. О.], — писал Уваров во всеподданнейшем отчете о своей поездке. — убедился я в том, что можно постепенно дать периодической литературе, сделавшейся ныне столь уважительной и столь опасной, направление, сходственное с видами правительства; а сие, по моему мнению, несравненно лучше всякого вынужденного запрещения издавать листки, имеющие большое число приверженцев и с жадностью читаемые особенно в средних и даже низших классах общества. Здесь должен я сказать, что издатель М. Т. — Полевой скорее других повиновался моему наставлению и что даже московская публика заметила перемену в тоне его журнала, хотя не ведала о причинах, побудивших его к оной» (цитир. по Н. Барсукову — «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. IV, стр. 98—99). Однако альянсу Уварова и Полевого не суждено было осуществиться, несмотря на явное желание министра (учитывавшего крупное зна-

чение М. Т. как органа «средних и даже низших классов») привлечь крамольного журналиста на службу правительственным интересам. — Сделавшись министром и убедившись в нежелании Полевого следовать его указаниям, Уваров взял М. Т. под особенное наблюдение.

В каких условиях работала редакция М. Т. в 1833 г. — видно из письма Кс. Полевого к В. И. Карлгофу (от 30 декабря 1833 г.): «Мы с Телеграфом подвигаемся раковым ходом и делаем и хлопочем более других журналистов, оттого, что и работаем усердно, да и цензурушка-голубушка заставляет часто делать вдвое, выключая целые статьи, искажая другие и вообще поступает с нами немилосердно. Особенно с тех пор, как Министр просвещения — С. С. Уваров, цензоры с ума сошли. За невинную статью мою о Наполеоне он столкнул с места почтенного, заслуженного старика Двигубского и остальных загонял так, что они мечутся как угорелые кошки. Каково же литературе от этого? Каково нам? Представьте себе, что нам только 1 декабря позволили объявить о Телеграфе, таскают каждую книжку недели по три, по месяцу, потому что каждую строчку обсуживают полным присутствием цензуры, и проч... Видно, Уваров не хочет жить в истории, или не боится приговоров ее, также как не боится употреблять во зло доверенность государя» (см. Р. А., 1812, № 3, стр. 421—422). Статья о Наполеоне, о которой упоминает Кс. Полевой, послужила объектом жестокого цензурного преследования. Статья эта — «Взгляд на историю Наполеона» (о книге В. Скотта) — появилась в № 9 (майском) М. Т. 1833 г. Уваров усмотрел в ней «самые неосновательные и для чести русских и нашего правительства оскорбительные толки и злонамеренные иронические намеки» и 24 сентября 1833 г. представил Николаю I записку о запрещении М. Т., где писал, что «Полевой утратил, наконец, всякое право на дальнейшее доверие и снисхождение правительства, не сдержав данного слова и не повиновавшись неоднократно наставлению министерства» (см. М. И. Сухомлинов, *op. cit.*, стр. 402—403; в статье Кс. Полевого особенно осуждению Уварова подвергались стр. 137—141, № 9 М. Т.). Однако Николай I наложил неожиданно «либеральную» резолюцию: «Я нахожу статью сию более глупою своими противоречиями, чем неблагонамеренною. Виновен цензор, что пропустил, автор же — в том, что писал без настоящего смысла, вероятно, себя не разумея. Поэтому бывшему цензору строжайше заметить, а Полевому объявить, чтоб вздору не писал: иначе запретится журнал его» (цензор Двигубский назван «бывшим», потому что еще до этого происшествия он был уволен от службы). 29 октября 1833 г. московский генерал-губернатор известил Уварова об объявлении Полевому высочайшего повеления «с подпискою». Это было уже очень грозным предупреждением. Несмотря на то, что попытка запретить М. Т. и не увенчалась ус-

пехом, Уваров, в ожидании первого удобного случая, приступил к составлению фундаментального обвинительного акта, поручив одному из своих чиновников — барону Ф. И. Брунову — сделать выписки всех предосудительных суждений, появившихся в М. Т. за 1830—1833 гг. (в результате работы барона Брунова составила объемистая тетрадь, опубликованная в цитированной книге М. И. Сухомлинова, на стр. 365—431). Пушкин указал (в Дневнике), что составить свод выписок из М. Т. Уваров решил по совету Блудова.

15 января 1834 г. на Александринском театре, в бенефис В. А. Каратыгина, была поставлена «драма из отечественной истории» — «Рука всевышнего отечество спасла» Н. В. Кукольника. Пьеса эта с большою полнотою и четкостью выражала идеи «православия, самодержавия и народности» и была поставлена на сцене с особенной пышностью. Николай I присутствовал на четвертом спектакле и остался в совершенном восторге; «присутствовать на ее представлении и восхищаться ее красотою служило как-бы вывескою благонамеренности» (М. И. Сухомлинов). Н. Полевой, ознакомившись с драмой Кукольника (она была издана также в начале 1834 г.), отрецензировал ее для февральской книжки М. Т. В рецензии своей он писал: «Новая драма г. Кукольника весьма печалит нас. Никак не ожидали мы, чтобы поэт, написавший в 1830 г. «Тасса», в 1832 г. позволил себе написать — но этого мало: в 1834 г. и з д а т ь такую драму, какова новая драма г. Кукольника... Мы слышали, что сочинение г. Кукольника заслужило в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескание зрителей не должны приводить в заблуждение автора...» и т. д. (М. Т., 1834, № 3, стр. 498—506). В то время как третья книжка М. Т. печаталась, Н. Полевой приехал в Петербург (20 февраля 1834 г. — см. «СПБ Ведомости», 1834 г., Приб., стр. 381) и здесь был предупрежден гр. А. Х. Бенкендорфом (у Кс. Полевого «влиятельным знакомцем») о тех последствиях, которые может вызвать неодобрительный отзыв о «Руке всевышнего». События следующих дней освещены подробно в рассказе Кс. Полевого (отметим ошибку Кс. Полевого: не весь тираж 3-й книжки М. Т. со статьей о «Руке всевышнего» был разослан подписчикам до получения им письма от брата, — изредка попадаются экземпляры, где статья эта вырезана).

25 февраля 1834 г. Н. Полевой присутствовал на вечере у Смирдина, где его встретил А. В. Никитенко, оставивший превосходную портретную характеристику его в своем «Дневнике»: «Это иссохший, бледный человек, с физиономией сумрачной, но и энергической. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорит он не хорошо. Однако, в речах его — ум и какая-то судорожная сила. Как бы не судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным... Он

одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится. — «Мне могут», сказал он, «запретить издание журнала: что же? я имею, слава богу, кусок хлеба и в этом отношении ни от кого не завишу» (см. «Записки и дневник», т. I, 1905, стр. 238). Через месяц с небольшим Полевой «в пять дней стал верноподданным» (Герцен). — Вскоре Полевой уехал обратно в Москву, а 21 марта Бенкендорф уже отправил московскому генерал-губернатору кн. В. Д. Голицыну следующее отношение: «Государь император высочайше повелеть соизволил, дабы издатель журнала М. Т. Полевой немедленно прибыл в С.-Петербург и дабы, для скорейшего его приезда, отправлен был с ним жандармский унтер-офицер. Сообщая вашему сиятельству сию высочайшую волю, для вашего по оной исполнения, я покорнейше прошу вас объявить г. Полевому, чтоб он тотчас по прибытии его сюда, явился ко мне» (Р. С., 1903, № 2, стр. 268). К сожалению не сохранилось письмо Н. Полевого к брату, о котором тот упоминает на стр. 321 своих «Записок». Вряд ли может восполнить этот пробел успокоительное письмо его к жене от 29 марта: «Не воображай себе ни дороги моей каким нибудь волочением негодяя под стражею, ни теперешнего моего пребывания чем-нибудь в роде романической тюрьмы: мой голубой проводник был добрый хохол и усердно услуживал мне. Сидели мы, правда, рядом, зато рабочие инвалиды по Московскому шоссе снимали перед нашей тележкой шапки, что меня забавляло чрезвычайно. Теперь я пока живу в светлой, не очень красивой, но комнате, и мне дали бумаги и перьев — буду оканчивать «Аббаддону», или напишу, может быть, преподуцительную книгу нравственных размышлений о суете мира, etc. etc. . . О деле я ничего еще не могу сказать, ибо граф А. Х. [Бенкендорф] только сказал мне, чтобы я отдыхал с дороги. — Крепкий верою, крепкий своею правдою и совестью, я не боюсь ничего и даже в эту минуту не променяюсь с многими, которые сегодня спокойно встали с постелей и поскакали по Петербургу в богатых экипажах» (цитирую по подлиннику, — ИРЛИ).

31 марта Полевой представил Бенкендорфу свои объяснения по поводу статьи о «Руке всевышнего», приведем его письмо целиком: «В исполнение объявленной мне высочайшей воли: объяснить, в каком смысле сказано мною, в начале библиографической статьи о трагедии «Рука всевышнего отечество спасла», что сия трагедия «опечалила рецензента», и проч., чего теперь, не имея под рукою статьи моей, припомнить в точности не могу, — сим честь имею донести, что я судил о трагедии по чтению, не выдав ее на сцене, и говорил о ней чисто в литературном смысле, как о поэтическом сочинении. Сочинитель ее прежде напечатал драму: «Торквато Тасс», исполненную красот, хотя и далекую от совершенства. После «Тас-

са», его новая трагедия показалась мне, — повторяю, судя о ней, как о произведении поэтической фантазии — прыжком назад, Это было объясняемо мною в рецензии; к этому и относились и слова в начале оной. Мне казалось, что сильный дух русский мог быть выражен в драме не только словами, но и действием; что великие события 1612 года могли быть верно выставлены и произвесть сильнейшее действие и впечатление; что трагедия обезображена ненужными вставками, характеры в ней не выдержаны, и самое изображение царя Михаила должно было представить не слепым случаем каким-то, по жребью, но тайною, глубокою мыслью русских душ, провидевших спасение и счастье отечества в державном юноше и мудром старце, его родителе. Так я думал и писал. Готов сознаться в ошибке. Но смею уверить всем, что есть для меня святого и драгоценного, что никогда в мысль мне не приходило что-либо предосудительное против похвальной патриотической цели автора. Душевно радовался я потом, что каждое слово, близкое родного всем нам чувства к царю и отечеству, доходило до сердец зрителей. По этому участию можно уже судить, что произвело бы на сцене творение, согретое огнем гения, совершенное по сущности, как Шекспирова драма, и высказанное стихами Пушкина или Жуковского, пред которыми стихи Кукольника кажутся мерною прозою, не более...» (см. М. И. Сухомлинов, *op. cit.*, стр. 410—411). Объяснения Полевого были признаны Бенкендорфом «удовлетворительными» и ему было приказано ехать обратно в Москву (вообще Бенкендорф играл в Петербурге роль «защитника» Полевого и, действительно, приложил некоторые старания к тому, чтобы несколько смягчить его участь), а между тем 3 апреля 1834 г. последовало высочайшее повеление прекратить дальнейшее издание журнала «Московский Телеграф».

Уваров еще 21 марта представил царю обширный доклад, приложив к нему тетрадь выписок из М. Т., сделанных бароном Бруновым. В докладе своем Уваров писал: «Давно уже и постоянно М. Т. наполнялся возвещениями о необходимости преобразований и похвалою революциям. Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, «Телеграф» старается передать русским читателям с похвалою. Революционное направление мыслей, которое справедливо можно назвать нравственною заразою, очевидно обнаруживается в сем журнале, которого тысячи экземпляров расходятся по России, и по неслыханной дерзости, с какою пишутся статьи в оном помещаемые, читаются с жадным любопытством. Время от времени встречаются в «Телеграфе» похвалы правительству, но тем гнуснее лицемерие: вредное направление мыслей в «Телеграфе», столь опасное для молодых умов, можно доказать множеством примеров». Далее Уваров приводит в качестве примеров особенно «заразные» мысли, выдергивая их из разных статей М. Т.: «Приступая к сим доказательствам, спросим:

что, если бы среди обширной столицы ктонибудь вышел на площадь и стал провозглашать перед толпою народа о необходимости революций, о неосуждении всеобщности революций; что явления нидерландской революции прекрасны; что Россия, хитрою политикою разжигая раздоры и смуты, во всяком случае выигрывала перед Польшею; что еще Разумовский согревал в душе тайную мысль о свободе Малороссии; что жители приволжья и придонья совершенно чуждые нам и то же, что колонисты или цыгане; что наше правительство ежегодно ссылает в Сибирь по 25 тысяч на железном канате; что французы теперь равны один другому и что во Франции теперь все ведет ко всему. — Представим толпу слушателей умножающейся, а человек продолжает проповедывать: что разбойничество происходит от излишка сил души; что Стенька Разин и Пугачев были страшными, но тщетными усилиями казацкой свободы в борьбе дикой независимости с силами России; что от разбойничьих песен дрожит русская душа и сильно бьется русское сердце; что сами русские произошли от разбойников, назвавших себя Русью, что братоубийцы достойны сожаления, а не проклятия; что мономахова-корона и скипетр принадлежат к большим сказкам; что русских пора будить от пошлой растительной бездейственности; что Магомет был человек истинно-вдохновенный, и что природа мать всех вещей, есть бессмертная ночь, есть то единство, посредством которого вещи существуют в самих себе. — Может быть назвали бы такого человека сумасбродным (если не злонамеренным), но, вероятно, не позволили бы ему провозглашать долее на площади, где слова его могли бы возбудить разные толки. Однакож, именно есть такой провозглашатель и на площади столь обширной, как Россия, не пред толпою поселян, а пред тысячами тех, которые владеют поселянами, пред тысячами молодых людей, и без того уже легко заражаемых французским вольнодумством. Все вышесказанное не произнесено на ветер, а напечатано для современников и потомства в тысячах экземпляров «Телеграфа» и «Истории русского народа». Прилагаются выписки, с указаниями страниц, составляющих только самую малую часть того, что можно и должно заметить . . . »

На этот раз Уваров достиг своей цели: Николай I уже ничего не мог возразить против столь красноречивой аргументации. А. В. Никитенко записал в «Дневнике»: «Государь хотел сначала поступить очень строго с Полевым. — Но, — сказал он потом министру, — мы сами виноваты, что так долго терпели этот беспорядок» (ор. cit., стр. 240). Кто знает — может быть Полевого ждал шليسельбургский каземат? Тот же Никитенко передает свой разговор с Уваровым по поводу запрещения М. Т.; министр следующим образом доказывал необходимость этого мероприятия: «Это проводник революции, он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России. Я давно уже наблю-

даю за ним; но мне не хотелось вдруг принять решительных мер. Я лично советовал ему в Москве укротиться и доказывал, что наши аристократы не так глупы, как он думает. После был сделан ему официальный выговор: это не помогло. Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою... Впрочем, известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены: Полевой хотел быть органом их... с Гречем или Сенковским я поступил бы иначе: они трусы, им стоит погрозить гауптвахтою, и они смирятся. Но Полевой — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры...» (Ibid, стр. 241).

Предпринимая столь решительную меру, правительство, разумеется, учитывало — какой огромный общественный резонанс будет иметь запрещение крупнейшего и влиятельнейшего печатного органа эпохи. Бенкендорф просил московского жандармского генерала Лесовского сообщить, «какие будут в Москве суждения на счет поездки Полевого и что он сам будет о сем говорить» (см. Р. С., 1903, № 2, стр. 269). А суждения были разнообразны: «Везде сильные толки о Телеграфе. Одни горько сетуют, что единственный хороший журнал у нас уже не существует. — Поделом ему, — говорят другие: он осмеливался бранить Карамзина. Он даже не пощадил моего романа. Он либерал, якобинец — известное дело и т. д., и т. д.» (А. В. Никитенко, *op. cit.*, стр. 240). Генерал Лесовский же доносил Бенкендорфу следующее о московских суждениях: «По отъезде Полевого многие благомыслящие имели суждение, что давно бы пора унять подобных вольнодумцев. Одни писатели, товарищи его, сожалели о нем, исключая врага его Надеждина, распустившего слух, будто бы Полевой отдан в солдаты. Неожиданное, скорое возвращение Полевого удивило всех и дало повод к заключению о невинности его, что породило разные суждения и толки. В сем последнем случае говорят: «если он невиновен, то зачем же было поступать так жестоко с человеком, облагороженным правительством?» и что употребленная над Полевым мера влечет к невольному заключению о небезопасности личности каждого. «Если же обнаружены уже преступные намерения, то следовало бы его примерно наказать»... А потому заключают, что запрещение издавать «Телеграф» обнаруживает слабость правительства и огорчает публику...» (Р. С., 1903, № 2, стр. 269—270).

Среди высшей военной и гражданской бюрократии запрещение М. Т. встретило самую горячую поддержку. Жандармский генерал А. В. Дубельт писал Н. Н. Раевскому: «За Полевого вас ставлю на колени, ибо он не заслуживает снисхождения тех людей, которым Россия и будущее поколение дорого. Если бы у вас были дети, то и вы, вместе со мною, радовались бы, что правительство запретило этому республиканцу издавать журнал, которым он кружил

головы неопытной молодежи и буйство Лафаетов высказывал истинным просвещением. Полевой безбожник и вы тоже, — вот вам и все...» (Архив Раевских» т. II, 1909, стр. 198). А сенатор П. Г. Дивов полагал, что «министерство народного просвещения не обладало достаточной энергией, чтобы обуздать периодические издания, которые начали печатать извлечения из статей содержания самого антимионархического и противного самодержавию»; он видел даже корень всего зла в «вялости тайной полиции» и самого Бенкендорфа: «сам граф Бенкендорф как будто находился под обаянием этих писак» (см. Р. С., 1900, № 4, стр. 128—129). Только одни «охотники до чтения вздыхали о Телеграфе» (В. П. Андроссов в неизданном письме к А. А. Краевскому, ГПБ). Что же касается товарищей Полевого по ремеслу — литераторов и журналистов, то они (за очень малыми исключениями) ничем не выразили ему своего сочувствия. Противники Полевого, как напр., Надеждин и Погодин, открыто выражали свое удовольствие, а «литературные аристократы» заняли позицию компромисса. В этом смысле весьма характерен отзыв Пушкина (в Дневнике 1834 г.): «Я рад, что Телеграф запрещен, хотя жалею что запретили. Телеграф достоин был участи своей; мудро с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства, но Полевой был баловнем полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска» (ср. приведенный выше, на стр. 455, отзыв Вяземского: «Признаюсь, существование Телеграфа в том виде, в каком он был, могло быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую; а все жаль, что должны были прибегнуть к усиленной мере запрещения...» и т. д.).

В печати гибель журнала была отмечена только одним присяжным зоилом Воейковым — в специальной статейке «Плакса, надгробное слово покойному Московскому Телеграфу»: «Как много произошло добра для нашей литературы от прекращения Московского Телеграфа! — писал Воейков. — В самом деле, нельзя оценить вреда, который сделал Телеграф в продолжение девятилетнего своего существования. Конечно, люди с здравым рассудком, с твердыми правилами, самостоятельные, мыслящие, знакомые с логикой и с сухою немецкою метафизикою, безопасны от его лжемудрствований; но для ветряных, легкомысленных юношей, но для тех пожилых людей, которые подвержены головокружению, имеют отвращение от умственных усилий, не охотники размышлять, скудны сведениями, — увлекательные, самонадеянные толки г. Полевого и брата его, их резкие приговоры, их блестящие парадоксы, сделались тем же, что Алкоран для турок: они веруют в его непогрешимость» («Литературные прибавления к Русскому Инвалиду», 1835, № 2).

Сам же Полевой некоторое время старался сохранить бодрость: «Благодарю вас за ласковое внимание ко мне, за соразделение

скорбей и неприятностей, — писал он 19 июня 1834 г. И. М. Снегиреву. — Но у меня есть и, пока не потеряю ума, будет всегда помощь крепкая: вера и терпение. Бедствия должны устоять, наконец, если их твердо переносят...» (Р. С., 1901, № 5, стр. 408). Но уже и в этих строках чувствуется, что писал их не гордый независимостью и чистотой своих убеждений «фанатик», а надломленный и глубоко опустошенный человек с сильно развитым чувством пиэтизма. Он возлагает все свои надежды уже только на «веру» и «терпение», которые и помогли ему совершить ту головокружительную «эволюцию» вправо, что привела его через три года в редакцию «Северной Пчелы».

В конце VI главы Кс. Полевой рассказывает о деятельности своего брата после запрещения М. Т. На стр. 331 он упоминает о покупке у Пушкина нескольких сотен экземпляров «Истории пугачевского бунта» (вышедшей в свет в самом конце 1834 г.). Книгопродавческие отношения братьев Полевых с Пушкиным не ограничились покупкой «Истории»; в 1836 г. (в феврале) Кс. Полевой предложил Пушкину статью его комиссионером в Москве по продаже «Современника», на что Пушкин изъявил свое согласие (письмо Кс. Полевого к Пушкину от 15 февраля 1836 г. см. в «Переписке Пушкина», изд. Акад. наук, т. III, стр. 280—281; одно из ответных писем Пушкина от 11 мая 1836 г. см. в «Красной Ниве», 1929, № 24, стр. 15). — Кроме того, Н. Полевой продолжал свои литературные занятия (напечатал несколько статей в «Библиотеке для чтения» и «Моск. Наблюдателе» 1834—1835 г., написал и издал первую часть книги «Христофор Колумб», приступил к изданию «Русской истории для первоначального чтения») и представил в московский цензурный комитет программу иллюстрированного журнала «Живописное Обзорение». История цензурного запрещения, постигшего проект опального журналиста, изложена Кс. Полевым на стр. 331—332 его «Записок». Но, лишенный права быть официальным издателем, Н. Полевой остался негласным фактическим редактором «Живописного Обзорения». В 1837 г. он передал редакцию брату Ксенофону, к которому в 1842 г. перешло от А. Семёна и самое издание (постоянным сотрудником Кс. Полевого был Арк. Афан. Стройкович, ставший самостоятельным издателем «Живописного Обзорения» с 1846 г.). «Живописное Обзорение» пользовалось в свое время шумным успехом, тираж его доходил до 5000 экз.; Н. Полевой сотрудничал в этом журнале вплоть до 1843 г.

Цензура вообще очень зорко следила за Н. Полевым в первые годы после запрещения М. Т.; так, напр., московский цензурный комитет запросил в феврале 1835 г. Главное управление цензуры: можно ли пропустить в печать рукопись Полевого «Судьба Аббадонны», в котором цензора Сцегирева смutilи «несколько резких строк». Свою осторожность комитет мотивировал тем обстоятель-

ством, что на сочинения Полевого «предписано высшим начальством обращать строжайшее внимание» (см. архив мин. народн. просвещения, дела 1835 г., № 908; ср. «Дневник» И. М. Снегирева, т. I, 1904, стр. 188); — но в данном случае предосторожность московской цензуры оказалась излишней: из Петербурга ответили, что в рукописи Полевого не найдено «ничего, подлежащего запрещению».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На стр. 334 Кс. Полевой сообщает, что «наполняя листы Живописного Обозрения», брат его «писал в то же время повести, романы и начал перевод и издание известного путешествия Дюмон-Дюрвиля». В августе 1835 г. Н. Полевой писал А. В. Никитенке: «О себе доложу вам, что едва не умер прошлою зимою, но теперь, весною и летом, опять ожил; тяжелое для меня время осень, но видно живу человек! Отставной журналист, я еще не подал в отставку по литературной части: готовлю новый роман, переводы нескольких полезных книг и проч.» (неизданное письмо, ИРЛИ). Неясно, о каком романе идет здесь речь; может быть отрывок из этого романа — «Пир Святослава», напечатанный в «Московском Наблюдателе» 1835 г. (ч. IV, стр. 329 сл.).

Что касается перевода книги Дюмон-Дюрвиля, то в 1835 — 1837 г. Н. Полевой перевел 10 томов этого издания (XI и XII тт. перевел Кс. Полевой при участии А. Д. Галахова). Приступая к изданию своего перевода, Н. Полевой «не имел денег на издержки печатания его и предложил знакомому своему купцу Рыбникову, человеку довольно богатому — издать книгу с тем, чтобы он ссудил денег на издание и за то получил половину барыша... Тот... дал несколько тысяч рублей, но в обеспечение их и будущих барышей взял вексель в двойной сумме, клянясь, что не употребит этого во зло... Он и исполнил бы свою клятву, но, к несчастью, прежде нежели первые томы Дюмон-Дюрвиля были отпечатаны, Рыбников умер»; опека потребовала платежа по векселю, Полевой неоднократно просил отсрочки, проценты между тем росли и вплоть до 1844 г. несчастный долг этот лежал на Полевом (см. Кс. Полевой — «Записки», 1888, стр. 419—570). Издано было всего четыре тома «Всеобщего путешествия вокруг света» Дюмон-Дюрвиля (М., 1835—1837).

На стр. 334—335 Кс. Полевой пишет о важном событии в жизни своего брата — о благосклонном внимании, которым почтили его статью «Памятник Петру Великому» Бенкендорф и Николай I. Вторым (кроме генерала Л. М. Цынского) заступником Полевого был Николай Андреевич Кашицев — родственник Дубельта, служивший в III Отделении «для наблюдения за всеми выходящими в Москве периодическими изданиями» (см. о нем в указателе имен). В 1865 г., когда Кс. Полевой заканчивал свои

«Записки», Кашинцев был еще жив и потому мемуарист утаил его имя. Статья о памятнике Петру I появилась (без подписи) в «Живописном Обозрении» (лист 14, стр. 105—111); здесь Н. Полевой развернул восторженную апологию «руссизма», целиком совпадающую с официальной теорией «православия, самодержавия и народности»: «Бесспорно то, что России определена в будущем великая роль в истории Европы, что Россия, конечно, должна внести новую стихию в мир западный и, следовательно, что донныне вся ее история была только приуготовлением к истории будущей». В августе 1836 г. Николай I приехал в Москву и здесь, ознакомившись с «верноподданной» статьей Полевого, сменил гнев на милость: Полевому был заказан «журнал о пребывании императора в Москве», появившийся (без подписи) в «Московских Ведомостях» 1836 г., № 67 (свидетельство этому см. в письме И. И. Дмитриева к П. П. Свиньину от 12 октября 1836 г., в его Сочинениях, 1893, стр. 327). Впрочем следует отметить, что еще до приезда царя в Москву, Н. Полевой принес свою повинную голову на суд Бенкендорфа. В самом начале января 1836 г. Полевой представил шефу жандармов программу задуманной им «Истории Петра Великого». Программу эту Бенкендорф доложил царю, сопроводив собственным рапортом, где рекомендовал Полевого как «человека с пылкими чувствами и отлично владеющего пером», а проект его называл «замечательным как по мыслям, в нем заключающимся, так и по самому изложению». Николай мог прочесть в программе Полевого такие высокопатриотические строки: «Вся новая история до Н и к о л а я была развитием периода Петра. Н ы н е развитие это достигло своего предела. Бог послал другого сына на судьбы, который начал период новый... История последних десяти лет [т. е. 1825—1835] открыла нам тайну праправнука Петрова (того, кто вступил на престол России ровно через сто лет: 1725—1825-й годы). Мы знаем, кто ожил в нем. Историк не промолвит этого в истории Петра — Русские и без того поймут, на кого были обращены взоры историка. Образ современного будет отражаться на каждой странице бытописаний прошедшего». В заключение Полевой просил разрешения посвятить свой труд Николаю I, а также временной ссуды на заграничное путешествие и сбор материалов. Но, несмотря на то, что царскому сердцу много должно была сказать подчеркнутая Полевым аналогия: Петр I — Николай I, — царь отказал, положив следующую резолюцию: «Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив иностранной коллегии; двоим и в одно время поручить подобное дело было бы неуместно». Бенкендорф ответил Полевому письмом, где сообщил, что царь хотя и «не мог вполне изъявить монаршего соизволения», тем не менее «с благоволением удостоил принять» его намерение: «государю императору было бы приятно, если бы вы употребили способности и ваши сведения на предприятие, драгоценное для сердца каждого Русского» (см. все указанные материалы

у М. Лемке — «Николаевские жандармы и литература 1826—1895 гг.», изд. 2-е, 1909, стр. 100—103). Это было уже прямым поощрением и как поощрение принял письмо сам Полевой. И. М. Снегирев записал в своем дневнике (8 февраля 1836 г.): «Был у Н. Полевого, приехавшего из СПб с приятными надеждами: ему поручено государем писать Историю Петра I по ходатайству Бенкендорфа» (см. т. I, 1904, стр. 216; *ibid.*, стр. 199 — упоминание с том, что в мае 1835 г. Полевой читал описание Московской выставки, «порученное ему государем»). В 1841 г., окончив работу над «Историей Петра Великого», Полевой снова обратился к Бенкендорфу с просьбой открыть ему архивы. Бенкендорф, со своей стороны, удостоверил, что «начало истории Петра . . . очень хорошо и написано в таком духе и таким слогом, что нельзя не желать чтобы Полевому доставлена была возможность вполне развернуть талант свой». Однако Николай I и на этот раз ответил отказом (см. М. Лемке, *op. cit.*, стр. 132).

На стр. 336—339 Кс. Полевой пишет о переводе «Гамлета», открывшем новую главу в литературной деятельности его брата — драматическое творчество. Н. Полевой недаром называл себя «старожилом русского партера», его театральные интересы восходят еще ко времени самой первой юности (см. Автобиографию Н. Полевого, стр. 84 наст. изд. и комментарий, стр. 358—359; о драматургии Полевого вообще — см. в вводной статье). Перевод «Гамлета», сделанный Полевым, явился крупным событием в истории русской сцены и в течение долгого времени пользовался шумным успехом. По свидетельству его сына Петра, Н. Полевой «Шекспира и Байрона, а равно и английских историков . . . читал в подлиннике и в обширной библиотеке его целые полки . . . были переплечены английскими книгами. Когда он выучился английскому языку, — не знаю. Но из отзывов одного знатока английского языка, который сам переводил Шекспира и входил поэтому в сношения с отцом, мне известно, что хотя отец мой выговаривал английские слова прекурьезно, но язык понимал превосходно» (см. «Ежегодник имп. театров», 1894—1895, приложение 3, стр. 63). Кроме «Гамлета», Полевой перевел также «Тимона Афинянина» («Сцены из драматической повести Шекспира, вольный перевод с английского»; напечатаны в «Новоселье», 1846, ч. III, стр. 143—200; на сцене поставлены уже после смерти Полевого, в 1848 г., в бенефис актера Толченова) и «Сарданапала» Байрона (судьба этого перевода неизвестна, см. письмо Н. Полевого к брату от 21 ноября 1839 г. в «Записках», изд. 1888 г., стр. 480).

Первое представление «Гамлета» на московской сцене, в бенефис П. С. Мочалова, было 22 января 1837 г. Осенью того же года «Гамлет» был поставлен и в Петербурге, с участием прославленного В. А. Каратыгина. По словам Н. Полевого, успех спектакля «был неслыханный». Игра Мочалова заслужила всеобщее одобрение:

Министерство Государства

Вузы Вилковска.

Моему, подруге прощения
и чужды работы Вам
моя душа не одобряет
я, к Вашей преданности не могу,
Жду: буду кратко приговора.
Видите: что мне судьба пошла —
или много о Вашей рини всего,
или смерть Кривского пером?
Во не о чем я боюсь,
но если негодяем Вами —
попытайся летать улететь
своей, и прощай — и прощай,

1 Дек. 1839
С.А.



Письмо Н. А. Полевого В. Н. Асенковой

«На днях у нас давали Гамлета. Полевой перевел его с английского очень порядочно, хоть, кажется, не всегда слишком близко... Мочалов был превосходен, особенно во втором представлении» — писал Н. В. Станкевич Л. А. Бакуиной («Переписка Станкевича», 1914, стр. 509). В 1840 г. перевод Полевого был напечатан в «Репертуаре русского театра» кн. III, с посвящением «доброму другу» С. Д. Полторацкому. Неодобрительный отзыв о нем дал А. И. Кронеберг в большой статье: «Гамлет, исправленный г-ном Полевым» («Литературная Газета», 1840, №№ 49 и 50), где перечислялись многочисленные отступления переводчика от оригинала. Полевой обвинялся даже в том, что перевел «Гамлета» не с английского, а с французской переделки Летуэрнера, исправленной Гизо (см. неодобрительные отзывы Полевого о переделке Летуэрнера в М. Т., 1828, № 11, стр. 339 и 1833, № 9, стр. 155). Ср. письмо Кронеберга к В. Г. Белинскому (от 20 августа 1838 г.): «Я нахожу [перевод] чрезвычайно своевольным, везде только суррогат Шекспировых мыслей... не могу с вами согласиться, чтобы перевод г. Полевого был поэтическим. Перевод сделан наскоро. На заглавном листе сказано: перевод с английского. Но я имею причины догадываться, что перевод сделан с перевода Шлегеля, по крайней мере местами» («Письма Белинского», т. I, стр. 411). См. также о переводе Полевого статью П. А. Плетнева — «Шекспир» в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду», 1837, № 44 (перепечатана в «Сочинениях и переписке П. А. Плетнева», т. I, 1885, стр. 299—302). Приведем, кстати, забытую эпиграмму 1837 г. на перевод «Гамлета» (автор ее неизвестен):

Ну, что Гамлет? — «Несет без толку гиль!»
Полоний? — «От его погиб кинжала!..»
Ну, что же публика? — «Зевала!»
Ну, а Офелия? — «Пропела водевиль!»

(см. «Листок для светских людей», 1844, № 9).

В начале 1838 г. Н. Полевой выступил уже с пьесой собственного сочинения — романтической драмой «Уголино», сюжет которой был заимствован из истории Италии эпохи борьбы Гвельфов и Гиббелинов (ср. в «Божественной комедии» Данте — *Inferno*, песни 32—33), «Уголино» был представлен в первый раз 17 января 1838 г. на петербургском театре, в бенефис В. А. Каратыгина, а 21 января — в Москве, в бенефис П. С. Мочалова. О «неслыханном и неожиданном» успехе своей драмы подробно писал сам Полевой в письме к брату от 21 января 1838 г. (см. «Записки» Кс. Полевого, изд. 1888, стр. 408—412).

Упомянув на стр. 340 о пьесах, которые «дарил» его брат актерам-бенефициантам, Кс. Полевой намекает на В. А. Каратыгина (ср. «Исторический Вестник», 1888, № 3, стр. 663).

В начале II главы Кс. Полевой пишет о «молодых литераторах и ученых», окружавших его брата в 1836—1837 гг.; ср.

в вводной статье (стр. 71) данные о взаимоотношениях Н. Полевого с А. И. Герценом и И. И. Панаевым. — История дружбы и вражды Н. Полевого с В. Г. Белинским должна служить предметом специального исследования; коснемся ее здесь в самых общих чертах. Белинский познакомился с Полевым в конце 1834 г. или начале 1835 г. По свидетельству Кс. Полевого, «он признавал себя учеником М. Т., много раз говаривал нам, что еще живши в своей губернии, читал, перечитывал этот журнал, воспитывал себя его идеями и направлением» (см. «Сев. Пчела», 1859, № 229). В 1835 г. они часто встречались, Полевой знал кружок Белинского и относился с большим сочувствием к его литературной деятельности в «Молве» и «Телескопе». В апреле 1835 г. Белинский, посылая Полевому билет на «Телескоп», писал ему: «Мне было бы приятно иметь читателем того человека, который с таким благородным и беспримысленным самоотвержением старался водрузить на родной земле хоругвь века, который воспитал своим журналом несколько юных поколений и сделался вечным образцом журналиста» («Письма Белинского», т. I, стр. 62). Полевой отвечал ему: «Поверьте, что от искреннего сердца благодарил я вас, читая ваше письмо, благодарил и за то, что ваша благосклонная рука потрепала лавры старика. Чувствую, как сильно устарел я, но все еще кипит сердце на дело правды и если я могу только чем быть полезным — готов служить вам» (см. А. Н. Пыпин — «Белинский, его жизнь и переписка», т. I, 1876, стр. 145).

В 1837 г. Кс. Полевой рассчитывал приобрести у В. П. Андреева «Московский Наблюдатель» (ему было в этом отказано Уваровым) и предполагал Белинскому поручить в своем новом журнале отдел критики и библиографии. Тогда же Н. Полевой пригласил его к участию в «Сев. Пчеле». Белинский писал по этому поводу: «У меня надежд бездна... это дает мне настоящую жизнь, при одной мысли о которой я уже оживаю и чувствую в себе новую силу» («Письма», I, стр. 131). Однако Полевой, резко изменивший по приезду в Петербург свою политическую ориентацию, сам уклонился от сотрудничества с Белинским. Он писал Белинскому в декабре 1837 г.: «Как бы рад я был сотруднику, такому, как вы, но я просил брата откровенно рассказать вам мое нынешнее положение, и вы сами увидите, что оно так скользко, безотчетно, связано отношениями, что завлекать вас надеждами, заставить переселиться сюда — значило бы взять на совесть, может быть, и невольный обман» (см. Пыпин, *op. cit.*, стр. 213—214). Брату Ксенофонту Полевой писал в то же время следующее: «Затягивать [Белинского] сюда, когда он такой неукладчивый (и довольно дорого себя ценит) было бы неосторожно всячески, и даже по политическим отношениям. Второе — что он может делать и уживемся ли мы с ним, при большой разнице во многих мнениях, и когда на чистом ему поручить работы нельзя, при его плохом

знании языка и языков и недостатке знаний и образованности? Все это нельзя ли искусно объяснить, уверив при том (что, клянусь богом, правда), что как человека я люблю его и рад делать для него, что только мне возможно. Но при объяснениях щадя чувствительность и самолюбие Белинского. Он достоин любви и уважения. и беда его одна — нелепость» (см. «Записки» Кс. Полевого, изд. 1888, стр. 404; см. также письма к Белинскому А. В. Кольцова в его П. с. с., изд. Акад. наук, 1909, стр. 171—172 и 175). Об этом же пишет в своих «Воспоминаниях о Белинском» и И. И. Панаев: «Белинский — прекраснейший, благороднейший человек! — сказал мне однажды Полевой, когда я нарочно завел с ним речь о Белинском. — Горячая голова, энтузиаст, но теперь нам сходиться не для чего-с. Я здесь уж совсем не тот-с. Я вот должен хвалить романы какогонибудь Штевена, а ведь эти романы галматься-с» (И. И. Панаев — «Литературные воспоминания», 1928, стр. 479—480).

Дальнейшие события литературной биографии Полевого заставили Белинского резко изменить свое отношение к нему. С 1838 г. Белинский — яростный противник Полевого, он «клюет и терзает» его на страницах «Отечественных Записок» и «Литературной Газеты» и не скупится в письмах к друзьям на такого рода аттестации: «Полевой сделался гнуснее Булгарина. Это человек, готовый на все гнусное и мерзкое, ядовитая гадина, для раздавления которой я обрекаю себя, как на служение истине», или: «Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, Греча... приятель Кукольника, бессовестный плут, завистник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливый... нет, я одного страстно желаю в отношении к нему: чтоб он валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога разможил бы его иссохшую, фарисейскую, желтую физиономию» (см. «Письма», т. II, стр. 42, 196—199; ср. крайне сдержанный отзыв Полевого о Белинском, переданный А. В. Кольцовым — см. его П. с. с., 1909, стр. 212). Только смерть Полевого примирила с ним Белинского, заявившего (в некрологе Полевого), что «перед гробом умершего должны умолкать даже личные вражды». — «Каков бы то ни был характер его литературной деятельности за последние десять лет», — писал Белинский, — «в нем многое объясняется стесненными обстоятельствами. Во всяком случае, забывая о недавнем, мы тем живее вспоминаем о первом блестящем периоде литературной деятельности этого необыкновенного человека... Полевой еще ждет, хотя может быть не скоро дождется, истинной оценки, но он дождется ее и имя его навсегда останется в истории русской литературы и в признательной памяти общества» (О. З., 1846, т. 45, № 4).

Кс. Полевой снова возвращается к Белинскому на стр. 347—351 своих «Записок». Попытки объяснить враждебное отношение его к Н. Полевому тем незначительным обстоятельством, что

в «Сев. Пчеле» не напечатали вторую статью о «Гамлете» — конечно несостоятельно. — Белинский очень ценил помощь, оказанную ему Кс. Полевым, и писал в письме к Д. П. Иванову (1840): «Если увидишь К. А. Полевого, скажи ему от меня поклон и уверь его, что я его глубоко уважаю, как человека умного, честного и благородного, что я дорожу его уважением, с удовольствием вспоминаю о времени, которое проводил у него в доме, люблю все его семейство, никогда не забуду его милых детей. Также я всегда буду помнить, что был обязан ему многим его ко мне расположению. Оставил я его вот почему: он слишком любил своего брата, которого я от всей души и ненавижу и презираю» («Письма», т. II, стр. 53). Кс. Полевой выступил в конце 50-х годов с исключительно резкими отзывами об изданных в то время «Сочинениях» Белинского, которые — по его мнению — «не имеют никакого литературного значения» (см. «Сев. Пчела», 1859, №№ 229, 247 и 284; ср. также его некролог Белинского в «СПБ. Ведомостях», 1848, № 124). Выступление Кс. Полевого вызвало форменную бурю в лагере либеральной журналистики (см., напр., статьи: С. С. Дудышкина — «Шипящие старички», в О. З., 1859, т. 127, № 11, отд. III, стр. 33—36, и П. И. Вейнберга — «Литераторы с замыслами», в «Библиотеке для чтения», 1859, № 11, стр. 56—60; ср. стр. 365 наст. изд.). О взаимоотношениях Белинского с братьями Полевыми см.: «Летопись жизни Белинского», ред. Н. К. Пиканова, 1925 (по указателю), «Письма Белинского», тт. I и II, 1914, (по указателю), А. Н. Пыпин — «Белинский, его жизнь и переписка», 2-е изд., 1908, стр. 180—188 и С. А. Венгеров — комментарий к П. с. с. Белинского, т. III, 1901, стр. 515—523.

На следующих страницах Кс. Полевой пишет о переезде своего брата в Петербург для участия в журнальных предприятиях Смирдина — Булгарина — Греча. Н. Полевой подумывал о переезде в Петербург уже в начале 1836 г.: «Москва так надоела мне, что может быть я решусь совершенно оставить ее; по крайней мере нынешнее лето, с июня месяца, я проживу в Петербурге. Если уж надобно, неволя велит, продолжать мне мою деятельность, то надобно продолжать ее в Петербурге, который как молодой красавец растет и величится на счет Москвы, стареющей и дряхлеющей во всех отношениях» — писал он А. И. Герцену 25 февраля 1836 г. В этом же письме Полевой осторожно намекает Герцену на изменение своих «взглядов и отношений»: «Кто из нас переходил путь жизни без горя и без страданий? Слава богу, если они постигают нас тяжелым опытом в юности. А как изменяются потом в глазах наших взгляды и отношения на все, нас окружающее. Великий боже! я сам испытывал и испытываю все это, а мне только сорок лет» (см. «Полярная Звезда», 1859, кн. V, London, 1859, стр. 196—198). Переезжая в Петербург, Полевой рассчитывал, прежде всего, на возможность снова включиться в литературно-журналь-

ную жизнь; расчеты эти — как увидим ниже — были основаны на вполне конкретных предложениях, сделанных ему Смирдиным. Но, кроме того, были и другие причины, побуждавшие Полевого оставить Москву: по-первых, долги и, во-вторых, несчастная любовь. Долги «лишали покоя» Полевого начиная уже с 1830 г.; к 1837 г. сумма их превысила 80 000 руб. ассигнациями (см. «Записки» Кс. Полевого, изд. 1888 г., стр. 418—419). Договор со Смирдиным, составленный на очень выгодных для Полевого условиях, а также готовность работать «в восемь рук» — сулили Полевому надежды на «лучшее будущее»: «Труд мой, который я принимаю на себя здесь, едва выносим, но я вижу по крайней мере цель его, вижу, что, поработавши два-три года, я буду чист с стариками [так Полевой называл ростовщиков — В. О.] и детям оставлю кусок насущного хлеба», — писал он брату из Петербурга 1 января 1838 г. (Ibid., стр. 397). Надеждам Полевого, как известно, не удалось осуществиться, и его материальное положение ухудшалось в Петербурге с каждым годом все более и более. О несчастной любви Полевого мы ничего не знаем кроме нескольких глухих упоминаний в письмах его к брату 1838—1843 гг. (Кс. Полевой отказался пояснить их: «Скажу только, что он говорит о тайне сердца, унесенной им в могилу» — см. «Записки», изд. 1888 г., стр. 396—397, 398, 558—559). В одном из писем Н. Полевой прямо указывает, что его любовь «была первоначальной причиной мысли о побеге из Москвы»; есть основание предполагать, что любовь эта нашла отражение в драме «Уголино».

В конце 1837 г. в редакции «Сев. Пчелы» и «Сына Отечества» произошли значительные перемены: Ф. В. Булгарин и Н. И. Грек остались «распорядителями литературно-ученой части», а все хозяйственно-организационные функции перешли к А. Ф. Смирдину. Смирдин составил план реорганизации этих журнальных предприятий, максимально расширив их производственную и финансовую базу; он «рисковал на предприятие в сотни тысяч: бюджет Пчелы составляет 150 000, а Сына Отечества — 50 000 рублей» (письмо Н. Полевого к брату от 1 января 1838 г.). Между тем, и журнал, и газета пришли к тому времени в совершенный упадок: тираж «Сев. Пчелы» едва достигал 2500 экз., а «Сына Отечества» расходилось менее 300 экз. Смирдин надеялся значительно увеличить число подписчиков, поручив редакцию такому опытному и популярному журналисту, как Н. Полевой (см. «Краткий обзор книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых за 100 лет», 1883, стр. 55—56). П. И. Юркевич сообщает в своих воспоминаниях следующие данные о договоре Смирдина с Полевым: «Расширяя все больше и больше свою деятельность, Смирдин выписал из Москвы бывшего тогда в славе Н. А. Полевого, которому дал квартиру в своем доме на Лиговке, доставил работу и выручил из стесненного положения, в которое тот попал после запрещения М. Т... Видя

успех «Сев. Пчелы», Смирдину пришла мысль взять ее в аренду, в надежде, что под редакторством Полевого — до того он верил в его способности и в его авторитет — газета удесятит число своих подписчиков и принесет ему громадные выгоды. Смирдин не сомневался, что стоит Полевому взять в руки перо, и сейчас из-под пера этого чародея, мага и волшебника польются золотые реки. Для обсуждения Смирдинского плана и переговоров выписан был из Дерпта Булгарин и после продолжительных прений, решено [было] отдать «Пчелу» Смирдину за 60 тысяч рублей ассигн. в год, под «негласную» редакцию Полевого. Гласной редакции, даже самого имени Полевого, Третье отделение и не позволило бы, так как он был записан в черную книгу, в разряд «неблагонадежных». Но осторожные владельцы газеты, не питая безграничного доверия к Полевому. . . выговорили следующие кондиции: 1) «Сев. Пчела» должна печататься в типографии Греча, которому предоставляется полное право браковать сомнительные статьи и читать последнюю корректуру, 2) все прежние, постоянные сотрудники остаются при редакции и продолжают свои занятия» (см. «Исторический Вестник», 1882, т. X, стр. 165). В этом показании не все справедливо; участие Полевого в «Сев. Пчеле» и С. О. мыслилось первоначально как о ф и ц и а л ь н а я редакция, Смирдину было необходимо популярное имя Полевого и его перо первоклассного журналиста и критика. Только после того, как Уваров категорически отказался утвердить Полевого официальным редактором и даже не позволил ему подписывать свои статьи, — Смирдин, Булгарин и Греч с большой неохотой согласились на его негласную редактуру, ибо — как замечает сам Полевой — «умолчание имени моего значило 20% долей». В письме к брату от 5 ноября 1837 г. Полевой писал: «С Булгариным и Смирдиным мы уладили тотчас — написали расчеты, проекты, условия, приготовили программу. . . принялись за приготовления и материалы (одних журналов и газет выписываем на 3000 руб. и 7000 руб. определяется на книги; редакция передается вполне мне)», но «Уваров объявил мне явное гонение — не принял меня, сказал, что не позволит объявлять имени моего в журнале как сотрудника, не позволит мне даже п о д п и с ы в а т ь имени под статьями. . . Все это сначала меня испугало, при мысли: неужели еще таится на меня подозрение, и вся ласка, вся благосклонность ко мне в последнее время была только хитростью? Из чего же и для чего хитрить со мною? Меня успокоили слова добрейшего Л. В. Дубельта, который клялся мне, что это капризы Уварова, и что правительство против меня не только ничего не имеет, но даже видит во мне доброго и почтенного гражданина. Мы написали записку, письмо к графу А. Х. [Бенкендорфу], другое к А. Н. Мордвинову [правитель канцелярии Бенкендорфа. — В. О.]; я написал еще особо к нашему приятелю Н. А. [Кашинцеву] и все это поскакало в Москву при письме

Л. В. [Дубельта]. В письмах и записках я говорил искренно, просто и с надеждою жду от в е т а — уверен, что добрый царь разрешит все; что, может быть, и Уварову нашептали какиенибудь мерзавцы, потому что в прошлом году он изъявлял мне всю свою благосклонность» (см. «Записки» Кс. Полевого, изд. 1888 г., стр. 389—390). Но на сей раз Бенкендорф отказался ходатайствовать за Полевого, заявив, что Полевой «просит сам не знает о чем» и что он не может вмешиваться в распоряжения министра народного просвещения. Отказ Бенкендорфа очень тяжело подействовал на Полевого: «Главнейшую неприятность составили мне мои политические, так сказать, обстоятельства (писал он брату 1 января 1838 г.) — этот холодный, суровый ответ от графа А. Х. — Признаюсь, что сначала это меня как громом поразило! К чему-же было ласкать меня, лелеять посулами? и неужели не уверились еще во мне, не видели моей искренности, не поняли меня и хотят терзать даже после такого письма. какое послал я к графу в Москву?.. [письмо это нам, к сожалению, неизвестно — В. О.]... И между тем затягивать Смирдина в обширное его предприятие, когда все оно основывалось на мне и на моем имени, и мысль, что отказ может действовать на отношения ко мне Греча и Булгарина, может положить в их глазах темную на меня тень и действительно бредить им... Я боялся эгоизма Греча, поляцизма Булгарина, трусости Смирдина... И обо всем этом столько говорили, а главное: с разрушением этого разрушалась вся моя надежда в будущем, мечта о спасении от стариков, мечта о том, что можно еще сделать много хорошего, и я становился оплеван перед всеми, выехав на берега Невы, опять писать на заказ романы и переводить Дюмон-Дюрвилей, биться из куска хлеба... Надсбно было решиться — я отправился к Гречу, Булгарину, Смирдину, сказал им все — вероятно говорил как Цицерон, говорил сильно и искренно. Нет! все могут быть людьми: Булгарин расплакался, Греч обнял меня, Смирдин сказал, что меня с ним ничто не разлучит. Все мы подали друг другу руки и, благословясь, подписали наши условия» (Ibid., стр. 398 — 399). Таким образом Полевой стал, хотя и негласным, но фактическим редактором «Сев. Пчелы» и С. О.: «Надзор мой полный — ни одна статья не пройдет без меня, кроме вранья Булгарина», — писал он брату Ibid., стр. 401).

Полевой уехал в Петербург уже окончательно «переродившимся»: «он надеялся, что постоянный труд выведет его, наконец, из затруднительных обстоятельств, а чистота его помышлений и всех действий убедит высшие власти, что напрасно видят в нем и преследуют опасного человека» (Кс. Полевой). Несомненно что еще в Москве, принимая предложение Смирдина, он подверг решительному и окончательному пересмотру свои прежние политические мнения; он сам писал брату, что навсегда «разорвал все прежние связи и отноше-

ния». Но, вместе с тем, он испытывал и «робость при начале новой жизни». Петербург встретил его неприветливо: «Всобщее все литераторы и знакомые приняли меня здесь радостно и ласково. Но главное, что теперь я чувствую — это совершенное между всех одиночество и беспрестанно невольная мысль: с этими людьми тебе доживать век! — тяготит меня. Это странно... может быть, обжигив усь, привыкну, — да жизнь ли это?» («Записки» Кс. Полевого, 1888, стр. 391). А жизнь Полевого в Петербурге действительно складывалась неудачно. Его теснили со всех сторон: друзья и соратники прошлых лет клеймили его позорными именами изменника, перебежчика, отступника; правительство не верило его «перерождению», Уваров не прекращал своих гонений, а новые друзья-приятели — петербургские журналисты — оказались вероломными союзниками.

Письма Н. Полевого к брату за 1837—1838 гг. дают богатый материал для характеристики его общественного поведения в Петербурге. Поведение это можно выразить двумя словами: растерянность и смирение. «Я и сам теперь не знаю, какой принять тон, какое выражение... смотрю, наблюдаю, кланяюсь скромно», — писал он Белинскому 22 декабря 1837 г.; ср. в письме к брату от 1 января 1838 г.: «Я понял так, что мне надобно как можно не выказываться, не лезть в глаза, стараться, чтобы увидели и удостоверились в моей правоте, чистоте моих намерений». Но и смирение не помогло: девять лет петербургской жизни Полевого были годами непрерывных несчастий, унижений и беспросветной нищеты. Журнальная деятельность Полевого также складывалась в высшей степени неудачно: петербургские журналисты в очень короткий срок вытеснили его из редакции «Сев. Пчелы», свели его на роль «чернорабочего», подневольного сотрудника. В 1837 г. Полевой принимал ближайшее участие в редакции литературно-критического отдела «Библиотеки для чтения», но самоуправство Сенковского (о котором Полевой подробно пишет в предисловии к своим «Очеркам русской литературы», 1839) поссорило их. Приступая с 1838 г. к изданию С. О., Полевой рассчитывал, что этот журнал явится оппозицией «Библиотеке для чтения»: «Долго-ли властвовать Брамбеусу?» — писал он А. Ф. Вельтману 20 декабря 1837 г. — «Если С. О. не подобьет глиняных ног этого Ватиканского кумира, то пеняйте на себя, русские литераторы! Я приложу все силы делать сколько могу лучше, берусь за работу руками и ногами. Это будет мой последний литературный подвиг, при чем или сделаю чтонибудь хорошее и спасу Русь православную от нашествия ляха, или паду и не восстану!» (см. Р. С., 1901, № 6, стр. 109; ср. письмо Полевого к Булгарину от 2 апреля 1838 г., в Р. С., 1896, № 6, стр. 568—569). Но Сенковский, так же, как и Булгарин, и Греч, и сам Полевой, был «на откуп» у Смирдина; Смирдин, владевший «Библиотекой для чтения», был общим «хозяином» Полевого и Сен-

ковского. Естественно, что при таких условиях Полевому было трудно совершить свой «последний литературный подвиг». Сенковский, в свою очередь, старался «уничтожить» Полевого и потому 1837—1838 гг. прошли в редакциях смирдинских журналов под знаком непрерывной борьбы и тайных заговоров. В. А. Владиславлев писал А. Я. Стороженко 5 мая 1838 г.: «Главное лицо в литературе — это книгопродавец Смирдин. У него на откупу Сенковский, Греч, Булгарин и Полевой. Последний в звании редактора С. О. и литературного отделения в «Сев. Пчеле». Не смотря на одного хозяина, прикащики ссорятся между собою следующим образом: Сенковский со всеми, Греч с Сенковским, Булгарин с Полевым, Полевой с Булгариным и Сенковским. По последним слухам Полевой изгоняется из этой касты за ссору с Булгариным» (см. «Стороженки. Фамильный архив», Киев, 1907, т. III, стр. 64). Сенковскому удалось поссорить с Полевым Булгарина. Полевой следующим образом изложил историю этой ссоры (в письме к брату от 21 мая 1838 г.): «Два гнусные ляха, Булгарин и Сенковский, пользуясь отсутствием Смирдина, решились всячески меня уничтожить. Невозможность иметь дело с Булгариным и беспрестанные несогласия, споры и шум уже давно решили меня бросить Пчелу, и когда этот подлец нагло поссорился со мной, решительно, за отзыв об его пакостной книге [«Россия ets.»] и за отзыв о сборнике Воейкова, написал ствет, начал меня везде ругать, клеветать, поносить во всем, я сам предложил отказ от Пчелы, которою управлять я, кроме того, не находил возможности по бесчисленным причинам. Тут Сенковский образовал план лишить меня всего, разрушить С. О., а Булгарин подал бумагу, чтобы ему передавать все мои корректуры. Не говоря об оскорбительном тоне бумаги и унижении, он начал марать, задерживать, требовать вполне редакции себе; я остановил печатание и отложил все до Смирдина, который как хозяин, купивший С. О., может им один распоряжаться. . . Приезд Смирдина оживил [меня] и спас совершенно. Он заговорил с подлецом смело, хотел все бросить, разрушить, не слушал Сенковского, и вот решено: я отказался от Пчелы, а Булгарин от С. О., который остается в моем полном распоряжении, с именем одного Греча. Мнение общее и высшее были во все время за меня. Булгарин злится, Сенковский бесится, но чорт с ними!» (Кс. Полевой — «Записки», 1888, стр. 426—427; ср. в «Библиотеке для чтения», 1838, № 3, статью «Исторические пояснения на замечания Н. А. Полевого о сочинении Ф. Булгарина: Россия»). Ср. в письме Н. А. Мельгунова к С. П. Шевыреву: «Четыре Смирдинских работника, из которых он настаивает укус для утоления жаждущей публики, беспрестанно ссорятся и мирятся между собою. Булгарин с Полевым чуть было нынешним летом не дошли до святых власов; Полевой вызвал того на дуэль, но Булгарин, как русский дворянин, отказался драться с купцом» (см. Р. С., 1898, № 11, стр. 326).

В дальнейшем отношения Полевого с Булгариным менялись неоднократно и, по верному замечанию самого Булгарина, «уподоблялись барометру». В 1838 г. Полевой пылает ненавистью к «подлецу» Булгарину (также и к «гнусному эгоисту» Гречу), но в декабре неожиданно мирится с ним, на этот раз уже надолго (в 1841 г. он пишет брату: «С Булгариным у нас большая дружба»; в 1843 г. — «Только Булгарин утешил участием... спасибо ему»). В 1843 г. Полевой уже начал писать в сотрудничестве с Булгариным роман — «Счастье лучше богатства» (печатался в «Библиотеке для чтения», 1845 г.). В 1846 г. дружба опять столь же неожиданно сменилась ожесточенной полемикой: Булгарин встретил бранью «Литературную Газету», редактором которой Полевой стал в этот последний год своей жизни; Полевой неодобрительно отзывался о «Воспоминаниях» Булгарина (см. «Литературная газета», № 1 и 3); Булгарин ответил Полевому крайне резко (см. «Сев. Пчела», № 20); Полевой закончил полемику знаменитыми в свое время статьями «Полевоитип» («Литературная Газета», №№ 4 и 5).

После смерти Полевого Булгарин, однако, проявил добрые чувства: в некрологе «Сев. Пчелы» Полевой был назван «одним из самых деятельных и неутомимых литераторов, оказавшим русской словесности незабвенные услуги», «истинно народным писателем, сроднившимся с духом и чувством русского народа», имя которого «никогда не умрет в литературе русской» (см. № 44). Булгарин же выхлопотал семье Полевого пенсию в 1000 рублей; он писал Л. В. Дубельту: «Умер литературный враг мой Н. Полевой. Не хотел он, чтоб Россия любила меня и раскупала мои сочинения и вредил мне, сколько мог в своем кругу, в течение 24 лет. Но вот его нет, а семейство — девять человек детей, жена, старая няня — без куска хлеба. Полевой был полезный и деятельный литератор, любимый народом, потому что вышел из среды его... Еслиб семье дать пенсию, а нам позволить объявить народную подписку на уплату долгов и обеспечение малолетних, — было бы чудесное и великое дело!» (см. М. И. Сухомлинов — «Исследования и статьи», т. II, стр. 430; ср. письма Дубельта к Булгарину в Р. С., 1872, т. V, стр. 299 и письмо Булгарина к В. А. Стороженко в Р. А., 1912, № 2, стр. 278).

Журнальные отношения Полевого и О. И. Сенковского выясняются нами в другой работе — «Конец Николая Полевого» (гот. к печ.), ср. у В. А. Каверина — «Барон Брамбеус», 1929, стр. 66—158.

В конце 1838 г. Полевому удалось, наконец, убедить правительство в своей благонадежности. «Безделка, о которой я не думал, которая стоила мне полдня работы, словом «Дедушка русского флота» сделался неожиданною причиною счастливого оборота, может быть, всех моих обстоятельств, произвел шум, обратил на меня внимание царя» — писал Полевой брату 24 ноября 1838 г. (см.



Восйков, Н. Полеввой, Кукольник и Розен.

«Записки» Кс. Полевого, 1888, стр. 444). Николай I остался чрезвычайно доволен этой высоко-патриотической пьесой Полевого; «вот что ему писать надобно, а не издавать журналы», — сказал он, посетив 4-е представление «Дедушки русского флота». Полевой был вызван к Бенкендорфу, который сообщил ему следующее: «Государь благодарит вас, велел сказать вам, что он никогда не сомневался в необыкновенных дарованиях ваших, но не предполагал в вас такого сценического искусства. Он просит вас, приказывает вам писать для театра. Давайте мне все, что вы напишете. Государь сам будет все читать» (Ibid., стр. 446). А. В. Никитенко передает со слов В. А. Владиславлева, что, когда Дубельт передавал Полевому перстень, пожалованный ему царем, и сказал ему: «Вот вы теперь стоите на хорошей дороге: это гораздо лучше, чем попусту либеральничать», — Полевой ответил, «низко кланяясь»: «Ваше превосходительство, я написал еще одну пьесу, в которой еще больше верноподданических чувств. Надеюсь, вы ею тоже будете довольны» (см. «Записки и дневник», т. I, 1905, стр. 292). Царское благоволение примирило с Полевым и Уварова: «Он обласкал меня, объявил другом и любимым писателем своим» — сообщал Полевой брату («обласканный» журналист не поспешил на выражения своих почтительных чувств по адресу министра; см., напр., льстивый отзыв об «Отчете по министерству народного просвещения за 1837 г.» в С. О., 1838, т. IV, критика, стр. 102—110). Другие данные о личной и литературно-журнальной деятельности Полевого в петербургский период его жизни — см. в вводной статье (подробнее в нашей работе «Конец Николая Полевого»).

На стр. 347 Кс. Полевой упоминает о либретто, которое писал его брат для оперы Верстовского. Называлось оно «Железное перо» (см. «Исторический Вестник», 1888, № 3, стр. 650).

На стр. 348 рассказывается о проводах Полевого Белинским «за Тверскую заставу». Ср. у И. И. Панаева: «Этот человек сам предвидел свое падение, — рассказывал мне Белинский с грустью. Когда он уезжал из Москвы, я [т. е. Белинский. — В. О.] проводил его до заставы. У заставы мы обнялись и простились... «Желаю вам успехов и счастья в Петербурге», — сказал я. Он как-то уныло улыбнулся. «Благодарю вас, — отвечал он, — нет-с, уж какие успехи! Но если я буду действовать не так как следует (он употребил более ясное и резкое выражение), то не вините меня, а пожалейте-с... Я человек, обремененный семейством» («Литературные воспоминания», 1928, стр. 479).

На стр. 349 Кс. Полевой пишет о цензурных затруднениях с постановкой «Уголино» на московской сцене в бенефис П. С. Мочалова. См. по этому поводу письмо Н. Полевого к М. Н. Загоскину в Р. С., 1902, № 9, стр. 627.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авдеева** Екатерина Алексеевна (1789—1865) — сестра Н. и Кс. Полевых, мать известного беллетриста 1850—1860-х гг. М. В. Авдеева, писательница, автор „Записок и замечаний о Сибири“, 1837 (с предисловием Кс. Полевого); „Записок о старом и новом русском быте“, 1842; „Русских сказок для детей“, 1844, и целого ряда книг по вопросам сельского и домашнего хозяйства, получивших в свое время широкую известность. Некоторые данные о быте семьи Полевых в Иркутске содержатся в статьях Авдеевой: „Воспоминания об Иркутске“ (О. З., 1840, т. I) и „Еще отрывки моих воспоминаний“ (С. О. 1840, т. II), 83, 102
- Аксаков** Сергей Тимофеевич (1791—1859) . . . 168, 188, 241, 246—248, 249
- Александр I** (1777—1825) 88, 120, 184, 218, 251, 254
- Анастасевич** Василий Григорьевич (1775—1845) — поэт, переводчик, библиограф, археолог и нумизмат, издатель журнала „Улей“ (1811—1812), составитель известной „Росписи русских книг из библиотеки А. Ф. Смирдина“ (1828) 242—245, 247
- Ангальт** гр. Федор (Фридрих) Евстафьевич (1732—1794) — генерал русской службы, с 1786 г. — генерал-директор сухопутного шляхетного кадетского корпуса 249
- Андросов** Василий Петрович (1803—1841) — литератор, критик и статистик, автор „Хозяйственной статистики России“ (1827) и „Статистической записки о Москве“ (1812), редактор журнала „Моск. Наблюдатель“ (1835—1838); в 1828 г. выступил с резкой критикой „Речи о невестинном капитале“ Н. Полевого („Атеней“, 1828, № 14—15). Резко-отрицательные отзывы Н. Полевого о „Хозяйственной статистике“ и „Статистической записке о Москве“ Андросова см. в М. Т., 1827, ч. XVII, 259 и 1832, ч. XLIV, 254 (ср. 1828, ч. XIX, 444). 146, 148
- Анненков** Петр Авраамович (род. в 1782 г.) — курский помещик, сын „поручика правителя“ курского наместничества Авраама Ивановича Анненкова (1740—1810), в молодости кавалергард, впоследствии курский совестный судья (1813—1825) и губернский предводитель дворянства (1818—1824); в поместье своем Анненков держал превосходный крепостной театр, который в конце концов его и разорил. 122—123
- Анненков** Павел Васильевич (1813—1887) — литератор (прозаик, критик, историк литературы, мемуарист); выдающийся пушкинист, редактор первого критического издания сочинений Пушкина (1855—1857) и первый его биограф 229, 231, 232, 233, 235, 304, 305
- Аннета** — родственница жены Полевого 299—300
- Ансон** Джордж (1697—1762) — адмирал английского флота, автор „Путешествия вокруг света“ (1748), переведенного на русский язык в 1751 г. 83
- Арапов** Пимен Николаевич (1796—1861) — литератор (переводчик, водевилист) и первый историк русского театра (автор „Летописи русского театра“, 1862) 187

Багратион княгиня (урожд. Голикова)	107
Байрон Джордж-Нозль-Гордон (1788—1824)	151, 170, 194, 198, 278
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)	351
Барант Амабль-Проспер-Брюжьер (1785—1866) — крупный французский политический деятель, историк и публицист, автор „Истории герцогов Бургундских из дома Валуа“ (1824—1826); французский посланник в России (1835—1841)	283, 284
Баррас Поль (1755—1829) — французский политический деятель эпохи Великой революции, один из вождей термидорианской реакции, противник Робеспьера, глава Директории	314
Баррер Бертран (1755—1841) — французский политический деятель и литератор, принимавший ближайшее участие в Великой революции (в 1792 г. президент Конвента), один из организаторов террора, прозванный „Анакреоном гильотины“	314
Бартоломей — генерал, московский домовладелец	250
Баттё Шарль (1713—1780) — французский философ и теоретик классицизма	123, 197
Батюшков Константин Николаевич (1787—1855)	143, 157, 158, 242
Баушев Андрей Петрович — курский купец	85, 86, 88, 89, 115—116
Бегичев Дмитрий Никитич (1786—1855) — крупный чиновник (губернатор и сенатор), писатель, автор романов: „Семейство Холмских“, 6 чч. (1832, 1833, 1841), „Ольга, или быт русских дворян начала нынешнего столетия“, 4 чч. (1840) и др. произведений	294—299, 302
Беккер Иван Юрьевич — лютеранский пастор, преподаватель немецкого языка в иркутской гимназии в 1810-е гг.	87, 106
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)	290—293, 340—343, 347—351.
Белявский П. Ф. — московский житель, приятель отца Н. и Кс. Полевых	84, 107, 108, 109, 118
Бенкендорф гр. Александр Христофорович (1783—1844) — шеф жандармов и начальник III Отдел., где было сосредоточено высшее полицейское и политическое наблюдение	316—319, 321—330, 334—336, 352
Беннигсен гр. Леонтий Леонтьевич (1745—1826) — боевой генерал, один из участников убийства Павла I в 1801 г.	122
Бернадотт принц Жан-Батист (1763—1844) — французский генерал, возведенный в 1810 г. Наполеоном на шведский престол под именем Карла XIV	122
Бернар Пьер-Жозеф (1710—1775) — французский поэт и драматический писатель, известный под именем „Gentil-Bernard“ (данным ему Вольтером)	131, 145
Бессомыкин Иван Иванович — родственник Н. и Кс. Полевых (муж их младшей сестры Елизаветы Алексеевны, ум. в 1838 г.), кандидат Моск. университета (1825), сотрудник М. Т., литератор и педагог (служил наставником в ревельском Дамском училище, в 1835 г. состоял в должности начальника моск. мещанского училища), член моск. Общества сельского хозяйства, автор „Очерка педагогических начал“ („Журнал мин. народн. просвещ.“ 1836, IX, 236.), постоянный сотрудник „Земледельческого журнала“ (1837—1844). См. о нем в письме Н. Полевого к А. А. Краевскому (1835) в „Вестнике всемирной истории“ 1900 (№ 9, 174—175)	194
Бестужев Александр Александрович (1797—1837) — декабрист, член Северного общества; известен как писатель (поэт, прозаик, критик) под псевдонимом А. Марлинский; видный журналист начала 1820-х годов, издатель альманахов „Полярная Звезда“ (1823—1825, совместно с К. Ф. Рылеевым)	145, 151, 168, 184—185, 271, 301
Бланкенгагель Вильгельм Иванович — отставной майор, в 1797—1800 гг. выступивший с проектом „овладения Хивою“	97

- Бланкеннагель Егор Иванович (1750—1813)** — генерал-майор, инженер, пионер русской свеклосахарной промышленности и поборник посева кормовых трав по системе немецкого агронома Шуберта, один из виднейших „прогрессивных“ сельских хозяев т. н. „английской“ школы, в 1802 г. основал в Туле свеклосахарный завод, был женат на дочери И. И. Голикова (см.) 97, 113
- Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864)** — государственный деятель николаевского времени (с 1830 г. — министр внутренних дел, в 1837—1839 гг. — министр юстиции, с 1842 г. — президент Академии наук, с 1862 г. — председатель Государственного совета); в молодости занимался литературой (но исключительно как любитель) и входил в кружок „Арзамас“ 262
- Болтин Иван Никитич (1745—1792)** — историк, автор критических „Примечаний“ на „Историю России“ Леклерка (1788) и „Российскую историю“ кн. Щербатова (1793—1794). В своих трудах Болтин опирался, в значительной степени, на положения и выводы французских „просветителей“ (широко цитировал Руссо, Монтескье, Рейналя, Вольтера и др.) и по вопросу о крепостном праве держался передовых для своего времени взглядов, предостерегая русское общество и правительство от безземельного освобождения крестьян. 111
- Болховитинов Евгений (1767—1837)** — архиепископ и впоследствии митрополит (Киевский и Галицийский), автор „Словаря русских писателей“ (1845) 89, 122—123, 125
- Бомарше Пьер-Огюст (1732—1799)** 179
- Бонстеттен Карл-Виктор (1745—1832)** — швейцарский писатель и политический деятель 120
- Боратынский Евгений Абрамович (1800—1844)** . . . 168, 205, 210—215, 234, 236
- Боссюэт Жан-Бенинь (1627—1704)** — французский духовный писатель и историк, знаменитый проповедник 83
- Брёр — составитель известной латинской грамматики** 126
- Буало (Депрео) Николай (1636—1711)** — французский поэт, теоретик классицизма, изложивший принципы своей школы в поэме „Искусство поэзии“ 123, 131, 132, 145, 146, 197
- Бува — владелец книжного магазина и кабинета для чтения в Москве** . . 129
- Булгаков Яков Иванович (1743—1809)** — видный русский дипломат, переводчик „Всемирного путешественника“ аббата де-ла-Порта (1778) . . 334
- Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859)** . . . 89, 142, 145, 152—153, 159, 162, 167, 168—169, 179, 185, 220, 221, 270—271, 273—276, 277, 305, 306, 307, 311, 313, 344.
- Булдаков Михаил Матвеевич (1766—1830)** — первенствующий директор Российско-Американской компании (1799—1827), был женат на дочери Г. И. Шелехова (см.) 117
- В. — см. Василевский, Д. Е.**
- Варлаков Иван Иванович (1789—1830)** — сибирский поэт-сатирик, сотрудник В. Е. (1819), „Благонамеренного“ и „Енисейского альманаха“ (1828) 131
- Василевский Дмитрий Ефимович (1781—1844)** — юрист, профессор моск. университета 261
- Веджвуд Джозайя (1730—1795)** — знаменитый английский горшечник, изобретатель особых сортов фарфора 81
- Вейсс Франц-Рудольф (1751—1798)** — швейцарский писатель по вопросам философии и политической экономии, выражавший руссоистские идеи; его сочинения были довольно популярны среди членов русских тайных обществ 1800—1810-х гг. Основное сочинение Вейсса „Principes philosophiques, politiques et moraux“ в 1807 г. было переведено

- на русский язык Струговщиковым („Освещение, или существенные правила философии, политики и нравственности“) 197
- Велланский Даниил Михайлович (1774—1847) — профессор петербургского университета, физик и медик, убежденный пропагандист идей натурфилософии Шеллинга и Окена 322
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт и критик, идеолог кружка московских „любомудров“ 1820-х гг. 156, 180—183, 193
- Вердеревский Василий Евграфович — поэт и переводчик, воспитанник моск. университетск. благородного пансиона, сотрудник „Каландры“ (1816, 1817, 1820), „Мнемозины“ (1824), „Сев. Цветов“ (1818, 1831), „Невск. Альманаха“ (1830), „Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду“, „Альционы“ (1832), М. Т. (1828, ч. XIX — перевод „Паризины“ Байрона). В 1853 г. служил председателем пермской казенной палаты, в 1865 г. в Н. Новгороде был судим за растрату, на эшафоте лишен всех прав состояния и сослан в Сибирь 151
- Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор, автор опер: „Пан Твардовский“ (1828), „Вадим, или двенадцать спящих дев“ (1832) и „Аскольдова могила“ (1835), пользовавшихся в свое время шумным успехом 187, 338, 346—347
- Вильмэн Абель-Франсуа (1790—1870) — французский историк, литературный критик и историк литературы, один из основоположников сравнительно-исторического метода в литературоведении, много сделавший для разрушения догматической поэтики классицизма; умеренный буржуазный либерал, участник французской революции 1830 г. и видный политический деятель июльской монархии 283
- Вильсон Александр Яковлевич (1776—1866) — генерал, управляющий заводами Александровской мануфактуры и один из первых начальников Ижорского завода, „Колпинский Аракчеев“ 272
- Винкельман Иоганн-Иоахим (1717—1768) — немецкий теоретик и историк искусства и археолог 129
- Виргилий (70—19 гг. до н. э.) 155, 227
- Витгенштейн гр. Петр Христианович (1768—1842) — генерал, командовавший в 1812 г. армией, защищавшей Петербург, с 1818 г. главнокомандующий 2-й (южной) армией 122
- Воейков Александр Федорович (1777—1839) — поэт, переводчик, критик и журналист, издатель журналов: „Новости Литературы“ (1822—1826), „Славянин“ (1827—1830) и газет: „Русский Инвалид“ (1822—1838) и „Литературные прибавления к Русск. Инвалиду“ (1831—1837); в 1820—1821 г. редактировал с Н. И. Гречем „Сын Отечества“; с 1814 по 1820 г. — профессор Дерптского университета 153—154, 160, 169, 173, 199, 221—222, 240, 253, 276, 306, 312
- Воейкова (урожд. Протасова) Александра Андреевна (1797—1829) — жена А. Ф. Воейкова (с 1814 г.), приятельница В. А. Жуковского, посвятившего ей свою „Светлану“ (1811) 154
- Волков Александр Абрамович (1788—1823) — заурядный поэт, автор поэмы „Освобожденная Москва“ (1820) 269
- Вольтер Франсуа-Аруэ (1694—1778) 159, 161, 224, 261
- Вронченко Михаил Павлович (1801—1855) — генерал-майор, географ, выдающийся переводчик Шекспира: „Гамлет“ (1828), „Король Лир“ (I действие — М. Т., 1832, ч. XLVII), „Макбет“ (1837); Байрона: „Манфред“ (1828); Мицкевича: „Дядя“ (1829) и Гете: „Фауст“ (1844); автор „Обозрения Малой Азии“ (1839—1840); постоянный сотрудник М. Т. 277, 337
- Вяземский кн. Петр Андреевич (1792—1878) 143, 144, 154, 158—161, 167—170, 172, 174, 185, 204, 231, 236, 258, 271, 288, 289.

Гавриил митрополит — см. Петров.

Гаврилов Матвей Гаврилович (1759—1829) — профессор моск. университета по кафедрам славянского яз., словесности, изящных искусств и археологии	142
Гагарин кн. — московский домовладелец	228
Гаммель Иосиф Христианович (1788—1861) — доктор медицины, академик по кафедре технологии	114
Ганнибал Ибрагим (Абрам Петрович), род. в 1697 или 1698 г., ум. в 1781 г. — прадед А. С. Пушкина	230
Гаретовский Иван Алексеевич (ум. в 1860 г. около 80 лет от роду) — преподаватель рязанской гимназии	126
Гари (Гарий) — издатель-типографщик конца XVIII — нач. XIX вв.	146
Гейм Иван Андреевич (1758—1821) — лексикограф, профессор истории, статистики и географии, ректор моск. университета	84, 88, 111
Гельвеций Клод-Адриан (1715—1771)	197
Гервей Джемс (1714—1758) — английский писатель-мистик; в России поклонником его поэзии был поэт Е. И. Станевич	242
Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832)	194, 198, 214, 233
Гизо Франсуа (1787—1874) — французский политический деятель и историк. Начал свою деятельность в качестве сторонника реставрации Бурбонов, но вскоре же перешел в оппозицию (в группу доктринеров) и в своих публицистических и исторических работах выражал идеи умеренно-либерального конституционализма, защищая интересы крупной буржуазии	283, 287
Глинка Сергей Николаевич (1775—1847) — писатель (поэт, драматург, историк, критик, переводчик), журналист и цензор; издатель журнала „Русский Вестник“ (1808—1824), автор „Записок“ (1895)	88, 89, 120, 142, 143, 165, 248—263
Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — поэт и прозаик, автор популярных в свое время „Писем русского офицера“ (1808, 1815—1816), сотрудник почти всех журналов и альманахов 1820—1870-х гг.; член тайных обществ 1816—1825 гг. (в 1826 г. был сослан в Петрозаводск)	168, 251
Гнедич Николай Иванович (1784—1833)	168, 274
Голиков Иван Иванович (1735—1801) — курский купец, историк, автор „Деяний Петра Великого“ (1-е изд., 12 тт., 1788—1789, Дополнения 18 тт., 1790—1797; 2-е изд. Кс. Полевого, 15 тт., 1837—1843)	79, 82, 83, 127, 351.
Голиков Иван Илларионович — богатый курский купец, дядя Ал. Евс. Полевого	79, 97, 107
Голиков Иван Никитич — дальний родственник Полевых	112
Голиков Михаил Сергеевич (1747—1788) — двоюродный брат историка И. И. Голикова, известный богач, откупщик, отданный под суд в 1780 г.	79, 80
Голикова (урожд. Климова) — жена Ив. Иллар. Голикова	79
Голицын кн. Дмитрий Владимирович (1771—1844) — обучался в Страсбургской военной академии, боевой генерал, московский генерал-губернатор (с 1820 г. по смерть)	191, 221, 238, 239, 303, 320
Голицын кн. Сергей Михайлович (1774—1859) — известный в свое время богач и вельможа, почетный опекун моск. опекунского совета, попечитель моск. университета и председатель моск. цензурного комитета (1830)	254, 255
Головкин гр. Юрий Александрович (1749—1846) — вельможа екатерининского и павловского времен, в 1805 г. возглавлял русское посольство в Китай	98
Гольбах бар. Поль (1723—1789)	197
Гомер	129, 198, 199, 206
Горацій (65—8 гг. до н. э.)	139, 145, 197
Горбунов — курский купец	79

Горский — ссыльный поляк, живший в Иркутске в 1800-х и 1810-х гг. 87, 118

Горчаков кн. Василий Николаевич (годы рождения и смерти неизвестны), — принадлежал к высшему кругу придворной и военной аристократии и был родственником фельдмаршала кн. А. В. Суворова. Судьба кн. В. Н. Горчакова — необычайна. Он был любимцем Павла I и в кратковременное его царствование сделал головокружительную карьеру: в 1796—1797 гг. Горчаков находился в Вене, при армии, в должности комиссара военного ведомства и в чине майора; в августе 1797 г. он, по личному распоряжению Павла I, в должности флигель-адъютанта и уже с чином подполковника, — отправился к французскому роялистскому генералу принцу Конде с предложением принять убежище в России; Горчаков был назначен сопровождать корпус Конде до русских границ и состоял при принце до 1800 г. (в 1798 г. он был произведен в полковника). Об этом периоде его жизни имеются некоторые данные в мемуарах французского короля Людовика XVIII, который изображает Горчакова человеком пустым, заносчивым и злым („Принц Конде терпел многое от наглых выходок этого господина“, — пишет король), Людовик XVIII сообщает также, что еще в царствование Екатерины II Горчаков был арестован в Риме и выключен из службы за какой-то неблагоприятный поступок и только с воцарением Павла был амнистирован. В 1800 г. Горчакова встретил в Петербурге его давний знакомец Д. П. Рунич: „Он был генерал-майором, украшен орденом св. Анны I степени и большою лентой баварского ордена св. Губерта и множеством других; он пользовался большою милостью у государя, был в тесной связи с идолами дня, вел жизнь миллионера, словом был на дороге, чтобы сделаться могуществом первого разряда“. В 1800 же году был он назначен военным губернатором в Ревель, где с ним встречался будущий декабрист барон В. И. Штейнгель (по словам Штейнгеля, Горчаков „гремел в 1800 году“ и „распоряжался, какой дать бал, что он делал часто“). Штейнгель сообщает, что по повелению Павла I Горчаков отправился из Ревеля на Дон для ведения следствия по делу о незаконной казни братьев Грузиновых и якобы, по возвращении, был назначен инспектором всей кавалерии. Но с воцарением Александра для Горчакова кончились счастливые дни. В 1802 или 1803 г. он был судим за мошенничество и осужден в ссылку в Сибирь, с лишением всех прав состояния, чинов и орденов, и конфискацией всего имущества. Проступок Горчакова был тяжкий: в бытность за границей он подал к оплате фальшивые векселя на сумму 60 000 руб. — Горчакова арестовали в Кенигсберге, привезли в Россию, заключили в крепость, судили и сослали. Уже после осуждения Горчакова мюнхенские ювелиры братья Марк подали ко взысканию „с бывшего генерал-майора Горчакова“ 1383 ⁸/₉ червонца за сделанные для него в 1800 г. алмазные знаки ордена св. Губерта. К следственному делу приложена справка о конфискованных имениях Горчакова (в Орловской и Тульской губерниях, до 270 душ) и о его долгах, достигавших огромной по тем временам суммы — 138 479 руб. 20 коп. (из них Горчаков „признал“ долгами только 75 407 р. 20 коп.; в числе „непризнанных“ были 17 428 руб., „взятые им самовольно“ из казны Донского войска). В Сибири Горчаков был поселен в с. Тунке (под Иркутском), выучился монгольскому языку, приобрел доверие бурят. В Тунке он и умер. О Горчакове, не называя его по имени, пишет в своих „Записках Иркутского жителя“ И. Т. Калашников, рекомендуящий его „человеком весьма остроумным и мастером говорить“. „Он жил в Деревне, — сообщает Калашников, — и только по временам являлся в Иркутск, где его принимали с ласкою“ (там же см. рассказ о жестокой обиде, нанесенной бывшему князю иркутским городничим Потемки-

ным: пользуясь бесправным положением ссыльного, Потемкин ударил его по лицу. Поступок гордничего вызвал громкое возмущение всех иркутян). В Иркутске, в 1805 г., Горчакова встретил Ф. Ф. Вигель, сообщаящий о нем некоторые любопытные сведения. „От природы расточитель и паут, еще в первой молодости, разными постыдными средствами и обманом проживал он чужие деньги“, — пишет Вигель в своих „Записках“. Кроме того Вигель сообщает, что Горчаков был удален из Ревеля Александром I за то, что „грабил немцев“ и что его богатая жена, имение которой он проматывал, разошлась с ним. По словам Вигеля, Горчаков был выслан из Иркутска в Тункинский острог за попытку драться на дуэли с другим ссыльным — А. П. Шубиным (ссора произошла из-за женщины). В Иркутске Горчаков устроил первый театр. В Сибири с ним вторично встретился Штейнгель, бывший свидетелем его бывшего ревельского величия. Кн. В. Н. Горчакова 3-го не следует путать с его современником генерал-лейтенантом кн. Андреем Горчаковым 2-м, осужденным в 1809 г. к отставке от службы „на вечно“, с запрещением въезда в обе столицы; Андрей Горчаков был осужден за политическое преступление — секретную переписку с австрийским эрцгерцогом Фердинандом (см. Р. С., 1905, № 6, 689—695). Сведений о кн. В. Н. Горчакове сохранилось очень мало и все они — крайне отрывочны, см.: кн. П. Долгоруков, „Рос. Родословная книга“ (под № 38); Милютин, „История войны 1799 г.“, I, 51 (здесь Горчаков неверно назван Василием Ивановичем); Р. А., 1877, III, 52—54 и 75—76 (выдержки из мемуаров Людовика XVIII); Р. А., 1888, II, 283—291 (рекрипты Павла I Горчакову, см. также Р. С., 1905, № 5, 479); „Рус. Обзорение“, 1890, № 8, 675—676 (Записки Д. П. Рунича); „Общ. движение в России в первую полов. XIX в.“, 1905, I, 381—382 (Записки В. И. Штейнгеля); „Сборн. старинн. бумаг, хранящ. в музее П. И. Щукина“, 1900, VI, 136—138 (Дело о Горчакове 1803 г.); Р. С., 1905, № 7, 211 (Записки И. Т. Калашникова) и Ф. Ф. Вигель, „Записки“, 1928, I (по указателю) 106

Гофман Егор Андреевич (1766—1826) — профессор ботаники моск. университета	177
Гофман Франсуа-Венедикт (1760—1820) — французский писатель	210
Гофман — учитель немецкого яз. Н. Полевого, в Иркутске	216
Греч Николай Иванович (1787—1867)	89, 124, 142, 152—154, 160, 162, 168—169, 179, 216, 220, 221, 230, 253, 270—275, 311, 313
Грибедов Александр Сергеевич (1795—1829)	89, 231, 247, 273, 274, 275, 276, 294.
Гудович гр. Андрей Иванович. (ум. в 1869 г.) — губернский предводитель дворянства в Москве (1832—1841)	240
Гюго Виктор (1802—1885)	304

Давыдов Гавриил Иванович (1783—1809) — лейтенант флота, состоял на службе в Российско-Американской компании и прославился разбойным нападением (в 1805 г.) на Японию, автор „Двукратного путешествия в Америку Хвостова и Давыдова“ (1810)	98
Давыдов Денис Васильевич (1784—1839)	294, 309
Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — философ и математик, профессор моск. университета, один из первых русских шеллингианцев	193, 260.
Дашкевич — польский историк, ученик И. Лелевеля, член виленского общества Филаретов, высланный в Москву (1828—1829)	237, 239
Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — крупный чиновник (с 1826 г. — тов. министра внутрен. дел, с 1832 — министр юстиции), в молодости принимал деятельное участие в литературной жизни, со-	

- стоял членом общества „Арзамас“, где играл роль присяжного критика и полемиста 178
- Двигубский Иван Алексеевич (1771—1839) — профессор моск. университета, физик и естествовед, цензор М. Т. в 1833 г. 177
- Де-ла-Порт Жозеф (1713—1779)—аббат, автор „Всемирного путешествия“ 83, 101, 334
- Дельбиль Жак (1738—1813)— французский поэт-классик, автор описательной поэмы „Сады“, переведенной на русский яз. А. Ф. Воейковым (1816) 129, 131, 132
- Дельви́г бар. Антон Антонович (1798—1831) 150, 214, 232, 234, 307, 309, 311, 303
- Демидов Николай Петрович — в 1820-е гг. отставной д. ст. советник, бывший полковник артиллерии, автор многочисленных брошюр (1828—1847) на русском и французском языках по юридическим, политическим и финансовым вопросам. Главные его работы: „Nouvelle théorie de la Balance du Commerce“ (1826), „Некоторые замечания на Опыт теории налогов, изд. г. Тургеневым“, „О государственной кредитной системе“ (1842) и „О теории владения“ (1843) 190—192
- Демидов Петр Евдокимович — отец предыдущего 192
- Де-Мишель — автор „Истории средних веков“ 246
- Демут Филипп-Яков (1750—1802) — владелец знаменитой в свое время петербургской гостиницы 207, 228, 276
- Державин Гавриил Романович (1743—1816). 79, 158, 304
- Диоген (V в. до н. э.) 138
- Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — известный поэт, министр юстиции при Александре I 143, 144, 158, 165, 171—172
- Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866) — поэт, литературный критик и мемуарист (автор „Мелочей из моей жизни“, 2-е дополн. изд., 1869), защищавший в полемике с романтиками 1820-х гг. позиции позднего классицизма, литературный враг Н. Полевого 159, 160, 179
- Дроз Франсуа-Ксавье-Жозеф (1773—1850) — французский писатель, писал по вопросам моральной философии, истории и политической экономии, автор трактата „Искусство быть счастливым“, изданного в русском переводе в 1831 г. 133
- Дроздов Филарет (1782—1867) — моск. митрополит (с 1826 г.), ученый богослов и проповедник 155
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — жандармский генерал, помощник Бенкендорфа (с 1839 г. — начальник III Отделения) 321—322, 327, 328
- Дюкре-Дюмениль Франсуа-Гильом (1761—1814) — французский романист и детский писатель, пользовавшийся в свое время огромной известностью. Нравоучительные романы Дюкре-Дюмениля в большом количестве переводились на русский язык в конце XVIII — начале XIX вв. 102
- Дюмон-Дюрвиль (1790—1842) — французский путешественник и естествоиспытатель, описавший свои экспедиции в Полинезию, по островам Тихого океана и к южному полюсу 334
- Евгений — архиепископ — см. Болховитинов.
- Ежовский, Иосиф — польский историк и филолог, член виленского общества Филаретов, высланный в Москву вместе с А. Мицкевичем 206
- Екатерина II (1729—1796) 249, 304
- Елагин Алексей Андреевич (ум. в 1846 г.) — отчим братьев И. В. и П. В. Киреевских 310
- Елагин Иван Перфильевич (1725—1794) — историк и переводчик, автор „Опыта повествования о России“ (1790; издана только 1 часть в 1803 г.) 84, 111, 280

- Елагина** Авдотья Петровна (1789—1877), по первому браку Киреевская, — мать братьев И. В. и П. В. Киреевских, племянница В. А. Жуковского 193
- Ертов** Иван Данилович (1777—1827) — купец, писатель-самоучка, писал по вопросам естествознания и астрономии, автор „Мыслей о происхождении и образовании миров“ (1805, 2-е изд. — 1811, 3-е изд. — 1820) 127, 179
- Жакоб-Библиофил** — псевдоним французского литератора и ученого Поля Лакруа (1806—1884); Лакруа занимался историей, библиографией, писал комедии, романы и повести, переведившиеся в 1830-х гг. на русский язык. 284
- Жандр** Андрей Андреевич (1789—1873) — театрал и драматург (в альманахе „Русская Талия“ на 1825 г. напечатал перевод первого действия трагедии Ротру „Венцеслав“, запрещенной цензурой к постановке), друг А. С. Грибоедова; в конце 1820-х гг. оставил литературу, впоследствии крупный чиновник морского ведомства 274
- Жанлис** Фелиситэ (1746—1830) — французская сентиментальная писательница (писала преимущественно для детей и по вопросам педагогики) 102
- Жан-Поль** — псевдоним немецкого писателя Иоганна-Пауля Рихтера (1763—1825); сочинения его были очень популярны в России 1820—1830-х гг. 207
- Жаров** — экспедитор газетной экспедиции московского почтамта 253
- Жуковский** Василий Андреевич (1783—1852) 89, 120, 143, 144, 154, 165, 193, 199, 207, 208, 222, 229, 279, 289.
- Загоскин** Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель (драматург), романист) автор „Юрия Милославского“ (1829) и „Рославлева“ (1831) . 188, 267—268, 338.
- Закревский** гр. Арсений Андреевич (1783—1865) — генерал-адъютант, финляндский генерал-губернатор (1823—1828), министр внутр. дел (1828—1831). 294
- Зволинский** — московский плац-адъютант, автор водевилей 187
- Иван IV Грозный** (1530—1584) 284
- Иванчин-Писарев** Николай Дмитриевич (ок. 1796—1849) — мелкий поэт и прозаик эпохи 1810—1820-х гг. (его стихи издавались трижды — в 1819, 1828 и 1832 гг.); автор книги „Дух Карамзина“ (1827), раскритикованной в М. Т., 1828, ч. XVI; в 1840-х гг. издал несколько книг историко-археологического характера. 289
- Измайлов** Александр Ефимович (1779—1831) — поэт, романист, журналист, издатель журнала „Благонамеренный“ (1818—1826) 131, 162, 173—174.
- Измайлов** Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель и переводчик, видный представитель русского сентиментализма, поклонник Руссо, издатель журналов: „Патриот“ (1804), В. Е. (1814), „Российск. Музеум“ (1815) и альманаха „Литературный Музеум“ (1827). В 1827—1830 гг. состоял цензором моск. цензурного комитета . . . 143, 248—249
- Калайдович** Константин Федорович (1792—1832) — археограф, историк и филолог, в 1828 г. предпринял (в сотрудничестве с Д. П. Ознобишиным) издание журнала „Русск. Зритель“, но вскоре же сошел с ума (журнал его был допечатан друзьями) 281
- Камашев** (Средний-Камашев) Иван Николаевич (ум. в 1860-х гг.) — магистр словесного отд. моск. университета (1830), автор книжки „О различных мнениях об изящном“ (1829; отзыв о ней М. Н. Лихо-

- нина см. в М. Т. 1829, № 11), философского этюда „Два ангела смерти“ („Денница“ на 1830 г.) и статьи о „Борисе Годунове“ Пушкина (С. О., 1831. ч. 145 — ответ В. Т. Плаксину), член редакционного кружка М. Т. 194
- Кант Иммануил (1724—1804) 157
- Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) 83, 84, 107—108, 109, 111, 137, 138, 143, 147, 158, 165, 178, 179, 222, 240, 248, 251, 260, 269, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287—293, 304, 307
- Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — знаменитый русский актер-трагик 339
- Карнолин-Пинский Матвей Михайлович (1796—1866) — педагог, преподаватель симбирской гимназии (1816—1823), моск. кадетского корпуса и театральной школы (1830-е гг.), сотрудник С. О., впоследствии видный чиновник министерства юстиции, сенатор и д. тайн. советник, в 1863 г. осудивший Чернышевского, а в 1865 г. отправивший на виселицу Каракозова 179
- Касаткин-Ростовский кн. — московский домовладелец 350
- Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматический писатель, критик, переводчик, член Союза благоденствия (1817—1818) (См. отзывы о Н. Полевом в „Письмах Катенина к Н. И. Бахтину“, 1911, по указателю); в 1833 г. между Катениным к Кс. Полевым завязалась полемика по поводу отзыва Полевого о „Сочинениях“ Катенина (М. Т., 1833, №№ 8, 11 и 12) 214
- Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — профессор моск. университета, видный историк (основатель русской скептической школы в историографии), литератор, критик и переводчик; виднейший журналист начала XIX в., издатель В. Е. (1805—1830) — цитадели позднего русского классицизма 84, 111, 128, 129—132, 142, 143, 145, 147, 149, 157, 159, 162, 168, 170, 180, 185, 210, 222, 259—260, 263—264, 276, 277, 280, 281, 282, 315
- Кашин Даниил Никитич (1769—1841) — крепостной Г. И. Бибилова, композитор (автор популярных в свое время песен и романсов), преподаватель музыки в моск. университете; был близок со многими литераторами 252
- Кашинцов Николай Андреевич (1799—1870) — доносчик и инсинуатор, с 1832 г. состоял на секретной службе в III Отделении „для наблюдения за всеми выходящими в Москве периодическими изданиями“; писал стихи по поводу разных торжественных событий, сочинил известную песню „Прощание с соловьем“, которую (с музыкой А. А. Алябьева) распевала вся Россия 334—335
- Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — критик и публицист, в 1820-х гг. член московского кружка „любомудров“, впоследствии видный деятель славянофильства, издатель журнала „Европеец“ (1832) 193—194, 308—310, 330
- Киреевский Петр Васильевич (1808—1856) — брат предыдущего, знаток и собиратель русских песен 193
- Клапрот Генрих-Юлий (1783—1835) — знаменитый ориенталист и путешественник, автор многих исследований, касающихся Востока 98
- Клапрот Мартин-Генрих (1743—1817) — отец предыдущего, ученый химик 98
- Климова — см. Полевая (урожд. Климова).
- Кожухов Алексей Степанович (1791—1854) — курский губернатор, в молодости боевой офицер, участник походов 1812—1814 гг. (в составе л. гв. Литовского полка), оставил военные записки (см. В. Харкевич — „1812 г. в дневниках, записках и воспоминаниях современников“, 1900, I, стр. 244—247) 89, 120—124
- Козлов Иван Иванович (1779—1840) — поэт и переводчик 208, 212

Козюлькин — частный пристав в Курске	125
Кокоскин Федор Федорович (1773—1838) — драматический писатель, переводчик „Мизантропа“ Мольера (1816), воинствующий классик; с 1823 по 1831 г. управлял моск. театром	188, 248, 267
Комовский Сергей Дмитриевич (1803—1851) — по специальности археолог, служил (с 1821) в мин-ве народн. просвещения	241
Констан Бенжамен (1767—1830) — французский писатель и политический деятель эпохи реставрации и июльской монархии, умеренный либерал, защищавший интересы крупной буржуазии в своем „Курсе конституционной политики“ и романе „Адольф“ (отрывки из него были помещены в М. Т., 1831, XXVII)	261
Корнель Пьер (1606—1684)	214
Котомин — петербургский домовладелец	242, 243
Коцебу Август (1761—1819) — немецкий сентиментальный драматург и романист, пользовавшийся огромной популярностью во всей Европе в конце XVIII — начале XIX вв.; реакционный политический деятель (был убит студентом Карлом Зандом)	83, 84
Кощанский Николай Федорович (ок. 1785—1831) — доктор философии и свободных искусств, профессор российской и латинской словесности в Царскосельском лицее	126
Кошелев — московский домовладелец	319
Красовский Авенир Иванович — литератор, переводчик, сотрудник М. Т., по образованию медик	176
Крылов Иван Андреевич (1769—1844)	172, 208, 209
Крюков Дмитрий Львович (1809—1845) — доктор философии, профессор римской словесности моск. университета, в 1828—1833 гг. — слушатель дерптского профессорского института	340
Кубишта — капельмейстер московского театра	187
Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ и либеральный политический деятель эпохи июльской монархии, автор эклектической философской системы, популяризатор немецкой идеалистической философии, оказавший большое влияние на Н. Полевого	283
Кузнецов Ефим Андреевич (1771—1851) — богатый иркутский купец (золотопромышленник и откупщик), за широкую благотворительную деятельность был награжден чином статского советника	117, 118
Кук Джемс (1728—1779) — знаменитый английский путешественник	83
Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — писатель (поэт, драматург, прозаик), видный представитель реакционно-националистического романтизма	316—319, 322—323, 330
Курганов Николай Гаврилович (ок. 1725—1796) — ученый, педагог и литератор, составитель знаменитого „Писмовника“ (1-е изд. — 1769)	127
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1799—1846) — поэт, драматург, прозаик, литературный критик; декабрист	150, 156, 216
Лагарп Жан-Франсуа (1739—1803) — французский писатель-классик (драматург и литературный критик), автор знаменитого учебника „Лицей, или курс древней и новой литературы“	132
Лаптев Иван Петрович — купец, палеограф, автор „Опыта старинной русской дипломатики“ (1824)	244—245
Лажайет (1757—1834) — знаменитый французский политический деятель, принимавший участие в борьбе Северо-американских штатов за независимость, один из руководителей июльской революции 1830 г., герой либеральной буржуазии начала XIX в.	314, 324
Левшин Платон (1737—1812) — московский митрополит, выдающийся проповедник	101
Лелевель Иоаким (1786—1861) — крупнейший польский историк	237

- Лемонте (1762—1826) — французский историк, автор предисловия к французскому переводу басен И. А. Крылова (1825) 172
- Леццано Борис Борисович (умер в 1827 г.) — боевой генерал (в гвардии с 1755 г.), член государственной коллегии, в последние годы жизни управлял сибирскими губерниями 98, 113, 114
- Ливен светл. кн. Карл Андреевич (1767—1844) — представитель знатнейшей остзейской фамилии, генерал, министр народного просвещения (1827—1833) 247, 260, 261, 262
- Линде Самуил-Богумил (1771—1847) — польский лексикограф и филолог 140
- Лист Франц (1811—1886) — знаменитый композитор и пианист 278
- Лихонин Михаил Николаевич (умер в 1864 г.) — поэт, переводчик и критик 1820—1850-х гг., в 1825 г. окончил моск. университет со степенью кандидата, сотрудник М. Т. (1827, 1829), „Моск. Вестника“ (1828), „Моск. Наблюдателя“ (1835—1836), „Москвитянина“ (1850—1854); перевел с английского (Шекспир — „Макбет“, 1754; В. Скотт), немецкого (Шиллер — „Дон Карлос“), французского (Сочинения гр. Сарры Толстой, 1838) и испанского („Моск. Набл.“, 1835, IV и „Репертуар и Пантеон“, 1883, VII); в 1829 г. писал в М. Т. театральные фельетоны (замещал В. А. Ушакова); автор „Русской грамматики“ (1839) и „О правописании иностранных собственных имен“ (1849). См. о нем: „Моск. Ведомости“, 1864, № 110, Р.А. 1866, № 4, стр. 573; Р.С., 1877, № 7, стр. 433; 1890, № 2, стр. 246, 250; 1897, № 11, стр. 320; Н. Барсуков, „Жизнь и труды Погодина“ (по указателю в т. XXII) и „Переписка Грота с Плетневым“ (по указателю) . . . 194
- Лобанов-Ростовский кн. Яков Иванович (1760—1831) — командующий резервной армией в 1812 г. 113
- Локк Джон (1632—1704) — английский философ и политический писатель 197
- Ломоносов Михаил Васильевич (ок. 1711—1765) 83, 129, 158, 204
- Люби (Любий) Федор — издатель-типографщик конца XVIII — нач. XIX вв. 146
- Львова-Синицкая Мария Дмитриевна (1795—1875) — актриса моск. театра 188, 338
- Магницкий Леонтий Филиппович (1669—1737) — составитель первого русского учебника арифметики (1703) 129
- Макаров Михаил Николаевич (ок. 1789—1847) — литератор (поэт, этнограф, историк литературы, переводчик, составитель словаря русских областных слов), издатель журнала „Для милых“ (1804). Кс. Полевой писал о нем также в фельетоне, помещенном в „СПБ. Ведомостях“, 1847 (№ 266) 143
- Макаров Петр Иванович (1765—1804) — полковник артиллерии; писатель (прозаик, литературный критик), издатель журнала „Моск. Меркурий“ (1803), принимал участие в полемике с Шишковым (на стороне Карамзина) 83, 147
- Макензий — путешественник в Сев. Америку 89, 125
- Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — естествовед и этнограф, издатель „Малороссийских песен“ (1827), альманахов „Деница“ (1830—1831), сотрудник М.Т. 137, 176—177, 240, 308—313, 315
- Малевский Франциск (1800—1870) — приятель Мицкевича, член Виленского общества Филаретов, высланный в Москву, впоследствии жил в Петербурге, где издавал польскую газету „Tygodnik Peterburski“ . . . 205
 237, 239, 282—283
- Мармонтель (1723—1799) — французский писатель, участник „Энциклопедии“, автор „нравописательных рассказов“, „Мемуаров“ и многочисленных романов, в которых он защищал идею веротерпимости 146

Марциал Валерий (ок. 40—ок. 104) — римский поэт-эпиграмматист . . .	145
Маслов Степан Алексеевич (1793—1879) — доктор нравственно-политических наук, известный деятель по сельскому хозяйству, секретарь моск. Общества сельского хозяйства, автор „вольной“ басни „Конь и всадник“, долгое время приписывавшейся И. А. Крылову	191
Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — литератор (прозаик и публицист)	179, 228
Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт и критик, профессор моск. университета по кафедре красноречия и поэзии	84, 111, 142, 143, 145, 197, 198.
Мещерский кн. Василий Прокофьевич — дипломат; занимался литературой, известен его перевод из Вольтера — „Опыт исторической и критической о несогласиях церквей в Польше“ (1776) и переводная повесть „Песнь любви“ (в „Спб. Меркурий“, 1793, ч. IV)	122—123
Мещерский кн. Прокопий Васильевич (1736—1818) — отец предыдущего, гофмаршал, спб. гражданский губернатор (первоначально „любимец“ Павла I; „отрешен от должности“ в 1800 г.), богатейший курский помещик, последние годы жизни провел в Знаменском монастыре под Курском. Мещерский был человеком весьма образованным и талантливым; он знал много языков, был художником (занимался живописью, скульптурой, резьбой по дереву, токарным и слесарным искусством, завел мастерскую художественной мебели) и замечательным актером-любителем реалистического склада (по словам М. С. Щепкина, он „первый в России заговорил на сцене просто“). Кроме того, Мещерский был поэтом; нам известны четыре его оды: „Ода е. и. в. Павлу I, на победы во всеождеденнейший день рождения е. и. в.“ (б.о.г.), „Ода императору Павлу I на начало XIX столетия“ (1800), Стихи е. и. в. Павлу I... на случай освящения церкви в Михайловском замке“ (1800), „Ода е. и. в. Павлу I... на случай всемилостивейшего прощения отставных и исключенных...“ (1800), а также две сатиры: „Молитва от Истины к господу“ (1790-е гг., — не издана ИРЛИ) и „На прибытие в Курск кн. А. Б. Куракина“ (1806). См. о нем: „Сев. Почта“, 1818, № 20, стр. 2; D'Allonville — „Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Etat“, t. VIII, Paris, 1834, p. 7; „Письма А. В. Суворова“, I, 306—307; P.A., 1879, II, 53; P.C., 1879, № 1, 148; „Библиотека Шереметева“, 1892, стр. 164; „Курские епархиальные ведомости“, 1894, № 27; „Церковн. Ведомости“, 1895, № 3; сб. „Цареубийство 11 марта 1801 г.“, 1908, изд. 2-е, стр. 392; „Записки крепостного актера М. С. Щепкина“, 1928 (по указателю) и „Литературное наследство“, IX—X, 1933, (стр. 72—76)	122
Миллер Иоганн-Мартин (1750—1814) — немецкий сентиментальный поэт, романист и историк	120
Мирабо гр. Огюре-Габриель-Рикетти (1749—1791) — французский политический деятель эпохи Великой революции	314
Мицкевич Адам (1798—1855)	176, 204—210, 213, 234—235, 236, 237, 239, 273, 274, 282
Мольер Жан-Батист-Поклен (1662—1673)	136, 176, 248
Морган — Sydney Owenson, Lady Morgan (1783—1859) — ирландская патриотка и писательница, автор стихотворений, исторических и нравоучительных романов и описаний путешествий по Франции и Италии	314, 324
Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — знаменитый русский актер	189, 337—339, 347, 349, 351
Мур Томас (1779—1852) — английский поэт, друг и биограф Байрона .	194
Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874) — в 1820-х гг. поэт, член литературного кружка С. Е. Раича, впоследствии писатель по религиозным вопросам	156
	519

- Муханов Александр Алексеевич (1800—1834) — поручик л.-гв. уланского полка, приятель Вяземского и Боратынского, автор статьи о Финляндских записках М-те Сталь (1825) 172, 235
- Мятлева — московская домовладелица 319
- Надежин Николай Иванович (1804—1856) — виднейший русский журналист, издатель журнала „Телескоп“ (1831—1836), литературный критик, профессор моск. университета 240, 260, 262, 263 — 64, 286, 312—315, 324, 350
- Наполеон Бонапарт (1769—1821) 83, 100, 111, 113, 122, 132, 143, 166, 184, 234, 314, 324, 343
- Нарезный Василий Трофимович (1780—1825) — крупный русский писатель начала XIX в. — поэт, драматург, прозаик, автор „Российского Жильблaza“ (1814), „Аристон, или перевоспитание“ (1822), „Бурсак“ (1824), „Два Ивана“ (1825) и др. 115
- Наумов — поверенный Д. Н. Бегичева 297, 298
- Невзоров Михаил Иванович (1762—1827) — поэт, критик, издатель журнала „Друг Юношества“ (1807—1815), видный масон (из кружка Н. И. Новикова) 143
- Нестор (1056—1114) — древнерусский писатель; ему приписывалось составление первоначального летописного свода 111, 280
- Нибур Бартольд-Георг (1776—1831) — знаменитый немецкий историк, автор „Римской истории“, основатель скептической школы в историографии 282, 283, 287
- Николай I (1796—1855) 224, 229, 234, 315, 330, 334,—335, 332
- Новиков Николай Иванович (1744—1818) — крупнейший русский журналист, публицист, издатель и либеральный общественный деятель XVIII в., один из вождей русского масонства; издавал в 1769—1774 гг. сатирические журналы („Трутень“, „Живописец“, „Кошелек“), составил „Опыт историч. словаря о рос. писателях“ (1772), основал „Дружеское ученое общество“ (1779) и „Типографическую компанию“ (1784). В 1792 г. был арестован и приговорен к пятнадцатилетнему заключению в Шлиссельбургской крепости (освобожден Павлом I в 1796 г.) 147
- Оболенский кн. Михаил Андреевич (1806—1873) — историк и археолог, в 1825 г. окончил пажеский корпус, служил в л.-гв. Финляндском полку, участвовал в Турецкой войне 1828 г. и польской кампании 1831 г., в 1832 г. служил в Варшаве при кн. Паскевиче, с 1833 — в Москве, в архиве мин-ва иностранных дел 191—192
- Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) 224
- Одоевский кн. Владимир Федорович (1803—1869) — беллетрист, философ, критик и публицист, видный деятель московского кружка „любомудров“, издатель „Мнемозины“ (с В. К. Кюхельбекером, 1824—1825) 150, 155, 156, 158, 177—178, 187, 204, 216
- Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — драматург, пользовавшийся шумным успехом в начале XIX в. 158, 193
- Ознобишин Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт и переводчик (с европейских и восточных языков, иногда под псевдонимом: Делибюрадер); член литературного кружка С. Е. Раича. Ознобишин под верг обетогательной критике статью „Новейшие исследования и сочинения касательно восточной литературы“, появившуюся в М. Т. (см. С. О., 1826, чч. 105 и 106). Резкий отзыв о его стихах см. в М. Т., 1827, (XIII, 244) 156
- Окен Лоренц (1779—1851) — немецкий натурфилософ, оказавший вместе с Шеллингом заметное влияние на русских „любомудров“ 1820-х гг. 146
- Олин Валериан Николаевич (ок. 1788—1840-е гг.) — мелкий писатель 1820-х гг. (поэт, переводчик), журналист, издатель „Журнала древней и новой словесности“ (1819) и газеты „Рецензент“ (1821) 221

Орлов Александр Анфимович (1791—1840) — литератор „толкучего рынка“; поэт и прозаик, автор многочисленных лубочных повестей и романов (преимущественно сатирических и нравоописательных) в 1831—1832 гг. выпустил восемь брошюр («романов»), пародирующих романы Булгарина: „Иван Выжигин“ и „Петр Иванович Выжигин“ . . .	236,
Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — генерал, участник войны 1812—1814 гг., член литературного общества „Арзамас“, один из руководителей Союза благоденствия; в 1825 г. был арестован и вместе с декабристами предан суду, но благодаря ходатайству брата — будущего шефа жандармов А. Ф. Орлова — избежал ссылки и проживал в Москве под надзором полиции	301
Орлов — актер московского театра	338
Орлова Прасковья Ивановна — актриса московского театра (с 1828 г.) .	338
Осипов Николай Петрович (1751—1799) — поэт, переводчик, писатель по вопросам сельского и домашнего хозяйства, автор шуталивой поэмы „Энеида, вывороченная наизнанку“ (1791, 2-е полное изд. с продолжением А. Котельницкого — 1801), издатель журнала „Что-нибудь от безделья на досуге“ (1798). Осипов отличался независимостью своих политических мнений и в 1790 г. был привлечен к следствию по делу Радищева	101
П. — см. Перевощиков, Д. М.	
Павел I (1754—1801)	122
Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840) — философ, доктор медицины, профессор моск. университета по кафедрам минералогии, физики и сельского хозяйства (1820—1840), один из первых русских шеллингианцев, издатель журнала „Атеней“ (1828 - 1830). В 1828 г. между Павловым и Полевым разгорелась полемика, открывшаяся статьей Полевого: „Разговор о философии Афенея“ (М. Т., № 6; Ibid., № 7 — вторая статья Полевого или Максимовича: „О физике Афенея“); ответ Павлова и статьи в защиту Полевого см.: „Атеней“, III; М. Т., №№ 9 и 10 (ср. С. О., 1829, III, № 17). См. также: Р. С., 1887, № 11, 482—485 и „Сборник учено-литер. о-ва при Юрьевском ун-те“, 1908, (XIII, 134—147)	146, 148, 177, 193, 277
Панин, гр. — автор водевилей (1820-е гг.)	187
Паскевич-Эриванский гр. Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал русских войск, за кровавое усмирение польского восстания в 1831 г. был возведен в звание „светлейшего князя варшавского“, с 1832 г. — наместник царства польского	278
Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880) — математик и астроном, профессор моск. университета и член моск. цензурного комитета; занимался литературой и сотрудничал в М. Т. (1826); в 1851 г. переселился в Петербург	261—262
Перлов — московский домовладелец	319
Петр I (1672—1725)	82, 83, 97, 127, 335, 352
Петрарка Франческо (1304—1374)	210
Петров Гавриил (1730—1801) — архиепископ (с 1770) и митрополит (с 1783), духовный писатель и проповедник	97
Пильсутский — камер-юнкер	327
Писарев Александр Александрович (1780—1848) — боевой генерал, посредственный поэт, автор сочинений по вопросам истории искусств, попечитель моск. университета и председатель О-ва любителей рос. словесности	149
Писарев Александр Иванович (1803—1828) — литературный враг Н. Полевого, талантливый поэт-сатирик и эпиграмматист, переводчик и воде-	

- видист; водевили Писарева пользовались в свое время огромным успехом 156—158, 180, 185—189, 241, 267, 336
- П л а в и л ь щ и к о в Василий Алексеевич (1768—1823) — книгопродавец и библиограф 242
- П л а т о н митрополит — см. Левшин
- П л е т н е в Петр Александрович (1792—1865) — поэт и литературный критик, профессор (с 1832 г. ректор) петербургского университета, близкий друг А. С. Пушкина 305
- П л ю ш а р Адольф Александрович (1806—1865) — издатель и книгопродавец, основатель известной типографии, издавал „Энциклопедический лексикон“ (17 тт., 1838—1841) 334
- П о г о д и н Михаил Петрович (1800—1875) — происходил из крепостных крестьян, историк, беллетрист, литературный критик и публицист, профессор моск. университета (с 1833 г.), официальный редактор „Моск. Вестника“ (1827—1830), издатель-редактор „Москвитянина“ (1841—1856) . . . 200, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 240, 245, 247, 267, 286, 343
- П о д ш и в а л о в Василий Сергеевич (1765—1813) — воспитанник моск. университета (из „солдатских детей“), педагог, с 1801 г. директор Коммерческого училища, писатель (поэт, переводчик), издатель журналов: „Чтение для вкуса, разума и чувствований“ (1792—1793) и „Приятное и полезное препровождение времени“ (1794—1798) . . . 82
- П о з н а н с к и й Юрий Игнатьевич (1801—1878) — воспитанник моск. Университетск. благородного пансиона, гвардейский офицер (полковник), служивший в Генеральном штабе, приятель Мицкевича, поэт и переводчик (с польского, один из первых русских переводчиков Мицкевича), сотрудник „Каапиопы“ (1815—1820), М. Т. (1826), „Сев. Пчелы“ (1828, № 15), „Моск. Вестника“ (1828), „Русск. Зрителя“ (1828), „Лит. прибавл. к Русск. Инвалиду“ (1831—1832), альманахов: „Подснежник“ (1829) и „Метеор“ (1845); см. его стихи также в сборнике „Священная Лира“ (1819) и в Р. С., 1887, LVI, 142. В 1826 г. жил в Москве, в 1827 г. — в Киеве; был дружен с А. И. Подолнским, М. П. Вронченко, А. Бестужевым, К. Рылеевым и В. И. Карлгофом 205—206
- П о л е в а я (1781—1827) — мать Н. и Кс. Полевых 80, 83, 102, 103—104, 108, 110, 112, 117, 135, 141, 142
- П о л е в а я урожд. Климова — бабка Н. и Кс. Полевых 79, 80
- П о л е в а я Екатерина Алексеевна — см. Авдеева
- П о л е в а я Наталья Францовна, урожд. Терренберг (1806—1896) — жена Н. Полевого 142, 320, 346
- П о л е в о й Алексей Евсеевич (1759—1822) — отец Н. и Кс. Полевых . . . 80—90, 94—121, 125—128, 133—135, 141
- П о л е в о й Василий Евсеевич — дядя Н. и Кс. Полевых 80
- П о л е в о й Евсеевй Алексеевич (род. 1797 г.) — брат Н. и Кс. Полевых . 109, 117, 203
- П о л е в о й Евсеевй Осипович — дед Н. и Кс. Полевых 79, 80, 82
- П о л е в о й Иван — двоюродный дед Н. и Кс. Полевых 80
- П о л е в о й Осип — прадед Н. и Кс. Полевых 79
- П о л и н ь я к гр. Жюль-Огюст-Арман-Мари (1780—1847) — французский государственный деятель, председатель совета министров при Карле X (1829—1830), крайний реакционер 304
- П о л т о р а ц к и й Сергей Дмитриевич (1803—1884) — богатый калужский помещик, в молодости офицер, впоследствии библиограф и библиофил, владелец замечательной библиотеки, был тесно связан с французскими литературными кругами, постоянный сотрудник „Revue Encyclopédique“, член редакционного кружка М. Т., принимал участие в июльской революции 1830 г., вторую половину своей жизни провел в Европе, изредка наезжая в Россию, близкий друг Н. и Кс. Полевых . . . 152, 215—217

- Попов Иван Васильевич (ум. в 1839 г.) — московский книгопродавец и со-
держатель университетской типографии, где в 1825—1827 гг. печата-
лся М. Т. 146—148
- Потемкин светл. кн. Григорий Александрович (1739—1791). 304
- Похвиснев — полковник, служивший в Польше, друг Мицкевича 205
- Прокопович-Антонский Антон Антонович (1771—1848) — профес-
сор натуральной истории и энциклопедии моск. университета, директор
Университетского благородного пансиона, председатель Общества лю-
бителей рос. словесности (1811—1826) 144, 149, 155, 157, 188
- Пурилевский Василий Михайлович (1786—1854) — сенатский обер-секре-
тарь (с конца 1830-х гг.; см. Р. С., 1873, № 6, стр. 780—781), умер
в Москве, в чине статского советника („Моск. Некрополь“, II, 1908,
стр. 477) 87, 118
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837). 144, 150, 154, 158, 159—160,
165, 170, 172—174, 175, 197, 199, 207—210, 214, 215, 223—236, 251, 260,
264, 269, 273, 274, 275, 276—280, 288, 289, 303—308, 309, 310—311, 312,
313, 315, 331
- Пушкин Василий Львович (1767—1830) — дядя А. С. Пушкина, поэт,
прославившийся шутливой поэмой „Опасный сосед“ (1811) 157
- Пушкин Сергей Львович (1770—1848) — отец А. С. Пушкина 229
- Рабус Карл Иванович (1800—1857) — художник (пейзажист и маринист),
с 1827 г. академик живописи; в Р. С., 1897, № 11, стр. 311—312 опу-
бликованы записи Н. и Кс. Полевых в альбом Рабуса (1839); Кс. По-
левой написал некролог Рабуса („Живописная Русск. Библиотека“, 1857,
II, 58—59) 346
- Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — боевой генерал, герой
войны 1812 г. 309
- Раич (Амфитеатров) Семен Егорович (1792—1855) — писатель (поэт,
переводчик, литературный критик) и педагог, председатель кружка
молодых московских литераторов (1822—1825), издатель альманахов:
„Новые Аониды“ (1823) и „Сев. Лира“ (1827) и журнала „Галатея“
(1829—1830, 1839) 155—156, 228
- Ратков Петр Алексеевич — секр. редакц. и управл. канторой М. Т. 331, 348
- Редкин Петр Георгиевич (1808—1891) — юрист, в 1826 г. окончил
Нежинский лицей кн. Безбородко, с 1828 г. слушатель дерптского Про-
фессорского института, с 1835 г. — профессор моск. университета 340
- Резанов Николай Петрович (1764—1807) — камергер, обер-секретарь
сената, глава русского посольства в Японию (1803—1805), составитель
словаря и учебника японского языка 81, 98
- Репина Надежда Васильевна (1809—1867) — примадонна московской
оперы, жена композитора А. Н. Верстовского 186, 187
- Рикорд Петр Иванович (1776—1855) — адмирал и путешественник, прия-
тель и покровитель Н. Полевого; Кс. Полевой написал некролог
Рикорда („Живописная Русск. Библиотека“, 1856, I, 57—59) 274
- Риттер Карл (1779—1859) — знаменитый немецкий географ 200
- Ричардсон Самуил (1689—1761) — английский писатель, автор сенти-
ментальных романов, имевших огромный успех во всей Европе конца
XVIII—начала XIX вв. 102
- Ришелье (1585—1642) — кардинал, французский государствен. деятель
- Розберг Михаил Петрович (1804—1879) — родственник Н. и Кс. Поле-
вых (был женат с 1830 г. на их племяннице М. В. Авдеевой), сотруд-
ник М. Т. (1825—1828) и член его редакционного кружка; в 1825 г.
окончил московский университет со степенью кандидата, автор дис-
сертаций: „De Natura di indele litterarum Graecanum et Romanum“
(1825), „О развитии изящного в искусстве и особенно в словесности“
(1838; по указанию Г. Шлёгеля, в его „Очерке развития русск. философии“,

- 1922, I, 338—339 — явный плагиат из Шеллинга и Аста) и речи „О содержании, форме и значении изящно-образовательных искусств“ (1832); с конца 1829 г. служил в Одессе чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе кн. М. С. Воронцове, с 1830 г. — профессор истории и русск. словесности Ришельевского лицея, редактор „Одесского Вестника“ (1830—1835) и „Литературных Листков“ (1833—1834) и издатель (с П. Т. Морозовым) „Одесского Альманаха“ (1831); с 1835 г. — профессор русского яз. и литературы в дерптском университете (до 1867 г.), с 1849 г. — академик. Н. Полевою разошелся с Розбергом в конце 1830-х гг. и резко порицал его за „гнусные суждения“ и за то, что он „Уварова хвалит открыто“ (см. Кс. Полевою, „Записки“, изд. 1888, стр. 539, 556); в середине 1843 г. они помирились. Розберг „горькими слезами оплакал кончину Н. Полевого“ в письме к В. Ф. Одоевскому: „Что бы ни думали, как бы ни говорили, он, несмотря на свои уклонения, ошибки и промахи, один из самых необыкновенных людей России, и отечество может им гордиться. Позже ему отдадут более справедливости, нежели теперь... Хвала ему! Жизнь его — подвиг: он выстрадал ее, прикованный с лишком двадцать лет к письменному своему столу, как Прометей к скале Кавказа; но заветный огонь, им похищенный, с тех пор уже не угасал. Мысль о Полевом перейдет к потомству...“ (Р. С., 1904, № 8, стр. 419—420) 193—194
- Розенкампф** барон Густав Андреевич (1764—1832) — видный юрист, руководитель Комиссии о составлении законов (до 1822 г.), автор „Обозрения Кормчей книги в историческом виде“ (1829) 244—245
- Рожалин** Николай Матвеевич (1805—1834) — кандидат моск. университета (1824), знаток античного мира и немецкой философии и литературы, член кружка московских „любомудров“, приятель Д. В. Веневитинова и братьев Киреевских, сотрудник „Моск. Вестника“, автор статей и рецензий и переводчик (м. пр., „Страданий Вертера“ Гете, 1828, 2-е изд., 1829), с 1828 г. жил за границей 156, 193
- Романыч** — камердинер В. А. Пушкина 157
- Ростопчин** гр. Федор Васильевич (1763—1826) — московский главнокомандующий в 1812—1814 гг., по преданию виновник пожара Москвы, ярый крепостник, глава реакционно-националистической дворянской фронды 1810—1820-х гг. 83, 112, 251, 270
- Румянцев** гр. Николай Петрович (1754—1826) — государственный деятель, министр коммерции (1801—1806), министр иностранных дел (1807—1808), канцлер (1809—1812), основатель Румянцевского музея, издатель памятников русской истории 98, 99
- Руссо** Жан-Жак (1712—1778) 224, 261
- Рылеев** Кондратий Федорович (1795—1826) 184
- Сабуров** Яков Иванович (1798—1858) — тамбовский помещик, в молодости служил в л.-гв. гусарском полку (1817—юнкер, 1821 — уволен от службы „по домашним обстоятельствам“ поручиком), принадлежал к числу царскосельских приятелей Пушкина и впоследствии был с ним близок, равно как и с другими литераторами (Вяземским, Денисом Давыдовым), в 1821—1824 гг. служил в Кишиневе при И. Н. Инзове, одновременно с Пушкиным; в середине 1825 г. определился на службу в Одессу к гр. М. С. Воронцову, а в конце 1826 г. снова служил в Кишиневе, в „Комиссии по делам Е. К. Варфоломея“; в 1828 г. путешествовал по Европе; в 1830 — жил в Тамбове; с 1840 по 1853 — тамбовский уездный предводитель дворянства (в чине коллежского ассесора); в 1852 г. Л. С. Пушкин назначил его (с С. А. Соболевским) опекуном своих детей и имения; в 1856 г. присутствовал на съезде сельских хозяев у А. И. Кошелева. По отзыву Б. Н. Чиче-

рина, Сабуров был „весьма неглупый, образованный, все читавший, с разнообразными сведениями, хотя несколько шаткими мыслями и характером, он состоял в близких сношениях и с высшими петербургскими сферами, и с литературным миром“; Вяземский называл его „умным, добрым и благородным“. Сабуров и сам был писателем-очеркистом, его путевые очерки (о Бессарабии, Франции, Бельгии, Голландии, Южных окраинах России и Кавказе) печатались в „Московск. Вестнике“ (1830), „Лит. Газете“ (1830, № 30), „Телескопе“ (1831—1832), „Литерат. прибавлениях к Русск. Инвалиду“ (1831 и 1834), М. Т. (1834, № 4), „Моск. Наблюдателе“ (1835); сотрудничал он также и в С. О. (1838) и О. З. (1842 и 1844); в 1843 г. Сабуров написал биографию Н. И. Кривцова (опубликована в Р. С. 1880, т. 60). См. о Сабурове стих. Пушкина „Сабуров, ты оклеветал...“; К. Манзей — „История л.-гв. Гусарского полка“, III, 1859, 83; А. Нарцов — „Материалы для истории родов Мартыновых и Сепцовых“ 1904, 61 и прилож., 74 и 452; Р. А., 1890, I, 514; 1897, I, 451; 1900, I, 193; 1901, II, 247; „Остафьевский архив“, III, 105, 470 и IV, 260; „Дневники Жуковского“ 335; „Старина и Новизна“ XXII, 37 и 56; „Переписка Пушкина“, I, 254 и 379; Пушкин — „Письма“ I, 1926 (по указателю); Кольцов — „Сочинения“, изд. Ак. наук, 272; Сочинения Пушкина, Изд. Брокгауза, II, 532; „Пушкин и его современники“, вып. XVII—XVIII, 11 и вып. XXVIII, 94; „Голос Минувшего“ 1911, № 7—9, 170, 172; „Сборник в честь Срезневского“ 1924, 5; Б. Чичерин — „Москва сороковых годов“, 1929, 166; Сочинения Пушкина, 1931 (VI, 324—325) . . .	151
Сабуров Александр Матвеевич (1800—1831) — актер московского театра	186,
187	
Самойлов Василий Михайлович (1782—1839) — прославленный оперный актер начала XIX вв.	84
Самойлова Софья Васильевна (1787—1854) — оперная актриса, жена предыдущего	84
Сафонов — московский домовладелец	346
Свиньин Павел Петрович (1787—1839) — писатель, историк, путешественник, собиратель древностей, издатель журнала О. З. (1818—1830) 89, 135, 136, 271, 279—280	88,
Сегюр д'Агессо гр. Луи-Филипп (1753—1830) — французский государственный деятель и писатель (драматург и историк), автор „Записок“ (русск. изд. 1865), принимал участие в американской освободительной войне, с 1783 г. посол в Петербурге	314, 324
Селивановский Семен Иоанникович — московский издатель и книгопродавец конца XVIII — начала XIX вв.	250
Семэн Август Иванович (1783—1862) — крупный книгоиздатель и содержатель типографии, где печатался М. Т. в 1828—1834 гг.	332, 333, 345
Сенковский Осип Иванович (1808—1858) — ученый арабист и тюрколог, профессор петербургского университета, беллетрист и журналист, с 1834 г. редактор „Библиотеки для чтения“, выступал под псевдонимом „Барон Брамбеус“ (и другими)	178
Серве Андриен-Франсуа (1807—1866) — знаменитый виолончелист, в 1839 г. посетил Петербург (также в 1841 и 1843 гг.)	278
Сийес Эммануэль-Жозеф (1748—1836) — аббат, деятель Великой французской революции, автор политических сочинений	314
Сисмонди Жан-Шарль-Леонард-Симонд (1773—1842) — швейцарский историк и экономист, выступивший с критикой „классической школы“ в своих „Новых началах политической экономики“ (1819), идеолог мелкой буржуазии	210
Скотт Вальтер (1771—1832)	194, 198, 240, 243, 245—247, 271
Славинский — учитель латинского языка в курской гимназии (1810-е гг.)	126
	525

- С л е н и н Иван Васильевич (1789—1836) — книгопродавец и издатель, поэт-дилетант 286
- С л е н и н — брат предыдущего 286
- С м и р д и н Александр Филиппович (1795—1857) — крупнейший книгопродавец и издатель 1820—1830-х гг., сосредоточивший к концу 1830-х гг. в своих руках почти всю петербургскую журналистику („Библия для чтения“, С. О., „Сев. Пчела“), впоследствии разорился и умер в бедности. Кс. Полевой посвятил Смирдину три статьи („Живописн. русск. библиотека“, 1856, I, 110; Ibid. 1857, II, 282 и „Сев. Пчела“, 1857, № 210) 242, 334, 343—344
- С м и т Адам (1723—1790) — знаменитый английский экономист, основатель „классической школы“ политической экономии, идеолог промышленной буржуазии второй половины XVIII в. 200
- С м о т р и ц к и й Мелетий (ок. 1578—1633) — крупный южно-русский ученый-филолог, автор „Граматики“ (1618) 129
- С н е г и р е в Иван Михайлович (1793—1868) — археолог, профессор моск. университета, цензор М. Т. (1827 и 1829), оставил ценные „Дневники“ (изд. 1904 г.) 234
- С о б о л е в с к и й Сергей Александрович (1803—1870) — друг Пушкина, поэт-эпиграмматист, библиофил и библиограф; был близок к кружку московских „любомудров“ и редакции „Моск. Вестника“, находясь в то же время в приятельских отношениях с братьями Полевыми . . 156, 227, 234, 272
- С о к о л о в Петр Иванович (1766—1836) — неприменный секретарь Российской академии, составитель „Граматики“ (1802) 86, 87, 116
- С о м о в Орест Михайлович (1793—1833) — литератор (прозаик, критик, журналист), автор книжки „О романтической поэзии“ (1823), сотрудник С. О. и „Сев. Пчелы“ (1825—1829 гг.), принимал участие в редакции „Сев. Цветов“ и „Лит. Газеты“ (после смерти Дельвига, в 1831 г. редактор ее) 306, 307, 311
- С п е р а н с к и й Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, статс-секретарь (1808—1812), либерал и франкофил, намечался декабристами в члены временного русского правительства; в 1812 г. был отрешен от всех должностей и сослан (возвращен на службу в 1816 г.); при Николае I руководил работами по составлению „Свода законов“ и изданию „Полного собрания законов“ 199
- С т а л ь-Г о л ь с т е й н (1766—1817) — французская писательница, автор романов и публицистических сочинений, враг Наполеона, в 1812 г. посетила Россию 172, 197, 235
- С т а н е в и ч Евстафий Иванович (1775—1835) — поэт и прозаик, примыкавший к Шишковскому лагерю, поклонник мистических писателей Юнга и Гервея 242
- С т р а х о в Петр Иванович (1757—1813) — профессор моск. университета 111
- С т р о г о н о в гр. Сергей Григорьевич (1794—1882) — попечитель моск. университета и председатель Моск. цензурного комитета с 1835 по 1847 г. 343
- С т р о е в Павел Михайлович (1796—1876) — историк и археолог, до 1828 г. — приятель Н. и Кс. Полевых, впоследствии ожесточенный их противник, автор резкого памфлета против Н. Полевого („Моск. Вестник“, 1828, X, 316); история их приязни и вражды прослежена у Н. Барсукова — „Жизнь и труды Погодина“ (т. II, стр. 173—178) . 137, 281
- С т р о й н о в с к и й гр. Валериан Венедиктович (1759—1834) — сенатор, автор книги „О условиях помещиков с крестьянами“ (переведена с польского В. Г. Анастасевичем в 1809 г.), поднявшей вопрос о безземельном освобождении крестьян и вызвавшей большое волнение среди русских крепостников 242

Суворов гр. Рымникский, светл. кн. Итальянский Александр Васильевич (1729—1800)	304
Сумароков Александр Петрович (1718—1778) — крупнейший русский писатель XVIII в. (поэт и драматург)	83, 158
Сумароков Панкратий Платонович (1765—1814) — поэт-сатирик, издатель тобольского журнала „Иртыш, превращающийся в Ипокрену“ (1791) и В. Е. (в 1804 г.)	147
Тассо Торквато (1544—1595)	155
Татищев Василий Никитич (1686—1750) — государственный деятель и писатель, автор „Истории Российской“	111
Тахмас-Кулыхан (вернее: Кули-Хан) — татарский хан, вторгшийся в пределы России в 1741 г.	79
Тацит (ок. 60—115 н. э.)	88, 124, 309
Тибулл (I в. до н. э.)	145
Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий поэт-романтик, переводчик и пуляризатор Шекспира	228
Тимковский Василий Федорович (1781—1832) — чиновник канцелярии Государственного совета (с 1810 г.), канцелярии государственного секретаря А. С. Шишкова (с 1812 г.), затем служил в Бессарабии и в Азиатском департаменте мин. иностранных дел, с 1823 г. — в Грузии, при А. С. Ермолове, с 1826 по 1828 г. — бессарабский губернатор. Занимался литературой, состоял членом Беседы любителей русского слова, писал стихи (см. в сб. „Радостные чувствования муз“, Киев, 1796), издал несколько переводов; его путевые записки, записки о Кавказе и „История Бессарабии“ — не сохранились; был знатоком латинской и немецкой литературы и — по отзывам современников — „заядлым либералом“	132—133, 136, 176
Тимковский Егор Федорович (1790—1875) — известный путешественник, автор трехтомного „Путешествия в Китай через Монголию“ (1824)	132
Тимковский Роман Федорович (1785—1820 г.) — историк, профессор моск. университета	132, 136
Титов Аким Алексеевич (ум. в конце 1860-х гг.) — московский купец, правитель конторы Российско-Американской компании в Иркутске	83, 102, 108, 293
Титов Александр Акимович — воспитанник моск. Академии коммерческих наук (окончил ее в 1839 г.)	293
Титов — брат предыдущего, также воспитанник моск. Академии коммерческих наук	293
Титов Владимир Павлович (1807—1891) — член моск. кружка „любомудров“ и общества Рачца, сотрудник „Моск. Вестника“, впоследствии видный дипломат	156, 228
Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — крупный чиновник, друг Жуковского и Пушкина, имевший огромный круг русских и европейских знакомств	154
Тьерри Огюстен (1795—1856) — крупнейший французский историк эпохи реставрации, выразивший в своих работах идеи буржуазного либерализма; оказал большое влияние на Н. Полевого-историка	283, 287
Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — в молодости член „Арзамаса“; с 1833 г. министр народного просвещения и с 1834 г. президент Академии наук, один из виднейших деятелей николаевской реакции	199, 246, 308, 313, 315, 322—330, 332, 333, 334, 344
Улитин — московский книгопродавец	334
Усов Степан Михайлович (1797—1859) — журналист, сотрудник С. О. и „Сев. Пчелы“, антагонист К. Полевого; см. о нем: „Труды Вольного экономического о-ва“, 1859, № 6, 19—31; „Земледельческая Га-	

- зета“, 1859, № 77; „Журнал Мин-ва народного просвещения“, 1859, ч. 104, 41—44 и „Производитель и Промышленник“, 1859, (№ 76) . . . 179
- Ушаков Василий Аполлонович (1789—1838) — писатель, автор повестей „Киргиз-Кайсак“ (1830, 2-е изд. 1835), „Кот Бурмосеко“ (1831), „Досуги инвалида“ (1832—1835), „Последний из князей Корсунских“ (1837) и „Были и повести“ (1838). Воспитывался в пажемском корпусе, в 1811 г. был выпущен прапорщиком в л.-гв. Литовский полк, участвовал в войне 1812—1814 гг. (ранен под Бородиным), в 1819 г. вышел в отставку и поселился в Москве. Был близок с Булгариным (с 1816 г.) и сотрудничал в его журналах. В конце 1820-х гг. сблизился с Н. и Кс. Полевым и деятельно сотрудничал в М. Т. (1829—1830 гг.), где заведывал отделом театральных рецензий и принимал участие в литературно-критическом отделе; театральные фельетоны Ушакова пользовались большим успехом. В своих замечательных статьях и фельетонах Ушаков выступал резким противником „литературных аристократов“ — „боярских деток“ (см., напр., М. Т., 1830, № 6, 193) . . . 183—184, 248, 273—275
- Ушаков — генерал-лейтенант, автор „Истории военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг.“ (1836) 278
- Фенелон Франсуа (1651—1715) — архиепископ, французский писатель, автор правоучительного романа „Телемак“ (1699) 261
- Феокист — курский архиепископ 122
- Филарет митрополит — см. Дроздов.
- Филимонов Владимир Сергеевич (1787—1858) — богатый рязанский помещик, учился в моск. университете, офицер (участник походов 1813—1814 гг.) и чиновник (коллегии иностранных дел с 1811 г., министерства полиции с 1815 г., новгородский вице-губернатор в 1817—1819 гг., гражданский губернатор в Архангельске с 1825 по 1831 г.): В 1831 г. Филимонов был арестован по подозрению в прикосновенности к известному Сунгуровскому обществу, — по доносу члена общества студента Ивана Поллоника (выдавшего все общество). По приговору суда Филимонов был уволен со службы, три месяца высидел в крепости и был отправлен в Нарву под надзор полиции (освобожден от надзора в 1833 г.). Конец жизни Филимонов провел в отставке и в большой нужде. С 1802 г. Филимонов занимался литературной деятельностью (поэт, водевиллист, переводчик, прозаик, журналист), сотрудничал почти во всех журналах и альманахах 1810—1850-х гг., издал большое количество книг, из которых наибольшей известностью пользуется шутивная поэма „Дурацкий колпак“ (5 чч., 1828—1838), в 1820 г. издавал журнал: „Бабочка, дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития“. С 1820 г. Филимонов — покровитель Н. Полевого и его компаньон по владению водочным заводом, в 1824 г. Н. Полевой по неизвестным нам причинам разорвал с Филимоновым всякие сношения и помирился с ним только в 1838 г. См. о Филимонове: „Труды общества любителей российской словесности“ 1812, ч. IV, 69—70, 107 и 156; „Всемирная Иллюстрация“, 1858, № 32; „Библиографические Записки“ 1859, № 20; „Современник“ 1858, № 9; Р. А. 1866, стбц. 1716; 1873, I, 942 и 1879, I, 486; „Сочинения“ П. А. Вяземского, т. IX, 103; Р. С. 1870, II, 293; „Сочинения“ К. Н. Батюшкова, 1886, т. III, 657—658; „Спб. Ведомости“ 1858, № 158; „Заветы“ 1913, № 3 (статья Б. Эйхенбаума — „Тайное общество Сунгурова“) и нашу работу „Филимонов“ (по неизданным материалам; гот. к печ.) 131—135, 149, 151, 185
- Флагге — известный танцмейстер александровского времени 157
- Фонтенель (1657—1757) — французский писатель и философ 83
- Фукидид (ск. 460—400 до н. э.) 129

- Хвостов Николай Александрович** (1776—1809) — морской офицер, состоял на службе в Российско-Американской компании, прославился разбойным нападением на Японию (с лейтенантом Г. И. Давыдовым) . . . 98
- Херасков Михаил Матвеевич** (1733—1807) — поэт, драматург и романист, один из виднейших представителей русского классицизма . . . 83
198, 199
- Хлебников Кирилл Тимофеевич** (1776—1838 г.) — один из директоров Российско-Американской компании. Н. Полевой написал некролог Хлебникова (С. О., 1838, IV) 98
- Ходаковская** — жена Зориана Ходаковского 236—239
- Ходаковский Зориан Яковлевич** — литературный псевдоним польского историка, археолога и этнографа Адама Чарноцкого (1784—1825), участника наполеоновского похода в Россию в 1812 г. (был взят в плен и с тех пор жил в России); по просьбе Н. Полевого Ходаковский написал автобиографию (С. О., 1839, XIII) 137—140, 236—240, 288, 314
- Цветаев Лев Алексеевич** (1775—1835) — профессор моск. университета по кафедре законоведения, цензор М. Т. (1830—1832) 261
- Цицерон** (106—43 до н. э.) 124
- Цынский Лев Михайлович** — генерал, московский обер-полицеймейстер (1834—1845), ему посвящены „Драматические сочинения и переводы“ Н. Полевого (1842—1843) 335, 352
- Шаликов кн. Петр Иванович** (1768—1852) — поэт, прозаик, журналист, издатель „Моск. Зрителя“ (1806), „Аглаи“ (1808—1810, 1812) и „Дамского Журнала“ (1823—1833), воинствующий сентименталист, эпигон Карамзина 143, 159, 179, 269—270, 289
- Шаплет-де Самуил Самуилович** (ум. в 1834 г.) — переводчик „Жизни Наполеона“ В. Скотта (1831, 2-е изд. 1836) 247
- Шатобриан Рене** (1768—1848) — французский романтический писатель и политический деятель в эпоху реставрации, идеолог абсолютизма 89, 125, 129
- Шевырев Степан Петрович** (1806—1864) — поэт, критик и историк литературы, профессор моск. университета (с 1834 г.), член кружка „любомудров“ и редакции „Моск. Вестника“ 156, 228, 232, 234, 245
- Шекспир Вильям** (1564—1616) 162, 188, 189, 227, 310, 336—339
- Шелихов Григорий Иванович** (1748—1795) — крупный промышленник, исследователь Восточной Сибири, организатор и руководитель экспедиции на о-в Кадык (1784), один из учредителей Российско-Американской компании; „Журнал“ его путешествия был издан в 1791 г. 97, 98
- Шелихов Дмитрий Потапович** (1792—1854) — помещик Тверской губернии, агроном и писатель, в 1811 г. окончил моск. университет со степенью кандидата физико-математических наук, участник походов 1813—1815 гг., с 1821 г. отставной подполковник л.-гв. Гренадерского полка, один из первых русских шеллингианцев, переводчик „Энеиды“, автор многочисленных трудов по сельскому хозяйству, основатель „Земледельческой компании“ (1827); в молодости — либерал, автор стихотворения, посвященного возмущению Семеновского полка (1820), после революции 1848 г. заявивший о своих верноподданнических чувствах в брошюре „Отзыв русского сердца о смутах в Европе“ (1849) 195, 196
- Шеллинг Фридрих-Вильгельм-Жозеф** (1775—1854) 146, 150, 193, 194, 195, 196.
- Шенье Андре** (1762—1794) — французский поэт, казненный по приказу Робеспьера по обвинению в заговоре в пользу монархии 223

- Шеридан Ричард (1751—1816) — английский драматург, автор знаменитой комедии „Школа злословия“ (1777) 188
- Шиллер Фридрих (1759—1805) 193
- Ширяев Александр Сергеевич (ум. в 1841 г.) — крупный моск. книгопродавец и издатель 136, 216, 253, 267—268, 270, 295, 296
- Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, президент Российской академии (1813—1841), государственный секретарь (1812—1814), министр народного просвещения (1824—1828); поэт, переводчик, филолог и литературный критик, председатель Беседы любителей русского слова, глава противников карамзинской школы, идеолог националистически-консервативного дворянства 98, 132, 142, 151, 178, 242, 243, 244, 247, 248.
- Шлегель Август-Вильгельм (1767—1845) — немецкий поэт, переводчик и критик, один из вождей немецкой романтической школы 197, 199, 227
- Шлецер Август-Людвиг (1735—1809) — немецкий историк; жил одно время в России, где изучал древнерусскую историю 280
- Шолье Гильом (1639—1720) — аббат, французский поэт 145
- Шторх Андрей Карлович (1766—1835) — академик, автор трудов по политической экономии и статистике 200
- Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — знаменитый русский актер 338
- Щербатов кн. Михаил Михайлович (1733—1790) — камергер, сенатор, писатель, публицист, историограф, автор „Истории российской“ (1770—1791) 111
- Эшенбург Иоганн-Иоахим (1743—1820) — немецкий теоретик и историк литературы, представитель до-кантовской эстетики 197
- Ювенал (ок. 50—125 н. э.) — римский поэт-сатирик 145
- Юргенсон — фабрикант 272
- Юсупов кн. Николай Борисович (1751—1831) — крупнейший помещик и вельможа екатерининского времени 302—303, 304, 309
- Языков Николай Михайлович (1803—1846) — известный поэт; он задел Н. Полевого в своем „Послании о журналистах“, в ответ на неблагоприятный отзыв Полевого о его стихах (в М. Т. 1828, XIX, 127; ср. письмо Языкова к А. Н. Вульфу в Р. А. 1867, стбц. 741). Кс. Полевому принадлежит (в М. Т. 1833, № 6) статья о „Стихотворениях“ Языкова 231, 232

П Р И Л О Ж Е Н И Е

НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ И ЕГО КОРРЕСПОНДЕНТЫ

(библиографическая справка)

Из переписки Н. А. Полевого сохранилось немного, большинство писем пропало, повидимому, безвозвратно (в том числе и редакционный архив М. Т.); а то, что уцелело — не только не собрано, но и не учтено специальных библиографических указателей. Впрочем, по словам Кс. Полевого, редактор М. Т. — „неумолимый писатель, был ленивейшим человеком отвечать на письма“ („Рус. Вестник“, 1861, т. 32, март, стр. 287) и, может быть, именно этим обстоятельством объясняется, в первую очередь, незначительность его эпистолярного наследия. Кроме того, много писем уничтожил сам Полевой незадолго до своей предсмертной болезни („Ист. Вестник“, 1888, март, стр. 656), а в 1843 г. он передал в дар барону Ф. А. Бюлеру, собиравшему автографы известных лиц, „целую кипу“ писем (в том числе от Булгарина, Греча, Глики, о. Иакинфа Бичурина, Вяземского и Дмитриева); из этой „кипы“ Бюлер опубликовал в Р. С., 1871, т. IV, стр. 679 и сл. — только три письма. Сын Полевого, П. Н. Полевой, сообщил в свое время, что у него сохранилось „довольно много писем отца от десятилетия 1835 — 1846; большая часть их писана к жене из Москвы“ (см. Р. С., 1870, № 6, стр. 550); опубликовано же из переписки Полевого с женою всего только два письма 1834 г. — Погибла также и обширная переписка Полевого с братом Ксенофонтом до 1837 г. Указания на два недошедшие до нас письма Полевого к Гречу, от 1825 г., содержатся в письме Греча к Полевому, напечатанном в С. О., 1825, ч. 104, стр. 186 — 197.

Из писем Н. А. Полевого нам известны (даем перечень по алфавиту адресатов): 4 письма к В. Г. Анастасевичу 1827 — 1828 гг. („Вестник всемирной истории“, 1900, № 9, стр. 169 — 178 и Р. С., 1901, № 5, стр. 403—405); 1 письмо 1839 г. (в стихах) к В. Н. Асенковой (сб. „Бирюч“, 1918, № 2, стр. 62 — 63); 1 письмо 1834 (?) г. к Ю. Н. Бартеневу („Изв. ОРЯС Академии наук“, 1910, т. XV, кн. 4, стр. 216 — 217); 4 письма к В. Г. Белинскому 1835 — 1837 гг. (А. Н. Пыпин — „Белинский“, т. I, изд. 1876 г., стр. 145 и 213 — 214; „Письма Белинского“, т. I, 1914, стр. 391 и 393; — об одном недошедшем до нас письме от 30 апреля 1837 г. сообщает Пыпин на стр. 211 указан. соч.); 3 письма к гр. А. Х. Бенкендорфу 1832, 1834 и 1841 гг. (Б. Кубалов — „Декабристы в Восточной Сибири“, 1925, стр. 65; М. И. Сухомлинов — „Исследования и статьи“, т. I, 1889, стр. 410 — 411 и М. Лемке — „Николаевские жандармы и литература“, 2-е изд., 1909 г., стр. 132); 3 письма к А. А. Бестужеву 1830—1831 гг. („Известия по русск. яз. и словесности Академии наук“, 1929, т. II, кн. I, стр. 204 — 213; об одном недошедшем до нас письме от 26 декабря 1830 г. упоминает Полевой в письме от 13 марта 1831 г. на стр. 206 указан. соч.); 2 письма к Е. А. Бестужевой 1833 г. (не изданы — ИРЛИ, архив Бестужевых, № 5585); 1 письмо к Н. А. Брянцеву 1820 г. („Ист. Вестник“, 1896, март, стр. 948—950); 1 письмо к барону А. Я. Бюлеру 1843 г.

(Р. С., 1871, т. IV, стр. 676—677), 1 письмо к барону Ф. А. Бюлеру 1843 г. (Ibid., стр. 676); 2 письма к А. Ф. Вельтману 1837 и 1845 г.г. (Р. С., 1901, № 5, стр. 409—410 и 412—413); 1 письмо к А. Ф. Воейкову 1837 г. (копия в письме Воейкова к Полевому; не издано — ГПБ); 1 письмо к А. А. Волкову 1829 г. (Р. С., 1903, № 2, стр. 263—264); 1 письмо к А. Д. Галахову 1843 г. (не издано, поданник — в собрании Ю. Г. Оксмана), 1 письмо к А. И. Герцену 1836 г. („Полярная Звезда“, кн. V, London, 1859, стр. 196—198); 2 письма к Ф. Н. Глинке 1821 и 1826 г. („Литературный Вестник“, 1902, т. IV, кн. 8, стр. 350—351); 2 письма к кн. Н. Н. Голицыну 1830 и 1842 г.г. („Чтения в имп. Обществе истории и древности российских при моск. университете“, 1863, кн. I, отд. V, стр. 212—213 и Р. С., 1901, № 5, стр. 411—412; адресат второго письма раскрыт условно); 1 письмо к А. Н. Гречу 1842 г. (Р. С., 1901, № 5, стр. 411); 1 письмо к Н. И. Гречу 1841 г. (Ibid., стр. 410); 1 письмо к П. И. Даль 1831 г. (Р. С., 1893, № 4, стр. 59); 2 письма к Л. В. Дубельту 1844 (?) и 1846 г.г. (М. Лемке — „Николаевские жандармы и литература“, 2-е изд., 1909, стр. 162—165); 1 письмо к М. Н. Загоскину 1838 г. (Р. С., 1902, № 9, стр. 627); 1 письмо к А. А. Закревскому 1830 г. („Сб. Рус. исторического общества“, 1868, т. II, стр. 415—416); 2 письма к К. Ф. Калайдовичу 1825 и 1828 г.г. (не изданы — ГПБ, собрание Калайдовича); 2 письма к В. И. Карлгофу 1833 г. (Р. А., 1912, № 3, стр. 419—421); 1 письмо к П. И. Кеппену 1837 г. („Отчет имп. публичной библиотеки за 1892 г.“, стр. 283); 1 письмо к Ф. А. Кони 1842 г. (не издано — ИРЛИ, 2500/IX, м. 9); 11 писем к А. А. Краевскому 1835—1846 г.г. (из них 8 опубликованы в „Вестнике всемирной истории“, 1900, № 9, стр. 174—178, а 3 — от 1844, 1845 и 1846 г.г. — не изданы — ГПБ, бумаги Краевского, т. Н.—П., и бумаги Бильбасова, А. 20); 1 письмо к барону А. К. Мейендорфу 1835 г. (не издано — ИРЛИ, Дашковское собрание); 1 письмо к А. И. Михайловскому-Данилевскому 1832 г. (не издано — ГПБ, бумаги Михайловского-Данилевского, № 32); 1 письмо к А. А. Муханову 1827 г. (не издано — Моск. исторический музей; см. „Северные Цветы“ на 1901 г., стр. 199; также „Письма Пушкина“, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. II, стр. 226); 30 писем к А. В. Никитенко 1836—1845 г.г. (не изданы — ИРЛИ, 18.647/СХХIII б. 7; 19.724/СХХХIV б. 8 и 18.380/СХХI б. 2); 10 писем к кн. В. Ф. Одоевскому 1829—1839 г.г. (не изданы — ГПБ, бумаги Одоевского 1869 года, карт. III и бумаги Одоевского 97, II); 1 письмо к Д. М. Перевощикову (без даты, повидимому 1825—1827 г.г. не издано — ГПБ, собрание автографов); 2 письма к жене — Н. Ф. Полевой 1834 г. (напечатаны с купюрами в Р. С., 1870, № 6, стр. 550—553; подлинники в ИРЛИ, 18.077/СХV б. 6); 58 писем к брату — К. А. Полевому 1837—1846 г.г. (напечатаны с купюрами в „Записках“ Кс. Полевого, изд. 1888 г., стр. 385—580); 18 писем к С. Д. Полторацкому 1825—1844 г.г. (не изданы — ГПБ, собрание Полторацкого, бум. 1919 г., № 260); 2 письма к А. С. Пушкину 1830 и 1831 г.г. („Переписка Пушкина“, изд. Ак. наук, т. II, стр. 128, 206—207; об одном недошедшем до нас письме Полевого от лета 1825 г. упоминает Пушкин в письме к П. А. Вяземскому от 2 августа 1825 г. — см. Ibid., т. I, стр. 259); 21 письмо к И. П. Сахарову 1831—1845 г.г. (из них 1 письмо 1845 г. опубликовано в книге Н. К. Козмина — „Из истории русского романтизма“, 1903, стр. 532—533; остальные 20 не изданы — ГПБ, собрание автографов, дополн. 28 — письма к И. П. Сахарову, кн. III); 3 письма к П. П. Свиныну 1824 и 1826 г.г. (О. Э., 1824, ч. XVII, стр. 296—300; П. Н. Полевой — „История русской словесности“, 1900, т. III, стр. 196—197, факсимильное воспроизведение; Р. С., 1901, № 5, стр. 399—401); 1 письмо к О. И. Сенковскому 1837 г. („Старина и Новизна“, 1905, кн. IX, стр. 326—327); 1 письмо к П. А. Словцову 1830 г. (не издано — ГПБ, бумаги Погодина, карт. II, № 332); 5 писем к И. М. Снегиреву 1832—1834 г.г. (Р. С., 1901, № 5, стр. 407—408; „Вестник всемирной истории“, 1900, № 9, стр. 173—174 и Н. К. Козмин — „Из истории русского романтизма“, 1903, стр. 525—526); 1 письмо к П. М. Строеву

1828 г. (Р. С., 1901, № 5, стр. 406—407); 1 письмо к Теряеву 1842 г. („Вестник всемирной истории“, 1900, № 9, стр. 175); 1 письмо к Фарнангену фон Энзе (см. описание архива Фарнангена фон Энзе в „Вестнике всемирной истории“, 1900, № 6: И. А. Шляпкин — „Берлинские материалы для истории новой русской литературы“); 1 письмо к гр. Д. И. Хвостову 1824 г. (не издано — ИРАИ, бумаги Хвостова, № 77) и 1 письмо к неизвестному (Ивану Васильевичу) 1835 г. (не издано — ГПБ, собрание автографов). — Неизданные письма Н. А. Полевого к Е. А. Бестужевой, А. Ф. Воейкову, Ф. А. Кони, А. А. Краевскому, А. В. Никитенко, В. Ф. Одоевскому и С. Д. Полторацкому — подготовлены нами к печати.

Из писем Н. А. Полевого нам известны: 3 письма В. Г. Белинского 1835 и 1837 гг. („Письма Белинского“, т. I, 1914, стр. 62—63, 67); 3 письма гр. А. Х. Бенкендорф. 1832—1841 гг. (Р. А., 1866, № 12, стбц. 1753—1756; Р. А., 1874, I, стр. 1050—1052, также Р. А., 1905, № 10, стбц. 208—209, также Р. С., 1897, № 11, стр. 385—386, где автором письма ошибочно назван Л. В. Дубельт, — также М. Лемке — „Николаевские жандармы и литература“, 2-е изд., 1909, стр. 102—103, 131); 18 писем А. А. Бестужева 1831—1836 гг. (из них 15 опубликованы Кс. Полевым в „Рус. Вестнике“, 1861, т. 32, март, стр. 285—335; апрель, стр. 425—487; 2 письма 1832 г. см. в „Рус. Обозрении“, 1894, т. 29, октябрь, стр. 819—834 и 1 письмо 1831 г. — не издано — ИРАИ, архив Бестужевых, № 5574; — ср. также Р. А., 1874, кн. II, стр. 6 и 1906, кн. III); 1 письмо о. Иакинфа Бичурина 1831 г. (Р. С. 1871, т. IV, стр. 680); 1 письмо Е. А. Боратынского 1827 г. (Р. А. 1872, № 2, стр. 351—352); 1 письмо В. Б. Броневского 1832 г. (не издано — ГПБ, собрание Помяловского, карт. II); 1 отрывок из письма Ф. В. Булгарина 1824 г. (Кс. Полевой — „Записки“, изд. 1888 г., стр. 97; ср. стр. 153 наст. изд.); 1 письмо Ф. В. Булгарина 1827 г. изложено Кс. Полевым на стр. 264 его „Записок“ (ср. стр. 271 наст. изд.) и 2 письма Ф. В. Булгарина 1828 и 1838 гг. (первое см. Р. С., 1871, т. IV, стр. 678—680; второе не издано — ГПБ, собрание автографов); 1 письмо А. Ф. Вельтмана 1830 г. (Н. К. Козмин — „Из истории русского романтизма“, 1903, стр. 523); 1 письмо А. Ф. Воейкова 1838 г. (не издано — ГПБ); 1 письмо М. П. Вронченко 1827 г. (Р. С. 1901, № 5, стр. 401—402); 2 письма кн. П. А. Вяземского 1825 и 1828 г. („Отчет имп. публичной библиотеки за 1895 г.“, приложение, стр. 53—55; первое письмо сообщено также Кс. Полевым на стр. 116 его „Записок“, ср. стр. 167 наст. изд.); 1 письмо А. И. Герцена 1836 г. (П. с. с. Герцена, ред. М. Лемке, т. I, стр. 320—321); 2 письма Н. И. Греча 1824 и 1825 г. (Р. С., 1871, т. IV, стр. 677—678; С. О., 1825, ч. 104, стр. 186—197); 1 письмо бар. А. А. Дельвига 1828 г. (Собр. соч. Дельвига, 1893, стр. 165; Ibid. указание о недоданном до нас письме Полевого к Дельвигу от того же 1828 г.); 1 письмо Н. П. Демидова 1827 г. (не издано — ГПБ, собрание Помяловского, карт. II); 2 письма И. И. Козлова 1828 г. (первое — „Рус. Обозрение“ 1893, июнь, стр. 821; второе не издано — ГПБ); одно письмо Е. В. Кологривовой 1830 г. (не издано — ГПБ, собрание Помяловского, карт. II); 1 письмо А. О. Корниловича 1832 г. („Сборник статей к сорокалетию академика А. С. Орлова“, 1934, стр. 362); 2 письма А. В. Никитенко 1840 г. (не изданы — ИРАИ, 18.380/СХХI б. 2); 3 письма кн. В. Ф. Одоевского 1828 и 1838 гг. („Рус. Обозрение“, 1894, март, стр. 424—425; Р. С., 1901, № 5, стр. 405—406; третье не издано — ГПБ, бумаги Одоевского, 1869 г., карт. III); 1 письмо Д. М. Перовщикова (без даты, не издано — ГПБ); 3 письма А. С. Пушкина 1825—1831 гг. („Письма Пушкина“, ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, стр. 149; „Переписка Пушкина“, изд. Ак. наук, т. I, стр. 250; т. II, стр. 128, 206. — Впервые были опубликованы в „Северной Пчеле“, 1846, № 19, стр. 73 и в „Иллюстрации“, 1846, т. II, № 9, стр. 131 — с подлинника, подаренного Полевым С. Д. Полторацкому; также в „Отчете имп. публичной библиотеки за 1861 г.“, стр. 63; в Р. С., 1880, т. 28, стр. 806 и в „Новом Времени“, 1898, № 7847); 1 письмо В. Л. Пушкина 1829 г.

(Р. С. 1916, № 6, стр. 470—471); 1 письмо бар. Г. А. Розенкампа 1830 г. (с купюрами было опубликовано самим Полевым в „Рус. Вестнике“, 1841, т. II, стр. 182—185; подлинник в ГПБ, собрание Помяловского); 1 письмо Д. П. Рунича 1839 г. (Р. С., 1893, т. 80, стр. 326—327; письмо это по адресу отослано не было); 1 письмо Августа Семёна 1840 г. (не издано — ИРЛИ, 19724/СХХХIV б. 8; на франц. яз.); 1 письмо Ф. А. Семенова 1824 г. (О. З. 1824, ч. XVII, стр. 296—300). Неизданные письма к Н. А. Полевому от А. А. Бестужева, Ф. В. Булгарина, А. Ф. Воейкова и В. Ф. Одоевского — подготовлены нами к печати.

Настоящая сводка не претендует на исчерпывающую полноту: неизвестные письма Полевого и к Полевому возможно хранятся еще в московских и провинциальных архивах (нами были обследованы только ленинградские архивы). В настоящей сводке не упомянуты также официальные письма к Полевому как к редактору „Московского Телеграфа“, по преимуществу „антикритики“ (см., напр., письма В. Н. Берха, де-Вильнева и Е. Классена в М. Т.. 1826, ч. XII, отд. I, стр. 237—246, 268—271).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *На переплете.* Н. А. Полевой — рисунок В. Ф. Тимма («Русский художественный листок» 1853 г., № 34).

2. *Фронтиспис.* Н. А. Полевой — портрет (масло) работы Е. Плюшара (1838 г.).

3. *Стр. 29.* Н. А. Полевой — портрет (акварель) работы Людвига (1833 г.).

4. *Стр. 43.* Единственный уцелевший номер рукописной газеты «Diario Inflammato» 1828 г. — автограф Н. А. Полевого (Рукописное отделение Гос Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Публикуется впервые
Текст рукописи:

Diario Inflammato

Боливар великий человек

№ Гаити—1828 32

Из Нью-Йорка

Болезнь гражданина 1¹/₂ гуда—Вашингтона продолжается. Уверяют, что она произведена простудой. Он ныне не был еще в Массачузете, и многие уверяют, что не болезнь этому причиной, а то что он сердит будто бы на гражданина Полево-гуда. Но Полево-гуд этому не верит, ибо в донесении своем к Трибуналу Дружбы недавно уверял, что 1¹/₂ гуд лучший друг его. В Новом свете дружба не так переменчива, как в старом. 1¹/₂ гуд известен всем, как добрый и и любезный человек. Он имеет близь Огно обширные игольные фабрики, но это не мешает ему [быть] столь добрым и милым, как будто он ничего не имел. У него есть обширная библиотека и он занимается библиографиею. Он предложил Жюльену, известному изда-

телю Revue encyclopédique денежное и литературное пособие.

В Нью-Йорке все еще остались следы Аристократии, не смотря на старание истребить их. Недавно один из граждан получил письмо с следующим началом:

«Всемиловейшая Государыня М[ария П[етровна] и Ваше Превосходительство, Всемиловейший Государь С[ергей] Д[митриевич]».

Гаити

Вчера предложено здесь об уничтожении запрещения печатать извлечения из запрещенных книг. Гражданин Глинка сообщил об этом известии всем журналистам.

Книжные известия

Здесь получено превосходное творение Монаса и тотчас препровождено в Нью-Йорк.

Коммерческие известия

Альманах, изданный Глинкой с 10 рублей упал на два. Сей товар совсем нейдет с рук.

Требование на мыло умножено рядом Московского Университета на б р и т и е студентов.

Смесь

Гражданин Соболевсквуд - Демон вчера объелся и страдал жестокою резью в желудке.

Уверяли, что Шаликовуд поумнеет с нового года, но ложность сего известия доказана 1-ю книжкою Дамского Журнала.

Определенно здесь брать по червонцу с того человека, кто при свидани

и с друзьями, вместо того, чтобы говорить, станет читать какую нибудь книгу.

Курс

Лондон—30—0—75—37

Париж—102—3—

Гамбург—37—7—57

Ливерпуль—109—3—37.

О кораблях

Корабль Шкипер отъезжает из Порт-о-Пренса в Нью-Йорк.

Вашингтон бессмертен

5. Стр. 69. Н. А. Полевой — рисунок неизвестного художника (1841 г.).

6. Стр. 95. К. А. Полевой — портрет (акварель) работы Людвиг (1883 г.).

7. Стр. 163. Фронтиспис первой книжки «Московского Телеграфа» 1825 г. с изображением оптического телеграфа.

8. Стр. 181. В. А. Ушаков — гравюра из сборника «Сто русских литераторов», т. II (1841 г.).

9. Стр. 201. Н. А. Полевой читает «Речь о невестественном капитале» в Московской Практической Академии коммерческих наук (1828 г.) — карикатура Н. А. Степанова (?). Публикуется впервые; предоставлено для настоящего издания И. С. Зильберштейном. Подпись под рисунком: «Но пример лучше пояснит мои слова, и все поймут меня если я скажу:—Телеграф—капитал вещественный. История Наполеона, сочиненная В. Скоттом — капитал невестественный!»

10. Стр. 211. Адам Мицкевич — гравюра неизвестного художника.

11. Стр. 225. А. С. Пушкин — портрет (масло) работы К. Мазера (1830-е гг.).

12. Стр. 265. Н. И. Надеждин — гравюра из сборника «Сто русских литераторов», т. II (1841 г.).

13. Стр. 291. Н. А. Полевой — гравюра из сборника «Сто русских литераторов», т. II (1841 г.).

14. Стр. 317. Н. В. Кукольник — гравюра с портрета работы К. Брюллова из сборника «Сто русских литераторов», т. I (1839 г.).

15. Стр. 325. С. С. Уваров — гравюра Каневского.

16. Стр. 341. Н. А. Полевой — литография В. Бахмана («Альбом русских писателей», изд. Н. Н. Полевого, 1860 г.).

17. Стр. 393. П. А. Вяземский — портрет работы неизвестного художника (1830-е гг.).

18. Стр. 439. П. И. Шаликов — карикатурный рисунок неизвестного художника.

19. Стр. 445. Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин — карикатурный рисунок (акварель) П. А. Каратыгина (1830-е гг.).

20. Стр. 463. Н. А. Полевой — рисунок В. Ф. Тимма («Листок для светских людей» 1844 г., № 9).

21. Стр. 489. Письмо в стихах Н. А. Полевого актрисе В. Н. Асенковой

от 1 декабря 1839 г.—при посылке пьесы «Параша Сибирячка» (Архив Института литературы Академии Наук СССР). Текст письма:

Милостивая Государыня
Варвара Николаевна.
Не знаю, получу ль прощенье
И угрожу ль работой Вам!
Мое простите замедленье...
Я, к Вашим преклоняюсь ногам,
Ждать буду кротко приговора...
Решите: что мне ждать потом —
Иль жизнь от Вашего мне взора,
Иль смерть Краевского пером?
Его не очень я боюся,
Но если неугоден Вам —
Пойду и в Лете утоплюся...
Adieu, и прозе и стихам!

1 Дек. 1839 г.
Спб.

Под текстом—автокариатура Н. А. Полевого, протягивающего тетрадь, на которой написано: «Параша Сибирячка».

22. Стр. 501. Н. А. Полевой танцует вприсядку на обеде, данном А. Ф. Воейковым в день открытия его типографии (6 ноября 1837 г.) — карикатура Н. А. Степанова из альбома Е. П. Гребенки («Русский Библиофил» 1913 г., № 7). На этом обеде Полевой мирился с Н. В. Кукольниковом. Изображенная Степановым сцена описана И. И. Панаевым: «Полевой уверял Кукольника в том, что он один из самых пламенных его приверженцев и почитателей его таланта. Кукольник кричал, что имя Полевого никогда не забудется в истории русской литературы; они при этом целовали друг друга и пили брудершафт... Ура, Кукольник! Ура, Полевой—кричали кругом их... Литературная оргия окончилась пляской. Полевой, Кукольник и Яненко пустились в присядку. Около них составилась кружок, рукоплескавший им и кричавший: Bravo, bis!.. Мне было больно и оскорбительно за Полевого. Через несколько дней после этого, Степанов принес к Краевскому отличный карикатурный рисунок, на первом плане которого были Полевой и Кукольник, отхватывающие в присядку» («Литературные воспоминания», 1928, стр. 128—132). — На рисунке на первом плане изображены (слева направо): А. Ф. Воейков, Н. А. Полевой (с аннинским крестом в петлице), Н. В. Кукольник и барон Е. Ф. Розен.

Иллюстрации №№ 1—3, 6, 8, 10—17 и 19—подобраны из собрания Музея Института русской литературы Академии наук СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	5
<i>Вл. Орлов</i> . Николай Полевой — литератор 30-х годов . . .	11
<i>Николай Полевой</i> . Автобиография	77
<i>Ксенофонт Полевой</i> . Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого	
От автора	93
Часть первая	
Глава первая	94
» вторая	106
» третья	119
» четвертая	128
» пятая	141
» шестая	150
» седьмая	162
» восьмая	178
» девятая	192
» десятая	203
» одиннадцатая	215
Часть вторая	
Глава первая	223
» вторая	236
» третья	248
» четвертая	263
» пятая	280
» шестая	299
» седьмая	315
Часть третья	
Глава первая	333
» вторая	340
» третья	352

	Стр.
Комментарий	
Автобиография Николая Полевого	355
Записки Ксенофонта Полевого	
Ксенофонт Полевой и его записки (вводное примечание)	360
Часть первая	367
» вторая	422
» третья	486
Указатель имен	505
Приложение	
Николай Полевой и его корреспонденты (библиографическая справка)	533
К иллюстрациям	537

№ 449

Отпечатано для Издательства Писателей
в Ленинграде типографией им. Володар-
ской, Ленинград, Фонтанка, 57, в колич.
3500 экз. 33 авт. л. Заказ № 365. Лен-
гидлит № 11845. Переплет и супероб-
ложка М. Кирнарского. Сдано в набор 21/1
1934 г. Подписано к печати 25 мая 1934 г.
Формат бумаги 62×88 см. Тип. зн.
в 1 печ. листе 45125. Бум. л. 17. Порядк. № 66
Ответ. редактор Анат. Горелов. Техн.
редактор Ал. Кукуричкина.
1934

Издательство просит читателей и библиотеки отзываться об этой книге присылать по адресу: Ленинград, внутри Гостиного двора, помещение № 122, Издательству Писателей в Ленинграде

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

<i>Стран.</i>	<i>Стр.</i>	<i>Напечатано:</i>	<i>Следует:</i>
145	10 сн.	оригениальностью	оригинальностью
224	13 св.	и Ферне	в Ферне
402	3 »	Воейкома	Воейкова
406	4 »	не счет	не счел
435	2 сн.	«В. Е.»	В. Е.
521	13 »	пересилился	переселился
537	11 св.	Inflamato	Inflamato

К кн. Полевого